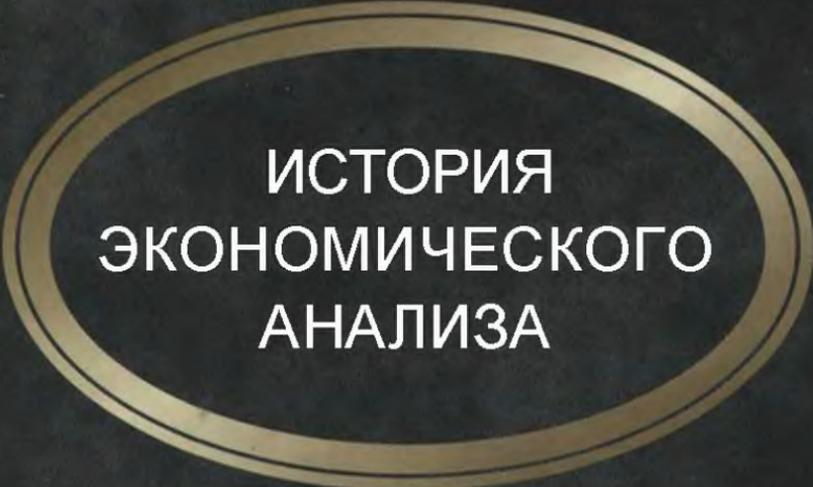


ЙОЗЕФ А. ШУМПЕТЕР



ИСТОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА

“УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА”

Йозеф А. Шумпетер

---

ИСТОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА

---



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ЭКОНОМИКА

Joseph A. Schumpeter

---

HISTORY OF  
ECONOMIC  
ANALYSIS

---

Йозеф А. Шумпетер

---

ИСТОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА

---

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ  
1

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. С. АВТОНОМОВА



"ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Санкт-Петербург 2004

БИБЛИОТЕКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»

Выпуск 33

ББК 65.02

Ш 96

*Издатели*

ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ — ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ. МОСКВА

*Перевод с английского*

В. С. АВТОНОМОВА, М. В. БОЙКО, Л. С. ГОРШКОВОЙ,  
Р. И. КАПЕЛЮШНИКОВА, А. А. ФОФОНОВА

*Рецензент*

С. А. АФОНЦЕВ

ISBN 0-415-10888-8

ISBN 5-900428-60-5 (т. 1)

ISBN 5-900428-64-8

Copyright © 1994 by Routledge

Опубликовано по соглашению  
с Routledge

© Перевод, оформление, оригинал-  
макет, 2001 «Экономическая школа»  
Все права защищены

**Й. А. Шумпетер. История экономического анализа** : В 3-х т. / Пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. СПб. : Экономическая школа, 2004 г. Т. 1. LVI + 496 с.

ISBN 5-900428-60-5

Книга выдающегося австрийского экономиста Йозефа Шумпетера «История экономического анализа» — произведение, ставшее классикой экономической литературы. Ее уникальность — в широте охвата (от Платона и Аристотеля до Кейнса), сочетающейся с глубиной и оригинальностью анализа и личным отношением буквально ко всем авторам и первоисточникам, упомянутым в огромном по объему тексте. Книга посвящена в первую очередь развитию техники экономического анализа, но попутно автор описывает исторический контекст этого развития, эволюцию других общественных наук и общественной мысли в целом, становление экономистов как научного сообщества. По сравнению с другими известными книгами по истории экономической мысли (книги Блауга, Негиши) труд Шумпетера в гораздо большей степени раскрывает развитие экономической теории в странах континентальной Европы.

«История экономического анализа» Шумпетера — книга, необходимая каждому экономисту-исследователю и преподавателю любой экономической дисциплины. Содержащийся в ней материал может быть использован для внеаудиторной работы студентов экономических вузов по курсам истории экономической мысли, микро- и макроэкономики, теории финансов и многим другим.

# Оглавление

История от Шумпетера (предисловие к русскому изданию)	IX
Предисловие. Марк Перлман	XIII
Предисловие редактора	XLIV

## ЧАСТЬ I

### Введение

#### Предмет и метод

Глава 1. [Введение и план]	3
1. План книги	3
2. Почему мы изучаем историю экономической науки?	4
3. Является ли экономика наукой?	7
Глава 2. Интерлюдия I:	
[техника экономического анализа]	13
[1. Экономическая история]	14
[2. Статистика]	15
[3. Теория]	16
[4. Экономическая социология]	21
[5. Политическая экономия]	22
[6. Прикладные области]	24
Глава 3. Интерлюдия II: Параллельное развитие других наук	27
[1. Экономическая наука и социология]	27
[2. Логика и психология]	29
[3. Экономическая наука и философия]	30
Глава 4. Социология экономической науки	35
1. Является ли история экономической науки историей идеологий?	40
[a] Особенности «экономических законов»]	40
[b] Марксистский анализ идеологических влияний]	41
[c] Чем отличается история экономического анализа от истории систем политической экономии и от истории экономической мысли?]	45
[d] Процесс научного исследования: общее видение и способы анализа]	49

## ЧАСТЬ II

### От истоков до первого классического состояния (примерно до 1790 г.)

Глава 1. Греко-римская экономическая наука	
1. План этой части	61
[2. От истоков до Платона]	64

[3. Аналитические достижения Аристотеля]	69
[4. О происхождении государства, частной собственности VIи рабства]	72
[5. «Чистая» экономическая наука Аристотеля]	73
а) Ценность	74
б) Деньги	77
с) Процент	80
[6. Греческая философия]	81
[7. Вклад римлян]	83
[а] Отсутствие аналитических исследований]	83
[б] Значение римского права]	84
[с] Сочинения по сельскому хозяйству]	88
[8. Ранняя христианская мысль]	89
<b>Глава 2. Схоласты и философы естественного права</b>	
1. Большой пробел	91
2. Феодализм и схоластика	92
3. Схоластика и капитализм	98
4. Социология и экономическая наука схоластов	103
[а] С IX в. до конца XII в.]	104
[б] XIII век]	108
[с] С XIV по XVII в.]	118
5. Концепция естественного права	136
а) Этико-правовая концепция	136
б) Аналитическая концепция	140
с) Естественное право и социологический рационализм	143
6. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVII в.	146
а) Протестантские, или светские, схоласты	147
б) Математика и физика	150
с) Экономическая и политическая социология	151
d) Вклад в экономическую науку	155
7. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVIII в. и впоследствии	155
[а] Наука о природе человека: «психологизм»]	156
[б] Аналитическая эстетика и этика]	160
[с] Собственный интерес, общественное благо и утилитаризм]	165
[d] Историческая социология]	170
[e] Энциклопедисты]	174
[f] Полусоциалисты]	176
[g] Нравственная философия]	178
<b>Глава 3. Консультанты-администраторы и памфлетисты</b>	
1. Дополнительные сведения из социальной истории	181
[а] Случайные факторы возникновения национальных государств]	183
[б] Почему национальные государства были агрессивными]	185

(c) Влияние специфических обстоятельств на экономическую литературу того времени]	188
2. Экономическая литература того времени	197
(a) Материал, исключенный из рассмотрения]	198
(b) Консультанты-администраторы]	202
(c) Памфлетисты]	204
3. Системы XVI в.	205
(a) Труд Карафы]	206
(b) Типичные представители: Боден и Ботеро]	208
(c) Испания и Англия]	210
4. Системы с 1600 по 1776 г.	213
(a) Ранние стадии]	213
(b) Юсти: государство благосостояния]	217
(c) Франция и Англия]	221
(d) Высокий уровень итальянцев]	225
(e) Адам Смит и «Богатство народов»]	231
5. Квази-системы	249
6. Снова о государственных финансах	257
7. Заметки об утопиях	265
<b>Глава 4. Эконометристы и Тюрго</b>	
1. Политическая арифметика	268
2. Буагильбер и Кантильон	276
3. Физиократы	287
(a) Кенэ и ученики]	287
(b) Естественное право, сельское хозяйство, laissez-faire и единый налог]	294
(c) Экономический анализ Кенэ]	300
(d) Экономическая таблица]	309
4. Тюрго	315
<b>Глава 5. Народонаселение, возрастающая и убывающая отдача, заработная плата и занятость</b>	
1. Принцип народонаселения	325
(a) Популяционистская позиция]	326
(b) Накопление фактических знаний]	329
(c) Возникновение «мальтузианского» принципа]	331
2. Возрастающая и убывающая отдача и теория ренты	336
(a) Возрастающая отдача]	336
(b) Убывающая отдача: Стюарт и Тюрго]	338
(c) Исторически возрастающая отдача]	341
(d) Земельная рента]	343
3. Заработная плата	346
4. Безработица и «положение бедняков»	352
<b>Глава 6. Ценность и деньги</b>	
1. Реальный анализ и монетарный анализ	361
(a) Связь монетарного анализа с агрегированным или макроанализом]	363
(b) Монетарный анализ и точки зрения на расходы и сбережения]	365

(c) Интерлюдия в развитии монетарного анализа (1600—1760 гг.): Бехер, Вуагильбер и Кенэ]	369
(d) Дороговизна и изобилие против дешевизны и изобилия]	
2. Основы	376
(a) Металлизм и картализм: теоретический и практический]	376
(b) Теоретический металлизм в XVII и XVIII вв.]	378
(c) Сохранение антиметаллистской традиции]	383
3. Отступление о ценности	391
(a) Парадокс ценности: Галиани]	392
(b) Гипотеза Бернулли]	395
(c) Теорема механизма ценообразования]	398
(d) Кодификация теории ценности и цены в «Богатстве народов»]	401
4. Количественная теория денег	407
(a) Объяснение Боденом революции цен]	408
(b) Выводы из количественной теоремы]	409
5. Кредит и банковское дело	415
(a) Кредит и концепция скорости обращения денег: Кантильон]	417
(b) Джон Ло — предтеча идеи регулируемого денежного обращения]	420
6. Капитал, сбережения, инвестиции	423
7. Процент	429
(a) Влияние ученых-схоластов]	430
(b) Барбон: «Процент — это рента с капитала»]	432
(c) Переключение внимания аналитиков с процента на прибыль]	434
(d) Великий вклад Тюрго]	436
<b>Глава 7. «Меркантилистская» литература</b>	
[1. Интерпретация «меркантилистской» литературы]	440
[2. Экспортная монополия]	443
[3. Валютный контроль]	446
[4. Торговый баланс]	453
(a) Практический аргумент: политика с позиции силы]	454
(b) Аналитический вклад]	455
(c) Концепция торгового баланса как инструмент анализа]	462
(d) Серра, Малин, Мисселден, Ман]	464
(e) Три ошибочных тезиса]	472
[5. Прогресс в области анализа начиная с последней четверти XVII в.: от Джозайи Чайлда до Адама Смита]	476
(a) Концепция автоматического механизма]	479
(b) Основы общей теории международной торговли]	482
(c) Общая тенденция к более свободной торговле]	487
(d) Преимущество территориального разделения труда]	491

# ИСТОРИЯ ОТ ШУМПЕТЕРА

(Предисловие к русскому изданию)

Автора этой книги нет нужды представлять русскоязычному читателю. В нашей стране были изданы два из его наиболее выдающихся произведений: «Теория экономического развития» (М.: Прогресс, 1982) и «Капитализм, социализм и демократия» (М.: Экономика, 1995). Из этих книг можно получить достаточно точное представление о Шумпетере-теоретике, а из предисловий к ним — о незаурядной личности и бурной жизни одного из самых известных экономистов прошлого века.

Настала пора представить Шумпетера-историка и его магnum opus — «Историю экономического анализа». Многие выдающиеся экономисты в поздние годы, отойдя от активной теоретической деятельности, охотно пишут работы по истории своей науки. Этого нельзя сказать о Йозефе Шумпетере. История экономической науки была одной из главных тем на всем протяжении его творчества (см. Предисловие М. Перлмана). В частности, в обоих переведенных на русский язык книгах есть впечатляющие историко-методологические куски, посвященные в первом случае теориям предпринимательства, а во втором — теоретической системе Карла Маркса.

Величественная, хотя и не полностью отделанная постройка «Истории экономического анализа» венчает эту линию в творчестве Шумпетера. Шумпетер был, как мне кажется, единственным из экономистов-теоретиков, признанных научным сообществом великими, кто внес столь значительный вклад в изучение истории своей науки. Конкуренцию ему мог бы составить разве что Карл Маркс с его «Теориями прибавочной стоимости», но охват исследуемого материала у Маркса был несравнимо меньше. Как правило, всеобъемлющие истории экономической науки пишут экономисты (как выразился бы сам Шумпетер, явно тяготевший к созданию иерархий) «второго ряда»: МакКуллох, Жид и Рист, Блауг и другие. Естественно, мы ожидаем, что история, вышедшая из-под пера выдающегося теоретика, окажется смещенной в сторону его собственной теории (когда выдающийся пианист Сергей Рахманинов играл, например, пьесы Шопена или Скрябина, в его интерпретациях угадывалось некоторое влияние его собственного композиторского почерка). Это нормально и даже интересно — прежде всего потому, что раскрывает нам пристрастия самого теоретика. Тот факт, что Лев Толстой низко оценивал драмы Шекспира, со-

вершенно неинтересен для шекспироведа, но чрезвычайно важен для исследователя творчества Толстого. В «Истории экономического анализа» можно найти следы таких авторских пристрастий, о чем много пишет в своем Предисловии Марк Перлман. Отметим, в частности, «авторскую» историю теорий предпринимательства в § 2b главы 6 части IV. Но в целом «История» Шумпетера не отрывочные субъективные заметки великого экономиста. Этот колоссальный труд, состоящий из чрезвычайно «концентрированного» текста, претендует, и не без оснований, на всеохватность и объективность. Перед нами не импрессионистические наброски, а грандиозное историческое полотно, написанное рукой мастера. Перед нами История от Шумпетера (как есть, скажем, Евангелие от Луки — самого углубляющегося в историю из евангелистов).

Но история чего? Казалось бы, заглавие дает нам ответ: история экономического анализа. Введя в первой части своей книги разделение на экономический анализ, использующий специфическую профессиональную исследовательскую технику, и экономическую мысль, порождаемую усилиями как профессионалов, так и дилетантов, но не связанную с употреблением аналитической техники, Шумпетер достаточно четко очертил предмет своего исследования (хотя примерно до конца XVIII в. граница между анализом и мыслью являлась весьма условной). Шумпетер действительно впервые решил написать историю аналитических инструментов экономического исследования, подчас с большим трудом выделяя их из груды соображений на уровне здравого смысла и политических рекомендаций. Это открыло дорогу другим произведениям такого жанра, из которых у нас наибольшую известность получил учебник Марка Блауга. Но «История» Шумпетера содержит намного больше, чем собственно историю анализа. Непосредственно ей посвящены лишь главы 5 и 6 II части, главы 6 и 7 III части, главы 6–8 IV части и заключительная V часть (при этом автор во всех частях последовательно разводит по разным главам чистую теорию и теорию денег, кредита и экономических циклов). В отличие от того же Блауга Шумпетер предпосылает истории анализа изложение ее чрезвычайно широко понимаемого контекста. Здесь находится место для описания исторических событий, социально-экономического «фона» и «духа эпохи», параллельного развития других областей научного знания (от математики до теологии и психологии) и даже искусства. Самое поразительное, что по поводу каждой из этих тем у Шумпетера имеется своя аргументированная точка зрения. Можно сказать, что нам — экономистам — повезло: мы можем прочесть общую историю человеческого духа, написанную нашим коллегой по профессии. В отдельных главах (глава 4 III части, глава 5 IV части) содержится очерк развития

экономической науки в отдельных странах с подробным описанием соответствующих институциональных условий. Часть II, посвященная периоду до конца XVIII в., когда экономическая наука еще не сформировалась, отдельно рассматривает два ее основных источника: философию естественного права и творчество практиков: консультантов-администраторов и памфлетистов. Отдельные главы посвящены меркантилизму, исторической школе, физиократам, теории народонаселения и др. Наконец, вводная I часть содержит мастерское изложение методологических проблем. Таким образом, книга Шумпетера имеет сложную структуру, в которой собственно история экономического анализа является основной темой сложной полифонической партитуры.

Книгу Шумпетера никак нельзя назвать учебником по истории экономических учений. Текст во многих, иногда самых интересных, местах не закончен. Стиль автора — яркий пример «немецкого английского» с громоздкими фразами и архаичными речевыми оборотами. Трудно пользоваться достаточно архаичной системой отсылок (в переводе мы старались везде, где могли, дать сноски на русские переводы цитируемых сочинений. Но главное то, что материал, относящийся к одному автору и даже одному произведению, согласно логике Шумпетера, рассредоточен по трем-четырем главам книги, поскольку рассматривается всякий раз под разными углами зрения, в разных аспектах. Это делает абсолютно необходимым обращение к именному и предметному указателям. Глубокие, иногда парадоксальные идеи часто встречаются в неожиданных местах. Одним словом, это книга для медленного и вдумчивого чтения, и наибольшую пользу из нее извлечет не готовящийся к завтрашнему семинару студент или повторяющий завтрашнюю лекцию преподаватель, а начинающий серьезное исследование экономист, уже имеющий представление об истории экономической мысли. С нашей точки зрения, ни один образованный экономист-ученый или преподаватель не может пройти мимо «Истории экономического анализа» Шумпетера. Это косвенно доказывают ее многочисленные переводы и регулярные переиздания за последние полвека.

Наконец, в заключение, позволю себе небольшое личное отступление, имеющее прямое отношение к появлению русского перевода «Истории» Шумпетера. Когда в конце 1980-х гг. по инициативе Ярослава Кузьмина создавался альманах «Истоки», посвященный вопросам истории народного хозяйства и экономической мысли, его редколлегия, в том числе и автор этих строк, задумалась над тем, как привлечь интерес читателей к новому периодическому изданию. Было решено печатать в каждом выпуске порцию текста из какой-нибудь интересной книги, и выбор единодуш-

но пал на «Историю экономического анализа». Я взялся переводить I, методологическую, часть, а моему коллеге по ИМЭМО Максиму Бойко — впоследствии заместителю премьера российского правительства, а в то время младшему научному сотруднику — досталась глава I II части. Так началось мое сосуществование с «Историей экономического анализа». В то время (в 1989 и 1990 гг.) мы успели издать только упомянутые две порции текста. Подготовленному к печати переводу глав 2 и 3 II части пришлось ждать публикации десять лет — до тех пор, пока не удалось возобновить выпуск «Истоков» на базе Государственного университета — Высшей Школы Экономики. Все это время меня не покидало чувство, что мы делаем очень важное дело. Наши экономисты, — преподаватели, научные сотрудники, студенты, — привыкшие изучать историю экономических учений по книжкам, авторы которых часто излагали свой предмет «понаслышке» — опираясь на другие учебники, должны были услышать голос самого эрудированного экономиста XX в., человека, имевшего по поводу каждого заметного автора собственное мнение, опиравшееся на непосредственное знакомство с сочинениями последнего. Отечественные читатели, которых учили воспринимать экономическую теорию — вначале марксистскую, теперь неоклассическую — как стройную непререкаемую догму, нуждались в историческом кругозоре, описании сомнений, заблуждений, сложных путей и тупиков развития науки. Но часто в наших разговорах повторялось: «Конечно, целиком ее у нас никто не издаст». Надежды на то, что какой-либо издатель заинтересуется выпуском огромной научной книги с очень сложным для перевода текстом не было практически никакой. Тому факту, что читатель может взять руки полный русский перевод «Истории экономического анализа» все мы обязаны неутомимой просветительской деятельности Петербургского института «Экономическая школа» во главе с Михаилом Алексеевичем Ивановым, переводчикам Л. Горпковой и А. Фофанову, руководителю издательства Л. П. Поляковой и, конечно, поддержке этого трудоемкого проекта Издательской программой Института «Открытое общество» (руководители — А. Я. Ливергант и И. М. Савельева, координатор — Е. Н. Тараскина). Особо следует отметить вклад Сергея Александровича Афонцева, который, не ограничиваясь ролью внимательного и высококвалифицированного рецензента, внес массу предложений по улучшению текста перевода, которые были с благодарностью приняты.

Итак, долгая история русского перевода «Истории экономического анализа» Шумпетера подошла к концу. Хочется верить, что одновременно начинается долгая история ее внимательного критического освоения российскими экономистами.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Марк Перлман\*

В данной книге, как мы увидим, содержится много лишнего, неуместного, неясного, в значительной степени искаженного, парадоксального — иными словами, ненужного и даже мешающего пониманию материала. Если все это отбросить, то останется, бесспорно, самый конструктивный, самый оригинальный, самый высоконаучный и самый блестящий вклад в историю развития аналитических фаз нашей дисциплины из всего когда-либо созданного в этой области.

*Дж. Вайнер (Viner 1954. P. 894-895)*

## 1. Шумпетер и история экономической мысли, представленные в перспективе

1.1. Шумпетер отличался широтой интересов и обладал многими талантами. Кроме того, в молодости он был необычайно честолюбив; едва ли в данном эссе уместно уделять много внимания фактам его жизни; к счастью, в настоящее время существуют не только воспоминания его коллег, вышедшие в 1950 г., где дана глубокая характеристика личности Шумпетера (особенно стоит отметить мемуары Готфрида Хаберлера),<sup>1</sup> и обширный великолепный труд Массимо М. Ауджелло (1990), в котором собраны библиографические сведения о том, что написал Шумпетер, кто писал о нем и с кем его чаще всего сравнивали, но и три недавно вышедшие биографии (1991),<sup>2</sup> являющиеся, несомненно, лучши-

---

\* Выражаю благодарность нескольким друзьям, прочитавшим и внесшим правку в рукопись: профессору А. В. Коутсу, Уоррену Сэмюэлсу, Юичи Шиноя, Ричарду Сведбергу и Сигето Цуро, а также доктору Чарльзу Маккэнну.

<sup>1</sup> Данное эссе первоначально было опубликовано в *Quarterly Journal of Economics*, затем перепечатано в издании под редакцией Сеймура Харриса (Harris 1951) и снова в издании под редакцией Хаберлера (Haberler 1993). Том, изданный в 1951 г., содержал также эссе 16 ведущих экономистов, включая среди прочих таких авторов, как Рагнар Фриш, Артур Смизис, Пол А. Самуэльсон, Ян Тинберген и Фриц Махлуп.

<sup>2</sup> Ауджелло приводит 260 работ (включая переводы статей и книг на иностранные языки) Шумпетера и 1916 работ о Шумпетере. Собственные обобщения или находки Ауджелло отражены в основательном очерке на 93 страницах, изобилующем оценочными замечаниями, т. е. непосредственными оценками самого Ауджелло. Я не знаю другой такой работы, которая была бы проделана кем-либо из экономистов над произведениями другого экономиста.

ми биографиями этого человека. «Schumpeter. A Biography», написанная Ричардом Сведбергом, содержит строго соразмерную научную оценку четырех или пяти основных трудов, а также интересные общие сведения о времени и обстановке, в которой жил автор. Сведберг последовательно повествует о разных десятилетиях жизни и творчества Шумпетера, а его попытки раскрыть личность ученого носят характер предположений. Вторая биография отличается от первой. Работа Роберта Лоринга Аллена (*Allen. Opening Doors: The Life and Work of Joseph Schumpeter*) имеет больше сходства с такими трудами, как «Жизнь Сэмюэла Джонсона» Джеймса Босуэлла или «Дневник» Сэмюэля Пеписа (1815). Широко используя огромную, отмеченную подлинной ученостью и самоотверженностью<sup>3</sup> работу по расшифровке личных дневников Шумпетера, предпринятую миссис Эрикой Маттшинг Гершенкрон,<sup>4</sup> Аллен интерпретировал часто отрывочные, а то и просто непонятные материалы. В отличие от Сведберга (социолога) Аллен (экономист) был учеником и горячим поклонником Шумпетера. Аллен документирует многое из того, о чем Сведберг мог только лишь догадываться.

В третьей биографии, написанной Эдвардом Мерцем (März), венским марксистским историком, — *Joseph Schumpeter: Scholar, Teacher and Politician*, — автор воздерживается не только от обсуждения своеобразия личности Шумпетера, но фактически от всякого упоминания его историко-культурно-эпистемологических интересов. Задача Мерца состояла в привлечении Шумпетера в ряды современных марксистов. Это интересная попытка, но вряд ли она имеет отношение к тому, что нас интересует. Вследствие этого все сказанное ниже в большой степени основано на мемуарах и двух первых биографических исследованиях.

1.2. Я полагаю, что интеллектуальные усилия Шумпетера сосредоточены на пяти (возможно, на четырех с половиной) основных темах. Я бы классифицировал первый этап его работы (включающий три книги) как посвященный по крайней мере двум основным темам: природе экономической теории и экономической науки и природе и источникам экономического развития. Первая тема появилась о себе в 1908 г. в работе *Das Wesen und der Hauptinhalt der Theoretischen Nationalökonomie* («Природа и

<sup>3</sup> Работа была поистине самоотверженной, так как многое было написано и даже просто небрежно нацаралано архаичными немецкими стенографическими знаками.

<sup>4</sup> Я обязан профессору Юичи Шионоя за его информацию по данному и другим вопросам.

суть теоретической национальной экономики») и в меньшей степени в 1914 г. в работе *Epochen der Dogmen und Methodengeschichte* («Экономический метод и доктрина: исторический очерк»);<sup>5</sup> вторая тема обозначилась в 1911 г. в книге *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung* («Теория экономического развития»).

Его следующая (я бы назвал ее третьей) основная тема отражена в книге, посвященной деньгам (частично написанной им, но не опубликованной, хотя она все же появилась в 1970 г. под заглавием *Das Wesen des Geldes*<sup>6</sup> («Сущность денег»), и в его двухтомнике *Business Cycles* («Экономические циклы») (1939). Эти в целом не имевшие успеха работы были выпущены параллельно незрелой книге Мейнарда Кейнса (1930) *Treatise on Money* («Трактат о деньгах») и его весьма успешному труду *General Theory of Employment, Interest and Money* («Общая теория занятости, процента и денег»), вышедшему в 1936 г.

Шумпетер не считал книгу «Капитализм, социализм и демократия» одной из основных своих работ. Действительно, он часто называл ее «халтурой» (Allen 1992. II. P. 133). Другие не соглашались с подобной оценкой, и можно считать, что в данной работе нашла отражение «третья с половиной» или даже четвертая тема.

Его пятая тема заключалась в интерпретации филиации идей в развитии экономической теории. Эта тема возникла первоначально в книге *Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte* (1914; позднее переведена на английский язык как *Economic Doctrine and Method: An Historical Sketch*); она не была закончена при жизни автора, но основной замысел этой работы реализовался в книге *History of Economic Analysis* («История экономического анализа», 1954). Я отнес бы также к этой пятой теме другой посмертный сборник: *Ten Great Economists* («Десять великих экономистов», 1954), содержащий тщательно обработанные эссе.

1.3. Незавершенный труд «История экономического анализа» составляет наиболее значительную часть разработки пятой и последней великой темы Шумпетера. Одним людям данная книга представляется отражением мрачных размышлений стареющего ученого, испытавшего горечь личных, профессиональных и общественных трагедий. Для других эта работа, хотя и незакон-

<sup>5</sup> Эта книга в основном послужила базой для последней работы Шумпетера. Поскольку, по мысли Шумпетера, любое изучение экономической теории включает знание ее происхождения, в то время (перед первой мировой войной) он объединил обе темы.

<sup>6</sup> Издана и снабжена предисловием Ф. К. Манном (Göttingen: Vandenhöck & Ruprecht, 1970. P. XXVII, 341).

ченная, является квинтэссенцией его творчества; это последний великий профессиональный обзор (*tour d'horizon*) ведущего практикующего академического экономиста-провидца XX века. А для третьих — это еще и наиболее полный компендиум имен и названий работ, когда-либо опубликованный на английском (а возможно, и на других языках) за всю долгую историю данной дисциплины.

1.4. В прошлом существовало множество трактовок истории экономической теории, используемых для объяснения развития этой дисциплины. Так, одним из способов объяснения фактической гегемонии учений Смита и Рикардо был рассказ о том, как Смит сплавил воедино работы предшественников, отбросил одни и создал другие каноны. Рикардо, ссылаясь на экономический шедевр Смита 1776 г.,<sup>7</sup> предложил более строгий тип аргументации, и, таким образом, была собрана воедино, если не родилась, классическая экономическая теория.<sup>8</sup> По мнению британцев, официальным «свидетельством о рождении» стало несомненно произведение Джона Рамсея Мак-Куллоха *The Literature of Political Economy* (1840). Книга Жерома-Адольфа Бланки *Histoire de l'économie politique en Europe* (1838),<sup>9</sup> подтверждает приоритет французов, что, конечно, делает работу Мак-Куллоха или дополнением, или «младшим родственником», или просто самозванцем.

Имеется и немецкая линия. Вильгельм Георг Фридрих Рошер вначале выпустил книгу *Geschichte der Englischen Volkswirtschaftslehre* (1851), а затем, в 1874 г., свою работу *Geschichtliche Entwicklung der Nationalökonomie und Ihrer Literatur*. Можно было бы продолжить этот список, но достаточно указать, что не только Маркс дал трактовку истории экономической науки в своей работе «Капитал» (*Das Kapital*), особенно это относится к I тому (1867), такую же работу проделал и объект насмешек Маркса Е. К. Дюринг, опубликовав в 1871 г. позитивистский труд *Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus*.

<sup>7</sup> Более ранним шедевром Смита была более тщательно написанная «Теория нравственных чувств» (*The Theory of Moral Sentiments*, 1759).

<sup>8</sup> Более систематическим подходом в узком смысле слова было бы обратиться к «идеальному помощнику коллекционера» — книге Эммы Фандаберк «История экономической мысли и анализа» (*Fundaburk Emma. The History of Economic Thought and Analysis*, 1973), где проделана огромная работа по синтезированию различных подходов.

<sup>9</sup> Эта книга выдержала несколько последовательных изданий. 5-е французское издание вышло в 1882 г., перевод 4-го французского издания на английский язык опубликован в 1880 г.

В качестве «краеугольного камня» с более «современной» точки зрения я склонен упомянуть о решении Уильяма Стенли Джевонса заказать перевод с итальянского работы Луиджи Косса *Guido allo Studio dell' Economia Politica* (1875). Косса был так польщен просьбой Джевонса, что в процессе подготовки к переводу расширил и частично переписал свое первое издание.

В итоге второе издание (1876) с предисловием Джевонса (на итальянском языке опубликовано только в следующем, 1877 г.) послужило затем образцом для создания многих аналитических текстов по истории экономической науки.<sup>10</sup>

До выхода в свет в 1954 г. «Истории экономического анализа» Шумпетера американские (и предположительно британские) студенты-магистранты обычно опирались на несколько старых надежных столпов: работу Эрика Ролла «История экономической мысли», представляющую собой странную смесь промарксистских и амарксистских (если пользоваться неологизмом) идей (особенно это касается второго (1946) и третьего (1954) изданий после второй мировой войны), и на работу Шарля Жида и Шарля Риста «История экономических учений со времен физиократов до наших дней», переведенную на английский язык в 1948 г. со 2-го, 6-го и 7-го французских изданий. Из более современных авторов — в пределах последних двадцати лет — главными авторитетами для старшекурсников были «Экономическая теория в ретроспективе» Марка Блауга и словарь «Новый Палгрейв» (*New Palgrave*). Для студентов младших курсов лучшими пособиями считались прекрасно написанная книга Александра Грея «Развитие экономической доктрины: вводный обзор» (1931) и книга Генри Шпигеля «Развитие экономической мысли» (1971). Более продвинутые ученые опирались на монографии, посвященные отдельным авторам, школам, периодам и подтемам (например, денежной теории и т. д.). Однако ни один из упомянутых выше трудов не является, по моему мнению, достаточно авторитетным, ни в одном из указанных произведений нет попытки синтезировать мировоззренческую концепцию (видение).

После публикации «Истории экономического анализа» вышли две другие весьма авторитетные работы: «Типы экономической теории: от меркантилизма до институционализма» Уэсли Клэр Митчелла в издании Джозефа Дорфмана (1967, 1969)<sup>11</sup> и «История экономической аргументации» Карла Прибрама

<sup>10</sup> Широко известный текст Шарля Жида и Шарля Риста «История экономических учений» не был опубликован до 1915 г.

<sup>11</sup> Основу рукописи составляли студенческие стенографические записки. В этом виде она была продана в 1949 г. книготорговцем Огасте Келли (Нью-Йорк)

(1983). Ни в одной из них не предпринята попытка синтезировать видение, хотя в каждой авторы пытались построить изложение вокруг организующей темы. (Я бы не рассматривал подобные притянутые за уши интерпретации как видения.) Ниже я дам сравнение их подходов.

Наиболее важным фактом относительно работы Шумпетера «История экономического анализа» является ее особое влияние на профессию. Будучи незаконченной и опубликованной с очевидными и идентифицированными лакунами, она не может служить хорошим реферативным руководством. И все же на эту книгу регулярно ссылаются. Почему? Я выскажусь более подробно на эту тему позднее, а здесь позвольте мне ограничиться утверждением, что данное произведение представляет собой сложное, но не чисто субъективное видение экономической науки.

Шумпетеру были известны произведения авторов из стран континентальной Европы, в какой-то мере, возможно, слегка знакомые большинству экономистов, получивших образование в Великобритании и США, но, разумеется, не изученные ими сколько-нибудь основательно. Шумпетер получил блестящее классическое гимназическое образование, благодаря которому он получил представление о философских школах Греции и Рима и приобрел рабочее знание немецкого, французского, итальянского и английского языков, а также некоторые навыки чтения на других европейских языках. Благодаря тому что Шумпетер мужал в атмосфере последнего десятилетия заката монархии Габсбургов и лично знал ведущих экономистов как в своей стране, так и в Германии, Франции, Великобритании и США, а также вследствие особенностей его честолюбивого, несколько вызывающего, склонного к театральности характера, он приобрел утонченность и такой круг личных контактов, каким не обладал никто из основных историков экономической науки в целом. К тому же он с легкостью делал обобщения, часто привлекая на помощь фантазию. А самое главное, он избежал образования, ограниченного рамками британского утилитаризма, и, хотя большую часть жизни на него производило впечатление непринужденное превосходство английского джентльмена-ученого, он был великолепно интеллектуально вооруженным аутсайдером.

1.5. Подводя итоги, скажем, что значение данной книги заключается в разработке научного видения развития экономиче-

---

с разрешения миссис Митчелл (работа ограничивалась очень небольшим количеством тем) под заглавием *Lecture Notes on Types of Economic Theory: From Mercantilism to Institutionalism*. Дорфман откорректировал и значительно расширил материал.

ской науки, видения, созданного необычайно начитанным «аутсайдером» (с точки зрения большинства экономистов-профессионалов, получивших образование в Великобритании и США) во времена, когда он сторонился компании профессионалов и, следуя своему честолюбию, личной и трудовой этике, создавал монументальный труд, объясняющий зависимость между тем, что он называл экономической наукой, и другими науками, а также другими социальными и философскими дисциплинами. Несмотря на то что незавершенность работы из-за внезапной смерти автора несколько снижает ее значение, на английском языке нет ни одного подобного труда; и, даже обращаясь к другим культурам, мы не видим ничего равного ему по масштабам и яркости изложения. Прежде всего, это произведение ума, одаренного богатым воображением, пропитанного горечью событий мировой войны, в которой выбранная им для проживания страна, возможно введенная в заблуждение вездесущее англосаксонское культурное влияние (которую он со временем стал презирать), сражалась, по-видимому, не с тем противником. Книга является вызовом (возможно, будь она закончена, она стала бы звучать приговором) тому, как англо-американские экономисты привыкли смотреть на самих себя и на свое ремесло.

## 2. Место книги в жизни Шумпетера

2.1. Мне кажется, что причина, побудившая Шумпетера в 1914 г. написать труд *Ersuchen der Dogmen und Methodengeschichte*, является меньшей тайной, чем направленность его содержания. В то время он был молодым человеком, которого мир и он сам воспринимали как вундеркинда.

Частью его честолюбивых устремлений было создание схемы, которая позволила бы понять процесс развития экономической дисциплины, выступающей как в качестве науки, так и в качестве искусства. Излагаемая уверенным тоном, работа отражает интеллектуальную самоуверенность, не замутненную никакими серьезными профессиональными неудачами. Но хотя Шумпетер не боялся авторитетов, это не значит, что их у него не было. Согласно Сведбергу (Swedberg 1991. P. 91–93), он высоко ценил мнение Макса Вебера, чьи усилия сочетать абстрактную теоретическую экономическую науку со сравнительно подробной историей событий и политических мер выразились в создании новой дисциплины — социальной экономики (*Sozialökonomie*).

И тут Шумпетеру представилась счастливая возможность выполнить заказ самого Вебера — подготовить историю экономической теории. Вебер организовал написание и публикацию амбициозного коллективного проекта — справочника *Grundriss der Sozialökonomie*. Другими выбранными авторами были двое знаменитых ученых более старшего возраста: Карл Бюхер и Фридрих фон Визер. Их присутствие, плюс собственное желание Шумпетера снискать расположение Вебера,<sup>12</sup> несомненно, повлияли на манеру изложения материала. Хотя книга и сохраняет в некоторой степени исторический подход, мне представляется ясным, что это была уступка чувствам Вебера, явившаяся больше проявлением вежливости, чем искренним выражением своего мнения. В это время Шумпетер делал большую ставку на абстрактную теорию. Его ранняя книга была переведена на английский язык только после смерти автора, но для большей части энтузиастов истории экономической науки в период между войнами ее существование и (для тех, кто мог читать по-немецки) ее содержание обеспечили Шумпетеру прочную профессиональную репутацию. И все же сам Шумпетер, судя по всему, рассматривал ее как незавершенную работу. Ограниченность объема не позволяет подробно остановиться на содержании (см.: Perlman 1982), но в период создания работы Шумпетер намеревался: 1) обрисовать различия между экономической наукой и политической экономией; 2) показать, как британская классическая экономическая наука уступала дорогу «школам экономической мысли»; 3) указать, что будущее экономического анализа — это развитие в традициях анализа общего равновесия Вальраса, хотя «скорее в динамической, чем в статической форме», и 4) настаивать на том, что филиация идей, как и экономическая политика, должна вырабатываться бескорыстной культурной элитой.

2.2. К 1940-м гг. Шумпетер отдалился от многих своих гарвардских коллег. Принято думать, что причиной разрыва стали события второй мировой войны и альянс между западными демократиями и сталинским Советским Союзом. По прошествии более чем пятидесяти лет трудно с достоверностью представить многие чувства, сыгравшие роль в то время. Лоринг Аллен пред-

<sup>12</sup> Это удалось. Вебер стал горячим поклонником Шумпетера и пытался помочь ему получить университетскую кафедру. Однако Сведберг сообщает, что однажды они оба избежали драки только потому, что Вебер буквально вылетел из кафе. Чем был вызван подобный взрыв? Шумпетер был очарован происходящим в Советском Союзе и одобрил практику ленинизма. Вебер, пришедший в негодование от безразличия Шумпетера к человеческой жестокости, не мог сдержаться (Swedberg 1991. P. 92–93).

положил, что более ранним источником этого отчуждения явилась амбивалентная позиция Шумпетера в отношении антисемитизма и нацизма. Однако многие из суждений Аллена представляются мне легковесными и слишком часто основываются на слухах или утверждениях типа *post hoc, ergo propter hoc*. Но какова бы ни была бы причина, Шумпетер покинул Кембридж и сосредоточился на новой формулировке своих идей относительно исторического развития экономической науки. По окончании войны Шумпетер вновь показался из своего кокона, но он никогда не был гусеницей, а теперь уже не был и бабочкой, как в молодости. Он написал блестящие эссе об Ирвинге Фишере и Мейнарде Кейнсе; опубликованные посмертно в сборнике «Десять великих экономистов», отзывы об этих авторах превосходили то, что было написано о них в «Истории экономического анализа». Он был президентом Американской экономической ассоциации в 1948 г. и в этом качестве выступил с речью «Наука и идеология». Его попросили произнести речь об Уэсли Клер Митчелле сразу же после смерти последнего (в 1950 г.). Это было странное, необычное выступление, но эссе, завершенное как раз перед смертью самого Шумпетера, хотя и экспансивно, но проникнуто мудростью. По-видимому, «История экономического анализа» во многих отношениях является плодом горьких предвоенных и военных лет. Сведберг рассказывает, что Шумпетер предложил свою книгу издательству Oxford University Press и что с самого начала она была задумана как широкое видение, обширный трактат о возникновении экономической науки. Но, подобно многим последним творениям художников и писателей, над этим произведением тяготел злой рок. Чувствуется, что, работая над книгой, автор пребывал в угнетенном состоянии. Он умер, не успев закончить работу, и его преданная ученица и третья жена Элизабет Буди Шумпетер разобралась в хаосе рукописного материала и выстроила его в хронологическом порядке начиная с 1938 г. и далее; она сделала все, что смогла, чтобы, насколько это возможно, отредактировать рукопись и соединить ее части в единое целое.

Задача была крайне тяжелой. Шумпетер работал над книгой беспорядочно. Важные отрывки и большие фрагменты работы нужно было разыскивать в трех кабинетах, и не всегда было ясно, что писалось раньше, а что позже. Многие были написаны архаичными немецкими стенографическими значками, однако Э. Б. Шумпетер упорно добивалась своей цели.

Но злой рок, тяготевший над замыслом книги, преследовал также и ее. В течение многих месяцев работы над рукописью она

страдала от злокачественной опухоли и умерла задолго до выхода книги в свет.

Несколько коллег из Гарварда сделали все, что было в их силах, чтобы завершить ее работу, но комитеты редко могут работать так же хорошо, как отдельные лица, и, как я уже указывал, Элизабет Шумпетер знала об общей концепции книги гораздо больше, чем кто-либо другой, и, разумеется, больше, чем упомянутые коллеги.

Элизабет Шумпетер предложила также напечатать сборник эссе своего мужа о ведущих экономистах (в основном это были некрологи), охватывающих период с 1914 г. до, по крайней мере, двух недель до его смерти.

Эссе в сборнике «Десять великих экономистов» подобраны с таким расчетом, чтобы удовлетворить потребности рынка (чем еще можно объяснить тот факт, что сборник открывается пространным эссе о Марксе) и отразить мнение Шумпетера относительно значимости десяти «великих» (Маркс, Вальрас, Карл Менгер, Маршалл, Парето, фон Бём-Баверк, Тауссиг, Фишер, Митчелл и Кейнс), плюс приложение из трех коротких очерков о Кнаппе, фон Визере и фон Борткевиче.

На мой взгляд, стоит особо отметить наличие в сборнике «Десять великих экономистов» подробного анализа работ Парето. Стало общепризнанным, что Шумпетер считал Вальраса величайшим экономистом в истории данной дисциплины. Я уверен, что следует также рассмотреть менее традиционную точку зрения. В конце жизни Шумпетер восхищался Парето в такой же (если не в большей) степени, как и Вальрасом. Парето, по меньшей мере, был земным святым Павлом духовного Иисуса — Вальраса.

### 3. Построение книги

3.1. В книге «История экономического анализа» Шумпетер прежде всего ставит перед собой задачу объяснить, как следует понимать экономическую науку. Часть I, составляющая 3,7% общего количества страниц, представляется мне наиболее важной из всей книги. В исследовании Шумпетера *Epochen der Dogmen und Methodengeschichte*,<sup>13</sup> вышедшем в 1914 г., где много говорится о сознательной организации, разрабатывается тема различия между «наукой» (например, экономической) и эконо-

<sup>13</sup> Якоб Вайнер отмечал, что эта книга следует направлению, проложенному в исследовании Коссы (1954. P. 898).

мико-политическими программами (политической экономией) и противопоставляются роли, которые играют бескорыстные «консультанты-администраторы» и продажные памфлетисты (см.: Perlman 1983). Зрелый Шумпетер в книге «История экономического анализа» ставит перед собой более сложную задачу. Он старается объяснить экономическую науку в терминах динамической социологии знания, а не в более обычных терминах классической эпистемологии. Думаю, что с педагогической точки зрения его изложение было бы легче понять, если бы он захотел увязать свои мысли с работой Парето «Трактат общей социологии» (*Trattato di Sociologia Generale*), где рассматриваются различия между рациональными и нерациональными системами. Но цели обоих авторов, связанные с трактовкой теории как средства понимания человеческих смыслов, были сходны, и Шумпетер, объясняя, что же в конечном счете формирует экономическую науку (а под этим он явственно подразумевал экономическое теоретизирование), вполне однозначно заявлял, что прежде всего следует знать экономическую историю,<sup>14</sup> статистику и анализ.<sup>15</sup> Получив такие базовые знания, человек был бы, таким образом, подготовлен к изучению теории. Шумпетер постарался объяснить, что большая часть слышущего теорией или не относится к делу, или представляет весьма незначительный интерес; теоретики отравляют собственный колодец глупыми суждениями эмпирических исследований и экстравагантными претензиями на достигнутый прогресс и особую доблесть. Многие теоретики намеренно игнорировали тот факт, что лучшие теоретики (подобно Ньютону) скептически (и с полным основанием) относились к тому, чтобы их отнесли к разряду теоретиков другие теоретики.

Тем не менее эвристическое правило Шумпетера заключалось в том, что абстрактные правила должны выводиться из наблюдаемых данных, а затем проверяться по ним. Хотя он ссылается на Маршалла как на лидера «экономической науки» (Schumpeter 1954. P. 21), все же более верно будет сказать, что Шумпетер неприязненно относился к тенденции Маршалла и его последователей приспособливать свой анализ к идеологиям, таким как свободная торговля, утилитаризм и т. п.

<sup>14</sup> Сведберг отмечает здесь влияние Макса Вебера (Swedberg 1991. P. 184).

<sup>15</sup> Мнение Шумпетера было аналогично мнению лорда Кельвина, согласно которому наука включает в себя измерение, даже если она не является измерением сама по себе. Шумпетер, знавший о пренебрежительном отношении Хайека к спциентизму, был расположен к каждой дисциплине, разрабатывающей собственный порядок знаний (не обучения), особенно к физике (Schumpeter 1954. P. 16–18).

В значительной степени часть I «Истории экономического анализа» была задумана как основной вклад в науку. Однако, поскольку она не была закончена, оставшиеся пробелы нанесли ей серьезный урон. Что именно Шумпетер имел в виду, говоря о пугале — идеологии — и о Золотом Руне — экономической науке, можно вывести из письменного варианта Президентского обращения 1948 г. Но что он хотел сказать о значении веберовской *Sozialökonomie*, так и осталось неизвестным, а притом что он сознательно избегал социологической системы Парето (как мы отметим ниже, его пространное эссе о Парето было написано в течение последних месяцев жизни), его взгляды, по крайней мере для меня, остались непроясненными.

3.2. Написание части II потребовало от Шумпетера наибольших усилий. Она составляет около четверти всего объема книги и рассматривает последовательно сначала противостоящие друг другу великие вклады в науку Платона и Аристотеля, затем развитие экономической мысли в республиканском и императорском Риме, где поражает отсутствие аналитического материала; далее Шумпетер переходит к блестящему обзору христианских авторов и философов естественного права. В третьей главе этой части автор вновь обращается к теме 1914 г.: консультантам-администраторам и памфлетистам; первые ищут видения, вторые — вознаграждения. Его трактовка произведений Смита проницательна, но резка. Награда за развитие экономической науки в Англии досталась в этой главе Джозайе Чайлду.

Тон главы 4 более великодушен; здесь проявляются качества, которых Шумпетер требует от героя. Более всего на него производит впечатление способность построить оригинальную систему, а не просто применить определенный мыслительный механизм. Рассматривая работы Уильяма Петти и его единомышленников, Буагильбера, Кантильона, Кенэ и его последователей, а также Тюрго, Шумпетер, первый председатель Эконометрического<sup>16</sup> общества, позднее добавил (карандашом) имя Тюрго к первоначальному заглавию главы «Эконометристы».

Следующие три главы посвящены специальным темам и подтемам; здесь достаточно перечислить только темы: 5) народонаселение, доходы, заработная плата и занятость; 6) ценность и деньги и 7) «меркантилистская» литература. Они содержат массу сведений: имена, даты, и, что важнее всего, здесь прослежи-

<sup>16</sup> Шумпетер считал слово «эконометрика» (*econometrics*) неграмотным с филологической точки зрения. По его мнению, следовало бы писать «экометра» или «эконометрика» (Schumpeter 1954. P. 209).

вается филиация идей, однако по большей части эти главы описательны. Шумпетер, вполне естественно, дал «градацию» имен; среди «первых» или «очень близких к первым вторых» были Ботеро, Серра и Мисселден, Стюарт и, возможно, Юм. Для многих наиболее полезным в данной части оказалось объединение авторов континентальной Европы и Британии в одно целое. (Для многих читателей круг имен был ограничен английскими.)

3.3. Часть III охватывает экономическую науку за период с 1790 по 1870 г. В первых трех главах содержится план анализа, широкий обзор экономической истории за данный период и изумительное исследование доминирующих идей эпохи. Снова Шумпетер делает смотр войск (его выражение) и называет своих героев, включая Лонгфилда и фон Тюнена, Курно, Дж. С. Милля, Сэя и Сисмонди. Шумпетер посвящает большую часть главы 5 Дж. С. Миллю. В главе 6 Шумпетер синтезирует британскую классическую школу, используя четыре постулата Сениора (рациональная максимизация, мальтузианский закон, убывающая отдача в сельском хозяйстве и возрастающая в промышленности) как удобную точку отсчета или исходную точку развития идей. Начиная отсюда, он интегрирует в общую картину взгляды Рикардо и Маркса, закон рынков Сэя и занимается вопросами производства и распределения. Глава 6 и ее продолжение — глава 7 «Деньги, кредит и циклы» основаны на английском опыте.

Трактовка Шумпетером британского утилитаризма стоит особого упоминания. Он признает его центральную роль в развитии классической системы в Великобритании, но не признает его обоснованным. Соответственно, неудивительно, что МанDEVиль<sup>17</sup> и Бентам не имеют ни мемориальной доски, ни тем более памятника в его Пантеоне.

3.4. Если в части III задаче ввести читателя в интеллектуальную атмосферу (социологию идей) за период с 1790 по 1870 г. посвящены три главы (около 84 страниц), то четыре главы (около 74 страниц) отведены введению в интеллектуальную атмосферу периода с 1870 по 1914 г. и позже.

В этой части дан полный географический обзор. Рассматривая развитие теории в Великобритании (он сосредоточивается больше на Маршалле, чем на Джевонсе или Эджуорте), во Франции, в Германии и Австрии, в Италии, Нидерландах и Скандина-

---

<sup>17</sup> Едва упомянут (две коротенькие ссылки). Хайек, наоборот, считает, что роль МанDEVиля в развитии индивидуализма, утилитаризма и даже идеи саморегулирующего рынка велика (см.: Hayek 1967; Perlman 1990 и § 5.6 в данном Предисловии).

вии, в Соединенных Штатах и, наконец, развитие «марксизма» (если это не страна, то своего рода «облако»), Шумпетер создает платформу для того, что он действительно хочет обсудить.

Глава 6 посвящена системе Маршалла; в главе 7 речь идет о развитии анализа равновесия (частичное равновесие при этом рассматривается как продукт усилий Курно и Маршалла; общее равновесие, хотя и статическое, трактуется в основном как детище Вальраса). Глава 8 рассматривает вопросы применения теории на примере трактовки денег, кредита и циклов.

Шумпетер с восторгом упоминает своего коллегу Хаберлера и с меньшим энтузиазмом своего современника Кейнса.<sup>18</sup>

Минимум внимания Шумпетер уделяет Бейтсу Кларку и Уэсли Клер Митчеллу.<sup>19, 20</sup> С другой стороны, об Ирвинге Фишере он пишет с умеренным энтузиазмом и отводит ему чуть больше места.<sup>21</sup> При этом он принимается восхвалять Вальраса и, как я уже упоминал и еще буду упоминать, в большинстве случаев, но не всегда избегает длинных рассуждений о Парето. Шумпетер не относился к числу людей, отличающихся скромностью (истинной или ложной), поэтому нас поражает отсутствие упоминаний о его собственных работах; возможно, это было оставлено на конец книги.

По моему мнению, над частью IV следовало поработать значительно больше, так как она должна была заложить основу для понимания динамического анализа общего равновесия. Полагаю, что при наличии времени Шумпетер смог бы значительно расширить и усовершенствовать ее текст. Но я также полагаю, что, учитывая состояние математики в период до 1960 г. и его собственное нежелание продолжать изучение этой дисциплины, этот раздел был обречен на то, чтобы остаться усеченным.

3.5. Часть V должна была стать «Кратким обзором современного развития науки». Рукопись, в том виде, как она была оставлена, содержала сокращенное изложение плана, описание подхода Маршалла—Виксея (анализ частичного равновесия),

<sup>18</sup> Трактовка Шумпетером творчества Кейнса — деликатный предмет. Он наиболее тщательно рассматривается в эссе, помещенном в сборнике «Десять великих экономистов» (Schumpeter 1951. P. 260–291). Автор относится к творчеству Кейнса сдержанно-критически.

<sup>19</sup> См. выше, § 2.2, где более подробно говорится об оценке Митчелла.

<sup>20</sup> Митчелл в своих лекциях объединял Шумпетера и Парето, тем не менее данная тема не была для Митчелла «излюбленной» (Mitchell 1969. Ch. 15).

<sup>21</sup> И вновь чувство долга возобладало над последовательностью изложения. В сборнике «Десять великих экономистов» помещено чрезвычайно желательное мемориальное эссе о Митчелле, написанное Шумпетером незадолго до смерти.

обсуждение «тоталитарной экономической науки» (в Германии, Италии и России), некоторые мысли о динамике и исследовании экономических циклов и слегка обработанную оценку влияния Кейнса на профессиональных экономистов.<sup>22</sup> Совершенно ясно, что эта часть и была задумана как «обзор», но степень ее незавершенности столь высока, что «обзор» едва ли привлечет чье-либо внимание, за исключением тех, кто интересуется самыми предварительными набросками.

#### 4. Отклики на основные положения книги

4.0. Выход в свет книги только через четыре года после смерти Шумпетера мог бы отрицательно повлиять на прием у читателей, но мы знаем, что в ответ на ее появление было написано большое количество необычно длинных эссе в книжных обзорах. Фактически каждый рецензент считал эту книгу монументальной по замыслу, если и не по осуществлению.

Большинство ведущих журналов, но не все,<sup>23</sup> поместили рецензии на эту книгу; в качестве рецензента обычно выбирали ученого с прочно установившейся репутацией<sup>24</sup> для оценки видения Шумпетером развития экономической науки. Большинство обозревателей не колеблясь оценивали книгу с большой страстью, рецензии вышли по большей части много времени спустя после смерти Шумпетера, а книга считалась столь значительной, что никто не обратил внимания на правило: *nil nisi bonum* (ничего, кроме хорошего).

Говоря кратко, все обозреватели книги были в каком-то смысле поражены и даже восхищены общим видением и объемом деталей (в каком бы несовершенном виде ни был оставлен материал). Но многих оттолкнули явные антибританские (обычно антиутилитаристские) суждения Шумпетера. Большинству рецензентов не по душе пришлось похвалы героям из континентальной Европы, но, поскольку они, как правило, не были знакомы с первоисточниками, то не чувствовали себя вправе возмущаться. Один из обозревателей, Рональд Мик (1957), счел, что Шумпетер чрезмерно упростил, даже исказил концепцию Маркса об инсти-

<sup>22</sup> См. 3.4, где имеется ссылка на более объемное и, очевидно, более позднее эссе о Кейнсе.

<sup>23</sup> Например, *Economic Journal* обещал дать обзор, но, вопреки ссылке Лоринга Аллена (Allen 1991. P. 215, 218), я не смог найти его в журнале.

<sup>24</sup> *Economica*, наоборот, поручила сделать обзор очень молодому тогда А. У. Коутсу. Он написал пронизательную рецензию.

туциональной природе общественных ценностей (общественных нравов).

4.1. Рецензия Джорджа Стиглера в *Journal of Political Economy* была необычной в том отношении, что он с самого начала задался вопросом, почему у кого-либо могло возникнуть желание «писать работу такого масштаба» (р. 344). Хотя Стиглер и выразил восхищение несомненной эрудицией Шумпетера, он также полагал, что многие его обобщения (например, утверждение, что экономисты медленно овладевают новыми идеями) были явно ошибочны (там же). Он часто находил изложение столь усеченным, что ему не удавалось понять, что именно имел в виду Шумпетер.<sup>25</sup> При этом его критические замечания были даже больше направлены на общее видение, чем на исполнение.

Но у Стиглера для Шумпетера нашлась редкая похвала:

«Меня восхищает великолепное презрение Шумпетера к тем, кто объясняет и оценивает теории корыстными мотивами, которыми, возможно, руководствовались их авторы. Есть интеллектуальное рыцарство в его попытках отделить качество анализа от политики, с которой он сочетался. В его трактовке почти каждого малозначительного экономиста есть великодушие и щедрость, и, конечно, многие из них нуждались в такой трактовке. И, конечно, остроумие...» (р. 345).

4.2. Другой чикагский экономист, Фрэнк Найт (весьма уважаемый историк экономической мысли), оказался, как мне кажется, одним из наиболее резких критиков книги. И хотя он закончил свой длинный очерк извинениями типа «если кошкам позволено взирать на королей», его рецензия, опубликованная в *Southern Economic Journal*, носила явно предостерегающий характер в нескольких аспектах. Он отметил, что если Шумпетер намеревался начать с вавилонян, хотя бы и просто в виде краткой ссылки, то он, разумеется, мог бы также дать некоторые ссылки на индийские и другие азиатские источники. С точки зрения Найта, книга Шумпетера была ограничена рамками западной экономической мысли, но даже и в этом случае Шумпетер не выдержал реального испытания.

Подобно нескольким другим критикам, Найт отметил антибританскую настроенность Шумпетера. Однако в отличие от всех остальных он отметил ярко выраженное пренебрежение со

<sup>25</sup> «Когда основные положения Милля о капитале или три причины существования процента Бёма-Баверка излагаются на одной-двух страницах, то даже эксперт не может претендовать на полное понимание позиции Шумпетера» (*Journal of Political Economy*. 1982. P. 344).

стороны Шумпетера к протестантским влияниям на развитие экономической мысли (точнее, влияниям Ветхого Завета). Он явно не доверял шумпетеровским попыткам героизации отдельных авторов (Шумпетер оценивал индивидов по шкале оригинальности и личной одаренности), где, конечно, отсутствовала оценка личных нравственных качеств. Найт решил смягчить эту критику, добавив, что если бы ему пришлось доверять чьим-то суждениям, то Шумпетер был бы среди наиболее надежных авторитетов.

Однако для меня наиболее интересным было замечание Найта, что Шумпетер не придавал особого значения факту, согласно которому разные общества имели различные «функции полезности» (если использовать принятый неологизм). Индивидуализм в исторической игре возникает достаточно поздно.

«Первобытные идеи были обязательно нацелены на *порядок*, а не на свободу или прогресс. В первобытных условиях деятельность ростовщика (даже торговца) могла бы привести к глубоким нарушениям в обществе, а то и к катастрофе. В средневековом обществе имелись мощные дополнительные „причины“ создания теории общества, сосредоточенной на „спасении“, которого можно достичь путем ортодоксального вероучения и соблюдения ритуала под охраной абсолютной власти, данной от бога» (р. 267, выделено автором).

4.3. Трое английских авторов решили использовать в качестве мишени антибританские суждения Шумпетера и их последствия. Сначала я обращусь к И. М. Д. Литтлу, затем к Лайонелу Роббинсу и, наконец, к Марку Блаугу, чья оценка книги, на мой взгляд, особенно тщательно аргументирована.

Хотя основной интерес Литтла как будто заключается в критике несогласия Шумпетера с экономической теорией благосостояния, я думаю, что основным удар он намеревался нанести против фактически полного игнорирования Шумпетером влияния Томаса Гоббса на дальнейшее развитие науки. Литтл считает (и я разделяю его мнение), что Гоббс предложил экономистам, и не только экономистам, парадигмальную задачу; усилия большинства английских теоретиков были направлены либо на отрицание, либо на решение этой задачи. От Гоббса пошли такие течения мысли, как индивидуализм, эмпиризм, а со временем утилитаризм. Однако, поскольку интерпретация Шумпетера не выделяет влияния Гоббса, у Шумпетера могло быть мало или совсем не быть причин, чтобы рассматривать Гоббса в качестве связующего звена между средневековыми традициями и тем, что я называю современностью.

Лайонел Роббинс сначала указал, что своими личными контактами и образованием, полученным в Вене с ее высокоинтеллектуальной атмосферой, Шумпетер был блестяще подготовлен к тому, чтобы взять на себя задачу написания обширного (по мнению Роббинса, слишком обширного (Robbins 1955. P. 4)) трактата, охватывающего всю экономическую науку. После обычных реверансов в сторону правила *nil nisi bonum* (ничего, кроме хорошего) Роббинс приступил к изложению собственной оценки.

Роббинс, как и Шумпетер, был человеком высокой культуры, очень начитанным и обладал широким кругом друзей. В отличие от Шумпетера Роббинс не питал никаких религиозных пристрастий; напротив, он был здравомыслящим англичанином, верящим в совершенствование человека путем просвещения и доводов разума; иными словами, он принимал британский утилитаризм, который Шумпетер не признавал ни в качестве пригодной к использованию философии, ни тем более как замену религиозным убеждениям. Таким образом, Роббинс не просто остался холоден к эрудиции Шумпетера, основанной на утонченном европейском католицизме, но даже не обратил на нее внимания. В целом Роббинс считал, что особый взгляд Шумпетера на классическую экономическую науку отражал чувства личности, стоящей в стороне от «истинной» традиции утилитаризма. Роббинс писал, что Шумпетер искаженно воспринимал влияние утилитаризма Бентама и Джеймса Милля; большинство английских авторов выдвигали более взвешенные гипотезы относительно значения и последствий этой доктрины.

Однако решающие удары Роббинс наносит, разрушая иерархическую систему рейтингов героев Шумпетера. Метод Роббинса заключается в том, чтобы, *во-первых*, атаковать текстуальную обоснованность утверждений Шумпетера: 1) относительно исторического места Смита, 2) о влиянии Рикардо, 3) об аналитическом мастерстве Курно и 4) о произведениях Маршалла и их влиянии. *Во-вторых*, он показывает, что трактовка творчества Вальраса, данная Шумпетером, была искажена в обратном направлении. Согласно Роббинсу, Шумпетер явно не применял ту же строгость в оценке Вальраса, какую он проявлял по отношению к другим (Robbins 1955. P. 4–5).

Роббинс, бесспорно, отвергал основную схему Шумпетера, которая отделяла то, что было ранее, от британской классической школы; при этом подчеркивался произошедший на ранней стадии разрыв между истинными философами-теологами и простыми памфлетистами. Основной жертвой при данной схеме была репутация Адама Смита: поставленный рядом с такими философами-

теологами, как Платон, Аристотель и Фома Аквинский, Смит становится мелкой фигурой. Мнение Шумпетера (никогда не утверждавшееся открыто), что в работах Рикардо явно проявился памфлетист, еще более способствовало его низкой оценке величия британского вклада в науку. Но было бы ошибкой считать, что на такого мыслителя, как Роббинс, не произвело впечатления все сказанное Шумпетером на 400 страницах о британской классической традиции.

Роббинс похвалил трактовку развития экономической науки с 1870 г., данную Шумпетером, но отметил довольно резко, что, вопреки правилу последнего, судить следует об отдельных авторах, а не о школах экономической мысли. Именно в этом смысле Роббинс полагал, что Шумпетер явно недооценил Маршалла, и решительно отверг точку зрения Шумпетера о пренебрежении, предположительно испытываемом Маршаллом по отношению к Джевонсу, фон Тюнену, Курно и Дюпюи. Он считал, что трактовка Шумпетером творчества Вальраса была направлена на защиту как его самого, так и Вальраса от критики, согласно которой Эджуорт и Маршалл превосходили Вальраса в отношении как видения, так и технических деталей.<sup>26</sup> Хотя Роббинс решил закончить свое эссе идиллическими воспоминаниями о своей последней встрече с Шумпетером, его отклик был выпадом англичанина против того, кто, вероятно, был англофилом в юности (до первой мировой войны), но изменил взгляды в зрелом и пожилом возрасте.<sup>27</sup>

Немного позднее Марк Блауг выстроил эту линию критики иначе, с большей строгостью и с большим сарказмом. В своем авторитетном учебнике (1962 и далее (рус. пер.: *Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе*. М.: Дело, 1994)). Блауг берет большую часть утверждений Шумпетера относительно того, что

---

<sup>26</sup> Позднее, когда Лайонел Роббинс (Robbins 1955) высказал свое несогласие с тем, что Шумпетер в своей иерархии поставил Вальраса выше Рикардо, я думаю, лорд Роббинс упустил момент, лежащий в основе этой иерархии. Теория Рикардо в основе своей базировалась непосредственно на фундаменте, заложенном Бентамом, который представлял, в лучшем случае, только один ограниченный аспект человеческой натуры (слабость плюс выбор) выбора, в то время как суть учения Вальраса была основана на великом фундаменте математической логики и картезианского понимания вселенной.

<sup>27</sup> Идиллия относится к последней встрече Шумпетера и Роббинса: «Это был чудесный июньский день (в середине 1930-х гг.)... и мы скользили по волнам вниз по течению Темзы от Твиккенхэма до Дэтчета. Я как сейчас вижу его, беззаботно устроившегося на носу нашего судна, окруженного пылкой молодежью; это были Никки Калдор, Абба Лернер, Виктор Эделберг, Урсула Хикс-Вебб — организатор поездки. Тесно прижав одну ладонь к другой, он изысканно и остроумно рассуждал о теоремах и личностях» (р. 22).

он собирался сделать, а затем сопоставляет их с тем, что в действительности было сделано. Разумеется, с Шумпетером произошло то же, что и со многими другими авторами: он замахнулся на большее, чем смог охватить. Самое важное состоит в том, что Блауг отверг убеждение Шумпетера, будто идеологию можно отделить от науки. Но критика Блауга в отличие от критики Рональда Мика (к которой мы скоро подойдем) не исходила из точки зрения, что наши устремления формируются нашей средой. Там, где Шумпетер утверждал, что при создании теории, особенно имеющей дело с наблюдением статистических фактов, можно очистить науку от идеологических наслоений, Блауг заявляет, что подобная очистка от идеологии происходит, только когда мы видим результаты истинно научного применения теории, только после испытания наших построений в разных условиях. Блауг, будучи отчасти попперианцем, а отчасти логиком, устанавливает свой эталон между этими двумя точками.

Блауг, подобно Шумпетеру, не испытывает сколько-нибудь заметных сомнений в том, что он говорит, тем не менее, по моему мнению, он предлагает очень глубокий, разбросанный по всей его книге, подробный анализ работы Шумпетера.

4.4. Другого типа критика, как можно было ожидать, раздалась со стороны марксистов в лице Рональда Мика.

Эссе Мика *Is Economics Biased? A Heretical View of a Leading Thesis in Schumpeters History*, опубликованное в *Scottish Journal of Political Economy* в 1957 г., ведет лобовую атаку на шумпетеровскую концепцию отделения науки от идеологии и обращается к трудной проблеме: всегда ли филиация идей приводит к прогрессу. Мик понимает восхищение Шумпетера марксизмом, но твердо заявляет, что его книга глубоко проникнута отвращением к самому Марксу и это делает суждения Шумпетера ненадежными. Маркс доказывал, что прогресс экономической науки наблюдался до 1830-х гг., а затем она стала на службу буржуазии.

Марксисты доказывают, пишет Мик, что в патристико-схоластической фазе авторы пытались определить, какой должна быть цена; в неосхоластически-меркантилистский период они старались объяснить, почему вещи продавались по тем ценам, по которым продавались, а в классический период наблюдалась тенденция определить конкурентное равновесие и количество рабочей силы, использованное в производстве товаров. Шумпетер, напротив, считал, что отцы церкви и схоласты разработали теорию полезности и редкости. Все, что возникло потом, было или сворачиванием с основного пути, или явным заблуждением.

Объективнее всего можно оценить аргументацию Мика, когда он переходит к рассмотрению предельного анализа, который Шумпетер считал настоящей и идеологически нейтральной наукой. Мик считает, что предельный анализ отражает связь между людьми (производителями) и благами, в то время как более ранний классический анализ отражал связь между людьми (работниками) и собственниками. Следовательно, с появлением предельного анализа не было достигнуто большого прогресса в науке; если он вообще сыграл какую-либо роль, то разве что дал возможность рассмотреть вещи, не относящиеся к числу важных (а в число важных входили общественные отношения и процесс производства).

4.5. Изложив, таким образом, несколько линий критики книги Шумпетера, я, с вашего позволения, обращусь к одному наиболее мастерски написанному обзору, т. е. к рецензии Якоба Вайнера, которая подчеркивает достоинства работы:

«Именно тогда, когда Шумпетер пишет об авторах, чьи аналитические качества он ценит высоко и чей экономический анализ составил сложную и последовательную систему, он поднимается на высший уровень своего мастерства. Его изложение данных систем дает великолепные образцы резюмирования. Более того, обрисовав в общих чертах их аналитические рамки, он ясно показывает полноту достижений этих авторов и дает нам возможность отныне читать их труды с большей глубиной понимания и оценки. Весьма существенную часть своей книги он посвящает изложению, оценке и похвале экономического анализа Кантильона, Кенэ, Маркса, Джевонса, Менгера и Бёма-Баверка, Курно и Вальраса. С меньшим энтузиазмом он пишет об Адаме Смите, Маршалле и Фишере. Эта часть книги составляет его наиболее ценный вклад. *Я думаю, что нигде больше в литературе по нашей дисциплине нельзя найти в пределах сравнительно небольшого объема такого блестящего и не выставляющего на показ персону автора изложения, сделанного экономистом, который сам является мастером, об аналитических достижениях других экономистов*» (р. 899; курсив наш. — М. П.).

Вышесказанное не означает, что у Вайнера не было с Шумпетером крупных разногласий, они представлены логично и всесторонне. Я все еще считаю возражение Вайнера против трактовки Шумпетером творчества Рикардо наилучшим.

4.6. Ограниченность места не позволяет написать что-то большее, чем простую ссылку на хвалебную в целом рецензию О. Г. Тейлора (коллеги Шумпетера, который регулярно преподавал историю экономической мысли в Гарварде), помещенную в *Review of Economics and Statistics*, или на критический и одновременно хвалебный очерк Дж. Б. Ричардсона в *Oxford Economic Papers*, или на обзорное эссе 1956 г. (содержащее также рецензии на другие книги), написанное В. У. Блейденом и опубликованное в *Canadian Journal of Economics and Political Science*.

Однако мне осталось еще сообщить об одном критическом пассаже, который можно найти в биографии Шумпетера, написанной Арнольдом Хеертъе в *The New Palgrave*:

«Читая Шумпетера, понимаешь, что долговременная значимость его трудов проистекает из исторического описания и нематематического теоретического анализа. Его неспособность выразить свои идеи о развитии экономической жизни в математической форме может со временем изменить нашу оценку его работ. Но, какова бы ни была окончательная оценка Шумпетера, нельзя отрицать, что он дал новое направление развитию экономической науки, поставив несколько совершенно новых вопросов. Увлечение Шумпетера динамикой экономической жизни прервало период статического подхода к экономическим проблемам.

На протяжении всей жизни Шумпетер был *enfant terrible*, всегда готовым занять крайнюю позицию в споре и часто пользующимся возможностью раздражать людей. Но он был также и гигантом, на чьих плечах стояли многие более поздние ученые, способствовавшие развитию экономической науки. Как экономист он больше не находится в тени Кейнса — наоборот, он в центре экономической сцены как в теоретическом, так и эмпирическом смысле» (Heertje 1987. P. 266).

## 5. Моя оценка книги

5.1. С моей точки зрения, в данной работе выдающимся является, во-первых, масштаб видения Шумпетера, а во-вторых, широта исполнения. Мне кажется, что со времени публикации «Истории» появились еще две, может быть, три книги, предлагающие сравнимое, но не обязательно равное по масштабам видение. Это работы Бена Б. Селигмена (1962), Уэсли Клер Митчелла (1967, 1969) и Карла Прибрама (1983). Последние две книги были также опубликованы посмертно, но материал, на котором они основаны, полнее, чем в книге Шумпетера.

5.2. В книге Селигмена исследуется история экономической науки с точки зрения возрастающего значения аналитического (под которым обычно понимается геометрический и алгебраический) метода. Как исследовательская работа она, я думаю, отражает сомнение (может быть, даже разочарование) в направлениях, по которым пошла экономическая наука, особенно под доминирующим влиянием книги Пола А. Самуэльсона «Основы экономического анализа» (*The Foundations of Economic Analysis*, 1947). Эта книга легко читается, но выраженное в ней видение является довольно узким, и я думаю, что для наших целей достаточно простого упоминания этой работы.

5.3. С другой стороны, исследование Митчелла «Типы экономической теории: от меркантилизма до институционализма» (*Types of Economic Theory: From Mercantilism to Institutionalism*) весьма внушительно. Оно представляет собой расшифрованную студенческую стенограмму нескольких комплектов лекционных записей Митчелла, тщательно обработанную Джозефом Дорфманом, известным историком американской экономической мысли.<sup>28</sup> Подход Митчелла, сведенный здесь почти к тривиальности, состоит в интерпретации того, как в зеркале экономической науки отражается адаптация общества главным образом к явлениям современной индустриализации (после промышленной революции) и к современной индустриализованной городской жизни.<sup>29</sup> Согласно зрелому и обдуманному суждению Митчелла, экономическая теория представляла в основном ряд субъективных попыток группы блестящих экономистов объяснить в близких им понятиях эмпирические явления, связанные с вышеупомянутыми общественными процессами.

Как и Шумпетер, Митчелл считал, что теория в основном занимается определением смыслов, как правило, наблюдаемых явлений.

5.4. Я полагаю, что книга Прибрама *A History of Economic Reasoning* является другим примером авторитетной интерпретации.

---

<sup>28</sup> Я не включил сюда обсуждение пятитомного энциклопедического шедевра Дорфмана *The Economic Mind in American Civilization* в основном потому, что в нем главным образом рассматривается эволюция мысли в пределах географически заданных рамок. Тем не менее он является образцовым изложением фактов эволюции экономической науки.

<sup>29</sup> Сам Митчелл не сосредоточивался сознательно на процессе современной урбанизации, но при тщательном прочтении материала можно, я думаю, обнаружить, что он рассматривает данное явление, даже если это и не было сознательно сформулировано.

Подход Прибрама, если его тоже свести к тривиальности, заключается в том, что со времен Платона до наших дней экономическая наука как тип мышления стремилась гармонично сочетать два совершенно противоположных метода: априоризм и эмпиризм. Такова была проблема, с которой столкнулся Аристотель, рассматривая платоновские *сущности*; с этой проблемой столкнулся и францисканец Роджер Бэкон<sup>30</sup> в споре с доминиканцами и возникшим впоследствии картезианским влиянием; в XIX в. этому соответствовало деление на кантианцев и гегельянцев, в 1930-х гг. — деление на коммунистов и фашистов. Таким же было деление на интернационалистов (американских фритредеров после Второй мировой войны) и «автаркистских националистов» (англичан, находящихся под кейнсианским влиянием).

5.5. Шумпетер в книге «История экономического анализа» предлагал, опять же если свести его подход почти к тривиальности, что понимание экономических явлений, если мы абстрагируемся от того, что считаем идеологическими предпочтениями, зависит в большой степени от эпистемологических методов, используемых нами, но при этом каждый из этих методов имел свой собственный историко-социологический опыт применения. В последние годы жизни он пришел к мнению, что следует оценивать, какое влияние оказывает то, что вы заимствуете, на то, что вы имеете. Приведу свой пример: при использовании дифференциального исчисления экономисты заимствовали метод, первоначально рассчитанный на применение в механике, а увлечение физиков объяснением равновесия сил было перенесено в экономику в виде увлечения статическим равновесием, что совершенно не подходит к вечно изменяющемуся, в сущности биологическому, органическому процессу.<sup>31</sup> Когда Шумпетер писал о динамическом общем равновесии, он подразумевал нечто совер-

<sup>30</sup> Возможно, потому, что я более силен в английской светской литературе, чем в латинской теологической, я предпочитаю в качестве прототипа не Роджера Бэкона (1214–1294), а Френсиса Бэкона (1561–1620).

<sup>31</sup> Имеется несколько способов рассматривать процесс поиска равновесия. Один способ, ньютоновский, *детерминистичный*: если Юпитер отклоняется от своей орбиты, то в итоге мы сможем не только представить себе, почему это происходит, но также будем в состоянии найти источник этого явления путем познания (хотя бы с помощью более совершенного телескопа). Второй можно назвать *агрономическим*. Согласно ему путем контроля производственных затрат можно в некоторых пределах определить выпуск (например, в результате изменения температуры помидоры созреют раньше или позже). Третий подход — *шекловский* (от фамилии английского экономиста Дж. Л. С. Шекла, — *прим. ред.*), предполагает, что детерминированных равновесий не бывает — в борьбе равных соперников невозможно предугадать, будет ли исход, не говоря уже о том, каким он будет.

шенно отличное от ньютоновского Золотого Руна. Прибрам, тоже получивший образование в Венском университете (он был основным ассистентом фон Визера), подобно Шумпетеру, высказал мнение, что британская и американская экономическая наука была значительно ограничена влиянием утилитаризма Бентама.

5.6. Теперь я перехожу к своей критической оценке того, что предложил нам Шумпетер, а именно его видения. В результате тщательного прочтения книги Блауг пришел к выводу, что обещанное и сделанное Шумпетером — не одно и то же.

Встает вопрос: если одно важнее другого, то является ли конечный результат основой для нашей оценки? Если это так, то мы не понимаем уникальной роли видения. Но удовлетворит ли нас любая мечта? Вряд ли! «Мечта» Шумпетера возвышается над другими благодаря многогранности и сложности ее элементов.

Но если предположить, что Шумпетер пытался предложить нам свое видение, то как об этом видении можно судить? Хайек, который в некотором смысле являлся продуктом того же венского классического гимназического образования, сформировавшего Шумпетера, позволяет нам начать с интересного сравнения двух мыслителей и закончить критическими высказываниями. Хайек разработал сложную парадигму индивидуализма-утилитаризма. Поэтому, если бы он написал о видении Шумпетера, он, вероятно, сказал бы (несомненно вежливо), что видение Шумпетера было ошибочным.

Но энтузиазм Хайека по отношению к парадигме индивидуализма-утилитаризма, побудивший подчеркивать центральное место в экономической теории МанDEVИЛЛЯ (Науек 1967а), Смита, Дж. С. Милля, и личной свободы, дает нам возможность поставить вопрос о различных возможных альтернативных парадигмах. Я упомяну только три: центральную роль редкости, центральную роль неопределенности и центральную роль основных (т. е. стабильных) моральных императивов (т. е. ценностей).

Как мы видели, Шумпетер отверг парадигму индивидуализма-утилитаризма (и личной свободы). Он не стал серьезно рассматривать парадигму неопределенности. В отсутствие каких-либо его конкретных указаний на сей счет он, как мне кажется, нащупывал парадигму фундаментальной общественной нравственности. Он легко отклонялся от основного пути и затрачивал слишком много усилий на осуждение идеологии (хотя он никогда не осуждал теологию).

Рональд Мик отмечал в своей марксистской интерпретации, что до формирования классической традиции экономические

теории занимались социальными проблемами<sup>32</sup> (я подозреваю, что под ними он подразумевал устойчивые императивы), такими как взаимоотношения работников и их хозяев.

Далее он говорит, что в классический период интерес сместился с исторически обоснованных рассуждений о классах, народе и организации общества к исторически необоснованным связям между производителями и благами. Я предполагаю, что видение, которое действительно искал Шумпетер, должно было включать в себя нечто сродни теологической парадигме, объединяющей основные, неизменные, этические и социальные ценности и динамическое функционирование эволюционирующей экономики.

Под основными человеческими и общественными ценностями я понимаю абсолютную истинную систему, которая была бы экзогенной по отношению к времени и месту. Именно по этой причине Шумпетер уделил так много внимания средневековым авторам и естественному праву, но его вторая женитьба после развода отдалила его от религии его предков. Аллен утверждает, что, хотя Шумпетер как будто бы считал *конвенциональные* религиозные верования делом смертных меньшего масштаба, чем он, с возрастом он становился все более мистически настроенным, причем до такой степени, что переписывался и разговаривал со своей умершей матерью и умершей второй женой (Allen 1991. I. P. 223–227; II. P. 58–59). Моя собственная оценка отличается от оценки Аллена, который, подобно многим современным ученым, строит свои рассуждения и суждения о религиозных концепциях и религиозности на узком, несколько формалистическом и институционализированном фундаменте. По-моему, Шумпетер был глубоко религиозным человеком, хотя его и нельзя приписать к одной из «организованных» религий. Его вторичное вступление в брак после развода, должно быть, исключило его из паствы Римско-католической церкви, но его преданность душам умерших матери и второй жены является важным свидетельством того, что кое-что из его прежних религиозных установок осталось.

В молодости он считал, что наука дает ответы на все вопросы. К моменту начала работы над «Историей» он стал меньше верить в науку (отметим его поклон в сторону крестового похода Хайека против сциентизма: Schumpeter 1954. P. 17) и испытывал больший интерес к исторической социологии. Моя точка зрения заключается в том, что его понимание видения, великое по сравнительным критериям, было все же неполным.

---

<sup>32</sup> Разумеется, в рамках диалектического течения.

С одной стороны, ввиду его религиозности в понятие видения входит также понятие вневременной всеохватывающей истины, которая включала науку, но при этом выходила за ее пределы, поскольку название «наука» было дано чудесному набору аналитических инструментов, которые, достигнув совершенства, также могут стать вневременными по своей природе, однако, разумеется, никогда не могут достичь того же величия, что и само общее видение.

С другой стороны, существовала также историческая социология, которая привела в систему массу материалов (включая методы изложения) о вечно изменяющихся обществах.

Я думаю, что Шумпетер проявил гениальность, установив связь между наукой и высшей истиной, но ему были известны и недостатки такого решения. Он знал, что научное достижение в одной области не только можно применить в других областях, но при этом в процессе перехода в другую область передается нечто большее, чем просто научный метод. Первоначальная область имеет свою собственную конфигурацию (*Gestalt*), а при переходе в другую область от первоначальной конфигурации иногда остаются только куски, которые могут оказаться совершенно чуждыми новой области. Ньютон, один из изобретателей дифференциального исчисления, был физиком, интересующимся механикой, а следовательно, и равновесием. Экономисты, оценившие потенциальные возможности дифференциального исчисления, часто не отдавали себе отчета в том, что применяли метод, заимствованный из физики, к дисциплине социально-биологического типа, где одной из важных истин является не равновесие, а постоянная мутация.<sup>33</sup>

Таким образом, я прихожу к выводу, что Шумпетер хотел создать такое видение, которое охватывало бы и связывало постоянное и экзогенное с социологически преходящим и внутренне обусловленным, но ему не удалось его найти. Реши он строить свою концепцию на основе работ американских институционалистов, таких как Коммонс и Митчелл, являющихся примерами изучения социологически преходящего при их неспособности найти вневременную истину, он смог бы показать дилемму с «нетеоретической» стороны.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Это пример Перлмана, а не Шумпетера, но я счел его полезным с педагогической точки зрения при объяснении того, что в части I «Истории экономического анализа» Шумпетер выдвинул более широкое видение, превосходящее по своим масштабам то, которое было изложено в работе *Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte*.

<sup>34</sup> Пренебрежение, проявленное Шумпетером по отношению к американским институционалистам, могло быть вызвано многими причинами. 1. Его фа-

В отличие от многих теоретиков своего времени Шумпетер, пусть с оговорками, выразил некоторое уважение к тому, что они пытались сделать; но он не сказал того, что должно было быть сказано: а) что они не видели дальше индивидуалистско-утилитаристской парадигмы Гоббса—Локка и б) что их незнание работы Парето о нерациональных системах сделало их работы значительно менее содержательными в теоретическом плане, чем следовало.

Возможно, проживи Шумпетер дольше, он привел бы в порядок свою работу. Но в том виде, в каком она была опубликована, критике подвергается скорее неполнота его видения, чем, согласно Блаугу, «неадекватная подача материала». Подобно многим персонажам Ветхого Завета, Шумпетер был великолепен, но не без изъяна; подобно им, он обладал великолепным видением, но пропорции его видения были несовершенны. Как и Эйнштейну, ему не удалось найти единой теории, но, подобно Эйнштейну, он верил, что где-то должна быть такая теория.

Я однажды дал такую оценку творчества Шумпетера, Митчелла и Прибрама:

«О Ференце Листе и Артуре Рубинштейне, выдающихся концертирующих пианистах, говорили, что «они часто пропускали ноты». Значит, можно быть авторитетным, не будучи всегда точным... Быть мастером — значит быть авторитетным, и каждый [из трех авторов: Шумпетер, Митчелл и Прибрам] достигает статуса мастера благодаря ярко выраженной и всесторонней оригинальности... пониманию интеллектуальной эволюции, а не вследствие хронологического охвата, точности и отшлифованности деталей» (Perlman 1986. P. 9).

Из всех этих мировоззренческих концепций видение Шумпетера было самым смелым; его взгляд простирался дальше других. Почему? Потому что, как писал Роббинс (и фактически все

---

культет в Гарварде был разделен на «среднезападников» и «европейцев». Он играл главную роль в последней группе, а его гарвардские коллеги-среднезападники были в большинстве институционалистами. 2. Частью «снобистской» или «интеллектуально корректной» профессиональной позиции того и многих других периодов было осуждающее отношение к социологии и историко-политическому анализу. 3. Он мог бы подойти ближе к этому материалу, проживи он дольше. 4. Не прочитав материал во всех подробностях или не имея времени привести его в систему (институционалисты были в этом не сильны), Шумпетер заключил (я бы сказал, ошибочно), что американский институционализм был провинциален или, возможно, если проявить больше великодушия, был в большой степени ограничен обществами, выбравшими утилитаристскую парадигму.

остальные), Шумпетер был более широко начитанным и обладал более богатым воображением, чем другие авторы.

Говоря словами Вайнера,

«эта книга написана человеком, обладающим энциклопедическими знаниями, быть может, последним эрудитом...

Шумпетер обладал знаниями и способностями, явно превышающими знания и способности, проявленные любым другим экономистом его или нашего времени, и в этой книге он употребил свои дарования на просвещение своих читателей с блеском и виртуозностью, которые восхищают и поражают, даже если не вполне убеждают» (Viner 1954. P. 894).

### Библиография

- Augello M. M.* (1990). *Joseph Alois Schumpeter: A Reference Guide*. Berlin: Springer-Verlag.
- Allen R. L.* (1991). *Opening Doors: The Life and Work of Joseph Schumpeter*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Bladen V. W.* (1956). Schumpeter's History of Economic Analysis and some Related Books//*Canadian Journal of Economics and Political Science*. 22. P. 103–115.
- Blanqui J.-A.* (1838). *Histoire de l'Économie Politique en Europe*.
- Blaug M.* (1985). *Economic Theory in Retrospect*, fourth edition. New York and Cambridge: Cambridge University Press; более ранние издания были опубликованы издательством Irwin в 1962 и 1968, и издательством Cambridge University Press в 1978 г.
- Cossa L.* (1875). *Guido allo Studio dell' Economia Politica*. Второе издание было впервые опубликовано на английском языке под названием *An Introduction to the Study of Political Economy* с предисловием Уильяма Стенли Джевонса в 1876 г.
- Dorfman J.* (1946–1949). *The Economic Mind in American Civilization: In 5 vol.* New York: Viking.
- Dühring E. K.* (1871). *Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus*.
- Gide C., Charles R.* (1948). *A History of Economic Doctrines from the Time of the Physiocrats until the Present Day*.
- Gray A.* (1931). *The Development of Economic Doctrine: An Introductory Survey*. London: Longmans, Green.
- Haberler G.* (1951). Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950//*Quarterly Journal of Economics*. 64. P. 333–372.
- Haberler G.* (1993). *The Liberal Economic Order*/Ed. by Antony Y. C. Koo. Aldershot, Hants, United Kingdom: Edward Elgar.
- Harris S. E.* (ed.) (1951). *Schumpeter, Social Scientist*. Cambridge, MA: Harvard University.
- Hayek F.* (1967a). Dr Bernard Mandeville//*Proceedings of the British Academy*. P. 125–141.

- Hayek F.* (1967b). Review of Joseph A. Schumpeter's History of Economic Analysis, in Studies in Philosophy, Politics, and Economics, Chicago: University of Chicago Press. Это сокращенная версия текста, который был опубликован издательством Фреман в 1954 г.
- Heertje A.* (1987). The New Palgrave. Vol. 4. P. 263-266.
- Kautz G.* (1860). Die Geschichtliche Entwicklung der Nationalökonomie und Ihrer Literatur.
- Knight F. H.* (1954). Schumpeter's History of Economics//Southern Journal of Economics. 21. P. 261-272.
- Little I.M.D.* (1995). Essays' in Bibliography and Criticism XXXI. History of Economic Analysis//Economic History Review: Series 2. P. 10, 91-98.
- Marx K.* (1867). Das Kapital.
- März E.* (1991). Schumpeter: Scholar, Teacher, and Politician. New Haven, CT: Yale University Press.
- McCulloch J. R.* (1845). The Literature of Political Economy: A Classified Catalogue: Select publication in the different departments of that science with historical, critical, and bibliographical notes. London: Longman, Brown, Green, and Longmans.
- Meek R.* (1957). Is Economics Biased? A Heretical View of a Leading Thesis in Schumpeter's History//Scottish Journal of Political Economy. P. 1-17.
- Mitchell W. C.* (1949). Lecture Notes on Types of Economic Theory: Form Mercantilism to Institutionalism//August Kelley, Bookseller, New York.
- Mitchell W. C.* (1967 and 1969) Types of Economic Theory: From Mercantilism to Institutionalism. С предисловием Джозефа Дорфмана. New York: Kelley.
- Perlman M.* (1982). Schumpeter as a Historian of Economic Thought// Helmut Frish (ed.), Schumpeterian Economics, Eastbourne, East Sussex, England: Praeger, 1981. P. 143-161.
- Perlman M.* (1986). Perceptions of Our Discipline: Three Magisterial Interpretations of the History of Economic Thought//History of Economics Society Bulletin, Winter Issue. P. 9-28.
- Perlman M.* (1990). Die Bienen-Fabel: Eine moderne Würdigung//von Hayek, Friedrich A., Perlman, Mark and Kaye, Frederick B. Bernard de Mandevilles Leben und Werk. Düsseldorf: Verlagsgruppe Handelsblatt.
- Pribram K.* (1993). A History of Economic Reasoning. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Richardson G. B.* (1955). Schumpeter's History of Economic Analysis//Oxford Economic Papers. 7. P. 136, 50.
- Robbins L.* (1955). Scumpeter's History of Economic Analysis//Quarterly Journal of Economics. 44. P. 1-22.
- Roll E.* (Lord Roll of Ipsden) (1938). A History of Economic Thought. London: Faber and Faber.
- Roscher W. G. F.* (1851). Geschichte der Englischen Volkswirtschaftslehre.
- Roscher W. G. F.* (1874). Geschichte der Nationalökonomie in Deutschland.
- Samuels P. A.* (1947). Foundations of Economic Analysis. Cambridge: Harvard University Press.

- Schumpeter J. A.* (1908). *Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie*. Munich and Leipzig (Duncker & Humblot).
- Schumpeter J. A.* (1912<sup>36</sup>). *Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung*. Leipzig: Duncker & Humblot. Имеется английский перевод Редверса Опи второго переработанного издания (1926): *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
- Schumpeter J. A.* (1914). *Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte*. Tübingen: J.C.B. Mohr. Имеется английский перевод Р. Ариса: *Economic Doctrine and Method: An Historical Sketch*. New York: Oxford University Press, 1954.
- Schumpeter J. A.* (1939). *Business Cycles: A Theoretical and Statistical Analysis of the Capitalist Process*, in two volumes. New York: McGraw-Hill.
- Schumpeter J. A.* (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper.
- Schumpeter J. A.* (1949). *Science and Ideology*//*American Economic Review*. 39. P. 345–359.
- Schumpeter J. A.* (1951). *Ten Great Economists from Marx to Keynes*. New York: Oxford University Press.
- Schumpeter J. A.* (1954). *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Spiegel H.* (1971). *The Growth of Economic Thought*. Durham, NC: Duke University Press.
- Stark W.* (1959). *The «Classical Situation» in Political Economy*//*Kyriolos*. 12. P. 57–65.
- Stigler G. J.* (1954). *Schumpeter's History of Economic Analysis*//*Journal of Political Economy*. 82. P. 344–345.
- Swedberg R.* (1991). *Schumpeter: A Biography*. Princeton: Princeton University Press.
- Taylor O. H.* (1955). *Schumpeter's History of Economic Analysis*//*Review of Economics and Statistics*. 37. P. 12–21.
- Viner J.* (1954). *Schumpeter's History of Economic Analysis: A Review Article*// *American Economic Review*. 44. P. 894–910.

<sup>36</sup> Сведберг (Swedberg 1991. P. 24) сообщает, что в действительности книга вышла в 1911 г.

## Предисловие редактора

«История экономического анализа», над которой Йозеф А. Шумпетер работал в течение последних девяти лет своей жизни и которую не успел завершить, явилась плодом его намерений перевести, пересмотреть и привести в соответствие с современностью «маленький очерк доктрин и методов» (Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte), написанный для первого тома издания Grundriss Макса Вебера, опубликованного в 1914 г.<sup>1</sup> Это было длинное эссе (около 60 000 слов) объемом немного более ста страниц, разделенное на четыре части, или главы. Как видно из оглавления этой работы, четыре части или главы очень кратко охватывают те же общие темы, которые значительно более подробно рассматриваются в частях II, III и IV «Истории экономического анализа», насчитывающей 1200 страниц. Первые две темы, касающиеся 1) развития экономической науки из работ философов и публичных дискуссий и 2) открытий в экономической науке, связанных с физиократами, Тюрго и Адамом Смитом, рассматриваются в одной части данной работы (часть II: От истоков до 1790 г.). Третий и четвертый разделы в обеих работах приблизительно параллельны. Четыре основные части Epochen таковы:

I. Die Entwicklung der Sozialökonomik zur Wissenschaft (Развитие экономической теории в науку).

II. Die Entdeckung des wirtschaftlichen Kreislaufs (Открытие круговорота экономической жизни).

III. Das klassische System und seine Ausläufer (Классическая система и ее ответвления).

IV. Die historische Schule und die Grenznutzentheorie (Историческая школа и теория предельной полезности).

Старый очерк более не переиздавался. Он никогда не переводился с немецкого на английский язык, но многих интересовала эта работа, и они настаивали на переводе. Проделав геркулесову работу, Й. А. Шумпетер закончил свой монументальный труд Business Cycles («Экономические циклы») в 1938 г. и ре-

---

<sup>1</sup> Grundriss der Sozialökonomik, I. Abteilung, Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. S. 19-124; опубли. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1914; 2-е изд. — 1924.

шил немного расслабиться, работая над книгой «Капитализм, социализм и демократия», которую он рассматривал как популярное произведение. Он рассчитывал закончить ее за несколько месяцев, но завершил только в 1941 г. Тем временем Й. А. Шумпетер начал вести семестровый курс по истории экономической мысли в Гарварде. Он начал читать курс осенью 1939 г., а закончил весной 1948 г. Он читал его ежегодно, за исключением 1940 г., когда был в отпуске. Это, вероятно, стало решающим фактором. Он снова преподавал ту область науки, которая всегда его интересовала. Было естественно задуматься о написании книги, посвященной данной области. Он мог бы перевести, пересмотреть и привести в соответствие с современностью свою же работу Erschen. Вначале Й. А. Шумпетер не делал особого ударения на чисто аналитическом элементе, содержащемся в трудах экономистов, которых он обсуждал в своих лекциях и о которых писал. В течение долгого времени у меня было впечатление, что он писал историю экономической мысли.

Первоначальный план Й. А. Шумпетера не был очень амбициозным. Он, разумеется, не намеревался потратить девять или десять лет на историю экономического анализа. Вначале он, вероятно, планировал в течение нескольких месяцев или года посвящать свое свободное время написанию небольшой книги объемом триста-четырееста страниц. Позднее возникла мысль о написании большого тома в шестьсот-семьсот страниц. Основной интерес Й. А. Шумпетера заключался в работе над теорией, и он планировал написать работу, которая стала бы его главным вкладом в этой области. Он постоянно совершенствовал свои знания в математике, поскольку верил, что она являлась необходимым инструментом современной теории. Он рассматривал возможность разработки теории, которая смогла бы однажды синтезировать динамическую экономическую теорию таким же образом, как система Вальраса синтезировала статическую экономическую теорию. Со временем Й. А. Шумпетер изменил свои планы, он хотел сначала написать небольшое введение к теории, которое послужило бы для нее тем же, чем «Общая теория занятости, процента и денег» была для кейнсианской теории. Он читал текущую теоретическую литературу (по большей части в периодике), работал над математикой и собрал большой объем заметок. Результаты этой работы отражены в некоторых более поздних частях «Истории», особенно в тех, где резюмируются современные тенденции.

Трудно в точности сказать, почему работа Й. А. Шумпетера над «Историей» постепенно все более усложнялась и отнимала

у него все больше и больше времени. Отчасти это объяснялось непрерывным расширением его интересов — ему все труднее было ограничиться кратким рассмотрением какой-либо темы, которая все сильнее захватывала его. (Например, в начале 1940-х гг. его поглотил интерес к учению схоластов и философов естественного права.) Кроме того, здесь он мог сплести воедино нити всех своих интересов: философию, социологию, историю, теорию и такие прикладные области экономики, как деньги, циклы, государственные финансы, социализм. Мне кажется, что какую-то роль в этом сыграла война. Я помню, как Й. А. Шумпетер говорил одному или двоим друзьям, что находил свою работу над «Историей» успокоительной в военное время. Она отвлекала его от жестокой действительности, приносившей безмерные огорчения, поскольку он был убежден, что война разрушит цивилизацию, которую он любил.

Как всегда, он все писал от руки и хранил все написанное. Следовательно, можно проследить, как усложнялись его ранние разработки. Возможно, Й. А. Шумпетер начал писать «Историю» в 1941 г. В течение 1942 и 1943 гг. он, по-видимому, перепечатал на машинке очень много глав и разделов, большая часть которых была впоследствии пересмотрена. Единственными существенными частями «Истории», написанными раньше и не переписанными впоследствии, являются глава «Меркантилистская литература», отпечатанная на машинке в июне 1943 г., глава про Sozialpolitik и исторический метод, часть которой была отпечатана на машинке в январе 1943 г., а остальное — в декабре 1943 г., и раздел «Четыре постулата Сениора» в начале главы 6 части III (Общая экономика: чистая теория). Возможно, эти части тоже были бы пересмотрены или переписаны, если бы Й. А. Шумпетер успел завершить труд до своей кончины. Несколько страниц из раннего варианта были включены в более поздние варианты. Этот процесс описан с некоторыми подробностями в Приложении.

Со временем Шумпетер начал подчеркивать, что его книга представляла собой историю экономического анализа, а не историю экономической мысли. Он ясно выражает это в кратком описании, составленном в 1949 г. для его английских издателей Аллена и Ануина:

«В данной книге будет описано развитие и судьбы научного анализа в области экономической науки от греко-римских времен до настоящего времени в соответствующем контексте общественной и политической истории, где будет уделено некоторое внимание развитию других общественных наук, а также философии. Идеи относительно экономи-

ческой политики, витающие в общественном сознании или могущие быть приписаны законодателям и администраторам, воплощены они или нет в разработанные системы, такие как либерализм, солидаризм и т. п., на которые обычно ссылаются как на экономическую мысль, входят в книгу только как часть исторического контекста. Предметом книги является история усилий, направленных на описание и объяснение экономических фактов и на создание механизмов осуществления этой задачи.

Поскольку сама возможность трактовки истории экономической науки как истории любой другой науки спорна, часть I книги полностью посвящена методологическим вопросам, связанным с подобным подходом, а особенно вопросу, в какой степени справедливо делать различие между научным экономическим анализом и экономической мыслью, несмотря на наличие взаимодействия между ними.

В части II рассказывается о росте исторического, статистического и теоретического знания экономических явлений, начиная с Древней Греции до возникновения экономической науки как признанной специальной области знания и до вытекающего отсюда появления во второй половине восемнадцатого века систематических трактатов, из которых наиболее успешным явилось «Богатство народов» А. Смита. Часть III охватывает период между 1776 г. [позднее заменен на 1790 г.] и 1870 г., а часть IV охватывает период с 1870 по 1914 г. Задачей части V является помочь читателю соотнести настоящее состояние экономической науки с работой в этой области в прошлом. По всей книге я стремился выделить наиболее важные контурные линии, не жертвуя правильностью ради простоты изложения\*.

Я указала вначале, что Й. А. Шумпетер работал над «Историей экономического анализа» в течение последних девяти лет жизни. В более широком смысле он работал над ней всю свою жизнь. Вероятно, все его труды и вся его преподавательская деятельность способствовали достижению конечного результата. Например, лекция, которую он прочел, покидая в 1911 г. Черновцы, была озаглавлена *Vergangenheit und Zukunft der Sozialwissenschaften*.<sup>2</sup> Это был краткий набросок того, что сначала превратилось в *Epochen*, а затем стало «Историей экономического анализа».

<sup>2</sup> «Прошлое и будущее социальных наук». Пересмотренный и расширенный вариант был опубликован издателями Duncker & Humblot (1915) в *Schriften des Sozialwissenschaftlichen Akademischen Vereins in Czernowitz*.

Его Президентское обращение к Американской экономической ассоциации в декабре 1948 г. («Наука и идеология») касалось некоторых проблем методологии, которые он поднимает в части I «Истории». Курс по истории экономической мысли, который он вел в Гарварде, охватывал в основном период от Смита до Маршалла, и особое ударение делалось на системе экономической теории Рикардо. В курсе «Продвинутой экономической теории»<sup>3</sup> он обсуждал многие проблемы, о которых написано в главе 7 части IV (Анализ равновесия) и в части V. Он вел также в Гарварде теорию социализма, а иногда теорию экономических циклов и теорию денег. В Боннском университете Й. А. Шумпетер занимал кафедру государственных финансов, а также вел семинар, который во многом касался теории, включая теорию денег, и эпистемологии. Читая около года лекции в Йельском университете, он преподавал курс международной торговли. Не только его лекции, но также множество статей, касавшихся почти всех аспектов экономической науки, многочисленные рецензии на книги, биографические очерки, книги — все составляло часть подготовительного материала к «Истории экономического анализа». Даже его чтение для удовольствия и отдыха (он любил читать биографии, по преимуществу многотомные) способствовало приобретению того поразительного знания людей, событий и обстановки, которое проявляется на протяжении всей «Истории экономического анализа» и может оживить для некоторых читателей сухие рассуждения о тонкостях данного предмета.

Ни одна из частей рукописи не обрела окончательной формы, но одни части были более близки к завершению, чем другие. Три основные части (II, III и IV) были практически закончены, за исключениями, отмеченными в Приложении; вводная часть I и заключительная часть V писались в самом конце. Последним фрагментом, написанным в конце 1949 г., была, очевидно, глава

<sup>3</sup> В начале списка литературы для этого курса (Economics 203a) в первом семестре 1948–1949 гг. мы находим следующее краткое описание: «Основной целью данного курса является обучить студентов искусству концептуализировать ключевые черты экономического процесса. Но обсуждение отдельных проблем обеспечит возможность критически пересмотреть значительные части традиционной теории, как старой, так и новой. Программа на этот семестр включает, во-первых, предварительный обзор некоторых основных понятий, особенно таких, как определенность и устойчивость; во-вторых, общую динамику агрегированных экономических показателей; в-третьих, общую теорию поведения домохозяйств и фирм. Хотя желательным обладать некоторыми знаниями в области дифференциального исчисления и дифференциальных уравнений, мы не будем делать особого ударения на чисто математических аспектах».

о Кейнсе и современной макроэкономике, помещенная в конце части V. Она была оставлена для перепечатки на машинке, когда он отправился в Таконик на Рождество и в Нью-Йорк на конференцию Американской экономической ассоциации. По возвращении с конференции он начал писать свое выступление «Марш в социализм» (The March into Socialism), а также вычитывать отпечатанный на машинке текст части III «Истории». Он оставил несколько страниц заметок для переделки первых трех или четырех глав этой части, посвященной «классической» экономической науке. Его смерть 8 января 1950 г. сделала осуществление этой правки невозможным.

Вся «История» сначала была написана от руки. Некоторые части, как, например, глава о деньгах (часть II, глава 6), и много материалов, посвященных Вальрасовой системе равновесия (часть IV, глава 7, § 7) существовали только в рукописном виде и не были отпечатаны на машинке. Другие части были перепечатаны, но не вычитаны автором. Некоторые части были прочитаны автором после перепечатки на машинке и поправлены карандашом, при этом делались заметки и ставились вопросы для дальнейшего пересмотра материала. Остались незаполненные ссылки, Й. А. Шумпетер сказал мне, что ссылки необходимо проверить. Я нуждалась в помощи для выполнения этой задачи. Читатель — профессионал в данной области найдет более подробные сведения по этим вопросам в редакторских заметках по всей работе и в Приложении, составленном редактором.

В течение большей части периода своей работы над книгой Й. А. Шумпетер не имел постоянного секретаря, но ему помогали люди, которые разбирали его почерк и печатали для него на машинке. Время от времени он отсылал им на перепечатку толстую пачку законченных рукописей. Большую часть писем он писал от руки. Это, конечно, было большой дополнительной нагрузкой в его работе и означало, что никто и никогда не регистрировал и не подшивал его материалы, как это мог бы сделать опытный секретарь. Только летом 1948 г., когда он стал президентом Американской экономической ассоциации и одновременно продолжал заниматься всеми другими своими делами, у него появился секретарь на неполный рабочий день. Даже тогда он не проявлял желания потратить время на то, чтобы надлежащим образом проинструктировать секретаря, поскольку времени никогда не хватало, чтобы успеть сделать все запланированное: преподавание, консультации, чтение, работа над книгой, переписка.

Я как редактор поставила перед собой задачу просто представить насколько возможно полный и точный вариант того, что

Й. А. Шумпетер действительно написал, но не пыталась завершить то, что он не успел. Не существует плана работы в целом, и я не читала ни одного плана до смерти Й. А. Шумпетера, поскольку он хотел, чтобы я начала с введения, над которым он работал, и прочла всю работу в нужном порядке. Материал обнаруживался во многих местах (часть в ящиках с карточками, часть в кипах на полках): в его кембриджском кабинете на Акасиа-стрит, в кабинете в Таконике и небольшая часть — в его офисе в Литтауер-Центре. Мне понадобилось два или три месяца, чтобы обнаружить, что «История» была почти завершена, и в течение еще некоторого времени я продолжала находить параграфы и подразделы. Первоначальная сборка воедино отдельных кусков затруднялась тем, что страницы рукописи часто не были пронумерованы вовсе, а материал, перепечатанный на машинке, не имел последовательной сквозной нумерации с самого начала — она шла лишь в пределах небольших пачек по мере их напечатания. Й. А. Шумпетер пользовался только первым машинописным экземпляром для издателя. Он никогда не заботился о копии для себя. К счастью, разные люди, перепечатающие рукопись на машинке, оставляли копии, и эти копии были свалены в кучу в одной из комнат на четвертом этаже дома по Акасиа-стрит. Некоторые из них, особенно копии, сделанные в 1943 и 1944 гг., были датированы. Я продолжала искать, пока не находила материал, написанный от руки, и первый машинописный экземпляр, соответствующий копии. Во многих случаях машинописные копии представляли собой ранние трактовки, впоследствии отброшенные или частично включенные в более поздние варианты. Перечитывая всю книгу снова и снова, я обнаружила, что, хотя не было написано никакого плана или оглавления, такой план существовал внутри текста. Дело несколько осложнилось тем, что первоначальное число глав было сокращено с восьми до семи в части II и с десяти до восьми в части IV. Однако в конце я почти без труда определяла, куда следует отнести каждый параграф или подраздел, или решала, какой из двух или более вариантов являлся позднейшим. Эти проблемы рассмотрены в Приложении.

Задача была бесконечно осложнена объемом книги. Несмотря на то что я экономист с некоторым издательским опытом, было нелегко собрать воедино столь обширный труд, где упомянуто так много экономистов, пишущих на стольких языках, и охвачен такой длительный период. Обычно процесс был организован следующим образом: перепечатывались разделы, написанные от руки;

затем разные помощники прочитывали мне рукопись, в то время как я правила машинопись, дополняла и проверяла ссылки, писала, где требовалось, заголовки и подзаголовки; после того как издательство Oxford University Press отпечатывало типографским способом машинописную рукопись, я еще раз просматривала эту часть, вносила изменения, давала ссылки на другие части книги, сверяла с каталожными карточками авторов; и, наконец, разные помощники прочитывали для меня целиком авторский экземпляр, а я корректировала гранки. В процессе каждого последующего прочтения «Истории» выявлялось все больше мелких неточностей и неопределенностей. Несомненно, этот процесс мог бы продолжаться бесконечно, но ограниченность сроков требовала разумно определить, где пора остановиться.

Мне представляется уместным выразить здесь глубокую признательность за дар Дэвида Рокфеллера и грант Фонда Рокфеллера, что позволило привлечь к описанной выше работе секретарей и издательских работников.

Возможно, здесь сто́ит упомянуть одну трудность. Это особенно касается неоконченных частей «Истории». Й. А. Шумпетер часто начинал и откладывал в сторону множество вариантов трактовки одного и того же предмета. Он держал все эти черновые тексты вместе со своими первоначальными заметками и законченными кусками рукописи, поэтому не всегда было легко понять, какой вариант являлся более или менее окончательным. Иногда ключом к решению этого вопроса служила дата ссылки или включение в поздний вариант одной-двух страниц из более раннего.

Другую трудность составляло то обстоятельство, что его планы или заметки относительно пересмотра материала часто были написаны на смеси английского, немецкого и стенографических знаков. Четыре страницы подобных заметок воспроизведены в Приложении (план и последняя страница главы о деньгах в части II и два плана для части V). Я не пыталась ни интерпретировать, ни дорабатывать написанные стенографическими знаками пересмотренные материалы и краткие предложения относительно переделок. Я лишь включила простые исправления в первый машинописный экземпляр. Первоначальная рукопись, альтернативные варианты, заметки и первый экземпляр с поправками и предлагаемыми переделками, написанными рукой Й. А. Шумпетера, будут сданы в Хафтонскую библиотеку Гарвардского университета, где ими могут пользоваться интересующиеся данными материалами ученые.

Материал был дополнен редактором только с целью добиться большей ясности или согласованности; такие дополнения заключены в квадратные скобки. Это относится в основном к заголовкам и подзаголовкам, редакторским примечаниям в тексте и редакторским сноскам. Вначале Й. А. Шумпетер просто нумеровал свои параграфы. Со временем он добавил заглавия параграфов и подразделов.

Иногда он оставлял пустые места, если окончательное решение еще не было принято.

Заголовки, добавленные редактором, составлялись исходя из текста, и все они заключены в квадратные скобки. В квадратных скобках приведены как авторские, так и редакторские примечания, но их почти всегда легко различить. Комментарии автора обычно находятся в середине цитаты, а материалы редактора даны в виде законченных предложений в конце примечаний, как самостоятельные сноски, или в виде целого абзаца в тексте. В тех местах, где существует опасность путаницы, используются инициалы «Й.А.Ш.» или сокращение «ред.».

В работе есть повторения, о которых хорошо знал Й. А. Шумпетер, и иногда отсутствует материал, обещанный автором «выше» или «ниже». По большей части я не пыталась устранить повторы, за исключением очевидных и близко расположенных. В случае когда одна и та же статья приводилась несколько раз по разным поводам или одна и та же идея была высказана несколько раз в разных частях текста, я не чувствовала себя достаточно компетентной для того, чтобы изымать одни ссылки и оставлять другие, хотя сам автор, возможно, сделал бы это. Я попыталась привлечь внимание в сносках к наиболее важным упущениям, которые объясняются незаконченностью некоторых частей работы. По совету Ричарда М. Гудвина я также указала в сносках на некоторые другие труды автора, относящиеся к рассматриваемым в данной книге проблемам, хотя Й. А. Шумпетер едва ли когда-либо ссылался на собственные работы в своих лекциях или книгах. Несомненно, другие смогли бы выполнить эту задачу лучше, но ни у кого, кроме меня, не было времени, чтобы вновь и вновь перечитывать труд такого объема.

Иногда невозможно было прочесть какое-либо слово, иногда какое-нибудь слово было опущено или предложение оставалось не закончено. С этими проблемами я справлялась в меру своих способностей. Авторский словарь очень богат, и многие необычные английские слова пришлось разыскивать в Большом Оксфордском словаре. Целый ряд названий иностранных книг, приведенных в работе, не удалось найти ни в одной из гарвардских

библиотек, не было их и в каталоге Библиотеки Конгресса. Пользуясь различными каталогами иностранных книг и благодаря помощи ученых в нашей стране и в Европе, я со временем смогла проверить почти все ссылки на авторов и заглавия книг.

В большинстве случаев (когда это было важно) Й. А. Шумпетер был точен в отношении изданий, которыми он пользовался, но иногда возникали некоторые затруднения, поскольку автор работал в стольких местах, в течение такого длительного периода, что неизбежно пользовался разными изданиями приводимых работ. Несомненно, до своего прихода в Гарвард в 1932 г. он для своих заметок и трудов пользовался европейскими университетскими библиотеками и собственной обширной библиотекой. В то время его библиотека была упакована и хранилась в Юлихе около Бонна. Библиотека не была доставлена в США до войны, поскольку вначале у Шумпетера для нее не было места, а позднее возникали различные «практические трудности» (возможно, больше воображаемые, чем реальные). Затем началась война. Позднее библиотека была уничтожена во время бомбежек Юлиха американскими ВВС. Только около сотни книг (в основном английские биографии) было спасено из-под обломков. После 1932 г. Й. А. Шумпетер пользовался книгами, приобретенными в США, и моей библиотекой книг по экономике в Таконике. Во время войны он провел много времени, спокойно работая в Kress Library of Business and Economics при Гарвардской школе бизнеса. (Он прочитывал большой объем профессиональной периодической литературы, а также новые книги и переиздания на многих языках, которые ему отовсюду посылали ученые.) Этим можно объяснить использование в «Истории» как более ранних, так и более поздних изданий одной и той же работы, а также тот факт, что я нашла ссылки на страницы двух различных английских переводов I тома «Капитала» (Das Kapital) и на оба издания (английское и американское) Кернса (Some Leading Principles) и Кейнса (Tract on Monetary Reform). Первоначальная работа над произведением Тюрго (Réflexions) была, очевидно, сделана до выхода в свет издания Шелле.

Я не делаю попытки составить библиографию к книге «История экономического анализа». В каком-то смысле всю «Историю» можно рассматривать как библиографию. Я, однако, привожу список цитируемых книг в том случае, когда важно, какое издание было использовано и если оно не упоминалось специально в каждом случае. Й. А. Шумпетер пользовался четвертым изданием «Принципов» Маршалла (1898 г.), поскольку у нас обоих

было это издание. (У него были большие сомнения на этот счет, и он думал, не стоит ли перейти к более позднему изданию.) Этот список книг (с указанием используемого издания) можно найти в конце работы, непосредственно за Приложением.

Читатель может быть поражен значительностью материала, напечатанного с отступом, который встречается на первых 566 страницах этой работы. Следует сразу же признать, что это ошибка, следствие недоразумения между типографией и издательством с одной стороны и редактором — с другой. Все напечатанные с отступом материалы должны были быть представлены в виде сносок, поскольку они предположительно представляют меньший интерес для среднего читателя.

Следует напомнить, что Й. А. Шумпетер пытался написать книгу, которую можно было бы выпустить в одном томе объемом около шестисот-семисот страниц. Однако со временем его замысел в значительной степени усложнился, он понял, что книга становилась слишком объемистой и что вопросы, которые он в ней рассматривал, могли не заинтересовать среднего читателя. Ввиду этого он решил написать книгу на двух уровнях, где более или менее технический материал, эпистемологические и философские рассуждения, а также биографические очерки были бы набраны петитом и заняли бы меньше места, чтобы их можно было легче перескочить. В машинописном тексте это указано: соответствующий материал напечатан через одия интервал, как сноски. В типографии при подборе подходящего шрифта для книги решили, что получается слишком много петита, и решили набрать этот «второстепенный» материал корпусом, но с отступом, нарушив, таким образом, волю автора относительно выделения в тексте материала меньшей важности.

К сожалению, этот план не был ясен для меня, и почти половина «Истории» уже была готова в виде гранок, прежде чем я увидела хотя бы одну верстку. Чтобы сделать новый набор всего материала, потребовались бы значительные расходы и удлинение сроков. Ввиду этого я в большинстве случаев оставила все как было и заставила перебрать петитом только небольшие разделы с неполным или весьма техническим материалом. Взгляд на те страницы книги, где рассматривается творчество Конта, «Логика» Милля и работы Лонгфилда, Тюнена и Джона Рэ, даст представление о том, какой материал автор намеревался сделать вспомогательным. Я не уверена, что он всегда был прав, подчеркивая важность одних материалов и принижая значение других, особенно по отношению к биографическим очеркам, которые нравятся большинству людей, прочитавших их.

В остальной части «Истории» (это последние две главы части III, а также части IV и V) я разделила «второстепенный материал» по шрифту на корпус и петит. Там остались лишь два или три «философских» рассуждения, напечатанные с отступом, как раньше. Почти все биографические скетчи, причем некоторые из них были довольно длинными, были напечатаны крупным, а не мелким шрифтом, как и было первоначально намечено. Я сделала это, поскольку была убеждена, что было бы трудно прочесть так много материала, набранного очень мелким шрифтом, выбранным ранее для сносок, хотя эти изменения были сделаны вопреки моей воле опубликовать «Историю» с максимальным приближением к указаниям самого Й. А. Шумпетера. Рукопись и первый экземпляр, сданные в Хафтонскую библиотеку, послужат свидетельством замысла автора.

Здесь я могу упомянуть только очень небольшое число людей, без чьего совета или помощи я не смогла бы подготовить работу к публикации. Артур В. Марджет был первым, кто прочитал всю «Историю» в машинописи, дал советы относительно незаконченных разделов и обсудил со мной в общих чертах мою линию поведения как редактора. Он также собрал воедино и отредактировал главу о ценности и деньгах в части II. Эта глава никогда не перепечатывалась на машинке, страницы рукописи не были пронумерованы, и в нескольких случаях возникали сомнения относительно порядка страниц. Готфрид фон Хаберлер также прочел большую часть машинописного материала и помог мне проверить неясные ссылки и прояснить смущавшие меня теоретические вопросы. Пол М. Суизи прочитал все верстки, внес много ценных предложений и указал на несколько ускользнувших от меня ошибок. Ричард М. Гудвин первый собрал для меня материал для незаконченной главы 7 в части IV и для части V. Эти части не были закончены, Й. А. Шумпетер работал над ними незадолго до смерти. Он предоставил важный материал, касающийся анализа равновесия и современных достижений. Альфред Х. Конрад прочел некоторые машинописные материалы и многие корректуры, а также проверил математические формулы. Уильям Дж. Феллнер прочитал некоторые машинописные материалы, а Александр Гершенкрон — несколько корректур. Фрида С. Уллиан была изобретательна и неутомима в поисках сведений о неизвестных авторах. Анна Торп помогала на каждом этапе этой книги, начиная с перепечатки на машинке части рукописи много лет тому назад до оказания мне помощи при чтении корректуры и подготовке указателя. То обстоятельство, что

она разбирала сложный почерк Й. А. Шумпетера и была знакома с его методами работы, помогло решить многие проблемы. Моя благодарность обращена к этим людям и ко всем другим, кто так или иначе помог мне издать «Историю экономического анализа».\*

*Таконик, штат Коннектикут,  
Элизабет Буди Шумпетер  
июль 1952 года.*

#### Примечание.

После смерти профессора Шумпетера и до последних недель своей продолжительной болезни миссис Шумпетер посвящала большую часть своего времени подготовке данной книги к публикации. Ко времени ее кончины указатель авторов был почти закончен, но работа над предметным указателем только началась. Др. Роберт Кюнне взял на себя изнурительную задачу подготовки предметного указателя; он также дополнил указатель авторов и привел оба указателя в соответствие.

Издатели глубоко признательны профессору Василию Леонтьеву за его помощь в осуществлении публикации книги.

---

\* <В угловых скобках даны примечания русских издателей>.

## Глава 1

### (ВВЕДЕНИЕ И ПЛАН)

1. План книги
2. Почему мы изучаем историю экономической науки?
3. Является ли экономика наукой?

#### 1. План книги

Под «историей экономического анализа» я подразумеваю историю интеллектуальных усилий, предпринятых людьми для того, чтобы *понять* экономические явления, или, что то же самое, историю аналитических или научных аспектов экономической мысли. В части II этой книги представлена история этих интеллектуальных усилий, начиная с самых ранних различных истоков до последних двух-трех десятилетий XVIII в. включительно. В части III рассмотрен следующий период, до начала 1870-х гг., который можно назвать, хотя весьма неточно, периодом английской «классики». В части IV рассказано о судьбах аналитической или научной экономики от (опять-таки весьма приблизительно) конца «классического» периода до Первой мировой войны, хотя ради удобства история некоторых тем будет доведена до настоящего времени. Эти три части составляют большую часть книги и охватывают основную массу вошедших в нее исследований. Часть V представляет собой беглый обзор современных достижений, отчасти облегченный только что упомянутыми экскурсами в наши дни, содержащимися в части IV. Часть V призвана помочь читателю понять, как современная аналитическая работа смыкается с прошлой.

Перед лицом громадной задачи — в данной книге мы лишь ставим ее, но отнюдь не решаем — мы осознаем один тревожный факт. Каковы бы ни были проблемы, которые, подстерегая неосторожного, скрываются под поверхностью истории любой науки, ее исследователь, как правило, достаточно уверен в своем предмете, чтобы приступить к работе немедленно. В нашем случае все не так. Здесь сами идеи экономического анализа, интеллектуальных усилий, науки «исчезают в дыму» и правила или

принципы, которые должны водить пером историка, подвержены сомнению и, что еще хуже, ложному пониманию. Поэтому частям II–V будет предпослана часть I, призванная объяснить — настолько полно, насколько позволяет объем книги — мои взгляды на суть предмета и концептуальную схему, которой я предлагаю воспользоваться. Позже я подумал, что следует включить сюда ряд тем, имеющих отношение к социологии науки, т. е. к теории науки, рассматриваемой как социальный феномен. Но заметьте: весь упомянутый материал помещен здесь для того, чтобы дать информацию о принципах, которым я собираюсь следовать, или об общем духе этой книги. Доводы, приведенные в пользу принятия этих принципов, не смогут быть полностью представлены в данной главе. Они просто облегчат понимание того, что я попытался сделать, или послужат основанием для читателя отложить книгу в сторону, если ее дух придется ему не по вкусу.

## 2. Почему мы изучаем историю экономической науки?

Почему мы вообще изучаем историю *любой* науки? Как считают некоторые, для того, чтобы сохранить все полезное, что содержалось в трудах предшествующих поколений. Предполагается, что концепции, методы и выводы, не представляющие интереса для современной науки, вообще недостойны внимания. Тогда зачем обращаться к авторам прежних лет и их устаревшим взглядам? Может быть, предоставить все это старье заботам немногих специалистов, находящих вкус в таком занятии?

В поддержку такой точки зрения можно сказать многое. Действительно, лучше уж «списать» старомодный образ мысли, чем бесконечно за него цепляться. И все-таки полезно иногда заглядывать в чулан, если, разумеется, там слишком долго не задерживаться. Выгоды, которые мы от этого надеемся получить, можно разбить на три группы: педагогические преимущества, новые идеи и понимание логики человеческой мысли. Рассмотрим их по очереди применительно к любой отрасли науки, а затем покажем, почему экономическая наука особенно нуждается в историческом экскурсе.

Во-первых, преподаватели и студенты, считающие, что для знакомства с наукой достаточно прочесть только самый последний трактат, скоро обнаружат, что столкнулись со значительными трудностями, которых можно было бы избежать. Если в этом последнем трактате нет хотя бы краткого исторического очерка, то никакая глубина, новизна, строгость и эlegantность изложения не помогут студентам (по крайней мере, большинству из них)

понять, в каком направлении развивается наука и каково значение данного трактата в этом развитии. Дело в том, что в любой отрасли знаний набор проблем и методов их решения, существующий в каждый конкретный момент, предопределяется достижениями и упущениями тех, кто работал раньше, в совершенно иных условиях. Невозможно полностью осознать значение этих проблем и адекватность данных методов, если мы не знаем предшествующих проблем и методов их решения, реакцией на которые является сегодняшняя ситуация. Научный анализ — это не просто логически последовательный процесс, начинающийся с какой-то примитивной стадии и идущий по пути неуклонного прогресса. Это не поступательный процесс открытия новой объективной реальности, каким может быть, например, открытие и описание бассейна реки Конго. Процесс научного анализа напоминает, скорее, непрерывную борьбу с тем, что уже создано нами и нашими предшественниками. Его прогресс (насколько он существует) диктуется не логикой, а влиянием новых идей, наблюдений, потребностей и не в последнюю очередь особенностями характера новых исследователей. Поэтому любой трактат, претендующий на освещение «современного состояния науки», в действительности излагает методы, проблемы и выводы, которые исторически обусловлены и имеют смысл только в контексте исторических условий их возникновения.

Иными словами: состояние любой науки в данный момент в скрытом виде содержит ее историю и не может быть удовлетворительно изложено, если это скрытое присутствие не сделать открытым. Хочу тут же добавить, что этот педагогический принцип будет последовательно проводиться на протяжении всей книги и диктовать выбор материала для обсуждения, иногда в ущерб другим важным критериям.

Во-вторых, изучение истории науки часто придает нашему сознанию творческий импульс. Воздействие истории на разных исследователей неодинаково, но, видимо, лишь в очень немногих случаях оно начисто отсутствует. Только поистине ленивые умы не способны расширить горизонт своих знаний, оторвавшись от работы на злобу дня и созерцая величественные горные цепи, созданные мыслью наших предшественников. Продуктивность такого творческого импульса может проиллюстрировать хотя бы тот факт, что основные идеи, вылившиеся затем в специальную теорию относительности, были впервые высказаны в книге по истории механики.<sup>1</sup> Помимо вдохновения каждый из нас,

---

<sup>1</sup> Mach E. (Э. Мак) Die Mechanik in ihrer Entwicklung: historisch — kritisch dargestellt (1-е изд. — 1883; см. Приложение Дж. Петцольдта к 8-му изданию); английский перевод Т. Дж. Мак-Кормака содержит дополнения и изменения, внесенные до 9-го (последнего) издания в 1942 г.

изучая историю своей науки, может получить полезные, хотя иногда и горькие, уроки. Мы узнаем о пустых и плодотворных противоречиях, о ложных путях, тупиках и напрасных усилиях, о кратких и прерванных периодах прогресса, о всевластии случая, о том, как не надо вести исследование, как выходить из затруднительных положений. Мы осознаем, в силу каких причин мы находимся именно на нашей стадии развития и не продвинулись дальше. Наконец, мы узнаем, *какие идеи в науке пользуются успехом и почему*, — вопрос, которому мы будем уделять внимание на протяжении всей книги.

В-третьих, высшая похвала, которую можно сделать истории любой науки, — это признать, что она позволяет нам проникнуть в тайны человеческого мышления. Разумеется, содержащийся в истории науки материал имеет отношение лишь к определенному виду интеллектуальной деятельности. Но в этих пределах она поставляет нам практически полную информацию. Она являет нам логику в конкретном применении, логику в действии, в сочетании с определенным видением проблемы и поставленной целью. В любой сфере человеческой деятельности мы имеем возможность наблюдать, как работает человеческое мышление, но ни в какой другой области, кроме науки, мы не сможем до такой степени приблизиться к нему, потому что именно ученые чаще всего берут на себя труд описывать свой мыслительный процесс. Каждый из них делает это по-своему: некоторые, например Гюйгенс, достаточно откровенны, другие, такие как Ньютон, более скрытны.

Но даже самый замкнутый из ученых обязательно раскрывает свой мыслительный процесс — такова природа научной деятельности (в отличие от политической). Именно поэтому всеми (от Хьюэллса и Дж. С. Милля до Вундта и Дьюи) признано, что общее науковедение (по-немецки: *Wissenschaftslehre*) — это не только приложение логики, но и лаборатория ее изучения. Научные приемы и методы не только поддаются оценке в соответствии с внешними логическими стандартами, но и сами вносят вклад в формирование таких стандартов и реагируют на них. Рискнув впасть в преувеличение, все-таки позволю себе утверждать, что из научного наблюдения и научного анализа можно выделить определенный вид практической логики, для чего, конечно, требуется изучение истории науки.

В-четвертых, предыдущие аргументы (прежде всего первые два) в особенности применимы к экономической науке. В параграфе 3 мы рассмотрим следствия того очевидного факта, что сам по себе предмет этой науки представляет собой уникальный исторический процесс, и, таким образом, экономическая наука раз-

личных эпох занимается различными фактами и проблемами. Уже один этот факт способен вызвать повышенный интерес к истории экономических идей. Но давайте временно отвлечемся от него, чтобы избежать повтора, и выделим значение другого факта. Как мы убедимся, экономической науке нельзя отказать в исторической непрерывности. В действительности наша основная цель как раз и состоит в описании процесса филиации научных идей — процесса, в ходе которого усилия людей понять экономические явления в нескончаемой последовательности порождают, совершенствуют и устраняют аналитические структуры. Один из главных выводов данной книги гласит, что этот процесс *в принципе* не отличается от аналогичных процессов в других отраслях знаний. Но по причинам, которые мы постараемся объяснить, филиация идей в нашей науке наталкивается на большие препятствия, чем в других.

Наши интеллектуальные достижения мало кого приводят в восторг, и меньше всех — нас самих, экономистов. Более того, они всегда были (и есть) не только скромными, но и крайне неупорядоченными. Методы сбора и анализа фактов, которые некоторые из нас считают непригодными или в принципе неверными, широко применялись и применяются другими экономистами. И хотя, как я хочу показать, в каждую эпоху существовала утвердившаяся профессиональная точка зрения по *научным* вопросам, часто выдерживавшая испытание серьезными политическими разногласиями, мы все же не имеем оснований говорить о ней с той же уверенностью, что и физики или математики. В результате мы не можем или не хотим доверить друг другу задачу обобщить современное состояние нашей науки.

В отсутствие удовлетворительных обобщающих работ нам принесет пользу изучение истории науки. Для экономической теории в гораздо большей степени, чем, например, для физики, справедливо положение, что современные проблемы, методы и результаты научных исследований не могут быть полностью поняты, если нам неизвестно, как именно экономисты пришли к нынешнему образу мыслей.

Кроме того, в нашей науке множество научных выводов (гораздо больше, чем в физике) было отвергнуто или оставалось в забвении в течение столетий. Мы столкнулись с примерами поистине ужасающими. Экономист, изучающий историю своей науки, скорее обнаружит интересное предположение или извлечет полезный, хотя и горький, урок, чем физик, который в принципе может спокойно исходить из того факта, что из работ его предшественников почти ничего ценного не пропало. Так почему же вновь не обратиться к истории интеллектуальных сражений?

### 3. Является ли экономика наукой?

Ответ на этот вопрос зависит, разумеется, от того, какой смысл мы вкладываем в понятие «наука». В повседневном речевом обиходе, а также в академических кругах (особенно в англо-франкоязычных странах) этим термином (*science*) часто обозначаются только естественные науки и математика. Экономическая теория, как и все общественные дисциплины, в этот ряд, следовательно, не попадает. Не сможет она в полном объеме называться наукой и в том случае, если за критерий научности принять использование методов, аналогичных методам естественных наук. Если же мы примем лозунг «наука есть измерение», то научной можно считать лишь малую часть нашей отрасли знания. В этом нет ничего зазорного: назвать какую-то область знаний наукой — это не комплимент и не порицание.

Для наших целей годится самое что ни на есть широкое определение: наука — это любой вид знания, которое является объектом сознательного совершенствования.<sup>1</sup> Процесс совершенствования порождает определенные приемы мышления — методы или технику исследования. Достижимая с помощью этой техники степень осмысления фактов выходит за пределы возможностей обыденного сознания. Поэтому мы можем принять определение, практически эквивалентное первому: наука — это любая область знания, выработавшая специализированную технику поиска и интерпретации (анализа) фактов.

Наконец, если мы хотим подчеркнуть социологический аспект, мы можем с тем же основанием сказать, что наука — это любая отрасль знания, в которой действуют люди (так называемые исследователи или ученые), занятые совершенствованием имеющегося в ней запаса фактов и методов и в силу этого осознающие факты и овладевающие методами их анализа лучше, чем «профаны» и простые «практики». Можно предложить и другие, не худшие определения. Вот еще два, которые мы добавим без комментариев: 1) наука — это усовершенствованный здравый смысл; 2) наука — это знание, вооруженное инструментами.

<sup>1</sup> Мы сохраним термин «точная наука» для второго значения слова «наука», упомянутого выше, т. е. для наук, пользующихся методами, более или менее сходными по логическому построению с методами математической физики. Термин «чистая наука» будет использован как антоним термину «прикладная наука» (французы использовали тот же термин, например *mécanique pure* («чистая механика») или *économie pure* («чистая экономическая теория»); они пользовались также термином *mécanique rationnelle* или *économie rationnelle* («рациональная механика» или «рациональная экономическая теория»); итальянский эквивалент — *meccanica pura* («чистая механика») или *economia pura* («чистая экономическая теория»); по-немецки это звучит как *reine Mechanik* («чистая механика») или *reine Ökonomie* («чистая экономическая теория»).

Поскольку экономисты используют технику анализа, недоступную широкой публике, экономическая наука безусловно является наукой в том смысле, который мы вкладываем в это понятие. Отсюда, казалось бы, следует, что написать историю этой техники — довольно-таки простая задача и тот, кто за нее возьмется, не должен испытывать никаких мук и сомнений. К сожалению, это не так. Мы не только не выбрались из чащи, мы даже еще не попали в нее. Прежде чем уверенно приступить к достижению цели, необходимо убрать с пути множество препятствий, самое серьезное из которых носит название «идеология». Этой работой мы займемся в следующих главах части I. Теперь же прокомментируем наше определение науки.

Во-первых, рассмотрим возражение, которое читателю может показаться «убийственным». Если определить науку как знание, вооруженное инструментами, т. е. по признаку использования специальной техники, то почему бы не включить в нее, скажем, первобытную магию? Она ведь использует технику, доступную далеко не каждому и передаваемую профессиональными магами из поколения в поколение. Конечно, мы должны это сделать! Дело в том, что магия и другие схожие виды деятельности часто неуловимо переходят в то, что мы сегодня признаем наукой: так, например, астрология была неразлучной спутницей астрономии вплоть до начала XVII в.

Есть и другой, еще более убедительный довод. Если мы исключим из области науки какой-либо вид вооруженного инструментами знания, это будет означать, что мы считаем свой критерий научности абсолютной истиной на все времена. Но это недопустимо.<sup>2</sup> В действительности мы можем оценить любой вид

---

<sup>2</sup> Наилучший способ убедиться в этом заключается в осознании того факта, что наши правила служат и, вероятно, всегда будут служить предметом споров и находиться в процессе изменений. Рассмотрим, например, следующий случай. Никто не доказал, что каждое четное число может быть выражено как сумма двух простых чисел, хотя еще не было найдено ни одного четного числа, которое нельзя было бы выразить таким образом. Теперь допустим, что данное предположение однажды войдет в противоречие с другим предположением, которое мы согласны принять. Следует ли из этого, что *существует* четное число, не являющееся суммой двух простых чисел? Математики-«классики» ответили бы «да». Математики-«интуicionисты» (такие, как Кронеккер и Брауэр) ответили бы «нет», т. е. первые допускают, а последние отказываются допустить обоснованность так называемых *косвенных доказательств теорем существования*, которые широко используются во многих областях науки, включая чистую экономическую теорию. Очевидно, что одной возможности подобного расхождения во мнениях о том, что составляет корректное доказательство, уже достаточно для того, чтобы наряду с прочими доводами доказать, что наши собственные правила нельзя принимать как абсолютную истину применительно к научному методу.

знания (в настоящем или в прошлом) только исходя из своих собственных стандартов, поскольку у нас нет других. Эти стандарты складывались на протяжении более чем шести столетий,<sup>3</sup> в течение которых допустимые рамки научного анализа все более сужались.

Когда мы говорим о «современной», «эмпирической» или «позитивной» науке,<sup>4</sup> то имеем в виду только эти, суженные критикой рамки. При этом современные методы анализа в разных науках различаются и, как мы уже отметили, никогда не бывают абсолютно бесспорными. В целом их отличают два главных признака: они ограничивают общее число доступных нам научных фактов лишь «фактами, верифицируемыми в ходе наблюдения или эксперимента», и оставляют из допустимых методов лишь «логический вывод из верифицируемых фактов». Впредь мы также будем стоять на точке зрения «эмпирической науки», по крайней мере в той степени, в какой ее принципы признаны в экономической науке. Однако читатель должен запомнить: хотя мы рассматриваем различные теории именно с данной точки зрения, мы не считаем ее «абсолютно верной».

Если даже с позиций «эмпирической науки» мы решим, что тот или иной тезис или метод является неудовлетворительным (разумеется, с учетом исторических условий его возникновения), мы не исключаем его тем самым из области научной мысли в нашем первоначальном (самом широком) определении, не отрицаем его научного характера,<sup>5</sup> критерий

---

<sup>3</sup> Эта оценка касается только западной цивилизации, а достижения древних греков учитываются лишь с тех пор, как они были унаследованы западноевропейской мыслью в XIII в. Отправным пунктом мы считаем «Сумму теологии» Фомы Аквинского, исключаящую Откровение из «философских дисциплин». Это был первый и самый важный шаг в методологии науки в Европе после крушения античного мира. Ниже будет показано, что кроме этого Фома Аквинский исключил из допустимых научных методов ссылки на авторитеты.

<sup>4</sup> Слово «позитивный» в данном контексте не имеет ничего общего с философским позитивизмом. Это одно из многих встречающихся в нашей книге предупреждений об опасности возникновения путаницы вследствие того, что авторы используют одно и то же слово для обозначения совершенно разных понятий; иногда и сами авторы путают разные вещи. Это важный момент, поэтому приведу примеры таких терминов: рационализм, рационализация, релятивизм, либерализм, эмпиризм.

<sup>5</sup> Все это весьма неадекватное изложение глубоких проблем, которых мы касаемся лишь поверхностно. Однако, поскольку рамки данной работы ограничены, я хочу только добавить, что наша интерпретация должна быть как можно дальше от: а) претензии на профессиональное всеведение; б) от желания проанализировать культурное содержание мысли прошлого в соответствии с нормами нашего времени и особенно в) от оценки чего-либо, кроме методов анализа. Некоторые связанные с этим вопросы проявятся в ходе дальнейших рассуждений.

которого (если он вообще существует) содержится в «профессиональных» стандартах данной эпохи и данной страны.

Во-вторых, из нашего первоначального определения «знания, вооруженное инструментами» следует, что в принципе невозможно точно датировать (хотя бы десятилетиями) зарождение (не говоря уже об «основании») науки (другое дело — зарождение определенного метода или «школы»). Как науки развиваются, так они и возникают: из обыденного опыта или из других наук, путем медленного прироста знаний, постепенной дифференциации, под благотворным или неблаготворным влиянием среды и отдельных личностей. Историческое исследование позволяет лишь сузить рамки того периода, когда с равным основанием можно признать или отрицать существование данной науки. Однако полностью развеять сомнения исследователей оно не в состоянии.

Что касается экономической науки, то заявление, что ее «основал» А. Смит, Ф. Кенэ, У. Петти или кто-нибудь другой и поэтому историческое исследование должно начинаться именно с него, можно объяснить лишь идеологическим предубеждением или невежеством. Однако следует признать, что изучение экономики представляет в этом отношении особенную трудность, поскольку здесь соотношение между обыденными и научными знаниями смещено в сторону первых гораздо больше, чем в остальных областях научных исследований. Известно, что богатый урожай влечет за собой низкие цены на продовольствие, а разделение труда повышает эффективность производства. Эти знания, очевидно, являются преднаучными, и бессмысленно видеть в них, если они встречаются в старых книгах, научные открытия. Прimitивный аппарат теории спроса и предложения научен. Но научные достижения в данном случае настолько скромны, что различить здравый смысл и научное знание можно здесь только по субъективным критериям.

Воспользуюсь случаем для экскурса в смежную область. Определить науку как вооруженное инструментами знание и связать ее с деятельностью особых групп людей — это почти то же самое, что подчеркнуть важность специализации, в результате которой (на сравнительно поздней стадии) возникли отдельные науки.<sup>6</sup> Но процесс специализации никогда не придерживался

<sup>6</sup> Добавлю, что внутри профессиональных групп научных работников обязательно возникает специальный язык, недоступный широкой публике. Этот рациональный процесс можно было бы рассматривать как критерий науки, если бы не то обстоятельство, что очень часто такой язык возникает лишь

никакого рационального плана — явного или неявного. Совокупность наук никогда не имела логичной структуры, она похожа скорее на тропический лес, чем на здание, возведенное по проекту. Индивиды и группы следовали за своими лидерами, разрабатывали собственные методы, увлекались конкретными проблемами, их работа пересекалась с исследованиями, проводимыми в других странах. В результате границы большинства наук непрерывно сдвигались, и бесполезно определять их исходя из предмета или метода.

В особенности это относится к экономической науке, не являющейся (в отличие от, например, акустики) строгой наукой, а скорее представляющей собой совокупность плохо упорядоченных и пересекающихся между собой областей знания (сродни медицине). Поэтому мы будем приводить определения экономической науки, данные другими авторами прежде всего для того, чтобы подчеркнуть их поразительную неадекватность, но сами не станем придерживаться ни одного из них. Наш подход к данному вопросу сводится к перечислению фундаментальных «областей», признанных в настоящее время в преподавательской практике. Но даже это эпидеиктическое определение<sup>7</sup> не претендует на полноту. Кроме того, мы всегда должны оставлять для себя возможность в будущем добавить или убрать какую-либо тему из любого полного по состоянию на сегодня списка.

В-третьих, в нашем определении ничего не говорится о мотивах, побуждающих людей тратить силы на совершенствование имеющихся знаний в какой-бы то ни было области. В дальнейшем мы еще вернемся к этой теме. Сейчас же только заметим, что научный характер исследования не зависит от цели, с которой оно было предпринято. Например, научность бактериологического исследования не зависит от того, служит ли оно медицинской или любой иной цели. Аналогично, если экономист исследует спекуляцию, используя методы, которые в его вре-

---

через много лет после того, как наука (в нашем смысле) утвердилась как таковая. Формирование специального языка происходит по причине крайних неудобств, связанных с необходимостью употреблять в научном анализе плохо для этого подходящие понятия из арсенала здравого смысла. К сожалению, экономисты всегда придавали чрезмерное значение тому, чтобы их понимала широкая публика, и это нанесло немалый ущерб их науке. В свою очередь эта публика до сих пор столь же необоснованно возмущается при любой попытке ввести более рациональную практику.

<sup>7</sup> Эпидеиктическое определение — это определение какого-либо понятия, скажем понятия «слон», путем простого указания на представителя класса, обозначенного данным понятием.

мя и в его окружении признаны научными, результаты его исследования обогатят экономическую науку независимо от того, выступает ли он за принятие регулирующего законодательства, или, наоборот, собирается защитить спекуляцию от такого законодательства, или, наконец, просто удовлетворяет свою любознательность. Даже если цель исследования нас не устраивает, мы не можем отказаться от признания его результатов, если эта цель не искажает факты или аргументацию. Отсюда следует, что аргументы «апологетов» (оплаченных или нет — неважно) при условии, что они носят научный характер, для нас ничем не хуже доводов «беспристрастных мыслителей», если такие, конечно, существуют.

Запомним: иногда интересно задаться вопросом о причинах того или иного утверждения, но, каков бы ни был ответ, он сам по себе не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть высказанные суждения. Мы не будем использовать дешевый прием политической борьбы, к несчастью весьма распространенный среди экономистов, а именно критиковать или превозносить мотивы человека, выдвинувшего какой-либо тезис, или интересы, которм он, возможно, служит.

## Глава 2

# Интерлюдия I: (ТЕХНИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

- [1. Экономическая история]
- [2. Статистика]
- [3. Теория]
- [4. Экономическая социология]
- [5. Политическая экономия]
- [6. Прикладные области]

Последний параграф предшествующей главы посвящен важным проблемам, которых мы коснемся в главе 4 («Социология экономической науки»). Теперь прервем наши рассуждения, чтобы погнаться за двумя зайцами, чьи следы иногда расходятся самым обескураживающим образом: с одной стороны, необходимо определить соотношение экономической науки с некоторыми областями, оснащенными специальными методами знаний, которые оказывают или оказали на нее влияние или имеют с ней общие пограничные зоны<sup>1</sup> (см. главу 3); с другой стороны, стоит воспользоваться этой возможностью, чтобы объяснить некоторые понятия и принципы, которыми мы будем руководствоваться при изложении истории экономического анализа. Мы сделаем это в данной главе.

Начнем с элементарного вопроса: что отличает ученого-экономиста от всех других людей, думающих, говорящих и пишущих на экономические темы? Прежде всего — владение техникой анализа<sup>2</sup> в трех областях: истории, статистики и «теории».

---

<sup>1</sup> Этот неуклюжий оборот употреблен для того, чтобы избежать неправдоподобного предположения о существовании четких и постоянных пограничных линий между ними.

<sup>2</sup> Слово «техника» употребляется здесь в очень широком смысле: систематический сбор и интерпретация фактов в некоторой области, выходящие за рамки знаний обычного практика, уже удостоверяют научный уровень исследования, даже если при этом не используются никакие специфические, в принципе непонятные профанам методы.

Вся эта техника вместе взятая как раз и составляет то, что мы называем экономическим анализом.

[Позднее Й. А. Шумпетер в данной главе добавил к этим трем областям четвертую — экономическую социологию.]

## [1. Экономическая история]

Из указанных фундаментальных областей анализа экономическая история, подводящая нас к сегодняшним фактам и включающая их, бесспорно является самой важной. Могу сказать, что, если бы мне пришлось начать заниматься экономической наукой заново и я мог бы выбирать только одну из трех областей анализа, я выбрал бы изучение экономической истории. Я сделал бы это в силу трех причин.

Во-первых, сам предмет экономической науки представляет собой уникальный исторический процесс. Никто не сможет понять экономические явления любой эпохи, включая современную, без должного владения историческими фактами, надлежащего исторического *чутья* и того, что может быть названо *историческим опытом*.<sup>3</sup>

Во-вторых, исторический анализ неизбежно отражает и «институциональные» факты, не являющиеся чисто экономическими. Поэтому он позволяет лучше всего понять взаимоотношения экономических и неэкономических фактов и правильное соотношение различных общественных наук.<sup>4</sup>

В-третьих, я полагаю, что большинство серьезных ошибок в экономическом анализе вызваны скорее недостатком исторического опыта, чем дефектом какого-либо другого инструмента из арсенала экономиста. Конечно, история в нашем понимании включает и те науки, которые в дальнейшем обособились в результате специализации, такие как этнология (антропология).<sup>5</sup>

Важная роль истории в экономическом анализе имеет и два отрицательных последствия. Во-первых, поскольку история —

---

<sup>3</sup> Это вовсе не означает, что «теория» в описанном ниже смысле невозможна или бесполезна — напротив, сама экономическая история нуждается в ее помощи.

<sup>4</sup> Поскольку «теории» в этой области крайне ненадежны, я лично думаю, что изучение истории здесь — не только лучший, но и единственно возможный способ.

<sup>5</sup> Под антропологией в этой книге (если не оговаривается иная интерпретация) понимается наука о формировании физического строения человека. Изучение первобытных племен, их поведения, языка и общественных институтов мы называем этнологией.

важнейший (хотя и не единственный) источник фактов для экономиста и поскольку, что еще важнее, экономист сам — продукт своего и *всего предшествующего* времени, экономического анализ и его результаты безусловно исторически ограничены, относительноны<sup>6</sup> — единственный вопрос в том, насколько. Эту проблему нельзя решить простым философствованием, и в нашей книге мы постараемся подвергнуть ее детальному рассмотрению. Именно поэтому в последующих главах мы предпошлем изложению экономического анализа очерк «духа времени», и в особенности политики данной эпохи.

Во-вторых, мы должны отдавать себе отчет в том, что, коль скоро экономическая история является частью экономической науки, техника исторического исследования входит в инвентарий экономического анализа. Знание, полученное из чужих рук, всегда ненадежно, и поэтому экономист, даже если он не является специалистом по экономической истории, а лишь знаком с работами историков, должен представлять себе процесс их создания, чтобы правильно их интерпретировать. Это, конечно, утопическое требование, однако отметим, что латинская палеография, к примеру, также может входить в технику экономического анализа.

## [2. Статистика]

В принципе очевидно, что статистика в виде отдельных показателей или статистических рядов должна быть жизненно важной областью экономического анализа. В действительности этот факт получил признание лишь в XVI—XVII вв., когда большая часть обязанностей испанских *politicos*, к примеру, состояла в сборе и интерпретации статистических данных, не говоря уже о представителях школы «политической арифметики» в Англии и их коллегах во Франции, Германии и Италии.<sup>1</sup> Статистика нужна не только для объяснения фактов, но и для того, чтобы точно установить, что же подлежит объяснению. Однако и здесь необходимо сделать такую же оговорку, как и в параграфе, по-

<sup>6</sup> Это одно из нескольких значений данного слова, часто неправильно употребляемого. Под относительностью мы подразумеваем всего лишь то, что: 1) мы не можем использовать больше материала, чем у нас есть, и, следовательно, некоторые наши выводы вполне могут быть опровергнуты в дальнейшем (это обстоятельство необходимо учитывать, изучая труды экономистов прошлого); 2) заинтересованность экономиста в проблемах своей эпохи и его позиция по этим проблемам обуславливают его общий подход к экономическим явлениям (см. главу 4). Здесь нет ничего общего с философским релятивизмом.

<sup>1</sup> Не иначе как курьезом можно назвать тот факт, что элементарный и самоочевидный тезис, которым открывается этот параграф, некоторые экономисты упорно отвергают по сей день.

священной истории. Невозможно понять смысл статистических показателей, не зная принципов их построения. Нельзя извлечь из статистики информацию, равно как и разобраться в информации, предоставленной специалистами, если не знать методов статистического анализа и их эпистемологической основы.

Таким образом, овладение современными методами статистического анализа — необходимое, хотя и недостаточное условие корректного экономического исследования. К одним областям это применимо больше, чем к другим. В нашем случае ставки слишком велики, чтобы доверять суждение о достоинствах или недостатках различных методов анализа случайных величин специалистам, даже если допустить, что они единодушны во мнениях. Конечно, едва ли нам удастся осуществить программу-максимум по овладению статистическими методами. Однако мы получим возможность удостовериться в том, что они — часть инструментария экономического анализа, даже если не предназначены специально для решения экономических проблем. *Ars conjectandi* Якоба Бернулли и *Théorie analytique* («Аналитическая теория») Лапласа имеют право на место в истории многих наук, в том числе и нашей.<sup>2</sup>

### [3. «Теория»]

Третьей фундаментальной областью является «теория». У этого термина множество значений, но для нас сейчас интерес представляют лишь два из них. Первое, менее важное, отождествляет теорию с объясняющей гипотезой. Такие гипотезы, безусловно, неизбежны как в исторической науке, так и в статистике. К примеру, даже самый неистовый сторонник «голых фактов» в экономической или общей истории едва ли не поддастся соблазну построить одну или несколько гипотез (теорий), объясняющих, например, происхождение городов. Статистик, возможно, построит гипотезу или теорию, скажем, о

---

<sup>2</sup> Чтобы читатель не воздел в отчаянии руки, убоившись обширности исторических и статистических требований к экономисту, позвольте мне заметить, что упомянутые задачи могут быть легко выполнены любым студентом магистратуры, получившим достаточно хорошую подготовку по истории или математике. Только студент, не усвоивший ни одну из этих дисциплин, почувствует, что его знаний недостаточно для разностороннего экономиста и он сможет продвигаться только в узкой области науки, если ценой героических усилий он не исправит свои недостатки. Одного или двух лет магистратуры для этого, конечно, не хватит. Но для того, чтобы стать квалифицированным юристом, инженером или врачом, требуется значительно больше времени.

совместном распределении используемых им случайных величин. Все, что можно добавить по этому поводу, — это указать на ошибочность широко распространенной точки зрения, согласно которой единственной или главной заботой экономиста-теоретика является формулирование таких гипотез (некоторые уточнили бы: высосанных из пальца).

Задача экономической теории совершенно иная. Конечно, как и теоретическая физика, она не может обойтись без упрощающих моделей и схем, отражающих некоторые аспекты действительности. Она должна принимать некоторые положения на веру, чтобы иметь возможность применить к другим фактам известные способы анализа. В нашем случае принимаемые на веру положения мы можем назвать гипотезами, аксиомами, постулатами, предпосылками и даже принципами,<sup>1</sup> а тезисы, к которым мы приходим в результате исследования, применив корректную аналитическую процедуру, — теоремами.

Разумеется, в одном случае некоторый тезис может быть постулатом, а в другом — теоремой. На самом деле гипотезы такого рода тоже *подсказываются* фактами; формулируя их, теоретик переосмысливает сделанные ранее наблюдения, но, строго говоря, они порождаются произволом аналитиков.<sup>2</sup> Они отличаются от объясняющих гипотез, упомянутых ранее, тем, что *не содержат* конечных результатов исследования (которые интересны сами по себе), а представляют собой лишь инструменты, предназначенные для *выведения* интересных результатов. Работа экономиста-теоретика не может быть сведена к построению таких гипотез, равно как к построению статистических гипотез — работа статистика. Не менее важны другие инструменты анализа, с помощью которых результаты могут быть получены на основе гипотез: все категории (вроде «предельной нормы замещения», «предельной производительности», «мультипликатора», «акселератора»), связи между категориями и методы исследования этих

<sup>1</sup> «Принципом» в этой книге будем называть любое положение, которое обсуждаемые нами авторы не собираются подвергать сомнению. Но это может быть как выведенный ими тезис, так и априорно принимаемый постулат. То же самое относится к сомнительной полезности термину «закон», возникновение которого, использование и злоупотребление им необходимо рассмотреть особо. Мы говорим о «законе убывающей доходности», об «основном психологическом законе» Кейнса, представляющих собой априорные предпосылки, а также о марксистском «законе понижения нормы прибыли», который Маркс (по крайней мере, по его мнению) вывел в результате своего исследования.

<sup>2</sup> Вспомним шутку Ж. А. Пуанкаре: «Портные могут кроить костюмы, как им заблагорассудится; но они, конечно, стараются скрыть их так, чтобы они были впору заказчикам».

связей. Во всех этих инструментах нет ничего гипотетического.<sup>3</sup> Совокупность всех инструментов анализа, включая и стратегически полезные предпосылки, составляет экономическую теорию. По непревзойденному определению Джоан Робинсон, экономическая теория — это ящик с инструментами.

Эту концепцию экономической теории обосновать не сложнее, чем для других наук. Опыт учит нас, что явления определенного класса: экономические, биологические, механические, электрические и т. д. — представляют собой индивидуальные события, каждое из которых имеет свои особенности. Но опыт учит нас и тому, что эти индивидуальные события имеют некоторые общие свойства или аспекты, и, *если мы будем рассматривать только их и связанные с ними проблемы, это даст нам огромную экономию мыслительной энергии.*

Для некоторых целей действительно может возникнуть необходимость анализа каждого индивидуального случая ценообразования на конкретном рынке, каждого случая получения дохода, каждого конкретного экономического цикла, каждой международной сделки и т. д. Но при этом мы обнаружим, что для каждого случая используем категории, применимые ко всем случаям. Далее мы увидим, что во всех или во многих случаях проявляются сходные свойства, к которым можно применить общие схемы ценообразования, получения доходов, экономического цикла, международной сделки и т. д. И наконец, мы заметим, что эти схемы взаимосвязаны, а следовательно, имеет смысл подняться на еще более высокий уровень «обобщающей абстракции». На этом уровне мы и создаем инструмент, механизм или орган экономического анализа, который *формально* работает всегда одинаково, к какой бы экономической проблеме мы его ни применили.<sup>4</sup> Уверенность в том, что существует такая истина в последней инстанции, впервые высказал Р. Кантильон,<sup>5</sup> хотя лишь через столетие экономисты осознали вытекающие отсюда возможности (первым к такому выводу пришел Л. Вальрас — см. часть IV, глава 6, § 5b).

Хотя мы не имеем ни желания, ни возможности останавливаться здесь на эпистемологии экономической науки и хотя

<sup>3</sup> Пример: теоретическая механика выводится из некоторого набора предпосылок (или гипотез), но совершенно очевидно, что список этих предпосылок — это не вся теоретическая механика, он составляет лишь ее первую главу.

<sup>4</sup> Это краткое изложение учения Э. Маха, согласно которому каждая (теоретическая) наука есть средство экономии мыслительной энергии.

<sup>5</sup> См. ниже: часть II, глава 4, § 2.

некоторые из относящихся к этой области проблем подвергнутся обсуждению в последующих главах, тем не менее будет полезным добавить еще несколько замечаний, чтобы избежать возможного непонимания между мной и моими читателями.

Во-первых, требуется сделать оговорку, относящуюся к нашим предшествующим рассуждениям о природе и функции экономической теории. В этих рассуждениях использовались термины, применимые в принципе не только к экономической теории, но и ко всем наукам, имеющим универсальный аналитический аппарат. Однако такой параллелизм имеет пределы, наиболее важный из которых состоит в следующих двух обстоятельствах. Экономическая теория в отличие от физики лишена возможности провести лабораторный эксперимент — говоря об экспериментах, экономисты имеют в виду нечто совершенно иное. Зато экономическая наука располагает источником информации, не существующим в физике: знаниями людей о смысле их экономических действий. Этот источник информации является одновременно предметом теоретических споров, которые то и дело будут отвлекать наше внимание от истории экономического анализа. Но его существование нельзя отрицать. Если мы говорим о мотивах, движущих поведением индивидов или групп, нашим источником информации могут быть прежде всего знания о психических процессах, сознательных или подсознательных, не использовать которые было бы абсурдно. Как я неустанно подчеркиваю, это вовсе не означает, что мы вступаем на территорию профессиональной психологии (так же, как постулирование «закона» убывающего плодородия не является вторжением в область естественных наук).

Однако есть еще один, более логичный способ использования нашего знания о смысле экономических действий. Если я, к примеру, заявляю, что при определенных условиях текущие доходы фирмы будут максимальными при такой величине выпуска, при которой предельные издержки равняются предельной выручке (последняя в случае чистой конкуренции совпадает с ценой), я формулирую логику ситуации и результата, который, как каждый закон логики, является правильным независимо от того, следует ли ему кто-либо в действительности. Это означает, что существует класс экономических теорем, являющихся, по сути дела, логическими (разумеется, не этическими и не политическими) *идеалами или нормами*.

Очевидно, что они отличаются от теорем другого рода, непосредственно основанных на наблюдениях, например над тем, как ожидаемая возможность найти работу влияет на потребительские расходы рабочих или как различия в заработной плате влияют на демографический показатель брачности. Несомненно, можно попытаться объединить оба типа теоретических положений, предста-

вив логические нормы как обобщение «очищенных» данных наблюдений, в крайнем случае таких наблюдений, которые подсознательно накапливаются в житейском опыте. Однако я считаю, что в большинстве случаев лучше честно признать, что можно понимать смысл действий и моделировать их последствия с помощью соответствующих логических схем.

Во-вторых, я надеюсь, что предшествующие объяснения в какой-то мере защитят меня от обвинения в «сциентизме». Этим термином профессор Хайек<sup>6</sup> обозначил некритичное подражание методам естественных наук, основанное на столь же некритичной вере в их несравненные достоинства и универсальную пригодность в любой научной деятельности. История, которую я пишу, отвечает на вопрос, действительно ли экономисты так некритически заимствовали методы, применимые лишь в рамках других отраслей науки. *Разумеется, нельзя принимать всерьез программные заявления, в которых не было недостатка с XVII в., когда естественные науки достигли впечатляющих успехов. Эти декларации практически всегда оставались голословными.* В принципе Хайек, как и его предшественники в XIX в., совершенно прав: заимствование экономистами любых методов только на том основании, что они имели успех в других науках, неприемлемо. В тех редких и малозначительных случаях, когда подобное действительно происходило, его критика справедлива. Но, к сожалению, настоящая проблема лежит в другой плоскости. Прежде чем установить, что есть незаконное заимствование, необходимо определить, что такое «заимствование» вообще. Понятия и методы высшей математики действительно возникли в применении к физическим проблемам, но это не означает, что в самом языке высшей математики есть нечто сугубо «физическое».<sup>7</sup> Это же относится и к некоторым общим понятиям физики, таким как «равновесие», «источник колебаний», «статика», «динамика», которые употребляются и в экономическом анализе так же, как например системы уравнений. Используя в экономической теории, скажем, понятие «источник колебаний», мы заимствуем у физики только термин, не больше. Иллюзия «заимствования» подкрепляется следующими двумя обстоятельствами. С одной стороны, физики и математики не толь-

---

<sup>6</sup> Hayek F. A. *Scientism and the Study of Society*//Economica. 1942. Aug.; 1943. Feb.; 1944. Feb. Я настоятельно рекомендую вашему вниманию данный трактат (ибо статьи в совокупности представляют собой именно трактат) по двум причинам: во-первых, он является плодом глубокой эрудиции, а во-вторых, он служит прекрасным примером того, как в подобных дискуссиях близко соседствуют друг с другом истина и заблуждение.

<sup>7</sup> Учителя Хайека, представители австрийской школы, оперируя концепцией предельной полезности, по сути дела уже применили к экономике дифференциальное исчисление. Придать их аргументам корректную форму отнюдь не преступление.

ко вводят свои общие понятия, которые доходят до нас впоследствии, но и разрабатывают их логику. Поскольку эта логика не содержит ничего «физического», нежелание пользоваться ею из принципа означало бы лишнюю трату сил. В то же время студентам аналогия из области физики часто бывает понятнее, чем экономическое содержание проблемы. Поэтому такие аналогии нередко используются в преподавании.

В результате создается впечатление, что «заимствования», в которых нас обвиняют, отражают лишь тот факт, что как у физиков, так и у экономистов мозг устроен и работает до некоторой степени одинаково, какую бы задачу он ни решал. Здесь нет связи с ошибками механицизма, детерминизма и других «измов», равно как и забвения той истины, что в общественных науках «объяснить» значит совсем не то, что в естественных. Нет здесь и игнорирования исторического характера предмета нашей науки.

В-третьих, если экономическая теория действительно так проста и безвредна, как я ее здесь описал, откуда берется враждебность, преследующая ее с момента, когда она впервые привлекла к себе внимание (приблизительно со времен физиократов) и до наших дней? Я перечислю основные пункты ответа на этот вопрос, которые будут в полной мере раскрыты в ходе последующего изложения.

1. Во все времена, включая и наше, состояние экономической теории, по мнению современников, не оправдывало обоснованных ожиданий и заслуживало справедливой критики.

2. Неудовлетворение состоянием теории порождалось необоснованными претензиями и в особенности безответственными попытками применить существующий аналитический аппарат к решению практических проблем, ему недоступных.

3. Экономическая теория всегда была выше понимания большинства заинтересованных лиц, которые, не осознавая этого, протестовали против всех попыток усовершенствовать технику анализа. Этот протест можно разделить на две составляющие. С одной стороны, всегда находились экономисты, отрицательно относившиеся к тому, что в процессе абстракции неизбежно теряется масса фактов. Если речь идет о практических приложениях теории, то такого рода протест очень часто оправдан. С другой стороны, есть люди, не склонные к теории и не видящие никакой пользы во всем, что непосредственно не касается практических проблем. Если можно так выразиться, у этих людей не хватает научной культуры, чтобы оценить новшество в анализе. Хотелось бы особо подчеркнуть это любопытное сочетание обоснованной и необоснованной критики экономической теории, которое мы будем отмечать на протяжении всей книги. Именно им объясняется тот факт, что экономическая теория всегда подвергалась критике со стороны людей, стоящих как выше, так и ниже ее уровня.

4. Враждебность к экономической теории, проистекающая из названных источников, часто дополнялась враждебностью к политическим течениям, к которым так или иначе примыкало большинство теоретиков. Классическим примером является здесь союз экономической теории с политическим либерализмом в XIX в. Как мы увидим, из-за этого союза поражение либерализма в политике некоторое время воспринималось как банкротство экономической теории. В этот период многие люди буквально ненавидели экономическую теорию, ибо считали ее средством навязывания им нежелательной политической программы. Более того, эту ошибочную точку зрения разделяли и сами экономисты, прилагавшие все усилия, чтобы подчинить свой аналитический аппарат либеральному политическому кредо. В этом и многих других случаях, включая, увы, и положение в современной экономической науке, экономисты следовали своей неизменной склонности вмешиваться в политику, давать политические рекомендации, выступать с философией экономической жизни, пренебрегая при этом своим долгом — открыто изложить ценностные суждения, лежащие в основе их аргументации.

5. Хотя речь об этом уже шла выше, хотелось бы отдельно выделить точку зрения, согласно которой экономическая теория состоит в формулировании произвольных, спекулятивных гипотез. В этом состоит причина часто наблюдаемого как среди экономистов, так и в других общественных науках стремления исключить экономическую теорию из области серьезной науки. Интересно, что такого рода стремления проявлялись не только в отношении нашей науки.<sup>8</sup> Исаак Ньютон был поистине теоретиком из теоретиков, однако он испытывал явную враждебность к «теории», и в особенности к гипотезам о причинно-следственной связи. Безусловно, он имел в виду недостаточно обоснованные спекулятивные рассуждения. Может быть, здесь проявлялось и недоверие истинного ученого к понятию «причина», имеющему метафизический привкус. Приведенный пример подтверждает ту истину, что отрицательное отношение к использованию метафизических понятий в эмпирическом исследовании не означает отказа от метафизики вообще.

[Й. А. Шумпетер сознательно выделил изложенный выше материал, чтобы дать возможность рядовому читателю пропустить его.]

---

<sup>8</sup> Нет ничего удивительного в том, что уже на этом основании слова «экономическая теория» в устах наших коллег-экономистов звучат осуждающе. Такое отношение является до некоторой степени следствием различий во вкусах и способностях, которые проявляются в наших исследованиях. По своей природе человек склонен переоценивать важность собственных методов исследования и недооценивать работу коллег. Возможно, не будет преувеличением сказать, что, если бы не это свойство человеческой природы, мы никогда не добились бы успеха как в науке, так и в других областях.

#### [4. Экономическая социология]

Читатель, наверно, заметил, что наши три фундаментальные области исследования (экономическая история, статистика и статистический метод, экономическая теория) отчасти дополняют друг друга, хотя и далеко не совершенным образом. Действительно, работая над экономической историей, мы вполне могли бы обойтись без некоторых выводов, но их включения требуют от нас экономическая теория. Такова, к примеру, связь между бурным развитием английской экономики с 1840-х гг. до конца XIX в. и отменой хлебных законов и всех других протекционистских мер. С другой стороны, схематические построения экономической теории должны вписаться в институциональный контекст, который дает нам экономическая история; только она может дать нам представление о том обществе, к которому мы хотим применить теоретические схемы. Хотя, пожалуй, здесь нужны уточнения. Легко заметить, что, когда мы вводим в анализ институт частной собственности или свободной контрактации или ту или иную степень государственного регулирования, мы имеем дело с общественными явлениями, принадлежащими не просто экономической истории, а обобщенной, типизированной экономической истории. В еще большей степени это относится к общим формам человеческого поведения, которые мы принимаем или абсолютно, или применительно лишь к некоторым общественным институтам. Каждый учебник экономической науки, не ограничивающийся изложением техники анализа в самом узком значении этого термина, имеет вводную институциональную главу, относящуюся скорее к социологии, чем к экономической истории как таковой.

Следуя практике немецких экономистов, мы считаем полезным выделить четвертую фундаментальную область исследования — экономическую социологию, хотя позитивная разработка содержащихся в ней проблем увлечет нас за пределы чисто экономического анализа. Приведу здесь определение, которое мне кажется весьма удачным: экономический анализ исследует устойчивое поведение людей и его экономические последствия; экономическая социология изучает вопрос, как они пришли именно к такому способу поведения.<sup>1</sup> Если человеческое поведение понимать достаточно широко, включив туда не только поступки, мотивы и склонности, но и общественные институты, влияющие на экономическое поведение, например государство, право насле-

<sup>1</sup> По-моему, что эта фраза принадлежит г-ну Герхарду Кольму.

дования, контракт и т. д., то данное определение можно считать исчерпывающим. Разумеется, следует оговориться, что такое разделение на экономический анализ и экономическую социологию мы принимаем для своего удобства. Это не означает, что из него исходили те авторы, которых мы будем исследовать. Вкус пудинга можно оценить, только съев его, поэтому сейчас я воздержусь от обоснования своей точки зрения.

## [5. Политическая экономия]

Охарактеризованная выше техника исторического, статистического и теоретического исследования и добываемые с ее помощью результаты в сумме составляют то, что мы называем экономической наукой (economics). Этот термин возник сравнительно недавно. Впервые его ввел в оборот в 1890 г. в своем главном труде А. Маршалл (по крайней мере, в Англии и США).<sup>1</sup> В XIX в. общеупотребительным названием была «политическая экономия», хотя поначалу в некоторых странах существовали и другие термины. Этот не представляющий большой важности вопрос будет рассмотрен в следующих частях, однако два обстоятельства хотелось бы отметить здесь.

Во-первых, термин «политическая экономия» разные авторы трактуют по-разному (в некоторых случаях подразумевая под ним то, что сейчас называется «чистой» экономической теорией). Поэтому необходимо сразу же предупредить, что, прежде чем исследовать понимание тем или иным автором предмета и метода политической экономии, следует выяснить, какой именно смысл вкладывал он в этот термин. Тогда некоторые высказывания, приводившие критиков в ярость, покажутся вполне безобидными.

Во-вторых, с тех самых пор, как один малозначительный автор XVII в. <А. Монкретьен> назвал нашу науку или совокупность наук политической экономией и удостоился за это незаслуженного бессмертия, открыто или завуалированно высказывалось мнение, что объектом изучения нашей науки является исключительно экономика государства, или, что почти то же самое, экономическая политика. Это мнение, закрепленное в немецком термине *Staatswissenschaft* (наука о государстве), ча-

---

<sup>1</sup> Позднее аналогичный по смыслу термин «социальная экономия» (*Sozialökonomie*) вошел в употребление в Германии, главным образом усилиями Макса Вебера.

сто употреблявшемся как синоним политической экономии, разумеется, слишком узко трактовало предмет экономической науки.

На основе этого происходит и довольно-таки бессмысленное разделение между экономической наукой (economics) и тем, что сейчас называется «экономической теорией фирмы» (business economics). Мы не разделяем эти две дисциплины и считаем, что в предмет экономической науки, как мы ее понимаем, входят все факты и инструменты анализа, относящиеся как к поведению правительства, так и к поведению отдельных фирм.

Кроме того, мы должны отметить новое значение термина «политическая экономия» у некоторых современных авторов. Они считают, что современная экономическая наука (в нашем смысле) слишком оторвана от реальности и игнорирует невозможность приложения ее результатов к решению практических проблем и анализу конкретной экономической ситуации за пределами определенной историко-политической структуры. Иногда такая точка зрения приводит к критике любых усилий по совершенствованию теоретических и статистических средств анализа. Подобная критика совершенно бессмысленна и означает лишь непонимание важности и необходимости научной специализации. Однако бесспорно, что экономическая наука, включающая адекватный анализ деятельности государства, а также механизмов и ведущих течений политической жизни, гораздо больше импонирует новичку, чем набор разнородных наук, объединить которые он не в силах. К его удовольствию, все, что он ищет, содержится в готовом виде у Карла Маркса.

Экономическая теория такого типа также часто называется политической экономией. Частично признавая правомерность такой программы исследований, мы включили в экономический анализ четвертую фундаментальную область исследования — экономическую социологию.

Термин «политическая экономия» в том смысле, в котором он использован в предыдущем абзаце, заставляет вспомнить еще одно его значение, встречающееся при обсуждении систем политической экономии. А это значение в свою очередь по ассоциации вызывает в памяти термин «экономическая мысль». Но нам удобнее рассмотреть оба понятия в главе 4, где мы попытаемся также прояснить соотношение «истории экономического анализа» с любой историей систем политической экономии и с любой историей размышлений на экономические темы, присутствующих в общественном сознании.

## [6. Прикладные области]

Разделение труда в исследовательской работе и в обучении создало в экономике, как и в других науках, неопределенное число специализаций, обычно называемых «прикладными областями». Чтобы составить не претендующий на полноту список этих специализаций, давайте обратимся к экономическим курсам, предлагаемым крупными высшими учебными заведениями Соединенных Штатов.

Кроме общих обзорных курсов и курсов по экономической истории, статистике, экономической теории и экономической социологии<sup>1</sup> мы находим различные курсы, относящиеся, во-первых, к группе областей, которую все считают неотъемлемой частью «общей экономики». Эти области рассматриваются отдельно только ради облегчения задачи более интенсивной проработки таких тем, как деньги и банковское дело, экономические циклы, международная торговля (международные экономические связи и иногда экономика размещения производства). Во-вторых, мы обнаруживаем группу областей, таких как бухгалтерский учет, актуарная наука и страхование, которые исторически приобрели слишком большую независимость от общей экономики (в бухгалтерском учете от этой независимости постепенно начинают отказываться), но полезны или даже необходимы для всех или некоторых экономистов, поскольку они предлагают или инструменты экономического анализа, или возможности их использования (свидетельство тому, например, проблемы амортизации). В-третьих, мы встречаем курсы, изучающие группу стандартных областей, связанных с давно известными отраслями государственной экономической политики. Это сельское хозяйство,<sup>2</sup> рынок труда, транспорт и коммунальные услуги, проблемы обрабатыва-

---

<sup>1</sup> Вследствие недоверия, которое справедливо или несправедливо связывается в умах многих людей со словом «теория», это слово иногда заменяется словом «анализ», несущим более ограниченный смысл, чем тот, что придан ему в данной книге. Насколько мне известно, область экономической социологии не появляется под этой рубрикой или сама по себе, но относящиеся к ней темы рассматриваются в курсах по истории, теории «сравнительных экономических систем», в наиболее институционально ориентированных курсах о рабочей силе и во многих других.

<sup>2</sup> Область сельского хозяйства представляет собой пример такой области экономики, которую едва ли возможно рассматривать без существенного владения сельскохозяйственной технологией. В принципе, хотя и в меньшей степени, это справедливо также и для других областей, и нет необходимости проводить резкую черту между, скажем, экономической теорией банковского дела, маркетинга или обрабатывающей промышленности и соответствующими «технологиями».

ющей промышленности (и государственного контроля над ней), для которых нет общепринятого названия; сюда же относятся государственные финансы («фискальная политика»). К этим областям многие добавили бы (в настоящее время) множество других, таких как маркетинг («распределение товаров») и социальное обеспечение (та его часть, которая не охвачена страхованием). Социализм и «сравнительное изучение экономических систем», а также проблемы «народонаселение» образуют четвертую группу, а «региональные исследования», ставшие такими популярными в последнее время, — пятую. Включение других областей или подгрупп из уже указанных могло бы значительно расширить сферу экономического анализа. Однако наш список в своем настоящем виде и общие знания читателя достаточны для декларирования нижеследующих тезисов, относящихся к решению нашей задачи.

Во-первых, эта груда прикладных областей не имеет ни постоянного состава, ни логического порядка. Они появляются или исчезают, их относительное значение возрастает или уменьшается, и они дублируют друг друга, если того требует изменение интересов и методов исследования. Как указывалось выше, это закономерно. Было бы верхом нелепости предпринять или воздержаться от выполнения какой-либо интересной задачи из уважения к границам или тектонике этих областей.

Во-вторых, *все* эти специальные или прикладные области (а не только те три, что мы упомянули в качестве составных частей нашей первой группы) представляют собой компиляции тех фактов и методов, из которых сформированы уже охарактеризованные нами четыре фундаментальных, по нашему мнению, раздела экономического анализа. Эти компиляции фактов и методов во многом отличаются друг от друга, поскольку на одних участках необходимость или возможность разработки статистических или теоретических средств исследования значительно меньше, чем на других, а кое-где они полностью отсутствуют, хотя едва ли можно безнаказанно пренебречь историческим элементом. Кроме того, данные компиляции различаются еще и в другом: отдельные специалисты или группы специалистов, работающие в различных областях, имеют весьма неодинаковую подготовку в фундаментальных областях и поэтому их принципы компиляции методов не соответствуют требованиям выбранных ими специальностей. Мы должны принять этот факт во внимание, если хотим понять, почему экономическая наука такова, какова она есть. Однако отделить какую-либо прикладную область от фундаментальных в принципе невозможно.

В-третьих, подобное разделение невозможно еще и потому, что прикладные области не только используют имеющийся в их распоряжении готовый фонд фактов и методов общей экономики, но и вносят в него свой вклад. Эти области могут накопить собственный арсенал фактов и методов, мало или вовсе не используемых за их пределами. Сверх того, они зачастую накапливают факты и концептуальные схемы, которые стоит расценить как вклад в общий экономический анализ, хотя ревностные стражи этой области знания не всегда торопятся его принять. Примеры тому нам дают современная экономика сельского хозяйства, экономика транспорта и государственных финансов. Отсюда следует, что мы не можем ограничиться историей «общего» экономического анализа, а должны как можно внимательнее следить за тенденциями в прикладных областях.

## Глава 3

### Интерлюдия II: (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДРУГИХ НАУК)

- [1. Экономическая наука и социология]
- [2. Логика и психология]
- [3. Экономическая наука и философия]

Время от времени мы будем отрываться от нашего непосредственного предмета и обозревать окружающий «интеллектуальный ландшафт». Кроме того, для каждого из выделенных нами периодов мы несколько подробнее рассмотрим те особенности параллельного развития других наук (в нашем понимании этого слова), которые оказали или могли бы оказать влияние на развитие нашей науки. То, что мне хотелось бы сейчас сказать об этом аспекте нашей работы, настолько тесно связано с «философией», что я мог бы назвать эту главу «Экономическая наука и философия». Все остальное будет изложено в последующих двух абзацах.

#### [1. Экономическая наука и социология]

После всего сказанного в предыдущей главе о важности исторических наук, а также статистики для экономического анализа,<sup>1</sup> я думаю, не вызывает сомнений, что мы должны под-

---

<sup>1</sup> В дополнение к сказанному я хочу указать, что все исторические науки и их подотрасли, которые возникли в результате специализации (главным образом филологическое умение работать с разными текстами), до некоторой степени касаются нашего предмета даже в тех случаях, когда они не рассматривают специфически экономические факты. Например, греко-римская цивилизация является предметом изысканий трех ясно различных групп ученых, а именно: собственно историков, филологов и юристов. Все три группы занимаются многими вещами, которые нас не касаются. Но даже в этом случае они способствуют воссозданию картины культуры этого мира, которая в целом нам безразлична; даже описывая историю войн или историю искусств, они пользуются теми же методами, что и при описании экономических или социальных событий и институтов; таким образом, нет такой строгой и постоянной границы, перед которой наш интерес должен был бы остановиться.

держивать некую связь с упомянутыми отраслями знания. В книге связь эта будет фрагментарной, но отнюдь не потому, что более систематическое исследование нежелательно, а только лишь в силу недостатка места и ограниченности моих знаний. Однако дело не в препятствиях — такое расширение исследования, будь оно возможно, утопило бы наше повествование в безбрежном океане фактов.

Аналогично не нуждается в доказательствах недопустимость игнорирования развития социологии. Этот термин мы употребляем в узком смысле как единую (хотя и далеко не однородную) науку, изучающую такие социальные явления и образования, как общество, группы, классы, отношения между группами, лидерство и т. д. Мы будем пользоваться им постоянно, в том числе и применительно к развитию этой науки за столетия до появления самого термина. В более широком смысле социология обозначает всю совокупность взаимопереплетающихся и некоординированных общественных наук, среди которых — наша экономическая наука, юриспруденция, политология, экология, описательная этика и эстетика (в значении социологии типов нравственного поведения и социологии искусства). Ниже, в сноске, приведен взятый из юриспруденции пример таких типов взаимоотношений наук, благодаря которым достижения в этой и других областях касаются также и истории экономического анализа.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Наука или науки (в нашем понимании), предметом которых является писаное или обычное право, юридическая практика и юридическая техника, имеют отношение к истории экономического анализа прежде всего потому, что в значительной степени экономисты были юристами, которые перенесли привычные способы юридического рассмотрения на анализ экономических явлений. Например, социологические и экономические системы докторов-схоластов XVI в. (литература *de jure et justitia*, т. е. о праве и справедливости) не могут быть поняты, если мы не отдадим себе отчета в том, что первоначально они были трактатами о политическом и экономическом праве католической церкви и что их теоретическая техника была выведена в первую очередь из старого римского права, приспособленного к условиям времени. Во-вторых, правовые рамки, в которых протекает экономический процесс, и их (рамок и процесса) формирующее взаимовлияние представляют по меньшей мере существенную важность для экономического анализа. В-третьих, исторические корни понятия «экономический закон» лежат в чисто правоведаческой концепции «естественного права» (см. ч. II, гл. 2). В-четвертых, некоторые экономисты XIX в. признавались, что заимствовали исторический взгляд на экономический процесс из школы юриспруденции, называвшей себя «исторической школой», возникновение и позиция которой должны быть поняты более полно, чтобы выявить элементы истины и заблуждения. Пользуясь случаем, чтобы добавить следующее: социологический анализ права как социального явления — это одно; изучение техники юридической практики (то, что преподается в американских школах права) — это другое; историческая юриспруденция —

Важность связей между социологией и экономической наукой мы признали, выделив «фундаментальную область анализа» под названием «экономическая социология» — область, в которой ни экономисты, ни социологи не могут сделать и шага, не наступив друг другу на ноги. Однако, во-первых, в реальности сотрудничество между двумя группами исследователей никогда не было особенно тесным и плодотворным. Во-вторых, сомнительно, что обе науки много выиграли бы от более тесного сотрудничества. Что касается первого пункта, следует отметить, что начиная с XVIII в. экономическая наука и социология расходились все дальше друг от друга, так что в наше время средний экономист и средний социолог совершенно безразличны друг к другу и предпочитают пользоваться соответственно примитивной социологией и примитивной экономической наукой собственного производства, вместо того чтобы применить научные результаты, полученные соседом, причем ситуация усугубляется взаимной перебранкой.

Что касается второго пункта, я отнюдь не уверен в благотворности более тесного сотрудничества, шумно одобряемого дилетантами. Оно вряд ли способно принести «чистую» выгоду, поскольку влечет за собой утрату преимуществ узкой специализации. Это справедливо даже для обособившихся подотраслей экономической науки и социологии в широком смысле слова. Как заметил один выдающийся экономист, «перекрестное опыление» легко может привести к «перекрестной стерилизации». Все это, однако, вовсе не отрицает необходимости хотя бы фрагментарно следить за развитием «соседних наук».

## [2. Логика и психология]

Из других наук для нас важнее всего логика и психология. Первая представляет ценность не только потому, что экономисты внесли в ее развитие существенный вклад, но и потому, что многие из них особенно склонны к догматическим спорам о «методе». Те экономисты, для которых характерно это

---

третье. Итак, мы должны выделять по крайней мере три «науки» о праве, которые различаются по материалу, инструментам и целям и разрабатываются разными группами ученых (хотя эти множества и пересекаются). Аналогичная картина наблюдается в областях религиоведения, этики и эстетики. В данных обстоятельствах путаница почти извинительна, великие битвы по поводу принципов и «методов» (например, в искусствоведении) велись вокруг вопросов, которые автоматически прояснились, как только становилось понятным, что спорщики целятся в разные мишени.

увлечение, обычно находятся под влиянием трудов своих современников-логиков. Следовательно, эти труды, хотя больше по видимости, чем по сути, оказывают влияние (по праву или нет — другой вопрос) на предмет нашего исследования.

Что касается психологии, то в XVIII в. возникла (и с тех пор время от времени высказывается) точка зрения, согласно которой предметом исследования экономической науки, как и всех других общественных наук, является поведение человека. Исходя из этого психология лежит в основании любой общественной науки и всякое фундаментальное исследование должно вестись в психологических терминах. Указанную точку зрения, имеющую множество как яростных сторонников, так и противников, мы обозначим термином «психологизм». В действительности же экономисты никогда не позволяли своим современникам — профессиональным психологам влиять на экономический анализ. Напротив, они сами формулировали те предположения о психологических процессах, которые были для них наиболее удобны.

С одной стороны, такой подход иногда вызывает недоумение, поскольку ряд проблем в области экономического анализа лучше решать методами, выработанными психологами.

С другой стороны, не следует впадать в одно естественное заблуждение. Если мы используем предпосылку, которая, как нам кажется, относится к другой отрасли знания, это не обязательно означает, что мы вторгаемся в эту область. К примеру, так называемый «закон убывающего плодородия почвы» на первый взгляд связан с естественными науками. Но это не означает, что, формулируя данное предположение, мы переходим в область агрономии. Аналогично, высказывая предположение, что мой аппетит убывает с каждым последующим куском хлеба, я, казалось бы, говорю о психологическом явлении. Но при этом я не заимствую ничего — ни хорошего, ни дурного — из области психологической науки. Я всего лишь формулирую то, что я (правильно или неправильно) считаю общепризнанным фактом.

Приняв изложенную точку зрения, мы увидим, что в гипотезах экономистов гораздо меньше психологии, чем это кажется на первый взгляд. Говорить при этом о психологических законах (таких, как «основной психологический закон» Кейнса) — грубая ошибка, поскольку любой закон должен быть доказан, а никаких доказательств в данном случае не существует.

Тем не менее время от времени необходимо уделять внимание развитию психологической науки, а также, хотя и реже, других наук. В качестве примера приведу биологию, в кото-

рой существовал (или и по сей день существует) социальный и экономический дарвинизм. Если мы хотим дать оценку этому явлению, необходимо выяснить, что именно утверждал Чарльз Дарвин и на основе каких материалов и методов он сделал свои выводы.

### [3. Экономическая наука и философия]

Теперь обратимся к вопросу о взаимоотношениях экономической науки и философии, точнее, о степени влияния философии на экономический анализ.<sup>1</sup> Поскольку сам термин «философия» имеет множество значений, во избежание недоразумений рассмотрим их по отдельности.

Употребление слова «философия» в его первом значении позволяет с легкостью ответить на наш вопрос. Точнее, в данном случае не существует самой проблемы. Древнегреческий «философ» (он же — ритор, он же — софист) — это человек интеллектуальных занятий. В этом смысле философия — совокупность всего научного знания. Это была универсальная наука, в которой метафизика занимала не менее важное место, чем физика, а физика была не менее важна, чем математика или любая теория о природе общества и полиса. Такое значение слова «философия» существовало до тех пор, пока общий запас фактов и инструментов научного анализа был достаточно мал, чтобы уместиться в голове одного исследователя, т. е. приблизительно до середины XVIII столетия. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что именно тогда закончилась эпоха эрудитов.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> По причинам, о которых речь пойдет чуть ниже, мы по возможности не будем углубляться в обширную литературу, трактующую эти проблемы. Назовем здесь лишь широко известное английское издание: *Bonar J. Philosophy and Political Economy*. 1-е изд. 1893; 3-е изд. 1922.

<sup>2</sup> Наиболее знаменитым из эрудитов был, пожалуй, Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). От чистой математики его мысль обращалась к политической экономии, возвращалась к физике, а затем к метафизической теории монад. Его экономические воззрения, заботливо собранные В. Рошером, не заслуживают особого упоминания. Но Джамбатиста Вико (1668–1744) был поистине выдающимся социологом и при этом обещал своим ученикам передать им все доступные знания (*tutto possibile*). Вспомним и о том, что Адам Смит писал — и блестяще писал — об астрономии. Разумеется, у многих эрудитов имелись определенные пробелы в знаниях. Так, большинство историков были только историками, большинство великих естествоиспытателей — только естествоиспытателями. Древнегреческие философы не занимались «утилитарными искусствами».

Как мы знаем, этого понимания философии придерживался Фома Аквинский. Все науки, кроме «священной доктрины», он считал философскими дисциплинами. Интересно отметить, что Фома при этом не приписывал «священной доктрине» никакого главенства над другими науками.

Рассматривая эти разносторонние научные системы,<sup>3</sup> мы неизбежно приходим к чрезвычайно важному для нас выводу: ни Аристотель, ни кто-либо из последующих эрудитов не смог и даже не попытался объединить различные части своего учения, и даже не стремился высказать в каждой из них собственные взгляды на «самые глубокие причины», «сущность вещей» и т. д.

К примеру, физические теории Аристотеля совершенно не связаны с его метафизикой. То же самое можно сказать и про его политическую социологию (в частности, исследования устройства греческих городов-государств). Аналогично взгляды Лейбница по вопросам внешней торговли никак не связаны с его фундаментальными воззрениями на устройство мира и общества: исходя из последних, он мог бы с тем же успехом быть сторонником свободы торговли. Таким образом, в рассматриваемую эпоху мы имеем дело скорее с совокупностью наук, чем с универсальной наукой.

Эта совокупность распалась на части, как только стали очевидными выгоды разделения труда. В XVII–XVIII вв. философия раскололась на естественную и моральную, что как бы предвосхитило соответствующее деление в Германии: на *Natur- und Geisteswissenschaften* (естественные и гуманитарные науки).<sup>4</sup>

При употреблении слова «философия» в еще одном значении вопрос о ее влиянии на экономическую науку вообще не

<sup>3</sup> Следует обратить внимание читателя на то, что термин «система» — который на самом деле несет в себе не более определенный смысл, чем его греческий прототип, — используется в этой книге в нескольких различных значениях, которые нельзя смешивать; например: набор более или менее скоординированных принципов политических действий (либеральная система, система свободной торговли); организованная совокупность доктрин (схоластическая система, маршаллианская система); набор количественных величин, между которыми предполагается существование определенных соотношений (система цен); набор уравнений, выражающих такие соотношения (вальрасианская система).

<sup>4</sup> Ради краткости изложения мы пренебрегли тенденцией, достигшей высшей точки приблизительно в 1900 г. и породившей новое понимание философии, близкое тому, которое трактует ее как науку в целом: философия представляется как попытка создать связанную картину эмпирического мира на основе вкладов, сделанных отдельными учеными. Мы рассмотрим эту концепцию в свое время, а сейчас достаточно сказать, что она не создает никаких трудностей или проблем при исследовании соотношения философии и экономической науки. Очевидно, философия в данном понимании не стремится ограничить самостоятельность какой-либо отдельной науки.

стоит. Это значение предполагает, что философия является таковой же наукой, как и все прочие, решает определенные вопросы, использует определенный материал и получает определенные результаты. Проблемы, которые она рассматривает, примерно таковы: что такое материя, сила, истина, чувственное восприятие и т. д. Такое понимание философии, импонирующее многим нефилософам, делает философию совершенно нейтральной по отношению к другим наукам. Оно, по сути дела, приравнивает философию к эпистемологии — общей теории познания.

Проблема, и притом весьма серьезная, возникает в случае включения в философию всех теологических и нетеологических систем убеждений, касающихся абсолютных истин, абсолютных целей или ценностей, абсолютных норм. Этика и эстетика входят в эти системы не как описательные науки, изучающие определенный набор явлений (например, виды поведения), а как нормативный кодекс, санкционированный извне.<sup>5</sup> Может возникнуть вопрос, не является ли такая философия главным или просто одним из многих факторов, определяющих содержание экономических трудов того или иного автора.

Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу несколько примеров из истории других наук.

Для каждого ученого, чья философия включает христианскую веру, его исследование — это прежде всего исследование творений божьих. Величие этого занятия он видит в том, что его работа открывает какую-то, пусть даже и малую, часть божественного порядка. Так Ньютон выразил свою христианскую веру в сугубо научном труде. Лейбниц легко переходил от чисто физических и математических проблем к теологии — очевидно, он не видел никакой разницы в методологии анализа той и другой области. Леонард Эйлер (1707–1783) защищал свой «метод нахождения кривых, обладающих некоторыми экстремальными свойствами», тем аргументом, что мир создан наиболее совершенным

---

<sup>5</sup> Это также относится и к материализму, понимаемому в философском смысле, т. е. к доктрине, которая не изменилась со времен Левкиппа и Демокрита и утверждает, что «материя» — конечная реальность, которая существует независимо от опыта. Пользуясь случаем, хочу объяснить читателю, что слово «материализм» многозначно и многие его значения не имеют ничего общего с упомянутым. «Идеалистическая» философия, вращающаяся вокруг предположения (которое лично для меня также лишено смысла), что в конечном счете реальность (или «мир») есть «дух», могла бы столь же успешно служить обеим целям: во-первых, на ее примере можно обсуждать проблему влияния на экономическую науку; а во-вторых, на ее примере можно рассмотреть многозначное слово, значения которого обычно путают; это слово «идеал».

творцом и, следовательно, должен поддаваться описанию в терминах «максимум» и «минимум».

Джеймс Джоуль (1818–1889) — один из первооткрывателей фундаментального закона современной термодинамики — утверждал, что, если бы теплу не соответствовал эквивалент в форме движения, энергия была бы потеряна где-то в пространстве, а такое предположение оскорбляет божественное достоинство.

Два последних примера можно в принципе истолковать в том смысле, что верования Эйлера и Джоуля влияли на их аналитическую работу. Однако никто не сомневается, что это не так, т. е.: а) научные исследования четырех названных выше ученых не отклонялись от заданного русла под воздействием их теологических убеждений; б) эти исследования совместимы с любой философской позицией, и поэтому в) бессмысленно пытаться объяснить их результаты философскими позициями их авторов. Упомянутые авторы просто согласовывали свои методы и полученные результаты со своей христианской верой, как согласовывали с ней и все другие поступки. Они облачали свой научный труд в философское одеяние. Но если сбросить это одеяние, содержание работы не пострадает.

Я считаю, что этот вывод справедлив и для экономической науки: экономический анализ никогда не подвергался воздействию философских взглядов ученых-экономистов, хотя довольно часто искажался их политическими взглядами. Однако данный тезис следует формулировать весьма осторожно, поскольку здесь есть широкий простор для ложных интерпретаций. Целесообразно уточнить, чего мы не имеем в виду.

Во-первых, в этом тезисе нет «сциентизма» (см. гл. 2, § 3), т. е. я не пытаюсь доказывать его, проводя прямую аналогию между естественными и общественными науками. Наши примеры были лишь иллюстрациями, а никак не доказательствами: вопрос пока остается открытым. Во-вторых, мой тезис вовсе не означает, что само по себе человеческое действие и связанный с ним психический процесс, т. е. мотивы и способы мышления, не испытывают влияния философских, религиозных или этических убеждений. Правда, я полагаю, что эта корреляция незначительна: барон-разбойник вполне может искренне исповедовать кротость и альтруизм — но это уже совсем другой вопрос.

Если говорить о предположениях, которые науки, исследующие человеческое поведение, делают относительно предмета своего исследования, то мы не сомневаемся в необходимости учета религиозных и философских аспектов при любом объяснении этого поведения, претендующем на реалистичность.

То же относится и к политическим рекомендациям, которые могут давать ученые-экономисты. Наш тезис означает только то, что эти рекомендации не имеют отношения к инструментам анализа и «теоремам» экономистов.<sup>6</sup>

Так или иначе, сейчас я не стремлюсь доказать свой тезис. Я только формулирую и объясняю его. Доказательство содержится в следующих частях, где будет продемонстрировано, что аналитические исследования даже тех экономистов, которые придерживались вполне определенных философских взглядов: Локка, Юма, Кенэ, и прежде всего Маркса, фактически не испытывали на себе влияния философии своих творцов.

Причина столь пристального внимания к тезису о том, что философия в любом смысле слова не влияла и не может повлиять на экономический анализ, заключается в том, что противоположный тезис породил множество ложных объяснений эволюции экономического анализа. Эти ложные объяснения вызывают симпатию многих историков экономической науки, интересующихся в первую очередь философскими аспектами и придающих излишнее значение ссылкам на эти аспекты, которых действительно много в экономической литературе. Смысл этих ссылок не всегда легко распознать. На самом деле они не более чем ненужные украшения, которые затушевывают истинный процесс филиации научных идей.

---

<sup>6</sup> Если читателю трудно понять это разграничение, я ему сочувствую. Большинство экономистов не согласны с нашим тезисом о нейтральности философии именно потому, что они принимают как факт связь экономического анализа и политических предпочтений экономиста, а связь последних с философией очевидна, особенно если включить в философию представления людей о том, что является «справедливым», «желательным» и т. д.

## Глава 4

# СОЦИОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

1. Является ли история экономической науки историей идеологий?
  - (a) Особенности «экономических законов»]
  - (b) Марксистский анализ идеологических влияний]
  - (c) Чем отличается история экономического анализа от истории систем политической экономики и от истории экономической мысли?]
  - (d) Процесс научного исследования: общее видение и способы анализа]
- [Глава осталась незаконченной. Два последних параграфа, указанные в плане, не были написаны, а именно:
2. Мотивы научных устремлений и механизмы развития науки
3. Научные кадры вообще и кадры экономической науки в частности]

Мы уже упоминали научную дисциплину под названием «наукосведение» (*Wissenschaftslehre*). Эта наука, исходя из логики и в какой-то мере из теории познания, исследует общие правила и приемы анализа, применяемые в разных науках. Но есть другая наука о науке, которая называется социологией науки (*Wissenssoziologie*)<sup>1</sup> и изучает последнюю как социальный феномен. Она изучает социальные факторы и процессы, порождающие специфический научный тип деятельности, обуславливающие его развитие, направляющие эту деятельность на те или иные из возможных объектов, выдвигающие на первый план определенные методы исследования и создающие социальные механизмы, ко-

<sup>1</sup> [Й. А. Шумпетер оставил место для этой сноски, но не написал ее. В книге *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York, 1950) <рус. пер.: Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 42> он объясняет термин «социология науки» так: «Немецкий термин — *Wissenssoziologie*. Лучшие авторы, достойные упоминания: Макс Шелер и Карл Маннгейм. Статья последнего по данному предмету в немецком социологическом словаре (*Handwörterbuch der Soziologie*) может служить введением в тему.»]

торые определяют успех или неудачу как индивидуального исследователя, так и целого научного направления. Как мы уже подчеркивали, работники, занимающиеся научной деятельностью, склонны к образованию особых профессиональных групп. Поскольку это так, наука является подходящим объектом для социологического исследования. Разумеется, наш интерес к этой области ограничен теми проблемами, освещение которых полезно для нашего введения в историю экономического анализа. Важнейшая из них — проблема идеологии, которую мы рассмотрим первой (1); затем обратимся к побудительным мотивам научных устремлений и механизмам развития науки (2); наконец, обсудим некоторые вопросы, касающиеся научных кадров вообще и кадров экономической науки в частности (3).

## 1. Является ли история экономической науки историей идеологий?

[а] Особенности «экономических законов». Историческая, или «эволюционная», природа экономического процесса несомненно ограничивает число общих категорий и общих связей между ними («экономических законов»), которые экономисты в состоянии сформулировать. Я не вижу смысла в априорном отрицании (как это часто делается) наличия таких категорий и связей. В частности, вовсе нет необходимости в том, чтобы категории, относящиеся к деятельности определенных социальных групп, были известны самим членам этих групп. Тот факт (если это на самом деле верно), что понятие дохода не было известно в средневековье вплоть до XIV в., — вовсе не причина для отказа от использования данной категории в исследовании экономики того времени.<sup>1</sup> Но верно и то, что «экономические законы» гораздо

---

<sup>1</sup> Позвольте дать некоторые пояснения. Социологи, считающие (как, например, Макс Вебер), что наша главная, если не единственная задача состоит в понимании значения тех или иных фактов для непосредственно затронутых ими людей, могут легко прийти к заключению об ошибочности использования любых понятий, не знакомых людям, которых мы изучаем, ибо в этом случае мы якобы предполагаем идентичность их и нашего сознания. Эта ошибка вовсе не неизбежна: использовать понятие, известное нам, но неизвестное другим, — это одно, а утверждать, что оно значит для них то же, что и для нас, — совсем другое. Обращаться за примером к первобытному племени нет необходимости. Если мы, оперируя нашими собственными категориями, сформируем условия максимизации прибыли, не обязательно при этом предполагать, что теми же категориями пользуется и бизнесмен. Наша «теория» имеет смысл, даже если мы твердо знаем, что он этого не делает.

менее устойчивы, чем законы любой естественной науки, они по-разному действуют в разных институциональных условиях. Пренебрежение этим обстоятельством породило множество ошибок. Стараясь истолковать сознание людей, далеких от нас по времени или культуре, мы рискуем не понять их не только в том случае, когда просто ставим себя на их место, но и тогда, когда мы изо всех сил стараемся проникнуть во внутреннее устройство их сознания. К сожалению, каждый аналитик тоже является продуктом социальной среды и зависим от своего положения в обществе. Это побуждает его обращать внимание на конкретные факты и рассматривать их под определенным углом зрения. Кроме того, под влиянием среды человек подсознательно стремится видеть факты в том или ином свете. Это подводит нас к проблеме влияния идеологии на экономический анализ.

Как утверждают современные психологи и психотерапевты, наше сознание часто занимается тем, что мы называем рационализацией.<sup>2</sup> Это означает, что мы воспринимаем себя, рисуем образы своих побуждений, своих друзей и врагов, своей профессии, церкви, страны в соответствии скорее с желаемым, чем с действительным положением дел. Таким образом мы утешаем себя и стараемся произвести впечатление на других. Конкурент, преуспевший больше нас, разумеется, добивается успеха нечестными приемами, которые мы презираем. Лидер любой политической партии, кроме нашей, конечно же, шарлатан. Наша любимая девушка — ангел, лишенный земных слабостей. Враждебная нам страна населена чудовищами, а наша собственная — исключительно героями и т. д. Благотворность этой привычки для нашего здоровья и счастья очевидна,<sup>3</sup> но в той же мере очевидно и то, как важно ее правильно распознать.

**[б) Марксистский анализ идеологических влияний].** За полвека до того, как значение этого явления было понято и нашло применение в науке и терапии, Маркс и Энгельс открыли его и

---

<sup>2</sup> Эту «рационализацию» надо отличать от других значений того же термина, особенно от двух нижеследующих: 1) говоря о рационализации, мы имеем в виду совершенствование чего-либо, например промышленного предприятия в соответствии с рекомендациями консультантов; 2) под рационализацией в науке мы иногда подразумеваем попытку объяснить набор эмпирических наблюдений посредством привязки их к какому-либо теоретическому принципу. Так, мы можем сказать, что принцип максимизации прибыли является рационализацией наблюдаемого экономического поведения. Эти значения слова не имеют ничего общего с тем, которым пользуемся в данном случае мы.

<sup>3</sup> Это представляется мне важнейшим свойством рационализаций: они обеспечивают некоторую «самозащиту» нашей психики и для многих делают жизнь более «сносной». Однако позволю себе добавить, что они имеют оборотную сторону, которая объясняет их роль в психоаналитической практике.

использовали для критики «буржуазной» экономической науки своего времени. Маркс установил, что идеи и системы идей человечества не являются первичными двигателями исторического процесса, как до сих пор утверждают историографы, а образуют «надстройку» над более фундаментальными факторами, — об этом речь пойдет в соответствующем разделе нашего повествования. При этом идеи и системы идей, господствующие в данное время в данной социальной группе, интерпретируют факты и вытекающие из них следствия искаженно. Это происходит по тем же причинам, что и искажение представлений человека о собственном поведении. Иными словами, человеческие идеи имеют тенденцию прославлять интересы и действия господствующих классов и поэтому содержат (или подразумевают) такое их изображение, которое может значительно расходиться с истиной. Так, средневековые рыцари провозглашали себя защитниками слабых и борцами за христианскую веру, тогда как для наблюдателя из другой эпохи и другого класса их действительное поведение и, что еще важнее, другие факторы, породившие и поддерживающие общественный строй того времени, складываются в совсем иную картину. Такие системы идей Маркс называл идеологиями,<sup>4</sup> считая, что большая часть экономической науки его времени представляла собой лишь идеологию промышленной и торговой буржуазии. Значение этого большого вклада Маркса в наше понимание исторических процессов и общественных наук ограничивается (но не уничтожается) теми оговорками, которые мы здесь приведем.

Во-первых, живо реагируя на идеологический характер тех систем идей, которые были ему несимпатичны, Маркс совершенно не замечал идеологических элементов своей собственной системы. Но ведь его понятие идеологии в принципе универсально. Мы не можем сказать: все вокруг нас идеология,<sup>5</sup> а мы стоим на острове абсолютной истины. Идеология трудящихся не лучше и не хуже, чем какая-либо другая.

---

<sup>4</sup> Термин «идеология» французского происхождения и вначале означал только «изучение идей» (особенно в теории Кондильяка). Иногда он употреблялся как синоним нравственной философии, что примерно равнозначно современному понятию «общественные науки». В этом смысле его употреблял Дестю де Траси. Наполеон I придавал ему другой, отрицательный, смысл: «идеологами» он называл тех оппонентов своего правительства, которых считал пустыми мечтателями (например, Лафайета).

<sup>5</sup> [Здесь и в предпоследнем предложении предыдущего абзаца рядом с упоминанием идеологии Й. А. Шумпетер сделал карандашом пометку: «заблуждение?».]

Во-вторых, марксистский анализ идеологических систем сводит их к сгусткам классовых интересов; последние, в свою очередь, находят выражение исключительно в экономических терминах. Согласно Марксу, идеология капиталистического общества, грубо говоря, прославляет интересы класса капиталистов, состоящие в погоне за денежной прибылью. Поэтому идеология, прославляющая не экономическое поведение капиталистов, а нечто другое, например национальный характер, должна быть в конечном счете сводима к экономическим интересам господствующего класса. Однако это положение не заключено в самом марксистском принципе идеологической ориентации и представляет собой другую, гораздо более сомнительную теорию. Сам принцип предполагает только, что, во-первых, идеология есть надстройка над реальной объективной социальной структурой и одновременно ее порождение; во-вторых, идеология имеет тенденцию отражать эту реальную структуру в специфическом, искаженном виде. Могут ли эти реальности быть описаны в чисто экономических терминах — другой вопрос. Не обсуждая его здесь, отметим лишь, что мы хотим придать понятию идеологического влияния гораздо более широкое значение. Социальное положение, безусловно, могущественный фактор, влияющий на наше сознание, но это не означает, что наше сознание определяется исключительно экономическими составляющими нашей классовой позиции; если даже это так, идеологическое влияние не может быть сведено лишь к влиянию классового или группового материального интереса.<sup>6</sup>

В-третьих, Маркс и большинство его последователей с излишней поспешностью предположили, что высказывания, в которых заметно идеологическое влияние, безоговорочно подлежат осуждению. Важно подчеркнуть, что идеология, как и индивидуальная рационализация, вовсе не ложь, а суждения о фактах, входящие в них, не обязательно должны быть ошибочными. Разумеется, велико искушение одним ударом избавиться от системы неудобных нам положений, объявив ее идеологией. Этот прием весьма эффективен (примерно в той же степени, что и личные нападки на оппонента), но логически он неприемлем. Как мы уже отмечали, даже правильное объяснение причин тех или иных высказываний человека не позволяет судить о их истинности или ложности. Аналогично суждения, имеющие идеологическую подоплеку, законно вызывают подозрение, но при этом могут быть

<sup>6</sup> [Эта проблема затрагивается время от времени на всем протяжении данной книги.]

и правильными. И Галилей и его противники не были свободны от идеологических влияний, однако это не мешает нам признавать правоту Галилея. Но на каком логическом основании? Имеем ли мы возможность обнаружить, опознать и при необходимости устранить искаженные идеологией элементы в экономическом анализе? И что останется, если нам удастся это сделать?

Надеюсь, читатель понимает, что наши ответы на эти вопросы, хотя и подкрепленные примерами, на данном этапе являются лишь предварительными: принципы, которые я собираюсь сформулировать, могут быть доказаны или опровергнуты только на основе всего материала книги в целом. Но прежде чем мы приступим к этой работе, необходимо предварительно прояснить еще один вопрос.

К сожалению, мы вынуждены отрезать путь к спасению от неотвратимого вывода о невозможности «научной истины», которым попытался воспользоваться один из самых ревностных приверженцев доктрины о том, что экономическая наука и любая наука вообще обусловлена идеологией. Согласно профессору К. Маннгейму, жертвами идеологического влияния оказываются все, кроме стоящего на островке истины современного радикала-интеллектуала, беспристрастного судьи всех дел человеческих. Но если и есть что-либо очевидное в данной области, так это то, что подобный интеллектuala окажется вместилищем множества предрассудков, которых он в большинстве случаев придерживается со всей силой искреннего убеждения. Не только это, однако, не позволяет нам согласиться с Маннгеймом: мы полностью признали доктрину идеологического влияния, и поэтому вера каких-то групп людей в свою свободу от идеологической заданности представляется нам наиболее зловредным свойством их системы иллюзий.<sup>7</sup> Теперь изложим свои взгляды по данному вопросу.

Прежде всего, идеологическое влияние, как мы его понимаем (расширенный вариант марксистского определения), очевидно, не единственная угроза для экономического анализа. Отме-

---

<sup>7</sup> Среди таких групп следует особо выделить бюрократию. Ее идеология помимо прочего включает чисто идеологическое отрицание того факта, что ей присущ групповой интерес, который может влиять на проводимую ею политику. Это первый пример влияния идеологии на анализ — первый, потому что под влиянием именно этой бюрократической идеологии сформировалась антинаучная привычка экономистов рассматривать государство как надчеловеческое учреждение, деятельность которого направлена на общее благо, и игнорировать реальные факты из области государственного управления, предоставляемые современной политической наукой.

тим, в частности, еще две, которые легко спутать с влиянием идеологии. Первая опасность — подтасовка фактов или методов анализа со стороны так называемых апологетов. Все, что можно было сказать по этому поводу, мы уже сказали. Здесь я хочу только предупредить читателя, что сознательная апологетика и идеологически обусловленный анализ не одно и то же. Другая опасность происходит из вечной привычки экономистов допускать ценностные суждения о наблюдаемых ими процессах. Ценностные суждения экономиста лишь *раскрывают* его идеологию, но *не являются* ею. Их можно основать и на безупречно установленных фактах и отношениях между фактами. С другой стороны, от ценностных суждений может воздержаться экономист, видящий факты в идеологизированном свете. Подробнее мы обсудим проблему ценностных суждений ниже, в частности когда речь пойдет о дебатах по данному вопросу (часть IV, глава 4).<sup>8</sup>

[С] Чем отличается история экономического анализа от истории систем политической экономии и от истории экономической мысли?]. Различие между идеологически искаженными и ценностными суждениями, о котором только что шла речь, вовсе не означает, что мы отрицаем их сходство. Именно это сходство, как я считаю, обуславливает возможность разграничения истории экономической науки (экономического анализа), истории систем политической экономии и истории экономической мысли. Под системой политической экономии я понимаю изложение системы экономической политики, которую автор отстаивает исходя из некоего единого нормативного принципа: экономического либерализма, социализма и т. д. Мы рассматриваем эти системы только в той мере, в какой они содержат аналитические исследования. Примером такой системы политической экономии является (как по замыслу автора, так и фактически) «Богатство народов» А. Смита. В этом своем качестве она нас не интересует. Но мы рассматриваем ее, поскольку политические принципы и рекомендации Смита: апология свободы торговли и пр. — не более чем поверхностная оболочка его великих достижений в области анализа. Другими словами, нам интересно не то, *за что* он ратовал, а то, *как* он обосновывал рекомендуемую им политику и какие средства анализа использовал. Конечно, для самого Смита и его современников-читате-

<sup>8</sup> [К сожалению, имеется лишь незавершенный вариант данной главы, написанный в 1943 г. Это был один из тех параграфов, которые И. А. Шумпетер намеревался переписать и расширить.]

лей главными были именно политические принципы и рекомендации (включая ценностные суждения, раскрывающие идеологию автора). Именно они обеспечили его работе успех у публики и таким образом позволили ей занять выдающееся место в истории человеческой мысли. Однако я готов в своей книге пожертвовать ими, поскольку они отражают идеологию конкретной страны и конкретной эпохи и неприменимы в других условиях.

Сказанное относится и к тому, что мы называем экономической мыслью, т. е. к совокупности всех мнений и пожеланий по экономическим вопросам (особенно в области экономической политики), присутствующих в общественном сознании в данное время и в данном месте. Общественное сознание никогда не бывает однородным, оно отражает деление данного общества на группы и классы различной природы. Иными словами, общественное сознание более или менее обманчиво (причем в некоторые моменты — более, а в другие — менее) отражает классовую структуру общества и формирующиеся в нем виды группового сознания. Возможность утвердиться в масштабах всего общества и оставить свой след в литературе для будущих поколений у каждой из групп неодинакова. Это порождает часто неразрешимые проблемы интерпретации. В частности, общественное сознание разных групп в данное время и в данном месте не просто различается, но и зависит от положения и интеллекта индивидов, входящих в ту или иную группу. Оно различается у политиков и у лавочников, фермеров, рабочих, которых «представляют» эти политики. Общественное сознание может проявляться в системах политической экономии, создаваемых авторами, принадлежащими или примыкающими к определенным общественным группам. С другой стороны, оно может граничить или пересекаться с областью экономического анализа, как это часто бывает в трактатах, написанных представителями торговой и промышленной буржуазии. В этом случае наша задача состоит в том, чтобы отобрать аналитические достижения из общего потока словесных формулировок, отражающих общественные настроения того времени, но не связанных с попыткой усовершенствовать наш концептуальный аппарат, а потому не представляющих для нас ценности. Как бы ни была трудна такая задача в каждом конкретном случае, различие, которое мы проводим между экономическим анализом, экономической мыслью и системами политической экономии, в принципе должно быть понятно всем.

Я думаю, что параллельно истории экономического анализа можно было бы написать историю становления и смены обще-

ственных воззрений по экономическим вопросам, лишь вкратце описав достижения в области анализа. Такая история, безусловно, способна наглядно продемонстрировать влияние общественных воззрений на выбор проблем, которые интересуют аналитиков в каждый данный период, и на общий подход к этим проблемам. Наша задача противоположна. Конечно, мы всегда будем принимать во внимание окружающую обстановку, в которой протекала работа аналитика. Но сама по себе эта среда и ее исторические изменения не являются для нас основным предметом изучения. Мы будем учитывать лишь ее благоприятное или неблагоприятное воздействие на экономический анализ, который является главным «героем» этой книги. Пытаясь отделить сам анализ от общественного контекста, в котором он развивался, мы сделаем одно открытие, которое можно изложить уже здесь.

Развитие анализа, как бы на него ни влияли интересы и воззрения участников рынка, обладает свойством, начисто отсутствующим в историческом развитии экономической мысли (в нашем понимании термина) и в исторической последовательности систем политической экономии. Это свойство лучше всего пояснить на примере. С древнейших времен до наших дней экономисты-аналитики в большей или меньшей степени интересовались таким явлением, как цена в условиях конкуренции. Когда в наши дни студент изучает эту проблему на высоком теоретическом уровне (например, по книгам Хикса или Самуэльсона), он встречается со многими понятиями и проблемами, которые поначалу кажутся ему трудными (их совершенно не понимал и такой сравнительно недавний автор, как Джон Стюарт Милль). Но довольно быстро наш студент обнаружит, что новый аналитический аппарат ставит и решает проблемы, которые не смогли бы ни поставить, ни тем более решить старые авторы. Это дает нам возможность самым непосредственным образом ощутить, что со времен Милля произошел очевидный прогресс в экономической науке. Мы можем утверждать это с не меньшей уверенностью, чем, например, наличие технологического прогресса в стоматологии за тот же период.

То, что мы можем в данном случае говорить о прогрессе, объясняется, очевидно, наличием некоего общепринятого (разумеется, в среде профессионалов) стандарта, который позволяет нам проранжировать различные теории цены так, чтобы каждая из них превосходила предыдущую. Далее мы замечаем, что эта иерархия связана с течением времени, т. е. чем позднее появи-

лась теория, тем, как правило, выше ее ранг. Все исключения можно отнести за счет внешних по отношению к анализу влияний. Ничего похожего на этот прогресс анализа мы не встретим ни в истории экономической мысли, ни в исторической последовательности систем политической экономии. Например, бессмысленно говорить, что идеи Карла Великого в области экономической политики, воплотившиеся в его законодательной и административной деятельности, превосходят экономические идеи, скажем, Хаммурапи, но уступают общим принципам экономической политики династии Стюартов, которые, в свою очередь, не дотягивают до уровня идей, лежащих в основе актов американского Конгресса. Конечно, к каким-то мерам государственной политики мы относимся лучше, чем к другим, и на этом основании можем проранжировать их в порядке своего предпочтения. Но ранг любой экономической идеи будет определяться ценностными суждениями составителя иерархии, его эмоциональными и эстетическими предпочтениями. Это, по сути дела, все равно что решать, кто более велик: Тициан или Гоген. Единственный разумный ответ в данном случае состоит в том, что сам вопрос бессмыслен. То же самое можно сказать и о всех системах политической экономии, если исключить из рассмотрения достоинства и недостатки применяемых в них методов анализа. Мы можем предпочесть современный диктаторский социализм миру Адама Смита или наоборот, но такие предпочтения будут столь же субъективными, как предпочтение, оказываемое блондинкам или брюнеткам (пользуясь сравнением Зомбарта). Иными словами, в вопросах экономической и всякой иной политики нет места понятию «прогресс», поскольку отсутствует база для сравнения. Это обстоятельство объясняет расхождения между историками экономической науки. Одни из них справедливо говорят о прогрессе в нашей науке, имея в виду технику анализа и растущую степень овладения фактическим материалом. Другие столь же справедливо отрицают прогресс и ведут речь о простой смене общественных условий, порождающей смену настроений и мнений по поводу экономической политики и ее целей. И те и другие ошибаются лишь в том, что держат в поле зрения только тот аспект экономической мысли, который анализируют. Но безусловно ошибаются те, кто либо видит в развитии экономического анализа простое отражение изменившихся приоритетов общественного сознания, либо по-детски верит в то, что политические идеи рождаются исключительно под влиянием прогрессивных побуждений.

[d) Процесс научного исследования: общее видение и способы анализа]. Теперь мы готовы сделать второй шаг в нашем исследовании идеологических влияний, а именно поставить вопрос, в какой мере они могут повредить экономическому исследованию в узком смысле, т. е. тому, что мы назвали экономическим анализом. Некоторым читателям этот второй шаг может показаться излишним. Ведь мы уже установили идеологическую обусловленность всех систем политической экономии и тех менее систематизированных совокупностей взглядов по экономическим вопросам, которые «циркулируют в общественном сознании» в каждом конкретном условиях. Что же еще остается оговорить? Допускаю, что читатели, которых интересует главным образом история идей, формирующих политику или хотя бы влияющих на нее, или история общественных воззрений на приоритеты хозяйственной политики и не волнует техника экономического анализа, могут великодушно признать (в недоумении пожимая плечами), что наш набор инструментов так же далек от идеологии, как и техника любой другой науки. К сожалению, мы не можем с легкостью принять это на веру. Поэтому обратимся к самой сути научного исследования и определим, на каком этапе в него могут проникнуть идеологические элементы, каким образом можно их распознать и попытаться устранить.

На практике исследование всегда начинается с изучения работ предшественников. Но предположим, что мы начали с нуля. Каковы наши первые шаги? Очевидно, для того чтобы поставить перед собой какую-либо проблему, мы должны прежде всего иметь перед глазами определенный набор связанных явлений, представляющих собой достойный объект для исследования. Иными словами, аналитической работе должен предшествовать преданалитический акт познания, поставляющий материал для анализа. В этой книге такой преданалитический акт познания мы называем «видением». Интересно, что такое видение не только исторически предшествует любой аналитической работе, но и может вторгнуться в историю уже сложившейся науки. Это происходит тогда, когда кто-либо учит «видеть» вещи в новом свете, никак не обусловленном фактами, методами и результатами, характерными для предыдущей стадии развития науки.

Я хотел бы пояснить этот тезис наглядным примером, взятым из современной стадии развития нашей науки. И критики, и поклонники научных достижений покойного лорда Кейнса согласятся с тем, что его «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) была выдающимся достижением 30-х годов и ока-

зала решающее влияние на развитие анализа в течение по крайней мере десятилетия после своего выхода в свет. Аналитический аппарат «Общей теории» представлен автором в главе 18. Следуя за его рассуждениями, мы замечаем, что аппарат был создан Кейнсом для удобства изложения некоторых фактов «мира, в котором мы живем», хотя, как подчеркнул сам автор, эти факты несут на себе отпечаток ряда свойств его основных теоретических концепций (склонности к потреблению, предпочтения ликвидности и предельной эффективности капитала), но не являются «логически необходимыми свойствами». Этот аналитический подход будет подробно рассмотрен ниже.<sup>9</sup> Мы покажем, что специфические свойства, о которых идет речь, — это свойства дряхлеющего английского капитализма с точки зрения английского интеллектуала. Очевидно, что никакой предшествующий анализ не смог бы их установить. Их можно, «опираясь на наши представления о природе современного человека, с уверенностью приписывать миру, в котором мы живем [Англии]» <Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 321>. Здесь не место обсуждать достоинства или недостатки изложенной концепции. Скажем лишь, что мы имеем дело с концепцией (или видением в нашем смысле слова), предшествующей аналитической работе самого Кейнса и его последователей. Это предшествование проявляется с непревзойденной ясностью, поскольку данное видение было блестяще сформулировано Кейнсом (еще без аналитического оснащения) на нескольких страницах его ранней работы *The Economic Consequences of the Peace* («Экономические последствия мира»; 1919). Период между 1919 и 1936 гг. Кейнс посвятил (разумеется, не исключительно — широта его интересов общеизвестна) попыткам — сначала менее, затем более успешным — придать форму своему видению современного экономического процесса, возникшему у него, самое позднее, в 1919 г. Можно было бы привести и другие примеры как из нашей науки, так и из других дисциплин, иллюстрирующие этот способ работы нашего ума, но, пожалуй, более убедительного не найти.

Аналитическая работа начинается тогда, когда у нас уже есть свое видение группы явлений, привлечшей наше внимание, независимо от того, располагаются ли эти явления на «научной целине» или на почве, обработанной прошлыми исследователя-

<sup>9</sup> См.: часть V, глава 5. [Эта оценка «Общей теории» Кейнса была, судя по всему, последним материалом, написанным для этой книги.]

ми. Первая задача состоит в том, чтобы облечь наше видение в слова или концептуализировать его таким образом, чтобы его элементы, обозначенные определенными терминами (что облегчит их узнавание и работу с ними), заняли свое место в более или менее упорядоченной схеме или картине. Одновременно мы почти автоматически выполняем и две другие задачи. С одной стороны, мы собираем новые факты в дополнение к уже известным и разочаровываемся в надежности некоторых фактов, входивших в наше первоначальное видение. С другой стороны, само создание схемы или картины обогащает первоначальное видение новыми связями между фактами, новыми понятиями, а иногда и разрушает какую-то его (видения) часть. Изучение фактов и «теоретическая» работа, без конца обогащая и проверяя друг друга, ставя друг другу новые задачи, в конце концов создают *научные модели*, временные продукты их взаимодействия, сохраняющие некоторые элементы первоначального видения, к которым предъявляются все более жесткие требования адекватности и последовательности. Таково примитивное, но, думаю, в сущности верное описание процесса, с помощью которого мы получаем научные результаты. Очевидно, что этот процесс широко открыт для воздействия идеологии. Оно осуществляется уже на самом первом этапе преданалитического познавательного акта. Аналитическая работа начинается с видения, а оно идеологично почти по определению. Если есть хоть какой-нибудь мотив, побуждающий нас видеть факты так, а не иначе, то можно не сомневаться, что мы увидим их так, как нам хочется. Чем простодушнее и наивнее наше видение, тем больше опасностей нас подстерегает в попытке получить из него универсальные выводы. Кстати, тот, кто ненавидит свою общественную систему, вовсе не обязательно создаст более объективный ее образ, чем тот, кто ее любит. Ненависть не менее слепа, чем любовь. Единственное, что утешает, так это то, что существует широкий круг явлений, никак не затрагивающих наши эмоции и поэтому представляющихся разным людям одинаково. Кроме того, мы можем отметить, что правила и приемы анализа в той же мере независимы от идеологии, в какой наше видение пронизано ею. Конечно, пафос страстного утверждения или страстного отрицания иногда приводит к подтасовке методов анализа. Но сами эти методы, многие из которых к тому же заимствованы из областей, слабо, а то и вовсе не затронутых идеологией, таковы, что их некорректное применение легко распознать. Не менее важно, что они устраняют порожденные идеологией ошибки, содержащиеся в пер-

воначальном видении. Они делают это автоматически, помимо воли исследователя, и в этом их особое достоинство. Новые факты, накапливаемые исследователем, воздействуют на его теоретическую схему. Новые концепции и взаимосвязи, открытые им или другими учеными, должны подтвердить его идеологию или уничтожить ее. Если не мешать этому процессу, он хотя и не защитит нас от возникновения новых идеологий, но очистит существующую идеологию от ошибочных взглядов. Конечно, в экономической науке (и в еще большей степени в других общественных науках) сфера строго проверяемых явлений ограничена. Многие из них входят в область личного опыта, а уж отсюда изгнать идеологию, или в данном случае сознательную нечестность, невозможно.<sup>10</sup> Поэтому приведенные аргументы не могут успокоить нас окончательно. Но они значительно сужают область идеологически искаженных положений и позволяют нам определить их возможное местонахождение.

[И. А. Шумпетер не закончил вводную часть своей книги и остановился на этом. Следующие три абзаца были найдены неотпечатанными среди заметок и рукописей, относящихся к данной части.]

Есть надежда, что предшествующее обсуждение проблемы влияния идеологии поможет читателю понять ситуацию, в которой нам приходится работать, и предостережет его, не наполнив при этом бесплодным пессимизмом в отношении «объективной обоснованности» наших методов и результатов. Однако следует признать, что предлагаемое нами решение проблемы, состоящее из ряда правил, с помощью которых можно обнаружить, диагностировать и устранить идеологическое заблуждение, не может быть простым и определенным в отличие от распространенного легковесного утверждения, что история экономической науки является (или не является) историей идеологий. Нам пришлось пойти на большие уступки первой из названных точек зрения, на уступки, которые ставят под сомнение научный характер всеобъемлющих философских концепций экономической жизни, таких как политическая экономия либерализма, многим из нас представляющихся наиболее интересными и яркими творениями экономической мысли.

---

<sup>10</sup> При этом нечестность подтасовки логических аргументов в нашей области вовсе не обязательно осознается самим фальсификатором. Он может быть настолько убежден в истинности своей позиции, что скорее предпочтет умереть, чем признает противоречащие его схеме факты или доводы. Первое средство, к которому такой исследователь прибегает для защиты своих идеалов, — ложь. Этот случай мы не рассматриваем как проявление идеологического влияния, но он безусловно усиливает пагубное воздействие последнего.

Мало того, с одной стороны, нам пришлось признать, что, несмотря на существование механизма, автоматически подавляющего влияние идеологии, этот процесс требует больших затрат времени и сталкивается со множеством препятствий. С другой стороны, мы при этом не застрахованы от вторжения новых идеологий, идущих на смену прежним. Учитывая данные обстоятельства, приведем ряд примеров, которые могут способствовать овладению нашими методами; они послужат полезным дополнением к вышеизложенному. Разделим эти примеры на четыре группы.

Во-первых, когда мы рассматриваем содержимое нашего ящика с теоретическими и статистическими инструментами, мы обнаруживаем, что многие из них являются (и признаны) идеологически нейтральными. Например, мы находим такое понятие, как «предельная норма замещения», которое начиная примерно с 1900 г. все шире использовалось в теории ценности вместо прежнего понятия предельной полезности. Те, кто предпочел первое понятие последнему, поступили так из чисто технических соображений, совершенно не относящихся к какой-либо идеологии экономической жизни, да и, собственно говоря, никто и никогда не утверждал обратное. Аналогично вопрос о применимости обычных критериев существенности к корреляции между временными рядами очень важен для экономического анализа. Но было бы пустой тратой времени изучать вопрос о наличии или отсутствии идеологических искажений в этих методах, поскольку очевидно, что по своей природе эти методы нейтральны по отношению к идеологиям. Правда, результаты, полученные путем рассуждений с использованием таких не подверженных коррозии понятий или теорий, все же могут быть искажены под влиянием идеологий. Но мы можем по крайней мере быть уверенными, что идеологические искажения, если таковые имеются, следует искать среди других элементов нашей аргументации.

Во-вторых, существуют методы анализа или теории, которые, являясь в действительности нейтральными, все же приобретают мнимое идеологическое значение, поскольку исследователи ошибочно предполагают наличие связи между этими методами и теориями и идеологией. Мы только что отметили неоспоримый факт, что переход от теории ценности на основе предельной полезности к теории ценности, основанной на понятии предельной нормы замещения, был идеологически нейтральным в том смысле, что он совместим с любой идеологией. Иначе обстояло дело с предыдущей фазой развития теории ценности. В числе противников теории предельной полезности были марксисты — сторонники трудовой теории ценности, которые, как и многие теоретики предельной полезности, полагали, что выбор между двумя этими теориями, объясняющими феномен экономической ценности, зависит от нашего видения экономического процесса и является

идеологически окрашенным. В частности, марксистское понимание ценности как овеществленного труда явилось первым звеном в цепи рассуждений, рассматриваемой марксистами как доказательство того, что источником всех доходов, кроме заработной платы, является эксплуатация. Однако, как будет показано в части III, идеология...

[Й. А. Шумпетер почти закончил параграф 1 главы 4 («Является ли история экономической науки историей идеологии?»). Дальнейшее обсуждение некоторых из этих проблем читатель найдет в докладе «Наука и идеология», представленном Й. А. Шумпетером в качестве президента Американской экономической ассоциации (*American Economic Review*. 1949. March).

Очевидно, глава 4 была последней главой вводной части. В нее предполагалось включить еще два параграфа (2. «Мотивы научных устремлений и механизмы развития науки»; 3. «Научные кадры вообще и кадры экономической науки в частности»). Эти вопросы рассматриваются на протяжении всей книги (см. Предметный указатель) в связи с авторской концепцией «школ». Например, рикардянцев Й. А. Шумпетер охарактеризовал так: «Более того, группа была настоящей школой в нашем понимании: был один учитель, одна доктрина, чувство единства; были ядро, стержень, зоны влияния и примкнувшие».

Несколько абзацев черновика (возможно, надиктованных), посвященных до некоторой степени научным кадрам, были найдены среди авторских заметок и приводятся ниже.]

Читателю не составит труда обнаружить связь, существующую между определением науки как метода, развивающегося в конкретной социальной группе профессионалов, и идеологическими аспектами методов и результатов, полученных в ходе «научной» деятельности такой группы. Очевидно, между ее членами должно быть некоторое согласие, по крайней мере если группа в достаточной степени сформировалась, должен существовать корпоративный дух, создающий зафиксированные или неписанные правила, на основе которых члены узнают друг друга, допускают в свою группу одних и исключают других. Указав на несколько явлений, к которым приводят вышеизложенные факты, мы завершим то немногое, что может быть сказано здесь по поводу социологии науки.

Если допустить, что существует индивид, который, неважно по какой причине, самостоятельно и для самого себя начал заниматься изучением любой из тех групп явлений, которые когда-либо были объектом научной деятельности, можно понять весьма

простую, но фундаментальную истину. Наш индивид прежде всего должен научиться распознавать явления, над которыми он собирается работать, причем распознавать их как объекты, каким-то образом связанные между собой и отличные от других. Это распознавание является актом познания, но не частью аналитической работы. Напротив, оно поставяет материал или предмет для аналитической работы и служит, таким образом, предпосылкой для него. Следовательно, сама аналитическая работа состоит из двух разных, но неразделимых видов деятельности. Один заключается в концептуализации того, что составляет содержание видения. Мы подразумеваем под этим конструирование из его элементов точных понятий, которым присваиваются обозначения или названия с целью закрепления их идентичности, и установление между ними связей (теорем или утверждений). Другой состоит в поисках новых эмпирических данных (фактов), с помощью которых мы обогащаем и проверяем ранее полученные. Ясно, что оба эти вида деятельности не являются независимыми друг от друга, напротив, между ними должен осуществляться постоянный обмен. Попытки концептуализации побуждают продолжать поиски новых фактов, а вновь обнаруженные факты должны быть включены в анализ и концептуализированы. Оба вида деятельности образуют бесконечный процесс усовершенствования, углубления и корректировки первоначального видения, а также полученных результатов. На каждом данном этапе нашей научной деятельности мы пытаемся построить схемы, системы, или модели, чтобы с их помощью насколько возможно лучше описывать ряд явлений, который нас интересует. Эти инструменты познания развиваются «дедуктивно» или «индуктивно», но по своей природе являются временными и всегда соотносятся с запасом фактов, которыми мы владеем. Это весьма несовершенное описание научного процесса, но оно выявляет факт, который на страницах данной книги будет подчеркиваться вновь и вновь: не существует и не может существовать противопоставления «теории» «поискам фактов», не говоря уже о противопоставлении дедукции и индукции. Выявление причин возникновения видимости такого противопоставления составляет одну из наших задач.

Разумеется, на практике ни один научный работник никогда не проходит через все этапы работы, начинающиеся с его собственного независимого видения. Интуитивное восприятие новых аспектов всегда присутствует в науке. Однако видение такого типа, которое порождает новые методы или утверждения либо приводит к открытию новых фактов, входящих затем в науку в форме новых гипотез или ограничений, только дополняет и, вероятно, частично вытесняет существующие научные структуры, основной корпус которых передается из поколения в поколение как

нечто, не подлежащее сомнению. На практике запас научных знаний всегда передается не обществом в целом или случайным коллективом людей, а более или менее определенной группой профессионалов, которые не только обучают подрастающие поколения своим методам и результатам, но и знакомят их со своими суждениями относительно направления и средств дальнейшего продвижения науки. В большинстве случаев, за исключением индивидов, обладающих экстраординарной самобытностью и силой, единственным источником овладения навыками научной работы является учеба у признанных профессионалов. Рассмотрим кратко некоторые из последствий этого факта.

Во-первых, следует отметить, что этот социальный механизм в огромной степени снижает затраты труда. С его помощью любой начинающий, который следует полученному совету и выполняет предписанную ему работу, приобретает знание фактов, быстро схватывает суть проблем, овладевает методами, максимально экономя энергию и высвобождая силы для исследования областей, лежащих за пределами компетенции учителя. Нет причин сомневаться в том, что данный социальный механизм не только благоприятствует развитию концептуального аппарата и накоплению фактических знаний, но и обеспечивает наиболее мощный стимул к тому, что обычно называется прогрессом в науке. Однако очевидно, что существует и другая сторона медали. В процессе обучения в области какой-либо установившейся науки новичок начинает мыслить принятыми стереотипами, что замедляет развитие его собственной индивидуальности. Из этого вытекает и другое, менее очевидное последствие. Спротивление, оказываемое любой существующей научной структурой, препятствует развитию новых взглядов и методов, и потому они внедряются в практику скорее революционным путем, чем путем постепенной трансформации. В результате теряются элементы старой структуры, которые могли бы перманентно сохранять свою ценность или, по крайней мере, с пользой применяться в течение еще какого-то времени. Таким образом, можно во многом оправдать как возмущение революционеров, так и стремление некоторых исследователей подчеркивать непрерывность процесса и защищать старые воззрения от новых. В данной книге будет приведено много примеров этому.

Во-вторых, тот факт, что существующие в области научной деятельности (как, впрочем, и в других областях) структуры, раз установившись, стремятся сохранить свои позиции, вызывает труднообъяснимый «феномен поколений». Рассмотрим группу населения с постоянной возрастной структурой, внутри которой, кроме того, число новичков в науке равно числу ученых, уходящих на пенсию. Предположим также, что среди представителей какой-либо профессии, скажем ученых-экономистов, возрастная структура также постоянна. Несомненно, в рамках данной профессии можно вы-

делить подгруппы, от которых следует ожидать развития взглядов и методов и где не существует никаких проблем, связанных с антагонизмом возрастных групп. Но здесь нет проблемы научных поколений, поскольку мы также наблюдаем, что в каждый момент времени большинство людей во всех возрастных группах обнаруживают некоторое сходство позиций; например, можно говорить о поколении 1880–1900 гг. и сравнить его с поколением 1920–1940 гг., хотя взгляды молодых и опытных ученых различались как в первый, так и во второй период. Это не будет иметь значение при равномерном и постепенном изменении методов и результатов. Говоря об ученых-экономистах, можно поддаться искушению объяснить данное явление изменением социальных и экономических условий и последующим изменением практических задач, которые привлекли внимание ученых в разных периодах. Однако мы наблюдаем то же явление и в науках, работающих в неизменных условиях. Именно это дает нам ключ к пониманию природы данной проблемы и одновременно к ее решению. Проблемы и методы меняются не только вследствие изменения окружающей среды. Они меняются также вследствие того, что аналитическая работа, воплощенная в данной структуре науки, противодействует переменам.

В-третьих, профессионалы, посвящающие себя научной работе в определенной области, имеют тенденцию к образованию социальной группы. Это означает, что кроме интереса к научной работе или к определенной науке у них есть еще что-то общее. В большинстве случаев они преподают науку, которую стараются развивать, и этим зарабатывают себе на жизнь. Естественно, это ведет к возникновению социального и экономического типа. Группа принимает или отказывается принять сотрудников не только исходя из уровня их профессиональной компетентности. В области экономической науки процесс формирования такой группы был долгим, но когда это произошло, она стала оказывать большее влияние, чем аналогичная группа в области физики. Мы увидим, что в большинстве стран люди, пишущие на экономические темы, происходили из всех слоев общества. На ранних этапах развития экономической науки существовали факторы, способствующие образованию группировок; наиболее важным примером являются католические схоласты, но впоследствии экономистами становились люди, пришедшие из самых разных общественных классов и имевшие различный уровень доходов. В Англии такое положение имело место даже в первой половине XIX века. В подобных случаях мы должны употреблять слово «профессия» с оговоркой. В Англии в то время профессия экономиста сводилась к тому, что были авторы, пишущие на экономические темы и взаимно признающие свою профессиональную компетентность. Но позднее в результате объединения научной работы с преподаванием образовалась экономическая профессия в полном смысле слова, и

она выработала общие позиции по отношению к общественным и политическим вопросам, причём эта общность позиций возникла не только по причине сходства научных взглядов. Сходство условий жизни и социального положения создало сходство жизненных философий и ценностных суждений относительно социальных явлений. Остановиться на последствиях такого положения вещей заставляет их тесная связь с феноменом научных школ. Поскольку это понятие неизбежно будет играть значительную роль в нашем исследовании, лучше уточнить, что оно означает.

## Глава 1

# ГРЕКО-РИМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

1. План этой части
- [2. От истоков до Платона]
- [3. Аналитические достижения Аристотеля]
- [4. О происхождении государства, частной собственности и рабства]
- [5. «Чистая» экономическая наука Аристотеля]
  - а) Ценность
  - б) Деньги
  - в) Процент
- [6. Греческая философия]
- [7. Вклад римлян]
  - [а) Отсутствие аналитических исследований]
  - [б) Значение Римского права]
  - [в) Сочинения по сельскому хозяйству]
- [8. Ранняя христианская мысль]

8:02

### 1. План этой части

В первой части было разъяснено, что ни одна наука, согласно принятому там определению этого термина, никогда не бывает основана или создана одним индивидом или группой. Точно так же обычно невозможно установить точную дату ее «рождения». Существование экономической науки, как мы ее теперь называем, стало общепризнанным в результате длительного процесса, который протекал между серединой XVII и концом XVIII в. Однако в первой части было введено понятие, которое поможет нам внести некоторую ясность или хотя бы облегчить изложение материала, — понятие классического состояния.<sup>1</sup> Такое клас-

<sup>1</sup> Йозеф Алоиз Шумпетер не завершил разделы части I, где собирался обсудить свое понятие классического состояния и трудности, связанные с периодизацией, уделив особое внимание тем причинам, по которым он распреде-

сическое состояние сложилось во второй половине XVIII в., а ранее подобное классическое состояние не возникало ни разу. С учетом этого мы могли бы соблазниться начать где-нибудь между 1750 и 1800 гг., быть может, с главного достижения той эпохи — «Богатства народов» А. Смита (1776). Но любое классическое состояние подводит итог или консолидирует ту действительно оригинальную работу, которая к нему приводит, и не может быть понято само по себе. Поэтому в данной части мы попытаемся как можно полнее охватить промежуток времени продолжительностью более чем 2000 лет, который начинается от «истоков» и завершается примерно через двадцать лет после публикации «Богатства народов». Эта задача в значительной степени облегчается тем дополнительным обстоятельством, что с точки зрения целей данной истории многие столетия внутри указанного промежутка являются пустыми.

Классическое состояние второй половины XVIII в. явилось результатом слияния двух типов трудов, которые в достаточной мере отличаются друг от друга, чтобы это оправдывало их отдельное рассмотрение.<sup>2</sup> На протяжении столетий работы философов постепенно пополняли запас эмпирических знаний и развивали понятийный аппарат. И почти независимо от них существовал запас фактов и понятий, накопленный практиками в ходе обсуждений текущих политических вопросов. Эти два источника нарождавшейся экономической науки не могут быть строго отделены друг от друга. С одной стороны, великое множество про-

---

лил материал истории экономического анализа по трем основным разделам, представленным в частях II, III и IV. Читатель, однако, обнаружит упоминания этих проблем в различных местах на протяжении всей книги, особенно в главе 1 части III и главе 1 части IV.

Как указывал Й. А. Шумпетер, в этой книге термин «классический» имеет три значения, которые следует отличать друг от друга. Раньше он относился к экономической литературе периода от А. Смита до Дж. Ст. Милля. «Этот смысл сохранялся до тех времен, пока слово „классический“ не утратило свой хвалебный оттенок и не начало означать „устаревший“; лорд Кейнс употреблял это слово для обозначения учения А. Маршалла и его непосредственных последователей (докейнсианской экономической науки).» Сам Й. А. Шумпетер использует термин «классическое состояние» для описания ситуации, когда после длительного периода борьбы и дискуссий достигается значительная степень согласия — происходит консолидация тех новых и оригинальных работ, которые велись ранее. Используя термин «классический» в его первом значении (от А. Смита до Дж. Ст. Милля), он «во избежание путаницы» помещает его в кавычки (часть III, глава 1, § 1.)

<sup>2</sup> Как и периодизация, выделение этих типов есть не более чем средство упростить изложение. Хотя и то и другое основано на доказанных фактах, не следует принимать их слишком всерьез. Иначе то, что было задумано как помощь читателю, станет источником заблуждений. Периоды и типы полезны, только если мы об этом не забываем.

межуточных случаев нельзя подвергнуть классификации, не разрубив большого числа гордиевых узлов. С другой стороны, вплоть до времен физиократов методы, применявшиеся учеными, оставались настолько простыми, что большая их часть была доступна обычному здравому смыслу и с ними легко могли соперничать необученные практики, работы которых поэтому нельзя игнорировать как не относящиеся к нашим задачам. Наоборот, они часто достигали такого уровня, который в этой книге мы называем научным. И тем не менее в общих чертах наше разграничение закононо.

Давайте вспомним наше разграничение между экономической мыслью — теми взглядами по экономическим вопросам, которые преобладают в любое данное время в любом обществе и принадлежат скорее экономической истории, чем истории экономической науки, — и экономическим анализом, который есть результат научных усилий в нашем смысле слова.

История экономической мысли начинается с письменных источников теократических государств древнего мира, в экономике которых происходили явления, в какой-то мере сходные с теми, что происходят у нас, и возникавшие проблемы решались в основном так же. Но история экономического анализа начинается только с греков.

В Древнем Египте существовала определенного типа плановая экономика, построенная вокруг ирригационной системы. В ассирийской и вавилонской теократиях были огромные военные и бюрократические организации и развитые правовые системы — среди них кодекс Хаммурапи (примерно 2000 г. до н. э.) является самым ранним законодательным памятником; они проводили активную внешнюю политику; они развили денежные институты до высокой степени совершенства, знали кредит и банковское дело. Священные книги Израиля, в особенности их законодательные разделы, обнаруживают великолепное понимание практических экономических проблем еврейского государства. Но здесь нет и следа попыток анализа. Больше, чем где бы то ни было, мы могли бы рассчитывать найти подобные следы в Древнем Китае, на родине самой древней из известных нам письменных культур. Здесь мы обнаруживаем высокоразвитое государственное управление, повседневно занимающееся аграрными, коммерческими и финансовыми вопросами. Эти вопросы часто затрагиваются — в основном с этических позиций — в дошедшей до нас китайской классической литературе, например в учении Конфуция (551–479 гг. до н. э.), который сам в различные периоды жизни являлся и администратором, и реформатором;

Мэн-Цзы (372–289 гг. до н. э.; см. его труды в переводе Л. А. Лайалла, 1932), чьи сочинения позволяют представить всеобъемлющую систему экономической политики. Более того, у китайцев были методы денежного регулирования и контроля над товарообменом, которые предполагают определенный анализ. Явления, присущие возникавшему время от времени инфляциям, несомненно наблюдались и обсуждались людьми, значительно превосходившими нас с точки зрения утонченности культурного развития. Но до нас не дошло никаких рассуждений по строго экономическим вопросам, которые можно было бы назвать «научными» в рамках нашего понимания этого термина.<sup>3</sup>

Вывод, который мы можем отсюда сделать, отнюдь не бесспорен. Могли существовать аналитические исследования, записи о которых не сохранились. Но есть основания полагать, что их было немного. Мы видели ранее, что знания на уровне здравого смысла (по сравнению с научным знанием) в области экономики значительно более обширны, чем практически в любой другой сфере. Тогда совершенно ясно, что для того, чтобы экономические вопросы, сколь бы важны они ни были, возбудили собственно научное любопытство, должно пройти гораздо больше времени, чем в случае с явлениями природы. Природа полна тайн, в которые увлекательно проникать; экономическая жизнь представляет собой совокупность наиболее обыденных и скучных явлений. Общественные проблемы интересуют ученые умы в первую очередь с философской и политической точек зрения; с научной точки зрения они поначалу не кажутся особенно интересными или даже не считаются «проблемами» вообще.

## [2. От истоков до Платона]

Насколько мы можем судить, зачатки экономического анализа составляют незначительную — крайне незначительную — часть того наследия, которое оставили нам прародители нашей культуры — древние греки. Так же как их математика и геометрия, их астрономия, механика, оптика, их экономическая наука является ключом ко всем последующим трудам. Однако в отличие от результатов в других областях их экономическая наука не смогла достичь независимого статуса и не получила даже

<sup>3</sup> См., однако, работы: Э. Д. Томаса: *Thomas E. D. Chinese Political Thought*. 1927; *Ly S. Y. Les grands concepts de la pensée économique chinoise dans la antiquité...* 1936, и Чень Хуань Чана: *Huan Chang Chen. The Economic Principles of Confucius and his School*. 1911.

собственного названия: их «экономика» (οἶκος — дом и νόμος — закон или правило) означает лишь практическую мудрость в управлении домашним хозяйством. «Хрематистика» Аристотеля (χρῆμα — владение или богатство), которая ближе всего к экономической науке в нашем смысле, обращается в основном к финансовым аспектам хозяйственной деятельности. Экономические рассуждения древних греков сливались с их общей философией государства и общества, и они редко рассматривали какой-либо экономический вопрос ради него самого. Этим, по-видимому, и объясняется тот факт, что их достижения в данной области были столь скромны, особенно по сравнению с их выдающимися достижениями в других сферах. Исследователи античности, а также те экономисты, которые дают древнегреческим ученым более высокую оценку, имеют в виду их общую философию, а не экономический анализ. Они также склонны ошибаться, провозглашая открытием все то, что предполагает дальнейшее развитие, и забывая, что в экономической науке, так же как и всюду, большинство утверждений и фундаментальных фактов приобретают значение только благодаря тому зданию, которое строится на их основе, а без такого здания они не более чем банальность. Доступные нам крупницы научных знаний, созданных греческой экономической мыслью,<sup>1</sup> можно обнаружить в трудах Платона (427–347 гг. до н. э.) и Аристотеля (384–322 гг. до н. э.).

<sup>1</sup> Нас не занимают здесь экономические условия и их отражение в общественном мнении. Читатель может без особого труда получить представление и о том, и о другом из работы Дж. М. Кэлхауна: *Calhoun G. M. The Business Life of Ancient Athens*. 1926. Кроме всего прочего эта книга убедительно демонстрирует, что между нашей реакцией на деловую практику и аналогичной реакцией древних греков существует любопытное сходство. Произведения древнегреческих поэтов и историков имеют значение лишь в данном аспекте и не будут здесь рассмотрены, хотя некоторые из последних, например труды Фукидида и Полибия, захватывают интересны любому, кто изучает древнегреческое общество. Нет необходимости обсуждать и «Экономику» Ксенофонта, принадлежащую к тому типу одноименных трактатов по домоводству, которые существовали до XVI столетия. Его *Pogoi* — трактат о государственных финансах Атики — разумеется, очень интересен для историка экономики, как и приписывавшийся Ксенофону трактат об Афинском государстве — единственное, что осталось из, вероятно, обильной литературы, написанной оппонентами радикальных режимов, существовавших в Афинах после Перикла. Среди «философов» Платон и Аристотель занимают «командные высоты», так что в очерке такого рода можно ограничиться ими. В огромной посвященной им литературе лишь незначительное — подчас дилетантское — внимание уделяется интересующим нас проблемам. Широкому читателю достаточно воспользоваться книгой М. Л. В. Лайстнера: *Laisner M. L. W. Greek Economics*. 1923, — которая содержит и переведенные фрагменты важнейших работ. См. также: *Sonchon Auguste. Les Théories économiques dans la Grèce antique*. 1898. Однако невозможно не назвать такие классические труды, как: *Coulanges Fustel, de. La Cité antique/Trans. by W. Small. 12th ed., 1921; Gomperz T.*

Даже там, где греческая мысль становилась наиболее абстрактной, она всегда вращалась вокруг конкретных проблем человеческой жизни. В центре этих жизненных проблем в свою очередь всегда стояла идея греческого города-государства, полиса, который для греков являлся единственно возможной формой цивилизованного существования. Таким образом, благодаря уникальному синтезу элементов, которые, с нашей точки зрения, принадлежат различным мирам, греческий философ был в сущности политическим философом: он смотрел на вселенную из полиса, и вселенная — вселенная мысли, равно как и всех прочих человеческих забот — отражалась для него в полисе. Софисты, пожалуй, были первыми, кто анализировал эту вселенную во многом так же, как анализируем ее сейчас мы: в действительности они являются прародителями наших собственных методов мышления, включая наш логический позитивизм. Но цель Платона состояла отнюдь не в анализе, а в сверхэмпирическом видении идеального полиса или, если угодно, в художественном создании такового. Нарисованная им картина «идеального государства» в его «Государстве»<sup>2</sup> является анализом не в большей мере, чем изображение Венеры художником является научной анатомией. Совершенно ясно, что в этой плоскости противопоставление того, что есть, тому, что должно быть, теряет свой смысл. Художественные достоинства «Государства» и всей той литературы — по большей части утерянной, высшим достижением которой является «Государство», хорошо выражает немецкий термин *Staatsromane* (букв.: государственные романы). Из-за отсутствия удовлетворительного английского синонима нам придется использовать слово утопия. Читатель, по-видимому, знает, что под большим или меньшим влиянием примера Платона литература этого типа вновь снижала себе популярность в эпоху Возрождения и труды такого рода время от времени создавали вплоть до конца XIX в.<sup>3</sup>

Griechische Denker/Trans. by Magnus and Berry. 1901-1912; *Wilamowitz-Moellendorf U., von. Staat und Gesellschaft der Griechen und der Römer.* 2nd ed., 1923. Это мастерски исполненные картины культурного контекста, послужившего источником множества важнейших явлений и в их числе азов экономического анализа.

<sup>2</sup> Стандартный английский перевод Б. Джоуэтта включает вводные очерки о жизни, произведениях и философии Платона, а также анализ самой книги.

<sup>3</sup> Лучшей интерпретацией греческих «государственных романов», которую я знаю и которая сама является произведением искусства, можно назвать книгу Эдгара Салина (*Salin E. Platon und die griechische Utopie.* 1921). Эти произведения, естественно, отражают социальные движения своей эпохи, предмет, который мы не можем здесь рассматривать. См.: *Pöhlmann Robert, von. Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt.* 1912.

Но в конце концов появляется анализ. Существует некая связь между Венерой художника и фактами, описываемыми научной анатомией. Точно так же, как платоновская идея «лошадности», очевидно, как-то соотносится со свойствами наблюдаемых лошадей, так же и его идея «идеального государства» связана с тем материалом, который доставляло ему наблюдение реальных государств. И нет причин отрицать аналитический или научный характер (не забывайте, что мы не вкладываем никакого хвалебного смысла ни в одно из этих слов) подобных наблюдений над фактами или связями между фактами, которые содержатся в созданной Платоном конструкции. Аналитические по природе рассуждения играют еще большую роль в более поздней работе — «Законы». Но они нигде не являются самоцелью. Соответственно, они нигде не заходят достаточно далеко.

Идеальное государство Платона являлось городом-государством, в котором предполагалось небольшое и по возможности постоянное число жителей. Таким же стационарным, как население, должно быть его богатство. Вся экономическая и неэкономическая деятельность жестко регулировалась — войны, земледельцы, ремесленники организовывались в постоянные касты, отношение к мужчинам и женщинам было строго одинаковым. Одной из этих каст — касте стражей или правителей, которые должны были жить вместе и не иметь личной собственности или семейных уз, — доверялось управление государством. Изменения, внесенные в «Законах», значительны, — в основном они представляют собой компромиссы с реальностью, — но они не затрагивают фундаментальных принципов. Это все, что необходимо знать для наших целей. Хотя влияние Платона явно присутствует во многих коммунистических схемах последующих веков, не имеет смысла называть его коммунистом или социалистом, равно как и предшественником будущих коммунистов или социалистов. Столь сильные и великолепные творения не поддаются классификации и должны быть поняты, если это вообще возможно, в своей исключительности. Аналогичные соображения не позволяют назвать его фашистом. Но если уж мы настаиваем на том, чтобы надеть на него сделанную нами смирительную рубашку, то фашистская смирительная рубашка будет сидеть на нем несколько лучше, чем коммунистическая: «конституция» Платона не исключает частной собственности, кроме как на самой вершине чистейшего идеала; в то же время она устанавливает строгие правила жизни индивида, включая допустимые пределы личного богатства и жесткие ограничения на свободу слова; в сущности она является «корпоративной»; и, наконец, она признает

необходимость *classe dirigente* <правлящего класса (фр.)> — все эти черты играют важную роль в определении фашизма.

Имеющаяся у Платона аналитическая подоплека выступает на первый план, как только мы задаем вопрос: почему требуется такая жесткая стационарность? Трудно дать иной ответ на этот вопрос (сколь бы прозаичным такой ответ ни показался истинному последователю Платона), кроме как: Платон сделал свой идеал стационарным потому, что ему не нравились хаотические изменения, происходившие в его время. Его отношение к современным ему событиям было определено отрицательным. Он презирал сицилийских *tirannos* (мы не должны переводить это слово как тираны). Он почти наверняка ни во что не ставил афинскую демократию. Тем не менее он осознавал, что тирания выросла из демократии и в любом случае на практике являлась ее альтернативой. В свою очередь, демократию он рассматривал как неизбежную реакцию на олигархию, которая возникала из неравенства в материальном положении, что, как он думал, являлось результатом коммерческой деятельности («Государство», VIII). Перемены, экономические перемены, лежали в основе этого развития от олигархии к демократии, от демократии к тирании популярного лидера, которое было столь противно его вкусу. Что бы мы ни думали о стационарности, предложенной Платоном в качестве лекарства, не стоит ли за этим диагнозом почти марксистский социально-экономический анализ?

У нас нет необходимости рассматривать многочисленные экономические вопросы, которых Платон касается мимоходом. Будет достаточно упомянуть два примера. Его кастовая система покоится на представлении о необходимости некоторого разделения труда («Государство», II, 370). Он развивает эту вечную экономическую банальность с большой тщательностью. Если в этом и есть хоть что-нибудь интересное, так это то, что он (а вслед за ним и Аристотель) делает упор не на увеличение эффективности, которое является результатом разделения труда как такового, но на увеличении эффективности как следствии предоставления возможности каждому специализироваться в том, к чему он лучше приспособлен по своей природе. Признание врожденных различий в способностях необходимо упомянуть потому, что эта мысль была полностью утеряна в дальнейшем. Опять-таки по ходу дела Платон замечает, что деньги являются «символом», предназначенным для облегчения обмена («Государство», II, 371). (Джоуэтт переводит *συμβολον* как «денежный знак».) Подобное случайное высказывание значит мало и не оправдывает приписывания Платону какого-либо определенного взгляда на природу денег.

Но необходимо отметить, что его рекомендации в области денежной политики, например его враждебное отношение к использованию золота и серебра или его идея денег для внутреннего обращения, которые были бы бесполезны за границей, действительно согласуются с логическими выводами теории, в соответствии с которой ценность денег в принципе не зависит от того материала, из которого они сделаны. Имея в виду этот факт, мне кажется, мы можем утверждать, что Платон был первым известным нам сторонником одной из двух фундаментальных теорий денег, так же как Аристотель может быть назван первым известным нам сторонником другой теории (см. ниже, § 5). Конечно, маловероятно, что они создали эти теории, но мы можем быть уверены, что они их преподавали и вкладывали в них тот же смысл, что и те авторы, которые вновь к ним вернулись начиная с середины средневековья и позднее. Мы можем быть полностью в этом уверены, так как данные авторы достаточно отчетливо обнаруживают влияние и Платона, и Аристотеля. Такая филиация может быть строго доказана.

Диалог «Эриксий», который не был написан Платоном, но дошел до нас вместе с его работами и не содержит ничего, что противоречило бы любым его известным взглядам, упоминается здесь только потому, что он является единственным известным нам сочинением той эпохи, полностью посвященным экономическим вопросам, и действительно рассматривает их как таковые.

Во всех остальных отношениях содержание этого диалога — в основном исследования о природе богатства, которое увязывается с потребностями и тщательно отделяется от денег — не представляет особого интереса.

### [3. Аналитические достижения Аристотеля]

Достижения Аристотеля совсем иные. И дело не только в том, что в его трудах отсутствует очарование Платона, а вместо этого мы обнаруживаем (если подобное можно говорить не нанося оскорбления столь великой личности) чинный, прозаический, слегка заурядный и более чем слегка напыщенный здравый смысл. И не только в том, что Аристотель в гораздо большей степени, чем Платон, — во всяком случае гораздо более откровенно, чем Платон, — соотносил и обсуждал существовавшие ранее взгляды, которые имелись, по-видимому, в достаточно обширной литературе.

Существенная разница заключается в том, что анализ, как самостоятельная цель, можно сказать (в некотором смысле),

отсутствовавший в мышлении Платона, являлся главной движущей силой мышления Аристотеля. Это явствует из логической структуры его рассуждений. Это становится еще яснее, когда мы рассматриваем методы его работы: например, его политические понятия и доктрины были выделены из обширного собрания конституций греческих государств, на составление которых он затратил немало труда. Аристотель, конечно, тоже искал наилучшее государство,<sup>1</sup> в котором реализовалась бы наилучшая жизнь, *Summum Bonum* <высшее благо (лат.)> и Справедливость.

Он также высказывал множество ценностных суждений, претендуя на их абсолютную истинность (как и мы). Он также придавал нормативную форму своим результатам (как и мы). Наконец, он также пускался в нравоучения в вопросах добродетели и порока (чего мы не делаем).<sup>2</sup> Но сколь бы ни было все это важно для него самого и в течение более чем 2000 лет для его читателей, нас это совершенно не интересует; как я уже говорил, — и я буду использовать любую возможность повторить это вновь и вновь, — все это влияет на цели и мотивы анализа, но не на его природу.<sup>3</sup>

Но лишь небольшая часть его аналитических достижений связана с экономическими проблемами. Его основные труды, так же как и его главные интересы в области социальных явлений, лежат в сфере того, что мы условились называть экономической социологией, или даже в сфере политической социологии, которой он подчинял и экономическую социологию, и собственно экономическую науку. Его «Политику» необходимо оценивать как сочинение или учебник о государстве и обществе. А его «Никомахова этика» — всеобъемлющее сочинение о человеческом

<sup>1</sup> Интересно отметить, что он тоже философствовал в первую очередь о греческом городе-государстве, который, несмотря на завоевания его знаменитого ученика, был и оставался для него единственной формой жизни, стоящей внимания. То, что великий эксперимент Александра Македонского по построению обширной политической конструкции не произвел на Аристотеля никакого впечатления и не повлиял на его творчество, в высшей степени характерно для этого человека.

<sup>2</sup> Поэтому он не принял доктрины, объясняющие человеческое поведение стремлением получить наслаждение и избежать страданий, которые завоевывали популярность в современной ему Греции. Но хотя он не дал утилитаристского определения счастья, он поставил это понятие в центр своей социальной философии. Всякий, кто делает это, совершает первородный грех: говорит ли он вслед за тем о добродетели и пороке или о наслаждениях и страданиях — дело второстепенное: от одного к другому легко перейти.

<sup>3</sup> Любое сомнение относительно аналитических намерений Аристотеля можно рассеять его программным заявлением: «Как и в других областях науки, в политике сложное [явление] всегда должно быть разбито на простые элементы или мельчайшие части целого» («Политика», I, 1). Конечно, термин «разбито» — буквальный эквивалент термина «проанализировано».

поведении, рассматриваемом под нормативным углом зрения, — также посвящена преимущественно политическому человеку, человеку в городе-государстве, так что ее следует считать дополнением к «Политике», вместе с которой они составляют первое известное нам изложение единой социальной науки. Читатель, наверное, знает, что примерно до времен Гоббса все, что развивалось под рубрикой политической науки или политической философии, было вскормлено на Аристотелевом бульоне.

Для наших целей достаточно заметить: 1) что Аристотель как хороший аналитик был не только крайне осторожен при разработке категорий, но и объединял их в своем *концептуальном аппарате*, т. е. в системе инструментов анализа, которые были связаны друг с другом и предназначены для совместного использования — бесценное благодеяние для последующих веков; 2) что наряду с состояниями он изучал и процессы изменения, как это и предполагает его «индуктивный» подход, отмеченный выше; 3) что он пытался проводить различие между теми чертами социальных организмов или поведения, которые существуют благодаря всеобщей или внутренне присущей необходимости (*φύσει*), и прочими, которые устанавливаются законодательными решениями или обычаями (*νόμῳ*); 4) что Аристотель обсуждал социальные институты с точки зрения их задач и тех преимуществ и недостатков, которые, как ему казалось, с ними связаны, и поэтому он сам, а за ним и его последователи совершали рационалистическую ошибку определенного вида, а именно — телеологическую ошибку.<sup>4</sup> Отложив на будущее рассмотрение его понятия естественного права, мы ограничимся тремя характерными примерами его анализа.

---

<sup>4</sup> Телеология, или попытка дать *причинное* объяснение институтов и форм поведения через общественную потребность или цель, которой эти институты и формы поведения должны служить, очевидно, не всегда является ошибкой. Многие явления в обществе, конечно, можно не только понять через их цели, но и дать им соответствующее *причинное* объяснение. Телеология должна играть определенную роль во всех науках, имеющих дело с целенаправленным человеческим поведением. Но с ней надо обращаться с осторожностью — всегда есть опасность использовать ее неправильно. Распространенная ошибка состоит в преувеличении степени, в которой люди действуют и создают институты, в которых они живут, под влиянием четко наблюдаемых целей, которых они сознательно стремятся достичь наиболее рациональным способом. Поэтому телеологическая ошибка может быть названа частным случаем рационалистических ошибок. Однако интересно заметить, что за пределами своей социальной науки Аристотель был совершенно свободен от телеологических ошибок. В *Physicae auscultationes* (II, 8) он признает, например, что наши зубы приспособлены к жеванию пищи не потому, что они были созданы для этой цели, но потому, что, по его мнению, индивиды, наделенные крепкими зубами, имеют больше шансов выжить, чем все остальные. Любопытный случай дарвинизма!

#### [4. О происхождении государства, частной собственности и рабства]

Вопреки широко распространенному мнению, Аристотель не был согласен с идеей Платона, что государство развилось из патриархальной семьи или *gens* <рода (лат.)>. Он так же не принял полностью идею общественного договора, которая, по-видимому, была широко распространена среди софистов, хотя эта идея постоянно возникает на его пути. Иногда он даже рассуждал о первоначальном соглашении <an original covenant>, так что эта идея легко приходила к любому его ученику. Это интересно по двум причинам. Во-первых, в XVII и XVIII вв. общественный договор стал центральным элементом направления научной мысли, выразители которого отнюдь не желали считаться последователями Аристотеля. Во-вторых, то, как Аристотель рассматривает этот вопрос, характерно для его общего отношения к идеям софистов. Многие воззрения Аристотеля позволяют говорить о сильном влиянии софистов и на него. Тем не менее он постоянно полемизировал с ними или даже скорее с теми взглядами, которых, как мы знаем, они придерживались. Наверное, такое отношение нетрудно объяснить, во всяком случае оно встречается нередко. В любом случае это не дает оснований забывать о том факте, что Аристотель воспринял некоторые мысли софистов и что преимущественно благодаря его трудам идеи софистов оказывали влияние на научную мысль вплоть до эпохи средневековья.

Во второй книге «Политики» Аристотель обсуждает частную собственность, коммунизм и семью — в основном в ходе критического рассмотрения взглядов Платона, Фалеса и Гипподама. Его критика Платона — единственного из этих троих, чьи тексты мы можем сопоставить с их критикой, — на удивление несправедлива и, более того, совершенно неправильно трактует сущность и значение творения Платона. Но в результате аргументы, которые он выдвинул в защиту частной собственности и семьи и против коммунизма, оказываются еще более удачными — они почти полностью совпадают с аргументами либералов XIX в., принадлежащих к среднему классу.

Аристотель жил в обществе и дышал воздухом цивилизации, жизненно важным элементом которой являлось рабство. Однако этот жизненно важный институт находился под постоянным огнем социальной критики. Иными словами, рабство превратилось в проблему. Аристотель попытался решить эту проблему, выдвинув принцип, призванный служить и в качестве

объяснения, и в качестве оправдания. Этот принцип устанавливал то, что Аристотель считал бесспорным фактом, — «естественное» неравенство людей. По своим врожденным качествам одни люди предназначены для того, чтобы подчиняться, другие — для того, чтобы править. Он осознавал трудность отождествления этого утверждения с совсем другим: с тем, что люди первого класса в реальной жизни становятся рабами, а люди второго класса составляют категорию господ. Но он преодолел эту трудность, признав возможность «неестественных» и «несправедливых» случаев рабства, например таких, как огульное обращение в рабство греческих военнопленных.

Большинство из нас увидят в этой теории бесподобный пример влияния идеологии, а также апологетическую цель (как мы знаем, они не обязательно совпадают). Тем важнее выявить до конца, на чем же именно основывается такое впечатление. Оно, конечно, не может базироваться на нашем неприятии утверждения, что рабство объясняется врожденной неполноценностью. Нельзя считать достаточным и то, что в теории Аристотеля есть несколько недоказанных утверждений. Тогда были бы установлены ошибки в анализе, но не влияние идеологии. Тем не менее если все ошибки, сделанные в ходе рассуждения, указывают в одном направлении, а это направление соответствует тому, что мы считаем идеологией исследователя, то мы, наверное, вправе заподозрить влияние идеологии. Но даже тогда неприятие должно основываться не на подозрении в этом влиянии, а на доказательстве ошибок.

## [5. «Чистая» экономическая наука Аристотеля]

Имея в виду эти принципы интерпретации, мы обращаемся теперь к зачаткам «чистой» экономической науки Аристотеля, элементы которой могут быть обнаружены в основном в «Политике» (I, 8–11) и в «Этике» (V, 5). Легко показать, что Аристотель в первую очередь интересовался тем, что выглядело «естественным» и «справедливым» с точки зрения его идеала хорошей и добродетельной жизни. Экономические факты и связи между экономическими фактами, которые он рассматривал и подвергал оценке, предстают в свете тех идеологических предубеждений, которые следует ожидать от человека, принадлежащего к развитому праздному классу и писавшего для этого класса, презиравшего работу и занятия хозяйством, и, конечно, любившего земледельца, который его кормил, и ненавидевшего кредитора, который его эксплуатировал.

Эти вещи столь же (но не более) интересны, чем соответствующие, хотя и отличные от них ценностные суждения и идеология современных интеллектуалов. Главное, что действительно важно для нас, заключается в следующем. Аристотель основывал свой экономический анализ непосредственно на потребностях и их удовлетворении. Начав с натурального домашнего хозяйства, он затем вводил разделение труда, бартер и как средство преодоления трудностей прямого бартера — деньги. Ошибка, заключавшаяся в смешении богатства и денег, в должный момент подвергалась его суровой критике. У него нет теории «распределения». Все это является, по-видимому, лишь частью большой литературы, которая была утеряна, и составляет главное наследие греков в области экономической теории. Мы проследим судьбу этого наследия вплоть до «Богатства народов» А. Смита, первые пять глав которого представляют собой не что иное, как развитие той же самой линии рассуждений. Давайте поэтому рассмотрим ход этих рассуждений более внимательно.

а) **Ценность.** Аристотель не только различал потребительную ценность и меновую ценность так же четко, как и любой более поздний автор, но он понимал также, что последняя каким-то образом получается из первой. Но само по себе это не только не выходит за рамки здравого смысла, но и является банальностью, а дальше он не продвинулся. Его неудачу в этом вопросе позднее компенсировали схоласты, которым приписывают заслугу создания теории цены — ведь нельзя сказать, что теория цены была у самого Аристотеля. Считается, что это произошло по причине его поглощенности этической проблемой справедливости в ценообразовании — «коммутативной» справедливости, которая отвлекла его внимание от аналитической проблемы фактического ценообразования. Ничто не может быть дальше от истины.

Как убедительно демонстрирует более поздний пример схоластов, поглощенность этической стороной ценообразования является как раз одним из самых сильных побудительных мотивов для анализа фактических рыночных механизмов. Между прочим, некоторые отрывки показывают, что Аристотель пытался его осуществить и потерпел неудачу.<sup>1</sup> Аристотель, однако, рас-

---

<sup>1</sup> Наиболее характерный из этих отрывков встречается в «Этике» (V, 1333). Я перевожу его следующим образом: «Как труд земледельца сравнивается с трудом сапожника, так и продукт земледельца сравнивается с продуктом сапожника». Я, по крайней мере, не могу истолковать этот отрывок как-либо иначе. Если я не ошибаюсь, Аристотель нащупывал здесь своего рода трудовую теорию ценности, но не смог изложить ее в явном виде.

смотрел случай монополии («Политика», I, 11; «Этика», V, 5), которую определял так же, как и все поздние исследователи, а именно как положение на рынке единственного продавца (μόνος — единственный, или стоящий в одиночестве; πωλεῖν — продавать).<sup>2</sup> Он осудил ее как «несправедливую».

Эти факты, похоже, дают решение проблемы, которая занимала некоторых историков теории ценности. Аристотель, несомненно, искал критерий справедливости в ценообразовании и нашел его в «равенстве» того, что человек отдает и получает. Обе стороны, принимающие участие в акте бартера или продажи, должны с необходимостью извлекать из него выгоду в том смысле, что они должны предпочитать свое экономическое положение после этого акта экономическому положению, в котором они находились до акта — иначе у них не было бы никаких стимулов совершать обмен. Поэтому не может быть равенства «субъективной» ценности или полезности обмениваемых товаров или денег, выплаченных или полученных за них. А так как Аристотель не предложил никакой теории меновой ценности или цены, то историки сделали вывод, что он имел в виду некую таинственную «объективную» или «абсолютную» ценность вещей, которая им внутренне присуща и не зависит от обстоятельств, оценок и действий людей. Такая метафизическая сущность легко воспринимается людьми с философскими наклонностями и неприемлема для людей с более «позитивным» складом ума. Но, конечно, этот вывод не был обоснован.

Неспособность объяснить меновую ценность — это не то же самое, что неспособность признать ее как факт. Гораздо более резонно предположить, что Аристотель просто имел в виду рыночную меновую ценность, *выраженную* в деньгах, а не некую таинственную субстанцию ценности, *измеряемую* этими меновыми ценностями. Но не означает ли это, что он принимал фактические цены товаров в качестве эталона своей коммутативной справедливости и потому терял возможность провозглашать их справедливыми или несправедливыми? Вовсе нет. Мы видели, что он осуждал монопольные цены. С точки зрения целей Аристотеля не было бы натяжкой отождествлять монопольные цены с такими ценами, которые некоторый индивид или группа индивидов установили для своей выгоды. Цены, которые даны

---

<sup>2</sup> Джоан Робинсон добавила к монополии противоположную ситуацию — монополию — позицию на рынке единственного покупателя (ὀψωνεῖν (греч.) — покупать).

индивиду и которые он не в силах изменить, т. е. конкурентные цены, возникающие на свободном рынке при нормальных условиях, не подпадают под запрет. Нет ничего странного в предположении, что Аристотель мог рассматривать нормальные конкурентные цены в качестве эталона коммутативной справедливости или, выражаясь точнее, что он был готов считать «справедливой» любую сделку между индивидами, которая осуществлялась по таким ценам, — именно это потом в явном виде утверждали средневековые схоласты. Если такая интерпретация верна, то выдвинутое Аристотелем понятие справедливой ценности товара в действительности является «объективным», но только в том смысле, что ни один индивид не может изменить ее посредством своих собственных действий.

Кроме того, его справедливые ценности являлись общественными ценностями, выражающими, как он почти наверняка думал, общественную оценку каждого товара,<sup>3</sup> но только в том смысле, что они были сверхиндивидуальным результатом действий массы разумных людей. В любом случае в них нет ничего более метафизического и абсолютного, чем в количествах товаров, умноженных на их нормальные конкурентные цены. Читателю не составит труда понять, что если ценности определяются таким образом, то Аристотелево требование коммутативной справедливости приобретает глубокий и простой смысл. Оно будет выполняться благодаря равенству ценностей в каждом акте обмена или продажи: если А меняет ботинки на буханки хлеба, принадлежащие В, Аристотелева справедливость требует, чтобы ботинки были равны хлебу при умножении и тех и других на их нормальные конкурентные цены; если А продает В ботинки за деньги, то же правило определяет количество денег, которое он должен получить. Так как при предусмотренных условиях А получит именно эту сумму, то мы имеем перед собой поучительный пример отношения, которое у Аристотеля и множества его последователей существует между логическим и нормативным идеалами, между «естественным» и «справедливым».

Мы с такой тщательностью провели это рассуждение потому, что оно позволяет раз и навсегда покончить с метафизиче-

---

<sup>3</sup> Эта идея время от времени всплывала на протяжении следующих эпох. Мы находим ее у Дж. В. Кларка (см. ниже, часть IV). Но хотя она производила впечатление на некоторые умы, ее нельзя назвать содержательной — в действительности нет никаких оснований утверждать, что какое-либо несоциалистическое общество само по себе оценивает блага, хотя, разумеется, оно влияет на субъективные индивидуальные оценки, которые направляют человеческое поведение и, таким образом, порождают цены и «объективные ценности».

скими спекуляциями об объективной или абсолютной ценности, где бы и когда бы они ни возникали. Расставшись навсегда с тем, что, как мы видели, является мнимой проблемой, мы далее будем понимать под объективной ценностью товара определенную выше величину и ничего более. Точно так же мы не будем обращать внимание на какой-либо метафизический смысл понятия внутренней ценности (*intrinsic value*), так как всегда возможно (а в большинстве случаев к тому же очень легко) придать ему совершенно неметафизический смысл, как например в том наиболее важном случае, где автор говорит о внутренней ценности монеты.

б) Деньги. Теория денег, которой придерживался Аристотель, сознательно противопоставляя ее, как мне кажется, той теории, которой придерживался Платон, заключалась в следующем: само существование любого некоммунистического общества предполагает обмен товарами и услугами; этот обмен вначале «естественно» принимает форму бартера; но люди, которым требуется то, что есть у других людей, могут не обладать тем, что требуется этим последним; поэтому часто бывает необходимо принять в обмен то, что не требуется, ради обладания тем, что действительно необходимо, посредством последующего акта бартера; очевидное удобство будет побуждать людей выбрать путем неявного соглашения или посредством законодательного акта какой-либо один товар в качестве средства обращения — Аристотель не рассматривал возможность выбора более чем одного подобного товара.

Аристотель вкратце замечает, что некоторые товары, такие как металлы, лучше подходят для этой роли, чем другие, превосходящая таким образом некоторые из наиболее банальных отрывков из учебников XIX в. об однородности, делимости, портативности, относительном постоянстве ценности<sup>4</sup> и т. д. Более того, требование эквивалентности обмена естественным образом привело его к наблюдению, что средство обращения будет также использоваться в качестве меры ценности. И наконец, он осознавал, если и не высказывал это открыто, что деньги используются в качестве запаса ценности. Таким образом, три из четырех функций денег, которые традиционно перечисляются в учебниках XIX в. (четвертая функция состоит в выполнении роли средства платежа), можно обнаружить у Аристотеля.

<sup>4</sup> Однако он признавал, что ценность золота и серебра не является неизменной.

В сущности, эта теория включает в себя два положения. Первое состоит в том, что для каких бы других целей ни использовались деньги, их фундаментальная функция, определяющая их и объясняющая их существование, заключается в выполнении роли средства обращения. Таким образом, эта теория принадлежит к числу тех теорий денег, которые профессор фон Мизес назвал «каталактическими» (καταλλάττειν — обменивать). Второе положение состоит в том, что, для того чтобы служить средством обращения на товарных рынках, сами деньги должны быть одним из этих товаров. То есть они должны быть полезной вещью и обладать меновой ценностью, не зависящей от их денежной функции; вот и все, что означает в этой связи внутренняя ценность — ценность, которая может сравниваться с другими ценностями. Таким образом, денежный товар, как и другие товары, оценивается в зависимости от его веса и качества; для удобства люди могут решить поставить на него штамп (χαρακτήρ) <характер>, чтобы сэкономить усилия, необходимые для того, чтобы каждый раз его взвешивать. Но этот штамп только провозглашает и гарантирует качество и количество товара, содержащегося в монете, и не является причиной его ценности. Это положение, которое, конечно же, не тождественно первому и не следует из него, будет служить главным отличительным признаком того, что мы в дальнейшем будем называть металлизмом, или металлической теорией денег, в противоположность картелизму, примером которого служит теория Платона.<sup>5</sup>

Каковы бы ни были недостатки этой теории, она прочно преобладала до конца XIX в. и даже позднее, хотя всегда вызывала споры. Она является основой большей части аналитических исследований в области денег. Поэтому у нас есть все основания доверять нашей интерпретации Аристотеля, чье личное влияние в этих вопросах заметно, во всяком случае, вплоть до А. Смита. Ни в одном месте в «Политике» нет иной интерпретации, если только мы не будем приписывать Аристотелю некоторые взгляды, которые он излагает, но которые явно принадлежат другим. Однако в «Этике», делая каламбур из греческого слова, означающего «монета, находящаяся в обращении» (νόμισμα) <номисма>, он действительно заявил, что деньги существуют не в силу своей «природы», но по соглашению или закону (νόμος) <номо>, что как будто бы указывает в другом направлении. Но, объясняя, что он имел в виду, он добавил, что деньги могут обмени-

<sup>5</sup> См. главу 6 части II.

ваться или демонетизироваться обществом. Это означает, что он имел в виду лишь то, что соглашение или закон определяет материал, который будет использоваться для чеканки денег, и ту особую форму, которая будет придана монетам.<sup>6</sup>

Наконец, необходимо привлечь внимание к интересной особенности его метода. Теория денег Аристотеля является теорией в обычном смысле этого слова, т. е. попыткой объяснить, что такое деньги и какие функции они выполняют. Но в соответствии со своей привычкой рассмотрения социальных институтов он представил ее в генетической форме: деньги возникают в ходе исторического развития, начинающегося с состояния или стадии, в которой денег не было. Конечно, мы не должны усматривать в этом нечто большее, чем просто прием изложения. Читатель должен помнить о такой возможной интерпретации, лишающей абсурдности множество рассуждений, которые предстают в облике совершенно вымышленной «истории», как например теории государства, использующие идею о первоначальном общественном договоре. Даже «раннее и грубое состояние общества» А. Смита может выиграть в интерпретации, которая не будет принимать его слишком серьезно. Но иное дело — деньги: теория Аристотеля о логическом происхождении денег может оказаться пригодной в крайнем случае и как верифицируемая теория их исторического происхождения. Для того чтобы продемонстрировать это, достаточно таких примеров, как шекель семитов и деньги-чай монгольских кочевников. Нужно ли проследживать назад так далеко, как только это возможно, историю социального института ради выяснения его сущности или простейшего смысла? Конечно нет. По сравнению с позднейшими формами примитивные формы существования, как правило, не проще, а сложнее: вождь, который соединяет в одном лице судью, священника, администратора и воина, является, очевидно, более сложным феноменом, чем любой из его специализированных преемников в более поздние времена; средневековое поместье с концептуальной точки зрения является более сложным феноменом, чем корпорация «Ю. С. Стил». Поэтому необходимо различать логические и исторические корни. Но это разделение возникает лишь на развитых ступенях анализа. Неискушенный аналитик неизбежно

---

<sup>6</sup> Мы не можем здесь, как следовало бы, обсудить другие фрагменты. Достаточно сказать, что они вполне легковесны по сравнению с неоспоримыми следствиями из тезиса Аристотеля о том, что деньги должны быть сделаны из материала, который сам по себе является благом. Или фраза о том, что деньги есть *ὕλαλλονα τῆς χρῆμας κατὰ συνθήκην* (Этика, V, 5, 11), означает, что деньги есть средство обращения [используемое] в соответствии с обычаем, или я его просто не понимаю.

но смешивает их.<sup>7</sup> Такое смешение, несомненно, содержится в Аристотелевой теории денег, а также в теориях других социальных институтов. Его унаследовала целая череда мыслителей, ведущих от него свое происхождение, в том числе английские утилитаристы. Местами подобное смешение сохраняется до сегодняшнего дня.

с) Процент. Остальная часть «чистой» экономической науки Аристотеля, если ее рассматривать с нашей точки зрения, едва ли заслуживает упоминания. Многое, или даже большую часть того, что превратилось в проблемы для экономистов более поздних времен, он рассматривал в духе донаучного здравого смысла как само собой разумеющееся и высказывал свои ценностные суждения о реальности, большие фрагменты которой не исследовал вообще. Преимущественно сельскохозяйственный доход человека благородного происхождения, очевидно, не представлял с его точки зрения интересную проблему; свободный труженик являлся аномалией в рабовладельческой экономике, и его рассматривали весьма поверхностно; участь ремесленника была не лучше, кроме тех случаев, когда рассматривалась справедливая цена его продукции; торговец (и судовладелец), лавочник, заимодавец рассматривались преимущественно с точки зрения этической и политической оценки их деятельности и их доходов,<sup>8</sup> причем ни то ни другое, казалось, не нуждается в объясняющем анализе. В этом нет ничего удивительного или заслуживающего осуждения. Физические и социальные факты эмпирического мира лишь постепенно попадают под луч аналитического прожектора.

На ранних стадиях научного анализа основная масса явлений остается лежать нетронутой на территории здравого смысла, и лишь небольшие фрагменты этой массы возбуждают научное любопытство и превращаются потом в «проблемы».

---

<sup>7</sup> Следует, однако, заметить, что отождествление исторической и логической эволюции не обязательно ведет к путанице. Но в этом случае оно требует либо доказательства совпадения в каждом данном случае, либо обращения к эволюционистской или «эманационной» логике, такой как гегелевская.

<sup>8</sup> Заметьте: я не спорю с Аристотелевым идеалом жизни или каким-либо из его ценностных суждений. Еще меньше я выступаю за возвеличивание экономической деятельности. Напротив, я аплодирую философу, который отказался отождествить рациональное поведение с погоней за богатством. Все, что я утверждаю, — это то, что Аристотель, который в политических вопросах прекрасно осознавал необходимость анализа и сбора фактов как подготовки суждения, никогда не заботился об этой «подготовке» в чисто экономических вопросах, кроме вопросов ценности, цены и денег. Например, фундаментальная разница, которую он находит между выигрышем торговца и производителя, является по сути доаналитической. Этот факт не имеет ничего общего с другим фактом: он осуждал торговца и одобрял производителя.

Для Аристотеля процент не был таким фрагментом. Он принимал процент по денежным ссудам как эмпирический факт и не видел в нем никакой проблемы. Он даже не классифицировал ссуды в соответствии с теми различными целями, на которые они могут направляться, и, похоже, не обратил внимания на то, что ссуда, финансирующая потребление, сильно отличается от ссуды, финансирующей морскую торговлю (*foenus nauticum*).

Аристотель осуждал процент, который во всех случаях считал «ростовщическим», на том основании, что не существует оправданий росту денег (являющихся просто средством обращения) при переходе из рук в руки (что с ними, конечно, и не происходит). Но он никогда не задумывался о причинах выплаты процента.<sup>9</sup> Первыми этот вопрос задали средневековые схоласты. Им необходимо поставить в заслугу, что они были первыми, кто собирал факты о проценте и кто наметил контуры его теории. У самого Аристотеля не было теории процента. И тем более нет оснований провозглашать его предшественником современных денежных теорий процента. Ибо, хотя он связывал процент с деньгами, это получалось не благодаря аналитическим усилиям, но благодаря их отсутствию: если анализ в конце концов возвращается к доаналитической точке зрения, казалось бы опровергнутой предшествующим анализом, то он придает ей иной смысл.

## [6. Греческая философия]

Если речь идет о технике экономического анализа, мы ничего не потеряем, простившись на этом с греческой мыслью. К сожалению, в другом отношении мы утратим многое. Едва ли существует хотя бы одна идея в области философии, которая не вела бы свое происхождение от греческих источников. Многие из этих идей, не будучи связаны прямо с экономическим анализом, имеют тем не менее самое непосредственное отношение к общему подходу и духу исследователя-аналитика, хотя, как я тщательно подчеркивал, влияние подобного рода не следует преувеличивать. Различные постаристотелианские школы, в особенности скептики, стоики, эпикурейцы, а потом и неоплатоники, не только повлияли на таких римских эклектиков, как Цицерон и Сенека, но и оказали непосредственное воздействие на

<sup>9</sup> Чтобы пояснить этот тезис, сравним подход к проценту Аристотеля и Карла Маркса, который осуждал этот феномен по меньшей мере столь же сурово. Но аналитическая проблема процента была для него важной.

формирование средневековой и более поздней мысли. Например, совершенно ясно, что представление стоиков о рационально устроенном мире,<sup>1</sup> который управляется непреложными законами, свидетельствует об определенном складе ума, что для нас достаточно важно. Нам придется ограничиться, однако, беглым взглядом на идеи Эпикура (приблизительно 341–270 гг. до н. э.).<sup>2</sup>

Философия Эпикура может служить в качестве стандартного примера известной истины, которая заключается в том, что то значение, которое приобретает с течением времени некоторый набор идей, лишь отдаленно связано с тем, что хотели выразить его создатели. Эпикур жил в тот период эллинизма, когда наблюдался быстрый упадок *полиса*. Активная жизнь для греков означала активное участие в управлении и политической жизни города-государства. Но в этот период такая жизнь уже не представлялась возможной для культурного человека. Эпикур, так же как и многие другие, разрешал возникающую этическую проблему — проблему, которую можно назвать духовной незанятостью утонченного ума, — путем ухода от мира и попытками достичь отрешенной ясности (*αποροξία*) *разумным смирением*. Причины, которые породили эту особую позицию (не существует хорошего эквивалента немецкому слову *Lebensstimmung* <жизненное настроение>), были уникальными с исторической точки зрения, и таким же уникальным является или являлась до нынешних времен сама позиция Эпикура. Но три элемента философской системы Эпикура время от времени возникали в позднем средневековье, в эпоху Ренессанса и в последующие времена. Первым из этих элементов является его атомистический материализм, который согласуется с последующими механистическими философиями Вселенной и, по-видимому, повлиял на них. Второй заключается в следующем: отношение Эпикура к своему социальному окружению может быть названо возвышенным эгоцентрическим гедонизмом или эвдемонизмом. Хотя его гедонизм и эвдемонизм сильно отличался от гедонизма и эвдемонизма последующих веков, в частности тем, что он совсем по-другому определял наслаждение и страдание, однако все же существует линия, которая ведет от Эпикура к Гельвецию и Бентаму. Неистовый и вульгарный утилитаризм Бентама несомненно шокировал бы старого мудреца. Но как бы ни было нам неприятно объединять их друг с другом, их обоих приходится называть

<sup>1</sup> О значении, которое в этом контексте имеет термин «рациональный» см. ниже, главу 2, § 5с.

<sup>2</sup> См. работу К. Бейли: *Bailey C. Epicurus, the Extant Remains*. 1926; *Wallace W. Epicureanism*. 1880.

гедонистами в широком смысле этого слова. Третьим элементом является концепция общественного договора, создателем которой Эпикур не являлся, но был ее видным сторонником. Но эта идея, воспринятая философами естественного права в XVII и XVIII вв., была унаследована ими от их предшественников-схоластов, что не указывает на влияние Эпикура.

## [7. Вклад римлян]

Рассмотрим теперь еще меньший вклад римлян. Пример Древнего Рима позволяет проверить теорию, согласно которой практические нужды, а не жажда интеллектуальных открытий, являются основной движущей силой научных поисков. Даже в самые ранние времена, когда Рим представлял собой по сути крестьянскую общину, существовали экономические проблемы первостепенной важности, которые вызывали жестокую классовую борьбу. Ко времени первой Пунической войны получили развитие важные торговые интересы. Ближе к концу Республики торговля, деньги и финансы, управление колониями, тяжелое состояние италийского сельского хозяйства, обеспечение столицы продовольствием, рост латифундий, рабский труд и т. д. представляли собой проблемы, которые в условиях искусственной политической конструкции, на формирование которой оказали влияние военные завоевания и последствия непрекращающихся войн, могли бы обеспечить работой целый легион экономистов. На вершине культурных достижений в эпоху Адриана и Антонина Пия, когда многие из этих трудностей временно отсутствовали и мир и процветание ненадолго воцарились на просторах империи, достойные правители и плеяда блестящих генералов и администраторов вокруг них могли бы найти применение своим умственным способностям. Но ничего подобного не происходило — ничего, помимо вырывавшихся время от времени стонов о плохом торговом балансе империи или о том, что *latifundia perdidere Italiam* (латифундии погубили Италию).<sup>1</sup>

[а) Отсутствие аналитических исследований]. Но это нетрудно понять. В социальной структуре Рима не было естественного

---

<sup>1</sup> Эта фраза принадлежит Плинию Старшему (23–79). Сам факт, что он не выходил за пределы этой банальности и не видел, что латифундии были не только следствием, но и причиной упадка, показывает, какого рода экономическую науку считал адекватной чрезвычайно способный и культурный римлянин (хотя популярная экономическая литература наших дней ничуть не лучше).

места для чисто интеллектуальных интересов. Хотя сложность этой структуры со временем увеличивалась, мы можем выразить ее в двух словах, сказав, что ее составляли крестьяне, городской плебс (в который входили также торговцы и ремесленники) и рабы. И над всеми стояло «общество», в котором несомненно имелась своя деловая прослойка (более или менее представленная сословием всадников), но которое состояло в основном из аристократии. Римская аристократия в отличие от афинской аристократии времен Перикла никогда не уходила на покой, чтобы вести утонченную праздную жизнь, но целеустремленно отдавалась общественным делам — как гражданским, так и военным. Res publica представляла собой центр ее существования и всей ее деятельности. Расширяя свои горизонты и развивая собственную утонченность, аристократия культивировала интерес к греческой философии и искусству и создавала свою собственную литературу (в основном вторичную). Однако все это затрагивалось лишь слегка и считалось развлечением, в сущности бесполезным. Как видно из характерных для своей эпохи сочинений Цицерона (106–43 гг. до н. э.), у римских аристократов не оставалось энергии для серьезной работы в какой-либо научной области.<sup>2</sup> Эту нехватку не в силах были восполнить ни иностранцы, ни вольноотпущенники, которых использовали преимущественно для практических нужд.

Конечно, общество с такой структурой неизбежно должна была интересовать история, в основном своя собственная. И действительно, история была одним из двух основных объектов того научного любопытства, которое таилось в уме римлянина. Но характерно, что это любопытство ограничивалось политической и военной историей. Социологические и экономические предпосылки рассматривались бегло — такие отступления встречаются даже у Цезаря — и об общественных переворотах рассказывалось с максимальной экономией общих рассуждений. Единственное величайшее исключение составляет «Германия» Тацита (58–117 гг. н. э.).

[b) Значение римского права]. Другим направлением являлось право. Для того чтобы понять суть достижений Рима в этой области и причины, по которым римское право в отличие от других правовых систем играет определенную роль в истории экономического анализа, мы должны вспомнить несколько свя-

---

<sup>2</sup> Труд Цицерона De re publica по содержанию ближе всего подходит к нашей области. Однако в нем мало того, что может заинтересовать экономиста, за исключением, конечно, возможности прямо или косвенно узнать из него об экономических условиях той эпохи. В еще большей степени это относится к «Письмам к Аттику».

занных с ним фактов. Быть может, читатель знаком с принятым в Англии разделением юридического материала на общее право и право справедливости. В чем-то похожее разделение существовало и в Древнем Риме. Имелось старое и формальное гражданское право (*jus civile, jus quiritium*), которое, однако, в отличие от английского общего права применялось только к делам граждан (*quirites*), которые вплоть до 212 г. н. э. составляли лишь часть свободного населения империи. Это гражданское право<sup>3</sup> развивалось путем «интерпретации» коллегией понтификов (*pontifices*), а также государственным чиновником, ведающим вопросами отправления правосудия (*praetor urbanus*). Дополнительный юридический материал имеет некоторое сходство с английским правом справедливости. Но основная масса того, что до некоторой степени может быть уподоблено английскому праву справедливости, росло из другого корня — из коммерческих и иных отношений между негражданами (*peregrini*) или между гражданами и негражданами. Применявшиеся к ним юридические правила назывались *jus gentium*. Обратите внимание, что значение этого термина в римские времена не имело ничего общего с тем смыслом, который он начал приобретать в XVII в. и позднее, а именно право наций (*droit des gens, Völkerrecht*). Последняя совокупность юридических норм формулировалась, а по большей части и создавалась другим государственным чиновником, возглавлявшим отдельное административное ведомство (*praetor peregrinus*). Поэтому ее совместно с теми юридическими нормами, которые были сформулированы или созданы *praetor urbanus*, называли правом «чиновников» (*jus honorarium*): каждый претор (*praetor*) кодифицировал и провозглашал их в эдикте на свой год службы. Конечно, существовал и равномерный поток специальных указов различного типа. До IV в. не предпринималось попыток их общей систематизации или даже компиляции, хотя во время правления Адриана эти эдикты преторов объединялись и издавались в виде указа. Мы располагаем, однако, учебником II в. *Institutiones* («Институции»), написанным юристом по имени Гай.

Англо-американская юриспруденция, т. е. общая техника правовой аргументации и общие принципы, которые необходимо применять к отдельным случаям, создавалась в основном вер-

---

<sup>3</sup> Читатель не должен путать «гражданское право» в этом значении с «гражданским правом» в том смысле, в котором этот термин употребляют современные англо-американские юристы. Для них он означает все римское право, содержащееся в *Corpus juris civilis* (см. след. сноску), в том виде, в каком оно было развито в средневековой и современной практике.

ховными судами. Решения этих судов совместно с мотивировавшими их аргументами имели, как известно, почти такую же силу, как и законы. В Риме аналогичные практические потребности привели к похожим достижениям, но иным путем. Английские и американские судьи высшего ранга являются профессиональными юристами и, по крайней мере в большинстве своем, весьма видными юристами — лидерами юридической профессии, обладающими огромным личным авторитетом. Римские судьи не были профессионалами (как и наши присяжные заседатели), и им необходимо было объяснять, в чем состоит закон. Практикующие юристы также не были профессионалами, за исключением группы профессиональных адвокатов (*causidici*), статус которых не был особенно высоким. Подобный недостаток восполнялся способом, не имеющим аналогий. Люди, обладавшие влиянием и досугом, настолько интересовались юридическими вопросами, что это практически превращалось в их хобби (если только они не преподавали); насколько нам известно, первым начал читать лекции по юриспруденции М. Антистий Лабейон; а первым основал школу Мазурий Сабин (30 г. н. э.). Они интересовались не столько отдельными делами, сколько логическими принципами, применяемыми для их решения. Они не выступали с защитой и не выполняли никакой другой юридической работы, за исключением одной: они давали свое заключение по вопросам права, когда к ним обращались стороны, принимающие участие в процессе, адвокаты или судьи. Их авторитет был настолько велик, что его вполне можно сопоставить с авторитетом английских судей. Впервые он был официально признан Августом, который пожаловал наиболее видным из этих «юристов» специальную привилегию давать подобные заключения, *ius respondendi*. Эти заключения представляли собой небольшие монографии, которые совместно с более всесторонними работами (такими, как комментарии к эдиктам) составили обширную литературу. Ее отрывки, сохранившиеся по большей части в извлечениях, сделанных для «Свода законов» Юстиниана (528–533 гг.),<sup>4</sup> с тех пор являются объектом восхищения.

<sup>4</sup> Может быть, некоторым читателям будет полезно, если мы скажем несколько слов об этом «Своде законов». В 528 г. император Юстиниан назначил комиссию юристов во главе со своим «министром финансов» (*quaestor sacri palatii*) Трибонианом и поручил ей упорядочить буйное разнообразие законов и правовой литературы. Помимо императорских актов (*Novellae*), которые были добавлены к нему позднее, *Corpus juris civilis*, как был назван «Свод законов», содержал, во-первых, *Institutiones* — учебник для начинающих, основанный на учебнике Гая, во-вторых, *Digestae*, или *Pandectae*, составленные из фрагментов или цитат из произведений вышеупомянутых консультирующих юристов, в-третьих, Кодекс, в котором воспроизведены все действовавшие на тот

Мы упоминаем эту литературу по причине ее подлинно научного характера. Эти юристы анализировали факты и создавали принципы, которые были не только нормативными, но также, во всяком случае по смыслу, и объясняющими. Они создали правовую логику, которая оказалась приложимой к широкому кругу социальных структур, по сути к любой социальной структуре, признающей частную собственность и «капиталистическую» коммерцию. В той мере, в какой их факты принадлежали сфере экономики, их анализ был экономическим анализом.

К сожалению, задачи этого анализа были строго ограничены стоявшими перед юристами практическими целями, поэтому их обобщения привели к разработке юридических, а не экономических принципов. В основном мы обязаны им определениями, например цены, денег, покупки и продажи, различных типов ссуд (*mutuum* и *commodatum*), двух типов обеспечения ссуд (*regularare* и *irregularare*) и т. д., которые послужили отправной точкой последующему анализу. Но римские юристы не пошли дальше этой отправной точки. Любые теоремы, например о поведении цен или об экономическом значении «иррегулярного» обеспечения ссуд, которое не подразумевает обязательство вернуть вещи, взятые в залог, но только обязательство вернуть «столько же вещей того же типа» (*tantundem in genere*), были бы для них не относящимися к делу отступлениями. Поэтому не вполне корректно говорить об экономической теории, содержащейся в *Corpus juris*,<sup>5</sup> — во всяком случае о теории в явном виде, — хотя римские юристы проделали предварительную работу, разъясняя смысл понятий.<sup>6</sup> Значение этой работы, а также тренировки в четком

---

момент законодательные акты Империи. Нас интересует лишь вторая часть — *Digestae*. К сожалению, Юстиниан распорядился уничтожить все не вошедшие в нее материалы. Однако комиссия по крайней мере воздержалась от перделки включенных фрагментов. Поэтому *Digestae*, хотя они и обладали силой закона, содержат не истолченные в порошок (превращенные в параграфы кодекса), а невредимые жемчужины правовой мысли — уникальный способ составления кодексов! Воздадим по заслугам самым великим авторам, фрагменты из трудов которых вошли в Кодекс: Юлию Павлу, Цельсу, Папиниану, Ульпиану, Модестину, Африкану и Сильвию Юлиану (порядок перечисления отражает мои личные предпочтения, которые я никому не хочу навязывать).

<sup>5</sup> См., однако: *Dertmann Paul*. *Die Volkswirtschaftslehre des Corpus juris civilis*. 1891. Эта работа, хотя местами и устарела, до сих пор является классическим произведением на эту тему.

<sup>6</sup> Один момент, однако, стоит упомянуть. Юлий Павел (1, *Dig.*, XVIII, 1) объяснил природу денег примерно так же, как Аристотель (неудобствами прямого бартера). Этот фрагмент имеет однозначный смысл и не нуждается в комментариях до тех пор, пока автор не добавляет, что *usum dominiumque* (это можно смело перевести как покупательная способность) штампованного материала, из которого делаются деньги (*materia forma publica percussa*), *non tam*

мышлении, которую проходит всякий изучающий эту литературу, значительно выросло в связи с тем любопытным фактом, что начиная с XII в. право опять начали преподавать по *Congrus juris*, и в результате он вернул себе авторитет в европейских судах («рецепция» римского права). Но до конца XVIII в. большинство авторов, пишущих по экономическим вопросам, были либо деловыми людьми, либо священниками или юристами по профессии: научное образование этих двух типов экономистов состояло в основном из римского и церковного права. Таким образом, существовал естественный путь, по которому в сферу экономического анализа вошли понятия, дух и, быть может, даже некоторые манеры римских юристов. Среди этих понятий было фундаментальное понятие естественного права. Однако мы вновь откладываем его рассмотрение, так же как и тогда, когда столкнулись с ним у Аристотеля: будет удобнее дать ниже связанное изложение его развития.

с) Сочинения по сельскому, хозяйству. Теперь мы обращаемся к второстепенному вопросу — римским сочинениям по сельскому хозяйству (*De re rustica* <«О сельских делах»>). Это ответвление экономической литературы, которое, похоже, было достаточно развито у римлян, скорее представляет интерес для специалиста в области истории народного хозяйства, чем для нас. Эта литература рассматривала принципы практического управления фермой или, скорее, поместьем и лишь изредка касалась вопросов, относящихся к нашей теме. Например, рекомендация Катона Старшего, советовавшего землевладельцу продавать стареющих рабов до того, как они станут бесполезными, и изображать из себя по возможности максимально жесткого надсмотрщика при осмотре поместья, несомненно говорят о многом, но они не предполагают никакого экономического анализа. Некоторые из этих писателей, из которых упоминания заслуживают

---

ex substantia praebet quam ex quantitate (происходит не столько из субстанции, сколько из количества). Этот пассаж озадачил многих комментаторов и был предметом дискуссии в XVIII в. Представляется, что он противоречит металлистической теории, на которую явно указывает предыдущее предложение. Но я не думаю, что это «отступление» следует воспринимать слишком всерьез. В данном пассаже есть слово «quantitas» (количество), которое побудило некоторых авторов приписать Павлу количественную теорию денег. Но здесь нет никакого намека на *обратное* соотношение между количеством денег и их покупательной способностью. Более того, слово «quantitas» скорее может обозначать «номинальную ценность», чем «количество». Такое значение оно имело в литературе по вопросам денег в средние века и в XVI в. Все, что Павел, вероятно, хотел сказать, сводилось к тому, что люди, имея дело с деньгами в повседневных сделках, обычно принимают монету по номинальной ценности, не вникая в ценность того материала, из которого она сделана.

лишь Варрон и Колумелла, иногда делают замечания, предполагающие дальнейшее развитие, например, что наиболее выгодное использование земельного участка помимо прочего зависит и от его расстояния до центра потребления. Но в этих случаях, так же как и во всех остальных, простое установление фактов, известных нам из повседневного опыта, не имеет научного значения, если только эти факты не становятся отправным пунктом анализа, который выделяет из них более интересные результаты.<sup>7</sup>

## [8. Ранняя христианская мысль]

Мы не покидаем греко-романский мир, хотя сейчас на минуту обратимся к христианской мысли первых шести столетий нашей эры. После всего, что было сказано о характере наших целей, очевидно, не имеет смысла искать «экономическую науку» в самих священных текстах. Взгляды по экономическим вопросам, которые мы можем там обнаружить, — например, что верующим следует продать то, что они имеют, и раздать вырученное бедным или что они должны давать ссуду, не ожидая ничего взамен (возможно, даже возврата денег), — являются идеалистическими императивами, образующими часть общей жизненной схемы и выражающими эту общую схему и ничего более, а менее всего — положения науки.

Но мы не можем извлечь ничего полезного для себя и из трудов тех великих людей, которые в течение столетий закладывали основы христианской традиции. А это уже нуждается в объяснении. Мы могли бы ожидать, что в той мере, в какой христианство ставило перед собой задачу общественной реформы, это движение должно было бы стимулировать анализ точно так же, как, например, стимулировало его социалистическое движение в наше время. Но ничего похожего нет ни у Климента Александрийского (приблизительно 150–215 гг.), ни у Тертуллиана (155–222 гг.), ни у Киприана (200–258 гг.), если упомянуть лишь некоторых из тех, кто действительно обращался к мораль-

---

<sup>7</sup> М. Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.) был, несомненно, незаурядным человеком, который за свою долгую жизнь создал почти невероятное количество литературы по всем возможным темам. Среди его наследия есть и *Rerum rusticarum libri tres*, в котором содержится и приведенное выше замечание. Немного менее интересна работа *De re rustica* Л. Юния Модерата Колумеллы (I в. до н. э.), в которой речь идет в основном о выращивании овощей, деревьев, цветов и т. д., а также о животноводстве.

ной стороне окружавших их экономических явлений. Они осуждали распутную роскошь и чрезмерное богатство, они предписывали раздачу милостыни и ограничения в потреблении мирских благ, но при этом не уделяли внимания анализу.

Более того, было бы совершеннейшим абсурдом видеть воплощение меркантилистских теорий в совете Тертуллиана довольствоваться простыми продуктами собственного сельского хозяйства и ремесел, вместо того чтобы жаждать ввозимых из-за границы предметов роскоши, или усматривать теорию ценности в его замечании о том, что изобилие и редкость как-то связаны с ценой. То же самое относится к христианским проповедникам последующего периода. Они не уступали никому по уровню культуры и развивали методы рассуждений, отчасти пришедших из греческой философии и римского права, о предметах, которые они считали достойными. Но ни Лактанций (260–340 гг.), ни Амвросий (340–397 гг.), который мог бы несколько развить свое утверждение о том, что богатые рассматривают как свою законную собственность общественные блага, ими самими приобретенные, ни Иоанн Златоуст (347–407 гг.), ни св. Августин (354–430 гг.), искусный автор *Civitas Dei* и «Исповеди», сами *obiter dicta* <оговорки (*лат.*)> которого обнаруживают аналитический склад ума, никогда не углублялись в экономические вопросы, хотя и занимались политическими проблемами христианского государства.

Объяснение этого, по-видимому, заключается в следующем. Каков бы ни был наш социологический диагноз мирских аспектов раннего христианства, совершенно ясно, что христианская церковь никогда не ставила перед собой цель осуществить какую-либо иную общественную реформу, кроме реформы морали поведения отдельного человека. Ни в какое время, даже до своей победы, которую можно приблизительно датировать Миланским эдиктом Константина (313 г.), христианская церковь не предпринимала фронтального наступления на существующую общественную систему или на какой-либо из ее важнейших институтов. Она никогда не обещала экономический рай, во всяком случае в земной жизни. Именно поэтому вопросы «как?» и «почему?» применительно к экономическим механизмам не вызывали интереса ни у ее лидеров, ни у ее писателей.

## Глава 2

# СХОЛАСТЫ И ФИЛОСОФЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА

1. Большой пробел
2. Феодализм и схоластика
3. Схоластика и капитализм
4. Социология и экономическая наука схоластов
  - [a] С IX в. до конца XII в.]
  - [b] XIII век]
  - [c] С XIV по XVII в.]
5. Концепция естественного права
  - a) Этико-правовая концепция
  - b) Аналитическая концепция
  - c) Естественное право и социологический рационализм
6. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVII в.
  - a) Протестантские, или светские, схоласты
  - b) Математика и физика
  - c) Экономическая и политическая социология
  - d) Вклад в экономическую науку
7. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVIII в. и впоследствии
  - [a] Наука о природе человека: «психологизм»]
  - [b] Аналитическая эстетика и этика]
  - [c] Собственный интерес, общественное благо и утилитаризм]
  - [d] Историческая социология]
  - [e] Энциклопедисты]
  - [f] Полусоциалисты]
  - [g] Нравственная философия]

### 1. Большой пробел

Восточная Римская империя просуществовала на тысячу лет дольше Западной. Она продолжала функционировать благодаря усилиям самой интересной и самой успешной бюрократии, какую только

знал мир. Многие из тех, кто формировал политику в учреждениях византийских императоров, принадлежали к интеллектуальной элите своего времени. Им приходилось иметь дело с огромным количеством юридических, денежных, коммерческих, аграрных и финансовых проблем. Нельзя не предположить, что они должны были размышлять об этих проблемах. Однако если это так, то результаты были утеряны. Не сохранилось ни одного достойного упоминания отрывка их рассуждений.

Аналогичные проблемы возникали в германских государствах на Западе еще до Карла Великого, и из литературных источников и документов мы достаточно хорошо знаем, как они их решали. В огромной империи Карла Великого вставали проблемы внутреннего управления и международных экономических отношений, с которыми не сталкивался ранее ни один германский правитель. Но во всех его мероприятиях отражается только практический здравый смысл, не уступающий, впрочем, здравому смыслу любых других веков. Историки и философы, украшавшие его двор, если и касались экономических вопросов, то мимоходом.<sup>1</sup> В том, что касается нашего предмета, мы можем спокойно перепрыгнуть через 500 лет в эпоху св. Фомы Аквинского (1225 или 1226–1274 гг.), «Сумма теологии»<sup>2</sup> которого занимает такое же место в истории мысли, какое западный шпиль собора в Шартре занимает в истории архитектуры.

## 2. Феодализм и схоластика

Жизнь св. Фомы не укладывается в рамки феодальной цивилизации. Этот термин предполагает представление об определенном типе военного общества, а именно общества, в котором доминирует страта военных, организованная на принципах вассалитета в иерархию феодалов-землевладельцев и рыцарей. С точки

---

<sup>1</sup> Поучительное описание интеллектуальной ситуации этих времен читатель найдет в работе М. Л. В. Лайстнера: *Laistner M. L. W. Thought and Letters in Western Europe, A. D. 500 to 900*. 1931.

<sup>2</sup> Новое издание: *S. Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, Summa Theologica, diligenter emendata de Rubeis, Billuart et Aliorum. Taurini*, 1932. Эта работа хотя и не была завершена, однако приобрела непрекаемый авторитет в последующие века. Но в ней содержалось много такого, что во времена св. Фомы являлось революционным, и вскоре после его смерти некоторые положения были объявлены еретическими, хотя и не везде. Причисление автора к лику святых в 1323 г. означает перемену отношения. Однако только к XVI в. католическая мысль определенно сплотилась вокруг его учения. Энциклика *Aeterni Patris* (1879) папы Льва XIII превратила его в официальное учение церкви.

зрения иерархии военных прежнее различие между свободными и несвободными людьми потеряло значительную часть своего исходного смысла. Важным было не то, свободен человек или нет, а является ли он рыцарем. Даже император Священной Римской империи германской нации (если использовать официальное название), который в теории считался верховным феодальным властелином всего христианского мира, в первую очередь был рыцарем и сам себя считал таковым. Даже несвободный человек становился рыцарем, как только он обзаводился лошадью и оружием и обучался владеть им, что поначалу было довольно просто, но во времена св. Фомы превратилось в занятие, требующее высокой квалификации. Этот военный класс обладал неограниченной властью и престижем и поэтому накладывал печать своей собственной культуры на цивилизацию феодальных времен.

Экономический фундамент этой общественной пирамиды состоял из зависимых крестьян и манориальных ремесленников, трудом которых жили военные. Казалось бы, мы видим здесь то, что с первого взгляда кажется похожим на структурную целостность в том самом смысле, который заложен в выражении «социальная пирамида». Но эта картина совершенно нереалистична. За возможным исключением первобытных племен и полномасштабного (full-fledged) социализма, общества никогда не являются структурными целостностями, и половина проблем, с которыми они сталкиваются, возникает именно поэтому. Феодальное общество не может быть описано в терминах рыцарей и крестьян, равно как капиталистическое общество не может быть описано в терминах капиталистов и пролетариев.

Римская промышленность, торговля и финансы не были уничтожены повсеместно. Даже там, где они были уничтожены, или там, где они никогда не существовали, они — а значит, и буржуазные по своему характеру классы — появились или появлялись вновь еще до времен св. Фомы. Во многих местах эти классы переросли рамки феодальной организации, и благодаря тому, что хорошо укрепленный город, как правило, неуязвим для военных средств рыцарей, они успешно бросали вызов правлению феодалов. Наиболее выдающимся примером служит победоносная оборона городов Ломбардии. Поэтому феодализм как историческая реальность представляет собой симбиоз двух существенно различных и в основном, хотя и не полностью, антагонистических общественных систем.

Но существовал еще один фактор, нефеодальный по своему происхождению и природе, который военному классу не удалось ни растворить в себе, ни покорить и который для нас является

наиболее важным из всех, — Римская католическая церковь. Мы не можем подробно обсуждать крайне сложные отношения между средневековой церковью и феодальной властью. Единственный существенный момент, который необходимо усвоить, заключается в том, что церковь не являлась просто органом феодального общества, но представляла собой организм, отличный от феодального общества, который всегда оставался самостоятельной силой. В какой бы тесный союз ни вступала она с феодальными королями и лордами и как бы сильно ни зависела от них в отдельные времена, как бы близко ни стояла от поражения и от того, чтобы превратиться в слугу военного класса, она никогда не отрекалась от своей власти и никогда не становилась инструментом в руках данного или любого другого класса.

Так как церкви удавалось не только самоутвердиться, но и вести успешную войну против феодальных властей, то этот факт должен быть слишком очевидным, чтобы его нужно было констатировать, если бы историография, вдохновляемая популярным вариантом марксистского обществоведения, не создавала представления, что, грубо говоря, средневековая мысль являлась идеологией военного класса землевладельцев, которую священники облекали в слова. Это представление было неправильным не только с точки зрения тех, кто не принимает марксистскую социологию общественной мысли, но также и с точки зрения самого Маркса. Даже если мы решим интерпретировать католическую систему мысли как идеологию, она останется идеологией духовенства и никогда не сольется с идеологией военного класса.

Об этом важно помнить, так как католическая церковь обладала практически полной монополией на знания до эпохи Возрождения. Эта монополия в основном обязана своим происхождением духовному авторитету церкви. Но она значительно усиливалась условиями тех веков, когда профессиональные ученые не могли найти себе ни места, ни защиты за пределами монастыря. Вследствие этого практически все «интеллектуалы» тех времен были либо монахами (monks), либо братьями (friars). Рассмотрим вкратце некоторые последствия такого положения дел.

Все эти монахи и братья говорили на одной и той же неклассической латыни; где бы они ни были, они слушали одну и ту же мессу; во всех странах они получали одинаковое образование; они исповедовали одну и ту же систему фундаментальных верований; они признавали верховный авторитет папы, который был по существу международным: их страной был весь христианский мир, их государством была церковь. Но это еще не все. Их интернационализирующее влияние усиливалось тем, что само феодальное общество было интернациональным.

Авторитет не только папы, но и императора был интернациональным как в принципе, так и (с переменным успехом) на деле. Старая Римская империя и империя Карла Великого не были только лишь воспоминанием. Люди были знакомы с представлением о высшем царстве как в мирской, так и в духовной сфере. Национальные границы не имели для них того значения, которое они приобрели в XVI в.; во всем спектре политических идей Данте наиболее поразительным является полное отсутствие националистической точки зрения. В результате этого образовались по сути интернациональная цивилизация и интернациональный мир ученых, существовавшие не на словах, а на деле. св. Фома был итальянцем, а Иоанн Дунс Скот — шотландцем, но оба преподавали в Париже и Кёльне, не зная тех трудностей, с которыми им пришлось бы столкнуться в эпоху самолетов.

И по существу, и в принципе практически каждый, кто хотел, мог вступить в монашеский орден, а также в ряды белого духовенства. Но продвижение внутри церкви было открыто для каждого лишь в принципе, так как притязания членов семей военного класса распространялись на большую часть епископатов и аббатств. И все же человек без связей всегда имел реальную возможность достичь высоких или даже самых высоких званий; что еще более важно для нас — он не был лишен права стать «ключевым человеком», формирующим идеи и политику. Черное духовенство (монахи) и братья составляли общий штат церкви. И в монастырях люди различных классов объединялись на равных основаниях. Естественно, интеллектуальная атмосфера часто заряжалась интеллектуальным и политическим радикализмом, но, конечно, в одни времена сильнее, в другие — слабее и скорее среди братьев, чем среди черного духовенства. В литературе, которую мы собираемся рассматривать, этот радикализм проявляется в весьма изысканной форме, но все же проявляется.

Но каким образом можно обвинять в радикальном — а значит, и критическом — подходе социальную группу, члены которой обязаны подчиняться диктату высшего и абсолютного авторитета? Этот очевидный парадокс легко разрешим. Жизнь и вера монахов и братьев действительно подчинялись авторитету, который, по крайней мере теоретически, являлся абсолютным и изрекал непреложные истины. Но за пределами дисциплины и фундаментальной религиозной веры — за пределами вопросов *de fide* <веры (лат.)> — этот авторитет не пытался направлять их мысль и не предписывал выводов.<sup>1</sup> В частности, у него не было ника-

<sup>1</sup> Факты, которые противоречат этому утверждению, мы обсудим ниже.

ких оснований делать это в сфере политической и экономической мысли, т. е., к примеру, принуждать церковных интеллектуалов интерпретировать и защищать или представлять неизменным любой мирской порядок вещей. Церковь являлась судьей во всех делах человеческих; конфликт с гражданскими властями был все время возможен, и очень часто эта возможность становилась действительностью; монашеские ордена служили важными инструментами папской власти. Все это, однако, не мешало им рассматривать социальные системы как творения человека, изменяющиеся в ходе истории. Я далек от желания приуменьшать значение христианских идеалов и заповедей как таковых. Но нам нет необходимости обращаться к ним, чтобы понять, что монашеское подчинение власти в вопросах веры и дисциплины совмещалось с широкой свободой взглядов в остальных вопросах. Мы должны пойти еще дальше. Не только положение монахов в обществе, положение внеклассовой структуры, способствовало отстраненно-критическому отношению ко многим вещам; за ними также стояла сила, которая была в состоянии защитить эту свободу. Что касается политических и экономических проблем, церковный интеллектуал того времени испытывал меньшее влияние политических властей и «групп давления», чем светский интеллектуал более поздних времен.

Обвинение в том, что безусловное подчинение авторитету церкви делало рассуждения этих ученых монахов несостоятельными с научной точки зрения, таким образом, оказывается безосновательным. Однако нам необходимо рассмотреть еще одну разновидность этого обвинения. Аналитический характер их рассуждений часто отрицался на том основании, что их аргументы могли базироваться только на авторитете: поскольку они признавали авторитет папы, у них не было никакого другого метода установить истинность или ложность какого-либо утверждения, кроме как привести в его поддержку или для его опровержения литературный источник, одобренный этим высшим авторитетом. Доказательство несправедливости такого суждения находим у св. Фомы. Он учил, что авторитет играет решающую роль в вопросах, касающихся Откровения (а именно авторитет тех, кому было дано Откровение), но что во всем остальном (а это включает, конечно, всю сферу экономики) любая ссылка на авторитет «крайне неубедительна».<sup>2</sup>

<sup>2</sup> «*Nam licet locus ab auctoritate quae fundatur super ratione humana, sit infirmissimus ...*» (Summa I, quaest. I, ad secundum). Конечно, все схоласты обильно цитировали, но ведь и мы тоже. Они полагались на авторитеты — там, где они с ними соглашались, — больше, чем мы, потому что они делали упор на коллективную, а не индивидуальную точку зрения и придавали огромное значение преемственности учения. Но в этом и состоит вся разница.

Одновременно с монополией на знания образовалась монополия на «высшее» образование. В школах, которые начиная с VII в. основывали гражданские и духовные власти, «осколки» греко-римской науки, а также теологию и собственно философские доктрины преподавали духовные лица. Великие учителя, такие как Абелья, привлекали студентов и нередко доставляли немало хлопот властям. Иногда на основе таких школ, а порой и независимо от них в XII и XIII вв. образовывались самоуправляющиеся «университеты» — инкорпорированные ассоциации<sup>3</sup> либо учителей, как в Париже, либо студентов, как в Болонье, которые вскоре сгруппировались в теологические, философские, юридические и медицинские «факультеты». Вначале короли и епископы не имели к ним никакого отношения, за исключением предоставления им корпоративных привилегий и осуществления религиозного надзора. Соответственно, университеты располагали огромной свободой и независимостью; они давали больший простор индивидуальному учителю, чем современные механизированные университеты; они являлись местом соприкосновения различных классов общества и были международными.

Но начиная с XIV в. в роли основателя университета все чаще стало выступать государство. Оно установило и контроль над независимыми прежде институтами. Государственное влияние привело не только к постановке чисто утилитарных целей, но и к ограничению свободы, особенно в вопросах политического учения. Но именно благодаря той силе, которая стояла за учителями из духовенства, университеты сохраняли относительную самостоятельность вплоть до религиозного всплеска в XVI в.

Возможности, которые предоставляли университеты, естественным образом усиливали тенденцию к превращению ученых в учителей. Так как общественность была тогда (как и теперь) склонна преувеличивать значение самого обучения в ущерб созданию самого предмета, которому обучают, то средневековых людей науки называли и до сих пор называют людьми школы или схоластами (*doctores scholastici*). Для того чтобы освободиться от господствующих предубеждений, читателю лучше всего просто смотреть на этих схоластов как на профессоров колледжей или университетов. Таким образом, св. Фома был профессором. Его *Summa Theologica*, как он говорит во введении, замышлялась в качестве учебника для начинающих (*incipientes*).

---

<sup>3</sup> Термин *universitas* первоначально означал не что иное, как корпорацию. Множество людей поступали в них из-за тех юридических привилегий, которые давало членство в такой самоуправляющейся корпорации. Значение *universitas litterarum*, которое мы вкладываем в термин «университет», более позднего происхождения.

### 3. Схоластика и капитализм

Те процессы, которые в конечном счете разбили вдребезги социальный мир св. Фомы, как правило, называют зарождением капитализма. Хотя они бесконечно сложны, их все же допустимо описать в терминах нескольких широких обобщений, которые не являются безнадежно неверными. Кроме того, хотя нигде, конечно, не было разрыва, можно датировать их развитие тем или иным веком. Капиталистическое предприятие существовало и ранее, но начиная с XIII в. оно постепенно перешло в наступление на структуру феодальных институтов, которые на протяжении веков не только ограничивали свободу, но и охраняли крестьянина и ремесленника. Оно также формировало контуры экономического устройства, сохраняющегося у нас до сих пор (или до недавнего времени сохранявшегося). К концу XV в. большинство феноменов, которые мы привыкли связывать с неопределенным словом «капитализм», приобрели присущий им внешний вид, включая большой бизнес, спекуляцию акциями и товарами и «финансовую олигархию» (high finance), причем люди реагировали на все это в точности так же, как и мы сами.<sup>1</sup> Но даже тогда не все эти феномены были новыми.

Рост капиталистического предприятия создавал, однако, не только новые экономические структуры и проблемы, но также и новое отношение ко всем проблемам. Возвышение коммерческой, финансовой и промышленной буржуазии, конечно, изменило структуру европейского общества, а следовательно, и его дух или, если угодно, его цивилизацию. Наиболее очевидным моментом является то, что буржуазия получила власть для утверждения своих интересов. Этот класс видел деловую жизнь в другом свете и под другим углом; иными словами, он находился внутри деловой жизни и поэтому не мог смотреть на ее проблемы с отстраненностью школьного учителя. Но этот момент — лишь второй по важности по сравнению со следующим. Как мы отмечали в первой части этой книги, еще более важно осознать, что совершенно независимо от утверждения своих интересов деловой

---

<sup>1</sup> Благодаря значению финансовых аспектов капиталистического производства и торговли развитие законодательства об обращающихся ценных бумагах и «создаваемых» депозитах, а также соответствующей практической деятельности является, по-видимому, наилучшим из возможных указателей для датировки восхода капитализма. В средиземноморских странах и то и другое возникло в XIV в., хотя обращаемость не установилась полностью до XVI в. См. работу А. П. Апшера: *Usher A. P. The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe. 1943; Roover R. Money, Banking, and Credit in Medieval Bruges//Journal of Economic History. Suppl. 1942. December.*

человек по мере увеличения собственного веса в социальной структуре все в большей мере наделял общество своим менталитетом, точно так же, как до него это делал рыцарь. Особые приемы мышления, которые вырабатываются в деловой конторе, схема ценностей, которая из них проистекает, и отношение к общественной и частной жизни, которое ее характеризует, постепенно распространяются на все классы и на все сферы человеческой мысли и деятельности. Результаты со всей очевидностью проявились в эпоху преобразования культуры, на удивление неправильно названную Возрождением.<sup>2</sup>

Одним из наиболее важных результатов было появление светского интеллектуала<sup>3</sup> и соответственно светской науки. Мы можем различить события трех различных типов. Во-первых, всегда существовавшие светские врачи и юристы в эпоху Возрождения начали вытеснять клириков. Во-вторых, отталкиваясь от своих профессиональных потребностей и проблем, светские художники и ремесленники — а между ними не было существенных социологических различий — начали накапливать фонд инструментальных знаний (например, в анатомии, перспективе, механике), который явился важным источником современных знаний, но при этом возник за пределами схоластической университетской науки. Это положение можно проиллюстрировать на примере Леонардо да Винчи; а Галилей воплощает собой другое положение, а именно то, как в ходе вышеупомянутого развития появился светский физик. Своя аналогия имеется и в экономической науке: деловой человек и государственный служащий, так же как и художник-ремесленник, отталкиваясь от своих практических нужд и проблем, начали накапливать фонд экономических знаний, который будет рассмотрен в следующей главе.

---

<sup>2</sup> «Возобновление» интереса к мысли и искусству Древней Греции и Рима явилось таким мощным фактором интеллектуальной жизни того времени только потому, что античные формы образовывали удобные емкости для новых нужд и значений. Действительные культурные достижения эпохи не сводились к приведению в порядок старых фамильных драгоценностей.

<sup>3</sup> Слово «светский» (*laical*) было выбрано после некоторых размышлений. Термин «*secular*» нельзя использовать, потому что он имеет дополнительное значение в противопоставлении: белое духовенство — черное духовенство (*secular clergy* — *regular clergy*). Термин «*laymen's science*» вступает в противоречие с нашим толкованием термина «*layman*» — дилетант (человек, не обученный научному подходу). Термин «*laicist*» передает идею антагонизма к церкви (ср., например, выражения «*laicist state*» или «*laicism*»). Поэтому мы избрали слово «*laical*» для обозначения людей или любой деятельности (научной или пропагандистской) людей, не имеющих духовного сана. Соответствующее существительное будет «*laics*».

В-третьих, существовали гуманитарии. Профессионально они были знатоками классических текстов. Их научная работа состояла в критическом редактировании, переводе и интерпретации греческих и латинских текстов, которые стали доступными в XV и XVI вв. Но им нравилось верить в то, что владение греческим языком и латынью делает человека компетентным во всех областях; а это вкпе с их социальным положением — также вне схоластических университетов — превратило этих критиков текстов в критиков людей, вероучений и институтов, а также в разносторонних *littérateurs* <литераторов (*фр.*)>. Они, однако, не внесли никакого вклада в экономический анализ. Для нас они важны лишь в той мере, в какой они оказывали влияние на общую интеллектуальную атмосферу своего времени.

У католической церкви не было причин не одобрять светского врача или юриста как такового, и она этого не делала; она являлась одним из наиболее либеральных покровителей художников-ремесленников, искусство которых оставалось религиозным еще в течение длительного времени; она нанимала гуманистов в папскую канцелярию и в другие места. Папы и кардиналы эпохи Возрождения, многие из которых сами были выдающимися гуманистами, непременно поощряли гуманитарные исследования. Конфликт, который тем не менее возникал, представляет собой проблему. И для того чтобы выявить его природу, нельзя рисовать картину исключительно в черных и белых тонах. Нет ничего более далекого от истины, чем сказка о том, как новый свет вспыхнул над миром и как яростно сражались с ним силы тьмы, или о появлении нового духа свободного исследования, который безуспешно пытались задушить приспешники бесплодного авторитаризма. Наше понимание этого противоречия не продвинется, если мы будем путать его со связанным с ним, но совершенно иным феноменом Реформации: интеллектуальная революция и религиозная революция усиливали друг друга, но их источники были неодинаковы; они не находятся друг с другом в простом соотношении причины и следствия.

Не существовало нового духа капитализма в том смысле, что людям пришлось обзавестись новым образом мышления для того, чтобы преобразовать феодальный экономический мир в совершенно иной, капиталистический, мир. Как только мы осознаем, что чистый феодализм и чистый капитализм являются одинаково нереалистичными созданиями нашего собственного ума, то вопрос о том, что же превратило один в другой, полностью

исчезает.<sup>4</sup> Общество феодальной эпохи содержало в себе все ростки общества эпохи капитализма. Эти ростки развивались медленно, на каждом этапе извлекался свой урок и достигалось очередное приращение капиталистических методов и капиталистического «духа». Точно так же не было никакого «нового духа свободного исследования», появление которого требовало бы объяснения.

Схоластическая наука средних веков содержала в себе все ростки светской науки эпохи Возрождения. И эти ростки медленно, но верно развивались внутри системы схоластической мысли, так что миряне XVI и XVII вв. скорее продолжали, чем уничтожали труды схоластов. Это справедливо даже в тех случаях, где такая связь наиболее настойчиво отрицается. Уже в XIII в. Альберт Великий наблюдал, Роджер Бэкон экспериментировал и изобретал (он также настаивал на необходимости более мощных математических методов), в то время как Иордан Немурский (Jordanus the Nemore) теоретизировал в совершенно «современном» духе.<sup>5</sup> Даже гелиоцентрическая система астрономии не являлась бомбой, брошенной снаружи в схоластическую крепость. Она была создана в самой крепости. Николай Кузанский (1401–1464) был кардиналом, а сам Коперник — каноником (хотя он так и не стал духовным лицом), доктором канонического права,

---

<sup>4</sup> Эта проблема является типичным примером того, что можно назвать «ложными проблемами», т. е. таких проблем, которые аналитик создает себе сам своим методом исследования. Для целей сокращенного описания мы рисуем абстрактные картины социальных «систем» и для того, чтобы яснее отличить друг от друга, наделаем их определенным числом четких характеристик. Этот метод (логически) «идеальных типов» (обсуждаемый ниже) имеет, конечно, свою область применения, хотя неизбежно приводит к искажению фактов. Но если, забыв о методологической природе этих конструкций, мы столкнемся лицом к лицу «идеального» человека эпохи феодализма с «идеальным» человеком капиталистической эпохи, то возникает проблема превращения одного в другого, не имеющая соответствий в области исторических фактов. К сожалению, такой способ мышления, лишенный каких-либо оснований, кроме неправильного использования метода «идеальных типов», своим огромным авторитетом поддержал Макс Вебер. Соответственно, он занялся поисками объяснений процессу, который при достаточном внимании к историческим деталям становится самоочевидным. Он нашел это объяснение в «новом духе», т. е. в ином отношении к жизни и ее ценностям, порожденном Реформацией (The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 1930/Протестантская этика и дух капитализма; см. также: *Tawney R. H. Religion and the Rise of Capitalism. 1926*; противоположную точку зрения см.: *Robertson H. M. Aspects of the Rise of Economic Individualism: a Criticism of Max Weber and His School. 1933*). Исторические возражения против этой конструкции слишком очевидны, чтобы на них задерживаться. Гораздо важнее увидеть содержащуюся здесь фундаментальную методологическую ошибку.

<sup>5</sup> См., например, Пьер Дюрем: *Duhem Pierre. Les Sources des theories physiques. 1905*; *Les Origines de la statique. 1905–1906*; *Études sur Léonard da Vinci. 1906–1913*.

прожил всю жизнь в церковных кругах; Климент VII одобрил его работу и желал увидеть ее опубликованной.<sup>6</sup> Но это и не удивительно, потому что, как мы видели, авторитет церкви не был таким абсолютным препятствием свободному исследованию, каким его представляют. Преобладание обратного впечатления объясняется тем, что до недавнего времени все довольствовались свидетельствами врагов церкви, которые вдохновлялись нерассуждающей ненавистью и чрезмерно драматизировали отдельные события. В течение последних двадцати лет получает распространение менее предвзятая точка зрения. Для нас это очень удачно, так как облегчает оценку научных результатов схоластов в нашей области.

Тогда, если мы снимем налет пристрастия, истинная картина конфликта возникает без труда. Он был преимущественно политическим по своей природе. Светские интеллектуалы, причем католики не меньше, чем протестанты, часто не соглашались с церковью как с политической силой, а политическая оппозиция церкви легко превращается в ересь. Этот дух политической оппозиции и присущий ей характер ереси, который иногда ошибочно, а чаще всего верно чувствовала церковь, нередко содер-

---

<sup>6</sup> Необходимо коротко остановиться на последующей борьбе вокруг астрономической системы Коперника — и для того, чтобы вывить элементы истины в традиционной версии, и для того, чтобы вернуться к ее истинному значению. Николай Коперник завершил свою рукопись около 1530 г. В течение десятилетий его идея распространялась спокойно и без помех. Она, безусловно, сталкивалась с сопротивлением или даже насмешками профессоров, которые продолжали поддерживать системы Птолемея, но этого и следовало ожидать в ответ на появление новой идеи такого значения. Галилей опасался этих насмешек, а не инквизиции, когда к концу XVI в. стал убежденным приверженцем теории Коперника. Казнь инквизицией другого сторонника этой теории, Джордано Бруно, не является доказательством обратного, так как он придерживался чисто теологических взглядов еретического характера, а более того, свободно выражал презрение к христианской вере. Но когда в конце концов Галилей решил открыто поддержать эту теорию (в 1613 и 1632 гг.), группа теологических советников инквизиции — но, однако, не кардинал Белларmino — действительно объявила ее еретической и ему запретили поддерживать ее и преподавать; когда Галилей не выполнил своего обещания подчиниться, его заставили от нее отречься и заключили в тюрьму на две недели. Главное тут не только то, что чисто физическая теория была признана теологически неприемлемой и ее научный последователь за нее пострадал, но и то, что подобное развитие событий было возможным в эпоху, когда текст Писания интерпретировался более или менее буквально. В этом и состоит элемент истины в традиционной версии. Но ясно, что этот случай был совершенно исключительным; для основной части научных исследований такой возможности практически не существовало. Более того, в случае с Галилеем дело осложнилось его импульсивностью и его несчастливой способностью лично настраивать против себя влиятельных людей. Но судьба самого Коперника, да и судьба его теории до 1613 г. указывают на то, что при более тактичном обращении с этим вопросом преследования можно было избежать.

жался в трудах светских интеллектуалов и заставлял ее реагировать на сочинения, в которых не было ничего относящегося к церковному руководству или религии и которые прошли бы незамеченными, если бы их опубликовало духовное лицо, в политической и религиозной лояльности которого церковь была уверена. Существовал еще один небольшой, однако весьма важный для нас момент. Ученые, по-видимому, не всегда воспринимают новшества с энтузиазмом. Более того, профессора — это люди, которые органически не могут себе представить, что кто-то другой может быть прав. Так было всегда и повсюду. Однако во времена Галилея университеты находились в руках монашеских орденов, за исключением стран, которые стали или становились протестантскими. Эти ордена приветствовали новичков и открывали для них возможность научной карьеры. Но они не приветствовали научные труды тех, кто не хотел в них вступать: таким образом возникало столкновение интересов двух групп интеллектуалов, которые стояли на пути друг у друга. А профессиональная неприязнь к научному оппоненту, забавные примеры которой можно найти во все века, приобретала совершенно иной оттенок, когда к мнению университетов если и не всегда прислушивался папа, то всегда прислушивалась инквизиция. Это, конечно, не означает, что профессора только и делали, что декламировали сочинения Аристотеля.

#### 4. Социология и экономическая наука схоластов<sup>1</sup>

Св. Фома подразделял сферу аналитических знаний на науки, которые обязаны своим развитием только свету человеческого разума (*philosophicae disciplinae*), включая сюда естествен-

---

<sup>1</sup> За последние полвека исследования в области экономических условий и процессов средневековья стали настолько обширными, что в полном объеме они доступны лишь специалистам. Эта литература часто содержит ссылки на экономическую мысль или даже анализ; однако эти ссылки даются в таком духе и с таких позиций, которые делают их практически бесполезными для наших целей. Наиболее полезной из известных мне работ этого типа, которая устарела, но превосходна в своем роде, я считаю работу У. Д. Эшли: *Ashley W. J. Introduction to English Economic History and Theory*. 1888; 1893 (особенно книга I, гл. 3, и книга II, гл. 6). Классическая работа о схоластическом экономическом учении, хотя и несвободная от серьезных недостатков, принадлежит В. Эндманну: *Endemann W. Studien in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre*. 1874; 1883. Еще более ранними и все же полезными являются: *Cibrario G. A. L.* (Дж. А. Л. Чибралио). *Dell'economia politica del Medioevo*. 1839; *Brants V.* (В. Брантс). *L'Économie politique au Moyen-Age: Esquisse des théories économiques professées par les écrivains des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*. 1895; *Pirenne H.* (А. Пирен). *Economic and Social History of Medieval Europe*. 1936.

ную теологию (*illa theologia quae pars philosophiae ponitur*) и сверхъестественную теологию (*sacra doctrina*). Последняя тоже являлась наукой, но наукой *sui generis* (своеобразной) ввиду того, что в отличие от всех прочих наук она использует не только человеческий разум, но и откровение (*Summa I, quaest. I*).<sup>2</sup> В этой схеме, которая, по-видимому, была общепринятой, социологии и экономической науке не отводилось самостоятельного места. Вначале они представляли собой часть моральной теологии или этики, которые в свою очередь являлись частью как сверхъестественной, так и естественной теологии. В дальнейшем, особенно в XVI в., экономические и социологические вопросы рассматривались в рамках схоластической юриспруденции. Отдельные проблемы, в основном касающиеся денег и процента, иногда рассматривались самостоятельно. Это же относится и к политическим вопросам. Но этого нельзя сказать об экономической науке в целом. Для наших целей будет удобно различать три периода в исторической эволюции схоластической мысли в соответствии с тем, какое внимание уделялось экономическим проблемам.

[а] С IX в. до конца XII в.]. Самый ранний из наших периодов простирается от IX в., в ходе которого схоластическая

Взяты вместе, они дополняют сочинение Эшли истории континентальной Европы. Аналогичную функцию выполняет работа У. Томпсона: *Thompson W. Economic and Social History of the Middle Ages (300-1300) and (1300-1530)*. 1928 и 1931; см. также Дж. А. Т. О'Брайен: *O'Brien G.A.T. An Essay on Medieval Economic Teaching*. 1920; Э. Шрайбер: *Schreiber E. Die volkswirtschaftlichen Anschauungen der Scholastik...* 1913; М. Бир: *Beer M. Early British Economics from the XIIIth to the Middle of the XVIIIth Century*. 1938; А. Гарнье: *Garnier H. L'Idée du juste prix*. 1900; Б. Джаретт: *Jarrett B. Social Theories of the Middle Ages*. 1920; некоторые другие сочинения будут упомянуты ниже. Описание «общего фона» особенно удачно в работе М. Вульфа: *Wulf M., de. L'Histoire de la philosophie médiévale*. 1925-1926, и так как в наши дни схоластический ренессанс никто не может не принимать во внимание, то см. также его работу: *Introduction à la philosophie néo-scholastique*. 1904; англ. пер. 1907. Этот список претендует лишь на роль отправного пункта для дальнейших исследований.

<sup>2</sup> Здесь необходимо отметить два момента. Во-первых, Аристотель определял каждую науку по предмету ее исследования. Но св. Фома осознавал, что различные науки часто имеют дело с одними и теми же объектами (*de eisdem rebus*) и что не предмет, а познавательный метод (*ratio cognoscibilis*) определяет науку. Во-вторых, св. Фома, конечно, не отрицал, что сверхъестественная теология также использовала логический метод (*I, quaest I, art. 8*). Действительная разница заключается в источнике тех отправных пунктов (*principia*), которые она, как и другие науки, считает не требующими доказательств. В сверхъестественной теологии они берутся из откровения, но во всех других науках, за возможным исключением чисто формальных, они берутся либо из других наук, либо из прямого наблюдения над фактами. Последнее утверждение св. Фома не формулировал в явном виде. Но оно, несомненно, подразумевается. Если бы он сформулировал его более точно, во многих случаях можно было бы избежать неправильного понимания схоластической мысли.

мысль впервые набрала силу, до конца XII в. Помимо чисто теологических вопросов внимание мыслителей того времени привлекали в основном проблемы теории или философии познания. Насколько я могу понять, рассуждения, которые могли бы быть отнесены к сфере экономического анализа, не встречаются ни в одном из сочинений таких лидеров схоластики, как Эриугена, Абельяр, св. Ансельм или Иоанн Солсберийский (я упоминаю лишь немногих). Таким образом, наша программа не позволяет рассмотреть их достижения, хотя это в значительной мере ограничивает наши представления об общем течении схоластической мысли. Тем не менее необходимо упомянуть о двух вещах. Мы будем называть их 1) платоническим направлением и 2) индивидуалистическим направлением.

I. В длительной и трудоемкой задаче интеллектуального восстановления, которую пришлось решать после того, как в течение многих веков Европу опустошали племена варваров, первостепенное значение, естественно, приобрели остатки античных знаний. Большинство из этих остатков, однако, были недоступны до XII в., а значительная часть доступного была непонятна ученым того времени или сохранилась в очень плохом переводе. Из этого небольшого запаса доминирующим было влияние платоников и неоплатоников как непосредственное, так и косвенное — через философию св. Августина. Но влияние Платона неизбежно ставит на передний план проблему платонических идей, проблему природы общих понятий (*universalia*). Соответственно первая и наиболее знаменитая схоластическая дискуссия по чистой философии была посвящена этой проблеме и до конца XV в. вспыхивала вновь и вновь. Мы не должны удивляться или рассматривать это как несомненное доказательство бесплодности схоластической мысли. Должно быть понятно, что данная проблема является специфической формой постановки общей проблемы чистой философии. Утверждение, что схоласты никогда не прекращали ее обсуждать, просто означает, что, интересуясь многими другими вещами, они не утрачивали интерес к чистой философии. В целом можно утверждать, что «реалистическая» точка зрения — точка зрения, согласно которой только идеи или понятия как таковые реально существуют и которая, таким образом, в точности противоположна тому, что мы бы назвали реалистической точкой зрения, — более или менее преобладала до XIV в., когда ход сражения повернулся в пользу противоположной, «номиналистической», точки зрения.<sup>3</sup> Но компромисс Абельяра (1079–1142), похоже, пользовался огромной,

<sup>3</sup> Важно не забывать, что во времена схоластов различные школы мысли часто отождествлялись (или даже отождествляли себя сами) с отдельными монашескими орденами. Францисканский орден, например, был бастионом номиналистической философии. Это явление вполне понятно, и, я думаю, нет

хотя и неодинаковой в различные периоды популярностью: идеи или универсалии существуют независимо от каких-либо индивидов, соотносящихся с ними, в мышлении Бога (в этом смысле *universalia* существуют *ante res* <до вещей (лат.)>); но они воплощены в индивидуальных вещах (поэтому *universalia* существуют *in rebus* <в вещах (лат.)>); человеческое мышление получает о них представление только путем наблюдения и абстракции (в этом смысле они *post res* <после вещей (лат.)>).

Эта дискуссия являлась чисто эпистемологической по своей природе и поэтому не оказывала никакого влияния на практику как экономического, так и любого другого анализа. Но о ней необходимо было упомянуть, потому что в наши времена реализм и номинализм схоластов связывают с двумя другими понятиями — универсализмом и индивидуализмом, которые, как считают некоторые авторы, имеют отношение к аналитической практике. Эти авторы зашли так далеко, что представляли универсализм и индивидуализм двумя фундаментально противоположными точками зрения на общественные процессы, борьба между которыми ведется на протяжении всей истории социологического и экономического анализа и является наиболее существенным обстоятельством, обуславливающим все прочие столкновения мнений на протяжении многих веков.<sup>4</sup> Какие бы аргументы ни приводились для доказательства этой доктрины с точки зрения экономической мысли или, возможно, также с точки зрения философской интерпретации аналитических методов, в ней нет ничего такого, что затрагивало бы сами эти методы: это доказывает оставшаяся часть книги.

надобности его объяснять. Но необходимо подчеркнуть его важность, ибо оно проявляется и в других вопросах: причину того, что более поздние схоласты столь сурово отнеслись к экономической теории Дунса Скота — а это объяснить не так просто — можно, наверное, искать в антагонизме орденов, точно так же как в более поздние века иногда приходится учитывать антагонизм между национальными группами экономистов. Это немаловажный момент социологии науки.

<sup>4</sup> Доктрину «универсализма» обычно связывают с О. Шпанном, которому она обязана своим успехом в Германии (о публикациях его и его группы см.: *Encyclopedia of the Social Sciences: Economics, Romantic and Universalist Economics*). Но в действительности она восходит к К. Прибраму (*Pribram K. Die Entstehung der individualistischen Sozialphilosophie. 1912*), который связал «универсализм» со схоластическим «реализмом», а «индивидуализм» — со схоластическим «номинализмом». Я не утверждаю, что категории «универсализм» — «индивидуализм» бесполезны для достижения иных — не наших — целей. Возможно, с их помощью можно описать важные, особенно эτικο-религиозные, аспекты экономической мысли. Кроме того, термин «универсализм» предпочтительнее термина «социализм», который приобрел более ограниченное значение. Возражение вызывает только неоправданное расширение поля применения этих концепций, вызванное как раз неспособностью разделить экономическую мысль и экономический анализ. Именно неспособность разглядеть эпистемологический барьер между ними провоцирует рассуждения об универсалистских методах и универсалистской науке, способные породить лишь путаницу.

Здесь же мы хотим показать, что универсализм и индивидуализм не имеют никакого отношения к реализму и номинализму схоластов. Универсализм как противоположность индивидуализма означает, что «социальные коллективы», такие как общество, нация, церковь и т. п., с концептуальной точки зрения первичны по отношению к своим индивидуальным членам; что они в действительности являются теми самыми объектами, с которыми должны иметь дело общественные науки; что индивидуальные члены являются всего лишь продуктами «социальных коллективов»; поэтому анализ должен отталкиваться от коллективов, а не от поведения индивидов.

Но схоластический реализм противопоставлял универсалии индивидам совершенно в ином смысле. Если бы я стоял на позициях схоластического реализма, то мое идеальное представление, например об обществе, являлось бы логически первичным по отношению к любому отдельному обществу, которое я эмпирически наблюдаю, но не по отношению к отдельным людям; идеальное представление об этих людях будет другой универсалией в схоластическом смысле, логически предшествующей эмпирически наблюдаемым индивидам. Очевидно, это никак не связано ни с отношениями между двумя схоластическими универсалиями, ни с отношениями между любым эмпирически наблюдаемым обществом (универсалией в смысле универсалистской доктрины) и эмпирически наблюдаемыми индивидами, из которых оно состоит. В частности, в данном случае я могу быть сколь угодно радикальным сторонником индивидуализма в политическом или любом ином смысле. Как видно, противоположный взгляд основан на ошибке, возникающей благодаря двойному значению слов «универсальный» и «индивидуальный».<sup>5</sup>

II. Обозревая историю цивилизаций, мы иногда говорим об их объективных и субъективных разновидностях. Говоря об объективной цивилизации, мы имеем в виду цивилизацию в таком обществе, где каждый индивид занимает отведенное ему место и независимо от его вкусов подчиняется надындивидуальным правилам; в обществе, которое считает обязательными для всех определенные этические и религиозные принципы; в обществе, в котором искусство стандартизировано, а вся творческая деятельность одновременно и выражает надындивидуальные идеалы, и служит им.

Под субъективной цивилизацией мы понимаем цивилизацию, которая обнаруживает противоположные характеристики; общество, которое служит индивиду, а не наоборот; иными словами, общество, которое опирается на индивидуальные вкусы, воплощает их и позволяет каждому строить свою собственную систему культур-

<sup>5</sup> Аналогично мы не должны называть индивидуалистом Абельера на том основании, что ему принадлежит фраза: *Nihil est praeter individuum* («Ничто не предшествует индивиду» (лат.)).

ных ценностей. Нам нет необходимости заниматься общим вопросом об аналитическом статусе подобных схем. Но часто встречается огульное утверждение, что в означенном смысле средневековая цивилизация была объективной, а современная цивилизация является (или до недавнего времени являлась) субъективной, или индивидуалистической, и это затрагивает или, предположим, может затрагивать «дух» экономического анализа.

Несомненно, некоторые характерные черты объясняются этой схемой — стандартным примером является сравнение религиозной жизни в эпоху «одного Бога, одной церкви» и в эпоху сотен вероисповеданий. Но так же не может быть никаких сомнений в том, что в целом эти абстрактные картины совершенно не соответствуют действительности. Можно ли представить себе более яростного индивидуалиста, чем рыцарь? Разве не все трудности, с которыми сталкивалась средневековая цивилизация в вопросах военного и политического управления (и которые по большей части объясняют ее неудачи), возникли именно из-за этого обстоятельства? А разве член современного профсоюза или сегодняшний фермер на самом деле является гораздо большим индивидуалистом, чем член средневековой ремесленной гильдии или средневековый крестьянин?

Поэтому читателя не должно удивлять утверждение, что индивидуалистическое направление в средневековой мысли было гораздо более сильным, чем обычно считают. Это верно и в том смысле, что имелось значительно больше индивидуальных различий в точках зрения, и в том смысле, что индивидуальные явления и (в рассуждениях об обществе) индивидуальный человек рассматривались гораздо более тщательно, чем мы привыкли думать. В частности, схоластическая социология и экономическая наука строго индивидуалистичны. Это означает, что, пытаясь описать или объяснить экономические явления, схоласты непременно отталкивались от индивидуальных вкусов и поведения. То, что они применяли к этим фактам надындивидуальные критерии справедливости, не имеет отношения к логической природе их анализа; но даже эти критерии могут быть выведены из такой схемы морали, в которой сам индивид является конечной целью и центральной идеей которой является спасение индивидуальной души.

[b) XIII век]. Наш второй период охватывает XIII в. Если речь идет о теологии и философии, имеются основания назвать его классическим периодом схоластики. Теологическая и философская мысль была не только революционизирована, но и объединена в новую систему, которая содержала в себе все то, что подразумевает термин «классическая». В основном эту революцию совершили работы Гроссетеста, Александра из Гэльса, св. Бонавентуры и Дунса Скота (францисканская школа), с одной стороны, и Альберта Великого и его ученика св. Фомы

(доминиканская школа) — с другой. Объединение, т. е. создание классической системы, было выдающимся достижением св. Фомы. Но в других сферах была только революция и не было объединения. Действительно, в этом веке родилась схоластическая наука, отличная от теологии и философии; были созданы труды, которые дали импульс и заложили основы для дальнейших исследований, но, помимо отправных точек, ничего не было достигнуто. Это относится как к общественным, так и к физическим наукам. Необходимо, в частности, отметить, что, как показывает пример Гроссетеста, интерес к физическим и математическим исследованиям был широко распространен даже среди людей, которые сами такими исследованиями не занимались. Роджер Бэкон представлял собой вершину, но не одиночную вершину; и множество людей, как принадлежавших, так и не принадлежавших к францисканскому ордену, были готовы продолжить путь, по которому он двигался. Причина, по которой это не столь очевидно, как должно быть, заключается в том, что схоластические физики и математики последующих четырех веков, как правило, становились специалистами в своих конкретных областях и их схоластическое происхождение легко упускалось из виду. Например, мы считаем Франческо Кавальери (1598–1647) просто великим математиком. Нам не приходит в голову связывать появление интегрального исчисления со схоластикой в целом или с орденом иезуитов в частности, хотя на самом деле Кавальери принадлежал и тому и другому.<sup>6</sup>

Сама по себе эта теолого-философская революция нас не интересует. Но в истории социологического и экономического анализа один ее аспект является достаточно важным — я говорю о возрождении аристотелианской мысли. В XII в. более полные представления о сочинениях Аристотеля постепенно проникли в интеллектуальный мир западного христианства, частично благодаря посредничеству семитов: арабов и евреев.<sup>7</sup> Для схоластов это имело двойные последствия. С одной стороны, посредниче-

<sup>6</sup> Роджер Бэкон (1214–1292), *doctor mirabilis* схоластической традиции, — это еще один пример, иллюстрирующий природу и причины тех трудностей, с которыми сталкивались некоторые выдающиеся физики. Он был еще более агрессивен, чем Галилей 400 лет спустя. Во все времена людям не нравится, если их называют дураками. В суровые времена они реагируют на это сурово.

<sup>7</sup> В этой связи прежде всего следует упомянуть Авиценну (Ибн Сина, 980–1037), арабского врача и философа, Аверроэса (Ибн Рушд, 1126–1198), юриста и философа из Кордовы Моисея Маймонида (1135–1204), еврейского теолога и философа (особенно его *Guide of the Perplexed*, англ. пер. 1881–1885). Проблема примирения учения Аристотеля с древнееврейской теологией стояла перед Маймонидом точно так же, как аналогичная проблема стояла перед христианскими схоластами.

ство арабов означало и их интерпретацию, которая была неприемлема для схоластов в некоторых вопросах эпистемологии и теологии. С другой — доступ к аристотелианской мысли сильно облегчил выполнение задач, стоявших перед схоластами не только в области метафизики, где им приходилось прокладывать новые пути, но также и в физических и общественных науках, где им приходилось начинать практически с нуля.

Читатель заметит, что я не приписываю возвращению сочинений Аристотеля роль главной причины событий XIII в. События такого рода никогда не могут быть вызваны исключительно внешними влияниями. Аристотель как могущественный союзник пришел, чтобы помочь и снабдить инструментами. Но осознание задач и желание идти вперед существовали, конечно, независимо от него. Это можно пояснить при помощи следующей аналогии. Нам доводилось упоминать о частичном заимствовании или «принятии» *Corsus juris civilis* (Свода гражданских законов) во времена позднего средневековья и Ренессанса. Этот феномен нельзя объяснить тем, что были обнаружены несколько старых томов, а также тем, что не критически мыслящие люди наивно верили в силу содержавшегося в этих томах юридического материала. С развитием экономики жизнь приобретала такой характер, что ей требовались юридические формы, особенно система контрактов того типа, который был разработан римскими юристами. Не вызывает сомнения, что в конце концов средневековые юристы сами бы создали аналогичные формы. Римское право оказалось полезным не потому, что принесло нечто чуждое духу и потребностям времени (в таких случаях его принятие было связано с большими трудностями), а именно потому, что оно предоставило в готовом виде то, что без него пришлось бы долго и мучительно разрабатывать. Аналогичным образом «принятие» учения Аристотеля явилось главным образом важнейшим время- и трудосберегающим средством, в особенности в тех областях, которые все еще оставались неисследованными. Именно в этом смысле — а не в смысле пассивного принятия удачного открытия — должны мы рассматривать связь между аристотелизмом и схоластикой.

Но как только схоласты осознали, что в сочинениях Аристотеля содержалось все или почти все необходимое им в данный момент и что его учение поможет им достичь того, что обошлось бы им в целый век самостоятельного труда, они, естественно, наилучшим образом воспользовались этой возможностью. Аристотель превратился для них в единственного философа, универсального учителя, и большая часть их работы приобрела форму преподавания студентам и общественности его учения в целом и комментирования его работ. Более того, его сочинения превосходно подходили для дидактических целей, так как на самом деле они являлись обобщающими и систематизирующими учебниками. Вследствие этого

Гроссетест, Альберт Великий и другие упомянутые выше лидеры предстали перед общественностью своих и более поздних времен в роли толкователей и комментаторов Аристотелева учения.

Даже самого св. Фому многие воспринимали только лишь как человека, сумевшего поставить учение Аристотеля на службу Церкви. Это неправильное представление о революции XIII в., и особенно о достижениях св. Фомы, не только не было исправлено, но, наоборот, всячески поддерживалось наукой в последующие 300 лет. Ибо труды Аристотеля продолжали выполнять функцию системных рамок для растущего научного материала и удовлетворять потребность в прекрасных прозаических текстах; таким образом, все продолжало отливаться в Аристотелевых формах и в особенности схоластическая экономическая наука. Вот почему в результате этой всеупотребительной практики схоласты не получили заслуженного признания за свои оригинальные результаты.

Это объясняет не только абсолютно непонятный иначе успех Аристотелева учения в течение 300 лет, но и ту цену, которую пришлось заплатить древнему мудрецу за свой успех. Пожалуй, стоит завершить наш рассказ, в котором так много интересного для того, кто изучает извилистые пути человеческой мысли. Мы видели, что в схоластической системе не было ничего такого, что препятствовало бы появлению новых результатов внутри ее самой или даже за пределами тех оснований, которые были заложены в ее классических трудах. Примером такого результата может служить философия Декарта.<sup>8</sup> Он не относился враждебно к старой схоластической философии и в то же время принимал предложенное св. Ансельмом доказательство существования Бога (которое не принимал св. Фома) в качестве основания для его собственной теории *cogito* (мышления). Остается широкий простор для размышлений о значении вышесказанного. Но этого, конечно, достаточно, чтобы говорить о мирной эволюции на схоластических основах. Однако мы также видели, что, когда утвердилось влияние светских интеллектуалов, схоластицизм превратился в пугало. Повсюду, где возникала враждебность к схоластике, возникала и враждебность к Аристотелю. Поскольку аристотелизм являлся оболочкой схоластической мысли, враждебность к аристотелизму превратилась в оболочку враждебности к схоластам.

Существовали даже антисхоластические и антиаристотелевские схоласты, выдающимся примером которых является Гас-

---

<sup>8</sup> Рене Декарт (1596–1650). К нашим целям имеет отношение только его *Essais philosophiques* (1637). Он являлся посредником между средневековой и современной философией и был продуктом иезуитского образования.

сенди.<sup>9</sup> Его математические и физические труды, абсолютно нейтральные сами по себе, приобрели дополнительный критический оттенок благодаря его способам защиты экспериментальных — «эмпирических» или «индуктивных» — методов, а не из-за самой защиты как таковой. В философии он заметил ее (в сущности) Аристотелевы основания по существу эпикурейскими основаниями. Однако мода изображать Аристотеля как олицетворение старого праха и бесплодности возникла, конечно, среди мирских врагов католических схоластов.

Парацельс предавал книги Аристотеля торжественному сожжению перед началом своих лекций по медицине; Галилей в своем знаменитом диалоге о гелиоцентрической системе, который вызвал столько возражений, превратил неподвижного Аристотелева наблюдателя в комическую фигуру; Фрэнсис Бэкон, выступая в защиту «индуктивной» науки, противопоставлял ее и схоластическому, и аристотелевскому теоретизированию.

Все это было несправедливо по отношению к схоластам, но еще более несправедливо по отношению к древнему мудрецу. Ибо если и существует какая-либо сквозная мысль, которую можно найти на страницах его сочинений, то это мысль об эмпирическом исследовании.<sup>10</sup> В науке, так же как и везде, мы сражаемся не за или против людей и вещей, какие они есть на самом

<sup>9</sup> Пьер Гассенди (1592–1655) был философом, математиком и физиком, профессором, имеющим духовный сан, которого, если судить по его трудам, никто не подумал бы исключать из круга схоластов. Но он свернул со своего пути, для того чтобы дистанцироваться от этого круга. Его наиболее важными сочинениями являются: *Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos*. 1624; *Syntagma philosophiae Epicuri*. 1649; см. также: *Brett G. S. (Дж. С. Бретт). The Philosophy of Gassendi*. 1908.

<sup>10</sup> Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, который называл себя Парацельсом (1490–1541), был выдающимся врачом и химиком, хотя и не без элементов шарлатанства. Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — его сочинения под редакцией Спеллинга, Эллиса и Хита (1857–1862), наверное, не нуждаются в представлении. Колоссальный успех его трудов — не столько при его жизни, сколько в эпоху Просвещения и затем в XIX в. — объясняется тем обстоятельством, что он с высочайшим талантом выражал то, во что действительно начинало верить все большее число людей. Он был «репрезентативной фигурой». Но именно поэтому, а также потому, что вследствие этого его фигура столь четко выделяется, сейчас его идеи кажутся гораздо более новыми и гораздо менее связанными с предшествующим развитием, чем они были на самом деле. По этой причине его сочинения внедрились в общественное сознание несуществующее противопоставление индуктивного исследования и схоластики, в которое он, так же как и его современники, был рад верить, судя по всему, вследствие прежде всего крайне слабого знакомства с трудами схоластов. Больше, чем кто-либо другой, он содействовал формированию этого неправильного представления, которое до сих пор вносит искажения в историю мысли.

деле, а за или против тех карикатур, которые мы из них делаем.<sup>11</sup> Вернемся, однако, к классическому периоду — XIII в., для того чтобы обнаружить в нем элементы социологического и экономического анализа.

Мы найдем лишь небольшие зачатки — немного в социологии, еще меньше в экономической науке. Отчасти это, несомненно, объясняется отсутствием интереса. В частности, св. Фома действительно интересовался политической социологией, но все экономические вопросы, вместе взятые, значили для него меньше, чем самое незначительное положение теологической или философской доктрины, и он затрагивает их только там, где экономические явления ставят вопросы моральной теологии. И даже там, где он обращается к этим вопросам, мы не чувствуем, как в других случаях, присутствия его мощного интеллекта, страстно желающего проникнуть в глубь вещей, — он скорее вынужден писать об этом для того, чтобы удовлетворить требованиям полноты системы. В той или иной степени это относится ко всем его современникам.

Соответственно, им было вполне достаточно Аристотелева учения, и едва ли они когда-нибудь выходили за его рамки. Между ними имеется разница в моральном тоне и культурных представлениях, а также в расстановке акцентов, что объясняется различными общественными структурами, которые они наблюдали. Но все это не является столь важным, как можно было бы ожидать. Так как все эти вещи не имеют первостепенного значения в истории экономического анализа, будет достаточно отметить, что схоласты рассматривали физический труд как наказание, благоприятствующее христианской добродетели, и как средство удержать людей от греха, что предполагает позицию, полностью противоположную позиции Аристотеля; что рабство для них уже не являлось нормальным, а тем более фундаментальным институтом; что они приветствовали благотворительность и добровольное нищенство; что их идеал *vita contemplativa* < созерцательной жизни (лат.) >, конечно, заключал в себе смысл, который был совершенно чужд соответствующему жизненному идеалу Аристотеля, хотя между ними и имеется важное сходство; что они разделяли, хотя и в ослабленном виде, точку зрения Аристотеля на торговлю и торговую прибыль.

---

<sup>11</sup> Выдающимися примерами из истории экономической науки являются критика А. Смитом «меркантилистов» и критика Шмоллером английских «классиков». Оба примера будут обсуждаться в дальнейшем.

Хотя все прочие положения относятся к схоластическим доктринам всех времен, последнее справедливо в полной мере лишь для классического периода. После XIII в. произошло важное изменение в отношении схоластов к коммерческой деятельности. Но схоласты XIII в., несомненно, придерживались взглядов, выраженных св. Фомой, а именно что есть «что-то низменное» в коммерции как таковой (*negotiatio secundum se considerata quandam turpitudinem habet* — *Summa* II, 2, *quaest. LXXVII, art. 4*), хотя коммерческий доход может быть оправдан: а) необходимостью обеспечить себе средства к существованию; б) желанием добыть средства для благотворительных целей; в) желанием служить *publicam utilitatem* (общественной пользе) при условии, что барыш будет умеренным и может рассматриваться как вознаграждение за труд (*stipendium laboris*); д) улучшением вещи, которой торгуют; е) межвременными или межтерриториальными различиями в ее стоимости; ф) риском (*propter periculum*). Слова св. Фомы оставляют некоторые сомнения относительно условий, при которых он был готов принять соображения «d» — «f».

Может быть, другие, особенно Дунс Скот (ок. 1266–1308) и схоласт, которого я пока еще не упоминал, — Ричард Миддлтонский (1249–1306), шли несколько дальше, особенно в том, что касалось обоснования общественной полезности покупок на более дешевом рынке и продаж на более дорогом. Однако даже послабления «b» и «с» выходят за рамки Аристотелева учения. Тот упор, который все эти авторы делают на вознаграждении некоторой общественно полезной деятельности, привел, с одной стороны, к, быть может, правильному взгляду, что истоки (морального) «права на продукт собственного труда» могут быть найдены в схоластической литературе. С другой стороны, это привело к ошибочному представлению, что схоласты придерживались аналитической трудовой теории ценности, т. е. что они объясняли феномен ценности тем обстоятельством, что для (большинства) товаров необходимы затраты труда. Пока что читателю достаточно просто обратить внимание на то, что не существует логической связи между простым указанием на моральную или экономическую необходимость вознаграждения за труд (вне зависимости от того, переведем ли мы латинское слово *labor* английским словом «труд», или «деятельность», или «усилия», или «хлопоты») и тем, что с аналитической точки зрения известно как трудовая теория ценности.

Разработанная св. Фомой социология политических и прочих институтов<sup>12</sup> — это не то, что ожидает найти читатель, ко-

<sup>12</sup> Главными источниками наших представлений о политической социологии св. Фомы являются трактат *De regimine principum*, который широко использовался в средние века, и письмо к герцогине Брабантской. Но только часть первого из них можно с уверенностью приписать самому св. Фоме; остальное может принадлежать другому доминиканцу — Птолею из Лукки (ум. в 1327).

торый привык проследивать историю политических и социальных доктрин XIX в. начиная с Локка, или с французского Просвещения, или с английского утилитаризма. Учитывая, что в этом отношении учение св. Фомы не только показательно для своего времени, но и было воспринято всеми схоластами последующих времен, его основные положения следует вкратце отметить. Существовало священное пространство вокруг католической церкви. Но в остальном общество рассматривалось как абсолютно человеческое творение, более того — как простое собрание индивидов, сведенных воедино мирскими заботами. Государство также мыслилось как возникающее и существующее для утилитарных целей, которых индивиды не могут достичь без помощи такой организации. Его *raison d'être* <причина существования (лат.)> заключался в общественном благе. Власть правителя проистекала от людей, как мы сказали бы, путем делегирования. Люди являются суверенными, и недостойного правителя можно заметить. Дунс Скот подошел еще ближе к теории государства, основанной на общественном договоре.<sup>13</sup> Эта смесь социологического анализа и нормативной аргументации удивительно индивидуалистична, утилитаристична и (в некотором смысле) рационалистична, о чем необходимо помнить ввиду того, что мы сделаем попытку связать этот набор идей со светской и антикатолической политической философией XVIII в. В этой части схоластического учения нет ничего метафизического. Богоданные права монархов и особенно представления о всемогущем государстве являются творениями протестантских покровителей абсолютистских тенденций, которые утвердились в национальных государствах.

<sup>13</sup> Эта теория, конечно, не была применима к правлению католической церкви. Когда ее интерпретировал таким образом Марсилиус Падуанский (ок. 1275 — ок. 1343); *Defensor Pacis* (1326), это означало ересь. С нашей точки зрения, напрашиваются два замечания: во-первых, этот случай показывает, как подразумеваемое подчинение церковному авторитету в некоторых вопросах может на практике сочетаться с крайней свободой мысли и действия — в других; во-вторых, становится ясно, почему на вопрос о влиянии церковного авторитета на анализ нельзя ответить однозначно, а необходимо давать ответ отдельно для каждого конкретного рассуждения. Поскольку прояснение этого обстоятельства отнюдь не покажется излишним, давайте в качестве дополнения к предыдущему рассуждению введем тройственное разграничение, которое будет применимо ко всем авторитетам, когда-либо пытавшимся или пытающимся влиять на формирование взглядов. Во-первых, как показывает рассматриваемый случай, существовали вопросы, в которых католическая церковь предписывала определенные взгляды и запрещала анализ, способный привести к любым другим результатам. Во-вторых, во множество вопросов церковь никак не вмешивалась, оставаясь безразличной и к взглядам, и к анализу. В-третьих, существовали вопросы (такие, как процент), в которых она предписывала взгляды, касающиеся моральных оценок, но не запрещала анализ фактов.

Индивидуалистическое и утилитаристское направление, а также упор на рационально воспринимаемое общественное благо проходят через всю социологию св. Фомы. Одного самого важного примера — теории собственности — будет достаточно. Решив теологическую сторону вопроса, св. Фома просто утверждает, что собственность не противоречит естественному праву, но является изобретением человеческого разума,<sup>14</sup> которое может быть основано тем, что люди лучше заботятся о том, что принадлежит лично им, чем о том, что принадлежит многим; тем, что они будут трудиться более напряженно на самих себя, чем на других; тем, что общественный порядок будет лучше сохраняться, если все имущество будет раздельным, так что не будет повода для спора об использовании вещей, находящихся в общем владении. Эти соображения представляют собой попытку определить общественную «функцию» частной собственности в общем так же, как Аристотель определял ее ранее, и во многом так же, как позднее она будет определяться в учебниках XIX в. И так как он обнаружил у Аристотеля все, что хотел сказать, он ссылаясь на него и принимал его формулировки.

Все сказанное еще в большей мере относится к «чистой экономической теории» св. Фомы (*oeconomia* для него, однако, означает просто ведение домашнего хозяйства). Она находилась в эмбриональном состоянии и, в сущности, включала только его рассуждения о «справедливой цене» (*Summa II, 2, quaest. LXXVII, art. 1*) и о проценте (*Summa II, 2, quaest. LXXVIII*). Соответствующая часть рассуждений о справедливой цене — цене, которая обеспечивает коммутативную справедливость, — является строго аристотелевской, и ее следует интерпретировать точно так же, как мы интерпретировали рассуждения Аристотеля. Так же как и Аристотель, св. Фома был далек от того, чтобы предполагать существование метафизической и непреложной «объективной ценности». Его *quantitas valoris* (количество стоимости) — это просто нормальная конкурентная цена. Различие, которое он проводит между ценой и ценностью, не предполагает, что ценность не является ценой; это различие между ценой, которая уплачивается во время индивидуального акта обмена, и ценой, которая «заключает в себе» общественную оценку товара (*justum pretium*

---

<sup>14</sup> *Proprietas possessionum non est contra jus naturale, sed juri naturali superadditur per adinventionem rationis humanae (Summa II, 2, quaest. LXVI, art. 2)*. О значении термина *jus naturale* (естественное право) см. в след. параграфе.

<...> in quadam aestimatione consistit), что может означать лишь нормальную конкурентную цену или ценность в смысле нормальной конкурентной цены, если такая цена существует.<sup>15</sup>

В ситуациях, когда такая цена не существует, св. Фома в рамках своего понятия справедливой цены принимал во внимание элемент субъективной оценки объекта продавцом, но не покупателем — это обстоятельство важно для трактовки процента схоластами. В рассматриваемом отрывке дальше этого он не пошел. Но другие фрагменты, быть может, подтверждают ту точку зрения, что, хотя и неявно, он действительно сделал шаг вперед по сравнению с Аристотелем, шаг, который в явном виде сделали Дунс Скот, Ричард Миддлтонский и, возможно, некоторые другие. Во всяком случае, Дунсу Скоту можно отдать должное за то, что он соотнес справедливую цену с издержками, т. е. с затратами денег и усилий (*expensae et labores*), производителей и торговцев. Хотя, по-видимому, св. Фома не думал ни о чем ином, кроме установления более точного критерия схоластической «коммукативной справедливости», который обоснованно отрицался более поздними схоластами, мы обязаны отдать ему должное за открытие условия конкурентного равновесия, которое в XIX в. стало известно под названием «закона издержек». Это не значит, что мы приписываем ему слишком много: ибо если мы отождествляем справедливую цену товара с его конкурентной общественной ценностью, что, безусловно, делал Дунс Скот, и если мы далее приравниваем эту справедливую цену к издержкам (принимая во внимание риск, как он не преминул отметить), то тогда мы *ipso facto* <тем самым (*лат.*)>, во всяком случае в неявном виде, устанавливаем закон издержек не только как нормативное, но и как аналитическое утверждение.

Следуя Александру из Гэльса и Альберту Великому, св. Фома осуждал процент как противоречащий коммукативной справедливости на основании, которое превратилось в головоломку для практически всех его последователей-схоластов: процент яв-

---

<sup>15</sup> Эту интерпретацию подтверждает также то обстоятельство, что *quaestio*, в котором изложена теория справедливой цены (*quaest. LXXVII* из II, 2), называется *De fraudulentia* («О мошенничестве») и на самом деле в основном рассматривает мошенничества, совершаемые продавцами. Если бы справедливая цена являлась чем-то отличным от нормальной конкурентной цены, то не мошенничество, а иные вопросы были бы более важными. Но если св. Фома размышлял о том, что мы называем нормальной конкурентной ценой, то мошенничество становится главным феноменом, который надо рассмотреть. Ибо если существует конкурентная рыночная цена, то индивидуальные отклонения от нее едва ли возможны, кроме как путем мошеннического изменения количества и качества товаров.

ляется ценой, уплачиваемой за использование денег; но с точки зрения индивидуального владельца деньги потребляются в самом акте их использования; поэтому пользование их, как и вина, не может быть отделено от их вещественной оболочки, что возможно, например, в случае с домом; поэтому брать плату за их использование означает брать плату за нечто несуществующее, а это незаконно (является ростовщичеством). Что бы мы ни думали о приведенном рассуждении, которое помимо прочего не учитывает возможность того, что «чистый» процент может быть элементом цены самих денег, а не платой за их отдельное использование,<sup>16</sup> ясно одно: точно так же, как и несколько иное рассуждение Аристотеля, оно не дает ответа на вопрос, почему же в действительности уплачивается процент. А так как этот вопрос, единственный относящийся к сфере экономического анализа, в действительности был поднят более поздними схоластами, мы пока отложим рассмотрение тех намеков на ответ, которые все же содержатся в рассуждениях св. Фомы.

[с) С XIV по XVII в.]. Последний из трех периодов, на которые мы решили подразделить историю схоластики, простирается от начала XIV в. до первых десятилетий XVII в. Он включает практически всю историю экономической науки схоластов. Но так как мы уже полностью объяснили обстановку создания схоластических трудов и их природу, мы можем позволить себе быть краткими. В частности, не требуется дальнейшего объяснения причин, в силу которых экономическая наука схоластов с легкостью стала рассматривать все явления нарождающегося капитализма, вследствие чего она послужила хорошим основанием для аналитических трудов последователей, не исключая и А. Смита.

Чтобы быть максимально кратким, я упомяну только небольшое число достаточно характерных имен, а затем попытаюсь дать систематический обзор состояния схоластической экономической науки в 1600 г., каким я его себе представляю. Для иных целей, конечно, должны быть упомянуты иные имена; мы искусственным образом сужаем очень широкое и глубокое течение.

---

<sup>16</sup> Причина, из-за которой св. Фома не рассмотрел эту возможность, очевидно, заключалась в его чрезмерном доверии утверждению, гласящему, что цена любого товара, выбираемого мерой ценности, по определению равна единице. Отталкиваясь от этого в своих рассуждениях, мы легко можем прийти к выводу, что любая «чистая» надбавка не может быть ничем иным, кроме как мошенническим вознаграждением за несуществующее использование, так как цена «субстанции», или «капитала», должна неизбежно равняться самому капиталу.

В качестве представителей XIV в. мы выбираем Буридана и Орезма.<sup>17</sup> Трактат о деньгах последнего обычно считается первым трактатом, полностью посвященным экономической проблеме. Но по своей природе он в основном юридический и политический и, по сути дела, содержит мало чисто экономического материала, в частности ничего отсутствовавшего в учениях других схоластов того времени. Его основная цель заключалась в борьбе с распространенной практикой уменьшения содержания золота в монетах — этот вопрос рассматривался позднее в обширной литературе, которую сейчас мы лишь коротко упомянем. Нашими представителями в XV в. будут св. Антонин Флорентийский, по-видимому первый человек, которому можно приписать всестороннее представление об экономическом процессе во всех его основных аспектах, и Биль.<sup>18</sup> В XVI в. мы выбрали Меркадо и в качестве представителей литературы о «Справед-

<sup>17</sup> Иоанн Буридан (Жан Буридан, ок. 1300—ок. 1358) — профессор университета в Париже. Из многих его сочинений, которые все написаны в Аристотелевых рамках, наиболее важными являются: *Quaestiones in decem libros Ethicorum Aristotelis* и *Quaestiones super octo libros Politicorum Aristotelis*.

Его теория волевого акта (*Summula de Dialectica*, 1487; *Compendium Logicae*, 1487) привела к известному парадоксу логики выбора, который иллюстрируется абсолютно рациональным ослом, голодающим между двумя одинаково привлекательными пучками сена из-за того, что он не может решить, какой из них съесть первым. Николай Орезм (ок. 1323–1382), епископ Лизьё, был человеком широких интересов в области истории; в своих трудах он рассматривал также вопросы теологии, математики и астрономии. Рассматриваемая работа *Tractatus de origine et jure pec nor et de mutationibus monetarum* была написана между 1350 и 1360 гг. Отрывок из нее включен в сборник *Early Economic Thought Монро* (р. 79–102). После огромного успеха в свое время она, похоже, была предана забвению. Известность возвратилась к ней благодаря работам: *Meunier F. Essai sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme*. 1897, и особенно: *Roscher W. Ein grosser Nationalökonom des vierzehnten Jahrhunderts//Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1863. Рошер выше разумных пределов превозносил ее достоинства и особенно ее оригинальность, что характерно для тех, кто открывает забытых героев, что, естественно, привлекло внимание. Существует обширная литература. Выделим только: *Conigliani C. A. Le dottrine monetarie in Francia durante il medio evo*. 1890.

<sup>18</sup> Св. Антонин (Антонио Пьероцци, также звавшийся Форчильони; 1389–1459), архиепископ Флорентийский, автор *Summa Theologica* и *Summa Moralis*. См.: *Jarrett B. S. Antonino and Mediaeval Economics*. 1914. Габриэль Биль (ок. 1418–1495), профессор университета в Тюбингене, — еще одно открытие Рошера (см.: *Roscher W. Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland*. 1874). Однако его (Билья) *Tractatus de potestate et utilitate monetarum* (1541) не содержит ничего такого, чего нельзя найти у более ранних авторов. Я не могу понять, почему его следует называть последним из схоластов, но упоминаю именно его имя, потому что обращение к его работам оказывается особенно эффективным в уничтожении предубеждений, относящихся к духу схоластики. На самом деле, судя по цитатам в более поздней схоластической литературе, более значительным кажется Панормитаний (Николай деи Тедески, или Тудески, архиепископ Палермский, 1386–1445).

ливости и праве» (*De justitia et jure*), которая в XVI в. превратилась в основноеместилище экономического материала схоластов, трех великих иезуитов, труды которых были недавно проанализированы профессором Демпси, — Лессия, Молину и де Луго.<sup>19</sup>

О социологии поздних схоластов следует сказать только, что они разрабатывали с большими деталями и с более полным представлением о логических следствиях те идеи, которые кристаллизовались в трудах их предшественников в XIII в. В частности, их политическая социология унаследовала те же принципы подхода к феноменам государства и правительства и тот же «радикальный» дух.<sup>20</sup> Их экономическая социология, особенно их теория собственности, продолжала рассматривать гражданские институты как утилитарные механизмы, которые должны быть объяснены или «обоснованы» общественной целесообразностью, выражаемой в категории «общественное благо». И эта общественная целесообразность могла в зависимости от исторических обстоятельств иногда говорить в пользу, а иногда против частной собственности. Они, несомненно, верили в то, что в цивилизованных обществах, т. е. в обществах, которые уже прошли через раннее или естественное состояние, в котором все имущество являлось общим для всех (*omnia omnibus sunt communia*),

<sup>19</sup> Этот выбор был нелегким, и он может вызвать справедливые возражения против исключения таких людей, как Иоанн Майор (*John Major*, ум. 1549) [см. комментарии Эшли в *Economic History*, I. ч. II], Наваррий (*Мартинус де Аспилькуэта*, ум. 1586); Доминго де Сото (*De justitia et jure*, 1553) и Газтаний (кардинал Газтан, Томмазо де Вио, 1468–1534), которых нам придется упомянуть, и др. Тома де Меркадо, автор *De los tratos de India y tratantes en ellas* (1569; расширенное издание 1571 г. является единственным известным мне под названием *Summa de tratos y conratos*), был включен только из-за его «количественной теории денег» и не может быть поставлен на одну ступень с Лессием, Молиной и де Луго ни в каких иных отношениях. Но я абсолютно уверен в том, что последние трое должны включаться в любую историю экономической науки, хотя у нас имелся дополнительный мотив, чтобы их выбрать, — книга профессора Демпси (*Dempsey B. W. Interest and Usury*. 1943. Ch. VI–VIII) содержит полное изложение их экономических теорий; в этой книге на исключительно высоком уровне соединяются глубокое знание схоластической мысли и экономической теории, так что можно с уверенностью отослать к ней заинтересованного читателя. Лессий (Леонард де Лейс, 1554–1623), Луи Молина (1535–1600) и де Луго (Хуан де Луго, 1583–1660) писали сочинения *de justitia et jure* «о справедливости и праве (*лат.*)». Нашим главным проводником будет Молина. Его сочинение выходило по частям в 1593, 1597 и после 1600 г.

<sup>20</sup> Все сомнения на этот счет могут быть развеяны одной ссылкой: *Mariana Juan. de. De rege et regis institutione*, 1599. Но даже схоласты, которые на заходили так далеко, никогда не трепетали перед престолом абсолютных монархов или всемогущих бюрократий (см., например: *Molina. Tractatus secundus*, disp. 22 и 26). Поэтому схоластов, следовавших своей ранней традиции, можно считать наиболее значительными «монархборцами» XVI в. О них см.: *Alien J. W. History of Political Thought in the Sixteenth Century*. 1928.

целесообразна частная собственность (*divisio rerum*); но не существовало ни теоретического, ни морального принципа, который не позволял бы им прийти к противоположному выводу там, где к этому подталкивают новые факты.<sup>21</sup> В следующем разделе мы остановимся на некоторых методологических аспектах этого вопроса. Но необходимо коротко упомянуть другое обстоятельство.

Проблемы национальных государств и их «силовой» политики не являлись предметом первостепенного интереса схоластов. Именно это оказывается одним из важнейших связующих звеньев между ними и «либералами» XVIII и даже XIX в. Но некоторые явления, которые сопровождали возникновение этих государств, тем не менее привлекали их критическое внимание, и среди них — бюджетная политика. Я упоминаю об этом здесь, а не в связи с их экономической наукой, потому что они едва ли вдавались в собственно экономические проблемы государственных финансов, такие как налоговое бремя, экономические последствия государственных расходов и т. п. Даже когда они осуждали (и, следуя примеру св. Фомы, в основном осуждали) государственные займы или вопрос об относительных преимуществах налогов на богатство и налогов на потребление (среди прочих этот вопрос затрагивали Молина, Лессий и де Луго), они не создавали ничего такого, что можно было бы считать экономическим анализом. Их в основном интересовала «справедливость» налогообложения в самом широком смысле этого слова — такие вопросы, как правомерно ли вообще обложение налогом, когда оно правомерно, кем оно должно осуществляться и на кого распространяться, для каких целей и в каком размере. За их нормативными предположениями стоял некий социологический анализ природы налогообложения и отношений между государством и гражданами. И эти нормы, и этот анализ наряду со всей остальной их политической и экономической социологией вошли в труды их мирских последователей, хотя в дальнейшей науке о государственных финансах развивалась преимущественно на основе других источников.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Читатель найдет очень характерную цитату из Лессия в книге Демпси *Interest and Usury* (p. 132). Из этого, конечно, не следует, что если бы Лессий был сегодня жив, то он стал бы политическим сторонником коммунизма. Главное состоит в том, что с точки зрения логики он был бы свободен сделать вывод, что частная собственность более не удовлетворяет требованиям общественной целесообразности, а экономический коммунизм — удовлетворяет.

<sup>22</sup> Необходимо, однако, отметить то обстоятельство, что Николай Кузанский (уже упоминавшийся в связи с гелиоцентрической теорией) разработал всеобъемлющий проект финансовой реформы в Германской империи, основанный на общем подоходном налоге (который был в действительности введен в империи в отличие от составляющих ее государств в 1920 г.)

Но если экономическая социология схоластов этого периода являлась по существу не более чем учением XIII в., разработанным более полно, то «чистая» экономическая теория, которую они также передали своим светским последователям, практически целиком была их собственным детищем. Именно внутри их систем моральной теологии и права экономическая наука достигла вполне определенного, если не самостоятельного, существования; и именно они ближе, чем любая другая группа, подошли к тому, чтобы стать «основателями» экономической науки. Но дело не только в этом: со временем выяснится, что те основания, которые они заложили для создания совокупности удобных и взаимосвязанных аналитических инструментов и утверждений, были более здоровыми, чем множество последующих трудов, в том смысле, что значительная часть экономической науки конца XIX в. могла бы развиваться от этих оснований быстрее и с меньшими трудностями, чем это ей стоило в действительности, и, таким образом, часть последующих трудов оказалась по своей природе окольным путем, отнимающим силы и время.

В том, что может быть названо прикладной экономической наукой схоластов, ключевым понятием являлось все то же «общественное благо», которое занимало главное место в их экономической социологии. В чисто утилитарном духе предполагалась связь этого общественного блага с удовлетворением экономических потребностей индивидов, как они воспринимаются разумом наблюдателя или *ratio recta* (см. след. параграф). Оставляя в стороне технику анализа, можно утверждать, что оно являлось в точности тем же, чем является понятие благосостояния в современной экономической теории благосостояния, например в теории профессора Пигу. Наиболее важным связующим звеном между последней и экономической теорией благосостояния схоластов является экономическая теория благосостояния итальянских экономистов XVIII в. (см. главу 3). В том, что касается оценки экономической политики и деловой практики, представление схоластов о «несправедливом» было связано (хотя никогда не отождествлялось) с их представлением о том, что противоречит общественному благосостоянию в этом смысле. Вот один пример: Молина заявлял, что монополия в общем случае (*regulariter*) является несправедливой и наносит ущерб общественному благосостоянию (*Tract. II, disp. 345*); хотя он не отождествлял эти два понятия, их соседство знаменательно.

Экономическая теория благосостояния схоластов была связана с их «чистой» экономической теорией и через центральное понятие последней — ценность, которая также основывалась на

«потребностях и их удовлетворении». Конечно, в этой отправной точке не было ничего нового. Но проведенное Аристотелем различие между потребительной и меновой ценностью было углублено и развито во фрагментарную, но оригинальную субъективную, или полезностную, теорию меновой ценности, или цены, аналогов которой нельзя найти ни у Аристотеля, ни у св. Фомы, хотя у обоих содержатся определенные намеки. Во-первых, критикуя Дунса Скота и его последователей, поздние схоласты, в особенности Молина, четко установили, что, хотя издержки являются фактором, участвующим в определении меновой ценности (или цены), они не являются ее логическим источником, или «причиной».<sup>23</sup> Во-вторых, с безошибочной ясностью они наметили контуры теории полезности, которую считали источником, или «причиной», ценности. Например, Молина и де Луго не менее аккуратно, чем К. Менгер, отмечали, что полезность не является свойством благ как таковых и не совпадает с каким-либо из внутренне присущих им качеств; она служит отражением того, каким образом наблюдаемый индивид собирается употребить эти блага и насколько важными он считает эти способы употребления. Но за столетие до них св. Антонин Флорентийский, очевидно стремясь разоблачить понятие нежелательных «объективных» значений, использовал не классический, но великолепный термин *complacibilitas* — точный эквивалент термина профессора И. Фишера «желаемость», который также применяется для выражения того обстоятельства, что некоторую вещь действительно желают иметь, и ничего больше.

В-третьих, поздние схоласты хотя и не разрешили парадокс ценности в явном виде (вода, хотя и полезна, обычно не обладает меновой ценностью), но облегчили затруднение тем, что с самого начала поставили свое понятие полезности в зависимость от изобилия или редкости; их полезность не была полезностью благ, рассматриваемых абстрактно, но полезностью определенных количеств благ, которые доступны или могут быть произведены

<sup>23</sup> Я думаю, что это утверждение хорошо передает смысл рассуждений Молины (Tract. II, disp. 348), если уделить должное внимание аналитическому ядру понятия «справедливый». Сторонниками трудовой теории ценности их можно считать еще в меньшей мере, чем приверженцами теории ценности, основывающейся на издержках производства, хотя существовало и такое мнение. Мы увидим в дальнейшем, что эмоциональная притягательность трудовой теории ценности побудила некоторых историков интерпретировать в этом смысле многих авторов. Поэтому необходимо иметь в виду, что само по себе подчеркивание важности в экономическом процессе элемента труда, или усилий, или неприятностей не равнозначно поддержке утверждения, что затраты труда объясняют ценность или являются ее причиной, — а именно это называется трудовой теорией ценности в данной книге.

в конкретном положении индивида. Наконец, в-четвертых, они перечислили все факторы, определяющие цену,<sup>24</sup> хотя им и не удалось объединить их в полнокровную теорию спроса и предложения. Но элементы, необходимые для создания такой теории, были налицо, и единственное, что к ним надо было добавить, — это технический аппарат функций и предельных величин, который был развит в XIX в.

Существуют еще два достойных упоминания аспекта этой теории меновой ценности. С одной стороны, поздние схоласты отождествляли свою справедливую цену не с нормальной конкурентной ценой, как, судя по всему, это делали Аристотель и Дунс Скот, а с любой конкурентной ценой (*communis estimatio fori* или *pretium currens*). Где бы ни существовала такая цена, и платить, и получать в соответствии с ней было «справедливо» независимо от последствий для участников сделки. Если купцы, уплачивая и получая рыночную цену, обеспечивали себе прибыль, это было правильно, а если они терпели убытки, это рассматривалось как неудача или как наказание за некомпетентность, *если только прибыль или убытки являлись результатом свободного функционирования рыночного механизма, а не возникали, например, из-за фиксации цен государственной властью или монополистическими предприятиями.*<sup>25</sup>

Неодобрение Молиной фиксации цен, хотя и сопровождаемое оговорками, и его одобрение высоких конкурентных цен в периоды скудости, несомненно, являются этическими суждениями. Но они обнаруживают понимание органических функций торговой прибыли и колебаний цен, которые ее обуславливают; данное обстоятельство свидетельствует о значительном продвижении в анализе. Это необходимо иметь в виду, ибо, как правило, нам непривычно видеть у схоластов истоки тех теорий, которые ассоциируются с *laissez-faire* — либерализмом XIX в.

С другой стороны, поздние схоласты анализировали саму экономическую деятельность, — *industria* св. Антонина Флорентийского, — в особенности торговую и спекулятивную, с позиций, которые были диаметрально противоположны позициям Аристотеля. «Экономический человек» позднейших времен возник из понятия «расчетливый экономический разум» (*prudent economic reason*) — томистского выражения, которое приобрело совершенно не томистский смысл в интерпретации де Луго, который под расчетливостью понимал намерение извлекать денеж-

<sup>24</sup> Особенно см. отрывок из Лессия. Цит. по: *Dempsey B. W. Interest and Usury*. P. 151

<sup>25</sup> См., например: *Molina. Tract. II, disp. 348, 364.*

ную выгоду всеми законными путями. Это не означало морального оправдания погони за прибылью. Можно считать, что в этом отношении чувства де Луго или какого-либо другого схоласта не отличались от чувств Аристотеля; св. Антонин, например, выражался очень определенно по этому поводу. Но это свидетельствовало о совершенствовании экономического анализа явлений делового мира, что, конечно, отчасти было обусловлено наблюдением феномена восходящего капитализма. Необходимо особо отметить реалистический характер трудов поздних схоластов. Они не просто рассуждали. Они занимались собиранием фактов в той мере, в какой это было возможно в эпоху отсутствия статистических служб. Их обобщения неизменно основывались на обсуждении фактического материала и обильно иллюстрировались практическими примерами. Лессий описывал функционирование биржи (*bursa*) в Антверпене. Молина покидал свой кабинет, чтобы расспросить деловых людей об их методах работы. Некоторые из его исследований экономического положения страны того времени, такие как изучение торговли шерстью в Испании, достигали размеров небольшой монографии.

Что касается денег, достаточно отметить следующие четыре момента. Во-первых, продолжая линию рассуждений Аристотеля, схоласты выдвигали строго металлистическую теорию денег, которая в своих основах не отличалась от теории А. Смита; мы обнаруживаем то же самое генетическое или псевдоисторическое дедуцирование, отталкивающееся от необходимости избежать неудобств прямого бартера, то же представление о деньгах как о наиболее продаваемом товаре и т. д. Во-вторых, они были металлистами не только в теории, но и на практике, с различной степенью суровости не одобряя порчу монеты и любой доход, который извлекали из этого короли. Как отмечалось выше, Орезм, выдающийся авторитет в этом вопросе, только сформулировал общее мнение схоластов, которое в данном случае разделялось, по-видимому, большинством.<sup>26</sup> Современный исследователь денеж-

<sup>26</sup> «*Quod lucrum quod provenit Principi ex mutatione monetae sit injustum*» (*Oresme*. Op. cit. Ch. XV). Ср. заповедь Жана Бодена в шестой книге его *De republica* (*Les six livres de la Republique*): *princeps a nummorum corruptela debet abstinere*. Это изречение и похожие на него звучат среди широкого хора голосов, протестующих против государственных злоупотреблений, приводивших к почти непрерывным расстройством денежного обращения. Но некоторые из авторов, присоединявшихся к этому хору, не были сторонниками теории металлизма. Можно привести в пример Франсуа Гримодэ (*Des Monnoyes*. 1576), который хотя и настаивал на том, что номинальная стоимость монеты не должна превышать стоимость материала кроме как на *frais de façon et quelque petit profit* (издержки изготовления и некоторую небольшую прибыль), однако

ной теории, у которого могут вызвать симпатию эти князья и который может захотеть считать их достойными предшественниками современных правительств, должен отметить, что схоласты лишь немного продвинулись в анализе экономических последствий девальвации. Они видели ее воздействие на цены и чувствовали, что владельцы денег и кредиторы ощущали себя обманутыми, но это было практически все. Даже в этих вопросах их анализ не выходил за пределы очевидного, и представление о том, что девальвация и другие методы увеличения количества обращающихся денежных единиц могут стимулировать торговлю и занятость, было им совершенно чуждо; впервые это пришло в голову тем деловым людям, которые писали о денежной политике в XVII в. (см. главу 6). Так как эта идея совершенно не дошла до английских классиков XIX в., мы имеем здесь еще

в явном виде утверждал, что «сущность денег» заключается в этой номинальной ценности *et non en la matière* (а не в их материи). В целом я считаю, что *valor impositus* следует переводить как номинальную ценность, *valor intrinsecus* — как ценность денежного материала и *valor extrinsecus* — как покупательную способность (которую, однако, также называли *potestas*). *Quantitas* также означает номинальную ценность, а не количество. Обесценение обозначается *mutatio, corruptela* или *augmentum*. Последний термин соответствует английскому употреблению в XVI и XVII вв. (и даже в более поздние времена), когда «привлечение» (букв. «поднятие») денег («*raising*» of money) означало порчу монеты или обесценение.

В этом большом хоре протестующих голосов я не могу услышать ни одной ноты, которую стоило бы записать. Однако упомяну имена нескольких авторов (не все из них были схоластами), которые, по-видимому, завоевали значительную репутацию в свое время: С. А. *Thesaurus* (К. А. *Тезаурус*). *Tractatus Novus et utilis de augmento ac variatione monetarum*. 1607) и М. *Freher* (М. *Фреер*) (*De re monetaria*, 1605) обнаруживают некоторые следы различия между девальвацией и обесценением, и на этом основании им может быть отведено особое место. Также участвовали в обсуждении этого вопроса (среди многих прочих схоластов и мирян): Рене Будель, Иоанн Аквила, Мартин Гарраций, Франциск Курций, Иоанн Регнандий, Иоахим Минзингер, Дидакус (Диего) Коваррувий (знаменитый юрист), Хенрик Хорманий, Франциск де Арцею, Иоанн Кафалий. Между ними имеются некоторые различия (объясняемые отчасти тем, что они имели в виду разные ситуации) в решении проблемы возмещения долга, если сделка была заключена в деньгах, золотое содержание которых впоследствии уменьшилось. Именно это интересовало общественность, и этим объясняется непрекращающийся поток публикаций такого типа. Но ответы сводились к ловким приемам и не представляют для нас интереса. Однако следует добавить еще одного автора, так как его рассуждение о ростовщичестве обеспечило ему одно из тех мест в истории экономической науки, которое остается постоянно занято только по той причине, что никто не удосуживается пересмотреть претензии занимающего его лица. Шарль Дюмулен (Карл Молиней, 1500–1566) был французским юристом, обладающим определенной репутацией. Его сочинение *Tractatus commerciorum et usurarum redituumque pecunia constitutorum et monetarum* (я пользовался первым изданием 1546 г.) принесло ему большой успех и международную репутацию. В нем, однако, не содержится ничего такого, что можно было бы рассматривать как вклад в экономический анализ.

один любопытный пример близости, которая существует между доктринами Дж. Ст. Милля и отца Молины. В-третьих, для дальнейшего необходимо отметить, что некоторые схоласты, среди которых наиболее значителен Меркадо, начертили более или менее ясные контуры того, что впоследствии получило название количественной теории денег, во всяком случае в том смысле, в каком ее придерживался Боден. И в-четвертых, они занимались некоторыми проблемами чеканки монет,<sup>27</sup> валютного обмена, международных потоков золота и серебра, биметаллизма и кредита, причем их работы заслуживают большего внимания и по некоторым пунктам допускают благоприятное для них сравнение с гораздо более поздними результатами.

Вопреки точке зрения, имеющей некоторых сторонников, схоласты не разработали никакой теории физической стороны процесса производства («действительного капитала»), хотя в конце концов они наметили (со времен св. Антонина) теорию о роли денежного капитала в производстве и торговле. Не было у них и общей теории распределения, т. е. они не смогли приложить свои начальные разработки аппарата спроса и предложения к процессу формирования доходов в целом. Более того, земельная рента и заработная плата еще не превратились для них в аналитические проблемы. В случае с рентой это, по-видимому, объяснялось тем, что если фермеры сами обрабатывают свою землю, то рентный элемент не так явно обнаруживает свои отличительные черты, и тем, что во времена схоластов рентные платежи землевладельцам были так перемешаны с платежами иной природы, что экономическая рента, по традиции фиксированная, не в достаточной мере обнаруживала себя даже в этом случае. Что касается заработной платы, то схоласты тоже не задавались теоретическими вопросами; по-видимому, они считали, что никому не надо объяснять, за что платится заработная плата. Они предлагали моральные суждения и рекомендации в области политики. Однако даже рекомендации св. Антонина, заслуживающие внимания из-за широких общественных симпатий автора, не покоились ни на каком аналитическом фундаменте, который нас интересует. То же самое относится к обширной литературе об облегчении участи бедных, безработице, нищенстве и т. п., которая появилась в XVI в. и обильный вклад в которую внесли схоласты.<sup>28</sup> Гораздо более важным был вклад схо-

<sup>27</sup> Величие Коперника в других областях оправдывает особое упоминание его *Monetae cudendae ratio* (1526).

<sup>28</sup> Примерами такого типа сочинений схоластов служат: *De Soto. Deliberacion en la causa de los pobres*. 1545; *Medina Juan. de. De la orden que <...> se ha puesta en la limosna...* 1545. Этот вопрос будет коротко упомянут еще раз (см. главу 5).

ластов в теорию тех двух типов доходов, которые, как они считали, и создают аналитические проблемы, — в теорию предпринимательской прибыли и процента. Им, бесспорно, принадлежит теория, связывающая прибыль с риском и усилиями предпринимателей. В частности, можно отметить, что де Луго, следуя предложению св. Фомы, описывал предпринимательскую прибыль как «разновидность заработной платы» за общественные услуги. Столь же несомненно, что с них началась теория процента.

До сих пор в нашем обзоре экономической науки схоластов не уделялось особого внимания ее методологии, которая будет обсуждаться в следующем разделе, а также логическим процедурам, необходимым для того, чтобы выделить аналитический элемент в рассуждениях схоластов из тех нормативных соображений, в которых он содержится. Для того чтобы продемонстрировать эти процедуры и показать, каким именно образом они догадались задать вопрос, который никто до них не задавал, а именно вопрос о том, почему вообще выплачивается процент, мы будем осуществлять это выделение максимально четко.

Мотивом схоластического анализа являлось, очевидно, не чисто научное любопытство, а желание понять то, о чем следовало вынести суждения с точки зрения морали.<sup>29</sup> Когда современный экономист говорит о «ценностных суждениях», он имеет в виду оценку институтов с позиций морали или культуры. Как мы видели, схоласты также высказывали ценностные суждения этого типа. Однако с точки зрения стоявших перед ними практических задач, их в первую очередь интересовали не положительные и отрицательные стороны институтов, а положительные и отрицательные стороны человеческого поведения внутри рамок данных институтов и в данных условиях. Они в первую очередь направляли

---

<sup>29</sup> С точки зрения наших целей история законодательства о проценте, исходящего как от светской, так и от духовной власти, не представляет особой важности. Более того, читатель найдет в *Encyclopedia of the Social Sciences* или в *Palgrave's Dictionary* все, что ему необходимо для общей ориентации. Тем не менее несколько фактов о политике католической церкви могут оказаться здесь вполне уместными. Во времена Римской империи католическая церковь, невзирая на Аристотеля и св. Луку, очень осторожно обращалась с процентом. Никейский собор (325 г.) не пошел дальше адресованного духовенству запрещения брать процент, хотя было высказано и общее неодобрение. Решающий шаг, который включал также провозглашение недействительным светское законодательство, утверждавшее противное (св. Фома был другого мнения), не предпринимался до 1311 г. С тех пор запрещение подтверждалось несколько раз и поныне остается в силе. Но, как будет объяснено ниже, его практическое значение снижалось параллельно с уменьшением значения случаев, которые под него попадали. В конце концов на это было обращено некоторое внимание в энциклике *Vix pervenit* (1745). В 1938 г. циркуляр предписывал исповедникам не наказывать кающихся, если они взимали процент по текущим ставкам.

индивидуальную совесть или, скорее, учили тех, кто ее направлял. Они писали для многих целей, но в основном для наставления исповедников. Поэтому в первую очередь они должны были разъяснить моральные правила, которые были в принципе непреложны. Кроме того, они должны были обучить тому, как применять эти правила к отдельным случаям, возникающим в почти бесконечном разнообразии обстоятельств.<sup>30</sup> Но этого было недостаточно. Для того чтобы достичь хоть какого-то единообразия в практике множества исповедников, они должны были выработать конкретные решения для наиболее важных типов случаев, встречающихся на практике. Более того, когда принимается решение о том, является ли данное действие данного индивида грехом, и если да, то насколько серьезным грехом, одно из наиболее полезных действий заключается в том, чтобы выяснить, является ли это действие общепринятым в среде, окружающей данного индивида. Обе эти причины вынуждали схоластов изучать типичные формы экономического поведения и реальную практику, преобладающую в той среде, которую они изучали; эта задача зачастую была настолько простой, что не требовала специальных усилий, но оказалась чрезвычайно трудной, когда пришлось столкнуться с таким сложным явлением, как процент.

Таким образом, нормативный мотив, который так часто оказывается врагом спокойной аналитической работы, в данном случае и поставил задачу, и снабдил схоластического аналитика методом. Будучи поставленной, задача была строго научной и логически независимой от моральной теологии, чьим целям она должна была служить. И метод тоже был строго научным, в частности глубоко реалистичным, так как не включал ничего, кроме наблюдения за фактами и их интерпретации: это был метод выведения общих принципов из отдельных случаев, в чем-то похожий на метод английской юриспруденции. Только после завершения аналитической работы в каждом случае моральная теология включала полученный результат в одно из своих правил.

Однако неудивительно, что для враждебно настроенных критиков схоластические исследования в области процента представляются не только «казуистикой» в уничижительном смысле этого слова, но и серией попыток прикрыть отступление католической церкви от позиции, которую невозможно защитить при помощи логических трюков и уверток и оправдать *ex post* каждый *fait accompli* (свершившийся факт). Читатель может сам судить об этом.

Стоит, однако, указать на еще одно обстоятельство, которое, как кажется, поддерживает нашу точку зрения. С одной

---

<sup>30</sup> Теорию этого предлагал, например, св. Фома (*Summa II, 1, quaest. 7*). В том, что касается моральной теологии, основные ссылки последующего изложения относятся к произведению св. Альфонсо де Лигуори (1696–1787) *Theologia moralis* — см. англ. изд. *Works* (1887–1895).

стороны, какими бы непреложными ни были моральные правила, они дают различные результаты, если их применять в различных обстоятельствах; и эволюция капитализма действительно создала обстоятельства, в которых быстро уменьшалась важность случаев, подпадавших под запрещение ростовщичества.

С другой стороны, такая эволюция будет неизбежно сопровождаться увертками заинтересованных сторон, которые будут использовать все возможности, предоставляемые все более усложняющейся системой правил и исключений; наверное, наиболее знаменитой из этих уверток было неправильное использование элемента *mora*, который вскоре будет упомянут в тексте, но существовало и множество других. Этот параллелизм не может не произвести впечатление на неглубокого наблюдателя, особенно если он не слишком хорошо знаком со схоластической литературой или с экономической теорией. Более того, мы говорим о схоластическом учении в его наивысшей точке. Конечно, нельзя отрицать, что обычные клерикальные практики, как и любая другая бюрократия, совершили множество ошибок и способствовали уверткам как путем неразумно ограничительной интерпретации правил, которые им поручалось применять, так и путем попустительства уверткам.

Таким образом, занятие ростовщичеством было греховным. Но что такое ростовщичество? С одной стороны, оно совершенно не обязательно предполагает эксплуатацию нуждающихся: этот элемент является важным в моральном отношении в других вопросах, но он не был конституирующим в схоластическом понятии ростовщичества. С другой стороны, отнюдь не в каждом случае, когда оговоренное возмещение превосходит объем ссуды, имеет место ростовщичество: простого толкования учения св. Фомы достаточно, чтобы оправдать компенсацию за риск и хлопоты кредитора (это особенно очевидно при покупке ценных бумаг ниже паритета) или компенсацию в тех случаях, когда кредитор лишается денег против своей воли (например, в случаях принудительных ссуд или если должник не возвращает деньги в оговоренное время — *more debitoris*). В томистском учении даже содержалось основание для утверждения Молины о том, что так как лицо, дающее займы любой товар, в любом случае должно получить его полную стоимость на момент выдачи займа, то может потребоваться больше единиц товара для возмещения, чем было выдано (*esto plus in quantitate sit accipiendum*); однако, насколько мне известно, это утверждение не было применено к денежным ссудам. Из всех этих случаев был выведен принцип, что плату следует считать нормальной или непредосудительной, если кредитор терпит какие-либо убытки (*damnum emergens*).

Некоторые схоласты утверждали, что, отдавая временно свои деньги, кредитор всегда и неизбежно терпит такие убытки. Но большинство из них отказывалось принять такую точку зрения. Большинство не признавало также, что тот доход, которого лишается кредитор, давая ссуду (*lucrum cessans*), сам по себе является основанием для взимания платы. Они, однако, признавали, что, как бы мы сейчас сказали, неполученный доход (*gain foregone*) превращается в действительную потерю, если возможность получения такого дохода является частью нормальной среды, окружающей данного человека. Это имело двойное значение. Во-первых, если купцы держат деньги для деловых целей и оценивают эти деньги в соответствии с ожидаемыми доходами, то взимание процента непосредственно по ссудам и в случае отсрочки платежа по товарам считалось оправданным. Во-вторых, если возможность получения дохода, обусловленного владением деньгами, распространена достаточно широко, или, иными словами, если существует денежный рынок, любой человек, даже не подвизающийся на деловом поприще, может получать процент, определяемый рыночным механизмом. С этим положением надо было обращаться осторожно, так как оно, видимо, открывало путь для всевозможных уверток. Но оно представляло собой не более чем частный случай принципа, гласящего, что всякий человек по справедливости может уплачивать и запрашивать текущую цену всего чего угодно, и оно не было изобретено *ad hoc*; если оно не было заметно в XIII в. и было очень заметно в XVI в., то это просто объясняется тем обстоятельством, что в одном веке денежные рынки встречались редко, а в другом — получили широкое распространение.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Это, конечно, весьма несовершенный рассказ о развитии доктрины. Из-за нехватки места невозможно дать более подробное изложение; заинтересованный читатель может обнаружить его в книге профессора Демпси. См. также работу А. М. Кноля: *Knoll A. M. Der Zins in der Scholastik*. 1933. Но следует отметить одно неоднократно обсуждавшееся логическое построение, связанное с именем знаменитого доктора Эка (1486–1543) и поддержанное Наваррием и Майором, — тройной контракт (*contractus trinus*). Конечно, позволительно вступать в партнерство и извлекать из этого доход. Ничто не запрещает партнеру в деловом предприятии страховать свой капитал от потерь; значит, он может также делать это применительно к своим партнерам, причем в этом случае цена страховки будет равна сокращению его доли в прибыли. Наконец, он может законным образом преобразовать эту сокращенную долю в изменчивых прибылях в постоянный аннуитет, который будет представлять собой «чистый» процент. Это построение представляет интерес с аналитической точки зрения, так как оно весьма поучительным образом обнаруживает связь между процентом и деловой прибылью. Однако его справедливо осуждали как защиту ростовщичества. Действительно, если мы принимаем аргумент, что рассматриваемый партнер располагает альтернативными деловыми возможностями,

Обратите внимание, что, как только альтернативные возможности получения дохода становятся доступными всем, аргумент, основывающийся на неполученном доходе, начинает совпадать с аргументом, основывающимся на «лишении»: в этом случае неполученный доход в точности совпадает с «лишением». Обратите также внимание, что во всех упомянутых случаях оправдание основывается на обстоятельствах, которые, сколь бы часто и повсеместно они ни встречались в данной среде, с логической точки зрения являются побочными по отношению к чистой кредитной сделке (*mutuum*), никогда не служившей оправданием процента. Наконец, обратите внимание и на то, что оправдание никогда или практически никогда не основывалось на тех выгодах, которые может извлечь из ссуды заемщик; оно основывалось исключительно на тех неудобствах, которые доставляло отчуждение денег в ссуду кредитору.

Теперь, отбросив нормативную оболочку схоластического анализа процента и моральные доктрины, служившие побудительной причиной исследований схоластов, мы можем переформулировать выявленные этими исследованиями причинные теории, принимая во внимание то обстоятельство, что картина не может быть вполне удовлетворительной, ибо среди схоластов было не больше согласия в вопросах теории процента, чем у нас.

I. Хотя процент и объясняется в рамках более общей модели отчуждения в ссуду «потребляемых благ» (*consumptibles*), он по существу является денежным феноменом. В этом нет аналитической заслуги. Схоласты просто учли лежащий на поверхности факт точно так же, как это сделал Аристотель. Иногда они действительно связывали денежный процент с доходом от приносящих прибыль товаров, от земли, от прав на добычу полезных ископаемых и всего того, что могло быть куплено за деньги. Но это соображение, хотя и использовалось в некоторых теориях процента в XVII и XVIII вв., не обладало аналитической ценностью, так как цена приносящих прибыль товаров, а значит, и приносимый ими чистый доход, уже предполагает существование процента.

II. Процент является элементом цены денег. Если его назвать ценой за использование денег, то это ничего не объясняет и в лучшем случае переформулирует проблему таким образом, кото-

---

которые оправдывают взимание процента, то это построение является избыточным. Если мы не принимаем указанный аргумент, тогда второй контракт, который не сводит прибыль партнера к нулю (помимо вознаграждения за его работу), будет означать ростовщичество. Логическая ошибка, содержащаяся в аргументе доктора Эка, достойна внимания читателя.

рый не улучшает ее понимание. Сама по себе эта фраза пуста. Аналогия между процентом и вознаграждением за перемещение товара в пространстве (*interlocal premium*) или денежным дисконтом также не является чем-то большим, чем переформулировка проблемы. Эти вознаграждения за перемещение в пространстве и дисконты объясняются риском и трансфертными издержками, в то время как чистый процент в отличие от компенсации за риск и издержки является межвременным вознаграждением (*intertemporal premium*), пониманию которого данная аналогия не способствует. Некритическая ссылка просто на ход времени *per se* (как таковой) лишена ценности — не составляет труда представить себе обстоятельства, не приводящие к отклонению процента от нуля. Хотя все эти положения являются негативными, они обладают огромной аналитической ценностью. Они расчищают место и доказывают, что схоласты, превосходя в этом отношении  $\frac{9}{10}$  теоретиков процента в XIX в., видели, в чем заключается действительная логическая проблема. В сущности, эти утверждения содержат ее постановку. Именно поэтому им следует отдать должное за то, что с них началась теория процента.

III. Итак, отклонение процента от нуля является проблемой, решение которой может быть найдено путем анализа особых обстоятельств, ответственных за появление положительной нормы процента. Такой анализ устанавливает, что фундаментальной причиной, поднимающей процент выше нулевого уровня, является широкое распространение «деловой прибыли»; все прочие обстоятельства, способные привести к тому же результату, не являются необходимыми элементами, внутренне присущими капиталистическому процессу. Это утверждение составляет основной позитивный вклад схоластического анализа процента. Хотя намеки встречались и ранее, оно было впервые четко выражено св. Антонином, который объяснял, что, хотя находящаяся в обращении монета может быть «бесплодной», денежный капитал не является таковым, ибо обладание денежным капиталом служит условием того, чтобы начать деловое предприятие.<sup>32</sup> Моли-

<sup>32</sup> Это, конечно, было прямой атакой на принцип «бесплодности» денег Аристотеля. Интересно отметить, что ключевой момент содержался в рассуждении св. Фомы. Провозгласив, что не существует причин, по которым в обычном случае деньги должны принести надбавку, он далее говорил, что существуют вторичные сферы применения денег, в которых за них можно требовать некоторую плату. Это происходит, например, если кто-либо дает в долг деньги для того, чтобы дать возможность заемщику использовать их в качестве залога или гарантии (*loco pignoris*). Конечно, св. Фома не намеревался включать деловые ссуды в число таких «вторичных сфер использования» денег. Но это было сделано в работе Якова Феррария: *Ferrarius Jacobus. Digressio resolutoria. 1623;*

на и его современники, справедливо настаивая на том, что «сами по себе» деньги непроизводительны и не являются фактором производства, все же придерживались сходных взглядов: им принадлежит знаменательное утверждение, что деньги являются «инструментом торговца». Более того, они хорошо понимали механизм, посредством которого эта премия превратится в широко распространенное нормальное явление, если капиталистическое предпринимательство будет достаточно активным и по сравнению с остальным окружением достаточно важным. А их представления о *lucrum cessans* (неполученный доход) и *damnum emergens* (возникающий ущерб) завершают их анализ рассмотрением предложения на денежном рынке.

Далее этого схоласты не продвинулись. В частности, их теория деловой прибыли не была достаточно развита для того, чтобы позволить извлечь все выгоды из понимания проблемы, позволившего увидеть в прибыли источник процента. Будучи первыми в этой области, они скорее нащупывали свои обобщения, чем формулировали их. В этом длительном процессе поиска они часто ошибались и использовали множество неадекватных или даже неверных аргументов. Но если к ним относиться так, как мы относимся к другим группам исследователей-теоретиков, то их достоинства сильно преобладают над недостатками, особенно если признать их заслуги, что мы обязаны сделать исходя из того, чему научились из их анализа их последователи и даже противники.

Но если это так, чем же тогда оказывается великое сражение по вопросам процента между схоластическими и антисхоластическими писателями, которое, как считается, кипело в XVI и XVII вв.? С точки зрения истории экономического анализа единственный ответ заключается в том, что никакого сражения не было. В течение длительного времени по вопросам процента не было достигнуто никакого прогресса в анализе и не было выдвинуто никаких новых аналитических идей. Даже наиболее знаменитые лидеры среди противников схоластов, такие как Молиней или Салмазий,<sup>33</sup> не могли сказать ничего нового: Молиней и Наваррий — можно сказать, современники — примерно совпали в теоретическом понимании проблемы процента.

---

автор зашел так далеко, что включил туда все ссуды, выдаваемые для любых законных целей.

<sup>33</sup> О Молинее (Шарль Дюмулен) мы упоминали выше. Салмазий (Клод де Сом, 1588–1653) написал ряд трактатов о проценте, из которых достаточно упомянуть два: *De usuris* (1638; похоже, существовало более раннее издание 1630 г.) и *De foenore trapezitico* (1640).

Салмазий только переформулировал схоластическую теорию о *lucrum cessans*, происходящем от наличествующих возможностей для делового предприятия, которую мы находим у Молины. В том, что касается моральной стороны вопроса о проценте, протестантские теологи и светские правоведы расходились между собой, но на чьей бы стороне они ни были, им приходилось повторять аргументы схоластов.<sup>34</sup> В дополнение к этому существовал еще законодательная или административная сторона вопроса, и именно с ней связана рассматриваемая дискуссия. Как мы отмечали, схоласты считали, что процент не следует обосновывать исходя из чего-то такого, что присуще кредитной сделке (*mutuum*) как таковой. Но это означало, что каждый случай или хотя бы каждый тип случаев являлся предметом разбирательства и не мог быть одобрен без расследования. Хотя схоласты не всегда выступали против допускавшего процент светского законодательства,<sup>35</sup> нетрудно представить, какое неудобство должен был доставлять этот принцип, после того как процент превратился в нормальное явление. Естественно, возник вопрос, на который в конце концов папы Пий VIII и Григорий XVI дали положительный ответ: не следует ли в этих обстоятельствах заменить чрезмерно сложный набор правил, какими бы верными они ни были с логической точки зрения, широкой презумпцией, что взимание рыночной ставки процента допустимо. В этом и состояли все требования неуклонно растущего числа светских и даже духовных авторов. Но они не формулировали их таким образом отчасти потому, что были не в состоянии понять тонкую логику схоластов и относили ее к чистой софистике, а отчасти потому, что большинство из них были врагами католической церкви и схоластов и не могли заставить себя рассуждать о вопросах политики

<sup>34</sup> Лучше нам покончить с этим вопросом раз и навсегда. Схоластическое учение преподавал Ричард Бакстер (1615–1691; см., например, его *Christian Directory*). На более низком уровне это относится к обширной литературе о проценте, которая, выражая общественную реакцию на финансовые аспекты восходящего капитализма, осуждала ростовщичество на чисто моральных основаниях. Вот несколько английских примеров, которые, я думаю, достаточно показательны: *Wilson Thomas*. Discourse upon Usurie. 1584; *Caesar Phillipus*. General Discourse against the Damnable Sect of Usurers. 1578; *Anon*. Death of Usury or the Disgrace of Usurers... 1594; *Anon*. Usure Arraigned and Condemned. 1625. Было, конечно, и множество проповедей, которые я не изучал. Роджер Фентон (*Treatise of Usurie*. 1612) может считаться защитником процента, использовавшим обоснование, известное схоластам, но не относимое ими к моральной стороне вопроса, а именно преимущества, которые извлекает заемщик.

<sup>35</sup> Св. Фома зашел даже так далеко, что утверждал (*loc cit.* ad tertium), что так как человек несовершенен, то строгое запрещение человеческим законом всех грехов препятствовало бы многим полезным вещам (*multae utilitates impedirentur*).

без насмешек и оскорблений. Создавшееся впечатление, что шло сражение между старыми и новыми *теоретическими* принципами, необходимо развеять, так как оно искажает картину целой фазы в истории экономического анализа.

## 5. Концепция естественного права<sup>1</sup>

Теперь мы должны обратиться к предмету, рассмотрение которого уже дважды откладывали. Предмет этот — неиссякающий источник всякого рода затруднений и недоразумений. Разрешить их полностью нам, очевидно, не удастся из-за недостаточности места. Однако призовем читателя к терпеливому сотрудничеству, поскольку данная тема имеет фундаментальное значение с точки зрения происхождения и первых шагов всех общественных наук. Первое открытие, которое делает любая наука, — это открытие себя. Представление о некоем наборе взаимосвязанных явлений, служащем основанием для постановки «проблем», является, очевидно, предпосылкой всякого научного анализа. Для общественных наук такое представление приняло вид концепции естественного права. Мы попробуем вычленить различные значения этого понятия, проследить за их оттенками и ассоциациями, которые они вызывают.

а) *Этико-правовая концепция.* Средневековые схоласты возводили свою концепцию естественного права к Аристотелю и римским теоретикам права, хотя, как мы вскоре убедимся, трактовали их совершенно неверно. Аристотель, говоря о справедливости, отличал «естественно справедливое» (*φυσικὸν δίκαιον*) от «институционально справедливого» (*νομικὸν δίκαιον*) (*Этика*, V, 7). Но в этом фрагменте термин «естественный» следует понимать в чрезвычайно узком смысле. Аристотель говорит здесь только о тех формах поведения, которые вызваны жизненными необходимостями, общими у человека и других животных. В других же местах он употребляет этот термин в гораздо более широком

---

<sup>1</sup> Из обширной литературы по этой теме для общей информации я рекомендую читателю работу сэра Фредерика Поллока (*Pollock F. Essays in the Law. Repr., 1922*). См. также: *Struve P. L'Idée de la loi naturelle dans la science économique//Revue d'économie politique. 1921. July.* Единственное исследование, с моей точки зрения, правильно оценивающее труды, выполненные под эгидой идеи естественного права (хотя речь в нем скорее идет не о самих схоластах, а об их последователях): *Taylor O. N. Economics and the Idea of Natural Laws//Quarterly Journal of Economics. 1929. Nov.* Полезным может оказаться и широко известный труд Виноградова (*Vinogradoff P. Outlines of Historical Jurisprudence. 1920-1922*).

смысле, — практически во всех бытующих значениях, не различая их и, конечно, не давая точных определений.

Надо сказать, что «естественное» в широком смысле у Аристотеля также ассоциируется со «справедливым»: пример, оказавший влияние на многие поколения ученых (даже английские «классики» иногда смешивали естественное со справедливым). Правда, Аристотель не был здесь до конца последовательным: иногда он одобрял и то, что не считал естественным, хотя никогда не осуждал ничего, чему присваивал этот эпитет.

Не слишком склонные к философствованию римляне просто приняли Аристотелево определение. Так, Гай (*Instit.* 1, 2) наивно утверждал, что естественное право (*jus naturale*) «есть то, чему природа научила всех животных» (*quod natura omnia animalia docuit*), то же самое утверждал и Ульпиан. Они воспринимали это «естественное право» как наилучший из возможных источников законов и правовых норм. Но здесь необходимы еще два добавления. Во-первых, некоторые римские литераторы, например Цицерон, стали употреблять термин *jus naturale*, говоря о том, что носило официальное название *jus gentium*. Причина заключалась в том, что последнее, воплощавшее в себе правила справедливости, казалось более «естественным», чем формалистичное гражданское право.

Следует отметить, что, во-первых, такое понимание естественного права, которое в конце концов возобладало (в то время как термин *jus gentium* приобрел в XVII в. значение «государственного права»), не совпадает с Аристотелевым пониманием в «Этике» (V, 7) и имеет больше общего с другими значениями, в которых Аристотель использовал термин «естественный». Во-вторых, римские юристы также употребляли слова «природа» и «естественный» в разных смыслах, один из которых представляет для нас интерес:<sup>2</sup> *rei natura*, или «природа дела». Например, если мы решаем юридический вопрос, возникший по поводу какого-нибудь контракта, мы должны прежде всего выяснить, в чем состояла природа дела, т. е. чего добивались стороны, заключавшие контракт. На первый взгляд, эта природа дела не имеет никакого отношения к «естественному праву»<sup>3</sup> в любом его зна-

<sup>2</sup> Другие значения заключаются в таких терминах, как *naturale negotii* (естественные сделки) и *naturalis obligatio* (естественное обязательство), которыми я не буду обременять читателя. Конечно, все эти (и другие) различные значения связаны друг с другом.

<sup>3</sup> То, что может быть названо томистской теорией права, естественного и позитивного, изложено в *Summa II*, 1 *quaest.* XCIV, XCV и XCVII; II, 2 *quaest.* LVII, art. 2, 3. Интерпретация этой теории — непостоянная задача. Мой тезис об изменчивости естественного права я вывожу из аргумента, который стремится

чений. Такая точка зрения отстаивается во многих юридических трактатах, авторы которых под влиянием исторической школы ненавидят сам термин «естественное право». Но вскоре мы убедимся, что связь все-таки есть, и весьма существенная.

Фома Аквинский формально принял Аристотелево определение в формулировке римских юристов. На самом же деле его попытка упорядочить различные значения термина «естественный» у Аристотеля привела к концепции, отличающейся и от Аристотелевой и от римской.<sup>4</sup> Во-первых, естественный закон или «естественно справедливое» (*lex naturalis, justum naturale*) может представлять собой набор правил, предписанных природой всем животным, который, в духе Аристотелева определения, является в принципе неизменным. Однако эти правила по-разному действуют в зависимости от времени и места и в разной степени приложимы к разным людям. К ним можно прибавлять новые, некоторые из них можно исключать. Поэтому даже это естественное право на практике меняется в ходе истории (см. в особенности: *Summa II, 1, quaest. XCIV, art. 4, 5*). Во-вторых, у Фомы Аквинского естественное право имеет еще одно значение, которое поясняется лишь на примерах. Здесь под естественным правом понимается набор правил, соответствующий общественной необходимости или целесообразности. Фома неустанно подчеркивает исторически преходящий характер этих правил. В *этом* смысле естественное право почти (хотя и не полностью) тождественно тому, что у римлян носило официальное название *jus gentium*. В-третьих, утверждается, что человеческое позитивное право либо выводится из естественного, либо приспособливает его правила к конкретным условиям. Закон, нарушающий какое-либо правило естественного права *в данном смысле*, не может иметь силы. Думаю, читателю известно, какие политические последствия вытекают из этой доктрины.

---

доказать обратное, но принцип обставляется таким количеством уточнений и оговорок, что вывод кажется обоснованным. Св. Фома утверждал также, что естественное право было неизменным *apud omnes*, но подчеркивает его относительность в практических применениях. Это следует из упора, который он делает на *loco temporisque conveniens* (подходящий момент времени), хотя можно предложить различные интерпретации этой фразы с философской и теологической точек зрения.

<sup>4</sup> Многие критики не согласятся с этим и упомянут ссылки на Аристотеля и Ульпиана, которыми Фома подкреплял свою позицию. Видимо, мы не сможем убедить друг друга, поскольку аргументация в обоих случаях основана на отдельных фразах, намеках, оговорках и т. д. Я признаю, что намеки на некоторые из элементов учения Фомы Аквинского можно найти у Аристотеля и римских юристов (а также у Цицерона). Но они кажутся существенными только потому, что Фома свел их воедино. По отдельности они значат очень мало.

В целях краткости перенесемся от Фомы Аквинского сразу к Молине. Молина явно понимал под естественным правом, с одной стороны, правильный разум (*ratio recta*), а с другой — то, что общественно целесообразно и необходимо (*expediens et necessarium*). Эти тезисы сами по себе не более чем лаконичная формулировка томистских взглядов. Но Молина делает следующий шаг. Повторив определение Аристотеля, он поясняет: «...то есть естественно справедливым является то, что надлежит нам делать, исходя из природы дела» (*cuius obligatio oritur ex natura rei*). Аристотель имел в виду вовсе не это. Молина не поясняет его тезис, а формулирует свой собственный: он определенно связывает естественное право с нашим рациональным (с точки зрения общего блага) анализом конкретных «дел», будь то индивидуальные контракты или общественные институты.

Взгляды Молины на «природу естественного права» мы привели лишь как иллюстрацию общей точки зрения ученых предшествующего ему времени. По сути дела, аналогична и концепция «требований разума» (*rationis ordinatio*) Д. де Сото.

Казалось бы, можно утверждать, что из концепции естественного права Молины исчезли все умозрительные, метафизические или неэмпирические элементы, а осталось лишь приложение разума к некоторым фактам, хотя пока и с нормативной точки зрения. Но, к сожалению, дело обстоит не так просто. Учение схоластов явилось источником двух тенденций, противостоящих трезвому, сухому реализму. О них следует упомянуть, поскольку именно они внесли большой вклад в ту путаницу, которая царит вокруг понятия естественного права.

Во-первых, существовало течение мысли, связывающее естественное право с первобытными временами. Следуя за Аристотелем, многие ученые (например, А. Смит) прибегали к псевдоисторическому способу изложения: описывая то или иное общественное явление (собственность, деньги), они начинали с воображаемого «раннего состояния» общества. Насколько я могу судить, они не злоупотребляли этим приемом. Но поскольку «естественный» и «справедливый» употреблялись как синонимы, а «естественное» в соответствии с данным методом изложения наиболее ярко раскрывалось на примере первобытных условий, последние оказывались у них одновременно и воплощением «справедливого». Здесь берет начало направление мысли, которое привело Руссо к восхвалению естественного (в смысле первобытного) состояния человечества. Разумеется, сами схоласты отнюдь не стремились прославлять первобытное общество.

Во-вторых, существует несомненная связь между схоластическим естественным правом и «правами человека» (*droits de l'homme*).

те) и тому подобными концепциями XVIII в., включая и естественное право труженика на произведенный им продукт. Естественное право ученых схоластов рассматривалось как источник справедливых законодательных установлений о правах и обязанностях людей. Казалось, что авторы концепции «прав человека» лишь извлекали из этого источника «требования разума» относительно политических прав цивилизованного человека. Более того, некоторые из этих прав несомненно признавались и схоластами. И тем не менее чисто умозрительный спекулятивный характер этих и подобных прав общепризнан. Именно такого рода явлениями объясняется отрицательное отношение многих замечательных экономистов к понятию «естественного права», ставшего для них воплощением антиисторичной и ненаучной метафизики. И до сих пор для многих из нас связь того или иного тезиса с естественным правом служит достаточным основанием, чтобы отвергнуть его. Одной из важнейших причин огульного отрицания экономической теории как таковой по сей день служит утверждение, что она якобы является ответвлением ненаучной философии естественного права. У нас есть все основания, чтобы глубже вникнуть в суть такого обвинения, что мы и сделаем в следующем параграфе.

**б) Аналитическая концепция.** До сих пор мы рассматривали развитие концепции естественного права в области этики и права, или, что то же самое, естественное право как источник моральных и правовых императивов. После всего сказанного выше мы можем легко перейти к роли этой концепции в научном анализе. Для этого нам достаточно просто обобщить выводы, сделанные по поводу теории процента. Прежде всего зададим вопрос: почему Аристотель называл некоторые формы поведения «естественно-справедливыми» в узком смысле этого слова? Очевидно, потому, что эти формы поведения были, с его точки зрения, необходимы для выживания любого животного.

Аналогичный ответ справедлив и в случае, когда понятие «естественно-справедливое» употребляется в более широком смысле — как соответствующее общественной необходимости в данных исторических условиях. Поэтому, для того чтобы определить, что является естественно-справедливым в каждом конкретном случае, надо прежде всего проанализировать эти условия. Обобщения, к которым мы таким образом придем, можно назвать аналитической концепцией естественного права: нормативное естественное право предполагает объясняющее естественное право. Первое представляет собой не более чем ценностные суждения относительно фактов и взаимосвязей, раскрытых последним. Разница между ними и в теории, и на практике столь же очевидна, как разница между ценностными суждениями

ми и аналитическими положениями любого экономиста. Например, у А. Смита была своя теория заработной платы, состоящая из изложения фактов и полученных на их основе выводов. Но, кроме того, он утверждал («Богатство народов», кн. 1, гл. VIII), что «продукт труда составляет естественное вознаграждение за труд, или его заработную плату». Поскольку под продуктом труда он в данном случае он понимает весь продукт и показывает, что в нормальных условиях заработная плата меньше этой величины, то очевидно, что здесь мы имеем дело с положением естественного права в его философском смысле, т. е. с ценностным суждением. Если нас интересует только научный анализ, мы вправе проигнорировать этот тезис. Другой пример — современный экономист, анализирующий феномен ценовой дискриминации и одновременно осуждающий его. Если он называет ценовую дискриминацию несправедливой, значит, он, как и схоласты, исходит из требований естественного права. Если он одобряет закон Робинсона—Пэтмена, запрещающий дискриминацию, он поступает так же, как схоласты, которые сказали бы, что этот закон имеет силу, поскольку отвечает требованиям естественного права. Мы имеем право назвать это или любое другое ценностное суждение ненаучным или вненаучным, но не следует выплескивать аналитического «ребенка» вместе с философской «водой». А ведь именно это делают те, кто пренебрегает экономическими теориями ученых-схоластов и их последователей-мирян, ограничиваясь указанием на их связь с системой моральных и правовых императивов, т. е. пренебрегает естественным правом в аналитическом смысле из-за его связи с системой естественного права в нормативном смысле.

Основное возражение против юриспруденции и экономической науки, основанных на естественном праве, которое выдвинули представители исторической школы, было несколько иным: естественное право осуждалось за его якобы существующий отрыв от исторической реальности. Мы уже убедились, что такое обвинение нельзя предъявлять ученым-схоластам, которые всегда подчеркивали исторически преходящий характер общественных явлений. Более обоснованным оно представляется применительно к их последователям. Но следует отметить, что в любом случае это возражение касается только употребления концепции естественного права, а не самой концепции. Любую концепцию можно использовать не по назначению. Более того, любая теория может быть неадекватной и просто неверной, если, например, она настаивает, что ее положения обладают большей применимостью, чем это есть на самом деле (в качестве примера приведу концепцию *droits de l'homme* — «прав человека»). Но неадекватная и даже

неверная теория все же остается научной. С другой стороны, мы должны отдавать себе отчет в том, что претензии некоторых правовых программ XVIII в. на абсолютную применимость независимо от времени и места вызвали массу заблуждений относительно подлинной природы анализа на основе естественного права.

Я уже говорил, что общественные науки открыли себя через концепцию естественного права. Наиболее убедительно это можно показать на примере определения естественного права Молины (через «природу дела» — *rei natura*). В этом смысле идеал естественного права есть открытие того, что данная общественная ситуация предопределяет (в наиболее благоприятном случае — однозначно) некоторую последовательность событий, логически непротиворечивый процесс или состояние (*или предопределяла бы в отсутствие какого-либо внешнего вмешательства*). Это сказано современным языком, но понятие о справедливости у ученых-схоластов вполне позволяет приписать им эту идею, хотя и в зачаточной форме. Фома Аквинский пояснял это (Аристотелево) понятие, ассоциируя слово «справедливость» с приспособлением, а слово «справедливый» с результатом приспособления.\* Справедливое — это то, что приспособлено и, значит, соответствует, — но чему? Единственный ответ, который мы можем дать, исходя из концепции Молины о «природе дела», гласит: определенному общественному образу, требованию общего блага или общественной целесообразности. Отсюда отождествление справедливого и естественного, с одной стороны, и естественного и нормального — с другой.<sup>5</sup>

Отсюда та легкость, с которой наши предшественники переходили от нормативной доктрины к аналитической теореме и обратно и с которой мы можем перейти от их справедливой цены к

\* <В латинском и некоторых западноевропейских языках эти слова одного корня (например, *англ.*: justice — adjustment, just — adjusted)>.

<sup>5</sup> Это отождествление («естественный» в смысле «нормальный» и «естественный» в смысле «справедливый») объясняет, почему так долго — почти до Маршалла — термин «естественный» употреблялся в значении «нормальный», а с другой стороны, некоторые философы говорили о «естественных свободах», имея в виду «справедливость». Но это еще не все. Сделанная нами только что оговорка об отсутствии внешнего вмешательства придает несколько иной смысл словосочетаниям «естественная цена», «естественная заработная плата» и т. д. В этих выражениях слово «естественный» означает, что мы исследуем процесс, как он протекал бы сам по себе. Разумеется, нелепо искать влияние философии естественного права повсюду, где употребляется слово «естественный» (например, «естественно» в смысле «очевидно»). Когда мы говорим, что человек «естественно» обиделся, когда его назвали дураком, это вовсе не говорит о нашей приверженности какой-либо философии. Нелишним будет добавить, что термин «нормальный» следует понимать не в статистическом смысле, а в том, в котором мы говорим, например, о нормальном зрении. Физиолог, исходя из своего знания «природы дела», т. е. в данном случае строения человеческого глаза, может прийти к понятию «нормального», существенно отличающемуся от средних показателей остроты зрения, полученных в результате обследования населения.

цене краткосрочного и долгосрочного равновесия в условиях конкуренции. Отсюда, наконец, и связь (хотя и не тождество), которая существовала у *них* между оправданием и объяснением. Следовательно, мы не отрицаем, что исторически современная экономическая наука восходит к трудам средневековых схоластов, как утверждают ее критики, но в отличие от них мы не видим в этом ничего зазорного.<sup>6</sup>

### с) Естественное право и социологический рационализм

#### 1. Заметка о философском рационализме

Для наших целей мы выберем следующее значение многозначного слова «рационализм». Назовем философским рационализмом веру в то, что наш разум («естественный разум») является источником доопытных истин, а также способен формировать суждения о сверхъестественных предметах, например о существовании Бога.<sup>7</sup> В этом смысле Фома Аквинский был метафизическим рационалистом, поскольку в отличие от других схоластов (последователей Скота) он верил, что существование Бога можно доказать логически. Он не был метафизическим рационалистом в том смысле, в котором этот термин употреблялся в XVII–XVIII вв., поскольку признавал источником познания в теологических вопросах *не только* разум, но и откровение. Допустим, что человек верит, что силой своего разума он может доказать, что Бога не существует. В данном аспекте его взгляды будут явно противоположны взглядам Фомы Аквинского. Но в чем-то они будут братьями по духу — рационалист-деист и рационалист-атеист: в нашем значении слова оба — рационалисты и союзники в борьбе против тех, кто не испытывает подобного доверия к своему разуму, в особенности против современного логического позитивиста. Здесь, конечно, нет ничего удивительного. Очень часто люди, придерживающиеся разных взглядов, тем не менее взывают к одному и тому же авторитету. Но напоминать об этом необходимо для того, чтобы

<sup>6</sup> Некоторые историки полагали, что нормативный элемент приобрел такое большое значение в силу его теологической природы. Это утверждалось даже применительно к физиократам (см. ниже, глава 4, § 3). Но это очередная ошибка. Схоластический порядок вещей (и в природе, и в обществе) в рамках схоластической теологии совершенно автономен. Влияние теологии — помимо этических императивов — проявляется лишь в трактовке чудес и сотворения мира. Все другие аспекты этого порядка должны быть познаны человеческим разумом. Естественно, при этом разум анализирует не что иное, как Божьи творения. Но поскольку Божий план в любом случае включает и некоторое количество «зла», то даже ценностные суждения не испытывают серьезных ограничений со стороны теологии, а уж анализ совершенно от них свободен. В следующем параграфе мы рассмотрим противоположную ошибку интерпретации.

<sup>7</sup> Я должен принести извинения за неисчислимые недостатки этого определения. Но оно вполне лаконично и достаточно для наших целей.

заметить преемственность в развитии теории там, где иначе мы не увидим ничего, кроме разрыва и антагонизма.

## II. Социологический рационализм

Занятие наукой часто приводят в пример как типичную рациональную деятельность, поскольку ученый, какова бы ни была его конечная цель, руководствуется правилами логического вывода. На самом деле это не совсем верно: как раз самые значительные достижения в науке рождаются не из наблюдений, экспериментов и логического резонерства, а из феномена, который лучше всего назвать озарением и который сродни акту художественного творчества. Однако результаты озарения следует «доказать» с помощью логической (рациональной) процедуры, требуемой определенными профессиональными стандартами.

В этом смысле (не имеющем ничего общего со значением термина, рассмотренным выше) рациональность действительно накладывает свой отпечаток на научные знания, которыми мы владеем в каждый данный момент.

Но это понятие научной рациональности характеризует только позицию самого исследователя, а не поведение исследуемого объекта. Психиатр может «рационально» исследовать реакции сумасшедшего, социолог — рационально анализировать психологию войн или психологию обезумевшей толпы, не предполагая при этом, что наблюдаемые им слова и действия имеют какой-то «смысл».

В этом смысле все мы, включая и схоластов, и их принципиальных противников, поневоле являемся метафизическими рационалистами, так как верим, что общественные явления можно объяснить хотя бы *каким-то* рациональным способом. Обобщения, предоставляемые нам такими исследованиями, могут быть названы естественными законами, и в этом состоит единственная *подлинная* связь между концепцией естественного права и «правильным разумом», или *ratio recta*.

Но социологический или экономический рационализм означает нечто иное. Мы можем рассматривать вселенную как внутренне последовательное, непротиворечивое целое, построенное по упорядоченному плану (видимо, впервые такой взгляд обрел известность благодаря стоикам). Аналогично мы можем рассматривать общество как некий космос, которому имманентно присуща внутренняя упорядоченность. При этом не имеет значения, внесена ли эта упорядоченность божественной волей

с какой-то целью или исследователь просто открывает в обществе объективный порядок и объективную цель, независимые от его, исследователя, рациональности.

В обоих случаях в «рациональное» мироустройство не входит ничего такого, что нельзя было бы объяснить разумом. Далее мы должны разграничить «субъективный социологический рационализм», который утверждает, что этот порядок или план может быть осуществлен только через рациональные действия индивидов и групп, составляющих общество, и «объективный социологический (или экономический) рационализм», который не прибегает к этому постулату. Оба вида социологического рационализма были, очевидно, присущи схоластам и большинству их последователей вплоть до наших дней. Это добавляет новые оттенки их концепции естественного права и устанавливает новую связь между этой концепцией и концепцией *ratio recta*, явно отличающейся от связи, сформулированной на все времена Фомой Аквинским: *rationis autem prima regula est lex naturae* (первое правило самого разума есть закон природы).

Все это, разумеется, неприемлемо для современных позитивистов и подтверждает, по их мнению, присутствие «спекулятивных рассуждений» в концепции естественного права не только в нормативном, но и в аналитическом аспекте. Тем более важно подчеркнуть, что социологический или экономический рационализм только интерпретирует тезисы естественного права и вовсе не обязательно охватывает их содержание. В то же время следует согласиться, что постулат субъективного рационализма преувеличивает объяснительную ценность рационального действия и побуждает нас чрезмерно доверять телеологическим аргументам. Это особенно опасно, если принять во внимание привычку экономистов судить о рациональности не только средств, но и целей (мотивов), т. е. одобрять в качестве рациональных цели (мотивы), которые кажутся им «разумными», и отвергать все другие как иррациональные. Схоласты действительно виновны по всем этим пунктам. Но любопытно, что мы ничем не лучше их: как и во многом другом, в этом отношении мы — их наследники. Наилучшим подтверждением сказанного могут служить работы Альфреда Маршалла.

### III. *Ratio recta* и *la raison*

Заметьте, что социологический или экономический рационализм вовсе не обязательно ведет к «консервативным» взглядам. Как и метафизический рационализм, это обоюдоострое оружие. В самом деле, из нашей веры в существование экономического порядка мы можем заключить, что все к лучшему в нашем

лучшем из миров (точка зрения, которую Вольтер высмеял в образе доктора Панглосса в «Кандиде»). Но вовсе нет необходимости предполагать, что рациональный порядок существует в окружающем нас мире. Достаточно предположить, что он существует только в области разума, и сам разум побуждает нас утвердить этот порядок в отклоняющейся от него реальности. В этом значении понятие социологического или экономического рационализма применимо ко всем реформаторам, предлагавшим «применить разум к социальным явлениям»: к деятелям эпохи Просвещения, исповедовавшим культ разума (*la raison*) именно в этом смысле; к последователям Бентама и к большинству либералов, радикалов и социалистов наших дней. Все они происходят от схоластов. Политическая социология схоластов сама по себе доказывает, что они придерживались не первого <«панглоссовского»>, а второго взгляда на общественное устройство и естественное право.

Разные результаты, полученные с помощью «света разума», полностью объясняются различием исходных позиций и обстоятельств и, с нашей точки зрения, несущественны. Вся социологическую и политическую мысль (кроме антиинтеллектуалистской) пронизывает один и тот же методологический принцип. Греки первыми сформулировали его отчетливо. Но в германском мире первыми были схоласты. Разум (*la raison*) в XVIII в. сражался против чего угодно, но только не против способа мышления. С точки зрения теории познания налицо преемственность и *ratio recta* <правильный разум (лат.)> или, что то же самое, *naturalis ratio* <естественный разум (лат.)> — несомненный прародитель *la raison* <разум (фр.)>.

Это не должно никого удивлять или шокировать. Меч, выкованный ангелами, может легко попасть в руки чертей, а меч, выкованный чертями, могут отнять у них ангелы. Правда, в последнем случае черти имеют право отдать должное соперникам, подобно тому как каждый цивилизованный социалист признает достижения капитализма.

•••••

## 6. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVII в.

•••••

На этом мы расстаемся со схоластами и переходим к рассмотрению трудов их непосредственных преемников. Конечно, вечный вопрос об управлении человечеством не потерял своей актуальности, а круговорот новых политических проблем вызы-

вал новые вопросы. В Англии они породили поток всевозможных памфлетов — от аргументированных и рассудительных (я думаю, что произведения Джорджа Сэвила, маркиза Галифакса, навсегда останутся высшим достижением в этом жанре) до проповедей, подкрепленных цитатами из Апокалипсиса. Ответ на них дала (разумеется, на обобщенном уровне) и группа авторов, которых мы назовем философами естественного права.<sup>1</sup>

а) Протестантские, или светские, схоласты. Эти люди, отделенные от схоластов Реформацией и изменениями на политической сцене, принадлежали, однако, той же профессии, ставили перед собой ту же задачу, решали ее теми же методами и во многом в том же духе. Это позволяет нам охарактеризовать их как протестантских (или светских) схоластов. Разумеется, сами они не согласились бы с таким определением. Не понравится оно и современным ученым католической, протестантской или «либеральной» ориентации. Все они подчеркивают различия в религиозных и политических доктринах и верованиях и со своей точки зрения совершенно правы, видя контрасты там, где мы отмечаем схожесть.

Что ж, еще раз повторим, что в этой книге нас интересуют только методы анализа, а все остальное — лишь постольку, поскольку оно проливает свет на предмет нашего исследования. Что же касается методов и результатов, то они у этих авторов были примерно такими же, как у поздних схоластов. Это не означает, что философы естественного права просто переписывали схоластов, не делая на них ссылок. Хотя в ряде случаев влияние последних несомненно, наряду с этим имело место и заимствование из общих источников — прежде всего из римских юристов.

Течение мысли, которое породили эти философы, было настолько сильным, что затронуло каждого образованного человека. Более того, как выяснится впоследствии, они были лишь звеном в цепи, протянувшейся до XIX в. По этим причинам невозможно говорить о них как о четко очерченной группе. Здесь мы исключим из рассмотрения не только тех авторов, которых принято считать чистыми экономистами, но и те труды, которые не имеют отношения к философии естественного права, хотя их авторы и принадлежали к данной группе. В связи с этим достаточно упомянуть лишь несколько имен, репрезентативных для XVII столетия: Гроций, Гоббс, Локк, Пуфендорф.

Гуго Гроций, или де Гроот (1583–1645; *De jure belli ac pacis* («О праве войны и мира»); 1-е изд. — 1625; 2-е, испр. — 1631),

<sup>1</sup> Этот термин мне посоветовал употребить профессор А. П. Ашер.

был в первую очередь выдающимся юристом, его слава связана с достижениями в области международного права. Он мало занимался экономическими вопросами: ценами, монополиями, деньгами, процентом и ростовщичеством (книга II, гл. 12). Гроций писал о них с пониманием дела, но не внес ничего существенно нового по сравнению с поздними схоластами.

Томас Гоббс (1588–1679). Кроме «Левиафана» (Leviathan; 1651) следует отметить работы «О гражданине» (De cive; 1642) и «О политическом теле» (De corpore politico; 1650). Можно порекомендовать его биографию, написанную сэром Лесли Стивенсом, дающую прекрасный очерк культурной среды той эпохи. Окончил Оксфордский университет, служил губернатором; главной областью его интересов была политическая социология. Экономикой он занимался не больше Гроция, хотя и писал об экономических вопросах, особенно о деньгах. Значение Гоббса для нас заключается не столько в его глубокой и оригинальной политической философии (ее с гораздо большим толком можно будет обсудить в следующей главе), сколько в том, что он больше, чем кто-либо из философов естественного права, был подвержен влиянию идей зарождающегося механистического материализма и через свое этическое и психологическое (сенсуалистское) учение распространил его на общественные науки. Стоит отметить, что, хотя Гоббс не был специалистом в области математики и естественных наук, его интерес к этим сферам знания выходил за рамки дилетантского. Однако все это не помешало ему сделать ряд экскурсов в область спекулятивной теологии, а также употребить богословские аргументы и цитаты из Библии в своей социологической теории.

Философ Джон Локк (1632–1704; первое, неполное собрание его сочинений вышло в 1714 г., 9-томное — в 1853 г.) также был выпускником Оксфорда. Он начал свою карьеру с преподавания, а затем поступил на государственную службу и, выступая под знаменами вигов, которых консультировал, в конце концов поднялся до члена Торгового совета. Его труды имеют для нас первостепенное значение во многих аспектах. Во-первых, как философ в узком смысле этого слова Локк привел эмпиризм к победе над картезианским рационализмом вначале в Англии, а потом и на континенте, в особенности во Франции (решающее значение имела его работа «Опыт о человеческом разуме» (Essay concerning Human Understanding); 1690). Это был настоящий и решительный разрыв со схоластической традицией (Аристотелем), что, однако, не означало аналогичного разрыва в политической и экономической теории: эти вещи важно различать. Во-вторых, как сторонник терпимости, свободы печати и развития образования Локк способствовал созданию концепции политического либерализма, что следует упомянуть ввиду связи последнего с экономическим либерализмом. В-третьих, как политолог (см. в особенности «Два трактата о государственном правлении» (Two Treatises of Government), опубли-

кованные в 1690 г.) Локк также занимает одно из первых мест среди философов естественного права, хотя он добавил мало нового к сказанному Гроцием и Пуфендорфом. В-четвертых, как экономист Локк также внес важный вклад, который будет рассмотрен позднее (см. ниже, главу 6), поскольку он не связан ни с его философией, ни с его политической теорией.

Наконец, мы должны отметить и его богословские интересы (см. в особенности работу «Разумность христианства» (*Reasonableness of Christianity*); 1695).

Самуэль фон Пуфендорф (1632–1694) — ученый-правовед, профессор университетов в Гейдельберге, Лунде (Швеция) и Берлине — был не более чем одним из последователей Гроция, но ему принадлежит трактат, получивший известность во многих странах: «О естественном праве и праве народов, в восьми книгах» (*De jure naturae et gentium, libri octo*; 1-е изд. — 1672). В этой книге, гораздо более важной, чем ранний труд Пуфендорфа «Элементы всеобщей юриспруденции» (*Elementa jurisprudentiae universalis*; 1660), вся структура общественных наук, разработанных философами естественного права, изложена гораздо лучше, чем в работах великих ученых, о которых шла речь выше. Это произведение следует изучить, чтобы получить более полное впечатление об общественных науках этого типа.

Кроме того, Пуфендорф углублялся в экономические исследования в значительно большей мере, чем Гроций (книга V, гл. 1–8), хотя, на мой взгляд, и ему не многое удалось добавить к запасу знаний и аналитическому аппарату поздних схоластов. Однако он изложил этот материал в систематизированном виде. Им также написан богословский трактат *De habitu christianae religionis ad vitam civilem*.

Можно было бы упомянуть и некоторые другие имена, скорее всего неизвестные читателю. Но великие имена Лейбница и его верного последователя Христиана Вольфа опущены здесь умышленно: конечно, они были эрудитами и проявляли большой интерес также и к экономическим событиям и экономической политике своего времени, но не внесли никакого вклада в концепцию естественного права. Может быть, следует упомянуть также Томазия (1655–1728), в произведениях которого находим интересный аспект концепции естественного права, использованной перчисленной группой ученых.

Подобно схоластам, философы естественного права стремились создать всеобъемлющую общественную науку — всеобъемлющую теорию общества во всех его аспектах и видах деятельности, в которой экономическая наука не была ни особо важным, ни самостоятельным элементом. Общественная наука этих философов первоначально приняла вид правовой теории, напоминая

шей схоластические трактаты «О справедливости и праве»: Гроций и Пуфендорф были прежде всего юристами и их трактаты — это трактаты в первую очередь о праве. Они формировали универсальные правовые и политические принципы, которые считали естественными, т. е. проистекающими из общих свойств человеческой природы, в отличие от позитивного права, порожденного конкретными условиями данной страны.<sup>2</sup> Все остальное, сказанное в предыдущем параграфе о методологическом характере и различных значениях естественного права у поздних схоластов, в частности об отношении между его нормативным и аналитическим аспектами, можно было бы повторить и применительно к естественному праву философов-мирян. Было бы некорректным приписывать последним саму концепцию естественного права или ее употребление в чисто аналитических целях либо трактовать их как новаторов, поднявших на борьбу со схоластическими способами мышления. Однако они действительно внесли ряд новшеств, более или менее удачных.

**б) Математика и физика.** Философы естественного права жили в золотой век математики и физики. Захватывающие открытия в области «новой экспериментальной философии», как это тогда называлось, сопровождались огромной популярностью физики даже среди императоров и дам из высшего общества. Сначала в Италии, а затем и в других странах экспериментаторы и математики стали собираться, чтобы обсуждать полученные результаты и спорить о разных точках зрения. Эти собрания привлекли много любопытных, которые с удовольствием слушали пояснения и оказывали ученым финансовую и иную поддержку.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Гоббс перечислил 19 таких принципов, названных им естественными законами («Левинафан». Ч. 1, гл. XIV, XV). «Науку» об этих законах он назвал моральной философией — термин, который ниже будет употребляться в другом смысле.

<sup>3</sup> Для наших целей достаточно упомянуть Английское королевское общество, двадцать лет существовавшее неформально и зарегистрированное в 1662 г. Большой, хотя и любительский интерес к его работе проявил король Карл II. В течение первых ста лет своего существования оно представляло собой именно такое собрание ученых и заинтересованных любителей. С 1703 г. до своей смерти председателем общества был Исаак Ньютон (1643–1727), опубликовавший под его эгидой свои «Математические начала натуральной философии» (1687).

После регистрации Королевское общество начало издавать «Философские труды». Термин «натуральная философия» употреблялся для обозначения естественных наук (в отличие от общественных) вплоть до первых десятилетий XIX в., что, в свою очередь, вызывало недоразумения <natural можно перевести также как «естественный»>.

Я думаю, что именно этот интерес к развитию естественных наук, распространявшийся далеко за пределы ученых кругов, породил потребность в совершенно новом типе произведений — энциклопедиях. Первыми достиже-

Успехи естественных наук и мода на них не прошли незамеченными для философов естественного права. Они — по крайней мере, некоторые из них — задалась вопросом, не похожи ли их инструменты анализа на те, что используются distinguished физиками. Пуфендорф без всяких на то оснований утверждал, что пользуется «математическим методом». Гоббс заявил, что «гражданская философия» — термин, явно рассчитанный на ассоциацию с «натуральной философией», т. е. естественными науками, — берет начало от его труда «О гражданине» (1642) и что он, Гоббс, первым применил в этой науке метод Коперника и Галилея (под которым он, однако, понимал дедукцию из абстрактного и всеобщего «закона движения»). Эта мода, хотя и проявлялась больше на словах, имела чрезвычайно неблагоприятные последствия.

Мы уже отмечали, что позднейшие критики, в основном последователи исторической школы, осуждали метафизический и спекулятивный характер концепции естественного права. Другие авторы XIX в. обвинили концепцию естественного права в попытке заимствовать методы анализа у физики. Случилось так, что некоторые критики выдвигали оба эти обвинения одновременно, хотя они являются взаимоисключающими (не говоря уже о том, что оба совершенно необоснованны).

Таким образом, злосчастная концепция естественного права попала под перекрестный огонь и потерпела крушение.

Точнее говоря, крушение потерпел сам этот термин, в то время как идея естественного права продолжала жить.

В действительности мы даже не можем утверждать, что философы-миряне были менее религиозными, чем поздние схоласты, хотя, конечно, их религиозность принимала иные формы. Они писали богословские трактаты и подкрепляли свои аргументы цитатами из Писания. Четвертая часть «Левиафана» Гоббса озаглавлена «О царстве тьмы» и содержит главу, посвященную демонологии, хотя демоны в ней скорее являются символами, как и ангелы в третьей части.

с) Экономическая и политическая социология. В концепцию человеческой природы философы естественного права внесли элементы, которые не были их открытием, но акцент, сделанный на них, представлял собой несомненное новшество. Наиболее важные из них принадлежат Гоббсу. Схоласты предполагали, что частная

---

ниями в этой области были *Dictionnaire historique et critique* («Исторический и критический словарь»; 1697) Пьера Бейля (1647–1706) (предшественник всеобъемлющих трудов энциклопедистов XVIII в., о которых мы поговорим ниже) и *Lexicon technicum* («Технический лексикон»; 1704) Джона Харриса.

собственность обязана своим возникновением необходимости избежать хаотической борьбы за блага, а государство — необходимости поддержания мира и порядка. Но они не заходили настолько далеко, чтобы заявлять об изначальной «войне всех против всех» и о том, что «человек человеку волк». Это «открытие» Гоббса не стало частью общепринятой доктрины и вряд ли может быть примером прогресса анализа.

Аналогично и понятие общественного договора, бегло очерченное схоластами и Гроцием, предстало в системе Гоббса грубовато-наивным. В «Левиафане» (ч. 2, гл. XVII, XVIII) общество (*civitas*), этот исполинский Левиафан, возникает в результате договора, заключенного каждым с каждым, с тем чтобы передать власть какому-нибудь человеку или группе людей. Эта доктрина, наиболее четко сформулированная Локком, вызвала всеобщее согласие, чего нельзя сказать о гоббсовской идее всевластия государства. В частности, Локк не сомневался в том, что подданные могут изменить форму правления, а правительство может потерять власть. Так или иначе, постулат о всевластии государства не является аналитическим. В отличие от некоторых юридических аргументов схоластов и философов, скрывающих под собой аналитический тезис, этот постулат является чисто юридическим аргументом. Гоббс просто вывел его из воображаемого договора, произвольно предположив, что этот договор был заключен на условиях безоговорочной капитуляции граждан. Наконец, отметим, что Локк «оправдывал» частную собственность, выводя ее из права каждого человека на собственную личность, включающего и право на свой труд и его результаты, — вновь чисто юридический и при этом явно некорректный аргумент. Вряд ли следует добавлять, что он не имеет ничего общего с трудовой теорией ценности. Если бы вклад философов в политическую и экономическую социологию этим и ограничился, его вряд ли можно было бы признать ценным.

Но помимо этого они внесли вклад в область знания, которую мы можем назвать «метасоциологией» или «философской антропологией»: некоторые философы изучали природу человека, из которой следовало вывести их естественные законы.<sup>4</sup> И

<sup>4</sup> Метасоциология означает исследование человеческой природы или человеческого поведения, или — еще шире — всех фактов, имеющих значение для социологии, но не принадлежащих непосредственно к ее предмету. Например, можно провести исследования того, как возникают привычки, или исследовать природную среду обитания человека. Аналогично мы можем говорить и о «метаэкономической» науке. Термин «философская антропология» означает то же самое, что и метасоциология. Эпитет «философская» отличает ее от антропологии в обычном смысле слова (изучение физических свойств человека).

вновь мы в первую очередь обращаемся к Гоббсу. Первая часть «Левиафана», которая носит название «О человеке» и подводит нас к концепции естественного права, содержит целую философию человеческого сознания и трактует психологические и социально-психологические проблемы мышления, воображения, речи, религии и т. д. Многие из сказанного здесь имеет корни в трудах Аристотеля и схоластов, хотя Гоббс — и это его индивидуальная черта — видит антагонизм повсюду, где есть развитие. Но в одном направлении Гоббс действительно продвинулся гораздо дальше Аристотеля и схоластов. Он определил «мысль» — обычную человеческую мысль, которую Локк называл «идея», — как «образ внешнего предмета» и вооружил человеческий разум чувственным восприятием. Можно утверждать, что он предвосхитил эмпиризм Локка, а также ассоциативную психологию, тесно сблизившуюся с экономической наукой во времена отца и сына Миллей (см. ниже, часть 3, главу 3, § 5).

Под философским эмпиризмом мы имеем в виду учение, берущее начало от древних греков (Аристотель, эпикурейцы, стоики), но получившее наивысшее развитие у английских мыслителей XVII—XVIII вв. (в особенности у Гоббса, Локка и Юма). Его основные положения: а) все знания индивида почерпнуты из его жизненного опыта; б) опыт человека можно приравнять к впечатлениям, которые он получает через органы чувств; в) до этого опыта разум человека не только совершенно пуст, но и не обладает никакой «врожденной» активностью и врожденными идеями — категориями, которые выстраивали бы впечатления в определенном порядке; правильно было бы сказать, что до опыта «разум» как таковой просто отсутствует; д) впечатления — это первичные элементы, на которые можно разложить все умственные и психологические явления: не только память, внимание, рассуждения (включая построение причинно-следственных цепочек), но и аффекты, «страсти». Все они — лишь скопление первичных впечатлений и порождаются их случайными «ассоциациями». Такое сведение человеческого «разума» и «души» к атомистическим впечатлениям можно уподобить сведению всех физических явлений к атомистической механике. Эта популярная аналогия сделала эмпиризм притягательным для одних людей и ненавистным для других. Прошу читателя отметить, что слово «эмпиризм» употребляется здесь лишь в одном из многих своих значений, поэтому мы специально употребляем эпитет «философский». В частности, этот эмпиризм *не имеет ничего общего с «научным эмпиризмом»*, который характеризуется превознесением эксперимента и наблюдения над «теорией». Философский эмпиризм называется также «сенсуализмом».

Как философское течение эмпиризм, или сенсуализм, особенно не преуспел, хотя в XVIII в. его блестяще защищал Юм, а в XIX в. — Дж. С. Милль, и он всегда оставался популярным среди английских ученых-нефилософов. В начале XVIII столетия лежащие на поверхности, но не решающие аргументы против него выдвинул Лейбниц. Несколько позже епископ Беркли предъявил другой аргумент, который оказался уничтожающим (*Principles of Human Knowledge* («Трактат о началах человеческого знания»); 1710). Даже в Англии, не говоря уже о Шотландии или Германии, большинство профессиональных философов отвергли эмпиризм. Но ассоциативная психология преуспела значительно больше. Английские экономисты и их коллеги на континенте сохраняли к ней лояльность вплоть до 1900-х гг. и даже позже. Выдающемуся экономисту Джеймсу Миллю даже принадлежит наиболее бескомпромиссное изложение принципов ассоциативной психологии в XIX в. Под ассоциативной психологией мы понимаем то же самое, что и под философским эмпиризмом. Разница состоит лишь в следующем. Если последний является или пытается быть философией в строгом смысле слова, а также эпистемологией или теорией познания, первая представляет собой ту же доктрину, но изложенную как фундаментальные гипотезы психологии и различных ее составляющих: теории воображения, внимания, языка и т. д. Прошу читателя запомнить это на будущее.

Есть еще один момент, важность которого трудно переоценить. Схоласты проповедовали доктрины естественной свободы и естественного равенства людей. Однако для них тезис о естественном равенстве был не утверждением о действительной природе человека, а нравственным идеалом или постулатом: он основывался на христианском вероучении, согласно которому Христос умер ради спасения всех людей. Но Гоббс, объясняя условия, порождающие первоначальное состояние войны всех против всех («Левифан», гл. 13), опирается как на факт на утверждение о приблизительном равенстве физических и умственных способностей всех людей в том смысле, что различия между ними так малы, что полное равенство может быть допустимой рабочей гипотезой. Таково было общее мнение философов. Впредь мы будем называть это предположение аналитическим эгалитаризмом в отличие от христианского идеала, который мы назовем нормативным эгалитаризмом.

Теперь мы, во-первых, должны отметить, что аналитический эгалитаризм имеет огромное значение не только для экономической социологии и многих практических приложений экономической науки, но и для самой экономической теории. Попробуем заменить этот тезис противоположным, и мы увидим, как

преобразится вид всех экономических процессов. Во-вторых, с немногими исключениями и с незначительными оговорками все экономисты признавали и по сей день признают аналитический эгалитаризм. Но они не предприняли ни одной серьезной попытки верификации этого основополагающего для их теоретических систем тезиса, для чего, казалось бы, имелись все основания. Мы вернемся к этому в высшей степени любопытному факту при рассмотрении «Богатства народов».

d) Вклад в экономическую науку. Экономическая теория философов естественного права по сути не содержит ничего нового по сравнению с теорией Молины. Достаточно сослаться на ее законченное изложение в трактате Пуфендорфа. Различная ценность для потребления и ценность для обмена (или *pretium emipens*), Пуфендорф определяет последнюю через соотношение редкостей или наличных количеств благ и денег. Рыночная цена здесь тяготеет к величине нормальных издержек производства. Его анализ процента (здесь он охотно цитирует Библию) явно уступает теориям поздних схоластов. Обсуждает он и различные проблемы государственной политики: борьбу с роскошью с помощью законов, ограничивающих расходы; регулирование монополий, ремесленных цехов, права наследования и майората, народонаселения. Повсюду чувствуются здравый смысл и умеренность, а также ощущение хода истории. Повсеместно уделяется внимание вопросам благосостояния. Одним словом, вновь перед нами зародыш «Богатства народов».

## **7. Философы естественного права: анализ на основе естественного права в XVIII в. и впоследствии**

К 1700 г. теории, о которых пойдет речь в следующей главе, превзошли достижения философов естественного права. Однако нам кажется полезным вначале проследить дальнейшие судьбы этого небольшого источника экономических истин до того момента, пока он не потеряет своей индивидуальности и, слившись с более широким потоком, не пропадет из нашего поля зрения (см. ниже, подраздел g).

Шестьдесят или семьдесят лет, предшествовавших Французской революции, обычно называют эпохой Просвещения. Это название отражает ускорившееся развитие во многих направлениях или скорее усилившееся ощущение развития, всеобщий энтузиазм вокруг прогресса и реформ.

Подвергнуть критике разума нагромождение несуразностей, оставшихся в наследство от прошлого, — вот лозунг той эпохи. Волна религиозного, политического и экономического критицизма, лишенного всякой критичности и отношении к своим собственным догмам, захлестнула все интеллектуальные центры Европы. Особенно быстро шло разложение французского общества, которое, однако, все еще чувствовало себя в безопасности. Как и все разлагающиеся общества, не желающие видеть угрозу своему существованию, оно с удовольствием обхаживало своих врагов и обладало вследствие этого каким-то особым очарованием, к которому чувствительны даже те из нас, кто, листая старые, исполненные благодушия и самодовольства фолианты, ощущает привкус упадка, а порой — что еще хуже — привкус посредственности. Лучшее противоядие от комплиментов, расточаемых самим себе представителями этого новоявленного века Разума, состоит в том, чтобы прочесть их сочинения. К счастью, среди них есть вещи более достойные, чем произведения Вольтера и Руссо. Разумеется, рамки этой книги не позволяют описать ни интеллектуальную ситуацию того времени, ни ее социальный фон.<sup>1</sup> Мы можем привести лишь абсолютный минимум необходимых сведений.

**(а) Наука о природе человека: «психологизм».** Единственное, что следует упомянуть из области теологии, — это утверждение натуральной теологии (ее отделение от *sacra doctrina* — священной доктрины — восходит, напомним, к XIII в.) в качестве отдельной отрасли светской общественной науки. Ее собственно теологическое содержание постепенно свелось к пресному деизму.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> И то и другое описывалось бесчетное число раз, однако сделать полезную выборку очень трудно. Лучше всего, наверное, прочитать знаменитую книгу Ипполита Тэна (*Taine I. Les Origines de la France contemporaine. 1876-1893*) или работу Анри Се (*Sée H. Les Idées politiques en France au XVIII<sup>e</sup> siècle. 1920*). Прекрасный портрет не только одного человека, но и всей цивилизации дает короткий очерк Литтона Стрэйчи о Морелла (*Strachey L. Portraits in Miniature. 1931*). Полчаса, затраченные на прочтение этого очерка, плюс еще полчаса на его обдумывание принесут читателю больше, чем чтение многих толстых томов. В области английской мысли читателю можно порекомендовать раннюю книгу сэра Лесли Стивена (*Stephen L. History of English Thought in the Eighteenth Century. 1876*) или его же *English Literature and Society in the Eighteenth Century (1904)*, а также работу Х. Ласки (*Laski H. J. Political Thought in England from Locke to Bentham 1920*). Разумеется, как всегда, можно обратиться к книге Дж. Бонара (*Bonar J. Philosophy and Political Economy. 3rd ed., 1922*).

<sup>2</sup> Этот тезис наглядно иллюстрирует трудности, возникающие в очерках подобного рода. Его следует привести, чтобы не упустить важный факт, характеризующий интеллектуальную атмосферу эпохи. Тезис совершенно справедлив. Вместе с тем из него легко сделать неверные выводы. С одной стороны,

Более интересно развивалась социология религии — теория о происхождении и бытовании в обществе религиозных идеалов, основы которой заложил Гоббс.

Наиболее важным явлением в области философии явилось триумфальное шествие английского эмпиризма, или сенсуализма (учения Гоббса и Локка), что весьма любопытно, поскольку с позиций эмпиризма, так же как и философского рационализма, нельзя обосновать те требования, которые выдвигались в теологии и в других областях от имени *la raison*. Это, разумеется, обусловило успех ассоциативной психологии. Здесь я хотел бы сделать паузу и представить читателю трех мыслителей, труды которых, воплотившие высшие духовные достижения той эпохи, имеют для нас огромное значение.

Это Кондильяк, Юм и Хартли. С первыми двумя мы еще встретимся, рассматривая их вклад в экономическую науку. Влияние третьего очевидно в трудах Джеймса Милля.<sup>3</sup>

---

здесь не упоминается сходство деизма с откровенным философским материализмом, обнажающее его подлинную природу. Поэтому отметим, что философский материализм в этот период тоже получил форму, неизвестную в средние века. Примером может служить «Система природы» Гольбаха. С другой стороны, наш тезис ничего не говорит о том, что в XVIII в. наблюдалось несколько течений религиозной мысли, не сводимых к деизму и материализму, вместе взятым. Это справедливо даже для Франции: интеллектуальная активность французской церкви вовсе не сводилась к деятельности вольнодумных аббатов, которым сутана служила лишь правом на пребенду <доходы и имущество, предоставляемые привилегированной части католического духовенства за исполнение обязанностей, связанных с занимаемой должностью>. Здесь следует отметить деятельность Общества аббатства Сен-Жермен де Пре, центральной фигурой которого был Жан Мабийон. Однако нам пора двигаться дальше.

<sup>3</sup> Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780; *Oeuvres complètes* — 1821–1823; о нем см.: *Lenoir R. Condillac*. 1924) превратил локковский сенсуализм в искусную систему (*Essai sur l'origine des connaissances humaines* («Опыт о происхождении человеческого сознания»); 1746; *Traité des sensations* («Трактат об ощущениях»); 1754), как в философском, так и в психологическом аспекте явившуюся наиболее значительным достижением в этой области в континентальной Европе. Вклад Кондильяка не сводится, однако, к простой систематизации. Он выдвинул много оригинальных идей. Некоторые из них, например теория о роли языка и других систем символов (*Langue de calcul* («Язык исчислений»); 1798), несмотря на использование метода интроспекции, прокладывают путь в далекое будущее вплоть до современного бихевиоризма Уотсона.

Дэвид Юм (1711–1776), помимо всего прочего оказавший определяющее влияние на А. Смита, заслуживает нашего внимания в трех различных и почти не связанных друг с другом ипостасях: как экономист, вышедший за рамки теории естественного права, которую мы сейчас обсуждаем; как историк — об этой стороне его творчества мы поговорим ниже — и как философ и метасоциолог — в этом качестве он интересует нас сейчас. Его ранняя работа «Трактат о человеческой природе: попытка ввести экспериментальный метод рассуждения [sic! — *И. III.*] в области морали» (т. 1, 2 — 1739; т. 3 — 1740) порази-

Все трое не занимались философией ради философствования: они стремились разработать науку о человеке или человеческой природе, которая могла бы служить основой науки (или наук) об обществе. Сферу их деятельности следует назвать метасоциологией или философской антропологией. Все трое, несомненно, полагали, что их труды были новаторскими как с точки зрения цели, так и с точки зрения «экспериментального» метода, который они обосновывали, ссылаясь на авторитет Фрэнсиса Бэкона. Тем более важно подчеркнуть, что это было не так. И по цели, и по методу исследования их очевидным предшественником был Гоббс. Но мы знаем, что Гоббс, несмотря на всю свою оригинальность, вполне вписывался в круг философов естественного права, таких как Гроций или Пуфендорф, и не отличался от них по целям и методам исследования. Разумеется, Кондильяк, Юм и Хартли, имея более ясную цель, четче формулировали свои мысли. Они смогли продвинуть науку о человеческой природе намного дальше. Однако сама идея такой науки и стремление вывести из нее основные положения отдельных общественных наук были присущи и философам естественного права, и косвенно схоластам.

Сходство прослеживается во многих деталях: например, зачатки ассоциативной психологии можно найти в аристотелевских категориях сходства и соприкосновения и в соответствующих категориях схоластической психологии. Более того, метод, действительно примененный учеными XVIII в., был в точности

---

тельно подтверждает тезис Оствальда о том, что оригинальное творчество — привилегия людей, не достигших тридцатилетнего возраста, а также другое мнение, согласно которому часть этой оригинальности следует отнести за счет незнания молодым автором работ своих предшественников. Позднее неудачно переделанная для «Философских эссе» (1748; переизд. под заглавием *Enquiry concerning Human Understanding* («Исследование человеческого разума») в 1758), эта работа является наиболее важным связующим звеном между Локком и Кантом, намного превосходя первого и почти не уступая интеллектуальному уровню второго. Наиболее важным вкладом Юма была его теория причинности. Так считал и сам Юм, что доказывает отдельная публикация данного отрывка в 1740 г. под названием «Фрагмент из Трактата о человеческой природе». В 1938 г. этот отрывок был обнаружен и вновь опубликован с предисловием Дж. М. Кейнса и П. Сраффы.

Дэвид Хартли (1705–1757) не в меньшей степени, чем Кондильяк, может считаться отцом ассоциативной психологии. Однако его «Размышления о человеке» (*Observations of Man...* 1749) сослужили его науке такую же службу, как «Опыт о законе народонаселения» Мальтуса — содержащейся в нем теории (читатель впоследствии сможет оценить эту аналогию). Он также внес в теорию нечто новое: насколько я могу судить, он первым связал чувственное восприятие и ассоциации впечатлений с «вибрацией нервов», т. е. связал психологию с физиологией. Далее он разработал на этом основании теоретическую этику и даже натуральную теологию.

таким же и ничуть не более «экспериментальным», чем метод их предшественников. Поэтому по аналогии с тем, как мы называли философов естественного права светскими схоластами, мы имеем основание назвать Кондильяка, Юма и Хартли философами естественного права XVIII в.<sup>4</sup> Из их науки о человеке нас особенно интересуют два момента. Во-первых, метасоциология Кондильяка, Юма и Хартли была в основе своей психологической. Психология же их была интроспективной, т. е. она исходила из того, что наблюдение ученого за своими собственными психическими процессами есть полноценный источник информации. Оба эти обстоятельства имеют важное значение для истории экономического анализа, но особо интересно для нас первое из них. Упомянутые авторы и большинство их современников несомненно верили в то, что психологические соображения объясняют не только психологические механизмы индивидуального и группового поведения и отражение общественных явлений в индивидуальном и групповом сознании, но и сами эти общественные явления. Разумеется, они не стали бы отрицать, что для объяснения любого события, института или процесса мы должны принимать во внимание и другие факты помимо психологических. Но они не разработали никаких общих теорий касательно этих фактов и не включили их в свою метасоциологию: единственное общее знание, нужное всем без исключения наукам о человеческих поступках или мнениях, — это знание психологическое. Все эти науки не что иное, как прикладная психология.

Эта точка зрения не является единственно возможной. Мы можем предположить, что какие-либо иные факты (например, географические, технологические, биологические) имеют в практике анализа гораздо большее значение, чем все, что может предложить психологическая наука о человеческой природе. Тогда метасоциологию нужно строить из другого, непсихологического материала. Карл Маркс, например, считал, что общественные процессы имеют собственную сверхиндивидуальную логику, понять которую с помощью индивидуальной и групповой психо-

---

<sup>4</sup> Сходство, которое я хотел бы здесь подчеркнуть, можно пояснить противоположным примером: современные специалисты в области общественных наук никогда не руководствуются никакой основополагающей наукой о человеческой природе. Они прямо обращаются к явлениям и проблемам своих областей знания, используя такие методы и гипотезы, которые им наиболее подходят. Если искать эти «современные» черты у таких авторов, как Юм, то кроме враждебности к метафизике следует упомянуть о том, что об экономических, к примеру, вопросах они рассуждали безотносительно к своим трудам о человеческой природе. В этом одна из причин того, что мы будем отдельно разбирать их экономические теории.

логии нельзя (за исключением поверхностных явлений, не требующих, впрочем, углубленного психологического анализа). Неважно, какого из этих двух взглядов на природу и метод общественных наук мы будем придерживаться, — мы просто не должны забывать, что путь, избранный упоминавшимися здесь авторами, нельзя принимать за нечто само собой разумеющееся. Чтобы подчеркнуть это, мы назовем такую точку зрения психологизмом.

Кроме того, социология, опирающаяся на эту науку о человеке, как и социология Аристотеля, переоценивала рациональный элемент в поведении. Интересно, что против этого начали восставать лучшие умы эпохи. К примеру — любопытный лаг! — когда идея *contrat social* <общественного договора (фр.)> достигла наивысшей популярности усилиями таких авторов, как Руссо, Юм уже отвергал ее как вымышленную и, более того, совершенно бесполезную конструкцию. В добавление к этому он энергично подчеркивал: «Таким образом, не разум правит миром, а привычка» («Фрагмент...»; с. 16).

[b) Аналитическая эстетика и этика]. Способ, с помощью которого эти основополагающие науки о человеке — человеческой природе, человеческом знании и человеческом поведении — формулировали возможные «естественные законы», лучше всего проиллюстрировать на примере английской «натуральной эстетики» и «натуральной этики» XVIII в. Разумеется, даже в Англии не все труды по эстетике и этике относились к этим направлениям. Однако для нас особый интерес представляют именно натуральная эстетика и натуральная этика, поскольку, рассматривая их, мы раскроем методы, которые затем более ста лет использовались в экономическом анализе.

Во-первых, натуральная эстетика и натуральная этика представляли собой аналитические науки: хотя они не отказывались от нормативных целей, эти цели не мешали выполнению главной задачи — объяснению действительного поведения. Этот аналитический подход вышел на первый план уже в XVII в., в эстетике — усилиями нескольких итальянских ученых, а в этике — усилиями Гоббса и Спинозы.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Барух Спиноза (1632–1677). Из его произведений к данной теме относятся «Этика» и «Политический трактат» (*Tractatus politicus*; оба опубликованы после смерти автора в 1677 г.). Чисто научную программу Спинозы трудно выделить, поскольку его этика в конце концов вливается в чрезвычайно метафизическую общую систему, но он подчеркивал необходимость изучать человеческие страсти такими, какие они есть, вместо того чтобы заниматься проповедями. Поскольку данная сноска — наша единственная возможность воздать должное этому великому мыслителю, разрешите процитировать

Во-вторых, аналитическая задача решалась в духе упомянутого выше психологизма: психология должна была не только дать общий подход к исследованию эстетических и этических явлений, но и объяснить все то, что подлежало объяснению в данной области.

В-третьих, психология при этом использовалась не всегда строго ассоциативная, но всегда индивидуальная, интроспективная и крайне примитивная: редко она включала хоть что-нибудь, кроме простой гипотезы о реакциях индивида, из которой дедуцировалось все остальное. Таким образом, эстетические и этические ценности объяснялись примерно так же, как экономическая ценность итальянскими и французскими экономистами в XVIII в. и большинством экономистов всех стран в XIX в. Эту процедуру называли эмпирической, хотя она была таковой не более, чем теория предельной полезности Джевонса—Менгера—Вальраса. В ней не было ничего «экспериментального» или индуктивного и, откровенно говоря, было мало реалистичного, несмотря на программные заявления, воинственные кличи и апелляции к Фрэнсису Бэкону.

Впоследствии натуральная эстетика свелась к анализу приятных ощущений, вызываемых произведениями искусства. Психологии художественного творчества уделялось гораздо меньше внимания.<sup>6</sup>

Чтобы выявить аналогию с областью экономического анализа, мы сопоставим объективный факт признания художественного произведения прекрасным в рамках данной социальной группы с объективным фактом существования рыночной цены. Эстетическая теория, о которой здесь идет речь, объясняет первый факт субъективными оценками членов группы, так же как аналогичная экономическая теория объясняет второй факт субъективными оценками индивидуальных участников рынка. В обоих случаях субъективная оценка порождает объективную ценность (напомним, что применительно к товарам это утверждали и схоласты), а не наоборот: вещь прекрасна, потому что она нравится, а не вещь нравится, потому что она объективно прекрасна. Конечно, можно пойти дальше и задаться вопросами, почему определенные вещи нравятся определенным людям и откуда про-

---

одно его изречение, которое, хотя оно относится к политике и этике, каждый экономист должен иметь право повторить на смертном одре: «Я усердно пытался заниматься предметом этой науки с той же спокойной беспристрастностью, с которой мы привыкли иметь дело в математике».

<sup>6</sup> Это справедливо лишь как общая тенденция, да и то только применительно к Англии. Психологический и социологический анализ творчества в зачаточном виде можно встретить у Гоббса и в развитом виде у Вико.

исходят наши идеалы прекрасного. Но сколько бы мы ни исследовали эти и подобные им проблемы, мы не выйдем за рамки данной концепции, даже если дополнительно введем понятие «чувства» прекрасного. Различные авторы в разной мере продвинулись по пути субъективизации эстетики, но бесспорно, что именно эта субъективизация составила главный вклад данной школы и, по мнению ее членов, была самым реалистическим, «экспериментальным» и неспекулятивным элементом ее учения. Основными представителями аналитической эстетики в Англии были Шефтсбери, Хатчесон, Юм и Элисон. Первые три автора, однако, гораздо более прославились в области этики.<sup>7</sup>

Все, что было только что сказано об эстетике, можно отнести и к этике. Однако необходимы некоторые дополнения. Краткая история аналитической этики такова: Гоббс описал действительное поведение людей, опираясь на один определяющий, по его мнению, фактор — индивидуальный гедонистический эгоизм. Это могло казаться ему высшим проявлением реализма, но в действительности было лишь постулатом или гипотезой, к тому же очевидно нереалистической. Шефтсбери противопоставлял этой теории другую гипотезу — гипотезу альтруизма: он утверждал, что у человека, живущего в обществе, чувства дружелюбия и уважения к чужому благу формируются так же естественно, как и собственный интерес. К этому он добавил еще одну, также порожденную интроспекцией гипотезу, согласно которой добродетельные люди получают удовольствие, делая добро, независимо от того, как они оценивают его последствия. К этому сводится так называемая теория нравственного чувства Шефтсбери, которая, хотя ее объясняющая сила, очевидно, не столь уж велика, пользовалась большим успехом именно благодаря крайней простоте заключенной в ней «психологии». Позиция Шефтсбери была

<sup>7</sup> А. Эшли Купер, третий граф Шефтсбери (1671–1713), внук политика сомнительной славы. Книга, соединяющая все его более ранние публикации, — *Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times* — вышла в 1711 г. Ключевой фигурой является для нас Фрэнсис Хатчесон (1694–1746), поскольку он был учителем Адама Смита (и его предшественником по кафедре в университете Глазго). Энергичный и весьма популярный преподаватель (его популярность росла и благодаря остроумным изречениям, на которые он был мастер), Хатчесон пользовался большим авторитетом. Его главный труд, плод многолетнего педагогического опыта, называется «Система нравственной философии» (*Hutcheson F. A System of Moral Philosophy*; опубл. посмертно в 1755 г., см. ниже, подраздел г). С точки зрения проблем, обсуждаемых здесь и ниже, важное значение имеет его «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели» (*Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue*; 1725). «Эссе о природе и принципах вкуса» Арчибалда Элисона (*Essays on the Nature and Principles of Taste*; 1790) наиболее ярко демонстрирует возможности и границы психологического подхода.

систематизирована и развита Хатчесоном. Юм же под влиянием всех троих упомянутых своих предшественников создал моральный тип дружелюбного, беззаботного, гуманного, в рамках умеренности стремящегося к удовольствиям человека, каким был он сам. Аскетизм и другие монашеские добродетели начисто отсутствовали у него и, следовательно, конечно, у всех остальных людей.

То, что непредубежденный анализ монашеских добродетелей может раскрыть истинную природу феномена этического, не приходило ему в голову. Абрахам Таккер (1705–1774)<sup>8</sup> также утверждал, что удовлетворение индивидуальных желаний является конечной целью и всеобщим мотивом человеческой деятельности. Думаю, я не ошибусь, если припишу точку зрения Юма—Таккера также и Бентаму, считавшему, что единственными интересами, из которых может исходить индивид, являются его собственные, но добавлявшему, что разумный или просвещенный собственный интерес учитывает также интересы, чувства и реакции других людей.

Однако английские моралисты XVIII в., как и все моралисты вообще, не могли обойтись без нормативных стандартов поведения и суждения. Некоторые из них уповали на нравственный закон, который люди знают и принимают интуитивно, — идея, предвосхитившая нравственный императив Канта. Даже Локк апеллировал к такой нравственной интуиции, хотя для эмпириста это очень большое прегрешение. Но такого типа решения никогда бы не удовлетворили Юма или Бентама. Для них все это — голая метафизика. В то же время они были готовы обратиться в идеал человеческий эгоизм, т. е. превратить свою теорию поведения в источник норм поведения. Мы видим, что Юм моделировал мир нравственности по своему образу и подобию.<sup>9</sup>

Естественно, что с восхитительной наивностью он полностью одобрил эту модель: его собственные предпочтения, безус-

<sup>8</sup> *Tucker A. Light of Nature Pursued. 1768–1777* (переизд. — 1805).

<sup>9</sup> Эта склонность социальных философов возводить свои представления о жизненных ценностях в этическую норму, исходя из которой можно судить об обычаях и вкусах других людей, заслуживает внимания, поскольку она проходит сквозь всю экономическую литературу и многое объясняет в ценностных суждениях экономистов. К примеру, у Маршалла была совершенно определенная концепция «благородной жизни» (см. ниже, часть IV). Нетрудно догадаться, что эта концепция не что иное, как модель жизни типичного кембриджского профессора. Вкусы, стремления, представления об уюте, резко отличающиеся от его собственных, он в лучшем случае рассматривает со снисходительностью, но никогда не пытается полностью понять их. Трудно переоценить важность этого обстоятельства, говоря об отношении экономистов к социальной среде, в которой они живут.

ловно, были разумными. С другой стороны, свет разума устранил все надиндивидуальные ценности, кроме общественного блага. Но из чего же в рамках данной философии может состоять это общественное благо, кроме как из суммы всех удовольствий, получаемых всеми индивидами от реализации своих гедонистических предпочтений? А если это так, то разве мы не обнаружили одним разом основу всех общественных ценностей, соотношение между ними и индивидуальными ценностями, а также единственную, имеющую какой-то смысл норму морали? Утвердительный ответ на все эти вопросы давался уже в XVII в., в первую очередь епископом Камберлендом<sup>10</sup> и в менее отчетливом виде Гроцием, не вышедшим далеко за пределы схоластической концепции общественного блага. Авторы XVIII в., в особенности от Юма до Бенета, лишь совершенствовали основополагающий канон утилитаристской этики: добро есть каждое действие, способствующее общественному благосостоянию, а зло есть каждое действие, наносящее ему ущерб. Прежде чем мы проанализируем разные аспекты этого принципа, рассмотрим произведение, представляющее особый интерес для экономиста и принадлежащее перу А. Смита.<sup>11</sup>

За исключением, может быть, трудов Шефтсбери, это произведение, по-моему, намного превосходит все аналогичные трактаты. Во-первых, Смит, как и Хатчесон, но гораздо яснее, чем все остальные, подчеркнул разницу между этикой как теорией поведения и этикой как теорией, объясняющей человеческие суждения о поведении, и сосредоточил свои усилия исключительно на последней.

Во-вторых, его теория этических суждений основана на нашей способности поставить себя на место другого («симпатии») и понять его. Суждение о наших собственных поступках выводится затем из принципов, выработанных для оценки поведения других людей. В-третьих, естественным считается все психологически нормальное с точки зрения реалистического анализа. Естественное, таким образом, не отождествляется с идеальными

<sup>10</sup> *Cumberland. De legibus naturae. 1672.*

<sup>11</sup> *The Theory of Moral Sentiments, or An Essay towards an Analysis of the Principles by which Men naturally judge concerning the Conduct and Character, first of their Neighbours and afterwards of themselves. To which is added, A Dissertation on the Origin of Languages* («Теория нравственных чувств, или Опыт исследования законов, управляющих суждениями, естественно составляемыми нами сначала о поступках прочих людей, а затем и о своих собственных. С приложением диссертации о происхождении языков»). Это заглавие 6-го издания 1790 г. 1-е издание появилось в 1759 г. под названием *The Theory of Moral Sentiments* («Теория нравственных чувств»). Различия между двумя изданиями есть, но, кроме диссертации, несущественны.

правилами разума. В-четвертых, влияние полезности на эстетические и этические суждения трактуются не как постулат, а как проблема, решаемая каждым человеком на практике (часть 4-я). В-пятых, обычаи и мода не только признаются существенными факторами, но и подвергаются систематическому исследованию (часть 5-я). «Системы нравственной философии», т. е. теории других авторов, подвергаются критике, иногда банальной, но в целом на редкость удачной (часть 6-я). План и способ изложения такие же, как и в «Богатстве народов».

[с) **Собственный интерес, общественное благо и утилитаризм.** Как мы знаем, собственный интерес и общественное благо не были новыми концепциями для XVIII в. Но в середине этого столетия они с особой энергией внедрялись не только в этику, но и во всю область общественных наук. В частности, они были (или считались) основными и единственными принципами всех общественных наук, по существу единственными принципами, согласными с «разумом». Гельвеций (1715–1771)<sup>12</sup> сравнил роль, которую играет принцип собственного интереса в жизни общества, с ролью закона всемирного тяготения в неживой природе. Даже великий Беккариа<sup>13</sup> утверждал, что человек полностью эгоистичен и эгоцентричен и вовсе не беспокоится о чужом (или общественном) благе. Следует напомнить, что этот собственный интерес индивида определяется его рациональным ожиданием будущих удовольствий и страданий,<sup>14</sup> понимаемых, в свою очередь, в утилитаристическом смысле.

Следует признать, что авторы XVIII в. внесли уточнения и включили в разряд удовольствий такие, как удовольствие от злодательства, от власти и даже от веры в Бога, обычно не относящиеся к гедонистическим. Это до некоторой степени позволило защитникам данной доктрины избавиться от упреков в том, что

<sup>12</sup> De l'Esprit <Об уме>. 1758. Беседа II, гл. 2. Эта книга, одна из предшественниц английского утилитаризма на европейском континенте, пользовалась огромным успехом. Немногие авторы обладали столь наивной и безусловной верой в образование и законодательство — а такая вера, безусловно, оказывает влияние на абсолютно податливый человеческий материал, механически реагирующий на физическое воздействие.

<sup>13</sup> Нас более всего интересует в данный момент его знаменитый трактат «О преступлениях и наказаниях» (Dei delitti e delle pene. 1764) — важнейшая веха в истории современного уголовного права. Это сочинение особенно наглядно демонстрирует, что аналитические и практические достоинства научного труда не всегда сочетаются.

<sup>14</sup> Можно сделать стандартную ссылку на эссе о природе наслаждений и удовольствий Верри, опубликованное в 1781 г. в его книге *Discorsi di argomento filosofico*, хотя оно имело хождение и влияло на умы задолго до этого. Систематическая классификация и анализ различных наслаждений и страданий — заслуга Бентама.

они сводят все человеческое поведение к погоне за бифштексами. Но их успех был скорее кажущимся, чем реальным (даже если не принимать во внимание, что такого рода защитные аргументы не могут опровергнуть другие возражения, которые можно сформулировать в адрес любой теории, преувеличивающей рациональность поведения). Ведь если мы выйдем далеко за пределы удовлетворения простейших потребностей, мы очень рискуем отождествить ожидание «наслаждения» с любым возможным мотивом, даже с сознательным стремлением к страданиям, а в этом случае, конечно, доктрина становится пустой тавтологией. И — что еще хуже — если мы уделим слишком много внимания таким «наслаждениям», которых можно достичь напряжением сил, победой над врагом, жестокостью и т. д., мы можем получить картину человеческого поведения и человеческого общества, совершенно не похожую на ту, которую рисовали авторы XVIII в. Поэтому, если мы хотим сделать из их идей о наслаждении и страдании те же выводы, что и они, у нас нет иного выбора, кроме как пользоваться их определениями этих понятий. Эти определения позволяют нам не ограничиться бифштексами, но не позволяют выйти далеко за рамки удовлетворения простейших потребностей. То есть мы должны будем принять теорию человеческого поведения, противоречащую самым очевидным фактам. Почему же в таком случае эту теорию охотно приняли столь многие умные люди?

Ответ на этот вопрос заключается, видимо, в том, что эти умные люди принадлежали к категории реформаторов-практиков и боролись против исторически данного порядка вещей, считая его «иррациональным». В такой борьбе простота и даже примитивность аргументации являются скорее ее достоинствами, чем недостатками, а «философия бифштексов» — лучшим доводом против освященной на небесах системы прав и обязанностей. При этом не следует обвинять этих авторов в лицемерии: все мы быстро убеждаем себя в правоте тех глупостей, которые нам приходится исповедовать.

Итак, мы видели, как поклонники разума в XVIII в. преобразили схоластическую концепцию общего блага и общественной целесообразности. Повторим сказанное в других терминах. Предполагается, что наслаждения и страдания каждого индивида поддаются измерению и их алгебраическая сумма образует то, что называется счастьем (*felicità*; в немецком языке часто используется термин *Glückseligkeit*). Эти индивидуальные «счастья» вновь складываются в масштабах всего общества, причем с *одинаковыми весами*: «каждый приравнен к единице и никто не

может значить больше единицы». Наконец, эта общая сумма отождествляется с общим благом или благосостоянием общества, которое, таким образом, распадается на индивидуальные ощущения наслаждения или страдания, представляющие собой единственную конечную реальность. Отсюда вытекает нормативный принцип утилитаризма — наибольшее счастье наибольшего числа людей, ассоциирующийся главным образом с именем человека, яростно его защищавшего, тщательно совершенствовавшего и активно применявшего, — с именем Бентама.<sup>15</sup>

Если лежащая в основе данного принципа идея имеет древнее происхождение и не поддается датировке, то сам лозунг можно датировать довольно точно: насколько я знаю, он впервые появляется у Хатчесона («Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели»; 1725), затем у Беккариа («О преступлениях и наказаниях»; 1764: «наибольшее счастье, разделенное на наибольшее число людей»), затем у Пристли («Опыт об основных принципах государственного управления»; 1768), кото-

<sup>15</sup> Иеремия Бентам (1748–1832) получил юридическое образование, но равно посвятил себя жизни исследователя и пропагандиста. Он стал несомненным лидером утилитаристского кружка и главной фигурой в группе так называемых «философских радикалов». Его вклад в экономическую науку будет описан ниже. Здесь он интересует нас как философ, социолог и теоретик права. Достаточно упомянуть лишь одно из его многочисленных и объемистых сочинений (изданных Джоном Баурингом в 1838–1843 гг.) — «Введение в принципы морали и законодательства» (*Introduction to the Principles of Morals and Legislation*; 1789), оказавшее большое влияние на правовую мысль и законодательную практику, хотя на континенте, особенно в Италии и Франции, аналогичные идеи выростали из местных корней.

Однако следует отметить, что основы утилитаризма были изложены несколько раньше Уильямом Пейли (1743–1805) (*Paley W. Principles of Moral and Political Philosophy*. 1785), а некоторые из них — разносторонним теологом и ученым Джозефом Пристли (1733–1804) (*Priestley J. Essay on the first Principles of Government*. «Опыт об основных принципах государственного управления»; 1768), который, будучи признанным историком церкви и теологом-полемистом, получил известность также как исследователь электрических и химических явлений. Это эссе перебрасывает мостик между теорией государственного управления Локка и неудачными опытами в данной области Джеймса Милля. Но ни Пейли, ни Пристли не привнесли сюда ничего такого, чего нельзя было бы найти в более ранних работах, к примеру в упоминавшемся выше труде Камберленда. Среди континентальных предшественников Бентама достаточно упомянуть все тех же Беккариа, Верри и Гельвеция. У Беккариа связь между ранними системами естественного права и утилитаризмом, как будет показано ниже, наиболее заметна.

Из обширной литературы об английском утилитаризме и философских радикалах читателю рекомендуется в первую очередь эссе Дж. С. Милля «Утилитаризм» (*Utilitarianism*; 1863). См. также книгу Лесли Стивена (*Stephen L. The English Utilitarians*. 1900); уже упомянутую работу Х. Дж. Ласки (*Laski H. G. Political Thought...*); работу У. Дэвидсона (*Davidson W. Political Thought in England: The Utilitarians from Bentham to J. S. Mill*. 1915) и прелестную книгу Г. Уоллеса (*Wallas G. Francis Place*. 1898).

рый, по словам Бентама, обладал этой «священной истиной». У Юма этого лозунга нет, но вполне мог бы быть. Сам термин «утилитаризм» ввел Бентам.<sup>16</sup>

Важно понять, что утилитаризм был не более чем разновидностью теории естественного права. Дело не только в том, что утилитаристы стали историческими преемниками философов естественного права XVIII столетия и их философию можно во всех деталях вывести из истории этики, с одной стороны, и из истории концепции общего блага — с другой. Гораздо важнее то, что, с точки зрения подхода, методологии и общих выводов, утилитаризм действительно был еще одной, последней, системой естественного права. Стремление вывести (с помощью «света разума») «законы» человеческого поведения в обществе из чрезвычайно устойчивого и крайне упрощенного представления о природе человека было свойственно утилитаристам так же, как философам естественного права или схоластам. Если же мы внимательно рассмотрим саму эту концепцию человеческой природы и то, как она предположительно должна была реализоваться (см. выше), то сходство станет еще более заметным.

Как и системы философов и схоластов, утилитаризм выполнял три функции. Во-первых, он являлся жизненной философией, поскольку содержал в себе схему «основных ценностей». Именно здесь мы должны искать причину стойкого впечатления, что утилитаристы, и особенно Бентам, внесли нечто новое, принципиально противоречащее предшествующим теориям. На самом деле, как читатель уже знает, разница в философском осмыслении повседневной жизни была невелика. В том, что касалось конюшни, амбара, мастерской и рынка, схоласты были самыми настоящими утилитаристами. Однако они ограничивали утилитаристский подход чисто утилитарной сферой деятельности, где он до некоторой степени (даже здесь не полностью!) оправдан. Утилитаристы же свели к этой схеме весь мир человеческих ценностей, исключив из рассмотрения как противоречащее разуму все то, что действительно имеет для человека важное значение. Таким образом, они на самом деле создали нечто новое — у Эпикура этого не было — самую плоскую жизненную философию из всех имеющихся и в этом смысле действительно противоречащую всем остальным теориям.

Во-вторых, утилитаризм представлял собой нормативную систему с сильным законодательным уклоном. Как и схоластическая

---

<sup>16</sup> Интерес представляет ставшее знаменитым скептическое замечание А. Смита. Что касается осознанного счастья, отметил он мимоходом, нет особой разницы между состоянием, которое мы принимаем как перманентное, и любым другим.

теория, он был, с одной стороны, системой моральных императивов, а с другой — системой юридических принципов. Бентам считал себя в первую очередь моралистом и законодателем,<sup>17</sup> и принцип «наибольшего счастья наибольшему числу» служил для него прежде всего критерием оценки «хорошего» или «плохого» законодательства. Вспомним, что всеобщее равенство не менее важно для этого принципа, чем счастье. Оба эти аспекта плюс вера в то, что все индивиды по сути одинаковы и представляют собой нерасчлененный податливый материал, имеющий очень мало или не имеющий никаких собственных врожденных свойств, дают в итоге фундаментальный политический лозунг бентамизма: дайте людям образование и разрешите им свободно голосовать, а все остальное произойдет само собой.<sup>18</sup>

Однако, в-третьих, так же как и естественное право и схоластика, утилитаризм является цельной системой общественных наук, обладающих единым методом исследования. И этот его аспект можно трактовать отдельно от двух других, так же как аналитические достижения схоластов и философов допустимо рассматривать отдельно от остальных элементов их системы. Другими словами, логически возможно с начала и до конца презирать утилитаризм как жизненную философию и политическую программу и все же признавать его как инструмент анализа во всех или в некоторых отраслях общественных наук. Вероятно, однако, что утилитаризм как инструмент анализа не обладает большей ценностью, чем в других своих аспектах. С другой стороны, многие экономисты объявили его основой экономической теории, а Дживонс даже определил экономическую теорию как «исчисление наслаждений и страданий». Поэтому мы должны немедленно разрешить вопрос о влиянии утилитаризма на экономический анализ.

---

<sup>17</sup> До Бентама перечень утилитаристских моралистов не полностью совпадал со списком утилитаристских законодателей, и при более подробном изложении следовало бы разделить историю морального и политического утилитаризма. Однако большая часть имен фигурировала бы в обоих списках, и здесь мы не настаиваем на этом различии.

<sup>18</sup> Следует заметить, что эти политические принципы не предопределяли принадлежность их защитника к какой-либо политической партии или платформе. Личные предпочтения Бентама распространялись и на группу его последователей — философских радикалов. Их сплоченность позволила выработать определенную программу (в сущности, *laissez-faire* в сочетании со всеобщим избирательным правом) и породила впечатление, что эта программа неизбежно вытекает из аналитических предпосылок. Но в другое время и в других странах бентамисты могли бы стать консерваторами (Юм и большинство итальянских утилитаристов ими и являлись) или социалистами. В этом нет ничего удивительного, если осознать, что предпочтения играют определяющую роль при формировании политических выводов и в этом качестве подчиняют своему диктату любые аналитические структуры. Можно полностью признавать аналитические труды Маркса и при этом на практике быть консерватором.

Дилетанты, философы и историки мысли часто впадают в одно общее заблуждение: они преувеличивают значение всякого рода основополагающих принципов. На самом же деле люди склонны применять основополагающие принципы, в верности которым они клянутся, в своей научной работе так же мало, как и в своей практической жизни. Поскольку утилитаризм представляет собой набор таких принципов, мы должны в каждом конкретном случае задаться вопросом, какую роль ему было позволено сыграть. Что касается экономической науки, мы можем выделить четыре класса проблем. Во-первых, утилитаристские гипотезы совершенно бесполезны, когда речь идет о проблемах интерпретации истории или движущих силах развития экономики. Во-вторых, утилитаристские гипотезы более чем бесполезны в вопросах действительной мотивации, к примеру при изучении экономических последствий права наследования. В-третьих, утилитаристские гипотезы действительно служат основой той части экономической теории, обычно называемой экономической теорией благосостояния, — наследницы итальянских теорий XVIII в., предметом которых была *felicità pubblica* (общественное счастье). Мы привычно пользуемся этими гипотезами, когда обсуждаем такие проблемы, как «перемещение богатства от сравнительно богатых к сравнительно бедным». Именно поэтому утверждения экономической теории благосостояния никогда не могут убедить того, кто не был убежден с самого начала безотносительно к любым аргументам. Дело в том, что, даже если мы найдем некоторые аспекты данных проблем, для исследования которых утилитаристский подход корректен (при условии, что мы вообще считаем его методологически допустимым), нам удастся доказать не более того, что перемещение доллара от богатого человека к бедному увеличивает благосостояние в утилитаристском смысле. В-четвертых, в области экономической теории в самом узком смысле утилитаристские гипотезы являются лишними, но безвредными. Например, мы можем сформулировать и обсудить свойства экономического равновесия без их участия, но, если мы их введем, результаты не изменятся, а значит, и не ухудшатся. Это позволяет нам уберечь большую область экономического анализа, которая на первый взгляд кажется безнадежно испорченной утилитаристскими предрассудками.

**[d] Историческая социология].** Авторы XVIII в. часто обвиняли в отсутствии «чувства исторического», которое не позволило некоторым из них признать ценности минувших цивилизаций. Тем более важно подчеркнуть, что вместе с болезнью выработывалось и противоядие. Если кое-где мы встречаем глупейшее пренебрежение древнегреческим искусством — к примеру, Вольтера ставили выше Гомера, — то у других авторов находим пред-

посылки его нынешнего обожествления. Временами нас поражает полное отсутствие интереса к истории, но одновременно мы видим богатые плоды серьезной работы историков, заложившие основу для ученых XIX в. Мы можем лишь перечислить пять основных достижений: начался систематизированный сбор материалов; были выработаны новые методы интерпретации и критического анализа исторических документов;<sup>19</sup> история экономики и культуры начала привлекать внимание исследователей, ранее полностью поглощенное политической и военной историей; беспристрастный (относительно) отчет, документирующий события, стал предпочитаться одам и проповедям (Юм, Уильям Робертсон, Гиббон);<sup>20</sup> подтверждением растущего интереса публики послужил успех популярных всемирных и национальных историй. Конечно, существует и такая вещь, как неисторическая история, т. е. человек может выполнять работу историка, не умея смотреть на события со специфически исторической точки зрения. Но «История Англии» Юма (в 8 т.; 1763) — произведение другого рода. Теперь она безнадежно устарела, однако навсегда останется заметной вехой в историографии. Это показывает, что автор, по крайней мере, не был рабом своего утилитаризма.

Еще более важным, на наш взгляд, было появление исторической социологии, иногда называемой философией истории,<sup>21</sup> — т. е. социологических теорий, которые обобщали исторический материал и в то же время пытались объяснить отдельные исторические ситуации и процессы. Значительная часть этих исследований носила дилетантский характер и вызывала раздражение серьезных историков. Более того, некоторые из них отличались неисторичностью в указанном только что смысле: исторические факты часто искажались в угоду требованиям *la raison*. Однако существовали и значительные, и даже фундаментальные достижения. Здесь я могу упомянуть Кондорсе, Монтескье и одного из величайших мыслителей всех времен в области общественных наук — Вико.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Эпохальные «Прологомены к Гомеру» (*Prolegomena ad Homerum*) Ф. А. Вольфа (1759–1824) вышли в 1795 г., но явились результатом предшествующих исследований автора.

<sup>20</sup> По сию пору историки не прекратили проповедовать, восхвалять, осуждать и демонстрировать свои личные, социальные и национальные пристрастия и предрассудки. Здесь я хочу лишь сказать, что наметился существенный прогресс в манере изложения фактов, которая стала более научной и менее эпической.

<sup>21</sup> См.: *Hint R. History of the Philosophy of History*. 1893.

<sup>22</sup> Маркиз де Кондорсе (1743–1794; *Oeuvres*. 1847–1849), один из энциклопедистов (см. ниже, подраздел g), странствовал почти по всем областям науки и политики. Помимо прочего он был хорошо образованным математиком, его

«Эскиз» Кондорсе содержит теорию исторической эволюции, или «прогресса»: ее цель — равенство,<sup>23</sup> а ее движущая сила — нарастающий объем знаний, которые не устает накапливать способный к бесконечному совершенствованию человеческий разум. Это, конечно, весьма убогая социология, но она может служить замечательным примером бескомпромиссного «интеллектуалистского» взгляда на исторический процесс. Напротив, «О духе законов» Монтескье, несмотря на неадекватный инструментарий (в особенности это касается недостаточно критического отношения к историческому материалу), представляет собой серьезное социологическое произведение. Основным его достоинством (и с точки зре-

попытка применять исчисление вероятностей при формировании правовых и политических суждений, хотя и не слишком удачные сами по себе, дали важный импульс другим исследователям. Он был поборником «природных прав», народного суверенитета и равных прав для женщин, ненавидел христианство, причем в пылу как защиты, так и нападения начисто терял способность к критическому суждению. Его вклад в экономическую науку не заслуживает особого упоминания. Наиболее интересен для нас его «Эскиз исторической картины прогресса человеческого ума» (*Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*. 1795).

Монтескье (1689–1755), видимо, не нуждается в представлении. Отметим лишь, что это был один из самых влиятельных мыслителей всех времен и, хотя его экономические работы незначительны — лишены оригинальностью, смыла, эрудиции, он оказал большое влияние на А. Смита другими аспектами своего творчества. Из его произведений отметим не слишком значительные «Персидские письма» (*Lettres persanes*; 1721), «Размышления о причинах величия римлян и их упадка» (*Consideration sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*; 1734) и, конечно, его великий труд «О духе законов» (*De l'Esprit des lois*; 1748), содержание которого отнюдь не сводится к «остроумным замечаниям по поводу законов» <игра слов: *esprit* по-французски значит и «дух», и «остроумие»>.

Джамбаттиста Вико (1668–1744; *Opere*. Последнее изд. — 1911–1913; библиогр. Б. Кроче; пересмотр. и доп. изд. 1947–1948). Часть обширной литературы о Вико испорчена попытками авторов использовать это великое имя в своих целях. Рекомендую читателям эссе Кроче (англ. пер. Коллингвуда, 1913), книгу Р. Флинта «Вико» (*Vico*; 1884) и несколько прекрасных страниц о Вико в работе: *Tagliacozzo*. *Economisti Napoletani*. 1937; есть и несколько хороших немецких книг, особенно работы Вернера и Клемма. Вико был профессором в Неаполе и брался обучать «всему, что можно узнать» (*tutto lo scibile*). Для нас важен тот факт, что он был еще и юристом и всегда уделял особое внимание вопросам права (история права была для него историей человеческого разума). Это делает более наглядной его связь с философами естественного права. Проследить влияние других мыслителей на его идеи — слишком сложная для нас задача. Вероятно, следовало бы назвать греков, римских правоведов, Гроция, английских эмпиристов, Декарта (как антагониста), схоластов и многих других, среди которых и арабский историк Абу Саид Ибн-Халдун (1332–1406). Единственное произведение Вико, которое здесь следует специально упомянуть, — это его «Основания новой науки об общей природе наций» (*Principii di una scienza nuova...* 1725; почти полностью переделаны для 2-го изд. в 1730 г.).

<sup>23</sup> Социолог науки, конечно, увидит здесь мирской эквивалент спасению души.

ния метода, и с точки зрения изложения) является то, что возникающие в обществе исторические ситуации и их смена рассматриваются здесь в свете некоторого числа объективных факторов.<sup>24</sup> Это позволяет получить реалистические объяснения, т. е., иными словами, аналитические теории, а не примитивные рационалистические общие формулы. Это был действительно новый подход, означавший методологический разрыв с идеями естественного права. Это была социология, основанная на действительных наблюдениях за отдельными видами человеческого поведения, существующими в данное время и в данном месте, а не за общими свойствами человеческой природы. С нашей точки зрения, это было фундаментальное достижение Монтескье, воплощенное уже в его более раннем анализе Древнего Рима. Разумеется, успех его книги среди современников и потомков обусловлен его «конституциональными» теориями — концепцией «равновесия сил» и т. д., — которые не представляют для нас интереса.

Достижения Вико были совсем другого рода и не пользовались успехом до конца XIX в. Его «новую науку» (*scienza nuova*) лучше всего определить как «эволюционную науку о разуме и обществе». Но это не следует понимать в том смысле, что эволюция человеческого разума определяет эволюцию человеческого общества. Неуместно и обратное толкование: историческая эволюция общества определяет развитие человеческого разума, хотя оно ближе к истине. Вико понимал разум и общество как два аспекта одного и того же эволюционного процесса. Разум, понимаемый как рациональные или логические операции человеческого рассудка, не играл важной роли в этом процессе, который Вико трактовал в совершенно антиинтеллектуалистском духе. Разум, понимаемый как цели и ценности людей, предстающие перед разумом наблюдателя, также не имеет с ним ничего общего. Разработанная Вико теория круговоротов (*corsi e ricorsi*) решительно отвергает наличие какой-либо тенденции, ведущей к этим целям и ценностям, а также существование самих этих целей и ценностей. В этой теории философия и социология, мысль и действие слились воедино, и это единство, безусловно, имело исторический характер.<sup>25</sup> И хотя Вико далеко превзошел основ-

<sup>24</sup> Следует особенно отметить упор на влияние географической среды. Здесь Монтескье, видимо, перекликается с Фукидидом. В свою очередь, его исследования вдохновили позднейших антропологов, таких как Видаль де ла Блаш.

<sup>25</sup> Близкое понимание истории мы находим позднее у Гегеля и (хотя это менее очевидно) у Гуссерля. Этот факт объясняет как сравнительный неуспех теории Вико среди его современников, так и его триумф почти через два столетия. Однако он не должен скрывать от нас чисто аналитические аспекты его работы, имеющие параллели в появившемся позднее менее обширном и менее

ные течения мысли XVIII в., сам он тоже принадлежал этому столетию.

[е) Энциклопедисты]. Мы уже отмечали, что в XVII в. вырос спрос на словари и энциклопедии. В XVIII в. этот спрос продолжал увеличиваться, и для того, чтобы удовлетворить его, затевались такие амбициозные предприятия, как «Циклопедия» Чеймбера, «Универсальный лексикон» Цедлера и др. Всех их превзошла, однако, великая французская «Энциклопедия»<sup>26</sup> (изд. с 1751 г.), которая, среди прочего, превосходила другие работы того же типа по количеству и качеству статей на экономические темы. Но здесь мы упоминаем ее в другой связи: каждый человек, для которого слова «дух эпохи» имеют какой-то смысл, несомненно, будет искать именно в «Энциклопедии» воплощение духа XVIII столетия. Постольку, поскольку это верно, данное произведение составляет важную часть культурного фона той эпохи, фрагменты которого мы пытаемся здесь воссоздать. Но насколько это верно? Как и все работы такого рода, французская «Энциклопедия» содержала статьи, отличающиеся друг от друга не только по качеству, но и по принципиальным позициям их авторов. Так, упомянутые экономические статьи принадлежали, к примеру, таким несхожим авторам, как Кенэ и Форбоннэ, в то время как большинство других статей (особое внимание уделялось физике и технике) не содержали никаких различий в философском и политическом смысле. Однако сила личности главного редактора Дидро проявилась в том, что «Вавилонской башне», как называли «Энциклопедию» враждебные критики, было придано известное единообразие. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить имена ведущих членов кружка, образовавшегося вокруг Дидро: Даламбер, Вольтер, Кондорсе, Гольбах, Гельвеций. Все они были едины в своем служении *la raison*, под которым понималась в данном случае враждебность к христианству, и особенно к католицизму. Возможность пропагандировать такую точку зрения в статьях по истории, философии и религиозным вопросам использовалась с различной степенью сдержанности. Но на этом единодушие заканчивалось. В других аспектах оно отсутствовало, да к нему и не очень-то стремились. Философия энциклопедистов в основном эмпиристского толка, но только в основном. Статьи по политическим вопросам о государстве, управлении и политике выражают мнения, выходящие да-

глубоком труде Монтескье, в особенности в том, что касается усиленного внимания к фактору окружающей среды.

<sup>26</sup> Читатель получит больше чем достаточно информации, прочитав статью *Encyclopaedia* в Британской энциклопедии.

леко за пределы кружка энциклопедистов. Никакой определенной программы, в особенности революционной, в них не было: хотя эти интеллектуалы своими язвительными замечаниями, несомненно, задевали режим Людовика XV и отдельные его проявления, в целом они чувствовали себя слишком уютно, чтобы стремиться к насильственному перевороту. Некоторые из них воспевали просвещенных деспотов своей эпохи, которые проводили реформы... и хорошо платили. Те, кто дожил до революции, отнеслись к ней без особого энтузиазма. Таким образом, хотя великое французское предприятие действительно символизирует одно из важных течений общественной мысли, его значение не представляется нам таким огромным, как его противникам — современникам, своей критикой упрочившим его успех.

Есть, однако, момент, который хотелось бы здесь подчеркнуть или напомнить (см. выше, § 5), — это связь идей энциклопедистов с философией естественного права XVII в. Преемственность здесь очевидна. Сами энциклопедисты и все авторы, к которым можно применить этот термин в широком смысле, не всегда отдавали должное философам естественного права. Однако они не проявили к их идеям никакой враждебности и разрабатывали их в своих теориях.

Это и неудивительно. Разве естественное право не выведено разумом из природы человека? А ведь это суть программы энциклопедистов. Разумеется, философские системы естественного права должны были прийтись им по вкусу. Религиозная форма скрывает от них подлинный источник этих идей: они не могли цитировать тезис Фомы Аквинского, что естественное право это *rationis regula* <правила разума (лат.)>. Но с философами, которые были хотя бы не католиками, таких проблем не возникало. И поэтому энциклопедисты на страницах «Энциклопедии» и вне ее, а также другие авторы, такие как Кенэ, которые не были энциклопедистами в строгом смысле слова (хотя и писали статьи для «Энциклопедии»), продолжали пользоваться аналитической схемой философов и иногда повторяли даже их самые сомнительные аргументы. «Естественный порядок» (*ordre naturel*) Кенэ следовало бы считать побегом древа естественного права даже если бы Кенэ не написал о естественном праве специальную статью. Аббат Мореллэ, ярый защитник свободы торговли, удовлетворялся тем аргументом, что поскольку человек от природы свободен, то он может покупать и продавать где хочет, а протекционизм нарушает закон природы. Аргумент повторялся и в других писаниях той эпохи и, видимо, некоторым казался убедительным.<sup>27</sup> Чрезвычайно интересная деталь, характеризующая век разума!

<sup>27</sup> Аббата Андре Мореллэ (1727–1819) нельзя назвать светилом среди энциклопедистов — он был не более чем способным памфлетистом. Нет необхо-

[f) Полусоциалисты]. Мы уже говорили, что энциклопедисты в целом не были революционерами в политике. Не были они и социалистами. Эгалитаризм того времени — и нормативный и аналитический — предусматривал критику неравенства в распределении богатства (в особенности значительного неравенства). Мы находим ее у Гельвеция и многих других авторов. Очевидные слабости теорий естественного права на собственность, будь то в стиле Локка или в специальной форме, разработанной физиократами (см. ниже, глава 4), вызывали критику, которая иногда переходила со специфических аргументов в защиту собственности на собственность как таковую. Однако, хотя историк социалистических идей может составить длинный список социалистических, коммунистических и близких к коммунистическим публикаций, оказавших некоторое влияние на социализм XIX в., для историка экономической мысли в этом списке найдется мало интересного: он может спокойно солидаризироваться с мнением Карла Маркса о такого рода литературе. Следует лишь отметить, что социалисты и полусоциалисты, опровергая выводы, полученные методами естественного права из посылок естественного права, сами почти всегда использовали эти посылки и методы. Как приверженцы *la raison* сражались со схоластикой, заимствуя ее методы и результаты анализа, так и авторы-социалисты и полусоциалисты XVIII в. оставались по образу мыслей философами естественного права.

Концепции естественных законов и природных прав вполне могли служить противоположным практическим целям. В качестве примера приведем идеи Руссо, Бриссо, Морелли и Мабли. Для удобства мы добавим к этому перечню также Гудвина, представляющего собой совершенно иную фигуру. Его единственный вклад в экономический анализ будет, однако, рассмотрен впоследствии.

Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), хотя он и восхвалял естественное состояние общества и равенство, трудно назвать социалистом. Он был типичным «полусоциалистом» в нашем понимании этого слова. Но его нельзя назвать и экономистом. Статья Руссо о политической экономии в «Энциклопедии» практически не имеет отношения к экономической науке. Его эссе о происхождении неравенства дает не слишком серьезное объяснение этого феномена.

---

димости упоминать его экономические труды, но он интересен как типичный представитель своего времени. Именно поэтому я рекомендовал читателю эссе о нем Литтона Стрэйчи. Так или иначе, Мореллэ собрал материал для «Универсального словаря коммерческой географии» Пёше (*Dictionnaire universel de la géographie commerçante*; 1799–1800) — важного звена в длинной цепи экономических и полуюэкономических словарей.

В особенности ошибочно, несмотря на схожесть фразеологии, считать Руссо физиократом или предшественником физиократов. Однако идеи, высказываемые им по экономическим вопросам, оказывали заметное влияние на общественное мнение.

Ж. П. Бриссо де Варвиль (1754–1793), политик-жирондист, казненный в 1793 г., — один из реформаторов уголовного права. Нас интересует его работа *Recherches philosophiques sur le droit de propriété et sur le vol...* («Философские исследования о праве собственности и о краже...»; 1780). Это типично спекулятивное рассуждение в духе естественного права, что и помешало позднейшим критикам социологии и экономической науки разглядеть его серьезные достоинства. Автор пытался доказать, что права частной собственности не существует. При этом Бриссо, кажется, не был знаком ни с одним из реалистичных и поистине разрушительных аргументов, которые можно выдвинуть против его концепции. Главная идея книги, прославленная в XIX в. Прудоном, состоит в том, что собственность есть кража.

«Кодекс природы» Морелли (1755) содержит развернутую программу государственного коммунизма, имеющую ряд достоинств: он предлагает детальнейшие решения практических проблем структуры коммунистического общества и управления им, многие из которых без всякой ссылки на автора войдут в социалистическую литературу XIX в. и большинство из которых производят впечатление «исполнимых». В этой книге, насколько я знаю, впервые встречается та чаще подразумеваемая, чем открыто высказываемая идея, что все отклонения от нормального поведения, считающиеся аморальными, вызваны условиями жизни в капиталистическом обществе. Поскольку мы не можем двигаться глубже, укажем лишь, что эта книга, безусловно, принадлежит к философии естественного права: коммунизм со строгим государственным контролем есть форма существования общества, идеально соответствующая законам природы, выведенным разумом.

Габриэль Бонно де Мабли (1709–1785) никогда не был коммунистом, а последние годы жизни посвятил выработке практических программ, не выходящих за рамки обычных реформ, однако его следует все же причислить к коммунистам в самом строгом смысле слова, и поводом к тому служит его работа *Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques* («Сомнения, высказанные философам-экономистам по поводу естественного и необходимого порядка политических обществ»; 1768), содержащая тонкую критику не только теории частной собственности физиократов, но и самой частной собственности, которую автор считает несомненным злом. Хотя анализ Мабли односторонен и имеет еще ряд недостатков, это все же анализ фактов, а не просто рассуждения о правах. Теория, утверждающая, что собственность на землю есть причина всякого имущественного неравенства, — неоднократно повторенная в XIX в. и Ф. Оппен-

геймером в XX в., — возможно, неверна, но это все же аналитический тезис или теория. К трудам упомянутых авторов, как и многих других, достаточно часто обращались как историки мысли, так и экономисты, интересовавшиеся этим предметом (см., например: *Lichtenberger A. Le socialisme au XVIII siecle. 1895*).

Идеи французских просветителей легко пересекли Ла-Манш, чему способствовали их английские — эмпиристские и ассоциативистские — корни. Намного выше общего уровня поднялась книга Уильяма Гудвина «Исследование политической справедливости» (*Goodwin W. Enquiry Concerning Political Justice. 1793*). Ее следует отнести к полусоциалистическим — и то лишь на том основании, что собственность на продукт чужого труда в принципе «несправедлива». Видимо, правы те, кто, исходя из крайней неприязни Гудвина к насилию и принуждению в любой форме, относит его к анархистам. Во всяком случае, идея о том, что человеческий разум изначально представляет собой чистый лист, заполняемый на основе опыта и под влиянием общественных институтов, никогда еще столь бескомпромиссно не ставилась на службу абсолютному эгалитаризму.

Критикуя Мальтуса, Гудвин проделал определенную аналитическую работу, но его собственная книга в сущности неаналитична и поэтому не поддается научной критике. Изложенное в ней кредо, «устойчивое» к воздействию каких-либо аргументов, в наше время насчитывает больше сторонников, чем когда-либо.

[g) **Нравственная философия**]. Все приведенные выше факты о развитии научной и общественной мысли XVIII в. говорят нам о том, что в социологии и экономической науке в этот период в значительной мере сохранялся подход с позиций естественного права. Точка зрения, согласно которой его вытеснил новый «экспериментальный» подход, а культ *la raison* представлял собой нечто принципиально новое, основана на иллюзии, как и аналогичные утверждения, что труды философов естественного права XVII в. означали резкий разрыв со схоластикой. Другими словами, эти факты демонстрируют нам преемственность развития мысли. Однако цельная система мысли, основанная на концепции естественного права, в XVIII в. распалась или, по меньшей мере, претерпела трансформацию. Мы помним, что вначале эта система была правовой и весь материал, не относящийся к праву, играл лишь вспомогательную роль. В XVIII в. накопление такого материала и добавление новых областей исследования взорвали цельную юридическую структуру. Если раньше «естественная юриспруденция» представляла собой своеобразную компанию-холдинг, унифицирующую все вокруг себя, то теперь она сама стала частью

нового всеобъемлющего целого, которое уже не носило юридического характера.<sup>28</sup> Это новое целое получило (особенно в Германии и Шотландии) название «нравственная философия». Слово «философия» употреблялось здесь в старом смысле — как сумма наук («философические дисциплины» у Фомы Аквинского), так что нравственная философия означала примерно то же, что общественные науки (науки «о разуме и обществе»), в отличие от «натуральной философии», включавшей естественные науки и математику. Нравственная философия была одним из предметов стандартного университетского курса и состояла в основном из «естественной теологии», «естественной этики», «естественной юриспруденции» и политики, включавшей, в свою очередь, экономическую науку и теорию государственных финансов (доходов).<sup>29</sup> Учитель Смита Фрэнсис Хатчесон был профессором нравственной философии (именно в этом смысле) в Университете Глазго, равно как и сам Смит. «Теория нравственных чувств» и «Богатство народов» — это два блока, вырубленные из более общего, систематизированного целого. Так универсальная общественная наука схоластов и философов естественного права продолжала существовать в новой форме. Это, однако, длилось недолго. Хотя нравственная философия фигурировала в университетских расписаниях даже в первой половине XIX в. (университеты всегда консервативны), уже в конце XVIII в. она быстро теряла свой старый смысл и значение. Причина была той же, что взорвала систему естественного права. Накопление материала в отдельных отраслях нравственной философии привело к появлению специалистов, вынужденных сосредоточиться только на какой-либо одной из них и игнорировать происходящее в смежных областях, а также общие для всех принципы. В особенности

---

<sup>28</sup> Как мы уже писали, историческая школа правоведения была враждебно настроена к этой естественной юриспруденции и видела в ней лишь совершенно ненаучные спекуляции. Эта точка зрения была очень влиятельной; собственно говоря, именно от правоведов исторической школы люди научились презирать все, так или иначе связанное с концепцией естественного права. Следует, однако, повторить, что эта критика, хотя и оправданная ввиду злоупотребления идеями всякого рода естественных прав, упускает очень важное, не имеющее ничего общего со спекуляцией ядро анализа, основанного на принципах естественного права. Естественная юриспруденция, о которой я говорю в этой книге, была неадекватной, но все же научной теорией — или общей логикой — права, которую можно защищать на том же основании, что и экономическую теорию.

<sup>29</sup> Содержание курса не было постоянным. Деление всех наук на нравственную и естественную философию тоже не являлось полным и окончательным. Чистая философия в узком смысле слова, как и логика, филология и литературоведение, история, не принадлежала ни к одной из двух групп.

это относится к экономической науке, поскольку здесь материал поступал извне (см. главу 3). Знаменательно, что А. Смит посчитал невозможным сделать то, что до него не задумываясь сделал Хатчесон: изложить в один прием всю систему нравственной философии или общественных наук. Время для этого прошло — усвоение нового материала (как фактического, так и аналитического) стало требовать концентрации всех сил исследователя.

¶ Пока это усвоение еще не завершилось, небольшая область научного экономического знания, унаследованная от схоластов и взлелеянная философами естественного права, сохраняла не только независимое существование, но и свой специфический характер. Утонченный интеллект ее создателей и их удаленность от практических вопросов экономической политики придали экономическому анализу этих авторов особый отпечаток. В их трудах нельзя не заметить прогресс: более правильные формулировки общих принципов, расширение взгляда на практические проблемы. И то и другое оказало влияние на позднейших исследователей.

Но как только усвоение нового материала произошло, мы, естественно, теряем след (но не наследие!) этого течения в экономической науке. Это случилось примерно между 1776 и 1848 гг. Утилитаризм — последняя система естественного права, возникшая в тот период, когда экономисты добились автономии, — не смог, в отличие от предшествующих систем, осуществлять над ними эффективный контроль.

## Глава 3

# КОНСУЛЬТАНТЫ-АДМИНИСТРАТОРЫ И ПАМФЛЕТИСТЫ

1. Дополнительные сведения из социальной истории
  - [a] Случайные факторы возникновения национальных государств]
  - [b] Почему национальные государства были агрессивными]
  - [c] Влияние специфических обстоятельств на экономическую литературу того времени]
2. Экономическая литература того времени
  - [a] Материал, исключенный из рассмотрения]
  - [b] Консультанты-администраторы]
  - [c] Pamфлетисты]
3. Системы XVI в.
  - [a] Труд Карафы]
  - [b] Типичные представители: Боден и Ботеро]
  - [c] Испания и Англия]
4. Системы с 1600 по 1776 г.
  - [a] Ранние стадии]
  - [b] Юсти: государство благосостояния]
  - [c] Франция и Англия]
  - [d] Высокий уровень итальянцев]
  - [e] Адам Смит и «Богатство народов»]
5. Квази-системы
6. Снова о государственных финансах
7. Заметки об утопиях

## 1. Дополнительные сведения из социальной истории

Нам уже известно, что к концу XVIII в. экономическая наука оказалась, если пользоваться нашим выражением, в «классической ситуации» и вследствие этого приобрела статус признанной области научного знания. Трактаты того времени, из которых наибольшим успехом пользовалось «Богатство народов», под-

вергали работы предшественников критическому отбору и систематизации. При этом они не только расширяли и углубляли русло ручейка, струившегося из исследований схоластов и философов естественного права. Они поглотили воды и другого, гораздо более бурного потока, берущего начало на форуме, где деловые люди, памфлетисты, а позднее и преподаватели горячо обсуждали вопросы текущей политики. В этой главе мы с высоты птичьего полета бросим взгляд на различные типы экономических сочинений, возникавших в ходе таких дебатов, оставив для последующих глав более подробное рассмотрение отдельных произведений и отдельных тем, которые, как нам кажется, того заслуживают.

Эти сочинения не представляют собой единого логического или исторического целого. В отличие от философов естественного права их авторы не образуют однородной группы. Однако их объединяет нечто общее, и это необходимо подчеркнуть: все они обсуждали текущие проблемы экономической политики, и проблемы эти были связаны со становлением национальных государств. Поэтому, если мы хотим понять самый дух этих сочинений, способ аргументации их авторов и предпосылки, принимаемые ими на веру, мы должны вначале дать короткий социологический очерк этих государств, строение, поведение и судьбы которых начиная с XV в. определяли историю Европы (как политическую, так и духовную).

Самое важное здесь заключается в том, чтобы понять, что ни возникновение, ни поведение («политика») этих государств не были простыми проявлениями капиталистической эволюции. Хотим мы этого или нет, мы должны признать, что они явились порождением такого стечения обстоятельств, которое с точки зрения капиталистического развития как такового следует считать случайным.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Как и все теоретики, теоретики-историки неохотно признают не только важность каких-либо иных факторов, кроме тех, что выделяются в их собственных теориях, но и значение случая в эволюции общественных структур. Но исторические процессы, лежащие в основе ситуаций, проблем и мнений, отраженных в той литературе, о которой мы здесь ведем речь, нельзя интерпретировать как следствия зарождающегося капитализма, как это делают многие исследователи, особенно марксисты. Даже в той мере, в какой их можно вывести из капиталистической эволюции, они развивались в таких формах, которые никак не могли быть продиктованы ни интересами капиталистов, ни их способом мышления. Отметим мимоходом, что это очень важно не только для нашей ограниченной задачи, но и для нашего понимания природы и *modus operandi* (способа функционирования) всей капиталистической системы и даже для всей нашей философии истории.

[а) Случайные факторы возникновения национальных государств]. Во-первых, случайным было то, что развитие капитализма пришлось на время существования необычайно сильной социальной структуры. Конечно, феодализм отступал, но этого не скажешь о вооруженных классах, управлявших феодальным обществом. Напротив, они продолжали править в течение столетий, и набиравшая силу буржуазия должна была подчиняться. Более того, им удавалось присваивать большую часть нового буржуазного богатства. В результате сложилась политическая структура, не буржуазная ни по духу, ни по природе, которая не только поощряла, но и эксплуатировала интересы буржуазии.

Это был феодализм на капиталистической основе, военно-аристократическое общество, кормившееся за счет капитализма; своего рода симбиоз, в котором говорить о контроле со стороны буржуазии неуместно. Эта структура общества породила особые проблемы и особые — «милитаристские» — способы рассмотрения этих проблем, абсолютно не совпадающие с логикой капиталистического процесса.<sup>2</sup> Поэтому (и с этим согласны большинство экономистов) монархи, которые были прежде всего военачальниками, и класс аристократов-землевладельцев оставались основой социальной системы вплоть до середины XVIII в., по крайней мере на европейском континенте. Читатель, следовательно, должен внести некоторые уточнения в то, что было написано о растущем общественном весе буржуазии в предыдущей главе.

Случайностью было и то, что из покоренной Южной Америки направился в Европу поток драгоценных металлов. Конечно, можно было ожидать, что рост капиталистических предприятий в любом случае приведет к инфляционным ситуациям, но этот поток придал событиям особый характер. С одной стороны, и это настолько очевидно, что не требует пояснений, он ускорил развитие капитализма. Однако гораздо более важны два других фактора, действовавших в противоположном направлении.

Во-первых, приток ликвидных средств усилил позиции тех правителей, которые смогли поставить его под свой контроль. В условиях того времени он давал им (например, испанским Габсбургам) преимущественную возможность затевать военные авантюры, которые не имели никакого отношения к интересам буржуазии в различных частях их обширной империи и к логике капиталистического процесса. Во-вторых, разразившаяся револю-

<sup>2</sup> Я пытался проиллюстрировать это в главе 12 моей книги «Капитализм, социализм и демократия» (Capitalism, Socialism, and Democracy), где вкратце рассматривается такой яркий пример, как государство Людовика XIV.

ция цен<sup>3</sup> породила социальную дезорганизацию, ставшую не только движущим, но и искажающим фактором капиталистического развития. Многие из того, что в условиях нормального хода базисного процесса произошло бы постепенно, в лихорадочной атмосфере инфляции приобрело взрывной характер. Особого внимания заслуживает аграрная сфера. К моменту, когда разразилась инфляция, большая часть платежей европейских крестьян господам уже была переведена на денежную основу. Поскольку покупательная сила денег падала, землевладельцы во многих странах попытались увеличить сумму платежей. Крестьяне восстали против этого. В результате произошли аграрные революции, а порожденный ими революционный дух играл важную роль в политических и религиозных движениях эпохи.

Но сила, которой обладала феодальная верхушка, не позволила этим революциям ускорить социальное развитие и привести его в соответствие с базисным капиталистическим процессом. Восстания крестьян и других сочувствующих им групп были безжалостно подавлены. Религиозные движения добивались успеха лишь в тех случаях, когда они получали поддержку аристократии и в подавляющем большинстве своем быстро утратили присущий некоторым из них вначале социальный и политический радикализм. Князья и бароны, военачальники и церковники вышли из испытаний, увеличив свою власть, в то время как политическая власть и престиж буржуазии уменьшились (особенно в Германии, Франции и Испании). Главным исключением из этого правила на Европейском континенте были Нидерланды.

Третьим историческим событием первостепенной важности стало крушение единственной действенной межнациональной власти, когда-либо существовавшей на Земле. Как уже отмечалось, средневековый мир представлял собой культурную общность и, как правило, проявлял преданность Священной Римской империи и католической церкви.

Хотя по поводу истинного соотношения этих двух институтов высказывались самые различные суждения, вместе взятые, они образовывали наднациональную силу, не только признанную идеологически, но и непобедимую политически до тех пор, пока сохранялось их единство. Согласно традиционной точке зрения, эта сила начала приходить в упадок, как только капитализм стал разъедать основы средневекового общества и его верований. На самом деле

---

<sup>3</sup> Революция цен началась еще до того, как поток нового золота и серебра стал ощутимым, и никогда не была следствием его одного, как это обычно считается. Однако для наших целей этого популярного представления вполне достаточно.

это не так. Каково бы ни было разлагающее влияние капитализма на эту двойственную силу, оно не имело никакого отношения к ее действительному краху, который произошел гораздо раньше, чем вышеупомянутые верования были серьезно затронуты. К краху же этому привел факт, который с точки зрения базисного процесса тоже можно считать случайным: по причинам, которые мы здесь не обсуждаем, империя не могла ни признать верховенство папского престола, ни победить его.

Длительная борьба, потрясая до основания весь христианский мир, закончилась пирровой победой пап во времена императора Фридриха II (1194–1250). Но в этой борьбе обе стороны настолько подорвали свои политические позиции, что правильнее было бы говорить об обоюдном поражении: папы потеряли авторитет, а империя распалась. Так окончилась эпоха средневекового интернационализма, и национальные государства стали отстаивать свою независимость от сверхнациональной силы, которая была грозной лишь до тех пор, пока Римская церковь сотрудничала с германским «светским мечом».<sup>4</sup>

**(b) Почему национальные государства были агрессивными].** Делать вывод из вышесказанного мы предоставляем читателю, но одно должно быть ясно: возникновение и политический облик современного государства обусловлены скорее длительным господством аристократии, притоком идеально ликвидного богатства и крушением наднациональной средневековой державы, чем какими бы то ни было последствиями самого развития капитализма. В частности, эти факты объясняют, почему современные государства с самого начала были «национальными» и отвергали всякие наднациональные соображения, почему они настаивали и вынуждены были настаивать на абсолютном суверенитете, поче-

---

<sup>4</sup> Подчеркивать национальный элемент в этих переменах, может быть, не следует, хотя он хорошо просматривается в большинстве случаев: во Франции, в Испании и ранее, чем где-либо, в Англии. Истинная природа данного явления станет нам понятнее, если мы вспомним, что в Германии и Италии (странах, непосредственно подчиненных императорской власти) новые государства или княжества возникали не на национальной основе. Эти государственные образования появились не на волне национального чувства, а скорее по воле феодальных владык, которые были достаточно сильны, чтобы защищать свою территорию и управлять ею. Самым ранним примером может служить принадлежавшее Фридриху II королевство Неаполитанское и Сицилийское, а самым ярким примером — прусское государство другого Фридриха II <(1712–1786)>. Поддержка народа, возможно связанная с капиталистическими интересами и национальными чувствами, подспела позже и явилась как следствием новых условий, так и важным фактором дальнейшего развития. Тем не менее из соображений удобства мы будем и впредь говорить о «национальных государствах».

му они поощряли национальные церкви даже в католических странах, например галликанство во Франции, и прежде всего, почему они были столь агрессивными. Новые суверенные державы были воинственными в силу своей социальной структуры. Они возникли случайным образом. Ни одна из них не имела всего, чего хотела, и каждая имела то, что хотели другие. А вскоре были открыты новые страны, которые можно было покорить в борьбе с другими претендентами. В такой ситуации и при данной социальной структуре той эпохи военная агрессия — или, что то же самое, «оборона» — стала основой политики. В этой нестабильной обстановке мир был только временным перемирием, война — нормальным средством достижения политического равновесия, любой чужестранец — врагом, как было в доисторические времена. Все это требовало сильных правительств, и сильные правительства, хронически страдая политическими амбициями, превышающими их экономические возможности, пытались развивать ресурсы своих исконных владений и ставить их себе на службу. Это, в свою очередь, объясняет, почему налогообложение приобрело не только гораздо большее, но и качественно новое значение (см. § 6 данной главы).

Все эти факторы, действовавшие в Западной и Центральной Европе, привели в разных странах к неодинаковым последствиям. Если отвлечься от малых стран, наибольшие различия обнаруживались между Англией и странами Европейского континента. В Германии развитие экономических и политических тенденций было прервано в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648), создавшей совершенно новую ситуацию и навсегда изменившей политический и культурный облик Германии. На большей части опустошенной земли, население которой местами сократилось более чем на 90%, князья, их солдаты и чиновники практически составляли то немногое, что сохранилось из политических сил прошлого.

В Италии военное опустошение и правление чужеземцев привели к ситуации, немногим лучше немецкой.

Франция и Испания избежали таких потрясений, но религиозные волнения и бесконечные военные кампании привели к обнищанию испанцев и породили схожие политические и административные структуры в обеих странах.

В большинстве государств, за исключением Швейцарии и Венгрии, князья начиная с XVI в. олицетворяли свою страну и свой народ. Им удалось подчинить своей власти не только буржуазию и крестьянство, но и дворянство с духовенством, хотя последние два класса сохраняли свои социальные и экономиче-

ские привилегии. Безусловная цель политики этих государств состояла в увеличении богатства и мощи: экономическая политика должна была максимизировать государственные доходы для поддержания двора и армии, а внешняя политика — обеспечить новые завоевания и победы. Нет необходимости показывать, как в такую политику вписывалась забота о благосостоянии классов, за счет которых существовала данная общественная система. Это благосостояние не рассматривалось как простое средство для достижения цели: для многих выдающихся монархов и правителей оно служило самостоятельной целью, так же как благосостояние своих рабочих было и остается одной из целей многих выдающихся промышленников. Однако эта цель была встроена в общую социально-политическую систему. Все это означало, — и особенно там, где забота о благосостоянии фабрикантов, фермеров и рабочих была наиболее реальной, — что управлять приходилось всем, чем угодно, а это, в свою очередь, вело к возникновению современной бюрократии. Последний факт не менее важен, чем возникновение класса буржуазии. В результате сложилась плановая экономика, обслуживающая прежде всего военные интересы государства.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Это можно проиллюстрировать на примере жизненного пути и деятельности многих известных администраторов. Сравнительный анализ позволяет нам сделать много интересных наблюдений и прежде всего установить, что наиболее выдающиеся из них не руководствовались никакой последовательной системой принципов. Здесь мы ограничимся краткой заметкой о Кольбере, которого многие историки считали и по сей день считают типичным представителем той воображаемой общности, которая называется «меркантилистской системой». Термин «кольбертизм» даже часто используется (особенно в итальянском языке) как синоним меркантилизма.

Жан-Батист Кольбер (1619–1683), выходец из буржуазии, был государственным чиновником, поднявшимся в первый период правления Людовика XIV до поста министра финансов (так лучше всего можно определить его главную функцию, хотя время от времени он выполнял другие обязанности; следует также напомнить, что в компетенцию министра финансов в то время входили вопросы промышленности, торговли и сельского хозяйства). Он был честным, толковым и энергичным администратором, знающим, как занять деньги, утихомирить кредиторов, усовершенствовать способы управления и учета, поощрять промышленность, строить дворцы и порты, развивать флот и т. д. При этом он потерпел неудачу, осуществляя далеко идущие колониальные планы; эта история наглядно показывает, что расточительность, связанная с государственным планированием, может намного превзойти все потери, которые можно поставить в вину частному предпринимательству. Не стоит превозносить его достижения и тем более видеть в нем ревностного приверженца какого-то великого принципа, как это делали некоторые его поклонники.

О Кольбере и его преемниках см. работу Ч. В. Коуля: *Cole C. W. Colbert and a Century of French Mercantilism*. 1939; *French Mercantilism: 1683–1700*. 1943. В своей рецензии на первую из этих книг (*Economic History*. 1940. Febr.) сэр Джон Кляфэм с поразительной яростью обрушился на слепое преклонение

Те же тенденции мы наблюдаем и в Англии. Но здесь они проявились в ослабленной форме и натолкнулись на более сильное сопротивление, поскольку Англия была избавлена от потрясений, сломавших хребет аристократии и буржуазии других стран. Дело здесь, видимо, не только в нескольких милях Ла-Манша, но, чтобы не вдаваться в подробности, примем не противоречащую истине, хотя и неадекватную гипотезу о том, что отсутствие военных вторжений извне и редкость угрозы такого вторжения позволили в этой стране иметь сравнительно небольшую армию (а флот, разумеется, не имел такой политической значимости). В результате у королевского престола и всех зависящих от него административных учреждений было в Англии меньше власти и престижа, чем в других странах. Наиболее очевидным симптомом этой разницы явилось сохранение в Англии (и только в Англии) старой полуфеодальной конституции. Для нас же гораздо важнее то, что английское государство в отличие от других европейских не смогло прибрать к рукам всю жизнь страны, и экономика, включая колониальные предприятия, оставалась относительно автономной. Планирование, если оно вообще осуществлялось, выполняло более ограниченные функции, связанные в основном с экономическими отношениями Англии с Ирландией и колониями, а также с внешней торговлей. Еще важнее то, что оно внедрялось не такими жесткими способами, как на континенте. Однако в трудах английских авторов, пишущих на экономические темы, эта разница не нашла подобающего отражения. Некоторые из них все же грезили планированием. В то время как одни защищали позиции деловых людей, другие выступали с точки зрения бюрократов. Кроме того, мы не должны забывать, что практически все эти авторы, несмотря на упомянутые выше различия, писали свои произведения, думая в первую очередь о войнах и захватах. В конце концов, в то время английский империализм находился в своей пиратской стадии.

**[с) Влияние специфических обстоятельств на экономическую литературу того времени].** К сожалению, литературу, о которой пойдет речь, нельзя понять, если исходить только из вышеизложенных фактов. Многие в ней объясняются конкретными ситуациями в конкретных странах, которые казались авторам чем-то само собой разумеющимся. Даже книги и памфлеты,

---

перед Кольбером. С его точки зрения, у Кольбера «не было ни одной оригинальной идеи» (что верно, но не имеет значения при оценке администратора), он был «здоровенным тупицей», жестоким и суетным тираном. О периоде, предшествовавшем администрации Кольбера, см. Дж. У. Неф: *Nef J. U. Industry and Government in France and England 1540-1640*. 1940.

не посвященные какому-нибудь конкретному законопроекту или частному явлению, нельзя полностью оценить, если не знать специфических условий той страны, в которой жил автор. Можно составить длинный список ошибочных интерпретаций и оценок этой литературы, особенно в работах «либеральных» критиков XIX в. Грешат этим и более поздние исследователи. Здесь мы можем привести лишь несколько общих соображений на этот счет.<sup>6</sup> Некоторые дополнительные факты будут упомянуты в ходе дальнейшего изложения.

I. Все экономические труды того времени сочинялись в странах и для стран, которые можно назвать бедными (за исключением, может быть, Голландии). Если же под «бедными» понимать «неразвитые», то исключений из этого правила не будет. Все европейские государства стояли тогда на пороге своего промышленного и даже аграрного развития, и это было ясно всем. Для нас экономическая экспансия связана в первую очередь с новыми потребностями и методами производства. Что же касается той эпохи, то перед ней открывались безграничные возможности развития на базе существовавших потребностей и техники в дополнение к тем, которые вытекали из технического прогресса и территориальных завоеваний. Но мы употребляем термин «бедные страны» в другом смысле. Дело в том, что во второй половине XVII в. крупные континентальные державы столкнулись с огромными трудностями реконструкции. Они были бедны даже по сравнению со своим собственным уровнем XVI в.

Неудивительно, что специфические аргументы и практические меры, имевшие смысл в таких условиях, казались чепухой с точки зрения XIX столетия.

II. Все европейские страны, включая Англию, были преимущественно аграрными. Их главными экономическими проблемами были аграрные, большинство населения этих стран составляли сельские жители: крестьяне, фермеры, сельскохозяйственные рабочие. В XVI, XVII и XVIII вв. аграрный мир претерпел поистине революционные изменения: историки народного хозяйства справедливо говорят об аграрной революции или даже о нескольких аграрных революциях.

---

<sup>6</sup> Невозможно даже дать аннотированный указатель литературы: он составил бы целый том. Поэтому прибегну к другой крайности и упомяну лишь два широко известных издания, которые есть (или должны быть) у каждого студента: это работы Э. Хекшера (*Heckscher E. Mercantilism. 1931*) и П. Манту (*Mantoux P. The Industrial Revolution in the Eighteenth Century. Rev. ed. 1927*). В этих работах содержится основная часть того, что надлежит знать читателю.

Этот термин обозначает два различных, но тесно связанных между собой и усиливающих друг друга процесса, которые взорвали бы структуру средневекового общества даже в том случае, если бы не произошло никаких радикальных изменений в промышленном секторе. С одной стороны, во всех отраслях сельского хозяйства шел процесс технологических изменений, зародившийся уже в начале XVI в. и достигший наибольшей силы в XVIII в. С другой стороны, рука об руку с технологическими революциями шли организационные изменения, превратившие средневековые поместья в фабрики по производству зерна, шерсти и мяса и разрушившие старые отношения между землевладельцами и крестьянами (или фермерами). Достаточно назвать главную форму этих изменений, получившую распространение в Англии, — «огораживания».

Различные правительства, а следовательно, и различные авторы заняли в этом вопросе противоположные позиции. На континенте, и особенно в Германии, правительства приложили много целенаправленных и в общем увенчавшихся успехом усилий ради спасения крестьянства и превращения его в класс мелких земельных собственников. В Англии классу владеющих землей и обрабатывающих ее йоменов позволили исчезнуть, и, несмотря на все эмоции по поводу покинутых деревень, возобладало крупное поместье, но не как производственная, а как административная единица, в рамках которой производством занимался фермер, соединяя в себе рабочего и капиталиста.

III. Однако нет ничего удивительного в том, что сравнительно менее значительные сферы промышленности и внешней торговли привлекали в то время больше внимания, чем сельское хозяйство. Это были как бы маленькие дети, от судьбы которых зависело будущее всей семьи. Кроме того, представители торгово-промышленных кругов гораздо более, чем земельные собственники и фермеры, были заинтересованы в том, чтобы взяться за перо, и располагали для этого широкими возможностями. Применительно к экономической науке это означает, что в те времена «экономикой промышленности и торговли» занималось больше специалистов, чем «экономикой сельского хозяйства». Существование этих двух групп авторов обуславливалось, как и сегодня, разделением труда. Естественную полемику между ними не следует выводить из какого-либо антагонизма их общефилософских позиций, будь то в отношении к жизни в целом или в отношении к экономике, за исключением тех редких случаев, когда это действительно имело место (единственно важным среди этих исключений являются физиократы — см. ниже, главу 4).

Крупные предприятия (крупные относительно своего окружения) возникли в заметном количестве в XIV в. в Италии, в XV в. — в Германии, в XVI в. (во время правления королевы Елизаветы) — в Англии. Все они сначала появились в торгово-финансовой сфере, а затем проникли в сферу производства. Однако, по сути дела, ту промышленность, о которой рассуждали экономисты того времени, составляли ремесленники (все еще объединенные в цехи), домашние «мастера» и собственники-управляющие немногочисленных и по большей части довольно маленьких фабрик. В Западной Европе, и особенно в Англии, это положение значительно, но не коренным образом изменилось в ходе «промышленной революции» последних десятилетий XVIII в., но последствия ее вполне проявились лишь в начале XIX в. Многие авторы, иногда даже А. Смит, зачисляли промышленников в разряд работников. Ни один из авторов, включая Смита, не представлял себе действительного значения тех процессов, которые привели к тому, что историки народного хозяйства называли «промышленной революцией». Смит считал акционерную форму промышленного предприятия аномалией, кроме таких случаев, как строительство каналов и т. п. Для него и его современников большой бизнес все еще означал торговый и финансовый бизнес, и прежде всего предприятия, связанные с колониями. Их негодование и недоверие по отношению к этому большому бизнесу сильно напоминают чувства, которые испытывают к нему современные экономисты.

IV. Развитие промышленности и торговли почти до самого конца рассматриваемого нами периода характеризовалось «монополистической» политикой и деловой практикой, которые были одной из основных тем экономической литературы того времени и подвергались решительному осуждению со стороны экономистов и историков экономики начиная со Смита и до сего дня.

Под «монополистической» государственной политикой и частной деловой практикой мы понимаем мероприятия и формы поведения, направленные на обеспечение продуктам или услугам данного индивида или группы индивидов выгодных условий продажи путем:

1) недопущения иностранцев на национальный или международный рынок (поскольку иностранные государства еще не стали единым экономическим целым, это часто сводилось к недопущению на свой рынок производителей и торговцев из соседнего городка или района);

2) отстранения от торговли всех соотечественников, кроме привилегированного индивида или группы (например, запрет розничным торговцам заниматься оптовыми операциями);

3) ограничения объема производства этого привилегированного индивида или группы и контроля за распределением продукта между рынками.

Давайте сделаем небольшую паузу и в свете вышеизложенного проанализируем причины, в силу которых такая политика и практика были преобладающими.

Во-первых, мы могли бы предположить, что если бы в мире внезапно воцарился полностью сложившийся капитализм и его развитию не мешали бы упомянутые выше факторы, то и поведение деловых людей и государственная политика сразу стали бы такими, как в XIX в. Иными словами, мы могли бы ожидать, что в данном случае в странах, столь бедных товарами и столь богатых возможностями, произойдет быстрая экспансия конкурентного предпринимательства. Однако такое ожидание было бы лишь отчасти оправдано. Бедняк — плохой покупатель, и нормальный риск занятия бизнесом сильно увеличивается там, где богатство, порождающее спрос, надо не просто привлечь, но еще сначала создать. В бизнесе, как и повсюду, наступательная стратегия часто дополняется оборонительной тактикой, хотя это упорно отрицают экономисты всех времен. Но в условиях, когда долгосрочное наступление осуществлялось медленно, каждый завоеванный рубеж следовало тщательно укрепить, прежде чем продвигаться дальше. Поэтому неудивительно, что протекционистские, ограничительные меры, преобладавшие в каждый данный момент времени, производили на историков гораздо более сильное впечатление, чем постепенный ход базисного процесса.<sup>7</sup> Однако факт остается фактом: даже самое разумное правительство, движимое одной целью — помочь промышленному развитию, во многих случаях должно было бы предоставить производителю монопольные привилегии, поскольку иначе предприятие не могло бы возникнуть. В других случаях ему пришлось бы разрешить монополистическую практику некоторым предпринимателям. В особой степени это, конечно, относится к странам, опустошенным войной, таким как Германия, где только перспектива чрезвычайно большой прибыли могла побудить к предпринимательской деятельности обнищавшее и отчаявшееся население.

<sup>7</sup> Лучшей иллюстрацией может служить блестящий очерк о «Компании купцов-авантюристов» покойного Джоржа Ануина (*Studies in Economic History*. 1927). Профессор Э. Ф. Хекшер (*Heckscher E. Mercantilism*), более склонный к исследованию долгосрочных аспектов процесса, описал ситуацию в противоположных понятиях — «товарный голод» и «страх перед товарами», которые не объясняют экономический смысл этого процесса.

Во-вторых, в реальности капитализм вовсе не свалился с неба на пустую землю: он постепенно вырастал из существующих структур, в которых доминировала цеховая организация со своим духом, институтами и сложившейся практикой. Новые продукты, новые методы производства и новые формы предприятий отвергаются любой средой, но в ту эпоху существовал целый законодательный, автоматически действующий механизм сопротивления новому. Для нас здесь важны два момента. С одной стороны, под давлением цехов и в их интересах законодательство и администрация подвергали новые «свободные» предприятия различным ограничениям, препятствовавшим росту производства. С другой стороны, хотя подобные ограничения не только не имели никаких корней в капиталистической системе хозяйства, но и искажали саму эту систему, купцы, мастера и прочие люди, испытывавшие их на себе, усваивали дурные привычки и сами образовывали аналогичные организации. Помимо ожидаемых прибылей от ограничения конкуренции были и другие причины, облегчавшие купцам и мастерам усвоение цеховых способов поведения: они сами оказались порождением того мира, в котором организации и корпорации были признанным институтом, они с готовностью воспринимали этические и религиозные правила, стандартизованные способы поведения, включая молитвенные собрания. Действуя в одиночку, они не имели политического веса, в то время как всякая «достопочтенная компания» им обладала. В наиболее важной области — колониальной торговле — потребность в защите от вооруженных нападений или, наоборот, в покровительстве этим нападениям (существовали акционерные компании, занимавшиеся исключительно пиратством) неизбежно сплачивала торговцев и способствовала распространению корпоративных форм и на другие аспекты их деятельности. Всем этим потребностям отвечала форма «привилегированной торговой компании», которая на самом деле таковой не являлась, а представляла собой организационную оболочку, прикрывавшую торговлю участников этой компании. Образование таких компаний, отчасти противостоящих средневековой системе монопольных прав отдельных городов на торговлю определенными товарами (*jus emporii*), а отчасти дополняющих ее, было естественным средством, позволявшим использовать возможности тогдашнего протекционизма.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> К сожалению, здесь мы не можем более подробно заниматься сущностью и структурой двух этих институтов. Достаточно сослаться на работу проф. Хекшера. Отметим лишь один момент. Систему монопольных прав торговли для отдельных городов мы назвали средневековой, поскольку она выросла из цеховой организации ремесла XIII в. (на Англию она распространилась во вре-

В-третьих, правительства национальных государств имели и свои резоны к созданию или поощрению «монопольных» организаций или монопольных позиций отдельных производителей. Одним из них была упомянутая выше потребность в реконструкции. Другим — перспектива личного обогащения для правителей: так, королева Елизавета лично участвовала в прибылях (и убытках) от «монопольных» предприятий и даже от неприкрытого грабежа. Эта же великая государыня награждала фаворитов, вручая им монопольный патент. Кроме того, «монопольная» организация — это губка, которую гораздо легче «выжать», чем множество независимых предприятий. И наконец, сильным правительствам не только легче эксплуатировать такие организации, но и управлять ими: их административные органы — это готовые рычаги управления. Значение последнего аспекта особенно велико, если вспомнить о том, что для таких правительств торговые мероприятия были лишь одним из инструментов агрессивной силовой политики, позволяющим усилить торговлю с одной страной или прекратить ее с другой, — в некоторых случаях это приводило к таким же результатам, как успешная военная кампания. К тому же колониальные компании разных стран могли вести войну между собой, в то время как соответствующие правительства официально не воевали.<sup>9</sup>

мена Эдуарда III, о чем свидетельствует один из его указов). Но, приспосабливаясь к меняющимся условиям, такая система регулирования международной торговли дожила почти до самого конца рассматриваемого здесь периода, а в Венеции даже до наполеоновской оккупации. В Англии потеря Кале (1558 г.) устранила одну из форм этой системы, но другая форма продолжала господствовать и получила полное развитие в «Законе о мореплавании» 1660 г. (политика «актов о мореплавании» представляла собой лишь один из видов политики монопольных прав) и в «Акте о монопольных правах торговли» (Staple Act) 1663 г.

<sup>9</sup> И вновь мы обращаемся к лекциям д-ра Ануина (Studies in Economic History) как к примеру «либеральной» критики такой политики. Эта критика затрудняет понимание истории даже тогда, когда не содержит ничего, кроме правды. Он приводит вполне убедительные аргументы в пользу того, что Англия не получала никаких выгод от своей монопольной политики и пиратства. (Хотя утверждать, что пиратство было невыгодным для нации, поскольку подрывало такую важную вещь, как кредит, — это, пожалуй, уже слишком.)

Он ошибается лишь в том, что игнорирует долговременные аспекты «монопольных» ограничений и «монопольных» прибылей. Но его аргументация, будь она даже еще более сильной, остается неубедительной, поскольку это аргументация либерала XIX в. Поведение людей XVI–XVII столетий надо оценивать исходя из фактов и с точки зрения того времени. Если же мы сделаем это (даже с чисто экономических позиций), иррациональность во все не будет такой очевидной. В обстановке постоянных войн, когда целью человека может быть нанесение вреда другому, чисто экономические соображения явно недостаточны. И еще одно замечание. Анализируя исторические

Само собой разумеется, широкой публике не понравилось то, что ее эксплуатировали каким-либо из этих способов и с какой бы то ни было из упомянутых целей. При этом она не задавалась вопросом, компенсируется ли такая практика некоторыми преимуществами (например, в тех случаях, когда без монополии вообще невозможно было наладить производство данных товаров). Обильная литература (читатель может легко ее себе представить, если он знаком с аналогичной современной литературой) просто отражала это возмущение и редко<sup>10</sup> выходила за пределы простого осуждения привилегированных индивидов и групп (в Англии наиболее частыми объектами критики были Ост-Индская компания и «Купцы-авантюристы»). Деловые люди также участвовали в возмущенном хоре, осуждая ограничения и привилегии для всех, кроме себя самих: каждый был заклятым врагом чужих привилегий. Наиболее же глубокий анализ осуществлялся, как правило, «апологетами», защищавшими интересы тех или иных монополистов.<sup>11</sup> В 1-й части мы писали о том, что мотивы, движущие исследователем, не имеют отношения к истинности или ценности фактов и аргументов, которыми он оперирует. Раскрытие «личной заинтересованности» автора — действенный прием в публичной дискуссии, но наличие заинтересованности также не может быть аргументом против основанной на ней точки зрения, как и отсутствие заинтересованности — аргументом «за». Для нас факты и аргументы, приводимые «апологетами», не хуже и не лучше, чем те, которые использует «беспристрастный философ», если только таковой существует.

---

ситуации, мы всегда должны отделять принципы, лежащие в основе определенной формы поведения, от степени их осуществления. Это очень важно. Смит, к примеру, уделяет столько же внимания критике коррупции и ошибок, свойственных государственному управлению его времени, сколько и критике государственного управления в принципе. Так поступаем и мы: современная аргументация против социализма или расширения бюрократического контроля ведется с двух сторон. Во-первых, мы ожидаем, что практическое применение принципов социализма и контроля будет сильно затруднено и неэффективно, во-вторых, мы спорим с самими этими принципами. Оба типа аргументов уместны, но надо их различать.

<sup>10</sup> Наиболее интересный случай — «открытие» олигополии (см. ниже, главу 6, § 3с).

<sup>11</sup> Одним из лучших сочинений такого рода является книга Джона Уилера «Трактат о коммерции, в котором показано, какие блага порождает хорошо организованная и управляемая торговля, как, например, та, которую осуществляет „Компания купцов-авантюристов“». Написан главным образом для лучшего осведомления тех, кто сомневается в необходимости вышеназванного сообщества в Англии» (1601). К этому заглавию мы можем добавить: «...и в целях недопущения враждебных законодательных мер».

Реакция публики на ограничительную практику была в Англии гораздо сильнее, чем на континенте (причины этого настолько очевидны, что нам не стоит на них останавливаться). Назовем такой факт: свобода торговли, под которой в XVII в. понимали отмену преимущественных прав, устранение привилегированных торговых компаний или хотя бы право каждого стать членом такой компании, нашла поддержку в английском парламенте. В 1604 г. там был представлен, хотя и не прошел, довольно радикальный законопроект против ограничений торговли (разумеется, при этом в виду не имелась свобода торговли в позднейшем смысле слова). В отношении к торговым ограничениям в Англии и на континенте есть еще одно различие, представляющее для нас интерес. Читатель, может быть, уже отметил, что хотя широкие массы населения были возмущены большинством ограничительных мер и законов, эти последние отнюдь не порождали монополистов в строгом смысле слова (единственных продавцов)<sup>12</sup> и практику монополистического ценообразования. Тем не менее это возмущение шло именно под флагом борьбы с монополией. За причинами не следует далеко ходить. На англичан елизаветинской эпохи вряд ли серьезно влиял тот факт, что монополия осуждалась уже Аристотелем и схоластами, но они наверняка унаследовали восходящую к средневековой неприязнь к монопольным закупкам товаров в спекулятивных целях и т. п. Эта неприязнь переросла в ярость, когда Елизавета и Иаков I стали в изобилии создавать самые настоящие монополии, лишённые к тому же каких бы то ни было компенсирующих достоинств. В ходе борьбы против них слово «монополия» приобрело сильную эмоциональную окраску и навсегда превратилось в пугало. Для среднего англичанина оно ассоциировалось с королевскими привилегиями, фаворитизмом и угнетением. Слово «моно-

---

<sup>12</sup> Монополия в строгом смысле слова — это ситуация, при которой единственный продавец (индивид или корпорация) имеет дело со спросом, не зависящим от его собственных действий и от действий продавцов-конкурентов. Видимо, хорошим приближением к истинной, или строгой, монополии может служить исключительное право на продажу портвейна в Англии XVI—XVII вв., хотя, вообще говоря, продавец портвейна не мог предполагать, что спрос на его товар останется неизменным, если цены аналогичных напитков изменятся. Но большие торговые компании, такие как «Купцы-авантюристы», не были монополиями в этом смысле слова: они регулировали бизнес своих членов, но, как правило, не устанавливали цены. Мы считаем, что экономисты должны употреблять термин «монополия» только в этом «истинном» значении, поскольку их теория монопольной цены относится только к этому случаю или, выражаясь иначе, поскольку лишь в этом случае возможно специфическое монополистическое ценообразование. Любое более широкое определение может породить путаницу.

полист» стало оскорблением. Но как только какое-либо слово приобретает эмоциональную окраску (позитивную или негативную), автоматически вызывающую у слышащего или читающего его однозначную реакцию, ораторы и писатели начинают использовать данный механизм, употребляя это слово как можно чаще. Так, термин «монополия» стал со временем обозначать все недостатки, присущие капиталистической экономике. Эта эмоциональная установка, естественно, распространилась на Соединенные Штаты, тем более что значительное число английских эмигрантов в Америке находились в оппозиции к династии Тюдоров—Стюартов.

Эта установка вплоть до сего дня оказывала и оказывает воздействие на общественное мнение, законодательство и даже профессиональную науку как в Англии, так и в США.<sup>13</sup>

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что в данную эпоху сложились определенные типы поведения, которые можно свести к некоторым «принципам». Это и было сделано. В результате возникли термины «меркантилизм», «система меркантилизма», «меркантилистская политика», впервые введенные в оборот критиками этих принципов. Тем не менее до сих пор я старался их не употреблять. Причины этого будут изложены в главе 7, в которой меркантилизм в теории и на практике станет главной темой нашего анализа. Пока же я прошу моих читателей забыть все то, что они об этом знают, и непредубежденно следить за дальнейшим изложением.

\*\*\*

## 2. Экономическая литература того времени

Здесь мы попробуем классифицировать тот огромный материал, из которого нам надо извлечь более или менее значительные результаты аналитической работы. Это весьма трудная задача. Даже в наши дни экономисты не всегда единодушны в том, какие произведения соответствуют профессиональным стандар-

---

<sup>13</sup> Это объяснение кажется более убедительным, чем обычные ссылки на специфически английскую любовь к свободе и справедливости или специфически континентальную склонность к регламентации и т. д. Я хочу проиллюстрировать явление, о котором идет речь, на таком примере. В XIX в. английские сторонники свободной торговли продовольствием называли своих оппонентов «монополистами», хотя ни английские фермеры, ни английские землевладельцы не были монополистами ни в каком разумном значении этого слова. Даже сэр Роберт Пиль, иногда проявлявший склонность к демагогии, употребил этот ярлык в своей речи в Палате общин по случаю ухода в отставку своего правительства в 1846 г.

там, а какие нет. Мы же имеем дело с периодом становления, в котором профессиональные стандарты еще не сформировались (по крайней мере, до конца этого периода, когда сложилось «классическое состояние»). Более того, отсутствовало четкое определение самой области исследования, и в силу этого она была значительно шире, чем теперь (она включала, к примеру, технологию). Так или иначе, чтобы сделать нашу задачу выполнимой, мы должны в соответствии с современной практикой исключить из рассмотрения некоторые разделы литературы. При этом мы отдаем себе отчет в том, что, возможно, исключаем некоторые аналитические работы, не уступающие по своим достоинствам тем, которые здесь рассматриваются. Как бы то ни было, именно так мы поступили в четырех следующих параграфах.

[а] **Материал, исключенный из рассмотрения.** I. В XVI в. и позже слово «*Oeconomia*» все еще означало «домоводство». Сочинения на эту тему были очень популярны. Бегло пролистав книги такого рода (метод, безусловно заслуживающий осуждения), автор не нашел там ничего, относящегося к нашей теме. Однако назовем пару из них. Первая — знаменитая *Oeconomia ruralis et domestica* («Сельская и домашняя экономия»; 1593–1607) Иоганна Колеруса, бывшая в употреблении более столетия и содержащая всевозможные советы по домоводству, включая сельское хозяйство, садоводство и медицину. Вторая — *L'Economia prudente* («Благодарный эконом»; 1629) Б. Фриджеро, в которой «экономия» определяется как «некоторое благоразумие в управлении семьей» (глава IX посвящена, к примеру, «управлению» женой). Эта работа может заинтересовать некоторых экономистов, поскольку в ней содержатся попытки описать национальные особенности экономического поведения. По сути дела, содержащаяся здесь концепция «эконома» не что иное, как сформулированная на уровне здравого смысла предшественница «экономического человека».

Аналогично Б. Кеккерманн в работе *Systema disciplinae politicae* («Система политических дисциплин»; 1606) определял «экономия» как «дисциплину о правильном управлении домом и семьей».

II. Значительно более важна литература о бухгалтерском учете и торговых операциях, незаметно переходящая в сопредельную литературу по управлению предприятием, хозяйственному праву, коммерческой географии и условиям коммерческой деятельности в разных странах. Приведем несколько примеров той литературы, которую мы исключаем из рассмотрения, несмотря на то что в ней встречаются элементы чистого экономического анализа. Труд Луки Паччоли *Summa de arithmetica, geometria, proporzioni e proporzionalita* («Сумма арифметики, геометрии, пропорций и пропорциональности»; Венеция, 1494) кроме описания обычных коммерче-

ских операций (начисления процентов, учета векселей, валютных сделок и т. д.) содержит изложение принципов двойной бухгалтерии.

Первой немецкой книгой на эту тему, насколько мне удалось обнаружить, была *Zwifach Buchhalten* («Двойная бухгалтерия»; 1549) В. Швайкера. В XVI–XVII вв. такие работы выходили достаточно часто. То же можно сказать и о справочниках по коммерческой практике крупнейших торговых центров Европы. Одним из самых ранних и наиболее известных произведений такого рода (читатель может найти его в книге Каннигэма: *Cunningham. Growth of English Industry and Commerce. 5th ed. Vol. 1. P. 618 ff*) была «Практика торговли» Ф. Б. Пеголотти (ок. 1315). Публикации этого типа в XVII в. часто содержат зачатки экономических рассуждений. См., например, *The Trades Increase* («Увеличение торговли»; 1615) Джона Робертса и *The Merchants Mappre of Commerce* («Коммерческая карта купца»; 1638) Льюиса Робертса. В XVII–XVIII вв. мы находим, с одной стороны, богатый урожай монографий, особенно о банках (некоторые из них будут упомянуты ниже), а с другой — обширные компиляции (назовем *Le parfait negociant* («Совершенный негодичант») Жака Савари (1675), переиздававшегося вплоть до 1800 г.). Основное содержание этой книги повторяет содержание *Il Negotiante* («Негодичант») Дж. Д. Пери (1633–1665) и еще более ранней работы Б. Котрульи Пауджео *Della Mercatura e del mercante perfetto* («О торговле и совершенном купце»; 1573). Упомянем и составленный сыном Савари, Жаком Савари де Брюлоном *Dictionnaire universel du commerce...* («Универсальный коммерческий словарь...»), законченный и опубликованный его братом Филемоном-Луи (1723–1730). *Universal Dictionary of Trade and Commerce* («Универсальный торговый и коммерческий словарь») Малахии Постлтуэйта (1751–1755) хотя и основывается на словаре Савари де Брюлона, однако не сводится к его простому переводу, как это иногда утверждалось (о различиях см. книгу Э. А. Дж. Джонсона: *Johnson E. A. J. Predecessors of Adam Smith. 1937. Appendix B*; тот же автор в приложении С более здраво, чем многие критики, оценивает размеры совершенного Постлтуэйтом плагиата, хотя и не отрицает самого факта).

Однако ни один из этих словарей мы не можем отнести к экономической науке как таковой. Оба они рассчитаны на удовлетворение практических нужд купцов и лишь от случая к случаю занимаются экономическими проблемами. Это принципиальное обстоятельство, а также отсутствие статистического приложения отличают названные публикации от более поздних словарей, таких как *Dictionary, Practical, Theoretical and Historical of Commerce and Commercial Navigation* («Практический, теоретический и исторический словарь торговли и торгового мореплавания») МакКуллоха (1832).

III. С некоторым опасением я исключаю из рассмотрения литературу по сельскому и лесному хозяйству. Исключение всей прочей литературы по технике и технологии не вызывает у меня никаких угрызений совести, хотя некоторые авторы, особенно те, кто изучает технологические аспекты горнодобывающих отраслей, также занимаются экономическими вопросами (см.: *Agricola G. De re metallica* (Агрикола Г. О металлических делах). 1556 — видимо, чрезвычайно удачный трактат, позднее переведенный с латинского на немецкий язык). Развитие сельскохозяйственной литературы данного периода можно бегло очертить следующим образом. В XIII в. существовала группа английских авторов — никто еще не мог установить их связь с какими-либо предшественниками или последователями, — которые создали несколько достойных внимания трудов по управлению имениями и земледелию. Эти труды были переведены с нормандского диалекта французского языка и изданы для Королевского исторического общества усилиями мисс Элизабет Ламонд в 1890 г. Достаточно упомянуть трактат о сельском хозяйстве, написанный до 1250 г. и приписываемый Уолтеру из Хенли. Если отвлечься от этой группы, то активный интерес к сельскохозяйственным вопросам возник, начиная с XV столетия, когда большим спросом пользовались переиздания аграриев, особенно Колумеллы (самое раннее издание, попавшее в поле моего зрения, — *Skriptores rei rusticae*; 1472).

Когда в связи со сдвигами в социальной структуре в сельское хозяйство начал проникать коммерческий дух, повсюду появилась литература, обучающая новым методам производства, освоение которых принято называть «аграрной революцией». В Англии непрерывное развитие шло от *Voke of Husbandrye* («Книга о сельском хозяйстве») Фитцгерберта (1523) через *Discours of Husbandrie used in Brabant and Flanders* («Рассуждение о сельском хозяйстве Брабанта и Фландрии») Уэстона (1650) и *Systema agriculturae* («Система агрикультуры») Уорлиджа (1669), *Whole Art of Husbandry* («Совокупное искусство сельского хозяйства») Мортимера (1707) к «*Horse-Houghing Husbandry*» Джетро Талла (1731).

Затем последовал настоящий взрыв литературной активности, продолжавшийся в течение всего XVIII в. и достигший в некотором роде кульминации в многочисленных писаниях Артура Янга (см.: «Сельская экономия»; 1770 и выпускаемое им периодическое издание «Анналы сельского хозяйства»). В этой литературе освещался широкий круг вопросов — от огораживаний до мелиорации, бурения скважин, севооборота, выращивания репы, клевера, животноводства. На континенте самое передовое сельское хозяйство было в Голландии, но в сельскохозяйственной литературе лидировали итальянцы. В качестве ее родоначальника, находившегося, однако, под сильным влиянием древних авторов, назовем П. де Крещенци, автора «*Opus ruralium commodorum*» (мне известно издание 1471 г.). Далее заслуживают внимания А. Галло

(Dieci giornate della vera agricoltura («Десять дней истинной агрикультуры»); 1566), Дж. Б. делла Порта (1583) и в особенности чрезвычайно оригинальный Камилло Тарелло (Ricordo di agricoltura («Заметка о сельском хозяйстве»; 1567), но мне известно издание 1772 г.), который в некоторых важных моментах предвосхитил развитие науки на два последующих столетия. Из немецких изданий назовем *Rei rusticae libri quatuor* Хересбаха (1570; 1-й англ. пер. — 1577) и уже упоминавшийся труд Колеруса. Затем развитие прекратилось и возобновилось к концу XVIII в., достигнув высшей точки в сельскохозяйственных произведениях И. К. Шубарта (1734–1787), которому император Иосиф II присвоил дворянский титул, содержащий многозначительное напоминание о «клеверном поле». Следует назвать также испанца Г. А. де Эррера (*Libro de agricultura* («Книга о сельском хозяйстве...»); новое изд. — 1563) и французов Шарля Этьена (*L'Agriculture et maison rustique* («Сельское хозяйство и сельский дом»); 1570; итал. пер. — 1581; оригинал мне не известен) и Оливье де Серра (*Théâtre d'agriculture* («Театр сельского хозяйства»); 1660). Этой попыткой наметить первые вехи сельскохозяйственной науки мы ограничимся, хотя такая литература во многом способствовала выработке некоторых приемов мышления, присущих и современной экономической науке. То же самое можно сказать о литературе по лесному хозяйству, которую я не смог здесь затронуть. Однако стоит отметить, что вплоть до XIX в. раздел о лесном хозяйстве оставался постоянной частью немецких общезакономических трактатов.

IV. Важную часть экономической литературы рассматриваемого периода составляют описания путешественниками экономических условий как зарубежных, так и собственных стран, поскольку регулярная информация такого рода отсутствовала. Изложение и осмысление фактов в таких сочинениях находились на разных уровнях — от беглых путевых заметок до тщательного анализа, иногда содержащего немалую дозу теории. Исключение такого рода литературы может серьезно исказить общую панораму экономической науки того времени и прежде всего скроет от читателя большую часть работ, содержащих фактический материал. Но другого выбора у нас нет. Назовем лишь два знаменитых английских труда, с которыми стоит познакомиться. Это «Наблюдения в объединенных провинциях» сэра Уильяма Темпля (1672; 3-е расшир. изд. 1676 г.), в которых ситуация в Нидерландах описывается с точки зрения определенной философии богатства (в основе его лежат, согласно автору, «бережливость и трудолюбие»), и рассказы Артура Янга о своих многочисленных путешествиях (наиболее важный: «Путешествия с целью исследовать возделывание земли, источники богатства и национального процветания Французского королевства» (1792)). В этом сочинении много такого, что может быть названо прикладной теорией.

[Й. А. Шумпетер намеревался напечатать этот раздел петитом как представляющий интерес только для специалистов. Многие из упомянутых здесь книг он изучал в библиотеке Кресса (Гарвардская школа бизнеса), которая ему и издателю представлялась неким раем для ученых.]

[b) Консультанты-администраторы]. Всех оставшихся авторов мы разделим на две группы. Мы назовем их консультантами-администраторами<sup>1</sup> и памфлетистами.

Среди консультантов-администраторов можно сравнительно легко выделить подгруппу преподавателей и сочинителей более или менее систематизированных трактатов. В этом бюрократическом раю (особенно в Германии и Италии), конечно, существовал постоянный спрос на поучения для молодого человека или для взрослого, который хотел бы усовершенствовать свои познания. В течение XVIII столетия создавались профессорские кафедры для обучения тому, что в Германии называли камеральной наукой или государственной наукой и что было бы правильнее называть «основами экономического управления и экономической политики» (в Германии существовал термин *Polizeiwissenschaft*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Этот термин примерно совпадает по значению с испанским словом *políticos*. В немецкой литературе принят термин «камералист» (от слова *camera*, означающего кровяницу). Но это слово порождает слишком узкие ассоциации, а кроме того, мы не хотим ограничиваться немецким материалом. Истории и библиографии немецкой камералистской литературы начали публиковаться уже в 1758 г. И. Мозером и в 1781–1782 гг. К. Г. Рёссигом (*Versuch einer pragmatischen Geschichte der Ökonomie, Polizei und Kameralwissenschaft* («Опыт прагматической истории экономики, политики и камеральной науки»)). Большую помощь автору оказала книга Р. Моля *Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften* («История и литература государственных наук»; 1855–1858) и всеобъемлющая *Bibliographie der Kameralwissenschaften* («Библиография камеральных наук») Магдалене Хумперт (1935–1937), насчитывающая около 14 тысяч названий, большую часть которых, к счастью, не охватывает наша книга. См. также книги К. Циленцигера *Die alten deutschen Kameralisten* («Старые немецкие камералисты»; 1914) и Луизы Зоммер *Die österreichischen Kameralisten* («Австрийские камералисты»; 1920–1925). Добавим американскую книгу А. Смолла *The Cameralists* («Камералисты»; 1909).

<sup>2</sup> См. в особенности книгу Вильгельма Штиды *Die Nationalökonomie als Universitätswissenschaft* («Национальная экономика как университетская дисциплина»; 1906). Упомянем кафедры, созданные в университетах Галле (1727) (здесь тут же возникли сомнения в компетентности только что назначенных профессоров), Упсале (1740) и Неаполя (1754; кафедра экономики и коммерции, созданная для Дженовези). Разумеется, начало преподавания экономической науки не следует датировать этим временем. Схоласты и философы естественного права преподавали ее раньше — в составе курса права и моральной философии. Обучение государственных чиновников также было организовано не в XVIII в., а раньше. В университетах Неаполя (основан в 1224 г.), Оксфорда, Праги, Кракова, Вены, Саламанки и др. оно велось с XIII–XIV вв. В XVI в.

Трактаты, которые писали профессора, в большой степени представляли собой учебники или лекционные курсы. Однако потребность в обучении государственных служащих возникла задолго до того, как экономическая наука как самостоятельная дисциплина получила официальное признание, проявившееся в создании упомянутых кафедр. Соответственно во всех странах Европы появлялись и систематизированные трактаты педагогической направленности.

С XV в. сначала в Италии, а затем и в других странах государственные чиновники всех видов и рангов — от высокопоставленных вельмож до скромных исполнителей — начали излагать на бумаге свои идеи относительно рационального управления экономикой и особенно финансами своих стран.

Эти администраторы на практике занимались управлением экономикой; большая их часть не принадлежала к духовенству. Поэтому неудивительно, что их книги, доклады, записки значительно отличаются от трудов схоластов и философов естественного права. Равно как, впрочем, и от профессорских сочинений.

Практики не владели приемами систематизации материала и не обладали эрудицией университетских преподавателей, зато они хорошо знали факты и отличались новизной подхода. Тем не менее мы включаем их наряду с преподавателями в группу консультантов-администраторов. В конце концов это были государственные служащие, писавшие для других государственных служащих. Но мы должны пойти дальше и включить в эту группу лиц, которые хотя и не были сами государственными служащими, но подобно им отстаивали государственные интересы и, что еще лучше, писали в духе подлинно научного анализа. Речь идет о деловых людях, профессорах неэкономических дисциплин, частных лицах самого разного происхождения и общественного положения. Таким образом, наряду с профессионалами мы имеем другую подгруппу, членов которой объединяли не общие социологические признаки, но само содержание их сочинений. Из этой подгруппы вышли многие из наиболее замечательных и большинство наиболее оригинальных произведений того времени. Эти произведения редко имели систематизированную форму,

---

в Марбурге, Кёнигсберге, Вюрцбурге и Граце подготовка чиновников уступала по важности лишь подготовке священнослужителей. В XVII в. существовали и профессора «статистики». Интересно, что в Англии и Шотландии в XVIII в. специальные экономические кафедры не появились. Профессора сельскохозяйственной науки работали в Эдинбурге с 1792 г., а в Оксфорде — с 1796 г., в то время как кафедры политической экономии открылись соответственно в 1871 и 1825 гг.

но часто являлись системными по существу. В Англии XVII в. такие публикации были столь многочисленны, что из них можно составить самостоятельную, вполне однородную рубрику. Назывались они обычно Discourse of trade («Рассуждение о торговле»). Но их распространение не ограничивалось Англией, хотя в других странах стандартных заголовков не было, кроме разве что французских *Éléments du Commerce* («Начала коммерции») XVIII в. Эти книги мы назовем «квазисистемами». Именно в них «общая экономическая теория» впервые приобрела черты самостоятельной науки.

[с) Памфлетисты]. Памфлетисты являют собой чрезвычайно пеструю группу авторов. Здесь и прожектеры, затевающие создание банка, постройку канала, колониальные авантюры: адвокаты или оппоненты чьих-либо частных интересов (например, «Компании купцов-авантюристов» или Ост-Индской компании); сторонники или противники определенных политических мер; авторы планов — часто весьма странных — со своими любимыми идеями и, наконец, люди, не входящие ни в одну из этих категорий, но просто желающие выяснить какой-то вопрос или провести некое исследование. Благодаря быстрому прогрессу издательского дела все эти группы процветали во всех без исключения странах. Газеты — редкое для XVI в. явление — в XVII в. стали выходить в изобилии, а в XVIII в. только в Германии насчитывалось 170 газет и других периодических изданий, публиковавших материалы на экономические темы.<sup>3</sup> Но, как и следовало ожидать, классической страной памфлета стала Англия. Ни в каком другом государстве не возникало столько желающих повлиять на общественное мнение.

Применительно к этим памфлетистам мы сталкиваемся с одной трудностью, о которой уже говорилось в начале этого параграфа. Поскольку их произведения отражают условия, нравы, конфликты и предрассудки своего времени, постольку они представляют большой интерес для историков экономики и экономической мысли, но никак не для нас. В обзоре нашей современной экономической науки никто, конечно, и не подумает упомя-

---

<sup>3</sup> Эта цифра, конечно, относится ко всему столетию в целом. Многие из этих изданий существовали очень недолго. Вероятно, в каждый момент времени выходило не более 10% общего количества. По качеству же они уступали французским. Специальные экономические журналы впервые возникли во Франции. Первым появился *Journal Oeconomique* (1751), затем последовала *Gazette du Commerce* (1763), которую впоследствии приобрело правительство. В качестве приложения к последней издавался *Journal de l'Agriculture, du Commerce et des Finances*, который на некоторое время стал органом физиократов.

нуть «популярные» или, по выражению Маркса, «вульгарные» сочинения наших дней. Но примерно до 1750 г. провести такой отбор было невозможно. В системах философов естественного права все «научное» составляло лишь небольшое ядро.

При этом каждый разумный бизнесмен, знающий нужные факты, мог успешно участвовать в конкурентной борьбе, не владея никакой особенной техникой. Именно памфлетисты постепенно выработали нужную им, хотя и весьма примитивную, технику анализа. Некоторым из них удалось создать трактаты, носившие истинно научный характер. Экономисты периода «первой классической ситуации» очень многим им обязаны. Поэтому и мы не можем обойти их молчанием. Но каждый из нас должен определять качество этих памфлетов исходя из своего собственного знания материала.<sup>4</sup>

### 3. Системы XVI в.

И вновь за ориентир мы возьмем «Богатство народов». В предыдущей главе мы говорили о А. Смите как философе естественного права. В этой мы рассмотрим его как консультанта-администратора. На пути к нему я постараюсь избежать бессодержательных перечислений и назову как можно меньше имен. Но несколько наиболее крупных или репрезентативных авторов как в этой, так и в следующих главах будут проанализированы достаточно подробно, чтобы дать читателю представление о сущности и значении их вклада в экономический анализ. Если рассматривать данный период в целом, то главная заслуга, по моему, принадлежит итальянцам. Если можно так выразиться, экономическая наука до последней четверти XVIII в. была по преимуществу итальянской. Испанцы, французы и англичане в целом делят второе место, хотя соотношение сил между ними с течением времени сильно менялось.

Остальная часть этой главы посвящена в основном первой, «профессорской», подгруппе консультантов-администраторов, хотя некоторое внимание придется уделить и авторам квазисистем. Дело не в том, что труды этой подгруппы являются самыми

<sup>4</sup> Что касается вклада в технику экономического анализа, то, насколько мне известно, из европейских памфлетистов XVI, XVII и XVIII вв. заслуживают внимания едва ли две дюжины. Однако читатель должен помнить, что ряд авторов, которых другие исследователи считают памфлетистами, мы включили в группу консультантов-администраторов.

интересными и важными. Напротив, никакая другая группа авторов не производила на свет таких невыразимо скучных трактатов (наряду с более интересными опусами). Мы начнем с них скорее для того, чтобы быстрее от них отделаться.

[а) Труд Карафы]. На исходе средних веков мы уже можем найти сочинения, содержащие (даже если оценивать их с современных позиций) весьма проницательный анализ практических проблем экономической политики. Достаточно упомянуть часто цитируемый английский источник.<sup>1</sup> В 1382 г. состоялись, как мы сейчас называем, «слушания» по проблеме оттока денег из Англии и другим финансовым вопросам. Читатель может легко убедиться, что высказывания средневековых экспертов преисполнены здравого смысла и существенно не отличаются от того, что мы ожидали бы услышать (хотя, конечно, в более совершенном фразеологическом исполнении) от любых экспертов в похожих обстоятельствах. Такого рода документы обнаруживают осязаемую способность их авторов к экономическому анализу. Есть и доказательства наличия в то время интереса к собиранию фактов. Важной вехой в развитии этого типа исследований, значение которых неуклонно росло начиная с XVI в., была *Livre des métiers* («Книга ремесел») Этьена Буало (ок. 1268)<sup>2</sup> — компиляция различных актов, регулирующих ремесла в Париже. Литературные опыты того типа, который будет рассматриваться в данной главе, также восходят к далекому прошлому: в каком-то смысле к труду Фомы Аквинского *De regimine principum* («О принципе управления»), к *English Speculum regis* (изд. Мойзантом в 1894 г.) и другим произведениям XIII–XIV вв., таким, как *De regimine principum libri* («Книги о принципах управления») Эгидия Колонны, *Trattato* («Трактат») Фра Паолино (изд. Муссафия в 1868 г.) или *De republica optime administranda* («О наилучшем управлении общим делом») Петрарки.

В этой литературной традиции в XV в. возникло произведение, настолько превосходящее все, написанное ранее, что мы имеем полное право начать наш перечень консультантов-администраторов с его автора, неаполитанского графа и герцога Карафы, хотя сам он был по преимуществу «практиком».<sup>3</sup> О широте

<sup>1</sup> См.: *Opinions of the Officers of the Mint on the State of English Money, 1381–1382*, напечатанные в: *English Economic History: Select Documents*/A. Bland, P. Brown, R. Tawney (eds.). 1914. P. 220 etc.

<sup>2</sup> Опубликована Делпингом в: *Documents inédits sur l'histoire de France* (1837).

<sup>3</sup> Диомеде Карафа (1406–1487); речь идет о *De regis et boni principis officio* (я пользовался латинским изданием 1668 г. и не видел оригинала, напи-

мышления Карафы можно судить по некоторым его рекомендациям. Он мечтал о сбалансированном бюджете, располагающем большими средствами, которые можно направить на повышение всеобщего благосостояния. Он хотел избежать необходимости брать вынужденные займы (которые он сравнивал с воровством и грабежом), выступал за строго определенные, справедливые и умеренные налоги, которые не приводили бы к бегству из страны капитала и не угнетали бы труд, — по его мнению, источник богатства, — умалчивая о бизнесе, хотя и добавлял, что промышленность, сельское хозяйство и торговлю надо поощрять займами и другими средствами. Он высказывался за создание благоприятных условий для заграничных купцов, поскольку их присутствие весьма полезно для страны. Все это, несомненно, очень разумные советы, на удивление свободные от каких-либо заметных ошибок или предрассудков. Но вместе с тем здесь нет даже попытки анализа. В нормальных процессах экономической жизни Карафа не видел никаких проблем. Единственная проблема заключалась в методах управления этими процессами и их совершенствования. В частности, в приведенном мнении о труде как источнике богатства мы не должны видеть соответствующую теорию ценности: подобные вопросы занимали живые умы современников Карафы — схоластов, но никогда не приходили в голову этому воину и государственному деятелю.

Тем не менее его произведение занимает выдающееся место в истории экономического анализа — хотя бы в силу предпринятой автором систематизации материала. Первая часть его книги трактует общие политические и военные вопросы (см. лекции А. Смита о вооружениях), вторая — отправление правосудия. Третья представляет собой маленький трактат о государственных финансах. Ее уже можно сравнить с пятой книгой «Богатства народов» («О доходах государя или государства»), хотя дистанция между ними, конечно, очень велика. Последняя, четвертая, часть содержит взгляды Карафы на собственно экономическую политику. Многие трактаты XVIII в. кажутся лишь дополненным изложением этих взглядов. Нет оснований полагать, что позднейшие

---

санного по-итальянски в 70-е годы XV в.). Современник Карафы Маттео Пальмери (1405-1475) написал трактат под названием *Della vita civile* («О гражданской жизни»), опубликованный посмертно в 1529 г., где гораздо определеннее интерпретируются вопросы налогообложения (налоги, согласно автору, оплачивают ту помощь и защиту, которую государство оказывает частным лицам в их экономической деятельности; затем из этой доктрины выводится принцип пропорциональности обложения). Но в целом, как мне кажется, этот труд менее репрезентативен, чем книга Карафы.

авторы сознательно брали книгу Карафы за образец и что он, таким образом, создал ту форму систематизации, которая была присуща многим значительным произведениям консультантов-администраторов. Но так или иначе, он, насколько мне известно, был первым, кто предпринял широкое исследование экономических проблем нарождающегося национального государства. В течение следующих трех столетий множество авторов, которые придерживались той же систематизации и ставили перед собой сходные задачи, шли по его стопам и писали в его духе. Конечно, они копали глубже и осваивали новые земли. Но набор инструментов оставался тем же. В частности, они не только придерживались фундаментальной идеи Карафы, воплощенной в его концепции «добротного князя» (сэр Джеймс Стюарт воплотил ее в своем «государственном деятеле»), но и развивали ее дальше. Это антропоморфное существо явилось зародышем концепции «национальной экономики» (по-немецки *Volkswirtschaft* или *Staatwirtschaft* — «народное хозяйство» или «национальное хозяйство»), которая так хорошо отражала те исторические процессы, которые мы пытались себе представить в первом разделе этой главы. Национальная экономика — это не просто сумма всех индивидуальных хозяйств и фирм или всех групп и классов, находящихся в пределах государственных границ. Это своего рода идеальный объект, представляющий собой совокупное хозяйство, существующее само по себе, имеющее собственные интересы и потребности, которым следует управлять как большой фермой. Именно так в ту эпоху объяснялась ключевая роль правительства и государственной бюрократии. Отсюда и продолжающееся по сей день разграничение между политической экономией и экономикой предприятия <business economy>, хотя с чисто аналитической точки зрения его едва ли можно оправдать.

**(b) Типичные представители: Боден и Ботеро].** В XVI столетии данный тип экономического сочинения процветал во всех странах европейского континента. Как типичных представителей этого направления, оказавших к тому же значительное влияние на современных и позднейших авторов, мы рассмотрим Бодена и Ботеро.<sup>4</sup> Обе книги представляют собой в первую очередь трактаты

---

<sup>4</sup> Jean Bodin или Vaudin (Bodinus, 1530–1596): *Les six livres de la République* («Шесть книг об общем деле»; 1576; я пользовался изданием 1580 г.). Об этом авторе и его произведениях см.: *Baundrillart Henri. Jean Bodin et son temps. 1853*. Эта книга остается вполне авторитетной и спустя сто лет после издания. Это единственное сочинение Бодена, которое следует рассмотреть здесь, другая его книга будет упомянута ниже (см. главу 6). Читателю, которому

ты по «политической науке», написанные в духе «Политики» Аристотеля. Как таковые они являются важным промежуточным звеном между Макиавелли и Монтескье. Их экономические идеи относятся, как и у Карафы, к сфере государственной политики и администрации и входят в одну из отраслей политического знания. Экономический анализ, содержащийся в шестой книге труда Бодена *République* («Общее дело»), вряд ли выделяется на современном ему фоне и в основном не превосходит идей Карафы, хотя изложенные Боденом принципы налогообложения являют собой дальнейшее продвижение к пятой книге «Богатства народов». <sup>5</sup> Ботеро, бывший во многих аспектах последователем Бодена, внес значительно более важный вклад в экономический анализ, который будет рассмотрен в одной из следующих глав, когда речь пойдет о народонаселении. Здесь же хочется сказать о другом. Трактат Ботеро, особенно если сравнивать его с другими произведениями того же автора, производит сильное впечатление своим упором на факты.

Ботеро был умелым аналитиком, но занимался главным образом сбором, упорядочением и истолкованием фактов прошлого и настоящего — экономических, социальных и политических. В этом он не был исключением. Мы видели, что схоласты XVI в. были заядлыми охотниками за фактами, а исходным пунктом их рассуждений часто служили не абстрактные предложения, как можно подумать, а наблюдения за реальной жизнью. Но в еще большей степени сказанное относится к тому типу литературы, который мы сейчас обсуждаем. Большая и наиболее ценная часть этих произведений посвящена исследованию фактов. В ту эпоху, как и на протяжении всей истории экономической науки, сбор фактов был главной заботой подавляющего большинства экономистов.

---

покажется, что мы не воздаем должное этому автору, я могу ответить, что нас интересует лишь его вклад в экономический анализ, а не его гораздо более важные достижения в других областях, в частности в теории суверенитета.

Giovanni Botero (1544–1617): *Della ragion di stato* («О благоразумии государства»; 1589; множество переизданий и переводов; последнее изд. с предисловием К. Моранди — 1930 г. в серии «Классики политической мысли»). Чтобы полнее оценить вклад этого выдающегося мыслителя, назовем еще два его сочинения: *Delle cause della grandezza delle città* («О причинах величия городов»; 1588, кое в чем напоминающее «Величие римлян» Монтескье и третью книгу «Богатства народов», и *Relazioni universali* («Всемирные вести»), составленные из отчетов о его путешествиях, о богатстве и военной мощи стран Европы и Азии, которые выходили в 1591–1596 гг.

<sup>5</sup> Я думаю, любой исследователь, который захочет доказать, что идеи А. Смита о государственных финансах имеют континентальные (главным образом французские) корни, должен использовать эти принципы как аргумент номер один.

Кроме теории народонаселения Ботеро Италия XVI в. породила еще несколько достижений в области экономического анализа, гораздо более важных, чем рассматриваемые нами здесь систематизированные трактаты. В особенности это касается сферы денежного обращения (Даванцатти, Скаруффи — см. главу 6).

[с) Испания и Англия]. Очень высокий уровень испанской экономической науки XVI в.<sup>6</sup> — преимущественно заслуга схоластов. Но мы можем отметить и одну раннюю квазисистему — работу Ортиса,<sup>7</sup> представлявшую собой хорошо разработанную программу промышленного развития. Произведения такого жанра в XVII в. в изобилии появились как в Испании, так и в Англии.

В Германии нам отметить почти нечего, за исключением двух имевших успех квазисистем.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> См.: *Castelot E. Coup d'oeil sur la littérature économique de l'Espagne au XVI-e et au XVII-e siècle (Кастело Э. Взгляд на испанскую экономическую литературу XVI и XVII вв.) // Journal des économistes. 1901. Vol. 45; Colmeiro Manuel. 1) Historia de la economía política en España (Кольмейро М. История политической экономии в Испании). 1863; 2) Biblioteca de los economistas españoles (Библиотека испанских экономистов). 1880. Полезна и другая антология: *Sempere y Guarinos' Juan. Biblioteca española económico-política (Семпери-Гуаринос Хуан. Испанская политико-экономическая библиотека). 1801-1821* (аналогичная итальянской антологии, изданной Кустоди); *Castillo A. V. Spanish Mercantilism (Кастильо А. В. Испанский меркантилизм). 1930; Hamilton E. Spanish Mercantilism before 1700 (Гамилтон Э. Испанский меркантилизм до 1700 г.)//Facts and Factors in Economic History (изд. учениками Э. Ф. Гэя), а также доклад Хосе Ларраса Лопеса *La Época del Mercantilismo en Castilla («Эпоха меркантилизма в Кастилии), 1500-1700 (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1943)* и обзор этого доклада, сделанный Х. Маркесом (*Economic History Review. 1944*). Сеньор Ларрас говорит об «испанской», или «саламанской», школе экономистов XVI в. Для этого есть определенные основания. Но ядро этой школы составили поздние схоласты; при этом многие из наиболее выдающихся ее представителей оказались испанцами. В их учении не было ничего специфически испанского. Остальные же испанские экономисты XVI в., большинство которых также составляли лица духовного звания, не образуют никакой школы.**

<sup>7</sup> *Ortiz L. Memorial al Rey para que no salgan dineros de estos reinos de España (Ортис Л. Докладная записка Королю о том, чтобы не выпускать денег из испанских королевств). 1558 (см. Библиотеку Кольмейро). Не обращайтесь внимания на заглавие, побуждающее заклеить это произведение как «меркантилистское». Оно имеет мало общего с содержанием и было намеренно избрано автором с целью привлечь внимание широкого читателя.*

<sup>8</sup> *Melchior von Osse (примерно 1506-1557). Politisches Testament («Политическое завещание») написано в 1556 г., но напечатано в 1607 г. под названием *De prudentia regnativa («О предусмотрительности правителей»)*. Переиздано Томазием в качестве учебного пособия в 1717 г.*

Экономические трактаты Георга Обрехта (1547-1612), который известен как юрист, посмертно опубликованы в 1617 г. под названием *Fünf unterschiedliche Secreta Politica («Пять различных политических секретов»)*. Очевидно влияние Бодена.

На первый взгляд может показаться, что в Англии XVI в. мы вряд ли обнаружим работы описываемого здесь типа. Но это не так. Просто искомые сочинения принимали иные формы, соответствующие иной политической структуре этой страны. Уровень дискуссий по актуальным политическим проблемам, вдохновленных и в то же время поставленных в определенные рамки парламентскими и правительственными расследованиями, значительно возрос в XVI в. и иногда поднимался до истинно «научных» высот. Из материалов слушаний, проводимых королевскими комиссиями (например, Королевской комиссией по бирже, созданной в 1564 г.), речей, петиций, памфлетов по поводу огораживании, гильдий, торговых компаний, монопольных торговых прав городов, монополий, налогообложения, денежного обращения, таможенных пошлин, помощи бедным, регулирования промышленности и т. д. можно было бы составить учебник экономического анализа и экономической политики, превосходящий учебники такого рода, издававшиеся на континенте.<sup>9</sup>

Но вместо этого мы изберем другой, гораздо более легкий и, к счастью, доступный путь. Мы можем рекомендовать читателю ряд публикаций, дающих общий обзор экономической литературы того времени. В них, хотя бы частично, содержится то, что нам нужно. Здесь же ограничимся рассмотрением лишь самого известного из этих трактатов.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Читатель сможет быстро убедиться в этом, пролистав уже упоминавшуюся антологию *English Economic History: Select Documents* (1914), составленную Блэндом, Брауном и Тони. Еще более интересна антология *Tawney and Power Tudor Economic Documents*, которая содержит избранные документы, иллюстрирующие экономическую и социальную историю Англии эпохи Тюдоров (в 3 т., 1924). В третьем ее томе напечатаны «памфлеты, докладные записки и отрывки из литературных произведений».

<sup>10</sup> Речь идет о книге *A Compendious or briefe examination of certayne ordinary complaints, of divers of our countrymen in these our days: which although they are in some part unjust and frivolous, yet are they all by way of dialogues thoroughly debated and discussed* («Краткое исследование некоторых обычных жалоб различных наших сограждан в наши дни, которые, несмотря на то, что они отчасти несправедливы или легкомысленны, подвергаются тщательному обсуждению в виде диалогов»). Мисс Элизабет Ламонд принадлежит превосходное научное издание этого документа под заголовком *A Discourse of the Common Weal of this Realm of England* («Рассуждение об общем благе в Английском королевстве»; 1893), которое помимо самого текста содержит результаты кропотливого изучения природы и происхождения этого произведения. Она приписывает его авторство Джону Хейлзу, государственному чиновнику, служившему также в парламенте и в комиссии по огораживанию 1548 г., и предполагает, что оно было написано в 1549 г. Оба эти предположения подвергались сомнению. Но для нас важнее всего то, что издание 1581 г., с которого были сделаны все последующие (1751, 1808, 1813, 1876), отличается от более раннего — 1565 г. Наиболее важное различие — дополнительно вписанный

«Рассуждение об общем благе» состоит из трех диалогов, затрагивающих широкий круг проблем. Автор сожалеет по поводу того, «что молодые студенты всегда слишком поспешно выносят свои суждения», а также по поводу «раскола в вопросах религии» и восхваляет хорошее образование, причем заходит настолько далеко, что считает превосходство в «учении» одной из причин победы Юлия Цезаря над Помпеем. Он осуждает огораживания, поскольку они превращают пахотную землю в пастбища; подвергает критике возникающие торговые корпорации и их монополистическую практику; возмущается обесцениванием денег и инфляцией, причиняющей вред людям, доходы которых реагируют на рост цен с запозданием, — рабочим,<sup>11</sup> земельным собственникам и даже Его королевскому величеству; рекомендует оказывать поддержку новым отраслям промышленности, а также накапливать денежный резерв на случай непредвиденных обстоятельств, справедливо считая деньги «сокровищницей, в которой можно найти любые товары», и «нервом всех войн». Он не одобряет экспорт сырья, особенно шерсти, сердится на «чужеземцев», дорого продающих пустые безделушки, которые им почти ничего не стоят, и покупающих на вырученные деньги добротные английские товары, а то и просто, как в последнее время, предпочитают вывозить деньги за границу. Он считает, что с ввозимых заграничных товаров надо брать такую пошлину, чтобы местные производители «могли бы конкурировать», призывает к хранению денег нации внутри страны и к возврату тех, что уже попали за рубеж, и т. д.

По этим наброскам читателю не составит труда представить себе взгляды автора. Конечно, они носили популярный, доаналитический характер, но большая их часть соответствовала требованиям здравого смысла. «Доктор», участвующий в диалогах, — вполне разумный человек. Он не говорит ничего такого, что показалось бы абсурдным сегодняшнему политику или любому обра-

---

фрагмент о причинах всеобщего роста цен: в то время как в издании 1565 г. говорится лишь о порче монеты, более позднее издание упоминает и о растущем притоке драгоценных металлов. Кому бы ни принадлежало это дополнение, он должен разделить и славу этого «открытия», хотя приоритет Бодена (*Response aux paradoxes de Monsieur de Malestroit* («Ответ на парадоксы господина Мальтруа»); 1568; см. ниже, главу 6) как по времени публикации, так и по времени самого открытия, несомненно подтвержден существованием издания 1565 г.

О работах Клементя Армстронга, или Армстона, которые мы могли бы здесь рассмотреть с тем же успехом, см. статью С. Т. Виндоффа в *Economic History Review* (1944).

<sup>11</sup> Елизаветинский «Статут о подмастерьях» (1562–1563) ввел то, что мы называли бы индексированием заработной платы. Заработная плата должна была ежегодно меняться в соответствии с изменением стоимости жизни.

зованному человеку — неэкономисту по профессии. В одном аспекте автор был особенно разумен для своего времени. Он не доверял регулированию — хотя и не в той мере, в какой это делали либералы XIX в., но во всяком случае гораздо больше, чем мы сегодня. Он выступал против принуждения. Он призывал использовать, а не подавлять стремление к прибыли, которое считал совершенно естественным. Более того, часто он глубоко проникал в сущность экономических процессов. Например, он совершенно справедливо отмечал связь между распространением овечьих пастбищ на пахотную землю и политикой поддержания низких цен на пшеницу путем специальных ограничений и запрета ее экспорта. Он разоблачил цель этой политики, состоявшую в том, чтобы сделать производство шерсти более выгодным, чем производство зерна. Его аргументация (аналогичная ей часто встречается в произведениях консультантов-администраторов) далеко не тривиальна. Выводы из нее приближаются к уровню научного анализа.

#### 4. Системы с 1600 по 1776 г.

[а) Ранние стадии]. В море экономической литературы XVII—XVIII вв. разобраться гораздо труднее. Исходя из нашего стратегического замысла, в этом разделе мы временно абстрагируемся от всех побочных тем и проанализируем только «системы» экономистов этих двух столетий вплоть до «Богатства народов». Развитие такого рода произведений в начале данного периода мы проиллюстрируем на примере Монкретьена во Франции, Борница и Безольда в Германии и Фернандеса Наваррете в Испании.

Антуан Монкретьен (ок. 1575–1621), автор *Traicté de l'oeconomie politique* («Трактата политической экономии») (1615), кажется, был первым, кто поставил в заголовок своего труда слова «политическая экономия». Это, однако, единственная его заслуга. Сама книга весьма посредственна и начисто лишена оригинальности. Хотя в даваемых автором рекомендациях есть здравый смысл, его работа изобилует элементарными логическими ошибками и находится не выше, а ниже среднего уровня той эпохи. Противоположную точку зрения можно найти в предисловии Т. Функа-Брентано к подготовленному им изданию «Трактата» (1889), а также в работе P. Lavalley *L'Oeuvre économique de Antoine de Monchretien* (1903).

«Политический трактат о том, как следует обеспечить достаток в обществе» Якоба Борница (*Bornitz Jacob. Tractatus poli-*

ticus de rerum sufficientia in republica et civitate procuranda. 1625) представляет собой плохо переваренную компиляцию экономических фактов.

Произведения Кристофа Безольда (1577–1638): Collegium politicum (1614), Politicorum libri duo (1618) и еще одна из его многочисленных работ Synopsis political doctrinal (1623) свидетельствуют о высоком уровне исторической эрудиции этого знаменитого преподавателя, хотя в том, что касается знания фактов, он уступает Борницу. Его трактовка процента предвосхищает взгляды Салмазия. В свою очередь, несомненное влияние оказал на него Боден.

Педро Фернандес Наваррете, автор Discursos (1-е изд. — 1621; более позднее, под названием Conservació de monarquias — 1626), служивший в инквизиции, совершенно свободен от широко распространенной в те, да и в наши времена, склонности переоценивать значение денежных факторов. Примечателен и его вполне здравый вывод о том, что естественный процесс развития промышленности в значительной мере избавил бы Испанию от претерпеваемых ею напастей (ценность, добавленная к сырью человеческим трудом, с его точки зрения, намного более важна, чем золото и серебро, — см. шестнадцатое из пятидесяти «рассуждений») и этот процесс можно ускорить, если убрать с его пути некоторые препятствия. Я убежден, что Фернандес Наваррете с точки зрения аналитических способностей превосходит не менее известного Монкаду (его Discursos вышли в 1619 г. и переиздавались в 1746 г. под названием Restauración política de España).

Следующие четыре автора стоят на более высокой ступени: Мартинес де ла Мата, разработавший программу промышленной политики в духе Фернандеса Наваррете; Зеккендорф написавший первый выдающийся трактат о государственном управлении и политике германских княжеств; великий Сюлли (Максимилиан де Бетюн), не случайно обойденный нашим вниманием; Дю Рёфюж, намного превзошедший и Бодена, и Монкретьена.

Франсиско Мартинес де ла Мата известен как автор Memorial ó discursos en razón del remedio de la des población, pobreza y esterilidad de España («Записки, или Рассуждения о причинах опустошений, бедности и бесплодия в Испании и средствах от них избавиться») (1650; я знаком только с «Избранными рассуждениями», изданными в 1761 г.; фрагменты их можно найти в т. 3 упомянутой выше антологии Семпере-и-Гуариносо). Это произведение самозваного «слуги обиженных и бедных» (siervo de los pobres afligidos), видимо, пользовалось большим успехом. Его глубоко верная основная мысль — та же, что и у Наваррете, — повторялась множеством последующих экономистов.

Файт Людвиг фон Зеккендорф (1626–1692), сам незаурядный администратор, опубликовал в 1656 г. книгу *Teutscher Fürstenstaat* («Немецкое княжество») — классическое произведение такого рода. За описаниями и наставлениями автора скрывается вполне определенное мировоззрение и определенный политический идеал — обильное население, занятое целесообразным трудом. Для достижения этой цели он предлагает ряд основных средств: защиту от внешней конкуренции промышленности и ремесел и обеспечение им свобод внутри страны (что означало устранение устаревших цеховых структур); обязательное начальное образование и систему налогообложения, основанную на акцизах, которая меньше затрагивает высокие доходы и поэтому способствует большей занятости.

В дальнейшем мы убедимся, что в этом состояла типичная программа (определявшая, в свою очередь, типичный способ анализа) немецких и итальянских «камералистов» вплоть до первых десятилетий XIX в., когда данное направление в экономической науке перестало существовать. Человека, впервые сформулировавшего без двусмысленности и противоречий некоторые тезисы, которые повторялись затем в течение более чем столетия, бесспорно, нельзя назвать второстепенной фигурой. Как личность и мыслитель он далеко превосходит многих из тех, кому на этих страницах уделено больше внимания, но в его работе трудно найти анализ в собственном смысле этого слова, т. е. сознательное усилие, предпринимаемое с целью установить типичные связи или взаимозависимость различных явлений. То немногое, что удается обнаружить, большой ценности не представляет.

Максимилиан де Бетюн (1560–1641), министр финансов Генриха IV, получивший от него титул герцога де Сюлли, был гораздо более значительной и сильной личностью, чем Кольбер — наиболее знаменитый из его преемников. Он весьма успешно реформировал налоговую систему Франции, и при этом его планы простирались далеко за пределы того, что ему удалось сделать. Более того, он знал, как сделать налоговую политику частью и инструментом общей экономической политики, а этим знанием обладают лишь великие администраторы. Его *Économies royales* («Королевские экономии») (1-е изд. — 1638; известные мне фрагменты напечатаны в «Малой экономической библиотеке» Гийомена) представляют собой в основном воспоминания об его административной деятельности. Необычная форма делает эту поучительную книгу весьма занимательной. Несмотря на то что де Бетюн много занимался проблемой благосостояния сельского населения и как-то сказал, что земледелие и животноводство — «это две груди Франции», не стоит считать его предшественником физиократов. Совершенно очевидно, что этот человек не имел отношения к какой бы то ни было теории.

Произведение Эташа Дю Рефюжа *Le Conseiller d'etat ou recueil général de la politique moderne* («Государственный советник, или Как в обществе принимается современная политика») (1645)\* восходит к традиции Бодена. Первые сорок глав посвящены различным формам управления, обязанностям магистратов, воинской повинности и т. д. Главы 41–45 представляют собой трактат по экономической науке и содержат наброски желательной экономической политики. В остальных главах среди прочего обсуждаются государственные финансы, в особенности налогообложение, и делается следующий шаг в направлении книги пятой «Богатства народов» Смита.

Некоторые достижения Дю Рефюжа в области экономического анализа заслуживают внимания. Так, ему впервые (насколько я знаю) удалось разделить эффект «бережливости», сохраняющей богатство (глава 44), и «сбережений» (накопления запасов), мешающих торговле (глава 49).

Во второй половине XVII в. и на всем протяжении XVIII в. все больше авторов, по большей части университетских преподавателей, писали труды подобного рода. В некоторых странах, особенно в Германии, они даже в начале XIX в. все еще являлись основными пособиями по обучению экономической науке. Однако большинство этих произведений были написаны под давлением спроса, а не творческого побуждения и представляют настолько мало интереса, что нам не стоит анализировать их сколь-нибудь подробно. Для наших целей, т. е. для того, чтобы получить общее представление об этой литературе и о том, насколько далеко она продвинулась в канун эры Смита, вполне достаточно упомянуть двух авторов, имевших международную известность, — Устариса и Юсти, — и подробно обсудить одну из работ последнего.

Херонимо Устарис (1670–1732) написал трактат под названием *Theórica y práctica de comercio y de marina* («Теория и практика коммерции и мореплавания») (1-е изд. — 1724, два других переработаны самим автором), который относится к работе Мартинеса де ла Мата примерно так же, как эта последняя — к трактату Фернандеса Наваррете. Он был переведен на английский и французский языки и пользовался большой популярностью. Название трактата не отражает его истинного содержания. Во-первых, из названия можно сделать вывод, что речь пойдет лишь о

---

\* [Это анонимно созданное произведение приписывалось Дю Рефюжу, когда Й. Шумпетер изучал его в библиотеке Кресса. Недавно авторство его было приписано Филиппу де Бетюну, графу де Селль де Шаро. Существует его перевод на английский язык 1634 г., так что первоначальное французское издание следует датировать более ранним годом.]

внешней торговле, тогда как на самом деле в трактате подробно разбираются вопросы налогообложения, монополии, народонаселения и другие проблемы «прикладной» экономической науки. Во-вторых, название содержит намек на теоретический анализ, на самом деле отсутствующий в трактате. Под теорией автор, как и более поздние экономисты, подразумевал критику и рекомендации (в отличие от изложения фактов). Читателя же в первую очередь поражает именно обилие фактического материала (Устарис перепечатал целиком или частично множество документов, поскольку хотел, чтобы его трактат можно было использовать как справочник). Рекомендации Устариса приобретут для нас дополнительный исторический интерес, если мы вспомним, что автор занимал важный государственный пост в администрации, руководимой кардиналом Альберони. Последний не без успеха проводил именно ту политику вооружений и индустриализации, которую рекомендовал Устарис в трактате, вышедшем через пять лет после падения Альберони. Этот факт читатель волен интерпретировать как угодно, однако нашему автору, безусловно, следует воздать должное за правильный анализ ситуации в стране, лежавший в основе его рекомендаций.

[b) Юсти: государство благосостояния]. Иоганн Генрих Готтлиб фон Юсти (1717–1771) часть своей жизни посвятил преподаванию, а остальную часть — управлению государственными предприятиями. В его интеллектуальный арсенал входила вся современная и предшествующая философия естественного права, обогащенная практическим опытом. (Такое сочетание случалось весьма редко.) Конечно, мы должны признать, что в сочинениях профессора Юсти хватало тяжеловесно изложенных тривиальностей и подчас он приходил кружным путем к выводам, вполне очевидным на уровне здравого смысла, ведущим через сомнительную политическую философию (например: свобода в силу естественного права должна быть абсолютной). Однако профессор высокоученым образом отмечал, что такая свобода состоит в свободе повиноваться законам и предписаниям бюрократии. Но это не беда: согласно Юсти, эти законы и предписания настолько разумны, что мы благополучно возвращаемся к первоначальному тезису. Из многочисленных работ Юсти профессор Монро в сборнике *Early Economic Thought* опубликовал фрагмент из *System des Finanzwesens* («Системы государственных финансов») (1766). Мы же опираемся здесь на его труд *Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der Staaten oder ausführliche Vorstallung der gesamten Polizeywissenschaft* («Основы могущества и благосостояния государств, или Подробное изложение всеобщей политической науки») (в 2 т., 1760–1761). нас интересует лишь первый том этого произведения. Второй том в духе тогдашней науки об управлении содержит рассуждения о религии, науке, домоводстве, гражданских добродетелях, пожарной охране, страховании (Юсти был его страстным защитником), прави-

лах ношения одежды и т. д. С тем же успехом мы могли бы рассмотреть другую его работу — *Staatswirtschaft* («Государственное хозяйство») (1755).

Вместо книги Юсти допустимо проанализировать работу Йозефа фон Зонненфельса (1732–1817) *Grundsätze der Polizey Handlung, und Finanzwissenschaft* («Основы политики, торговли и финансовой науки») (1765–1767). В некоторых аспектах Зонненфельс превосходит Юсти, хотя в основном следует за ним, а также за Форбоннэ. Сын берлинского раввина Зонненфельс переселился в Вену, где стал одним из светочей «эпохи разума», активно участвуя как преподаватель (первый в Вене профессор политической и камеральной науки) и как государственный служащий во многих законодательных реформах своего времени: он входил в состав «команды интеллектуалов» при дворе императора Иосифа II. Его книга оставалась официальным учебником в Австро-Венгрии вплоть до 1848 г. Заслуживает внимания тема его первой инаугурационной лекции: «О недостаточности простого опыта в экономической науке» (1763).

Темой исследования Юсти было то, что немецкие историки называют «государством благосостояния» (*Wohlfahrtsstaat*) во всех своих аспектах и исторической конкретности. Это означает, что он трактовал экономические проблемы с точки зрения правительства, принимающего на себя ответственность за экономические и моральные условия жизни своих граждан (так же, как это делают современные правительства), в особенности за всеобщую занятость, обеспечение каждому средств к существованию, усовершенствование методов и организации производства, достаточные поставки сырья и продовольствия. Длинный список обязанностей правительства включал укрепление городов, страхование от пожаров, образование, улучшение санитарных условий и все, что угодно. Сельское хозяйство, промышленность, торговля, денежное обращение, банки — все рассматривается с этой точки зрения, причем много внимания уделяется технологическим и организационным аспектам. Однако, хотя Юсти свято верил в принцип всеохватывающего государственного планирования, он, подобно Зеккендорфу и большинству авторов, писавших после него, не делал из этого принципа, казалось бы, очевидных практических выводов. Напротив, он вовсе не закрывал глаза на присущую экономическим явлениям внутреннюю логику и не хотел подменять ее произволом правительства. К примеру, установление фиксированных цен, с точки зрения Юсти, является мерой, к которой правительство может и обязано прибегать с определенной целью и в определенных обстоятельствах. Однако в целом пользоваться ею следует как можно реже. Юсти осуждал

Мирабо за то, что среди прочих «ошибочных, бессмысленных и чудовищных доктрин» тот проповедовал зависимость уровня процента от воли правительства, тогда как в действительности «ничто не находится в столь малой власти правительства». Он сознавал возможности свободного предпринимательства и смотрел на них хотя и отчужденно, но без враждебности.

Несмотря на то что поддержка Юсти государственного регулирования простиралась настолько далеко, что он признавал необходимость правительственных указов для наращивания производства определенных видов продукции, фактически он исходил из общего принципа, согласно которому свобода и безопасность — это все, в чем нуждаются промышленность и торговля. Хотя он не советовал ликвидировать цехи ремесленников, — раз уж они существовали, то могли выполнять некоторые административные функции, которые он считал полезными, — но относился к ним отрицательно и рекомендовал правительствам не преследовать независимых ремесленников. Он учил, что высокие защитные пошлины и даже запрет импорта и принудительные закупки отечественных товаров «иногда» необходимы с точки зрения общественных интересов, но вместе с тем заявлял, что «вообще» не должно быть никаких ограничений на импорт, кроме пошлины в 10% от стоимости товара — ограничения, которое любой из нас признает совместимым с полной свободой торговли.

Можно привести много других примеров «непоследовательности» Юсти, с точки зрения либералов XIX в. Они объяснили ее тем, что Юсти жил в переходную эпоху и, оставаясь жертвой предрассудков, не мог в то же время закрывать глаза на новые явления. Но внимательнее присмотревшись ко всем случаям, когда он применял свой принцип планирования, мы придем к иному объяснению. Аргументы в пользу свободы торговли звучали для него не менее убедительно, чем для А. Смита, и бюрократия в его теории, направляя и помогая там, где нужно, должна быть готова самоустраниться, как только необходимость в ее вмешательстве отпадет.<sup>1</sup>

Но Юсти значительно лучше Смита видел все препятствия, стоящие на пути идеального функционирования системы *laissez-faire*. К тому же он намного больше, чем Смит, занимался практическими проблемами государственной политики в конкретных условиях своей страны и своего времени, и в особенности преодолением трудностей, с которыми сталкивалась (или могла бы столк-

---

<sup>1</sup> Это были не просто мечты. Ниже будет показано, что бюрократия типично германского княжества старалась проводить именно такую политику.

нуться) частная инициатива в германской промышленности той эпохи. Его *laissez-faire* — это *laissez-faire* плюс осмотрительность, его частнопредпринимательская экономика — это машина, которая в принципе действует автоматически, но на практике иногда ломается. Эти поломки и должно устранять правительство. Например, Юсти не сомневался, что внедрение машин, экономящих труд, приведет к безработице. Но это обстоятельство, с его точки зрения, не должно мешать механизации производства, поскольку правительство обязано найти для безработных столь же привлекательные рабочие места. Такие рассуждения никак не назовешь непоследовательными — они исполнены здравого смысла. С нашей точки зрения, Юсти был ближе к истине, чем Смит, а проповедуемую им экономическую политику вполне можно назвать «*laissez-faire* без глушителей».<sup>2</sup>

Но еще лучше сможет убедить нас в том, насколько хорошо разбирались в вопросах «прикладной экономической науки» лучшие умы той эпохи, пример двух испанских авторов. Я говорю о Кампоманесе и Ховельяносе,<sup>3</sup> достигших высокого положения в эпоху реформ короля Карла III. Они оба были реформаторами-

<sup>2</sup> Приверженцы подобных взглядов, в ту пору чрезвычайно многочисленные, естественно, вступали в полемику со Смитом, что преувеличивало имеющиеся между ними расхождения. Это можно сказать и о Юстусе фон Мёзере, *Patriotische Fantasien* («Патриотические фантазии», 1774–1786) которого я упоминаю здесь еще и по другой причине. Склонность фон Мёзера к описанию отдельных исторических явлений в виде своеобразных исторических миниатюр позволила некоторым историкам мысли назвать его ранним представителем романтизма или предшественником исторической школы. Это один из примеров неверной атрибуции, которая продолжает искажать наши воззрения на различные направления. Мёзер, несомненно, был человеком незаурядным, но к экономистам его никак не отнесешь.

<sup>3</sup> Педро Родригес, граф Кампоманес (1723–1802), получил образование юриста-экономиста континентального образца. Человек большой культуры и незаурядных способностей, он, будучи на государственной службе и в другие периоды своей жизни, попробовал решить все главные экономические проблемы своего времени и своей страны. Из его произведений нас более всего интересует *Discurso sobre el fomento de la industria popular* («Рассуждение об основаниях народной промышленности») (1774), удостоившееся горячих похвал Мак-Куллоха. Следует также упомянуть сочинение *Respuesta fiscal*, посвященное проблемам хлебной торговли.

Гаспар Мельчиор де Ховельянос (1744–1811) — человек того же типа, но сделавший менее блистательную карьеру, — написал среди прочего две записки, одна из которых посвящена свободе ремесел (1783), а другая, подготовленная для доклада в Мадридском королевском экономическом обществе, — аграрному законодательству (1794). В обеих изложены принципы экономического либерализма в разумных рамках, заданных практическими соображениями. Они были опубликованы в 1859 г. в «Библиотеке испанских авторов». Однако тот факт, что они появились позже трактатов Кампоманеса, снижает их значимость для историка экономической мысли.

практиками, проводившими политику экономического либерализма, и не внесли никакого вклада в развитие экономического анализа, да и не стремились к этому. Однако они разбирались в экономических процессах лучше многих теоретиков. Принимая во внимание, что *Discurso* Кампоманеса было опубликовано в 1774 г., небезынтересно отметить, что в «Богатстве народов» Смита для этого автора, очевидно, не было почти ничего нового.

Я завершаю рассказ о значительной части экономической литературы XVII и XVIII вв. Читатель должен осознать, что, хотя по части практической применимости эта литература едва ли уступает «Богатству народов», с точки зрения аналитических достижений она, за немногими исключениями, несравненно ниже произведения А. Смита. Ее слабости и сильные стороны наглядно отражают работы Юсти. Я уже говорил, что внутренняя логика экономических явлений не была для него тайной. Но он понимал ее на преднаучном, интуитивном уровне. Юсти не продемонстрировал связь экономических явлений между собой и их взаимную обусловленность — а ведь именно с этого начинается научная экономическая теория. Он не осознавал необходимости доказывать свои выводы (например, тезис о том, что механизация порождает безработицу) или использовать специальные инструменты анализа, недоступные дилетанту. Его аргументы были аргументами простого здравого смысла: он предпринимал какие-либо попытки анализа только в полемике с другими авторами. При этом Юсти часто допускал грубые ошибки. Например, он рассуждал так: пусть две страны А и В одинаковы во всем, кроме одного: в стране А в два раза больше серебряных денег, чем в В. Уровень благосостояния в этих странах будет одинаков, но цены в А будут в два раза выше, чем в В; однако, поскольку в А в два раза больше денег, процентная ставка там будет в два раза ниже. Поэтому А может производить товары при более низких издержках и продавать их в В. Таким образом, деньги будут переливаться из В в А, что повысит в А занятость и т. д. (*Die Grundfeste*. с. 611). Все это он утверждал несмотря на то, что прочие его рассуждения о проценте были вполне разумны и в целом он не переоценивал преимуществ, которые дает стране изобилие драгоценных металлов, а важнейшую роль потребления понимал не хуже Смита.

[с) Франция и Англия]. Французский государственный служащий получал богословское или юридическое образование: экономическая наука как отдельный предмет до революции не преподавалась. Но этот недостаток, кажется, не имел серьезных последствий. По крайней мере, французская литература в жанре

«системы», значительно уступая немецкой по «листажу», столь же значительно превосходила ее по уровню. Поскольку такие вершины, как творчество Буагильбера, Кантильона, Тюрго и, разумеется, физиократов, будут рассмотрены в следующей главе, здесь мы ограничимся пятью именами: Форбоннэ, Мелон, Мирабо, Граслен и Кондильяк. Форбоннэ,<sup>4</sup> которого можно сопоставить с Юсти и Зонненфельсом, — служит прототипом «полезного», «здравомыслящего» экономиста, пользующегося доверием широкой публики. Историки вряд ли будут когда-либо его восхвалять: те из них, кого интересует, за что и против чего выступал данный политик, будут третировать Форбоннэ как заурядного эклектика. Те историки, которых в первую очередь интересует вклад в технику анализа, также будут разочарованы, поскольку у Форбоннэ они не найдут ничего нового и заметят, что этот автор весьма неловко чувствовал себя, ступая на лед теории. Однако мало кому из экономистов удастся обнаружить у него ошибку в изложении фактов или в логике рассуждений. На его примере ясно видно, что одно дело — быть экономистом или врачом и совсем другое — теоретиком или физиологом.

Заметно уступающий Форбоннэ как практик, но несколько более склонный к анализу Мелон<sup>5</sup> удостоился большего внима-

<sup>4</sup> Франсуа Верон де Форбоннэ (1722–1800) был деловым человеком и государственным служащим. Сходство его трудов с произведениями Юсти на первый взгляд не так уж заметно, что объясняется несходством условий во Франции и Германии и различием аудитории, к которой обращены их трактаты. Но, по сути дела, Форбоннэ выполнил, и очень успешно, ту же самую задачу, что и Юсти. Главным его достоинством, так же как и у Юсти, был практический подход к социальной и экономической ситуации. Он наиболее силен в анализе определенных исторических фактов, таких, как состояние испанских финансов (1753) или состояние финансов Франции с 1595 по 1721 г. (1758). Наиболее интересны для нас его *Éléments du commerce* («Начала коммерции») (1754 и 1766) и *Principes et observations économiques* («Экономические принципы и наблюдения») (1767). Последнее произведение напечатано в сборнике Гийомена и может быть рекомендовано читателю; оно превосходит многие среднего уровня учебники XIX столетия. Форбоннэ рекомендует ввести 15%-ю пошлину от стоимости ввозимого товара, и в этом также проявляется его сходство с Юсти, который вполне мог быть знаком с первым томом «Начал». По признанию самого Зонненфельса, влияние на него Форбоннэ было таким же ощутимым, как и влияние Юсти.

<sup>5</sup> Жан Франсуа Мелон (1675–1738) был государственным служащим, сотрудничал с Джоном Ло в недолгий период действия его «системы» и поэтому знал ее «из первых рук». Его *Essay politique sur la commerce* («Политический очерк о коммерции») (1734; англ. пер. — 1738) имел большой успех во Франции и за границей. Взгляды его и других писателей XVIII в. на проблемы внешней торговли и финансов иногда характеризуются сбивающим с толку термином «неомеркантилизм» (см. главу 7). См. также: *Dionnet. G. Le Néomercantilisme au XVIII<sup>e</sup> siècle et au début du XIX<sup>e</sup> siècle. 1901*; *Laverne L., de Les Économistes français du dix-huitième siècle. 1870.*

ния историков. Его работа отчасти предвосхищает труды Фортбонне в том, что касается «принципов», но в сущности очень близка к ним. Вклад Мелона в монетарную теорию будет упомянут в одной из следующих глав.

Мирабо-старший<sup>6</sup> известен в первую очередь как глава школы физиократов после Кенэ. Однако он сумел завоевать авторитет еще раньше, написав произведение, которое можно было бы назвать систематическим трактатом по всем проблемам прикладной экономической науки, рассматривающим их с очень своеобразных позиций. Систематичность изложения достигается за счет того, что все эти проблемы решаются исходя из состояния народонаселения и сельского хозяйства. Аналитические достоинства этого труда незначительны, но, видимо, и это отчасти объясняет его успех.

В отличие от Мирабо Граслен<sup>7</sup> никогда не пользовался популярностью, в то время как вполне ее заслуживал. Причина заключается в том, что он слишком много внимания уделил критике физиократов (кстати, наиболее удачной за всю историю), и читатели просто не заметили его собственного вклада в науку. Его «Аналитическое эссе» содержит наброски всеобъемлющей теории богатства как валового дохода, а не чистого дохода за вычетом

<sup>6</sup> Виктор Рикети, маркиз де Мирабо (1715–1789), был прозван «старшим», чтобы отличить его от сына, деятеля Французской революции. Это был эксцентричный аристократ, полный энергии и подверженный сильным увлечениям. Весьма трудно понять, — если только не предположить, что темперамент и красноречие могут быть всеильны, — каким образом этот человек, несомненные дарования которого сочетались со столь же очевидным недостатком рассудительности, мог в течение нескольких лет пользоваться такой славой в своей стране и за границей, которой мог бы позавидовать любой из предшествующих и последующих экономистов, включая А. Смита и К. Маркса. Он добился успеха в первой половине своей карьеры, до того как примкнул к физиократам. Причиной послужило его сочинение, которое можно назвать впечатляющим лишь с точки зрения красноречия и увлеченности автора. Это произведение, опубликованное анонимно в трех частях под названием *L'Ami des hommes, ou traité de la population* («Друг людей, или Трактат о народонаселении») (1756), мы упомянем в главе, посвященной теориям народонаселения. Из других сочинений Мирабо — он написал дюжины томов, не считая многочисленных неопубликованных материалов, — внимания заслуживают лишь последующие части (4–6) «Друга людей» (1758 и 1760), *Philosophie rurale* («Сельская философия») (1763) и *Théorie de l'impôt* («Теория налогов») (1760). Два последних сочинения являются, по крайней мере в основе своей, физиократическими и поэтому не представляют для нас интереса в этой главе. См.: *Lomème L., de, Lomème C., de. Les Mirabeau. (1879–1891; Brocard L. Les Doctrines économiques et sociales du Marquis de Mirabeau dans L'Ami des hommes. 1902.*

<sup>7</sup> *Graslin Jean J. L. (1727–1790). Essai analytique sur la richesse et sur l'impôt. 1767 (новое изд. А. Дюбуа — 1911). См.: Desmars J. Un précurseur d'A. Smith en France, J. J. L. Graslin (1900).* Большой интерес представляет его переписка с Водо (в 2 т., 1777–1779).

всех издержек производителей (включая заработную плату). Это было существенным достижением, если вспомнить, какую роль играло в дальнейшем последнее заблуждение. Превосходил Граслен своих современников и в трактовке проблем налогообложения.

Наконец, труд Кондильяка<sup>8</sup> вовсе не заслуживает похвалы У. С. Джевонса, назвавшего его «оригинальным и глубоким», и Г. Д. Маклеода, считавшего, что он «неизмеримо превосходит работу А. Смита». Похвалы эти всецело объясняются тем, что оба автора находили у Кондильяка раннюю формулировку своей собственной теории ценности. Однако ничего оригинального здесь не было, и, вспоминая всех предшественников Кондильяка на этом пути, мы должны скорее поразиться тому, насколько неумело он пытался разрешить эту проблему. Тем не менее эта книга — хороший, хотя и довольно поверхностный трактат по экономической теории и экономической политике, стоящий на много выше среднего уровня того времени.

Англия обладала еще большим иммунитетом к заболеванию «системитом», чем Франция. Кроме самого «Богатства народов» здесь можно упомянуть лишь одно произведение, относящееся к жанру «систем», зато работа эта имеет первостепенное значение. Речь идет о «Принципах» Стюарта.<sup>9</sup>

Стюарт намеренно старался создать именно систематическое произведение: он хотел соединить факты и аналитические достижения своего времени в рамках «упорядоченной науки»,

<sup>8</sup> *Le Commerce et le gouvernement...* («Торговля и управление...») (1776). О его авторе — философе и психологе-сенсуалисте — уже шла речь выше. Не следует переоценивать связи между его психологией и основанной на полезности теорией ценности. Как мы уже знаем и вновь убедимся впоследствии, такая теория ценности имеет свою собственную историю и восходит скорее к схоластам, чем к Хартли. Связи Кондильяка с физиократами также не следует переоценивать. Скорее, он находился под влиянием Тюрго. См. также: *Lebeau A. Condillac économiste*. 1903.

<sup>9</sup> Сэр Джеймс Стюарт (1712–1780), выходец из семьи, занимавшей выдающееся положение в Шотландии, получил юридическое образование. Будучи приверженцем династии Стюартов, прожил в изгнании с 1745 по 1763 г. Эти три факта отчасти объясняют характер его работы и ее восприятия. С одной стороны, в его взглядах и способе изложения есть что-то неанглийское (причем не только шотландское). За его чопорным стилем порой скрывалась некоторая растерянность. С другой стороны, Стюарт даже после возвращения гражданства оставался под подозрением, что тоже сыграло свою роль. Во всяком случае, это облегчило конкурентам (в частности, А. Смиту) замалчивание его трудов. Поэтому *An Inquiry into the Principles of Political Economy* («Исследование о принципах политической экономии») (1767) никогда не пользовалось большим успехом в Англии даже до появления полностью затмившего его «Богатства народов». Зато среди некоторых немецких авторов его популярность была, пожалуй, даже чрезмерной. Другие произведения Стюарта будут упомянуты ниже. Собрание сочинений Стюарта было издано его сыном в 1805 г.

т. е. стремился к той же цели, что и Смит. Сравнить его труд с «Богатством народов» трудно по двум причинам.

Во-первых, Стюарт в отличие от Смита не проповедовал единообразную и простую политику, быстро приобретающую популярность. Напротив, все интересующие широкую публику вопросы он связал с вышедшей из моды воображаемой фигурой бесконечно мудрого государственного деятеля-патриота, который наблюдает за экономическим процессом, и готов вмешаться в него, чтобы защитить национальные интересы. Эта концепция весьма напоминает взгляды Юсти и совершенно лишена английского духа, что, впрочем, не имеет для нас важного значения. Вторых, читая пять книг, из которых состоит труд («Население», «Торговля и промышленность», «Деньги и монета», «Кредит и долги», «Налоги»), невозможно не поразиться тому, что в ряде случаев он обнаруживает оригинальность и глубину, превосходящие «Богатство народов», и одновременно некоторым явным ошибкам и неудачным формулировкам. В области теории народонаселения, цен, денег и налогообложения рассуждения Стюарта заметно ниже того стабильного уровня, на котором удавалось удержаться Смиуту. К тому же лишь в первую из них Стюарт внес существенный вклад, речь о котором пойдет в главе 5. В остальных же случаях нам очень трудно отделить зерна от плевел, а иногда мы даже не уверены в наличии зерен.

**[d) Высокий уровень итальянцев].** Но главные достижения в создании систем в досмитовскую эпоху принадлежат итальянцам. По замыслу, предмету и плану исследования их труды принадлежали той же традиции, что и произведения Карафы и Юсти. Это были системы политической экономии как теории благосостояния, в которых схоластическая идея «общественного блага» и специфически утилитаристское понятие счастья объединялись в концепции благосостояния (*felicità pubblica*). Страсть итальянцев к собиранию фактов и их понимание практических проблем не уступали уровню немцев, а по технике анализа они превосходили большинство своих испанских, английских и французских современников. Авторы трудов, в основном профессора и государственные служащие, создавали их исходя из соответствующих точек зрения. Раздробленность тогдашней Италии<sup>10</sup> разделяла их на отдельные груп-

<sup>10</sup> Эта раздробленность привела к появлению историй экономической мысли отдельных итальянских провинций — феномен, не имеющий аналогов в других странах, за исключением Испании. Можно привести два примера: книгу Аугусто Грациани (*Graziani Augusto. Le idee economiche degli scrittori Emiliani e Romagnoli sino al 1848. 1893*) и труд Т. Формари (*Fornari T. Delle teorie economiche nelle provincie Napoletane dal secolo XIII al MDCCCXXXIV. 1882*), на продолжение которого мы сошлемся в следующей сноске.

пы. Но я могу выделить только две «школы» в точном смысле этого слова, подразумевающим личный контакт и вызванную взаимовлиянием схожесть доктрин, — неаполитанскую и миланскую. Неаполитанскую представляют Дженовези и Пальмьери<sup>11</sup> (с другими ее членами, и в первую очередь с наиболее яркой ее звездой — Галиани, мы познакомимся позже).

Виднейшими представителями миланской школы являются Верри и Беккариа, но мы воспользуемся случаем, чтобы также представить читателю стоящего особняком венецианца Ортеса.

Граф Пьетро Верри (1728–1797) был не профессором, а чиновником австрийской администрации в Милане. Он достоин включения в любой список великих экономистов. Несложно описать предлагаемые им различные рекомендации по экономической политике, которые были для него важнейшим делом (в предисловии к своей главной работе он восклицает: «Как хотелось бы мне высказать что-либо полезное, а еще больше — сделать это!»). Однако составить представление о его чисто научных достижениях

<sup>11</sup> Антонио Дженовези (1712–1769), профессор Неаполитанского университета вначале по кафедре этики и нравственной философии, а затем — экономики и коммерции, был прежде всего выдающимся преподавателем, и это не могли отрицать даже те, кто критически оценивал его труды. Первым из них был, насколько я знаю, Ф. Феррара, крайне отрицательно оценивавший любого экономиста, не являвшегося законченным фритредером. Перечень выдающихся экономистов — учеников Дженовези см. в книге: *Tagliacozzo G. Economisti Napoletani* (с. 26 и далее). Тот же автор описывает творческий облик Дженовези, происхождение его идей (см. также: *Cutolo A. Antonio Genovesi*. 1926) и дает справедливую оценку его вклада в науку. Дженовези был плодовитым автором. Нас же интересует лишь одно его произведение — *Lezioni di economia civile* «Лекции по гражданской экономике» (1765), перепечатанные П. Кустоди в его *Scrittori classici Italiani di economia politica* (в 50 т.; 1803–1816). Эту книгу можно назвать системой (хотя и недостаточно систематически изложенной) всех экономических взглядов Дженовези. В его лекциях действительно ощущается влияние современных и предшествующих авторов и, что еще хуже, обнаруживается недостаточная строгость аргументов. Но несомненно, что в них содержится наиболее полное для того времени изложение утилитаристской теории благосостояния той эпохи. «Меркантилистские» элементы в лекциях Дженовези лишь доказывают реалистичность его видения экономических проблем.

Джузеппе Пальмьери, маркиз ди Мартиньяно (1721–1794), входил в блестящий неаполитанский кружок, наиболее известным представителем которого был Филанджери (см.: *Gentile P. L'Opera di Gaetano Filangieri*. 1914). Пальмьери (см. биографию, написанную Б. Де Ринальдисом, и: *Fornari T. Delle teorie economiche nelle provincie Napoletane*. 1735–1830. 1888) был прежде всего администратором-практиком. Однако теорию благосостояния эпохи консультантов-администраторов XVIII в. лучше всего можно понять, читая его *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al regno di Napoli* («Рассуждения об общественном благосостоянии применительно к Неаполитанскому Королевству») (1787), *Scrittori economici...* («Экономические размышления...») (1789) или *Della ricchezza nazionale* («О национальном богатстве») (1792).

гораздо труднее. Некоторые из них будут упомянуты ниже. Здесь мы назовем лишь два его сочинения: *Elementi del commercio* («Начала коммерции») (1760), которые принесли ему известность, и расширенный их вариант под названием *Meditazioni sull' economia politica* («Размышления о политической экономии». 1771; перепечатаны в 50-томнике Кустоди и переведены на французский и немецкий). Помимо впечатляющего синтеза идей предшественников эти работы содержат немало оригинальных разработок самого автора, в том числе кривую спроса при постоянной величине расходов. Среди прочего отметим, хотя и недостаточно разработанную, концепцию экономического равновесия, основанную в итоге на «подсчете наслаждений и страданий» (он превзошел формулировку Дживонса). В этом аспекте он, пожалуй, превосходил Смита. Важно отметить его внимание к фактам. Верри не только занимался весьма важными историческими исследованиями (см., например, *Memorie storiche* («Исторические мемуары»), опубликованные посмертно), но и был настоящим эконометристом — например, он одним из первых экономистов составил платежный баланс. Он знал, как соткать из фактов и теории сплошное полотно, и таким образом успешно решил для себя методологическую проблему, которая так волновала последующие поколения экономистов. О Верри и его жизненном пути см., например, книги: *Bouvy E. Le Comte Pietro Verri* (1889) и *Manfra M. R. Pietro Verri* (1932). Но самое лучшее изложение и оценку его творчества можно найти в превосходном предисловии профессора Эйнауди к новому изданию *Bilanci del commercio dello stato di Milano* («Торговые балансы Миланского государства») Верри (1932).

Джаммария Ортес (1713–1790) прославился главным образом своим вкладом в «мальтузианскую» теорию народонаселения (см. главу 5). Его систематический трактат *Economia nazionale* («Национальная экономия». 1774; перепечатан в собрании Кустоди) навсегда вошел в историю теорий, которые рассматривают потребление как фактор, ограничивающий размеры совокупного производства, и дают на этом основании оценку состояния экономики. Это еще одна общая черта у Ортеса и Мальтуса.

В указанном и ряде других аспектов Ортес, безусловно, оригинален в том смысле, что его вклад в науку лежит в стороне от столбовой дороги ее развития. Но сказать о нем что-либо сверх того затруднительно. Критиков и историков это несколько озадачивает, но, с другой стороны, их утешают атаки Ортеса на «меркантилистское смещение» денег с богатством (см. главу 6) и его фритредерские взгляды. Отсюда — традиция относиться к нему с недоверием и одновременно с восхищением. Стоит добавить, что Ортес, судя по всему, многому научился у сэра Джеймса Стюарта. Из литературы, посвященной Ортесу, упомянем книгу *Faure A. Giammaria Ortes...* (1916), старую монографию: *Lampertico F.*

G. Ortes... (1865) и работу: *Franchis C., de G. Ortes, un sistema d'economia matematica...* (1930). Хотя лично я не вижу математики в трудах Ортеса.

Чезаре Бонезана, маркиз де Беккариа (1738–1794), родился и жил в Милане, образование получил у иезуитов. Примерно в тридцатилетнем возрасте он завоевал международную известность в пенологии (науке о тюрьмах и наказаниях). Об этом и его месте в истории утилитаризма речь шла выше.

Именно этот успех Беккариа побудил австрийское правительство князя Кауница предоставить ему специально основанную для него в 1768 г. кафедру экономики в Миланском университете, хотя как экономист он еще не успел отличиться. Через два года Беккариа оставил преподавание и перешел на государственную службу в Миланской администрации, где постепенно поднялся до самого высшего ранга и трудился до своей преждевременной кончины. Он участвовал во всех реформах того периода, часто был их инициатором, написал огромное количество докладов и записок: о хлебных запасах, денежной политике, метрической системе мер, народонаселении и многом другом. Беккариа отличался разнообразием духовных интересов. Он был одним из основателей и постоянных авторов журнала *Il caffè*, построенного по образцу английского *Spectator*; в 1776 г. опубликовал первый и единственный том своих работ по эстетике («О стиле»). Кроме того он, кажется, был изрядным математиком.

Основную часть экономических сочинений Беккариа составляют вышеназванные доклады. Единственный опубликованный им самим (в журнале *Il caffè*, 1764) теоретический опыт был посвящен контрабанде. Он примечателен, во-первых, алгебраическим методом анализа, а во-вторых, аналитическим приемом, который содержался в самой постановке проблемы: дана средняя доля контрабандных товаров, которая будет захвачена властями; спрашивается: каково общее количество товаров, которое контрабандисты попытаются провезти, чтобы покрыть свои затраты, не получив прибыли и не потерпев убытка? Беккариа открыл здесь идею, которая лежит в основе современного анализа кривых безразличия. Его аргументы позднее (в 1792 г.) развил Г. Силио (см.: *Montanari Augusto. La matematica applicata all'economia politica. 1892*). Здесь нас интересуют лекции Беккариа (1769–1779), не опубликованные им при жизни; они были изданы почти через четверть века после его смерти в собрании Кустоди под заголовком *Elementi di economia pubblica* («Начала общественной экономики») (1804).

Потрясающий успех его трактата *Dei delitti e delle pene* («О преступлении и наказаниях», 1-е изд. — 1764, англ. пер. под названием «Опыт о преступлении и наказаниях» — 1767) в какой-то мере помешал оценить величие этого мыслителя: с тех пор его всегда считали прежде всего пенологом. Посвященная Беккариа

литература также уделяла внимание в первую очередь этому произведению и потому представляет для нас лишь косвенный интерес. Следует, однако, упомянуть его биографию, написанную П. Кустоди (*Custodi P. Cesare Vescaria*. 1811), и издание его работ, принятое П. Виллари (*Opere*. 1854).

Беккариа — это итальянский Адам Смит. Сходство исследователей и их произведений поразительно. Оно распространяется отчасти даже на их социальное происхождение и места проживания. Имеются совпадения в их биографиях и во взглядах на жизнь, хотя Беккариа в гораздо большей степени, чем Смит, был государственным служащим (последний занимал лишь весьма скромную должность, не дающую возможностей для творческой деятельности), а Смит в гораздо большей степени, чем Беккариа, который преподавал всего два года, был профессором. Оба прекрасно владели многими областями интеллектуальной деятельности, их знания выходили далеко за пределы возможностей простых смертных даже в ту эпоху.

Беккариа, кажется, лучше Смита разбирался в математике, зато Смит был сильнее в физике и астрономии. Ни один из них не был только экономистом: правда, во внеэкономической области Смит не создал чего-либо сравнимого с трактатом «О преступлениях и наказаниях», но его «Теория нравственных чувств» намного значительнее, чем эстетика Беккариа. Оба разделяли главные увлечения своего времени, но если Беккариа не только принимал утилитаризм, но и был одним из его основных творцов, то Смит явно относился к нему критически. С другой стороны, если Смит не только принимал почти все идеи свободной торговли и *laissez-faire*, но и сыграл главную роль в их триумфе (по крайней мере, в области экономической теории), то Беккариа относился к ним без особого энтузиазма. Словом, речь идет о двух выдающихся личностях. Но, по крайней мере с 1770 г., Беккариа, пожалуй, более щедро наделенный от природы богатыми способностями, посвятил свои силы службе Миланскому «государству», тогда как Смит отдал их всему человечеству.

«Начала» Беккариа после определения предмета экономической науки в том же нормативном духе, что и во введении к четвертой книге «Богатства народов» Смита, открываются рассуждениями об эволюции техники, разделении труда и народонаселении (прирост которого, по мнению автора, есть функция от увеличения средств к существованию). Как мы уже знаем, основным принципом экономической деятельности Беккариа безоговорочно признал утилитаристскую доктрину гедонистическо-

го эгоизма, в разработке которой он активно участвовал и которая впоследствии неожиданно оказалась союзницей экономической науки. Вторая и третья части его лекций посвящены сельскому хозяйству и промышленности, а в четвертой, где речь идет о торговле, содержится также теория ценности и денег. Натуральный обмен, деньги, конкуренция, процент, внешняя торговля, банки, кредит, государственный кредит — все эти проблемы обсуждаются здесь в той же последовательности, которая затем была принята в учебниках XIX в. (это же можно сказать и об общей схеме книги Беккариа).

Если говорить о частностях, то аргументы Беккариа — в особенности относящиеся к теории издержек и капитала — не всегда безупречны и не всегда отличаются логической строгостью. Однако автор хорошо видит все важнейшие проблемы и связь между ними. Некоторые моменты мы рассмотрим ниже. Однако мы не можем не отметить вклад Беккариа в решение ряда проблем (неопределенность при изолированном обмене, переход от этого случая к определенности конкурентного рынка, а оттуда, в свою очередь, к непрямому обмену), которые мы привыкли связывать со значительно более поздними (по крайней мере, послесмитовскими) временами. Влияние физиократов очевидно, но не так уж существенно.

Был ли шотландский Беккариа более великим экономистом, чем итальянский Смит? Если судить по их произведениям в том виде, как они до нас дошли, то это, конечно, так. Но судить так было бы несправедливо. И не только потому, что мы должны учесть приоритет Беккариа и тот факт, что период с 1770 по 1776 г. ознаменовался значительным прогрессом экономической теории. Намного важнее то, что «Богатство народов» подводило итоги многолетней работы в течение всей жизни, а «Начала» — это всего лишь записи лекций, которые к тому же автор отказался публиковать. Если уж сравнивать объективные достоинства произведений, а их авторов, то надо сопоставлять «Начала» не с «Богатством народов», а с лекциями по экономике, прочитанными Смитом в университете Глазго, — здесь победа Беккариа была бы безоговорочной, — или сравнивать «Богатство народов» с тем, что, по нашему мнению, сумел бы сделать со своими лекциями Беккариа, если бы он эмигрировал в Киркалди и поработал бы над ними еще лет шесть, вместо того чтобы погружаться в проблемы Миланского «государства». Главная разница состоит, таким образом, в количестве вложенного в работу труда. Именно этим фактором в значительной степени объяснялся успех А. Смита.

[е) Адам Смит и «Богатство народов»].<sup>12</sup> Мы так часто упоминали Адама Смита, так часто будем вынуждены упоминать его и в дальнейшем, что у читателя вполне может возникнуть недоумение: а есть ли необходимость во всестороннем анализе его деятельности в одном каком-либо месте? Действительно, для наших целей разбросанные по всей книге обращения к нему куда важнее того, что будет сказано в настоящем разделе. И все же представляется правильным задержаться на мгновение, чтобы взглянуть на фигуру самого знаменитого экономиста, разобраться, из какого «теста» он сделан, и уделить внимание книге, на долю которой выпал самый крупный успех не только среди всех сочинений по экономике, но и среди всех опубликованных на сегодняшний день научных произведений, исключая разве что дарвиновское «Происхождение видов».

Требуется всего несколько фактов без каких-либо особых подробностей, чтобы рассказать об этом человеке и его замкнутой и бедной событиями жизни (1723–1790).<sup>13</sup> Достаточно будет отметить, что: во-первых, он был чистейшим, истым шотландцем до мозга костей; во-вторых, его ближайшие родственники состояли на шотландской государственной службе — это нужно иметь в виду, чтобы понять его воззрения (сильно отличающиеся от тех, которые зачастую ему приписывают) на общественную жизнь и экономическую деятельность (важно никогда не забывать про родовитость, интеллигентность, критическое отно-

<sup>12</sup> [Хотя в тексте отсутствуют какие либо указания, к чему должен относиться этот биографический очерк об Адаме Смите вместе с примыкающим к нему читательским «Путеводителем по „Богатству народов“», представляется правильным поместить его здесь, в конце параграфа «Системы с 1600 по 1776 г.». Настоящий раздел писался изначально для «Истории», но затем был исключен Й. А. Шумпетером, возможно в то время, когда он пытался сократить объем книги, и, возможно, по той причине, что он находил в нем слишком много совпадений «с обращениями по Смиту... разбросанными по всей книге». Мы располагаем черновой рукописью, оставшейся даже непечатаваемой. Однако поскольку везде в книге присутствуют аналогичные биографические очерки о других знаменитых экономистах, представляется целесообразным восстановить в тексте этот рассказ об Адаме Смите и его «Богатстве народов». В последующем изложении встречаются ссылки на читательский «Путеводитель по „Богатству народов“» (см. глава 6, § 3d «Кодификация теории цены и ценности в „Богатстве народов“»). Кроме того, будет полезно снабдить читателя кратким «Путеводителем по „Богатству народов“».]

<sup>13</sup> Существует множество жизнеописаний Адама Смита. Заинтересованного читателя можно отослать к биографии, принадлежащей Джону Рэ (1895). Среди книг, содержащих дополнительные материалы о Смите и дающих ему оценку как человеку, наиболее важной, безусловно, является «Адам Смит как ученый и преподаватель» профессора У. П. Скотта (Scott W. Adam Smith as Student and Professor. 1937), на которую мы будем постоянно ссылаться и из которой читатель сможет извлечь немало для себя поучительного и, пожалуй, даже забавного. Минимальный список литературы, посвященной Смит, приводится ниже.

шение к предпринимательской деятельности и довольно скромный достаток, отличавшие ту среду, откуда он вышел); в-третьих, «профессорство» было у него в крови и он оставался преподавателем не только тогда, когда читал лекции в Эдинбурге (1748–1751) или Глазго (1751–1763), но всегда, и именно благодаря своему character indelebilis (непреклонному характеру); в-четвертых (факт, который я считаю безусловно существенным не для собственно экономических его воззрений, конечно, но более всего для понимания им природы человека), ни одна женщина, исключая мать, никогда не играла сколько-нибудь заметной роли в его жизни; в этом отношении, как и во всех прочих, единственным пожизненным соблазном и страстью для него оставалась литературная деятельность.

В 1764–1766 гг. он совершил путешествие во Францию в качестве воспитателя молодого герцога Баклю, которому экономическая наука обязана последующим досугом и независимостью Смита, благодаря чему «Богатство народов» и смогло явиться на свет. Назначение Смита на эту квазисинекуру (1778) обеспечило ему вполне безбедное существование на весь остаток жизни. Он был добросовестен, чрезвычайно кропотлив, методичен, очень уравновешен и честен. Он воздавал должное другим, но не щедро, а лишь когда честь требовала этого. Он никогда не раскрывал заслуг своих предшественников с искренностью Дарвина. В критике он был узок и невеликодушен. Его мужества и энергии хватало ровно настолько, чтобы честно выполнять свой долг ученого, причем эти качества прекрасно уживались в нем с изрядной долей осмотрительности.

Время энциклопедических знаний тогда еще не прошло: можно было странствовать по всевозможным наукам и искусствам и даже работать в совершенно далеких друг от друга областях, не видя в этом ничего страшного. Подобно Беккариа и Тюрго, А. Смит занимался великим множеством наук, лишь одной из которых была экономическая теория. Мы уже имели возможность коснуться «Теории нравственных чувств» (1759), к которой было приложено «Рассуждение о происхождении языков» (3-е изд. — 1767), — его первую крупную удачу (эту работу, начатую при подготовке материалов к эдинбургским лекциям, он завершил в первые годы своей профессуры в Глазго). Напомнить о ней стоит ради того, чтобы привить читателю невосприимчивость к несправедливой критике, обвиняющей А. Смита в недостатке внимания к нравственным факторам. Более того, именно там, а не в «Богатстве народов» содержится его философия богатства и экономической деятельности. К этим его произведениям и трудам по естественному праву, «естественной теологии» и литературной крити-

ке следует также присовокупить шесть эссе.<sup>14</sup> Некоторые из них представляют собой законченные фрагменты грандиозного плана «Истории свободных наук и изящных искусств», от которого он отказался как от «чересчур обширного». Жемчужиной собрания является эссе «Принципы, ведущие и направляющие философские изыскания; на примере истории астрономии». Отважусь сказать, что, не зная этих эссе, невозможно составить верное представление об интеллектуальной значимости Смита. Возьму на себя смелость также утверждать как неоспоримый факт, что никому на свете не пришло бы в голову заподозрить в авторе «Богатства народов» способность написать эти эссе.

Как мы уже знаем, основы смитовского анализа заимствованы им у схоластов и философов естественного права; помимо того что у него под рукой были сочинения Гроция и Пуфендорфа, этому же учил и его наставник Хатчесон.<sup>15</sup> Правда, и схо-

<sup>14</sup> *Essays on Philosophical Subjects by the late Adam Smith...* («Эссе по философским вопросам покойного Адама Смита...») под редакцией его душеприказчиков Блэка и Хаттона. Этой публикации была предпослана «История жизни и трудов автора, написанная Дагалдом Стюартом ...» (1-е изд. — 1795). Печатные труды Стюарта (который, кстати сказать, занимал кафедру нравственной философии Эдинбургского университета в 1785–1810 гг.) едва ли оставили какой-либо след в науке, однако он был столь цельной личностью и настолько прославленным преподавателем, что не преминул бы привести более полный список сочинений Смита (что входит в наши задачи), если бы все они были ему известны.

<sup>15</sup> О Фрэнсисе Хатчесоне см. выше (глава 2, § 7b); см. также работу: *Scott W. R. Francis Hutcheson*. (1900). Родословная экономической системы Смита, как и следовало ожидать, была предметом пристального изучения. Значительным событием стало открытие и последующая публикация Э. Кэннаном «Лекций о правосудии, полиции, войске и государственных доходах, прочитанных в 1763 г. в университете Глазго Адамом Смитом, в записи одного из его учеников» (*Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms*) (1896), которые я буду называть сокращенно «Глазговскими лекциями». Не менее важным было открытие и публикация в упоминавшейся нами книге У. Скотта материалов, которые можно считать первоначальным наброском «Богатства народов». Они, согласно профессору Скотту, были написаны Смитом незадолго до его отъезда во Францию и, таким образом, отражают, по-видимому, общее состояние его исследования до личного знакомства Смита с французскими экономистами. Для краткости мы будем называть эти материалы «Черновиками». Профессору Кэннану мы обязаны, несомненно, лучшим из многочисленных изданий «Богатства народов» (1904; переиздавалось множество раз; 6-е изд. — 1950), которое содержит чрезвычайно ценное предисловие, проливающее свет на многие проблемы, связанные с происхождением идей Смита.

Одной из многих услуг, оказанных «смитоведению» Джеймсом Бонаром, стала его публикация «Каталога библиотеки Адама Смита» (*A Catalogue of the Library of Adam Smith* (1-е изд. — 1894; 2-е изд. — 1932)).

Ограниченность места не позволяет нам остановиться на вопросах, касающихся изданий, пересказов, кратких изложений и извлечений из «Богатства народов». Это тем более досадно, если учесть, какие прекрасные возможности

ласты, и философы естественного права так и не разработали вполне четкой схемы распределения, не говоря уж о ввопившей в заблуждение идее о распределении общественного продукта, или национального дохода среди агентов, участвующих в его создании, которой предстояло сыграть такую важную роль в теориях XIX столетия. Но они выработали все элементы подобной схемы, и Смит был, без сомнения, способен справиться с задачей сведения их воедино без чьей-либо дополнительной помощи. По Кэннану, «Глазговские лекции», которые ни в чем не демонстрируют какого-либо существенного продвижения вперед по сравнению с Хатчесоном, «не содержат никаких намеков... на излагаемую в „Богатстве народов“ схему распределения».

Однако отсюда не следует делать вывод, что Смит находился в большом (и в основном не признанном им) долгу перед физиократами, с которыми он встречался (в 1764–1766 гг.) и которых, по-видимому, читал, перед тем как приступить к работе в Киркалди. «Черновики», обнаруженные профессором Скоттом, показывают, что здесь можно зайти слишком далеко: они явно предвосхищают систему «Богатства народов». Вместе с тем не следует упускать из виду, что наследие философов естественного

---

открывала для этого Мемориальная смитоведческая коллекция, собранная Вандерблю в библиотеке Кресса (см. брошюру, опубликованную библиотекой Кресса в 1939 г., куда вошел специальный каталог этой коллекции, составленный Хомером Б. Вандерблю, с предисловием Чарльза Дж. Баллока). Мы также не имеем возможности воздать должное обширнейшей литературе, посвященной «Богатству народов». Наиболее ценные комментарии, как пояснительные, так и критические, рассеяны по всевозможным экономическим трактатам и статьям XIX в. — именно они и представляют собой подлинный памятник Смиту как ученому-экономисту. Всех экономистов и неэкономистов, писавших о Смита и о «смитаианстве» (в особенности немецких), обычно не привлекали вообще или же интересовали только во вторую очередь аналитические достижения Смита; их волновали главным образом его суждения по практическим вопросам, его философские представления и социальные симпатии. Оставляя в стороне эту комментаторскую литературу, для знакомства с которой достаточно, разумеется, обратиться к любому общему руководству по истории экономической мысли, мы обязаны все же упомянуть анализ смитовского труда, данный Марксом в «Теориях прибавочной стоимости» (Theorien über den Mehrwert) и Кэннаном в «Истории теорий производства и распределения» (Cannan E. History of the Theories of Production and Distribution.). Кроме того, можно указать на следующие работы: Baert J. F. (И. Ф. Беэр). Adam Smith, en zijn Onderzoek naar den Rijkdom der Volken (1858); Delatour A. (А. Делатур). Adam Smith (1886); Hasbach W. (В. Хасбах). Untersuchungen über Adam Smith (1891); Feilbogen S. (З. Файльбоген). Smith und Turgot (1892); Morrow G. R. (Д. Р. Морроу). The Ethical and Economic Theories of Adam Smith (1923); Bagehot W. (У. Беджгот). Adam Smith and Our Modern Economy (Works/Ed. by Mrs. Russell Barrington. Vol. 7); Cannan Ed. (Э. Кэннан) Adam Smith as an Economist//Economica. 1926. June; Lectures (изданы Чикагским университетом к стопятидесятилетнему юбилею «Богатства народов» в 1928 г.).

права и достижения французских современников А. Смита — это далеко не все, с чем ему доводилось работать. «Богатство народов» обнаруживает следы влияния еще двух течений, представленных памфлетистами и камералистами. Смит знал Петти и Локка; на ранней стадии своей работы он, вероятно, познакомился с Кантильоном, хотя бы через «Словарь» Постлтуэйта; немало позаимствовал он у Харриса и Деккера; ему должны были быть хорошо известны сочинения Юма, близкого его друга, и Мэсси; а в длинном перечне авторов, третируемых им за «меркантилистские ошибки», были и такие, у которых он мог многое почерпнуть, к примеру Чайлд, Дэвенант, Поллексфен, не говоря уже о таких «антимеркантилистах», как Барбон и Норт.<sup>16</sup> Однако не столь важно, что ему действительно удалось, а что не удалось почерпнуть у своих предшественников: дело в том, что «Богатство народов» не содержит ни одной аналитической идеи, принципа или метода, которые были бы совершенно новы в 1776 г.

---

<sup>16</sup> Два автора заслуживают здесь упоминания хотя бы уже потому, что их имена так часто появляются на страницах нашей «Истории». Адам Фергюсон (1723–1816), профессор сначала «естественной», а затем «нравственной» философии в Эдинбурге, занимался главным образом исторической социологией. В своем *Essay on the History of Civil Society* («Опыте по истории гражданского общества», 1-е изд. — 1767), единственном его произведении, представляющем для нас интерес, он выступает продолжателем Монтескье (который оказал большое влияние и на Смита), и этому его сочинению сопутствовал успех того же рода, что и «Духу законов», хотя и не столь громкий. В Германии (отчасти под влиянием Маркса) он, как мне кажется, незаслуженно пользовался высокой репутацией на протяжении XIX столетия. Вряд ли есть какие-либо основания полагать вслед за Марксом, что Смит был многим обязан Фергюсону, или же, наоборот, думать, как некоторые другие исследователи, что Фергюсон немало почерпнул из бесед со Смитом и из его лекций: перекички, на которые ссылаются в подтверждение как той, так и другой точки зрения, относятся к идеям о разделении труда и налогообложении, но они являлись в то время общим местом и могли быть заимствованы у целого ряда более ранних авторов.

Бернар де Мандевиль издал дидактическую поэму под названием «Возроптавший улей, или Мошенники, ставшие честными» (1705; позднее известна как «Басня о пчелах, или Частные пороки — общественные выгоды»; 1714), в которой пытался показать, что индивидуальные мотивы, приводящие к желательным для общества последствиям, вполне могут оказываться предосудительными с точки зрения морали. У Адама Смита, как и у других добропорядочных людей, сложилось неоднозначное отношение к басне Мандевिला. Она содержала самое настоящее прославление расточительства и осуждение бережливости, а кроме того, целый ряд «меркантилистских ошибок», что должно было вызвать у Смита неприязнь. Но в его враждебности было и нечто большее. Смит не мог не заметить, что доводы Мандевила совпадали с его собственной аргументацией в пользу неограниченной «естественной свободы», хотя и были выражены в специфической форме. Читателю не составит труда представить себе, до какой степени это обстоятельство должно было шокировать достопочтенного профессора — особенно в том случае, если он действительно воспользовался какими-то идеями из этого возмутительного памфлета.

Те, кто превозносил работу Смита как составившее эпоху подлинное достижение, имели в виду прежде всего политические меры, которые он отстаивал: свободу торговли, *laissez-faire*, колониальную политику и т. д. Но, как должно быть ясно уже сейчас и станет еще более очевидным впоследствии, эта сторона дела, будь она даже важна для нашей темы, не могла бы вызвать разногласий. Сам Смит, согласно Дагалду Стюарту, действительно претендовал (в записях, датированных 1755 г.) на приоритет в выдвижении принципа «естественной свободы» на том основании, что он рассматривал его в своих лекциях еще в 1749 г. Под этим принципом он понимал как политический канон (устранение всех ограничений, кроме тех, которые диктуются «справедливостью»), так и аналитическое высказывание о том, что свободное взаимодействие индивидов создает не хаос, а упорядоченную систему, которая устанавливается логически закономерным образом: он никогда не различал сколь-нибудь четко два эти аспекта. Однако в обоих значениях этот принцип был вполне четко сформулирован раньше, например Гроцием и Пуфендорфом. Именно поэтому никакие обвинения в плагиате не могут быть предъявлены ни Смицу, ни от его имени другим исследователям. Конечно, это не исключает возможности, что, провозглашая этот принцип с большей убедительностью и полнотой, чем кто-либо до него, Смит субъективно испытывал трепет первооткрывателя или даже что ранее 1770 г. он действительно совершил это «открытие» самостоятельно.

Но хотя «Богатство народов» не содержало ни одной по-настоящему новой идеи и как интеллектуальное достижение не может идти в сравнение с «Происхождением видов» Дарвина или «Началами» Ньютона, оно представляет собой великое произведение и целиком и полностью заслужило выпавший на его долю успех. Природу первого и причины второго нетрудно понять. Пришло время именно для такого рода объединения. С этой задачей Смит справился на редкость удачно. Он по своей натуре подходил для ее решения: никто, кроме методичного профессора, не в состоянии был бы ее выполнить. Он сделал все от него зависящее: «Богатство народов» является плодом самоотверженного труда на протяжении более чем четверти века, причем почти десять лет были полностью отданы написанию книги. Склад ума исследователя был таков, что он решил овладеть громоздким материалом, изливавшимся из многих источников, и жестко подчинить его небольшому числу взаимосвязанных принципов. Этот мастер, строивший прочно, не считаясь с затратами, был также великим архитектором. Сами его недостатки способствовали успеху. Будь его ум более блестящим, он не подошел бы к делу с такой основатель-

ностью. Углубляйся он дальше, извлекая он более труднодоступные истины, используй он сложные и изощренные методы, его бы не поняли. Но он не имел подобных претензий; в действительности Смит питал неприязнь ко всему, выходящему за пределы ясного здравого смысла. В своем изложении он никогда не поднимался выше уровня понимания даже самых недалеких из своих читателей. Он вел их за собой с осторожностью, подбадривая тривиальностями и безыскусными наблюдениями, сохраняя в них чувство удовлетворения на протяжении всего пути. Тогда как профессиональный ученый его времени обнаруживал в «Богатстве народов» достаточно такого, что внушало ему интеллектуальное почтение к Смиту, «просвещенный читатель» оказывался способен убедиться в истинности его высказываний и в том, что он и сам всегда думал так же; хотя Смит испытывал терпение читателя массой исторического и статистического материала, но не подвергал проверке его умственные способности. Он добился успеха не только благодаря тому, что он дал в своей книге, но и благодаря тому, что он не сумел дать. И последнее, хотя не менее важное, обстоятельство: рассуждения и факты были оживлены пропагандой, которая в конце концов и есть то, что привлекает широкую публику, — при всяком удобном случае Смит покидал профессорскую кафедру, пересаживался в судейское кресло и начинал раздавать похвалы и порицания. Счастливая судьба Адама Смита состоит в том, что он находился в совершенном согласии с духом своего времени. Он защищал те идеи, которые уже назрели, и поставил свой анализ им на службу. Нечего и говорить, что это значило как для самого исследования, так и для его признания: где было бы «Богатство народов» без свободы торговли и *laissez-faire*? Итак, «бесчувственные» и «пребывающие в праздности» землевладельцы, которые жнут, где не сеяли; предприниматели, заканчивающие каждую встречу сговором между собой; купцы, которые и сами благоденствуют, и предоставляют возможность зарабатывать на жизнь своим приказчикам и счетоводам; и бедные рабочие, обеспечивающие роскошную жизнь остальным членам общества, — вот и все персонажи предлагаемого нам зрелища. Утверждалось, будто А. Смит, намного опередивший свое время, шел на отчаянно смелый шаг, выражая свои социальные симпатии. Это не так. Я ничуть не ставлю под сомнение его искренность. Но подобные воззрения не были непопулярными. Они были в моде. В эгалитарной направленности его экономической социологии отчетливо виден рассудочно выхолощенный руссоизм. Ему казалось, что все человеческие существа одинаковы по своей природе, что все они одними и теми же простыми способами реагируют на элементарные возбудите-

ли, что различия между людьми объясняются главным образом различиями в среде и воспитании. Это чрезвычайно важно иметь в виду, учитывая влияние Смита на экономическую теорию XIX в. Его труд был тем каналом, по которому идеи XVIII в. о природе человека достигали экономистов.

Приступаем к «Путеводителю по „Богатству народов“». «Исследование о природе и причинах богатства народов Адама Смита, доктора права, члена Королевского общества, ранее профессора нравственной философии в университете Глазго, в двух томах. Лондон, 1776» — этим названием он определяет экономическую науку вполне точно и едва ли не менее удачно, хоть и не так кратко, как это было сделано в заключительной части нашего введения. Но в предисловии к книге четвертой мы читаем, что политическая экономия «ставит себе целью обогащение как народа, так и государя», и именно эта дефиниция дает нам понять как то, что в первую очередь волновало самого Смита, так и то, что больше всего интересовало его читателей. Такое определение превращает экономическую науку в набор рецептов для «государственного деятеля». Но тем важнее помнить, что аналитический подход все же присутствует и что мы (как бы ни считал сам Смит) можем отделить анализ от рецептов, не совершая никакого насилия над текстом.

Сочинение состоит из пяти книг. Пятая, самая обширная (28,6 % всего объема), являет собой почти самостоятельный трактат о государственных финансах. Ей предстояло превратиться в основу для всех трактатов XIX в. по данным вопросам и оставаться в этой роли до тех пор, пока не утвердился (прежде всего, в Германии) так называемый социальный подход (налогообложение в качестве инструмента социальных реформ). Размер книги объясняется огромной массой включенного в нее материала: смитовская трактовка государственных расходов, государственных доходов и государственного долга носит по преимуществу исторический характер. Теория несовершенна и не проникает во многое, лежащее за поверхностью явлений. Но такая, как она есть, она прекрасно сочетается как с общими тенденциями развития, так и с частными фактами, о которых она сообщает. Впоследствии было накоплено огромное множество дополнительных фактов и усовершенствован теоретический аппарат, но до сего дня никому не удавалось соединить два эти момента (с небольшой добавкой политической социологии) так, как это сумел сделать Смит. Четвертая книга,<sup>17</sup> по объему почти такая же, содержит

<sup>17</sup> Книги четвертая и пятая составляют около 57% общего объема.

знаменитое осуждение «коммерческой, или меркантилистической, системы», из праха которой подобно фениксу восстает собственная политическая система самого Смита (покровительственно благожелательная критика физиократической доктрины в последней IX главе не нуждается в комментариях). И опять читатель находит массу кропотливо собранного фактического материала и крайне мало самой простой теории (не продвинувшейся вперед ни на шаг даже по сравнению с отдаленными ее «предшественницами»), которая, однако, более чем удачно используется для освещения мозаики подробностей и для «обыгрывания» фактов так, что они начинают сверкать. Факты переполняют книгу и громоздятся друг на друга; две монографии (о депозитных банках и хлебной торговле) помещены как отступления там, где им совсем не место. Великая и справедливо прославленная глава «О колониях» (которую следовало бы сопоставить с заключительными страницами книги) также оказывается не к месту, но это не имеет никакого значения: перед нами шедевр, шедевр не только пропаганды, но и анализа. Книга третья, занимающая менее 4,5% общего объема, может считаться прелюдией к книге четвертой и содержит общие рассуждения — преимущественно исторического характера — о «естественном развитии благосостояния», о подъеме городов и городской торговле и о том, какое искажающее влияние оказывают на все это ограничительные или поощрительные политические меры, принимаемые под давлением различных интересов.

Книга третья не удостоилась того внимания, которого, думается, она вполне заслуживает. Ее несколько сухая и невдохновенная мудрость могла бы стать превосходным отправным пунктом для исторической социологии экономической жизни, которая так никогда и не была написана. Книги первая и вторая (соответственно около 25 и 14% общего объема текста), также перегруженные иллюстративным материалом, воплощают основное содержание аналитической схемы А. Смита. Их действительно можно изучать во всех подробностях совершенно отдельно от остальных частей «Богатства народов». Но читатель, которого больше интересует «теория», чем ее «приложения», и который откажется пойти дальше первых двух книг, потеряет многое необходимое для целостного понимания самой теории.

Начальные три главы книги первой посвящены разделению труда.<sup>18</sup> Мы находимся в старейшей части здания, завершенной

---

<sup>18</sup> Я бы просил читателя не забывать, что все наиболее важные моменты анализа А. Смита в той мере, в какой они вообще могут быть отражены в

уже в «Черновиках». Видимо, еще и потому, что в своей преподавательской практике Смит столько раз возвращался к изложению этих вопросов, данная часть книги является, безусловно, и наиболее отделанной. Хотя, как мы знаем, она не содержит ничего оригинального, стоит отметить одну особенность, до сих пор несправедливо оставляемую без внимания: никто ни до, ни после А. Смита никогда не придавал такого значения разделению труда. По Смиту, оно является практически единственным фактором экономического прогресса. Одним только разделением труда объясняется «превосходство в количестве средств существования и жизненных удобств, которыми располагает обыкновенно даже беднейший и наиболее презираемый член цивилизованного общества, по сравнению с тем, что может приобрести самый трудолюбивый и пользующийся всеобщим уважением дикарь», — и это вопреки существованию столь значительного «жестокого неравенства» («Черновики», см. книгу В. Скотта: *Scott W. Adam Smith as Student and Professor*. P. 328). Технический прогресс, «изобретение всех этих машин» и даже капиталовложения вызываются разделением труда, и фактически они представляют собой всего лишь отдельные его проявления. Мы вернемся к этой особенности аналитической схемы А. Смита в конце нашего «Путеводителя по „Богатству народов“».

Само разделение труда приписывается врожденной склонности к обмену, а его развитие — постепенному расширению рынков: размеры рынка в любой момент времени определяют степень разделения труда (глава III). Таким образом, оно возникает и развивается как полностью безличная сила, а поскольку оно служит великим двигателем прогресса, постольку прогресс также обезличивается.

В главе IV А. Смит выстраивает освященную временем последовательность «разделение труда — бартер — деньги» и (находясь значительно ниже уровня, достигнутого многими предшествующими авторами, в особенности Галиани) полностью отрывает «меновую ценность» от «потребительной ценности». В главе V, начинающейся с Кантильонова определения *richesse* (богатства), он пытается отыскать более надежную меру меновой ценности, чем цена в денежном выражении. Отождествляя меновую ценность с ценой и полагая, что «денежная цена» колеблется в силу

---

нашей «Истории», будут рассмотрены позднее в соответствующих разделах книги, исключая то немногое, к чему у нас уже не будет возможности вернуться в каком-либо ином разделе. Настоящий параграф, таким образом, — это всего лишь сухой и предельно краткий читательский «Путеводитель по „Богатству народов“».

чисто денежных изменений, Смит, для того чтобы найти не зависящую от времени и места базу сравнения, берет вместо этой денежной, или «номинальной», цены товара его реальную цену (реальную в том же смысле, в каком мы говорим, например, о реальной заработной плате в противоположность денежной заработной плате<sup>19</sup>), т. е. цену, выраженную во всех остальных товарах. А эти реальные цены он, в свою очередь (игнорируя индексный метод, уже открытый к тому времени), заменяет ценами, выраженными в единицах затрат труда (после рассмотрения в этой роли зерна). Иными словами, он выбирает товар «труд» вместо товара «серебро» или товара «золото» в качестве *numéraire* (счетной единицы), если воспользоваться термином, введенным во всеобщее употребление Л. Вальрасом. Выбор может быть удачен или неудачен, но сам по себе не встречает никаких логических возражений. Однако Смит так плохо справляется с выражением идеи, а кроме того, смешивает ее с теоретическими рассуждениями относительно природы ценности и реальной цены в другом смысле (см. знаменитое учение о «тягости и усилии» как реальной цене всякого товара (второй абзац главы V) и о труде как единственном товаре, «никогда не изменяющем своей собственной ценности» (абзац седьмой)), что эта в основе своей чрезвычайно простая мысль была неверно понята даже Рикардо. Соответственно, ему приписали трудовую теорию ценности или, скорее, три несовместимые трудовые теории ценности,<sup>20</sup> тогда как из главы VI совершенно ясно, что *объяснять* то-

<sup>19</sup> См., например, девятый абзац главы V.

<sup>20</sup> Хотя к взглядам А. Смита на ценность необходимо будет вернуться как в главе 6 этой части, так и в части III нашей «Истории», краткое пояснение по этому вопросу здесь может оказаться излишним. Сам по себе выбор часов или дней труда в качестве единиц, в которых выражаются ценности товаров, или цены, на том ли (ошибочном) основании, что труд никогда не изменяет своей ценности, или же на любом другом, предполагает какую-то особую (трудовую) теорию меновой ценности, или цены, не более чем выбор голов скота в качестве единиц, в которых выражаются ценности товаров, или цены, предполагает «скотную» теорию меновой ценности, или цены. Но Смит (точно так же, как Р. Оуэн и другие сторонники превращения трудовых денег в средство обращения), по-видимому, не вполне сознавал это и, несомненно, рассуждал в некоторых случаях так, как если бы использование им труда как *numéraire* предполагало некую особую теорию ценности. Более того, он, похоже, часто смешивает количество труда, на которое будет обменян данный товар, с количеством труда, затраченным на его производство, за что его критиковал Рикардо. Количество труда, затраченное на производство товара, выходит затем на передний план в известном примере с бором и оленем в начале главы VI, хотя справедливости ради следует добавить, что Смит явно относил положение, утверждающее, что количество затраченного труда «регулирует» цену, к тому «первобытному и малоразвитому» обществу, в котором доли всех остальных факторов в распределении дохода оказываются равными нулю. Наконец, здесь же присутствует степень «тягости и усиллия», которая является

варные цены Смит собирался издержками производства, которые он в этой главе разлагает на заработную плату, прибыль и ренту — «первоначальные источники всякого дохода, равно как и всякой меновой ценности». Все это, без сомнения, чрезвычайно неудовлетворительно в качестве объяснения ценности, но вполне годится как путь, ведущий, с одной стороны, к теории равновесной цены, а с другой стороны, — к теории распределения.

Зачаточная теория равновесия в главе VII — безусловно, лучшая часть экономической теории, созданной А. Смитом, — действительно ведет к Сэю и далее к Вальрасу. В ее усовершенствовании в значительной степени и состояло развитие чистой теории XIX в. Рыночная цена, определяемая краткосрочными спросом и предложением, трактуется как колеблющаяся вокруг «естественной цены» («необходимой цены» Дж. С. Милля, «нормальной цены» А. Маршалла). «Естественная цена» — это цена, достаточная (но не более того) для покрытия «всей ценности ренты, заработной платы и прибыли, которые надлежит оплатить, чтобы доставить» на рынок такое количество каждого товара, «которое удовлетворит действительный спрос» на него (с. 57) <здесь и далее страницы даны по русскому переводу 1962 г.>, т. е. спрос, действительный при данной цене. В этой главе нет никакой теории монопольной цены, если не принимать во внимание малозначащее (или даже ложное) изречение, что в длительном периоде «монопольная цена во всех случаях является наивысшей ценой, какая только может быть получена» (с. 61), тогда как «цена свободной конкуренции... представляет собою самую низкую цену, на какую можно согласиться» (с. 56). Это важная теорема, хотя Смит, кажется, не имел ни малейшего представления о трудностях ее удовлетворительного до-

---

«действительной ценой всякого товара» и которая (по крайней мере, если интерпретировать ее как эквивалент более поздней концепции антиполезности труда) не согласуется ни с одной из двух предыдущих мер ценности. В таком случае имеются три трудовые теории ценности, или цены, которых, как предполагается, придерживался Смит. Однако, поскольку первая по чисто логическим основаниям непригодна для объяснения феномена ценности (читатель убедится, что, взятая в этом смысле, она впадает в порочный круг) и поскольку мы можем пренебречь третьей, ибо Смит не предпринял никакой попытки разработать тему антиполезности труда, мы и в самом деле остаемся со второй теорией ценности (количеством труда). И наконец, так как в отличие от Рикардо и Маркса Смит никогда (за исключением одного специального случая) не заявлял, что она истинна, то мы приходим к заключению, что вопреки упору Смита на трудовой фактор его теории ценности вовсе нельзя считать трудовой теорией. Если задуматься, тот факт, что первая фраза введения называется весь национальный доход «продуктом труда», нисколько не противоречит такому выводу.

казательства. Главы VII–XI завершают самодовлеющую аргументацию первой книги, очертания которой, хотя и теряются в густой листве иллюстративного материала, зачастую вырождающегося в отступления, все же не лишены известной прелести. В этих главах рассматриваются условия, «которые естественно определяют» норму заработной платы и норму прибыли и «регулируют» земельную ренту (с. 56).<sup>21</sup> Через эти взаимоувязывающие и суммирующие главы теория распределения XVIII в. была унаследована экономистами XIX в., которые предпочитали отталкиваться от них, так что сама расплывчатость доктрин Адама Смита вдохновляла на дальнейшее их усовершенствование по различным направлениям: именно несостоятельность Смита обеспечила ему право на своего рода наставничество. Достаточно обратить внимание читателя на следующие моменты.

Глава VIII «О заработной плате» содержит не только зачатки как теории рабочего фонда (с. 66), так и теории минимума средств существования (с. 74, 78), которые могли быть заимствованы у Тюрго и физиократов и которые были восприняты подавляющим большинством английских последователей Смита, но и еще один элемент, истинное значение которого его последователи оказались неспособны оценить. Он заключен в лаконичном высказывании Смита о том, что «щедрая оплата труда» является как «неизбежным следствием», так и «естественным симптомом *роста* [курсив Й. А. Ш.] национального богатства» (с. 69), так что проблема заработной платы, хотя и получает неадекватное объяснение, предстает в совершенно ином свете, чем у Рикардо. В главе IX «О прибыли на капитал» высказывается ряд соображений о факторах, определяющих норму прибыли (например, на с. 83), особенно о заработной плате, но существо проблемы остается не схваченным. В той мере, в какой можно считать, что Смит вообще имел какую-то теорию «прибыли», ее приходится воссоздать из обычно неопределенных или даже противоречивых указаний, рассеянных по двум первым книгам. Во-первых, он санкционировал и утвердил окончательную победу одной доктрины, возобладавшей в экономических теориях XIX в., особенно в Англии. Согласно этой доктрине, прибыль, понимаемая как основной доход класса капиталистов, по существу выступает результатом делового использования накопленных этим

<sup>21</sup> [В читательском «Путеводителе» страницы указываются по изданию: The Everymans Library Edition, published by J. M. Dent, London, and E. P. Dutton & Co., New York (1910), экземпляр которого был в библиотеке в Таконике. В остальных случаях Й. А. Шумпетер использовал издание Кэннана, ссылка на которое дана в примечании 15.]

классом физических благ (включая средства существования наемных рабочих), а ссудный процент считается всего лишь производным от нее. Исключая чистых заимодавцев («денежных людей»), Смит отказывает владельцам предприятий, или предпринимателям (он, впрочем, отдает предпочтение термину *undertaker*), в каких бы то ни было полезных функциях — они-то (если отбросить в сторону деятельность по надзору и управлению) и являются собственно капиталистами, или хозяевами, занимающимися «работой трудолюбивых людей» и присваивающими часть продукта «их труда» (глава VI). Марксистские выводы из этого положения напрашиваются сами собой; более того, Смит сам старается всячески подвести к ним. Тем не менее нельзя утверждать, что Смит придерживался теории об эксплуататорском происхождении прибыли, хотя можно сказать, что он навел на мысль о ней. Ведь наряду с этим он подчеркивал значение элемента риска и говорил об авансировании предпринимателями капитала в виде общего фонда «материалов и заработной платы» (с. 51), что направляет анализ по совершенно иному руслу. К тому же всякий, кто, подобно Смигу столь высоко оценивает общественную значимость сбережений, не вправе роптать, если его имя оказывается связано с идеями теории воздержания.

Рассматривая различия в «заработной плате и прибыли при различных применениях труда и капитала» (глава X), Смит, увлекаясь довольно избитыми доводами и примерами, улучшает Кантильона и преуспевает в создании стандартной главы для учебников XIX в. Глава XI «Земельная рента» (Смит, а вслед за ним практически все английские экономисты вплоть до Маршалла смешивали понятия ренты на землю и ренты с рудников) разрастается из-за гигантского отступления (или целого семейства отступлений и дополнений) и составляет около 7,6% всего текста. Если сократить обширнейший фактический материал и бесчисленные изыскания по частным вопросам, то проступившую из-под них мозаику идей следовало бы признать выдающейся. Во-первых, отталкиваясь от своей теории издержек производства, Смит приходит к вполне естественному, хотя и неверному, заключению, что феномен ренты обязан своим существованием единственно «монополии» на землю (с. 121), вводя таким образом в оборот идею, которой суждено было вновь и вновь находить себе приверженцев и которая до сих пор остается неизжитой. Но, во-вторых, мы обнаруживаем заявление, что, в то время как «высокая или низкая заработная плата или прибыль на капитал являются причиной высокой или низкой цены продукта, больший или меньший размер ренты является результатом после-

дней» (с. 121). Оно согласуется, хотя и не без затруднений, с теорией монопольной ренты и направляет ее в русло рикардианства: так называемая рикардианская теория ренты могла бы возникнуть из попытки навести логический порядок в смитовской неразберихе. И, в-третьих, там содержатся определенные намеки, способные побудить кого-нибудь из преемников Смита попытаться упорядочить этот хаос при помощи теории производительности (см., скажем, с. 122). Все это перемешано с другими идеями, удачными и неудачными, например с идеей, выходящей на сцену и покидающей ее так же часто, как собутыльники Фальстафа в «Генрихе IV», и столь же навязчивой, сколь и бесплодной, — о том, что производство продовольствия находится в уникальном положении, поскольку оно создает свой собственный спрос, ибо по мере его расширения люди начинают быстрее размножаться (с этой идеей мы вновь сталкиваемся у Мальтуса). Еще до того, как читатель добирается до отступлений о стоимости серебра и о колебаниях в соотношении между стоимостью серебра и золота, глава вносит существенный вклад в смитовскую теорию денег, которую, однако, нельзя полностью уяснить без чтения всего исследования (см. особенно главу II книги второй и важное отступление относительно депозитных банков в главе III книги четвертой). Следовало бы остановиться еще на двух моментах: в заключительной части обзора о колебаниях стоимости серебра Смит пытается объяснить, почему — в долгосрочном периоде, по крайней мере, — цена сельскохозяйственных продуктов (речь идет о реальной цене) будет расти вследствие прогресса и улучшений (с. 185 и далее), а в дополнительном отступлении (с. 189 и далее) — почему реальная цена промышленных изделий будет падать. В известном смысле это предвосхищает доктрину XIX в. о падающей отдаче в сельском хозяйстве и возрастающей отдаче в промышленности, путь которой он, можно сказать, осторожно нащупывал и которую *можно было бы* извлечь из его рассуждений. Кроме того, он приходит к рикардианскому заключению (с. 194) (хотя оно и не следует прямо из его запутанных рассуждений) о том, что землевладельцы непосредственно выигрывают в процессе экономического развития как потому, что реальная стоимость продуктов земли возрастает, так и потому, что они начинают получать относительно большую долю этих продуктов; к тому же они выигрывают еще и косвенно из-за понижения реальных цен на промышленные изделия. Рабочие также оказываются в выигрыше (с. 194), поскольку их заработная плата растет, а цены на часть товаров, которые они покупают, снижаются. Но третий класс, «купцы и

владельцы мануфактур» (с. 195), остается в проигрыше, потому что, по утверждению Смита, в богатых странах норма процента стремится к понижению, а в бедных — к повышению, так что интересы этого класса враждебны как интересам двух остальных классов, так и «благу всего общества». Очевидно, все это предназначалось для построения схемы классовых экономических интересов наподобие тех, что пытались сконструировать многие более поздние экономисты, вдохновляемые, быть может, примером Смита и желанием исправить его ошибки.

В книге второй предлагается теория капитала, сбережений и капиталовложений, которая, как бы сильно она ни менялась в процессе усовершенствования и под воздействием критики, оставалась, несмотря ни на что, основой практически всех позднейших работ вплоть до — а частично даже и после — Бёма-Баверка. Конечно же, она производит впечатление нового импульса, приданного прежней структуре. Не считая слабой попытки во введении связать эту теорию с книгой первой посредством еще одной и совершенно неубедительной апелляции к «разделению труда», нет никаких оснований полагать, что какая-либо, существенная ее часть была написана или задумана до пребывания Смита во Франции. Специфически физиократическое влияние чувствуется здесь гораздо сильнее, чем в какой-либо части книги первой, причем не только во многих деталях, но и в концепции в целом. Однако подобное утверждение не следует понимать превратно. Не в обычае Смита было пассивное восприятие того, что он читал или слышал: он читал и слушал других без предвзятости, весьма придирчиво и в процессе критической переработки самостоятельно пришел к этой концепции. Вот почему я говорю не о влиянии на него Тюрго, а только о влиянии физиократов. Тюрго держит приоритет по многим существенным вопросам, но отсюда не следует, что Смит заимствовал у него свои идеи. Ибо воззрения Смита таковы, какими они естественным образом могли бы сложиться в его уме в результате творческой критики учения Кенэ. Поэтому при отсутствии убедительных свидетельств в пользу обратного представляется более правомерным говорить о параллелизме, а не о заимствовании. Ограниченность места не позволяет привести более одного примера. Здравый смысл шотландца восставал против утверждения Кенэ, что только труд в сельском хозяйстве (и в добывающей промышленности) является производительным. У Тюрго он мог бы научиться, как пожать плечами по поводу такого чудачества, и с любезным поклоном проследовать дальше. Это, однако, было не в его характере. Смит подходил к делу не только серьезно, но и дотош-

но. Он должен был пуститься в тяжеловесное опровержение. Но в ходе размышлений относительно этого предмета ему могло прийти в голову, что в различии между производительным и непроизводительным трудом есть какой-то смысл.<sup>22</sup> Таким образом он выработал собственную трактовку вопроса и заменил ею объяснения Кенэ. В известном смысле она была внушена ему Кенэ — на это указывает тот факт, что на нее нет никакого намека в книге первой, хотя ее естественное место именно там; но в то же самое время она была собственным творением самого Смита.

В главе I книги второй проводится различие между той частью имеющегося у человека (и общества) общего запаса благ, которую должно именовать капиталом (причем к нему относятся не только физические блага, но также и «приобретенные и полезные способности всех жителей» — (с. 208), и всей остальной частью этого запаса; вводятся понятия основного и оборотного капитала; дается классификация благ, подпадающих под обе рубрики (причем в состав оборотного капитала включаются деньги, а не средства существования производительных рабочих, хотя аргументация Смита предусматривала и по существу подразумевала включение туда именно этих средств). Пространная глава II, одна из важнейших в работе, содержит основную часть теории денег А. Смита. Она намного превосходит главу IV книги первой и определенно является результатом более поздней стадии его работы. Но она не обнаруживает никакого влияния физиократов: все влияния, которые могут быть установлены, — английского происхождения. Глава III, где вводится различие между производительным и непроизводительным трудом, со своим

---

<sup>22</sup> Пожалуй, стоит сразу же определить, в чем же он состоял, потому что как неуклюжая и внутренне противоречивая трактовка этой проблемы Смитом, так и споры о ней в XIX в. неоправданно затруднили ее понимание. Производительные работники с прибылью воспроизводят стоимость капитала, нанявшего их; непроизводительные занятые работники либо продают свои услуги, либо производят нечто, не приносящее прибыли. Это может рассматриваться как зародыш теории прибавочной стоимости Маркса. Понятое таким образом, такое различие не является бессмысленным. Вина за то, что различие между производительным и непроизводительным трудом в этом смысле затмевается всевозможными не относящимися к делу околичностями, в которых оно тонет, должна быть возложена на самого Смита, о чем наглядно свидетельствует первый абзац главы III. С иной, хотя и близкой точки зрения непроизводительным оказывается и труд, не производящий ничего такого, что нужно было бы в продаже для завершения сделки: как только домашний слуга продал свои услуги нанимателю и получил плату из его дохода, первая же стадия процесса оказывается одновременно и его последней стадией; если тот же человек устраивается на обувную фабрику, то его труд оплачивается из капитала и процесс, одним из звеньев которого является его работа, не завершается до тех пор, пока на обувь не находится покупатель.

чрезмерным акцентом на склонности к сбережению, которая является подлинным создателем физического капитала («бережливость, а не трудолюбие является непосредственной причиной возрастания капитала» — с. 249; «каждый расточитель оказывается врагом общественного блага, а всякий бережливый человек — общественным благодетелем» — с. 251), знаменует победу более чем на полтора столетия вперед «сберегательной» теории. «То, что сберегается в течение года, потребляется столь же регулярно, как и то, что ежедневно расходуется, и притом в продолжение почти того же времени, но потребляется оно совсем другого рода людьми» (с. 249), а именно производительными рабочими, объем занятости и уровень заработной платы которых оказываются таким образом положительно связаны с нормой сбережения, каковая отождествляется (или по меньшей мере уравнивается) с темпом прироста капитала (иными словами, с инвестициями). В этой главе под выручкой понимается прибыль плюс рента точно так же, как это происходит у Маркса. В главе IV Смит обращается к проблеме процента. Поскольку, как отмечалось выше, прибыль трактуется им как явление более глубокого порядка и поскольку это принимается здесь как само собой разумеющееся, постольку процент просто-напросто выводится из того факта, что потребность в деньгах (а в действительности, по мысли Смита, — в товарах и услугах производителей, которые можно на них купить) всегда наталкивается на требование премии, основанное на ожидании прибыли. Смит, как и все последующие поколения экономистов вплоть до наших дней, просто не видел никаких трудностей в объяснении процента самого по себе: разница между ним и его преемниками в XIX в. состоит лишь в том, что он не видел трудностей и в проблеме прибыли предпринимателей, тогда как многие позднейшие экономисты начали уделять ей самое пристальное внимание. Три момента заслуживают здесь упоминания: во-первых, его неубедительное объяснение тенденции нормы процента к понижению вследствие усиливающейся конкуренции между возрастающими капиталами; во-вторых, его энергичные, имевшие в течение 150 лет успех аргументы против денежных теорий процента, которые пытаются объяснить эту тенденцию увеличением количества благородных металлов; в-третьих, его сдержанные и здравые суждения о законодательном установлении максимальной ставки процента, вызвавшие ничем не обоснованные нападки со стороны Бентама.

[Читательский «Путеводитель по „Богатству народов“» остался незавершенным. В нем, например, отсутствует обсуждение заключительной главы V книги второй («О различных помещениях

капитала»). Нижеследующий фрагмент был написан на отдельном листе без каких-либо указаний о его предполагавшемся месторасположении].

Еще не минуло XVIII столетие, а «Богатство народов» уже выдержало десять английских изданий, не считая выпущенных в Ирландии и Соединенных Штатах, и было переведено, насколько мне известно, на датский, голландский, французский, немецкий и испанский языки (курсивом выделены языки, на которых появилось более одного перевода; первый русский перевод был опубликован в 1802–1806 гг.). Это можно принять в качестве меры успеха «Богатства народов» на первом этапе его признания. Я думаю, для сочинения такого типа и ранга, совершенно лишённого привлекательных качеств «Духа законов», подобный успех можно назвать захватывающим. Однако такая популярность не идет ни в какое сравнение с действительно значимым признанием, которое не так легко измерить: примерно с 1790 г. Смит становится наставником не только новичков и общества, но и профессионалов, особенно университетских преподавателей. Размышления большинства из них, включая Рикардо, отталкивались от Смита, и, вновь подчеркну, большинству из них так и не удалось продвинуться дальше, чем он. В течение полувека или более того, приблизительно до той поры, когда началась карьера «Основ» Дж. Ст. Милля (1848), Адам Смит оставался для среднего экономиста источником основной массы идей. В Англии «Начала» Рикардо (1817) представляли серьезный шаг вперед. Но вне Англии большинство экономистов не дозрели до Рикардо, и Смит по-прежнему сохранял над ними власть. Именно тогда он был удостоен звания «основоположника», которое никто из его современников и не подумал бы ему присваивать, и именно тогда более ранние экономисты начали передвигаться в разряд его «предтеч», у которых было приятно обнаруживать идеи, которые, несмотря ни на что, продолжали считаться принадлежащими Смигу.

## 5. Квазисистемы

Чтобы у читателя не создалось совершенно неправильного впечатления, которое, возможно, не смогут рассеять последующие главы, необходимо, не откладывая дело в долгий ящик, дополнить изложенную в предыдущем параграфе историю хотя бы небольшим рассказом о параллельном направлении — создании квазисистем. Большинство из них, как мы знаем, были про-

граммами промышленного и коммерческого развития. В соответствии с этими программами их авторы рекомендовали или отвергали отдельные политические меры, благоприятные или неблагоприятные, и рассуждали об отдельных проблемах. Но их идеи не были лишены систематичности, если понимать ее как последовательность. Они знали, как связать одну проблему с другой и свести их к объединяющим принципам — *аналитическим* принципам, а не просто принципам политики. Если эти аналитические принципы и не всегда излагались в явном виде, они часто были хорошо разработаны тем способом, какой предлагало развитие английского права. В данном параграфе мы ограничимся рассмотрением нескольких авторов XVII в. В нашем дальнейшем изложении все они будут упомянуты вновь. Другие авторы будут представлены в следующей и других главах.

Почетное место в этой литературе — если говорить о XVII в. — занимают английские бизнесмены и чиновники, но список авторов возглавляет итальянец Серра.<sup>1</sup> Его, как мне представляется, можно признать первым автором научного, хотя и не систематичного, трактата об экономических принципах и экономической политике. Его основное достоинство состоит не в объяснении оттока золота и серебра из Неаполитанского королевства состоянием платежного баланса, но в том факте, что он не остановился на этом, а пошел дальше и объяснил этот отток посредством общего анализа условий, определяющих состояние

<sup>1</sup> *Serra Antonio*. Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro e argento dove non sono miniere <«Краткий трактат о причинах, которые могли бы привести к изобилию золота и серебра в тех королевствах, где нет рудников»>; (1613; переопубл. в собрании Custodi и в сборнике: *Graziani A. Economisti del cinque e seicento*. 1913; выдержки из этой работы содержатся в сборнике: *Tagliacozzo G. Economisti Napoletani dei secoli XVII e XVIII*. 1937 — с резюме и комментариями; англ. пер. в: *Monroe A. E. Early Economic Thought*). Об авторе ничего не известно, за исключением того, что он написал свой трактат в неаполитанской тюрьме, возможно надеясь посредством этого получить свободу, так как сочинение посвящено испанскому вице-королю (наместнику короля). И снова — как в случае с Л. Ортисом, которого можно считать предшественником Серра, равно как и другого испанца, Гонсалеса де Селлориго (*González de Cellorigo*. *Memoriales. De la politica necesaria... á la républica de Esraña*. 1600), хотя обоим этим авторам не хватает характерного для Серра понимания общего принципа — читатель должен забыть о заголовке, который был выбран явно для того, чтобы заинтересовать вице-короля, и абсолютно не выражает сущности и значения рассуждений автора. Однако, этому было некоторое оправдание: автор приводил пространные доводы против политики регулирования внешней торговли, которую (не вполне успешно) защищал Де Сантис — так что трактат также занял свое место в истории «меркантилистской» полемики (см. ниже, глава 7). О Серра и его работе см. книгу Р. Бенини: *Benini R. Sulle dottrine economiche di Antonio Serra//Giornale Degli Economisti*. 1892. Дополнительные ссылки есть в издании Тальякоццо.

экономического организма. В сущности, это трактат о факторах, определяющих избыток не денег, а *товаров*, — природных ресурсах, численности населения, уровне развития промышленности и торговли, эффективности деятельности государства, — и его вывод состоит в следующем: если экономический процесс в целом функционирует правильно, его денежная составляющая регулируется сама собой и не требует какой-либо специальной терапии. В этих рассуждениях содержится несколько элементов, вошедших в только еще возникавший в то время набор теоретических инструментов, речь о которых пойдет позднее.<sup>2</sup>

На протяжении нескольких десятилетий ни в одной стране не было написано ничего сравнимого по значимости с работой Серра. Но во второй половине столетия мы можем отметить большой «урожай» работ аналогичного типа в Англии — обычно они назывались «Рассуждение о торговле» (*Discourse of Trade*). Постепенно их авторы открыли для себя элементы логики, содержащиеся в экономическом процессе, — те элементы, которые они могли бы узнать из трудов схоластов и их последователей и которые при иных обстоятельствах и, соответственно, с иных политических позиций стали логическим обоснованием доктрин либерализма *laissez-faire*. Вехой на этом пути стал *Discourse Чайлда*.<sup>3</sup> Это выдающееся произведение обычно не удостоивают

---

<sup>2</sup> В. де Лаффемас, хотя и был неизмеримо ниже Серра в понимании экономических принципов и аналитических способностях, имел сходные взгляды на проблемы практической политики. Он писал около 1600 г. (список его работ см. в: *Hayet F. Un Tailleur d'Henri IV, Barthélemy de Laffemas. 1905*; см. также: *Hauser H. La Liberté du commerce et la liberté du travail sous Henry IV//Revue historique. 1902*).

<sup>3</sup> Сэр Джозайя Чайлд (1630–1699). Окончательный вариант этой работы вышел под названием *New Discourse of Trade* (1693), но, чтобы отдать должное ее исторической ценности, мы должны принять к сведению тот факт, что процесс ее «созревания» занял десятилетия. Первый набросок *Brief Observations concerning Trade and Interest of Money*, а также *A Short Addition* были опубликованы в 1668 г. Еще десять глав были добавлены в 1669–1670 гг. Эти даты важны при рассмотрении вопросов приоритета, так как *Discourse about Trade* был опубликован в 1690 г. без каких-либо больших добавлений или изменений. *New Discourse*, вышедший в 1693 г., содержит еще меньше изменений и не добавляет ничего нового, за исключением введения. Небольшая публикация в защиту торговли Ост-Индской компании также заслуживает упоминания. Репутация Чайлда как экономиста нанесло урон не только общее предубеждение против «меркантилистских» сочинений, но и обстоятельство, представляющее большой интерес для социолога науки. Чайлд был крупнейшим бизнесменом, фактически воплощением наиболее ненавидимого представителя большого бизнеса той эпохи: он был председателем и в течение нескольких лет бессменным лидером Ост-Индской компании, к тому же весьма богатым человеком. Соответственно, он был непопулярен в свою эпоху и оставался таковым на протяжении более 250 лет — историки не хотели замазывать себя упоминанием «монополиста» и «апологета своих личных интересов».

внимания как одно из многих «меркантилистских» сочинений — этого было достаточно (и в некоторой степени достаточно и сейчас) для того, чтобы многие историки не видели в нем никаких достоинств. Но независимо от того, применим ли этот ярлык, следует признать, что данный Discourse затрагивал практические проблемы своего времени: занятость, заработную плату, биржи, экспорт и импорт и т. д. — в свете ясно сформулированных «законов» механизма капиталистических рынков; аналитический инструмент, который мы называем теорией равновесия, хотя и не примененный в явном виде, тем не менее присутствует «за кадром». Другие произведения, которые были под стать этому, а в некоторых отдельных моментах превзошли его, принадлежат перу таких авторов как Барбон, Дэвенант, Норт, Поллексен и др.<sup>4</sup> В каждом из этих случаев мы наблюдаем большую или меньшую осведомленность о существовании аналитического аппарата, который остается принципиально универсальным независимо от того, к какой практической проблеме его применять, и большую или меньшую готовность и способность его использовать. Для нас важно именно это и совершенно не имеет значения, нравятся ли нам или не нравятся практические рекомендации, которые, по мнению авторов, вытекают из их анализа.

Пользуясь возможностью, я упомяну выдающийся, хотя и мало известный трактат о международной торговле, который профессор Фоксуэлл (см. каталог Kress Library of Business and Economics, Harvard Graduate School of Business Administration) называл «одной из самых ранних формальных систем политической экономики и книгой, содержащей наиболее веские аргументы в

<sup>4</sup> Ссылки будут приведены в последующих главах. Однако, вклад Чарльза Дэвенанта следует оценивать не по его работе Discourse on the Publick Revenues, and on the Trade of England (1698), а скорее по всем его многочисленным публикациям: в сумме они составляют всеобъемлющую квазисистему. Мы сразу же прокомментируем работы Поллексена. Джон Поллексен был торговцем и членом парламента, а также служил в Министерстве торговли. Кроме своей основной работы A Discourse of Trade, Coyn, and Paper Credit (1697; переизд. — 1700), он также написал England and East India Inconsistent in their Manufactures (1697) — трактат, который кроме нападок на излюбленный объект его критики Ост-Индскую компанию в ответ на книгу Дэвенанта Essay on the East-India Trade (1696), частично дополняет аргументацию Discourse. Последний является превосходной работой, особенно в аналитическом отношении. Интересен вопрос о том, почему он получил столь скромное признание, и особенно, почему это признание в большинстве случаев омрачалось унижительными комментариями по поводу его «неоригинальности» и многочисленных «меркантилистских заблуждений». Последнее обвинение представляется безосновательным, а в отношении первого достаточно задать вопрос: если мы оцениваем заслуги экономиста исключительно по присутствию в его работах совершенно новых результатов, то как мы тогда должны оценить А. Смята, Д. Рикардо или Дж. С. Милля?

пользу свободной торговли», хотя вторая часть заявления Фокусуэлла представляется мне более правдоподобной, чем первая: *Gervaise Isaac. The System or Theory of the Trade of the World. 1720*. Профессор Вайнер (см. ниже, глава 7) в полной мере отдал должное этому яркому вкладу в теорию международной торговли, автор которого помимо прочего набросал на 34 страницах, хотя, конечно, в совершенно «неформальном» виде, основные элементы общей теории, имеющие отношение к предмету его книги.

Однако в основной массе уровень этих «рассуждений» был намного ниже. Большинство из них представляли собой не более чем мотивированные программы промышленного и торгового развития Англии. Так как международная торговля занимала в этих программах основное место, некоторые работы данного типа будут упомянуты в последней главе этой части. В данный момент достаточно упомянуть в качестве примера слишком высоко оцененные сочинения Мана (его трактат, однако, носил заглавие не *Discourse of Trade, a England's Treasure by Forraign Trade, 1664*), Кэри и Петита.<sup>5</sup> У этих авторов наблюдалось некое единство политических воззрений, причем эти воззрения были довольно широки и отражали все экономические проблемы нации. Но у них отсутствовали аналитические достижения и было много ошибок в рассуждениях. Кэри, например, помимо тщательного обсуждения условий и возможностей торговли Англии с каждой страной, с Ирландией и с колониями (наиболее ценная часть трактата) также рассматривал монополии (то есть монополии крупных торговых компаний), причины безработицы и средства борьбы с ней, денежную эмиссию, кредит и многие другие предметы, вплоть до проблемы — а может быть, это было вкладом миссис Кэри? — как добиться, чтобы «служанки стали более аккуратными и управляемыми, чем они есть» (*Cary J. An Essay on the State of England... P. 162*). Но любая его попытка вывести анализ за пределы очевидного неудачна. Высокая рента, например, объявляется причиной того, что английские товары на

---

<sup>5</sup> John Cary, торговец из Бристоля: *An Essay on the State of England in Relation to its Trade, its Poor, and its Taxes... 1695* (я пользовался этим изданием). Были и другие издания — одно из них вышло в 1745 г. под заглавием *Discourse on Trade*, — что указывает на значительный успех. Похвалу со стороны Локка я могу объяснить только тем, что Кэри выступал за перечеку монет по старому стандарту веса и пробы, а в 1695 г. Локк готов был приветствовать *любого* автора, придерживавшегося этого мнения (см. ниже, глава 6). Возможно, однако, что в работе Кэри его привлекло также подробное обсуждение торговли Англии с многими странами. Другая работа — *Britannia Languens, or a Discourse of Trade... 1680* — опубликована под псевдонимом *Philanglus* и, по мнению профессора Фокусуэлла, принадлежит перу Уильяма Петита (см. каталог Kress Library).

иностранных рынках продаются дороже других. В качестве другой причины указана высокая процентная ставка, но без обращения к каким-либо аргументам, которые могут поднять статус этой теории выше обывательского наблюдения. Несмотря на подчеркивание значения активного торгового баланса, высокие цены и высокая заработная плата рекомендуются на таких основаниях, которые читатель вынужден оценить весьма нелестно. И так далее. Однако во всем этом немало проницательных соображений — проницательных, узконационалистических и наивно жесточких — например, его энтузиазм по поводу работорговли — «серебряного рудника» Англии (р. 76) — или его взгляды на то, как следует поступать с Ирландией (*passim*).

Как только мы научились распознавать «квазисистемы» в сочинениях, которые внешне рассматривают лишь конкретные проблемы, мы начинаем находить их повсюду. Например, в Нидерландах к этому направлению принадлежат произведения Грасвинкеля и де ля Кура,<sup>6</sup> хотя в работе первого рассматривалась только торговля зерном. По причине «либеральных» взглядов этих авторов на внутреннюю и внешнюю торговлю (несмотря на то что де ля Кур в последнем случае иногда «впадал в ересь»), вмешательство государства, средневековые корпорации (цеха) и т. д. многие историки поставят их выше английских современников. Мы же придем к такой же оценке в силу того, что эти авторы ясно понимали причинно-следственные связи во всех аспектах ценового механизма. Человек, который в 1651 г. понимал экономическую функцию спекуляции, как Грасвинкель, знал нечто, что можно было бы представить как открытие и в 1751 г., — на самом деле оно бы не было таковым, — хотя в 1851 г. оно стало общим местом, а в наши дни однозначно воспринимается как ошибка.

Немецкие сочинения подобного рода в XVII в. помимо, естественно, иной точки зрения на политику имели не такой высокий уровень, хотя многие из них были по крайней мере не хуже произведений Кэри. Мы ограничимся упоминанием хорошо известного австрийского автора Хорнигга,<sup>7</sup> который, равно как и намного

<sup>6</sup> Дирк Грасвинкель (1600–1666), юрист и чиновник, написал трактат по экономике продовольственной торговли под малообещающим заголовком: *Placaetboek op het stuk van de Leeftocht* («Собрание документов, регулирующих продовольственную торговлю». 1651). Питер де ля Кур (1618–1685) был промышленником. Из его работ необходимо упомянуть лишь *Interest van Holland...* (1662; 2nd ed. — *Aanwysing...* 1669).

<sup>7</sup> *Oesterreich über Alles wann es nur will* (1684). Филипп В. фон Хорнигк (1638–1712) был государственным служащим. Фрагменты этой книги включены в сборник А. Е. Монро: *Monroe A. E. Early Economic Thought*.

более важный Бехер и некоторые другие, фигурирует в любой истории экономической мысли. Его книга является еще одой программой политики поощрения экономического развития, написанной в бедной в то время стране, находившейся под постоянной угрозой турецких нашествий и не имевшей таких ресурсов и возможностей, какие были в Англии. Однако если мы сделаем поправку на это обстоятельство, то родство между рекомендациями Хорнигга и его английских современников — включая рекомендации «доктора» в *Discourse of the Common Weal* — поразительно: пустующие земли и другие неиспользуемые ресурсы необходимо эксплуатировать; эффективность труда должна быть увеличена посредством лучшего обучения; отечественной промышленности следует помогать, помимо прочего направляя потребительский спрос на ее продукты; экспорт промышленных товаров и импорт необходимых сырьевых материалов нуждается в поощрении, тогда как экспорт последних и импорт первых — в ограничении; торговля должна быть сбалансирована в двустороннем порядке с каждой отдельной страной (см. последнюю главу этой части); и так далее — все эти соображения (или большинство из них) звучат разумно и интересны как памятник чиновничьей мысли, но автор и не думал о том, чтобы подкрепить их анализом.

Что касается Соединенных Штатов, то вплоть до XIX в. нам нечего отметить в области систематических исследований. Этого и следовало ожидать, учитывая условия среды, которые едва ли могли создать спрос или предложение на рынке трактатов общего характера. Но обсуждение текущих практических проблем активно происходило даже в колониальные времена и в XVIII в. — было множество докладов, памфлетов и трактатов, особенно по проблемам бумажных денег, чеканки монеты, кредита, торговли и фискальной политики.<sup>8</sup> Некоторые из этих работ соответствуют нашему понятию «квазисис-

---

<sup>8</sup> В работе покойного профессора Селигмена *Economics in the United States*, воспроизведенной как глава 4 книги *Essays in Economics* (1925), дан ряд ссылок (к сожалению, не более чем ссылок), лучше которых я едва ли могу что-либо предложить. Знакомясь с литературой того периода, я руководствовался прежде всего именно этими ссылками. См. также работу К. Ф. Данбара: *Dunbar C. F. Economic Science in America. 1776-1876//North American Review. 1876*, а также репринтные издания нескольких более важных памфлетов, выпущенные (под ред. McFarland Davis) Prince Society в 1911 г. В целом американские экономисты, как представляется, слишком склонны недооценивать научное значение этой ранней литературы. Внимание к ней по большей части ограничивается политикой или конкретными мерами, которые находили поддержку или отвергались. Поэтому историк хвалит или обвиняет эти сочинения в соответствии со своими личными взглядами на рассматриваемые программы и меры. Чисто аналитические достижения автора, как правило, остаются за кадром,

тем». Вот три работы, которые я советую американскому читателю посмотреть самостоятельно. Во-первых, знаменитый *Report on Manufactures* Гамильтона (1791),<sup>9</sup> хотя и был, несомненно, задуман как описание, сопровождаемое программой, в действительности является примером «прикладной экономики» в ее лучшем виде и вполне ясно демонстрирует основные принципы аналитической структуры, которая была впоследствии четко изложена Д. Реймондом и Ф. Листом и в свою очередь восходит к работам таких авторов, как Чайлд и Дэвенант. Во-вторых, работа Кокса весьма близка к тому, чтобы быть систематическим трактатом.<sup>10</sup> В-третьих, различные трактаты Бенджамина Франклина (1706–1790) по экономическим вопросам<sup>11</sup>

особенно в случаях, когда, как это часто случается в теории денег, «необоснованная» практическая мера сопровождается «обоснованной» теорией и наоборот. Однако в рамках плана этой книги для исправления такого положения вещей можно сделать лишь очень немногое. [Й. Шумпетер написал эту главу до опубликования работы: *Dorjman Joseph H. The Economic Mind in American Civilization*, первые два тома которой покрывают период 1606–1865 гг. Й. Шумпетер прочитал первый том и сделал заметки, которые он собирался использовать при переработке главы.]

<sup>9</sup> Блестящая фигура Александра Гамильтона (1757–1804) настолько хорошо знакома читателю, что было бы абсурдом объяснять, кем он был и что собою представлял. Нет также нужды давать ссылки на его работы. Все, что необходимо сказать с наших позиций, — это то, что он был одним из тех редких практиков в области экономической политики, кто считал достойным тратить время на получение более глубоких аналитических экономических знаний, чем те поверхностные рассуждения, которые столь помогают при обращении к аудиториям определенного типа. Он хорошо знал смитианскую экономическую теорию — не только самого А. Смита — настолько хорошо, что сумел привести ее в соответствие со своими собственными взглядами на практические возможности или нужды и увидел ее ограничения. Все его доклады — не только упомянутый в тексте, но и об импортной пошлине (1782), государственном кредите (1790 и 1795), создании национального банка (1790) и монетного двора (1791) — выходят далеко за пределы обычного здравого смысла. Я настоятельно рекомендую внимательно прочитать тома периодического издания *Federalist*, в котором он сотрудничал с Мэдисоном и Джеймом: американский читатель найдет в них намного больше, чем просто экономическую теорию. Перед тем как начинать изучение сочинений Гамильтона, полезно обратиться к книге П. Л. Форда: *Ford P. L. Bibliotheca Hamiltoniana* (1886) и жизнеописанию, созданному Н. С. Лоджем (1882).

<sup>10</sup> *Tench Coxe (1755–1824), Commissioner of Revenue: A View of the United States... 1794* — книга написана в форме собрания очерков и обращений.

<sup>11</sup> Особенно *Modest Inquiry into the Nature and Necessity of Paper Currency. 1729; Observations concerning the Increase of Mankind... 1751; Positions to be Examined concerning National Wealth. 1769* (благодаря последней работе сложилось мнение, что этот великий реалист был физиократом). Но хотя эти работы, за возможным исключением *Reflections on the Augmentation of Wages*, являются единственными, которые попадают в категорию экономических исследований, другие произведения и обширный материал, который он в популярной форме изложил в популярных публикациях (таких как *Poor Richard's*

содержат материал, достаточный для реконструкции его системы с точки зрения практики и ориентированной на *laissez-faire*, хотя в них мало что можно отметить с точки зрения чисто аналитических достоинств.

## 6. Еще раз о государственных финансах

В первом параграфе этой главы мы подчеркивали, что в набиравших силу национальных государствах финансы приобрели не только первостепенную важность, но и новое значение. Не будет преувеличением сказать, что, по крайней мере в обсуждавшейся континентальной литературе, государственные финансы были центральной темой, вокруг которой вращались все остальные. Поэтому давайте вернемся назад и рассмотрим более подробно финансовые проблемы той эпохи.

Государственные финансы в нашем смысле этого термина, и особенно современное налогообложение, впервые появились в итальянских городах-республиках, в частности во Флоренции, и в немецких свободных городах (*Reichsstädte*). Однако для нас более важно развитие фискальных систем национальных государств, а также итальянских и германских княжеств. Для краткости и конкретности мы будем рассуждать прежде всего о последних или, точнее, о развитии государственных финансов в типичном германском *светском* княжестве. Конечно, люди всегда признавали существование некоторых интересов, которые были общими для всех членов политической единицы — признание существования *res publica* стимулировалось кроме прочих факторов учением схоластов. Тем не менее государственные дела, согласно правовым принципам той эпохи, были делами территориального правителя. В частности, войны были его личными спорами (вспомните до сих пор сохранившееся английское официальное понятие «враги короля»). Поэтому, коль скоро военная помощь, которую предоставляли ему вассалы, оказалась неэффективной, — этот ресурс истощился в XVI в., — он был вынужден финансировать военные нужды из своих личных средств. Последние состояли, во-первых, из феодального дохода

---

Almanack), помогают получить представление о его мнениях и аналитических достижениях (Works/Ed. by John Bigelow. 1887-1888). Конечно, было бы еще более абсурдным, чем в случае с Гамильтоном, подробно останавливаться на описании жизненного пути и достижений этой общеизвестной личности, особенно если вспомнить недавно опубликованное мастерское жизнеописание, автор которого Карл Ван Дорен.

от его собственных земель и, во-вторых, от нескольких установленных фискальных прав, которые принадлежали правителю княжества, таких как сеньораж, торговые и таможенные пошлины, право брать плату за охрану путешественников и торговых караванов, право облагать налогами еврейские общины в обмен на их защиту и право взимать многообразные сборы (*regalia*).

Рост цен, издержек содержания наемной, а позднее регулярной армии, большие расходы на содержание судебных чиновников и бюрократии, а также другие причины, связанные с политическими амбициями князей или с социальной структурой принадлежащих им территорий, сделали эти сложившиеся источники доходов недостаточными и привели к быстрому увеличению долгового бремени. В сложившейся ситуации князья обращались к сословиям на том основании, что, например, турецкое завоевание было не только частным делом князя. Сословия давали им субсидии, которые помимо поступлений от городов содержали отчисления от их (сословий) собственного *феодалного* дохода, т. е. от сборов с их крестьян, — при этом земля, которой владели сами повелители, оставалась свободной от сборов. Поначалу сословия всякий раз настаивали, что делают дар по своей доброй воле в ответ на скромную просьбу правителя и только для защиты от конкретной опасности; но в действительности они несли это бремя. Вскоре была признана необходимость регулярного сбора таких прямых налогов. Однако, соглашаясь с этим, сословия, с одной стороны, учреждали собственные органы, отвечающие за сбор налогов и расходование собранных средств, и, с другой стороны, переставали нести это бремя сами, переложив его на плечи зависимых от них крестьян. Такая организация не только являлась неадекватной, но и была не по вкусу князьям и их бюрократии. Перетягивание каната между ними и сословиями требовало контроля над новым фискальным аппаратом, который появился рядом с их собственным. Как известно читателю, английский парламент преуспел в контроле этого аппарата, что привело в XVII в. к резкому ослаблению королевской власти. Однако в большинстве других стран короли и князья, а точнее, их бюрократии, в течение XVIII столетия одержали победу, хотя французский *ancien régime* потерпел крах в попытке провести фискальную реформу.

Между тем, пока бюрократии еще не овладели фискальным оплотом сословий, растущий Левиафан должен был «питаться» из старых источников. Поэтому расширение этих источников, особенно всех фискальных прав, стало главной задачей правительств и их чиновников. В конечном счете это означало непро-

порциональный рост косвенного налогообложения, особенно в форме «общего акциза», с одной стороны, и «общего налога с оборота» — выдающимся примером является испанский *alcavala* — с другой. Это происходило потому, что, хотя введение или увеличение косвенных налогов в принципе зависело от согласия сословий, почти везде, за исключением Англии, это требование оказалось легче обойти в случае косвенного, чем в случае прямого налогообложения. Князья и их бюрократии имели и другой стимул предпочесть косвенное налогообложение. Мы привыкли рассматривать его как противоречащее интересам относительно бедных слоев населения. Но в XVII и XVIII столетиях «общественное мнение» выступало за косвенное налогообложение: ведь косвенные налоги, по крайней мере, должны были платить также дворяне и духовенство, которые практически не платили прямых налогов. Однако, поскольку вводить или реформировать косвенные налоги также было нелегко — кстати, это показывает, насколько далеки были эти монархии от «абсолютных» — доходы из этого источника увеличивались скорее в зависимости от возможностей, чем по какому-либо рациональному плану. К тому же, коль скоро правители редко были в состоянии отказаться от поступлений за счет старых фискальных прав, какими бы иррациональными, обременительными и неудобными они ни были, результатом стала невероятная путаница, устранение которой само по себе оказалось чрезвычайно трудной задачей. Ее решение требовало особого мастерства как от администраторов, так и от авторов трактатов. Литература, появившаяся в этих условиях, содержит некоторый анализ таких проблем как распределение налогового бремени (данная проблема будет кратко рассмотрена позднее), а также анализ того типа, который лучше всего рассмотреть прямо сейчас, вместе с преобладающей частью этой литературы, которая не имеет отношения к истории экономического анализа и должна быть упомянута только для того, чтобы быть исключенной из рассмотрения.

Во-первых, упоминавшееся «перетягивание каната» между правителями и сословиями привело к появлению бесчисленного количества книг и памфлетов о налоговом праве, «справедливости» налогообложения и соответствующих конституционных вопросах. Мы уже отмечали важность предшествовавших схоластических сочинений на эту тему. Светская литература данного типа обнаруживает характерное различие тенденций в английской и континентальной науке: большинство континентальных авторов были на стороне бюрократий и часто усматривали темное и антисоциальное сопротивление классовых интересов там, где подавляющее большинство английских авторов — особенно в

борьбе за «корабельный» налог (ship money) Карла I — видели похвальное стремление к свободе. Однако все это было либо просто политикой, либо «политической философией» и не представляет для нас интереса. Во-вторых, простое описание источников дохода государства и административной практики имело место и в более ранние эпохи. В качестве примера можно сослаться на английский документ XII в.<sup>1</sup> Эта литература бурно развивалась с XVI в., особенно на континенте, но она не заслуживает нашего дальнейшего внимания.<sup>2</sup> В-третьих, необходимость извлечения наибольшей выгоды из существующих фискальных прав привела к появлению на государственной службе юристов особого типа, задачей которых была защита, расширение и систематизация этих прав путем соответствующей интерпретации. Конечно, они также преподавали и писали. В результате появилась фискальная юриспруденция.<sup>3</sup> Четвертую категорию образовали те, кто занимался фискальным планированием, — многочисленные авторы, выдвигавшие схемы фискальной реформы: каждый финансовый кризис или спор начиная с XV в. естественным образом приводил к появлению целых групп подобного рода. На основе их идей можно написать не только историю государственных финансов, но и политическую историю общества, так как все, что происходит в политической сфере, более четко отражается в преобладающих идеях о фискальной политике, чем в чем-либо ином. Однако большинство авторов, занимавшихся фискальным плани-

<sup>1</sup> *Fitzneale Richard.* (Ричард Фитцнил). *Dialogus de scaccario.* <«Диалог казначея»>/Ed. by Hughes, Crump and Johnson. 1902.

<sup>2</sup> В качестве примера мы можем упомянуть анонимное произведение *Traicté des finances de France* (1580); см. также книгу Н. Фруманта: *Froumентау N. Le Secret des finances de France.* 1581 (это сочинение более интересно описанием финансов светских и духовных магнатов, чем финансов короля); трактат Жана Комба: *Combes Jean.* *Traicté des tailles et autres charges...* 1586; труд Ж. Аннекена: *Hennequin Jean.* *Le Guidon général des finances.* 1585 (многokrato периздавалось, даже в 1644 г.); трактат И. Маттиаса: *Matthias J.* *Tractatio methodica... de contributionibus.* 1632; работу Г. Конринга: *Conring H.* *De vectigalibus et aerario.* 1663 (с ним мы еще встретимся). Последние два произведения не являются чисто описательными, хотя описание — их наиболее интересная часть.

<sup>3</sup> Эту область литературы по государственным финансам, которая в XIX в. расширилась до размеров, доступных только специалисту, едва ли стоит столь быстро «проскакивать». Но у нас нет другого выбора. По моему — возможно, ошибочному — мнению, классическим произведением этого рода является книга Каспера Ключа: *Klock Caspar.* *Tractatus juridico-politico-polemi-historicus de aerario.* 1651. Ее причудливый заголовок хорош тем, что он точно выражает содержание книги. Нельзя не упомянуть и более раннее сочинение К. Безольда: *Besold C.* *De aerario publico discursus.* 1615 (см. выше, § 4). Оно содержит, как и произведение Ключа, довольно много здравых рассуждений о налоговой политике, которые столь же банальны, сколь и, увы и ах, большинство здравых рассуждений.

рованием, не проводили аналитических исследований. Особенно это применимо к некоторым наиболее выдающимся из них, таким как кардинал Николай Кузанский. Он предложил схему, способную спасти Германскую империю от упадка, которой она переживала в XV и XVI вв. Некоторые, однако, уделяли внимание анализу. Они анализировали природу налогообложения (мы уже упоминали ранний пример — теорию Маттео Пальмери); его экономические следствия; величину налогового пресса при различных системах налогообложения; влияние государственных расходов; относительные достоинства прямого и косвенного налогообложения, финансирования войн за счет налогообложения, займов и инфляции; и т. д. Особенно интересно проследить испанскую дискуссию XVII и XVIII вв.,<sup>4</sup> не менее интересно — английскую дискуссию о военном финансировании в XVII и XVIII вв. или об акцизной схеме сэра Роберта Уолпола. Но из всей массы этой литературы мы выберем только две работы, имеющие первостепенное значение. Трактат Петти о налогах и сборах (обсуждае-

<sup>4</sup> Она главным образом вращалась вокруг мер, которые предполагалось принять в ответ на жалобы по поводу налогов *alcavala*, *cientios* и *millones*. Батиста Давила (*Dávila Bautista. Resumen de los medios prácticos para el general aliviode la monarquía*; дата написания неизвестна, опубли. в 1651; см.: *Kolmeiro. Biblioteca*), как представляется, был одним из первых экономистов — мое введение не позволяло быть более точным, — кто рассматривал единый налог как волшебную палочку, посредством которой можно вызвать духов фискального благополучия. В любом случае, его *Resumen* является вехой на пути к идеям о едином налоге. По его мнению, это должен был быть градуированный подушный налог, который, очевидно, примерно соответствовал пропорциональному подоходному налогу. Сходные идеи обсуждались в последующие сто лет. Министр Эсенанада (см. А. Родригес Вилла: *Rodriguez Villa A. Don Cenon de Somodevilla, Marqués de Ensenada. 1878*) создал модифицированную версию этой программы и в 1729 г. ввел подоходный налог и налог с собственности в Каталонии. Но в других странах, особенно в Германии, дискуссия XVII в. отдавала общему акцизу предпочтение перед прямыми налогами именно на том основании, что он облегчит налоговое бремя. Интересным симптомом этой тенденции был успех книги автора, который называл себя *Christianus Teuto-philus: Entdeckte Gold-Grube in der Accise* <Золотая жила, таящаяся в акцизе>. 1685; (5-е изд. — 1719). Среди английских защитников акциза самым выдающимся был Дэвенант. Но он полагал, что налоговое бремя ляжет на землю. По сходной причине Ф. Фокье (*Fauquier F. An Essay on the Ways and Means...* 1756) позднее выступал в защиту налога на жилища; он полагал, что, поскольку косвенные налоги, уплачиваемые бедными, будут передаваться богатым вследствие роста номинальной (денежной) заработной платы, налоги должны взиматься так, чтобы не приводить к потерям в процессе перераспределения. Заметим, что это предвосхищает многое из сказанного по данному предмету А. Смитом и Рикардо. При оценке отношения к налогообложению земли нельзя забывать, что до XVIII в. не существовало эффективных методов землемерной съемки. С их появлением налогообложение сельскохозяйственных земель вступило в новую фазу своей истории. Одним из первых результатов в начале XVIII в. стал *Censimento Milanese*.

мый в следующей главе) к ним не относится, поскольку он представляет интерес (хотя и весьма большой) главным образом в области общей экономической теории, а не в области фискальной политики.

Первая работа относится к тем, которые были продиктованы экономической ситуацией во Франции во время последних двадцати лет правления Людовика XIV. Война за испанское наследство, последовавшая за войной Великого альянса, сделала нищету национальным бедствием, когда военный инженер Вобан, одна из величайших фигур в государстве и армии, осмелился опубликовать свою старую идею — *Projet d'une dixme royale* (1707).<sup>5</sup> Это одно из выдающихся произведений в области государственных финансов, по четкости и последовательности рас-

<sup>5</sup> Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban (1633–1707), маршал Франции и фаворит Людовика XIV (до этой публикации). Написанное им ранее огромное количество записок о крепостях, войне, военном деле, государственных финансах, религии, деньгах, сельском хозяйстве и колонизации, составляет впечатляющую серию рукописных томов. В 1698 г. он инициировал проведение переписи населения, а в 1695 г. впервые выдвинул проект, опубликованный лишь в 1707 г. Подобно Этьену Буало за четыре с половиной столетия до этого, он со страстью занимался сбором и систематизацией экономических фактов и цифр. Соответственно, у него имелись свои сторонники, которые присвоили ему титул *Créateur de la Statistique* <создатель статистики> — здесь я ссылаюсь на Э. Дэра (E. Daire), который издал *Dixme royale* в книге *Economistes-financiers du XVIII siècle* (мною использовано издание 1843 г.). *Dixme* был переведен на английский. Имеется библиография работ Вобана, которую составил F. Gazin (1933). См. также работу Д. Галеви: *Halévy D. Vauban. 1923*; работу Ж. Б. М. Виня: *Vignes J. B. M. Histoire des doctrines sur l'impôt en France. 1909*; работу Ф. К. Манна: *Mann F. K. Der Marschall Vauban... 1914*.

В своих усилиях по проведению фискальной реформы Вобан имел двух союзников, отношение которых к нему, однако, не ясно. Один из них — Буагильбер, который был в большей степени экономистом, чем Вобан. Его произведения будут рассмотрены в главах 4 и 6 данной части. Здесь мы лишь отметим, во-первых, что предложение Буагильбера, хотя и отличное от плана Вобана, тем не менее было задумано в том же духе и выражало такое же видение экономической и фискальной политики; во-вторых, искренность (или, скорее, горечь) Буагильбера — о ней свидетельствует подзаголовок его первой книги: *Le Detail de la France. La France ruinée sous le regne de Louis XIV* <«Франция, разоренная под властью Людовика XIV»> — и его неспособность оценить практические проблемы — об этом говорит другой подзаголовок: *Moyens tres-faciles [!] de faire recevoir au Roy 80 millions par-dessus la capitation, practicable par deux heures de travail des Messieurs les Ministres [!]* <«Очень простое [!] средство получить для короля 80 миллионов подушной подати, стоящее двух часов труда господ министров [!]> — естественно, раздражали бедолаг, которые служили в то время министрами финансов (Поншартрен, Шамильяр, Демаре). Другому союзнику Вобана было проще найти с ними взаимопонимание. Речь идет об аббате де Сен-Пьере (de Saint-Pierre; 1658–1743) — известном моралисте и реформаторе, стороннике идеи Лиги Наций. Его значительные достижения как практического экономиста постепенно становятся известными (*Ouvrages, 1733–1741*). См. работу П. Арсена: *Harsin P. L'Abbe' de Saint Pierre, économiste//Revue d'histoire économique et sociale. 1932*.

суждений не превзойденное ни ранее, ни позднее. Сами рекомендации не имеют большого значения. В сущности, они сводились к тому, что громоздкое и иррациональное нагромождение налогов, которое росло совершенно несистематично, следует отбросить — за исключением рационализированного налога на соль, некоторых акцизов, экспортных и импортных пошлин — и заменить общим подоходным налогом, который необходимо применять ко всем видам дохода, хотя с разными ставками, причем самая высокая из них должна составлять 10 процентов (отсюда слово *diehtē* — десятин); подобные идеи встречались и ранее. На самом деле значение имеет следующее: во-первых, Вобан добрался до доступных лишь немногим высот, с которых фискальная политика представляется инструментом экономической терапии, конечным результатом всеобъемлющего исследования экономического процесса. С гладстоновской проникательностью он понимал, что меры фискальной политики влияют на экономический организм на клеточном уровне и что конкретный способ сбора данного количества налоговых поступлений может стать причиной как паралича, так и процветания. Во-вторых, он основал все свои выводы на статистических фактах. Его инженерный ум не довольствовался догадками. Он вычислял. Сознательное упорядочивание всех доступных данных было самой сутью его анализа. Никто никогда не имел лучшего представления об истинном соотношении фактов и аргументов. Именно это делает его экономическим классиком в самом хвалебном значении этого слова и предшественником современных тенденций, хотя он ничего не внес в теоретический аппарат экономической науки.<sup>6</sup> Вобан является еще одной иллюстрацией тезиса, согласно которому человек может быть прекрасным экономистом, не являясь хорошим теоретиком. К сожалению, обратное также случается.

Вторая работа, которую следует упомянуть, — трактат Броджа<sup>7</sup> о налогообложении, — совершенно иного характера и была вы-

<sup>6</sup> Его называли предшественником физиократов, хотя для этого нет ни малейшего основания. Как отмечалось ранее, интерес к сельскому хозяйству вовсе не делает автора физиократом.

<sup>7</sup> Книга Carlo Antonio Broggia (Карло Антонио Броджа, 1683–1763) *Trattato de' tributi, delle monete e del governo politico della sanità* «Трактат о налогах, деньгах и политике поддержания общественного здоровья». 1743 была задумана как всеобъемлющий труд, раскрывающий три отмеченные в заголовке темы. Издание в сборнике Кустоди разделило их, и нас интересует только первая тема, которой посвящена отдельная книга (хотя идеи Броджа о деньгах и общественном благосостоянии также имеют значительные достоинства). Мы почти ничего не знаем о нем как о человеке — видимо, он был бизнесменом (может быть, удалившимся от дел), обладавшим обширными зна-

брана нами по другим причинам. В ней дается схема «идеальной» системы налогообложения, которая могла бы быть выведена путем критического развития схемы Вобана: основные практические идеи, за исключением одной, примерно те же. Но для каждой из этих идей можно указать итальянские источники — как более ранние, так и современные автору, — в том числе и для идеи «канонов налогообложения» (глава 1), которая была развита в *Meditazioni* (1771) Верри и фактически предвосхитила идею А. Смита. Таким образом, свежесть — «субъективная» оригинальность, которая делает *Projet* Вобана столь интересным для чтения, здесь отсутствует. Кроме того, в данной работе нет ничего, что соответствовало бы основному достоинству работы Вобана — фактам и цифрам. Вместо этого мы находим у Броджа систематическую целостность и более тщательный анализ: результатом явился по меньшей мере дайджест всего лучшего в литературе по государственным финансам не только XVIII, но и в значительной степени и века XIX. Здесь и представление XV в. о налогах как о платежах за безопасность и услуги, оказываемые государством. Здесь и принцип, согласно которому прямое и косвенное налогообложение необходимо дополняют друг друга как две руки финансового организма (как мог бы сказать Гладстон; на самом деле он говорил о двух сестрах, которые столь похожи, что трудно решить, за которой из них ухаживать). Пропорциональный налог (10%) на *определенные* доходы (*entrates certe*, главным образом с земли, строений, включая жилища, принадлежащие собственнику и доходы из общественных фондов; ср. пристрастие А. Смита к налогам на землю и строения), не переносимый на других лиц и сочетающийся с системой косвенных налогов (*gabelle*), которые переносятся на покупателей, тогда как все *неопределенные* доходы (прибыль, заработная плата и т. д.) не должны облагаться налогом. Интересен стоящий за этим диагноз экономической ситуации: предлагавшаяся Броджа финансовая система была призвана стимулировать увеличе-

---

ниями. Как неаполитанца, его можно включить в неаполитанскую школу. Наиболее интересные части трактата о налогах перепечатаны в сборнике *Economisti Napoletani* под редакцией Тальякоццо, который представил краткое изложение и комментарий к работе, содержащий ссылки на непосредственных итальянских предшественников Броджа, особенно Пасколи и Бандини; в столь кратком обзоре, как наш, придется несправедливо пренебречь столь важными связями в эволюции фискальной доктрины и анализа и оставить картину неполной. Более полную, хотя и, возможно, не вполне удовлетворительную картину как достижений Броджа, так и эволюции, элементом которой они были, можно найти в: *Ricca-Salerno G. Storia delle dottrine finanziarie in Italia. 1881.*

ние благосостояния через промышленную и коммерческую деятельность; для этого приобретенное богатство должно было облагаться налогами так, чтобы людей привлекало занятие бизнесом, а богатство, созданное трудом и торговлей, оставлялось почти нетронутым. Поэтому Броджа рекомендовал, чтобы денежные ссуды коммерческим или финансовым структурам (деньги *impiegato a negozio*) не облагались налогом, и даже косвенные налоги должны были взиматься не с личных доходов, а с «реальных», или «объективных», поступлений (returns) — здесь для него были важны соображения административного удобства, как для Бодена и Ботеро, но основной целью было предотвратить сковывание деловой активности и притеснение бедных. В этой схеме есть три аспекта: во-первых, система целей и оценок, которые интересуют нас не больше, чем все его разговоры о «справедливости»; во-вторых, весьма глубокое видение социальных и экономических условий и тенденций; в-третьих, анализ, хотя и не вполне четко сформулированный, причин и следствий экономических явлений. Именно последний аспект представляет собой научное достоинство данного труда.<sup>8</sup>

## 7. Заметка об утопиях

Следует сказать несколько слов о «государственных романах» (*Staatsromane*)<sup>1</sup> XVI и XVII вв., которые получили свое общее название — утопии — по заглавию высочайшего достижения этого жанра, «Утопии» Томаса Мора. Данное значение термина «утопия» следует отличать от того значения, которое выражает марксистское словосочетание «утопический социализм». Ф. Энгельс (1892) назвал «утопическим» социализмом (в противоположность «научному») те социалистические идеи, которые а) не связаны с фактическим движением масс и б) не основаны на каком-либо доказательстве существования наблюдаемых экономических сил, ведущих к реализации этих идей. В этом смысле сочинение Морелли *Code de la Nature* («Кодекс природы») (1755)

<sup>8</sup> Профессор Луиджи Эйнаути приписывает «создание» чистой теории налогообложения физиократам (*Atti, Reale Accademia delle Scienze di Torino. 1931–1932*). Но при всем моем уважении к авторитету профессора Эйнаути я склонен полагать, что у Броджа и его последователей содержатся более ценные элементы такой теории, даже если мы, учитывая, что ни он, ни кто-либо другой из авторов XVIII в. не провел удовлетворительный анализ налогового бремени, отказываемся признать наличие у него теории как таковой.

<sup>1</sup> [Объяснение термина *Staatsromane* см. § 2 главы 1 данной части.]

определенно принадлежит утопическому социализму. Однако мы не называем его утопией не только во избежание ограничения этого понятия социалистическими утопиями, но и потому, что мы намерены использовать здесь данный термин (за исключением случаев, когда указано обратное) для обозначения определенного литературного жанра — художественных произведений того типа, который обозначается термином «государственный роман» и примером которого служит «Государство» Платона. В этом смысле проект социалистического или любого другого типа общества, даже несуществующего, такого, например, как описанное Морелли, не является утопией. Подобные произведения, довольно популярные (несомненно, благодаря греческому влиянию) в рассматриваемую эпоху,<sup>2</sup> интерпретировать трудно. Литературная форма может вмещать все — от поэтических грез, воплощенных в своеобразных поэмах в прозе, до самого реалистичного анализа. К счастью, всегда можно определить присутствие и особенно отсутствие последнего элемента, хотя и не всегда можно сказать, следует ли понимать то, что представлено как изложение фактов или императив, как «поэзию» или «правду». Следует упомянуть лишь четыре примера: работы Фрэнсиса Бэкона, Харрингтона, Кампанеллы и Мора. Первые три можно отбросить сразу, как не имеющие отношения к цели нашего исследования: *New Atlantis* («Новая Атлантида») (1627) Бэкона, — фрагмент, странное отклонение от кредо «индуктивной науки», исповедуемого его автором, и *Oceana* (1656) Харрингтона не представляют вообще никакого интереса; произведению *Civitas solis* («Город солнца») (1623) Кампанеллы платоновские лучи, играющие вокруг общих рассуждений, дарят заимствованное сияние.<sup>3</sup> «Утопия» Мора — произведение совершенно иного рода.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Однако читателю должно быть известно, что подобная литература существовала и в последующие эпохи. Об этом свидетельствует большой успех работы Беллами *Looking Backward, 2000-1887* (1888). Но у нас нет возможности упоминать какую-либо из этих более современных утопий в данной книге.

<sup>3</sup> Томмазо Кампанелла (1568-1639). В своем предисловии к «Государству» Платона Джоуэтт дает отрывок из «Города солнца». Имеется также перевод книги на английский язык (см.: *Morley H. Universal Library*). Во всех трудах о «государственных романах» и большинстве историй социалистических и коммунистических идей так или иначе упоминают произведение Кампанеллы.

<sup>4</sup> Сэр Томас Мор (1478-1535), английский лорд-канцлер, казненный Генрихом VIII и канонизированный 400 лет спустя, получил всеобъемлющее классическое образование, обладал проницательным умом и большим опытом, причем ни одно из этих свойств не убило в нем здоровое чувство юмора; и все эти четыре качества проявились в его «Утопии», опубликованной на латыни в 1516 г. и переведенной в 1551 г. на английский, а позднее на немецкий, итальянский и французский языки. Внутренняя литература о Море, насколько позволяет мне судить ее поверхностное изучение, по большей части

Эта роскошная книга полна зрелой мудрости и, вполне естественно, стала объектом множества различных интерпретаций, которые, поскольку нас интересует лишь один из многих рассмотренных в этом произведении аспектов, притом весьма второстепенный, мы не станем обсуждать. Не стоит нам углубляться и в социальную критику Мора или в общие черты его коммунистической схемы жизни, обеспечивающей решение большинства экономических проблем постулатом о простых и неизменных вкусах населения, численность которого сохраняется постоянной или почти постоянной путем регулируемой или, скорее, принудительной эмиграции, — это один из многих примеров сходства с «Государством» Платона. Однако есть два момента, имеющие отношение к анализу. Во-первых, общий план производства и распределения товаров: при заданных вкусах количества продуктов, производимые в соответствии с государственными предписаниями всеми взрослыми членами общества, за исключением привилегированного класса «образованных» людей (не вполне аналогичных «хранителям» Платона, так как в данном обществе есть выборный король), распределяются так, чтобы с помощью системы общественного хранения продуктов сделать все районы «равными» по статистике текущего производства. Это неплохой метод выявления существенных принципов функционирования любого экономического организма, к каким бы иным выводам он ни приводил. В частности, из этой концепции может быть выведена вполне работоспособная теория денег, и Мор указывает на эту теорию, выражая шутливое возмущение фетишизмом серебра и золота, которые, за исключением оплаты избыточного импорта, используются в его утопии только для целей, отражающих презрение к ним Мора. Вполне возможно, что одной из основных задач этой конструкции была критика популярной экономической науки той эпохи. Во-вторых, его критика экономических условий, являясь наиболее веской в вопросах прав и наказаний, изобиловала тем не менее диагнозами и формулировками, некоторые из которых можно расценивать как важный вклад в анализ. Объяснение безработицы огораживаниями, хотя и является лишь половиной правды, тогда, в 1516 г., еще не было таким общим местом, каким оно стало впоследствии. Кроме того, он ввел слово «олигополия» и соответствующее понятие в том же значении, в каком мы используем его сейчас.

---

не имеет отношения к цели нашего исследования. Philosophy and Political Economy Бонара расскажет заинтересованному читателю обо всем, что имело какое-либо отношение к экономике. Можно также сослаться на: *Dermenghem E. Thomas Morus et les utopistes de la renaissance. 1927.*

## Глава 4

# ЭКОНОМЕТРИСТЫ И ТЮРГО<sup>1</sup>

1. Политическая арифметика
2. Буагильбер и Кантильон
3. Физиократы
  - [а] Кенэ и его ученики]
  - [b] Естественное право, сельское хозяйство, laissez-faire и единый налог]
  - [с] Экономический анализ Кенэ]
  - [d] Экономическая таблица]
4. Тюрго

Авторы и группы, о которых пойдет здесь речь, также были консультантами-администраторами, хотя и не академического типа, а некоторых из них, кроме того, можно причислить к философам естественного права. Тем не менее мы посвятим им отдельную главу, причем не только с целью разгрузить предыдущую, и без того избыточную именами. За исключением великого Тюрго, о котором речь пойдет в конце главы, всех их объединяет нечто общее — дух количественного анализа — вот почему желательно выстроить их в единую систему. Все они были эконометристами. На примере их работ становится совершенно ясно, что такое эконометрия и какую задачу ставят перед собой эконометристы.<sup>2</sup>

### 1. Политическая арифметика

Нам уже не раз предоставлялась возможность заметить, что для экономистов всех типов, особенно для консультантов-администраторов, задачей первостепенной важности, на выполнение ко-

<sup>1</sup> [Й. А. Шумпетер первоначально назвал эту главу «Эконометристы»; в машинописном экземпляре он добавил карандашом «и Тюрго?».]

<sup>2</sup> Слово «эконометрия», я полагаю, ввел в оборот профессор Фриш по аналогии с биометрией — статистической биологией. В данном случае полностью оправданно создание нового термина, обозначающего целую программу исследований (об основании и задачах Эконометрического общества см.: *Econometrica*. 1933. № 1, Jan.). Ввиду этого мы можем принять этот термин, хотя он вызывает возражение с точки зрения филологии: следовало бы сказать «экометрия» или «экономометрия».

торой затрачивалась большая часть сил, являлось исследование фактов и оно продвигалось быстрее, чем развивалась имевшаяся в то время «теория». Так было с самого начала; достаточно вспомнить Ботеро и Ортиса. Однако в XVII и XVIII вв. развился (особенно в германских университетах) тип учения, специализирующийся на чистом описании фактов, относящихся к государственному управлению. Принято считать, что первым, кто начал читать лекции такого типа, был немецкий профессор Герман Конринг (1606–1681). Другой профессор, Готфрид Ахенваль (1719–1772), читавший аналогичные лекции, ввел термин «статистика». Эти «статистики» представляли собой главным образом не числа, а скорее нечисловые факты и, следовательно, «статистика» этих профессоров не имела ничего общего с тем, что мы теперь называем статистическим методом. Однако полученная ими информация во многом служила тем же целям, что и наши числа, обработанные с помощью более совершенных методов. В определении статистики, принятом в 1838 г. Королевским статистическим обществом (если употреблять его современное название), все еще говорилось об «иллюстрации условий и перспектив развития общества», и, таким образом, оно вполне распространялось на работу Конринга и Ахенваля.<sup>1</sup> Но, увы, к несчастью для академического сообщества, не университеты явились инициаторами развития этого по-настоящему интересного направления.

Решающий импульс был дан маленькой группой англичан, руководимой и вдохновляемой сэром Уильямом Петти.<sup>2</sup> Суть того,

<sup>1</sup> Поскольку слово «статистика» означало как различные массивы фактов, так и различные типы методов, нет ничего удивительного в существовании огромного количества определений, предлагаемых разными специалистами, которые придерживались неодинаковых точек зрения. Немецкий статистик Энгель, с которым мы встретимся ниже по более важному поводу, однажды насчитал до 180 таких определений. См.: *Loyo G.* (Г. Лойо). *Evolución de la definición de estadística.* 1939. Publicación 44 de Instituto Panamericano de Geografía e Historia.

<sup>2</sup> Петти (1623–1687) был, как говорили, человеком, всем обязанным самому себе: целителем, хирургом, математиком, инженером-теоретиком, членом парламента, государственным служащим и дельцом; он был одним из тех полных жизни людей, которые добиваются успеха почти во всем, за что берутся, и даже неудачу превращают в успех. Хотя такая многосторонность имеет и свои негативные последствия, имя Петти стало одним из великих в истории экономической науки. Что касается его посмертной славы, то она объясняется не только его заслугами, но и удачей. Маркс решил считать Петти основателем экономической науки, в результате чего к буржуазным похвалам, инициатором которых в 1857 г. выступил Рошер, добавились одобрительные оценки со стороны социалистов. Таким образом, экономисты, не соглашавшиеся друг с другом ни по одному другому вопросу (причем среди них было много таких, кто совершенно не понимал вклада Петти), с тех пор стали сообща восхвалять его, а немцы превозносили его даже больше, чем англичане. Рекомендую про-

что он называл «политической арифметикой», и его личного вклада в нее была с непревзойденной точностью сформулирована одним из его талантливейших последователей Дэвенантом<sup>3</sup>: «Под по-

честь его жизнеописание (1895) лорда Э. Фитцмориса. Из трудов Петти наибольшую важность для нас представляют: «Трактат о налогах и сборах» (*A Treatise of Taxes and Contributions*; 1662); *Verbum Sapienti* (1665; опубл. в 1691 г.); *Political Anatomy of Ireland* (1672); *Political Arithmetick* (1676; опубл. в 1690); *Quantulumcunque concerning Money* (1682); *Essays on Political Arithmetick* (1671–1687); все эти труды переизданы в книге *The Economic Writings of Sir William Petty* (ed. by C. H. Hull; 1899). Там же помещена знаменитая работа *Natural and Political Observations... upon the Bills of Mortality*, впервые опубликованная Джоном Граунтом в 1662 г. Ее можно рассматривать как первоисточник современной демографии, хотя Граунт едва ли может считаться в связи с этим «основателем» статистики. Вопрос о степени участия Петти в данной работе стал предметом длительной и безрезультатной полемики. В дополнение к книге лорда Э. Фитцмориса маркиз Лэнсдаун издал «Документы Петти» (*Petty Papers*; 1927) и «Переписку Петти с Саутвеллом» (*Petty-Southwell Correspondence*, 1676–1687; 1928)

<sup>3</sup> *Davenant C. Of the Use of Political Arithmetick: Works. I. P. 128.* Имя Чарльза Дэвенанта (1656–1714) медленно и постепенно перемещается в первый ряд выдающихся экономистов; надо сказать, что это место принадлежит ему по праву. Он был государственным служащим и политиком, трижды избирался членом парламента, причем принадлежал скорее к ярким врагам вигов, чем к ревностным сторонникам тори: возможно, именно это обстоятельство, повлиявшее на некоторые его работы, помешало его современному признанию. Были и другие причины.

«За что ратовал этот человек?», — вопрошали историки, не зная, к какому течению его отнести. С одной стороны, сторонники либерализма выражали восторг по поводу заявлений Дэвенанта о том, что торговля свободна по своей природе, что она находит свои собственные каналы, что законы, ограничивающие или регулирующие ее, редко бывают выгодными обществу (хотя могут служить интересам отдельных лиц), а деньги — это просто счетные единицы. С другой стороны, в его работах они с огорчением находили множество высказываний о регулирующей политике, заставлявших относить его к категории сторонников (несуществующей) «меркантилистской теории». Некоторые объясняли его противоречивую, по их мнению, позицию с помощью гипотезы, согласно которой в своих ранних работах, где встречаются «либеральные» высказывания, Дэвенант был откровенен, а позднее, особенно когда занимал государственную должность, он превратился в оппортуниста. Как мы увидим позже (см. главу 7), существует другое объяснение: он был хорошим экономистом. Его труды (хотя и не полностью) издал сэр Чарльз Уитворт (1771). Позднее были найдены другие работы; последние из них опубликованы под заглавием «Две рукописи Чарльза Дэвенанта» («*A Reprint of Economic Tracts*» под редакцией профессора Дж. Хебертона Иванса, Мл., с предисловием профессора Ашера, содержащим ценную информацию; 1942; см. также работу И. Бальера «Труды по экономике Чарльза Дэвенанта» (*Ballière Y. L'Oeuvre économique de Charles Davenant*, 1913)). Его впечатляющий вклад в экономический анализ можно сформулировать следующим образом: 1) во всех его работах явственно ощущается понимание логических связей, с помощью которых экономические явления связываются воедино; хотя приоритет здесь принадлежит Чайлду, Барбону и другим, это не обесценивает его заслуги; 2) несмотря на то что

литической арифметикой мы понимаем искусство рассуждать с помощью цифр о вещах, относящихся к государственному управлению... Само по себе это, несомненно, очень древнее искусство... [но Петти] первым дал ему название и создал для него правила и методы».

Мы увидим, что «методы», которые он, конечно, тоже не изобрел, но помог осмыслить, не заключаются в замене рассуждений сбором фактов. Петти не был жертвой лозунга: «Пусть факты говорят сами за себя». Он прежде всего и в полной мере являлся теоретиком. Однако он относился к числу теоретиков, для которых наука — это измерение. Такие ученые создают аналитические инструменты, обрабатывают с их помощью числовые факты, а все другие презирают от всей души; обобщения этих ученых представляют собой нерасторжимую совокупность цифровых данных и рассуждений. Связь данного метода с соответствующими методами в естественных науках, и с ньютоновскими принципами в частности, весьма очевидна, поэтому необходимо подчеркнуть тот факт, что Петти не обнаружил ни малейшей склонности заимствовать эти методы из естественных наук и даже не стремился подкрепить свою точку зрения с помощью сомнительных аналогий с ними. Он просто предложил, «вместо того чтобы пользоваться эпитетами в сравнительной и превосходной степени и умозрительными аргументами... выражать свои мысли на языке цифр, весов и мер». Не менее очевидно и то, что он сознавал полемичность своего методологического кредо и был готов бороться за него (это был бы первый «спор о методах»). Однако никто не выступил против него. Последователей было мало, восхищались многие, но огромное большинство очень быстро предало забвению этот метод. Экономисты не забыли имя Петти и даже помнили отдельные его взгляды, касающиеся практических проблем, а также его теории — те, которые укладывались в простые лозунги. Однако перспективная программа, способная вдохновить экономистов на новое направление исследований, увяла в руках шотландского профессора и на 250 лет была практически утрачена для большинства экономистов. А. Смит, что было для него весьма характерно, занял безопасную позицию, заявив, что он не слишком верит в

---

он ограничивался анализом конкретных ситуаций, ему удалось существенно усовершенствовать достижения своей эпохи в области теорий денег, международной торговли и финансов; 3) он был одним из первых авторитетов своего времени в области государственных финансов (налоги, государственный долг и т. д.); 4) он был одним из немногих, кто понял суть «политической арифметики» и работал в этой области. Отдельные вопросы будут рассмотрены в последующих главах.

политическую арифметику (см.: «Богатство народов», кн. IV, глава 5).

Однако импульс, который получила статистика естественного движения населения (а также косвенно и статистика в целом), не был утрачен. В этой области главная или даже единственная заслуга в наши дни обычно приписывается Граунту (см. сноску 2 выше).

В следующей главе мы коснемся полемики того периода, о росте (или убыли!) населения (до переписи 1801 г., по крайней мере в Англии, о динамике численности населения можно было только гадать). Это была, однако, только одна из проблем, которой научные достижения Граунта или Петти придали более определенные очертания с помощью «таблиц смертности», составленных на базе приходских регистров. Расчеты вероятной продолжительности жизни, используемые в области страхования, изучение влияния прививок на здоровье и долголетие, соотношение полов при рождении и средняя продолжительность брака в зависимости от возраста мужа и жены — вот только несколько взятых наугад аспектов из большой области исследований, которые в течение последующих ста лет развивались по направлениям, очерченным Граунтом. Присвоенный ему «титул» «Колумб таблиц смертности» также неадекватно характеризует его роль и значение в науке. Пожалуй, заслуга Граунта в большей мере заключается в понимании методологической природы тех массовых явлений, которые можно назвать «законами», хотя отдельные их элементы случайны. Пожалуй, здесь достаточно указать основные вехи на пути дальнейшего прогресса. Первым, кто провел строгое исследование проблемы дожития до определенного возраста, был Э. Халли (*Hally E. An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind. 1693*). Можно сказать, что Й. П. Зюсмилх, автор работы «Божественный порядок в изменениях человеческого рода» (*Süssmilch J. P. Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts... 1740*), окончательно поставил на ноги статистику естественного движения населения, развил и систематизировал вклад своих английских предшественников. Теория вероятности, основа статистического метода, была разработана Яковом Бернулли (1654–1705; *Bernoulli Jacques. Ars coniectandi. 1713*) и развита его племянниками Николаем (1687–1759) и Даниилом Бернулли (1700–1782), которые, кроме того, разработали возможности более широкого ее применения. Между современной экономической наукой и материалами, а также методами статистики существует тесный союз, и поэтому жаль, что мы не можем проследить дальнейшее развитие этого направления. Однако большую часть необходимых в данном случае сведений читатель может почерпнуть из прекрасной работы Х. Л. Вестергарда (*Westergaard H. L. Contributions to the History of Statistics. 1932*).

Более важным для самой экономической науки было другое достижение, иллюстрирующее странную тупость экономистов, на которую мы только что сетовали: закон спроса на пшеницу<sup>4</sup> Грегори Кинга (1648–1712). Закон касается отклонений урожая от некоторого нормального уровня и гласит, что, в случае если урожай будет ниже нормального уровня на 1, 2, 3, 4 или 5 десятых, цена поднимется выше того, что мы бы назвали трендовым значением (которое по предположению Кинга будет постоянным в течение нескольких лет подряд), на 3, 8, 16, 28 или 45 десятых. Отсюда можно легко вывести уравнение, ясно выражающее подразумеваемый закон спроса.<sup>5</sup> Примечательно, что Кинг, хотя и не попытался уточнить и детализировать свой анализ, очевидно, отлично понимал проблему; особенно интересно отметить, что в своей работе он изучал отклонения от нормального уровня. Еще более примечательным является тот факт, что, несмотря на известность, которую получил закон Кинга, экономисты не задумались ни над тем, чтобы усовершенствовать его, хотя для этого требовалось всего лишь пойти дальше по безошибочно начертанному пути, ни над тем, чтобы применить тот же метод к другим товарам. Так продолжалось до 1914 г., когда Г. Мур опубликовал целую лавину статистических кривых спроса нашего времени (см. часть IV, гл. 5 и 7). Таким образом, лаг в данной области составил более 200 лет. Однако не следует забывать об эконометрическом анализе, проделанном в других странах, например в Италии — такими учеными, как Верри или Карли.

Вернемся к Петти. Все или почти все темы его работ были подсказаны насущными проблемами его времени и его страны, такими как налогообложение, деньги, политика в области меж-

<sup>4</sup> Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England in 1606 (sec. VII). Этот труд, один из первых в количественной экономической теории и один из лучших образцов политической арифметики, не был опубликован автором. Дэвенант включил некоторые его части в свое эссе *Essay upon the Probable Methods of Making a People Gainers in the Ballance of Trade* (1699), но целиком работа вместе с биографией автора была опубликована только в 1804 г. Джорджем Чалмерсом. Первые пять разделов касаются численности населения, возрастного состава, семейного положения, смертности в городах и сельской местности и прочих подобных переменных. Разделы VIII–XIII посвящены вопросам государственных финансов. С нашей точки зрения, наиболее важными являются разделы VI и VII. Кроме знаменитой функции спроса они содержат другие достойные внимания моменты, например произведенные автором расчеты доходов и расходов нации в 1688 г., потребления мяса и количества золота и серебра в Англии и других странах.

<sup>5</sup> Оно было рассчитано Дж. А. Юлом (см.: *Yule J. U. Crop Production and Prices: A Note on Gregory King's Law*//Journal of the Royal Statistical Society. 1915. P. 296 f.):  $y = -2,33x + 0,05x^2 - 0,00167x^3$ .

дународной торговли, в особенности достижение преимущества перед голландцами и т. д. Его высокий интеллект проявляется во всех комментариях и предложениях, но в них нет ничего поразительного, оригинального или выдающегося: они выражали общераспространенные или быстро распространявшиеся среди лучших английских экономистов взгляды. Нет ничего выдающегося и в том факте, что Петти в своих рассуждениях исходил из более или менее ясно осознаваемого набора принципов или теоретической схемы; подобные схемы были созданы рядом его современников, и схема Петти не отличалась от них большей четкостью. Однако было нечто, характерное только для него, позволившее в полной мере проявиться его интеллектуальной энергии и теоретическому таланту: как уже было отмечено, он создавал концепции на базе статистических исследований и в связи с ними, и на этом пути он в некоторых вопросах продвинулся дальше других. Наиболее ярким тому примером по праву является его концепция скорости обращения денег — мы обратимся к ней в главе 6. Другим примером является работа, посвященная национальному доходу: он не потрудился дать собственное определение национального дохода, но признавал аналитическое значение этой переменной и попытался ее вычислить. Исходя из этого, можно сказать, что современный анализ национального дохода берет начало с работ Петти, хотя в целом лучше проследить его развитие, начиная с работ Кенэ (см. ниже, § 3). Третий пример: каждый знает набившую оскомину фразу: «Труд — отец... богатства, а земля — его мать». Это значит, что Петти воздал должное обоим «первичным факторам производства», которыми занимались теоретики более позднего времени. В другом месте он, вопреки логике опустив фактор Матери-земли, заявил, что капитал («богатство, накопления или запасы нации») является продуктом прошлого труда, и это утверждение приводит на память ошибочное толкование Рикардо<sup>6</sup> Джеймсом Миллем. Однако никогда не лишне повторить: сами по себе, без развития и уточнений, подобные тезисы представляют небольшую ценность. Кое-чего стоит его исследование «естественного паритета» между землей и трудом — попытка, предшествующая значительно более глубокому исследованию Кантильона, соотнести ценности земли и труда, приравняв участок земли, который производит «пищу на один день для взрослого мужчины» (с некоторыми поправками), к дневному труду такого мужчины. Если бы технологические и все другие условия производства и потребления оставались строго неизменными, то с

<sup>6</sup> См. ниже, часть III, глава 6.

помощью этого метода мы могли бы получить экономический философский камень — единицу измерения, позволяющую свести имеющиеся количества обоих «первичных факторов» (земли и труда) к однородному количеству «производительной силы», выражаемому одним показателем, единица которого могла бы служить земельно-трудовым стандартом ценности. Но в действительности эта интересная попытка, равно как и все аналогичные ей, оказалась тупиковой.

Разумеется, это нельзя считать объяснением феномена ценности, и тем более — трудовой теорией ценности. При желании это можно назвать земельной теорией ценности. Однако мы находим здесь все основные положения, касающиеся разделения труда, о которых позднее говорил Адам Смит, включая зависимость разделения труда от размеров рынков. Ценообразование рассмотрено схематично. Вопреки мнению марксистов, здесь отсутствует теория заработной платы (если только мы не удостоим этого названия предположение, что работники никогда «не должны» получать зарплату, превышающую прожиточный минимум, поскольку, получив вдвое больше, они будут работать вдвое меньше!). Нет в трудах Петти и теории прибавочной ценности, связанной с эксплуатацией, или теории ренты (разве что мы решим возвести в этот ранг тривиальные предположения, согласно которым прибавочной ценности не будет, если работники потребуют весь созданный ими продукт, а земельная рента — это то, что остается после покрытия издержек производства, и она возрастает, по мере того как с ростом спроса зерно приходится перевозить на большие расстояния).<sup>7</sup> Однако по крайней мере в одном, хотя и недостаточно четко сформулированном, фрагменте мы обнаруживаем понимание тенденции к уравниванию доходности между отраслями.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Treatise of Taxes*, ch. 5. Это «открытие» ренты от местоположения может быть легко истолковано усердными поклонниками как теория, подразумевающая убывающую отдачу и в конечном счете всю рикардианскую теорию. Однако такое толкование совершенно не соответствует исторической правде.

<sup>8</sup> Аргумент, который можно назвать довольно интересной иллюстрацией методов примитивного анализа, заключается в следующем: если, *затратив одинаковое количество труда*, один человек производит зерно, а другой — серебро, то после обычных вычетов оба будут иметь какое-то количество зерна или серебра (Петти также вычитает необходимое потребление производителей или же предполагает, что производитель серебра одновременно обеспечивает себя средствами для этого необходимого потребления). Далее он утверждает, что ценность этих двух чистых доходов обязательно должна быть одинакова и, поскольку серебро — это металл, используемый для изготовления монет, это равенство определяет цену зерна в денежном выражении, а следовательно, и денежную ценность хлебной «ренты». В качестве полезного упражнения предлагаем читателю выработать собственные четкие доводы, объясняющие, почему

Несмотря на отсутствие в этом случае необходимого для корректной формулировки теоремы указания на предельную доходность, мы видим здесь реальный вклад в объяснение рыночного механизма.

И наконец, разработанная Петти теория процента, если можно считать, что он действительно создал таковую, вновь возвращает нас к схоластике. Прямое влияние схоластики на Петти нельзя исключить безоговорочно, поскольку он какое-то время учился в иезуитской школе в Кэне. С одной стороны, он утверждает, что иностранная валюта — это «местный процент»; последнее позволяет предположить, хотя он не высказывает этого вполне явно, что Петти готов был принять формулировку, согласно которой процент — это «обмен, растянутый во времени» («exchange over time»); такое определение рассматривали, но не приняли доктора-схоласты. С другой стороны, Петти недвусмысленно заявлял, что «процент — это компенсация за воздержание от использования собственных денег в течение оговоренного срока независимо от того, в какой степени вы в них нуждаетесь в этот период». Это высказывание, особенно если учесть, что Петти не одобрял получения процентов с денег, которые заимодавец может потребовать в любое время, представляет собой просто позднюю схоластическую доктрину. Его разные и не всегда удачные соображения, касающиеся соотношения между процентом и земельной рентой (где ему явно не удалось добиться очевидных достижений, а именно вывести ценность земли путем дисконтирования чистого дохода от нее по преобладающей ставке процента), также напоминают схоластические аргументы, хотя нет нужды искать какое-либо внешнее влияние, чтобы понять, почему эта проблема могла возникнуть в работе любого аналитика.

## 2. Буагильбер и Кантильон

Мы уже встречались с Буагильбером как с ведущим специалистом в области государственных финансов, а вскоре познакомимся с ним как с экономистом, занимающим одно из главенствующих мест в области теории денег, но, несмотря на это, же-

---

данный аргумент неудовлетворителен, и, что еще важнее, почему он не проливает свет на вопрос о земельной ренте. Этот аргумент иногда использовался в попытках приписать Петти разработку трудовой теории ценности, поскольку ценности зерна и серебра сравнивались между собой исходя из затраченного на их создание рабочего времени. Наше мнение на этот счет будет зависеть от того значения, которое мы готовы придать случайному использованию подобного эталона сравнения. По крайней мере, лозунг Петти об «отце» и «матери» ведет нас в ином направлении.

лательно упомянуть о нем и как о важной фигуре в области рассматриваемой нами «общей теории».<sup>1</sup>

Его называли предтечей физиократов, и легко понять, почему: с одной стороны, он был энергичным защитником интересов сельского хозяйства; с другой стороны, мы находим на страницах его работ такие фразы, как: «Все, что необходимо, — это *предоставить действовать природе и свободе*» [*laissez-faire la nature et la liberté*]. Этих фактов достаточно, чтобы поставить политические воззрения Буагильбера в один ряд с соответствующими взглядами физиократов, однако они не могут служить основанием, чтобы считать его предшественником специфически физиократического

<sup>1</sup> Пьер Лё Пезан де Буагильбер (1646–1714) был активным представителем полунаследственного служилого дворянства, приобретшего дворянское звание государственной службой (*noblesse de robe*) в дореволюционной Франции; он жил в основном в Нормандии, вдалеке от всех парижских влияний, которые могли бы как-то воздействовать на его самобытные идеи. Как мы знаем, он был занят главным образом проблемами налоговой политики Франции и почти так же строго придерживался фактов, как Вобан, однако отличался от последнего не только значительно более широким диапазоном интересов, но также гораздо большей теоретической четкостью — как теоретик он, пожалуй, был выше любого ученого до Кантильона. Его основные работы (*Le Détail de la France; Le Factum de la France; Traité de la nature, culture, commerce et intérêt des grains; Causes de la rareté de l'argent; Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs*) были переизданы Эженом Дэром в сборниках *Economistes financiers du XVIIIe siècle (Collections des principaux économistes*. Изд. Гийомен, 1843). Предисловие Дэра к этому изданию, насколько мне известно, является первым документом, свидетельствующим о том преклонении перед Буагильбером, которое весьма странно контрастирует с упорным игнорированием его достижений подавляющим большинством экономистов (а фактически только им и объясняется). Дэр считал его первым в «цепи ученых», следующими звеньями которой являются Кенз, Смит, Рикардо и Росси(!); Буагильбера он называл «Колумбом экономического мира» и далее в том же духе. Культ Буагильбера был возрожден, но уже в более сдержанной манере, профессором Бордевайком (H. W. C. Bordewijk) в его великолепной работе *Theoretisch-historische Inleiding tot de Economie* (1931). Однако мисс Робертс в своей во всем остальном весьма замечательной работе *Boisguilbert: Economist of the Reign of Louis XIV* («Буагильбер — экономист времен Людовика XIV», 1935) продемонстрировала дурной образец того, что лорд Маколей назвал болезнью биографов, или люэсом Босуала. Однако, брошенный в мой адрес профессором А. Грем в рецензии на книгу мисс Робертс (*Economic History*, 1937) упрек в том, что я в своем старом эссе не отдал подобающую дань уважения Буагильберу, заставил меня вновь обратиться к его трудам, и в результате мое мнение о нем изменилось. Кроме указанных работ см. также: *Cadet F.* (Ф. Кадэ) *Pierre de Boisguilbert, précurseur des économistes* [т. е. физиократов]. 1870; *Talbot A.* (А. Тальбо) *Les théories de Boisguilbert et leur place dans l'histoire des doctrines économiques*. 1903; *Durand R.* (Р. Дюран) *Essai sur les théories monétaires de Pierre de Boisguilbert*. 1922. [Данный вариант написания фамилии, пожалуй, наиболее верный].\*

\* <Французский энциклопедический словарь *Larousse* дает два варианта написания: *Boisguilbert* или *Boisguillebert*>.

анализа. Существует сходство между его анализом денег и взглядами на этот счет Кенэ (см. главу 6), но лучше не подчеркивать эту взаимосвязь. Буагильбер был одним из тех теоретиков, кто рассматривал экономический организм как равновесную систему взаимозависимых экономических величин и построил эту систему с точки зрения потребления; здесь он, возможно, опережал других предшественников Кантильона. Его экономическая социология вращалась (почти в марксистском духе) вокруг двух общественных классов — богатых и бедных, существование которых он объяснял так, как это было принято в конце XVIII в. Более сильные индивиды посредством *преступлений и насилия* захватили в свои руки средства производства и больше не хотят работать; кроме того, — весьма современный штрих, который читатель не преминет оценить, — эти сильные грабители, ставшие богатыми, стремятся копить деньги, а не товары (денежные *накопления* — «мировой Молох»!), и тем самым обесценивают реальное богатство и нарушают нормальное течение экономической жизни. Упорядочивающий экономический принцип Буагильбер, как и А. Смит более полувека спустя, несомненно видел в конкуренции. С точки зрения анализа это решающее обстоятельство. То, что, придерживаясь этого принципа, он тем не менее не поддержал (в отличие от А. Смита) неограниченную свободную торговлю, несущественно. Дело в том, что данное практическое заключение вытекает из многих дополнительных соображений в совокупности с личными предпочтениями, так что его принятие или непринятие само по себе не служит критерием оценки уровня экономического анализа.

Однако, хотя концепция конкурентного «пропорционального равновесия» Буагильбера была изложена так же ясно, как и концепция Смита, она не превосходила последнюю: ему не пришлось в голову дать точное определение своей концепции или исследовать ее свойства. Определяя, подобно Кантильону, *богатство* (*richesse*) как *наслаждение* (*jouissance*) всем, что может доставить удовлетворение (*plaisir*), он, как и Петти, утверждал, что богатство не имеет других источников, кроме земли и труда,<sup>2</sup> а дальше просто заявлял, что процесс непрерывного преобразования земли и труда в потребительские блага будет функциониро-

---

<sup>2</sup> Тем не менее Петти рассматривал капитал как накопленный труд, а положения Буагильбера — это ранний пример «разложения» произведенных средств производства на услуги природных факторов и труд, что стало позднее центральной характеристикой теоретической схемы Бёма-Баверка (см.: часть IV, главу 6); но Буагильбер не попытался дать аналитическую разработку данной концепции.

вать без задержек, если все блага и услуги будут производиться благодаря ничем не связанной инициативе конкурирующих производителей, как будто это не требовало никаких доказательств. Первым, кто попытался дать (примитивное) математическое определение равновесия и (такое же примитивное) математическое доказательство этого предположения, был Инар,<sup>3</sup> который до сих пор еще не занял в истории экономической теории подобающее ему положение предтечи Леона Вальраса. Великому труду Кантильона<sup>4</sup> повезло больше как благодаря его законченной систематической или даже дидактической форме, так и благодаря

---

<sup>3</sup> Ашиль Николя Инар (Isnard) — инженер. О нем практически ничего не известно, отсутствуют даже точные даты его рождения и смерти, и ему не посвящена статья в «Encyclopaedia of social sciences»; он написал и другую работу, которой мы здесь не касаемся: *Traité des richesses* <Трактат о богатствах> (1781), которая избежала забвения лишь благодаря счастливой случайности: Джевонс включил ее в список работ по математической экономике, который он приложил к своей «Теории политической экономии». Почти полное отсутствие внимания к работе Инара понятно, поскольку его историческая заслуга, упомянутая Джевонсом, укладывается в рамки обычных аргументов против доктрин физиократов и других не очень оригинальных и не слишком интересных вопросов. Слабость чисто научного интереса в области экономической теории резко замедлила прогресс в этом фундаментальном направлении.

<sup>4</sup> Ричард Кантильон (дата его рождения точно не установлена, но обычно называют 1680 г.; умер (предположительно был убит) в 1734 г.) был парижским банкиром ирландского происхождения. Он оказал значительно большее влияние на французских экономистов, чем на английских. Правда, некоторые англичане заимствовали у него идеи, а другие признавали его авторитет; среди последних был А. Смит. Однако У. С. Джевонсу пришлось практически заново открыть Р. Кантильона (Richard Cantillon and the Nationality of Political Economy//*Contemporary Review*. 1881), в то время как во Франции о нем не забывали никогда. Так, совершенно очевидно его влияние на работу: *Canard N. F. Principes d'économie politique*. 1801, которую, принеся извинения «коронованной» ее Академии (та же Академия проигнорировала Курно и Вальраса), мы лишь бегло упомянем в этой книге. На вышеуказанном основании я классифицирую Кантильона как французского экономиста, но допускаю, что любой, кто интересуется такими вопросами, как «национальность» науки, может воспользоваться случаем и заявить, что, будучи последователем учения Петти, этот ирландский француз является английским экономистом. Предполагается, что «Эссе о природе торговли вообще» (*Essai sur la nature du commerce en général*) было написано около 1730 г. и вскоре после этого «опубликовано» в очень необычном смысле; иначе говоря, рукопись ходила по рукам и таким образом оказывала влияние на читателей. (Она имела большое значение для узкого и сугубо профессионального круга.) Следовательно, дата ее фактической (посмертной) публикации (1755) не имеет реального значения. Работа была перепечатана в Гарвардском университете в 1892 г., а в 1932 г. переведена на английский язык и опубликована при содействии Королевского экономического общества (см. *Higgs H. Richard Cantillon//Economic Journal*. 1891. June). Я не знаю другого хорошего исследования, посвященного нашему автору, кроме, разве что, очень полезной статьи в словаре Палгрейва (*Palgrave's Dictionary*). Оценка Джевонса страдает преувеличением. В

тому, что ему посчастливилось получить задолго до публикации (см. сноску 4) бурное одобрение и действительную поддержку двух очень влиятельных людей: Гурнэ и Мирабо.

То, что не смог закончить Петти, выдвинувший почти все основные идеи, получило свое завершение в «Эссе» Кантильона. Правда, Кантильон сделал это не как ученик, оглядывающийся на каждом шагу в ожидании руководящих указаний учителя, а как равный учителю исследователь, уверенно шагающий в выбранном направлении. То же самое можно сказать и о Кенэ, который шел своим путем и был учеником Кантильона не в большей мере, чем Кантильон — учеником Петти. Тем не менее в истории экономического анализа мало таких последовательностей, которые так важно заметить, понять и закрепить в нашем сознании, как последовательность: Петти—Кантильон—Кенэ. Эконометрический пыл Кантильона берет свое начало от Петти. К сожалению, потеряно дополнение к «Эссе», содержащее его вычисления. Но, как мы сейчас увидим, результаты, представленные в тексте, достаточно ясно показывают, что их автор исходил из проблем, поставленных Петти (в основном «паритет» между землей и трудом), и использовал его методы. Более того, зависимость или возможная зависимость (это нельзя установить со всей определенностью) Кантильона от Петти выходит за пределы таких важных отдельных тем, как теория скорости обращения денег или теория народонаселения, и касается фундаментальных черт общей теоретической системы. Аналогичный вывод можно сделать, рассматривая связь между работами Кенэ и Кантильона. Их близость очевидна, и разногласия говорят об этой близости не менее ясно, чем единомыслие, поскольку один человек может учиться у другого, не только принимая его учение, но и критикуя его. Действительно, создается впечатление, что некоторые взгляды Кенэ сложились на основе критики работ Кантильона. Поясним наш вывод аналогией: Кантильон для Кенэ и Петти для Кантильона были тем, чем Рикардо был для Маркса. В нашей аналогии Буагильбер остается в стороне, хотя его объединяет с Кантильоном существенное сходство воззрений, а в отношении теории денег его взгляды близки Кенэ. Но в данный момент нам кажется важным сосредоточить внимание читателя на одной четкой и простой ли-

---

частности, нельзя было выбрать более неудачного для «Эссе» определения, чем «колыбель экономической науки»: ею оно как раз не было. Кроме того, имеются краткие биографические сведения о Ричарде Кантильоне Джозефа Хоуна: *Hone Joseph. Biographical Note on Richard Cantillon//Economic Journal. 1944. April.*

нии развития. Единственный способ собрать воедино все упомянутые выше разрозненные общие сведения — посмотреть с высоты птичьего полета на работу Кантильона; иными словами, необходимо поместить здесь «руководство для читателя». К этому я и приступаю.

Первая часть содержит основы аналитической структуры. В первой главе мы видим общий план работы, в котором используются ключевые понятия: земля, труд и богатство. Точно так же, как и у Петти, и столь же ошибочно земля — источник сырья и труд — производственный фактор, придающий природному веществу форму, на равных началах участвуют в производстве богатства, которое представляет собой «не что иное, как пищу, различные блага и все, что делает жизнь приятной» (определение Буагильбера).

Главы 2–6 содержат то, что во всех отношениях является экономической социологией. Во-первых, мы находим здесь теорию общественных классов: владение землей, которое основано на завоевании и насилии, как и у Буагильбера, приводит к появлению трех основных «естественных» классов: землевладельцев, фермеров и рабочих (упомянуты также торговцы и предприниматели, сведенные в одну группу с художниками, грабителями, юристами, нищими; но они только добавлены к этой схеме, а не вписываются в нее). Затем нам предлагается очень интересная теория происхождения деревень, возникновения небольших городов (Кантильон принял «рыночную теорию» возникновения городов, согласно которой они развиваются на основе сначала периодических, затем постоянных рынков), крупных городов и столиц. Создав форму, которой придерживались многие трактаты XIX в. (в каком-то смысле это относится и к трактату Альфреда Маршалла), Кантильон бесспорно доказал свое понимание факта, который так часто не могли осознать менее крупные мыслители. Он понимал, что проблемы любой аналитической общественной науки непременно делятся на две, методологически различные группы: одна группа связана с вопросом, каким образом поведение людей в данное время порождает наблюдаемые нами социальные явления; вторая группа касается вопроса, как данное поведение стало именно таким, как оно есть. В главе 3 мы также найдем размышления о роли местоположения земельного владения; пожалуй, это первая попытка несколько продвинуться в данной области (если пренебречь некоторыми предварительными соображениями, встречавшимися в литературе по сельскому хозяйству).

Переход к чистой экономической науке (имеющей дело с поведением в описанных выше социальных рамках) осуществлен в главах 7–9, где Кантильон ставит несколько предварительных

вопросов с намерением вернуться к ним для дальнейшего рассмотрения. Эти вопросы касаются: а) различий в вознаграждении сельскохозяйственных рабочих и ремесленников, а также ремесленников разных специальностей и б) народонаселения.

Первая проблема стала излюбленной для более поздних авторов, в частности А. Смита, и стала стандартной темой в стандартном трактате XIX в. Вторая будет рассматриваться в следующей главе о населении, заработной плате и занятости. Но предвосхищая этот разговор, следует отметить, что Кантильон (явно развивая взгляды Петти) считает, что, с одной стороны, население приспособляется к спросу на труд, а с другой — его численность регулируется в соответствии с законом выплаты заработной платы на уровне прожиточного минимума, так что его авторитет можно было бы призвать в защиту взглядов Мальтуса, если бы не тот факт, что он также (и в этом он еще ближе к Петти) рассматривал труд как «естественное богатство любой нации» (гл. 16). Это мнение Кантильона указывает, что он мыслит в другом направлении, хотя в действительности между этими идеями нет противоречия. Обе стали общераспространенными доктринами в XVII в.

Подготовив таким образом почву, наш автор представляет теорию, объясняющую на основе издержек нормальную цену или ценность (*valeur intrinsèque* — внутренняя ценность; не обращайтесь на слово, вызывающее возражение, оно совершенно безобидно). Эта теория, пожалуй, недалеко ушла от схоластики, за исключением того, что Кантильон, доведя до конца теорию Петти, определил ценность через количества земли и труда, участвующие в производстве каждого продукта. Таким образом, возникла очевидная проблема (мы могли бы назвать ее проблемой Петти), которую Рикардо попытался обойти, изъяв землю (см. часть III, глава 6) и оставив только один фактор производства. Кантильон выбирает альтернативный вариант в главе 11 своей работы: труд сведен к земле, поскольку труд «самого ничтожного взрослого раба стоит по меньшей мере... количества земли», которое нужно использовать для удовлетворения его нужд. Или, скорее, поскольку, согласно таблицам Хэлли, около половины детей умирали, не достигнув возраста 17 лет (а также по другим причинам), он стоит вдвое больше этого количества. Другие рабочие получают больше, чем «самый ничтожный раб», но это объясняется или тем, что их труд стоит большего количества земли для производства средств существования, или тем, что их вознаграждение связано с риском. Цифры, касающиеся бюджетов рабочих, которыми Кантильон собирался подтвердить свою оценку, содержались в не дошедшем до нас приложении. Однако нам в любом случае следует отдать должное Кантильону за то, что он сделал первый важный шаг в этой области исследований, получившей значительное раз-

витие в конце столетия. Что касается остального, то в данной главе нет необходимости вдаваться в критику ни самой земельно-трудовой теории ценности (если ее можно так назвать), ни попытки подкрепить ее цифрами. Достаточно сказать, что попытка численного выражения этой теории не является тем, чем кажется, т. е. полной нелепостью, и что успех в данной области не исключен в некотором отдаленном будущем. Однако давайте повторим следующее: во-первых, действительно важной является идея эконометрического исследования, дошедшая до нас в виде этой попытки; согласно этой идее, числовые расчеты должны лежать в основе любой науки, какой бы «теоретической» она ни была, если по своей природе она имеет дело с количествами; во-вторых, арпаны\* земли в год (1 арпан = 330 кв. футов) играли в анализе Кантильона ту же роль, что и рабочие дни в анализе Рикардо. Отметим также, что в этом состоит рациональное зерно теории нормальной ценности Кенз: его философские рассуждения о силах природы, создающих ценности, добавили к оперативному содержанию теории Петти-Кантильона так же мало, как философские рассуждения Маркса о способности труда создавать ценности — к содержанию теории Рикардо.

С отклонениями реальных цен от нормального уровня, который у него сводится не к сумме трудовых и земельных, а только к земельным издержкам, Кантильон обходится очень осторожно. В «Эссе» нет ничего, что можно было бы счесть теорией монополии; это весьма существенно, поскольку, как станет ясно из нашего дальнейшего повествования, аргументация Кантильона была построена на гипотезе самой совершенной из совершенных конкуренций, так что любое отклонение от этого совершенства, естественно, приобретает особое значение. Но в «Эссе» много сказано о временных отклонениях по другим причинам: Кантильон уделял много внимания проблеме рыночной цены, отклоняющейся от нормальной; точно так же впоследствии поступал А. Смит. Стоит отметить один из аспектов его трактовки, поскольку он просуществовал практически до Дж. С. Милля. Подобно всем «классикам» XIX в., особенно Рикардо, Кантильон никогда не задавался вопросом, как рыночная цена соотносится с нормальной, а точнее, как последняя возникает (если она на самом деле возникает) из механизма предложения и спроса, который создает первую. Приняв это соотношение само собой разумеющимся, он пришел к необходимости трактовать рыночную цену как отдельное явление и применил объяснение в терминах спроса и предложения только к ней. Так возникла поверхностная и, как показало дальнейшее развитие теории ценности, вводящая в заблуждение формула:

\* Арпан (arpent) — старинная французская земельная мера. — Прим. пер.

нормальная цена определяется издержками (cost); рыночная цена определяется предложением и спросом (подробнее об этом мы поговорим в части III).

В ходе дальнейшего чтения мы еще яснее различаем фигуру Кенэ в будущем, а фигуру Буагильбера — в прошлом. Все сословия (ordres) общества и все граждане государства кормятся или обогащаются за счет землевладельцев (гл. 12). В свете главы 14 это означает только то, что, в то время как все остальные статьи дохода балансируются статьями издержек, в которые входят необходимые расходы на жизнь, производимые получателем дохода, рента землевладельца является исключением из этого правила; иными словами, это доход, получаемый от «бесплатного», т. е. произведенного, природного фактора. Следовательно, доход от земли, способы использования которого не обусловлены заранее, может быть израсходован как угодно по прихоти землевладельцев. Их расходы являются неопределенным, и именно поэтому активным фактором, определяющим общий объем национального потребления, а следовательно, и общий объем национального производства. Таким образом, экономическая судьба каждого зависит от «настроений, предпочтений и образа жизни» князя и земельной аристократии. Эти «настроения» определяют «способы землепользования», а также число людей, которые будут заняты и смогут прокормиться в той или иной стране (гл. 15), и величину ее торгового баланса, при условии, что обе его стороны измерены в затратах земли, — а именно этим измерителем пользовался Кантильон, чтобы судить о выгоде и убытках, получаемых страной от внешней торговли. Не все эти положения появились впоследствии в трудах физиократов, например в них отсутствует последний пункт. Но большинство из указанных положений физиократы все же включили в свои труды, поэтому желательно прояснить наше отношение к ним. Следует различать несколько аспектов. Во-первых, существует теорема, согласно которой чистая рента является чистым доходом, который объясняется производительностью ограниченных природных факторов: к этому верному и ценному предположению теория после долгих блужданий вернулась около 1870 г. Во-вторых, утверждается, что это единственный чистый доход и, следовательно, именно сельское хозяйство производит весь чистый доход общества, а ни один другой вид экономической деятельности его не производит. Это положение само по себе неверно, но, подобно трудовой теории ценности, его можно сделать верным, введя достаточное количество вспомогательных допущений или постулатов, таких как абсолютно совершенная конкуренция, стационарное состояние экономики, отсутствие ренты в городах, зарплата на уровне прожиточного минимума, в результате чего труд становится продуктом того, что потребляет работник,

и т. д.,<sup>5</sup> — все это, однако, лишает данное положение практической ценности. В-третьих, подчеркивается важность быстрого использования чистого дохода с целью поддержания экономического процесса. Этот пункт не имел особого значения для Кантильона, гораздо больше внимания ему ранее уделял Буагильбер, а позднее — Кенэ. И в-четвертых, важное значение, и в первую очередь Кантильоном, придается способу траты чистого дохода. Очевидно, это обстоятельство имело практическую ценность, особенно для общества, которое мог наблюдать Кантильон.

Далее, как утверждал Кантильон, *продукт земли* делится на три приблизительно равные части (три ренты); одна треть возмещает затраты фермера, включая расходы на поддержание его жизни, другая достается в виде «прибыли», а последняя треть принадлежит *сеньорам*. Эти землевладельцы тратят эквивалент своей трети продукта земли в городах, где, как предполагается, живет приблизительно половина всего населения. Фермеры также тратят часть дохода на промышленные товары, произведенные в городах, — одну четверть от своих двух третей. Таким образом, эквивалент половины ( $1/3 + 1/6$ ) общего объема сельскохозяйственной продукции уходит в города, в руки *торговцев и предпринимателей*, а те в свою очередь тратят эту сумму на продукты питания, сырье и т. д. Интерпретация этой схемы, которую сам Кантильон считает не более чем грубым наброском, сопряжена с различными трудностями, однако подробно обсуждать их мы не имеем возможности. Она также содержит ряд интересных моментов, из которых мы упомянем два.

Во-первых, Кантильоном была разработана ясная концепция функции предпринимателя (гл. 13). Она носила вполне общий характер, но он проанализировал ее с особенной тщательностью в применении к фермеру. Фермер выплачивает землевладельцам и сельскохозяйственным рабочим доходы, обусловленные контрактом, которые, следовательно, являются «определенными»; свою же продукцию он продает по «неопределенным» ценам. Так же поступают суконщики и другие торговцы: все они обязуются производить твердо оговоренные выплаты в ожидании неопределенной выручки; таким образом, они являются руководителями производства и торговли, несущими основной риск, при этом конкуренция стремится свести их вознаграждение к нормальной ценности их услуг. Это, разумеется, схоластическая доктрина. Однако никто до Кантильона не сформулировал ее так полно. И, возможно, благодаря ему французские экономисты в отличие от английских всегда уделяли внимание функции предпринима-

<sup>5</sup> Если читатель до конца продумает, что следует из этих предпосылок, то сумеет извлечь из этого пользу.

теля и ее центральному значению. Хотя предполагается, что Кантильон никогда не слышал о Молине, и ничто не подтверждает его влияние на Ж.-Б. Сэя, тем не менее можно утверждать, что «объективно» его вклад в изучение данного вопроса (ничего подобного не было ни у Петти, ни у Кенэ) является связующим звеном между обоими этими исследователями. Во-вторых, если мы еще раз рассмотрим представленную Кантильоном последовательность выплат и поставок, которая начинается с разделения на три части валового продукта или дохода от земледелия (три ренты) и, пройдя через некоторое количество промежуточных пунктов, возвращает нас к ее исходной точке — фермерам, то мы тотчас же ощутим, что столкнулись с новшеством, не представленным достаточно отчетливо в схемах предшественников Кантильона или его современников (даже Петти), а в действительности и в схемах большинства теоретиков всех времен. Эти теоретики излагали общие принципы, которые направляют экономический процесс. Но они предоставляли нам самостоятельно изучать, как этот процесс протекает между социальными группами или классами. Кантильон был первым, кто сделал это движение по кругу конкретным и ясным, он первый показал нам экономическую жизнь с высоты птичьего полета. Иными словами, он был первым, кто нарисовал «экономическую картину» (*tableau économique*).<sup>\*</sup> За исключением различий, которые едва ли касаются сути, это та же картина, что и у Кенэ, хотя Кантильон и не изобразил ее в виде сжатой таблицы. Таким образом, приоритет Кантильона в том, что касается «изобретения», которое Мирабо с обычным для него щедрым пылом сравнил с «изобретением» письменности, является несомненным. Но поскольку формулировка Кенэ значительно более известна, нам следует сделать ряд необходимых дополнений, связанных с работой Кантильона.

Очевидно, что метод «картины» предлагает особые возможности для исследования монетарных явлений, особенно скорости обращения денег; это одно из его главных преимуществ. И действительно, Кантильон достиг наивысших результатов в этой области. Глава 17 части I, где представлены основы монетарной теории, в целом не является оригинальной: в ней содержится много старого материала, включая делимость, портативность и т. д. золота и серебра, позволяющие рекомендовать эти металлы для выполнения денежной функции. Но часть II (которая включает также теории бартера, рыночной цены и т. д.) посвящена прежде всего деньгам, кредиту и проценту; то же можно сказать и о части III (в ней в основном идет речь о внешней торговле), где мы находим сделанный Кантильоном анализ банков, банковского кредита и

<sup>\*</sup> Здесь игра слов: «tableau» по-французски может значить и «картина», и «таблица». — Прим. ред.

чеканки монеты. Рассмотрению основных пунктов этой блестящей работы, оставшейся во многих отношениях непревзойденной в течение почти столетия (вспомним, например, почти безошибочное описание автоматического механизма, распределяющего денежные металлы по странам мира; эту заслугу обычно приписывают Юму), будут посвящены последующие главы.<sup>6</sup>

### 3. Физиократы

[а] Кенэ и его ученики]. Небольшая группа французских экономистов и политических философов, которые современникам были известны как «les éconômistes» <экономисты>, а в историю экономической науки вошли под названием «физиократы», обладает весьма характерными чертами, ясно выступающими даже при самом поверхностном взгляде. Но если рассматривать их с нашей точки зрения, то всю группу можно свести к одному человеку — Кенэ, которого все экономисты почитают как одного из величайших представителей их области знания. Я не знаю ни одного исключения, хотя несомненно разные люди присоединяются к этому единодушному мнению по разным причинам. Из других членов группы нам нужно выделить только Мирабо, Мерсье де ля Ривьера, Лё Трона, Бодо и Дюпона. Все они были последователями, а точнее сказать — учениками Кенэ в самом строгом смысле слова, усвоившими и принявшими учение мастера с такой преданностью, с какой во всей истории экономической науки могут сравниться только преданность ортодоксальных марксистов идеям Маркса и ортодоксальных кейнсианцев идеям Кейнса. Объединившее их учение и личные связи позволили им образовать школу и действовать как группа, превознося и защищая друг друга; каждый член группы пропагандировал общие взгляды. Они могли бы считаться образцами такого социологического явления, как научная школа, если бы не составляли нечто большее — группу, объединенную неким символом веры. Они действительно были тем, чем их так часто называли, — «сектой». Это, естественно, ослабило их влияние на каждого экономиста, француз-

<sup>6</sup> А. Маршалл в своих «Принципах» (Principles. P. 55, note 1) утверждает, что в существенных вопросах взгляды Кантильона предвосхитил Барбон (см. ниже, глава 7). Я не понимаю, что именно мог иметь в виду Маршалл. Речь может идти лишь о некотором, но совсем не близком, сходстве взглядов Кантильона и Барбона по вопросам внешней торговли (в этой области во взглядах обоих прослеживается нечто общее с воззрениями многих других авторов).

ского или иностранного, кто не был готов дать обет верности одному Учителю и одной Доктрине. Более того, это заставило отвергнуть учение в целом даже тех, кто соглашался с ними по многим пунктам как теории, так и политики, и тех, кто был перед ними в долгу. Правда некоторые серьезные зарубежные ученые, в частности ведущие итальянские экономисты (среди них Дженовези, Беккариа и Верри) симпатизировали этой группе. Однако в вопросах анализа, а не политики эта симпатия ограничивалась эпизодической и едва ли до конца искренней поддержкой специфически физиократических догм, что не дает нам основания называть упомянутых итальянцев физиократами. Сколько-нибудь значительных восторженных сторонников данной группы можно найти только в Германии, достаточно упомянуть маркграфа Баденского, Шлеттвайна, Мовийона и швейцарца Херреншванда. Необходимый минимум сведений об упомянутых лицах приведен ниже.

Франсуа Кенэ (1694–1774), сын скромного юриста, был прежде всего врачом-хирургом. Выдающаяся профессиональная карьера поглощала большую часть его энергии и никогда не оставляла ему для занятий экономикой больше времени, чем обычно человек в состоянии уделить страстно любимому хобби. Он написал медицинский трактат о кровопускании, стал генеральным секретарем Академии хирургии и редактором ее журнала, затем хирургом, а со временем и придворным врачом короля. Будучи лейб-медиком госпожи де Помпадур, он нашел в ее лице покровительницу, проявившую к нему не только доброе отношение, но и понимание. Мадам де Помпадур обеспечила Кенэ видное положение в интеллектуальной жизни Версаля и Парижа и за это заслужила благодарность экономистов всех времен. Он был большим педантом и доктринером и, вероятно, ужасным занудой, но обладал силой характера, которая часто сочетается с педантичностью. Приятно также отметить его прямоту и честность. Его преданность своей покровительнице и стойкость к типичным соблазнам его среды подтверждаются забавным, но вряд ли правдивым анекдотом, рассказанным о нем Мармонтелем. Кенэ был единственным источником идей в своем кругу, что несколько затушевывалось его неспособностью или нежеланием систематически и до конца разрабатывать свои идеи. Его единственным объемистым трудом был *Essai physique sur l'économie animale*, 1736. Из его работ по экономике отметим статьи, помещенные в Энциклопедии: «Фермеры» (*Fermiers*, 1756), «Зерновые» (*Grains*, 1757), «Люди» (*Hommes*, 1757), «Экономическая таблица» (*Tableau économique*, 1758; см. ниже, подраздел г); статья «Естественное право» (*Droit naturel*, 1765) и диалог «О торговле» (*Du commerce*, 1766). Обе последние работы помещены в *Journal de l'agriculture, du commerce et des*

finances. Упомянем также статью «Деспотизм в Китае» (*Despotisme de la Chine*), опубликованную в журнале *Ephémérides*, в 1767 г. и вызвавшую полемику о китайском влиянии на физиократов. (Например, статья под таким заглавием была опубликована Л. А. Мэвериком в *Economic History, Supplement to the Economic Journal* (февраль 1938). Наконец, вспомним о «Максимах» Кенэ (*Maximes*) — весьма ярком дополнении или политическом комментарии к «Экономической таблице». И последнее — «Экономические и философские произведения» (*Oeuvres économiques et philosophiques*). Работа издана Августом Онкеном с интересным предисловием (1888). Ни один труд по истории экономической науки не обходится без упоминания о Кенэ. Прежде всего отметим работу Жюда и Риста (см. также работу Г. Хиггса: *Higgs H. The Physiocrats, 1897*; работу Г. Шелля: *Schelle G. Le docteur Quesnay. 1907*; Дж. Вёлерса: *Weulersse G. Le Mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770. 1910*; *Les Physiocrates. 1931*). Работа М. Бира: *Beer M. Inquiry into Physiocracy. 1939*, практически полностью посвящена трудам самого Кенэ.

Уже упомянутый нами Мирабо (см. главу 3) после обращения в веру Кенэ всей душой отдался делу физиократии, хотя при этом и не полностью отказался от независимых суждений. Уже упомянутые две его работы «Теория налога» (*Théorie de l'impôt*) и «Сельская философия» (*Philosophie rurale*) могли быть написаны при содействии или при участии Кенэ, но не являются чисто кенэистскими и содержат положения, которые не получили бы его одобрения. Тем не менее *Philosophie* (1763) была всеми воспринята как первый из четырех учебников по физиократической ортодоксии. Шестая часть работы Мирабо «Друг людей, или Трактат о народонаселении» (*L'Ami des hommes ou Traité sur la population. 1756*) наряду с другими материалами содержит объяснение «Экономической таблицы».

Пьер-Поль Мерсье де ла Ривьер (известный также под именем Лемерсье, 1720–1793), чья импульсивность или плохие манеры привлекли к нему больше внимания, чем он заслуживал, был автором второго учебника под названием: *L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques* («Естественный и необходимый порядок, присущий политическим обществам». 1767; переиздан с полезным предисловием Э. Делитра в 1909 г.). Дюпон де Немур перепечатал извлечения из книги с заглавием, отражающим настроение всей группы: «О происхождении и развитии новой науки» (*De l'origine et des progrès d'une science nouvelle. 1768*). Первые тридцать пять глав работы Мерсье посвящены темам политической теории; его интересовала главным образом концепция «легального деспотизма» Кенэ, который в действительности вовсе не являлся деспотизмом. Вопросами экономики, занимающими остальные девять глав, можно пренебречь. Однако и Дидро, и А. Смит высоко оценили эту книгу.

Г. Ф. Лё Трон (1728–1780) обладал незаурядными способностями, но как юрист интересовался главным образом аспектами естественного права в физиократической системе. В области экономики он принимал физиократическую ортодоксию с некоторыми оговорками. Его книги *Liberté du commerce des grains* («Свобода торговли зерном». 1765) и *De l'intérêt social...* («Об общественном интересе...»), второй том работы *De l'ordre social* («Об общественном порядке». 1777), являются работами, достойными похвал, но не более того.

Аббат Николая Бодо (1730–1792) вначале был врагом физиократов, но в 1766 г. он пережил свой день Дамаска\* и с тех пор стал активным популяризатором и полемистом, а также деятельным издателем. Его работа *Première introduction...* («Первое введение...» 1771), перепечатанная с разъяснительным введением О. Дюбуа в 1910 г., является третьим учебником группы физиократов, возможно, самым слабым из всех.

Четвертый и лучший из этого ряда учебников — «Краткое изложение принципов политической экономии» (*Abrégé des principes de l'économie politique*) был впервые опубликован в томе I *Ephémérides* за 1772 г. Карлом Фридрихом фон Баден-Дурлахом.

Пьер Самюэль Дюпон де Немур (1739–1817), начавший свою карьеру как весьма разносторонний независимый литератор, был значительно талантливее остальных членов группы. Наполеон I однажды охарактеризовал маршала Виллара словами «честный фанфарон». Мы, в свою очередь, можем назвать Дюпона «пронзырой», который тем не менее никогда не забывал о чести и принципах, проявлял неподдельный интерес к чисто научным вопросам и, несмотря на множество возможностей сменить веру, сохранял лояльность кредо физиократов на протяжении всей своей карьеры. В эту веру его обратил сам проникательный старик Кенэ, который отлично знал, с кем имел дело, и никогда не натягивал уздечку слишком туго. Будучи плодовитым и удачливым автором, Дюпон немедленно начал писать и наряду с другими работами опубликовал в 1764 г. трактат в защиту свободы экспорта и импорта зерна. Благодаря своему успеху в качестве писателя и издателя он занимал различные высокие должности при Тюрго, а позднее при последнем великом министре «старого режима» Верженне. Его взлеты и падения во времена Учредительного собрания и Директории не представляют для нас интереса; в итоге он приземлился, «потерял щит», как сказал бы древний римлянин, и оказался в Соединенных Штатах. Нет нужды перечислять и его многочисленные публикации; все они свидетельствуют о его блестя-

\* <Намек на превращение гонителя христиан Савла в апостола Павла, происшедшее по дороге в Дамаск>.

щем таланте, хотя это талант пианиста, а не композитора. Заинтересованный читатель может найти все его работы, за исключением писем, в работе Г. Шелле «Дюпон де Немур и физиократическая школа» (*Schelle G. Dupont de Nemours et l'école physiocratique*. 1988; см. также упомянутую ранее работу Велерса).

Как уже было сказано, физиократическая школа ясно понимала важность пропаганды, и некоторые ее члены, особенно Бодо и Дюпон, весьма отличились на этом поприще. Они основали дискуссионные группы, работали с отдельными лицами и органами, занимающими ключевые позиции (особенно в королевском «парламенте») и создали обширную популярную и полемическую литературу. Нам не стоило бы упоминать об их успехах в области королевской экономической журналистики, как бы интересны они ни были сами по себе, если бы не то обстоятельство, что, возвысившись над ней, они стали авторами многочисленных материалов, появившихся на страницах первых в истории экономической науки научных периодических изданий. Газета *Journal Oeonomique* (1751–1772) с самого начала издавалась на высоком профессиональном уровне и работала на пользу экономической науке, публикуя, например, французские переводы трудов Юма (это важный факт, который стоит запомнить) и Джозайи Таккера. Газета *Journal d'agriculture, du commerce et des finances* (1764–1783 г.) была задумана как приложение к *Gazette*, предназначенное для публикации более «серьезных» статей. Физиократы контролировали эту газету или имели к ней свободный доступ в 1765–1766 гг. и в 1774–1783 гг. Однако в 1765 г. Бодо основал знаменитый еженедельник «Эфемериды» (*Ephémérides du citoyen*), что в переводе означает примерно «ежедневные новости для граждан» (хотя это был еженедельник). После «обращения» Бодо — его отхода от протекционизма в 1766 г. еженедельник стал рупором физиократов. В 1768 г. его возглавил Дюпон, а вскоре ввиду ярко выраженной враждебности политике правительств Эгийона—Монеу—Террэ он был запрещен. Однако в 1774 г. Тюрго возродил издание. Еженедельник «Эфемериды», разумеется, поддерживал политику Тюрго и нападал на некоторых его врагов. «Новые эфемериды» (*Les nouvelles éphémérides*) прекратили существование в 1776 г., а несколько попыток возобновить выпуск быстро потерпели неудачу. Но основанная в 1796 г. и недолго просуществовавшая газета *Journal d'économie publique, de morale et de politique*, которая отнюдь не была физиократической и не могла претендовать на это, в каком-то смысле играла ту же роль, равно как и издававшаяся позднее газете *Journal des économistes*. Следовательно, у тех, кто изучает историю экономической науки, есть ряд оснований рассматривать «Эфемериды» как одно из главных до-

стижений Кенэ и его группы. В словаре политической экономии Палгрейва (*Palgrave's Dictionary of Political Economy*) помещена статья профессора О. Бауэра «Эфемериды» (*Ephémérides*), где в сжатой форме даны все основные факты, исчерпывающие раскрывающие историю этого еженедельника. И. Изелин основал германский аналог «Эфемерид» (*Ephemeriden der Menschheit*, 1776–1782), однако ему не удалось достичь уровня прототипа.

Конечно, у каждого из читателей, исследующих тома «Эфемерид» (я смог добраться только до 1772 г.), сложится собственное впечатление. Лично я был поражен некоторым их сходством с ортодоксально марксистскими научными журналами конца XIX в., особенно с «Новым временем» (*Neue Zeit*). Мы наблюдаем тот же жар убежденности, тот же полемический талант, ту же неспособность принять какую-либо другую точку зрения, кроме ортодоксальной, похожую способность к бурному возмущению и аналогичное отсутствие самокритики. Это особенно наглядно проявляется в обзорных статьях. Однако эти недостатки сполна компенсируются неоспоримыми достоинствами. Помимо «Размышлений» (*Réflexions*) Тюрго, которые замечательны сами по себе, и объяснений «Экономической таблицы» здесь имеется много вполне ценного материала. Например, публикации Дюпона, на мой взгляд, стали первой настоящей историей экономической науки. Представлен здесь и обильный исторический материал; регулярно, хотя и всегда с узкосектантской точки зрения, обозреваются современные события во всех уголках земного шара. В целом еженедельник *Éphémérides*, первый из длинной серии научных периодических изданий по экономике, установил высокий стандарт на много лет вперед. Его международный успех был вполне заслуженным.

Нам нет необходимости долго задерживаться на трех немецких авторах, упомянутых выше. Что касается маркграфа Баден-Дурлахского (позднее ставшего великим герцогом Баденским, 1728–1811), одного из наиболее талантливых государственных деятелей своего времени, то нам достаточно сослаться на его переписку с Мирабо и Дюпоном (издана с предисловием К. Кнуса в 1892 г.), которая вполне заслуживает прочтения. И. А. Шлеттвайн (1731–1802) помогал маркграфу в проведении эксперимента по практическому применению физиократических рецептов в деревне Дитлинг, о чем и рассказал в работе *Les moyens d'arrêter la misère publique...* («Способы борьбы с нищетой в обществе...». 1772). Оставив без внимания его более поздний и более полный отчет об этом эксперименте, мы ограничимся упоминанием его работы *Grundfeste der Staaten oder die politische Oekonomie* («Основа государств или политическая экономия». 1778). Его бурная деятельность на службе физиократии, которую он рассматривал как практическое осуществление аграрной реформы, вызвала движе-

ние в обществе всюду, куда бы он ни прибывал, и обеспечила ему место в истории экономической науки, хотя анализ его опубликованных работ показывает, что он его не заслуживает (случай, надо сказать, нередкий). Этот по-своему замечательный человек может нас интересовать только в одном отношении: он является образцовым примером такого типа экономистов, который, боюсь, никогда не исчезнет и всегда будет дискредитировать экономическую науку в глазах серьезных людей. Это тип экономистов, которые говорят: «Вот патентованное лекарство, которое излечит все болезни, „самая важная вещь для народа“ (эти слова служат заглавием одной из публикаций Шлеттвайна); на самом деле единственное, что действительно важно для человечества, — это проглотить данные лекарства». Ж. Мовийон (1743–1794) был во многих отношениях еще более замечательным человеком, но еще более слабым экономистом, чем Шлеттвайн. Его эссе о роскоши, помещенное в *Sammlung von Aufsätzen...* («Собрание сочинений...». 1776–1777), можно не принимать во внимание. «Физиократические письма господину профессору Дому» (*Physiokratische Briefe an den Herrn Professor Dohm*, 1780) находятся в центре или близко к центру германской полемики вокруг физиократии и лишь по этой причине заслуживают упоминания. Однако и сама эта полемика должна быть упомянута только как свидетельство того, что физиократическая доктрина, хотя и очень плохо понятая с точки зрения ее истинного научного значения и обсуждаемая в основном с точки зрения ее практических аспектов, около 1780 г. смогла вызвать полномасштабные дебаты. Здесь воспользуемся случаем, чтобы сослаться на лучшее произведение в защиту физиократии — работу К. Г. Фюрстенау «Апология физиократической системы» (*Fürstenu K. G. Apologie des physiokratischen Systems*. 1779). Из работ оппонентов достаточно упомянуть книгу фон Дома «Краткое изложение физиократической системы» (*Dohm C. K. W., von. Kurze Vorstellung des physiokratischen Systems*. 1778) и книгу И. Ф. фон Пфайфера «Антифизиократ» (*Pfeiffer J. F., von. Antiphysiokrat*. 1780). Объемистые систематические работы последнего, напоминающие произведения Юсти, несомненно отмечались большим практическим смыслом и были высоко оценены некоторыми историками. Жан (Иоган) Херреншванд (1728–1811) относится к физиократам более позднего времени. Возможно, его вообще не следовало бы называть физиократом, поскольку он не входил в число ортодоксов. Он был способным экономистом. Его основные работы: *De l'économie politique moderne* («О современной политической экономии». 1786); *Du vrai principe actif de l'économie politique* («Об истинном активном принципе политической экономии». 1797). Существует немецкая монография А. Йора «Жан Херреншванд» (*Jöhr A. Jean Herrenschwand*. 1901).

Деятельность секты, имеющей кредо и политическую программу, естественно имеет много аспектов и требует всестороннего анализа. Та точка зрения, с которой мы ее рассматриваем, не является единственно возможной. Сначала бросим беглый взгляд на некоторые из аспектов, а затем рассмотрим костяк экономического анализа физиократов и особенно «Экономическую таблицу» (*Tableau économique*).

[b) Естественное право, сельское хозяйство, *laissez-faire* и единый налог]. В 1750 г. физиократии<sup>1</sup> еще не существовало. В центре внимания всего Парижа и еще более Версаля она находилась в период с 1760 по 1770 г. К 1780 г. практически все (исключая завзятых экономистов) забыли о ней. Яркую, промелькнувшую и угасшую как метеор историю ее успеха можно будет легко понять, как только мы осознаем природу и степень успеха физиократов, т. е. как только мы в точности поймем, что именно имело столь громкий успех в течение более двух десятилетий, как был достигнут успех и почему.

Выше, в главе 2, мы охарактеризовали Кенэ, как философа естественного права. В действительности теории Кенэ о государстве и обществе представляли собой не что иное, как переформулированную схоластическую доктрину. Девиз *Ex natura jus, ordo, et leges* (из природы право, порядок и законы) мог быть, хотя, по видимому, не был заимствован у св. Фомы Аквинского. Физиократический естественный порядок (*ordre naturel*) (которому в мире реальных явлений соответствует позитивный порядок (*ordre positif*)) есть идеальное веление человеческой природы, осознаваемое человеческим разумом. Разница между Кенэ и схоластами в этом случае не в пользу Кенэ. Мы видели, что святой Фома и в еще большей степени поздние схоласты, такие как Лессий, отлично понимали историческую относительность состояний и институтов общества и всегда отказывались отстаивать неизменный порядок вещей в мирских делах. Напротив, идеальный порядок Кенэ неизменен. Более того, в своей статье о «Естественном праве» (*Droit naturel*) он определял «физический закон» как «упорядоченный (*réglé*) ход всех физических явлений, который несомненно наиболее благоприятен для рода человеческого», а «нравственный закон» как «правило (*règle*) для каждого человеческого

<sup>1</sup> Термин «физиократия», означающий «власть природы», был использован Дюпоном в качестве заглавия книги в 1767 г. Но, согласно Онкену, еще ранее его использовал Бодо, а возможно, он обязан своим возникновением самому Кенэ. Этот вопрос не имеет значения.

действия, соответствующего физическому порядку, который несомненно наиболее благоприятен для рода человеческого»; вместе оба закона образуют «естественное право», они неизменны и являются «наилучшими из возможных законов» (*les meilleurs lois possibles*). Ученые схоласты ограничивали подобные принципы областью метафизики и не применяли их непосредственно к исторически обусловленным формам. У Кенэ они непосредственно применены к определенным институтам, таким как собственность, а политическая теория Кенэ и аналитически, и нормативно зависит от монархического абсолютизма не критическим и не историческим образом, что, как мы видели, было совершенно чуждо схоластам.<sup>2</sup> Теперь мы знаем, как хорошо прижилась старая система естественного права в XVIII в. и насколько приемлемой в основных чертах она оказалась для культа разума (*la raison*). Следовательно, одна из форм этой системы, разработанная Кенэ, за исключением некоторых несущественных деталей, соответствовала интеллектуальной моде времени: все легко поняли эту часть его учения, сразу же согласились с ней и обсуждали ее со знанием дела. Кроме того, в отличие от других поклонников *la raison*, Кенэ не питал враждебных чувств ни к католической церкви, ни к монархии. Культ *la raison* со всей его не критической верой в прогресс был лишен у него антирелигиозных и политических «клыков». Нужно ли говорить, что это приводило в восторг двор и общество?

Сельское хозяйство занимало центральное положение как в программе экономической политики Кенэ, так и в его аналитической схеме. Этот аспект его учения также хорошо соответствовал духу времени. В ту эпоху все были увлечены сельским хозяйством. Этот энтузиазм проистекал из двух различных источников, подпитывающих друг друга, хотя в действительности они были совершенно независимы. Во-первых, революция в области аграрной техники повысила актуальность сельскохозяйственных проблем. Во Франции вопрос не стоял так остро, как в Англии, однако в парижских салонах он обсуждался не менее активно, чем в лондонских. Во-вторых, нелогичная ассоциация естествен-

<sup>2</sup> Следует заметить, что во времена Кенэ в той стране, где он жил, в этом, возможно, было много практической мудрости. Во Франции XVIII в. реформы, с которыми выступали физиократы, могли быть проведены (без революции) только твердой рукой абсолютного монарха. Следовательно, враждебность физиократов по отношению к «привилегиям» любого вида не противоречила, как можно было бы подумать, их приверженности монархии, а, наоборот, служила ее причиной.

ных прав человека с прославляемым первобытным состоянием общества и не менее нелогичная ассоциация последнего с занятием сельским хозяйством сделала сельскохозяйственную тему популярной в гостиных, что, несомненно, не имело никакого отношения к учению Кенэ, но тем не менее лило воду на его мельницу. Добавим еще один мазок к картине. Квартира доктора, разрабатывающего свои ученые догмы, находилась в чердачном этаже Версальского дворца, недалеко от источника всех продвижений по служебной лестнице, т. е. от покоев мадам де Помпадур. Честолюбцы, находившиеся на более низких ступенях лестницы, едва ли упустили из виду это обстоятельство, и некоторые из них могли решить, что час скуки в квартире доктора был невысокой платой за доброе слово, оброненное в покоях мадам. Мармонтель совершенно не скрывал этого, и можно смело предположить, что он был не единственным человеком, сделавшим это открытие.

Подобные вещи имеют значение во все времена, хотя в разных обществах власть имущие разными способами покровительствовали развитию доктрин, не усваивая их и не придавая значения их действительной научной ценности, если таковая имелась. В понятиях данной конкретной среды успех Кенэ был прежде всего *салонным успехом* (*succès de salon*). Высшее общество беседовало о физиократии в течение какого-то времени, но вне пределов этого круга мало кто обращал на нее внимание; разве что некоторые насмехались над ней. Была мода на физиократию, но не было физиократического движения, такого, каким было (и остается) марксистское движение. В особенности следует отметить отсутствие связи физиократии с интересами класса земледельцев. В таком случае что же можно сказать о политическом влиянии физиократов, о котором мы так много читаем? Как быть с их исторической ролью в борьбе с привилегиями, злоупотреблениями и всеми ужасами протекционизма? Если из всего сказанного до сих пор читатель сделал вывод, что влияние физиократов было равно нулю, значит эта часть нашего изложения и причина, в силу которой мы занимаемся здесь этими вопросами, остались для него непонятными. Такая дисциплинированная и склонная к пропаганде группа, как физиократы, не могла не оказать какого-либо влияния. Возьмем, к примеру, такую группу, как наша Лига борьбы за избирательные права женщин. Она является винтиком нашей политической машины, которым не может себе позволить полностью пренебречь ни один реалистический анализ политики нашего времени. Суть в том, что именно

такого рода влияние оказывала и группа физиократов, и ее значение как движущей силы политики было незначительным. Это можно установить, кратко рассмотрев рекомендации Кенэ.

Для наших целей число рекомендаций можно сократить до двух: *laissez-faire*, включая свободу торговли, и единый налог на чистый доход от земли. Чтобы правильно оценить компетентность Кенэ как экономиста-практика, нужно отделить в обеих рекомендациях необязательные теоретические украшения от лежащего в основе здравого смысла. Кенэ преподносил политику *laissez-faire* и свободной торговли как абсолютные нормы политической мудрости. Но эти императивы следует рассматривать в контексте враждебности физиократов к любым привилегиям и многим другим явлениям, которые представлялись им злоупотреблениями, в том числе и к монополии. Поскольку все эти недостатки не могли быть устранены без значительного правительственного «вмешательства», Кенэ побуждал правительство к политике активного вмешательства, а вовсе не к бездействию. Более того, хотя Кенэ полностью отвергал государственное регулирование и контроль, уместно заметить, что он сталкивался с регулированием, унаследованным от прошлого и не соответствовавшим условиям текущего момента. В подобном случае абсолютная норма *laissez-faire* становится относительной и рекомендованная политика сильно отличается от максималистских требований доктрины *laissez-faire*. И, наконец, мы не должны забывать, что в 1760 г. французское сельское хозяйство не было заинтересовано в протекционизме: реальная опасность регулярного значительного импорта пшеницы отсутствовала, а свободная торговля сельскохозяйственными продуктами могла бы привести только к росту цен на них. Вскоре у нас будут основания усомниться в том, что Кенэ стал бы последовательным защитником свободной торговли, если бы писал свои труды в 1890 г. Подобным же образом в вопросе о едином налоге мы должны отделять идеи, подсказанные здравым смыслом, от сопутствующих украшений, которые делают его рассуждения по данному вопросу смехотворными. Идея установления единого налога на чистый доход, для того чтобы упростить и рационализировать французскую систему налогообложения, была несомненно разумной. Однако основывать систему налогообложения исключительно на таком налоге не более чем доктринерство. Дело в том, что базирование этой системы исключительно на налоге на чистую земельную ренту предоставляло Кенэ возможность применить свою теорию, согласно которой чистая земельная рента — един-

ственный существующий вид чистого дохода, так что любой налог в конечном счете берется именно с нее. Прежде всего, эта теория может быть несостоятельной. Но даже если бы она оказалась состоятельной как абстрактное предположение, ее применение для решения практического вопроса налогообложения было бы неоправданным, поскольку простого наличия фрикций в системе достаточно, чтобы наряду с земельной рентой появились другие виды чистых доходов. Однако вышесказанное отнюдь не уничтожает ценность фундаментальной идеи. Более того, предложение обложить налогом чистую земельную ренту, учитывая тот факт, что тогда она вообще не облагалась налогом, имело смысл, несмотря на разного рода необязательные пояснения, в окружении которых эта мысль преподносилась. Нельзя сказать то же о более поздних аналогичных предложениях, таких как проект Генри Джорджа. Следует отметить, что вклад физиократов в теорию государственных финансов, представленный в «Теории налога» Мирабо (*Mirabeau. Théorie de l'impôt. 1760*), является существенным. Эта работа, которую Дюпон назвал «превосходной», не делает особого удара на едином налоге как на панацее, надлежащим образом подчеркивая значение административных реформ, получения доходов от государственного имущества, от чеканки монет, от почтового ведомства, говорит о важности специального налога на табак и соль — все это помогает снять излишний налет экстравагантности, присущий теории единого налога.

Однако отметим, что в общей программе физиократов не было ничего существенно нового. Традиционное утверждение обратного может быть объяснено: 1) понятным желанием историков группы защитить приоритет ее членов по отношению к А. Смиуту, в чем они, конечно, были совершенно правы; 2) оптическим обманом, жертвой которого может стать любой историк, сосредоточивающий свое внимание на отдельной группе и не учитывающий в достаточной мере исторический контекст и вклад предшественников; 3) причудливой и своеобразной манерой Кенэ формулировать свои положения, чрезмерно подчеркивая отличие своих взглядов от аналогичных взглядов других мыслителей, проводя искусственные разделительные линии. Так, мы знаем, что идея единого налога не нова; если вообще можно сказать, что Кенэ внес что-то новое в этот вопрос, то его вклад заключается в том особом повороте, который лишь немногие сочтут усовершенствованием. Можно утверждать, что физиократы были первой группой, выступавшей за безоговорочно свободную торговлю, хотя отдельные исследователи, такие как сэр Дадли Норт, предвосхитили их

идеи. Но для нас это не существенно. Значительно важнее то, что по уровню понимания научных принципов, о которых здесь идет речь, многие современники физиократов, включая открытых противников, таких как Форбоннэ, им не уступали. Никогда не лишне повторить, что поддержка какого-либо отдельного практического вывода не является доказательством правильности или ошибочности лежащих в его основе идей относительно причинно-следственных связей экономических явлений. В действительности, если поставить под сомнение равнозначность идей Кенэ и его современников, выводы окажутся не в пользу Кенэ, поскольку прямолинейность позиций, хотя ее можно объяснить многими другими причинами, обычно указывает скорее на недостатки идей, чем на их достоинства.

Тем не менее из взглядов Кенэ на экономический процесс и экономическую политику, какими бы они ни были, в принципе можно вывести весь арсенал либеральной аргументации XIX в. Однако все эти идеи дошли до ученых и политиков XIX в. в русле значительно более широкого потока, лишь небольшую часть которого составлял физиократический элемент. Сказанное относится также и к политикам Учредительного собрания и к политикам эпохи Революции вообще. Не более обоснованно мнение, будто Тюрго был обязан своим назначением или своей политикой (см. § 4) влиянию физиократов. Единственным примером их практического влияния могут служить эксперименты с единым налогом, проводимые Карлом-Фридрихом Баден-Дурлахом и Петером-Леопольдом, великим герцогом Тосканским. Однако уже отмечалось, что если в качестве святого покровителя экономического либерализма Кенэ получил большее признание, чем заслужил, то его заслуги как ученого-экономиста по сей день не оценены по достоинству, если не считать пылких восхвалений из уст его непосредственных последователей. Особенно редко профессионалы-экономисты признавали влияние, оказанное на них Кенэ или по крайней мере его приоритет — а только такое признание действительно чего-то стоит. Одна из причин состоит в том, что его аналитическая работа не была в достаточной степени осмыслена, поэтому последующие экономисты действительно были обязаны ему не столь многим, как можно было бы подумать. Другая причина — наличие в его учении определенной чужаковатости. Кажется, что на А. Смита повлияли обе причины: можно быть почти уверенным, что он не вполне осознал всю важность «экономической таблицы» и вне всякого сомнения он всеми силами старался избежать того, чтобы его имя связывали с какими бы то ни было

чуждачествами. Карл Маркс был единственным первоклассным экономистом, отдавшим должное Кенэ.

[с) Экономический анализ Кенэ.]. Вспомним определение естественного права, данное Кенэ. Как только мы поймем его смысл, нам станет ясно, что имели в виду историки, которые, указывая на теологический уклон в учении Кенэ, отрицали его аналитический характер или, не заходя так далеко, утверждали, что религиозные верования Кенэ влияли на его экономическую теорию.<sup>3</sup> Это может быть до некоторой степени справедливо в том, что касается взглядов Кенэ на экономическую политику и его оценочных суждений. Но это несправедливо по отношению к его экономической теории. Дело, конечно, не в многочисленных заявлениях Кенэ о том, что он достоверно описывал факты.<sup>4</sup> Мы сами можем проверить эти заявления и убедиться в их справедливости. У читателя есть возможность убедиться, что ни одно экономическое предположение Кенэ не основано на теологических предпосылках и их суть останется прежней, если мы отбросим все, что нам известно о его религиозных верованиях. Это на деле доказывает чисто аналитическую, или «научную», природу его экономических трудов и не оставляет места внеэмпирическим влияниям. Давайте кратко рассмотрим отличительные черты его теоретической схемы.

I. Любые рассуждения на экономические темы неизбежно подразумевают признание какого-либо «экономического принципа». Именно поэтому трудно сказать, когда и кто первым сформулировал такой принцип. Но если мы оцениваем ясность формулировки, то, я думаю, приоритет (по сравнению с итальянцами) принадлежит правилу поведения, сформулированному Кенэ: получать наибольшее наслаждение (*jouissance*) при наименьших затратах или тяготах труда. Значение этого правила, или принципа, рассматриваемого как вклад в формальную теорию, или, иначе говоря, в чистую логику экономической науки, заключается главным образом в выявлении факта, что фундаментальная проблема

<sup>3</sup> Достаточно сравнить определение Кенэ с определением Монтескье, для которого естественные законы не более чем «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей» (*rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses*). Это определение воистину трудно переоценить.

<sup>4</sup> Полезно сделать две ссылки: во-первых, в диалоге «О торговле» (1766), где Кенэ излагает часть своей теории капитала, он приглашает читателей посетить сельскохозяйственные угодья и фабрики, чтобы удостовериться в реалистичности его теории; во-вторых, говоря об экономических отношениях между классами, он сообщает нам: «Ход этой торговли между различными классами и ее основные условия вовсе не гипотетичны. Каждый, кто захочет задуматься над этим, увидит, что они в точности скопированы с природы».

этой теории является проблемой максимизации. Значение гедонистского облачения, в котором Кенэ представил это правило, заключается в том, что, учитывая эпоху, оно обеспечивает ему видное место в истории утилитаристской социальной философии: он несомненно был одним из отцов-основателей утилитаризма, хотя его формулировка принципа наибольшего удовлетворения была весьма лаконичной.

Кроме того, он был наиболее значительным из отцов-основателей доктрины, которую впредь мы будем называть «доктриной максимизации при совершенной конкуренции» (см.: *Marshall A. Principles*. P. 531). Иными словами, он утверждал, что максимальное удовлетворение желаний всех членов общества вместе взятых будет достигнуто, если в условиях преобладающей совершенной конкуренции каждому будет позволено действовать свободно с целью удовлетворения своего собственного интереса. Эту доктрину на протяжении всего XIX в. безоговорочно или с некоторыми оговорками проповедовали большинство крупных несоциалистически настроенных теоретиков, включая многих противников утилитаристской философии. Серьезная, хотя сначала очень осторожная критика начинается с А. Маршалла. Тем более необходимо отметить, как слабы были ее основания с самого начала. Разумеется, упомянутая доктрина никогда не бывает строго справедливой при любых обстоятельствах. Однако в некоторых исторических условиях ее применение обосновано, если принять весьма жесткие допущения, однако не настолько жесткие, чтобы полностью лишить ее практического значения. Момент, к которому я хочу привлечь внимание читателя, заключается в том, что Кенэ не делал ни малейшей попытки доказать эту доктрину. Он не видел в этом необходимости, очевидно полагая, что если каждый индивид стремится к достижению максимального удовлетворения, то все индивиды, «разумеется», достигнут максимального удовлетворения. Тот факт, что один из лучших умов в нашей науке мог довольствоваться таким явным *pop sequitur*,\* действительно должен стать пищей для размышлений. Низкие стандарты строгости и небрежность мышления были более опасными врагами экономической науки, чем политические влияния.

Заметим, что лозунг физиократов: «Интересы отдельных людей стоят на службе общественного интереса» — сам по себе не

---

\* <Non sequitur (лат.) — «не следует», т. е. вывод, который не следует из данных предпосылок>.

вызывает у нас возражений. Возможно, он означает всего лишь то, как сказал А. Смит, что мы обязаны своим хлебом не благотворительности пекаря, а его личной заинтересованности. Эту избитую истину стоит повторять вновь и вновь ввиду неискоренимости предрассудка, согласно которому каждое действие, нацеленное на получение выгоды, тем самым непременно становится антиобщественным. Но А. Смит остерегался придавать этому тезису слишком большое значение. В частности, он остро чувствовал антагонизм между классами. Однако Кенэ пошел дальше: от идеи всеобщей совместимости или дополняемости личных интересов в обществе, основанном на конкуренции, к идее всеобщей гармонии классовых интересов, что делает его предтечей «гармонизма» XIX в. (см. работы Сэя, Кэри, Бастиа). В этом случае Кенэ попытался доказать свое утверждение: «экономическая таблица» показывает, как каждый класс живет за счет каждого другого класса и, в частности, как процветание землевладельцев обуславливает благополучие других классов. Доказательство, заимствованное у Кантильона, может вызвать очевидные возражения и даже насмешки, но тем не менее гармонизм Кенэ небезоснователен и для его объяснения не требуется обращаться к вере в провидение.

II. Кенэ создал весьма обширную аналитическую схему, хотя и представил ее в виде разрозненных набросков. Некоторые составляющие этой схемы, особенно те, что касаются народонаселения, заработной платы, процента и денег, будут рассмотрены в следующих главах. Однако для полноты картины я вкратце изложу его позиции по этим вопросам: его теория народонаселения во всех основных пунктах предвосхитила соответствующую теорию Мальтуса; в основе его теории заработной платы лежит тезис о прожиточном минимуме, его теории процента, можно сказать, практически не существует — Кенэ не удалось объяснить этот феномен, его теория денег в отличие от кантильоновской является номиналистской.

Кенэ анализировал бартер и ценообразование в строго «субъективных» рамках, т. е. жестко основывал свою теорию на фактических желаниях потребителей. Это имело некоторое значение (хотя здесь Кенэ ничего не добавил к теории цены поздних схоластов), поскольку его трактовка данной проблемы (как и трактовка Кондильяка) способствовала выживанию этой теории во Франции до тех пор, пока ее не подхватил Ж. Б. Сэй. В связи с этим следует затронуть другой вопрос. Возможно, А. Маршалл был прав, отрицая, что теория потребления является научной

основой экономической теории. Но она, несомненно, послужила базой экономической теории Кенэ. «Либеральные» экономисты XIX в. обычно восхваляли сторонников *laissez-faire* XVIII в., особенно А. Смита, за то, что они отстаивали истину, согласно которой потребление является «единственной целью и задачей производства», и уничтожили, таким образом, одно из «заблуждений меркантилизма». Но это далеко не так: истина, в той мере в какой она действительно является истиной, тривиальна, а заблуждение в большой степени воображаемое. Кенэ также уделял внимание потреблению, но в другом смысле, который вряд ли пришелся бы по вкусу «либеральным» экономистам и который наводит, скорее, на мысль о меркантилизме:<sup>5</sup> в отличие от Тьюго и А. Смита он считал, что для бесперебойного хода экономического процесса *каждый должен быстро тратить свои чистые доходы на потребительские товары* или, если использовать в последние годы широко употребляемое в Вашингтоне выражение, *каждый должен полностью «использовать» (utilize) свой доход*. В противном случае, по мнению Кенэ, особенно если некоторые люди будут откладывать деньги *с целью увеличения собственных денежных накоплений*, все классы придут в упадок и снизится общий выпуск продукции, поскольку чей-то отказ тратить деньги неизбежно уничтожает доход кого-то другого. Этот «кейнсианский» аспект учения Кенэ будет рассмотрен позднее.

III. Особенно большое значение имеет творческий вклад Кенэ в теорию капитала. Несмотря на труды Кантильона и других предшественников, можно сказать, что именно Кенэ создал фундамент этой части экономической теории. Теория капитала Кенэ

---

<sup>5</sup> Благодаря тому, что Кенэ рекомендовал политику свободной торговли, сложилась традиция считать его непреклонным противником «меркантилистской» доктрины. На самом деле мы видели, что даже в этих рекомендациях имеется элемент, отличающий его *laissez-faire* от *laissez-faire* «либералов» XIX в. Кенэ стремился добиться хорошей (высокой) цены на сельскохозяйственные продукты. Сам по себе этот элемент может рассматриваться как чуждая его теории вставка, сделанная из политических предпочтений или практических соображений. Однако при более пристальном взгляде мы обнаруживаем, что за «хорошей ценой» скрывается нечто большее. В отличие от А. Смита, который привел к победе доктрину дешевизны и изобилия (и, следовательно, стал, если придерживаться точки зрения лорда Кейнса, жертвой «заблуждения дешевизны»), Кенэ в качестве аналитического принципа поддерживал доктрину дороговизны и изобилия (см. ниже, глава 6, § 1). И это обстоятельство вместе с другим моментом, к которому я собираюсь привлечь внимание, делает его братом по духу (в том, что это касается анализа, а не политики) авторов, обычно относимых к категории «меркантилистов», и, по крайней мере в одном, но очень важном отношении, отделяет его от теоретиков XIX в., следовавших за А. Смитом, и самого А. Смита.

служит интересной иллюстрацией того, как наблюдения, сделанные в ходе решения практических задач, перерастают в сознании прирожденного теоретика в аналитическое обобщение. Сельскохозяйственная программа Кенэ, составлявшая практически всю его экономическую политику, ориентировалась на крупного фермера: подобно Кантильону, он никогда серьезно не рассматривал какой-либо иной аграрный мир, кроме того, который приводился бы в движение деятельностью просвещенного и активного класса фермеров, имеющих в полном распоряжении все технологические и коммерческие возможности своего времени. Он рассматривал этих просвещенных фермеров не как владельцев земли, на которой они работают, но как людей, на долгий срок арендующих большие земельные участки, расчищенные и снабженные необходимыми постройками, у землевладельцев и в то же время свободных от их вмешательства. Таким образом, фермеры могут использовать эти участки по своему усмотрению. Общие выпасы должны быть отданы частникам наравне с остальной землей; феодальные права и обязанности, в частности право охотиться на земле арендатора, необходимо упразднить. Это касается также внутренних и внешних таможен, мешающих фермерам свободно распоряжаться своей продукцией, и налогов, сводящих на нет все их усилия (это один из практических доводов в пользу единого налога, который должен выплачиваться землевладельцами). Традиционное село должно уступить место множеству процветающих хозяйств, развивающихся самостоятельно, продающих свою продукцию по высоким ценам, пышущих энергией и заряжающих ею экономику страны в целом.<sup>6</sup>

Рассматривая этот тип программы, читатель сразу увидит, что ее успех предопределяется выполнением трех условий: во-первых, фермеры-предприниматели действительно должны быть

---

<sup>6</sup> В качестве дополнения к уже сказанному о здравом смысле, лежащем в основе большей части экономической философии Кенэ, можно заметить, что с учетом внутреннего и внешнего положения Франции в 1750-х или в 1760-х гг. такая политика была бы, безусловно, разумней, чем выбрасывание средств на колониальные захваты, которые даже в случае успеха представляли бы собой лишь желанную добычу для английского флота, или на финансовые предприятия, которые могли бы закончиться, как закончилась деятельность Джона Ло, или на вооруженные силы, что могло бы привести к очередному Россбаху.\* Следует понимать психологию глубоко разочарованной нации, к которой обращался Кенэ.

---

\* <Россбах — саксонская деревня, где в 1757 г. французские войска под командованием маршала Франции Субиза потерпели поражение от армии Фридриха II>.

заряжены энергией; к этому условию Кенэ не относился всерьез, поскольку, будучи типичным сыном своего века, не уделял большого внимания врожденным качествам работников; во-вторых, фермерский рай должен был устоять в конкуренции с более дешевыми заграничными товарами — об этом условии во Франции XVIII в. не было нужды беспокоиться; в-третьих, эти по сути капиталистические фермерские хозяйства должны были иметь в своем распоряжении много капитала, причем дешевого. Это последнее условие беспокоило Кенэ, и у него имелись на то все причины, поскольку в результате своих реалистических исследований всех тонкостей технологии и деловой политики сельскохозяйственных предприятий, он точно представлял, какие капиталовложения требуются для такого рода фермерских хозяйств. Именно на основании этих исследований, концептуализируя свои открытия, он создал собственную теорию капитала. Непосредственным результатом явилась его классификация капиталовложений, необходимых для создания фермерских хозяйств: авансы при основании (*avances foncières*), т. е. затраты на очистку, дренаж, ограждение, постройку всякого рода служб и другие подобные расходы — или разовые, или требующие повторения только по истечении длительного периода времени; первоначальные авансы (*avances primitives*), т. е. затраты на орудия труда, включая скот и лошадей, и годовые авансы (*avances annuelles*), т. е. текущие расходы на семена, наемный труд и т. п.<sup>7</sup>

Кенэ не слишком заботился об обобщении этих концепций, хотя их распространение на промышленность не представляет трудности. В чем же заключаются эти «авансы» (*avances*)? Это, несомненно, дренаж, постройки, рогатый скот, вспашка, семена и наемный труд, а также другие нужные фермеру вещи. Очевидно, речь идет о запасе благ и услуг? Но если это так, то как нам следует отнестись к тому факту, что «требуемый капитал» или «инвестированный капитал» по меньшей мере должен *выражаться* в деньгах и *покупаться* за деньги? Следовательно, именно в деньгах прежде всего нуждаются землевладельцы и фермеры, чтобы осуществить вложения на обустройство земли (*avances foncières*). Кенэ затронул все проблемы, скрывающиеся за данными вопросами, и его первоначальные попытки их решения могли стать, если не были в действительности, о чем нельзя судить с уверенностью, отправными точками для развития теории капитала.

<sup>7</sup> Кроме того, предусматриваются государственные капиталовложения (*avances souveraines*), т. е. государственные расходы на дорожное строительство и т. д.

Ниже мы обсудим доводы, приведенные в защиту той точки зрения, что теория капитала А. Смита выросла из критического усвоения теории капитала Кенэ (это сделало бы последнего предшественником практически всех теорий капитала вплоть до Дж. С. Милля). Поскольку человек, первым взявшийся за разработку какой-либо темы, часто выдвигает разнообразные тезисы, развивающиеся впоследствии в значительно большем количестве направлений, чем он сам мог предполагать, то мы могли бы поддаться искушению возвести к Кенэ позднейшие достижения, связанные с одной стороны с именами Вальраса и Ирвинга Фишера, а с другой — с именами Джевонса и Бёма-Баверка. Однако вряд ли это допустимо, поскольку логическая возможность сделать это вытекает из широких и неопределенных возможностей, как истинных, так и ложных, заключенных во французском слове *avances*.

Разумеется, ни один человек, пишущий на экономические темы, не может усомниться в простом факте, что «капиталисты» предоставляют блага или деньги, необходимые для начала и осуществления производства, да и сами «капиталисты» всегда знали, что они «авансируют» деньги на эти цели. Однако одно из фундаментальных достижений научного анализа заключается в умении рассмотреть простой факт (например, что яблоки, срывающиеся с веток яблони, падают на землю) *при свете теоретического сознания*. Именно в этом заключается вклад Кенэ в теорию капитала: под впечатлением факта, что мелкие хозяева-фермеры не могли начать дело, не будучи *предварительно* обеспечены всем необходимым, он ввел в экономическую теорию капитал как богатство, накопленное до начала данного производства. Однако он лишь обозначил отправную точку, от которой широко расходятся возможные пути. В частности, Кенэ не проанализировал формирование и движение денежного капитала, отличающегося от «реального» капитала и имеющего свои особенности. Кенэ принял двуликость неденежного капитала, который, с одной стороны, является ценностью (*valeurs accumulées* — накопленные ценности), с другой — физическими благами, не осмысляющимися при этом проблем, например, затрат на транспортировку капитальных благ, которые связаны с ценностной, но не физической стороной.

IV. Третья глава книги II «Принципов» Маршалла открывается фразой: «Человек не в состоянии создавать материальные предметы как таковые». Этот тезис идет от Дж. С. Милля, Рэ и многих других более ранних авторов. Поскольку экономическая

наука занимается «созданием» или производством полезностей или рыночных ценностей, то трудно понять, как можно применить подобный тезис которым, кстати никто из этих авторов никогда не воспользовался. Но, как известно, физиократы использовали его в аналитических целях: вслед за Кантильоном они вывели из него свою теорию чистого продукта (*produit net*).

Только по этой причине мы вновь коснемся этой темы, поскольку ни утверждения физиократов относительно физического факта — исключительной продуктивной силы природы, ни их философские рассуждения в связи с этим сами по себе не заслуживают обсуждения. Нет ничего особенно интересного и в том, что Кенэ по этой причине назвал сельскохозяйственную деятельность «продуктивной» (деятельность фермера, а не наемного работника на ферме), а любую другую деятельность «бесплодной» (что, конечно, не означает «бесполезной»), хотя именно это часто вызывало недоумение и привлекало незаслуженно большое критическое внимание. В действительности нет ничего особенно странного в стремлении рассматривать экономику как машину, куда подаются и где перерабатываются материалы, порожденные природой, причем без каких-либо добавок. Единственный вопрос: полезна или нет подобная аналогия? Все сказанное по этому поводу в нашем обзоре работ Кантильона поможет нам быстро ответить на заданный вопрос.

В обзоре, посвященном Кантильону, мы видели, что теория «продукта земли» (*produit de la terre*) Кантильона и теория «чистого продукта» (*produit net*) Кенэ — одно и то же; это способ, хотя, разумеется, не самый правильный или удобный, выражения факта, что земельная рента является чистым доходом или содержит чистый доход. Но мы также видели, что эта теория идет дальше. Согласно ей, земельная рента является единственным существующим чистым доходом и охватывает весь имеющийся в обществе чистый доход, поскольку все другие доходы сбалансированы статьями издержек, т. е. их хватает только на возмещение издержек производства. Работник получает не больше того, что необходимо для восстановления его работоспособности. Капиталист получает не больше того, что с учетом риска необходимо для возмещения его капитала и восстановления *его* работоспособности; следовательно, труд, управление и капитал «бесплодны» в том смысле, что они производят полезности, но при этом не производят прибавочную ценность (*surplus value*).

В общем плане эта теория поразительно сходна с концепцией Маркса. Подобно тому как Кенэ считает, что только земля про-

изводит прибавочную ценность, Маркс считает, что прибавочную ценность производит только труд. Ни одна из этих теорий не признает какой-либо производительности за капиталом, под которым подразумеваются здания, оборудование, материал; он только направляет или воплощает прибавочную ценность, созданную соответственно землей и трудом, но не добавляет к ней ничего. До сих пор при таком ходе рассуждений теория Маркса выглядела как результат переключения схемы Кенэ с одного из двух первичных факторов производства Петти на другой. Однако между ними существует фундаментальное различие. Как мы убедимся ниже, метод, с помощью которого Маркс утверждает свой постулат о том, что производительность присуща только труду, вызывает возражения. Но у Маркса производительность труда — прежде всего ценностная производительность, и на базе своего закона ценности\* он был намерен показать, как прибавочная ценность возникает из механизма конкурентных рынков. Кенэ не сделал подобной попытки. Его исходной точкой являлась физическая производительность, т. е. создание материалов, а не ценностей. Он считал само собой разумеющимся, что физическая производительность предполагала ценностную производительность, и как бы стоял на перепутье, склоняясь то к одной, то к другой. Это определенная ошибка, которой избежал Маркс. Тем не менее выше было показано, что с помощью необходимых допущений можно выдвинуть предположение, что земельная рента является единственным формально обоснованным чистым доходом. Это означает в свою очередь, что если мы примем эти допущения, которые, надо сказать, немногим хуже тех, что используются с целью подтверждения справедливости трудовой теории ценности, то получим возможность трансформировать необоснованный вывод Кенэ относительно физической производительности земли, в обоснованный вывод о ее ценностной производительности. Ограниченный природный фактор, согласно гипотезе применяемый только в сельском хозяйстве, производит избыток над ценностью других используемых здесь факторов, а промышленная обработка продукции не увеличивает прибавочную ценность, поскольку конкуренция сведет всю ценность, добавленную обработкой к ценности материалов, к уровню ценности сельскохозяйственной продукции, которую потребляют для своих нужд фабриканты и их рабочие. Если мы с мрачной решимостью будем развивать эту аргументацию дальше, то сможем

---

\* <Принятый в российской экономической литературе устойчивый перевод — закон стоимости>.

вывести из *produit net* даже процент. Это довершило бы аналогию с теорией Маркса.

[d) Экономическая таблица]. Рассматриваемая нами до сих пор аналитическая структура логически вполне завершена, и тот, кто знает, как сложить вместе все ее части, чего не сделал сам Кенэ, не упустит ни одного фундаментального положения того всеобъемлющего трактата по чистой и прикладной экономике, который этот автор мог бы написать. Всеобъемлющее описание стационарного экономического процесса, которое Кенэ воплотил в своей «таблице», не является, как думали его ученики и практически все критики, центральной частью этой структуры — оно всего лишь служит дополнением к ней, которое можно отделить от остального. Поскольку эта часть картины написана на отдельном холсте,\* ее можно рассматривать отдельно. Она изображает движение расходов и продукции между общественными классами, которые в отличие от других трудов Кенэ здесь становятся действующими лицами в экономическом спектакле.

Конечно, экономисты всегда подсознательно имели в виду некую схему классовой структуры общества. Однако, Кантильон, кажется, был первым, кто открыто построил такую схему и использовал ее в качестве инструмента анализа. Эта схема была принята Кенэ. Соответственно, он выделял землевладельцев — *класс собственников* (*classe des propriétaires*), *высший класс* (*classe souveraine*) или, что существенно, *распределяющий класс* (*classe distributive*); фермеров-арендаторов — *производительный класс* (*classe productive*), а всех людей, занятых несельскохозяйственной деятельностью, он считал приблизительно эквивалентными буржуазии — *бесплодному классу* (*classe stérile*). Рабочие могли рассматриваться или как четвертый класс, или добавляться в соответствующих пропорциях к второму и третьему классам. Последнее предпочтительнее для выявления сущности схемы, которая является не столько схемой классов как социологических общностей, сколько схемой экономических групп, с какими мы встречаемся, например, в статистике занятых в сельском хозяйстве, горнодобывающей или обрабатывающей промышленности. Однако в любом случае у Кенэ точно так же, как и у Кантильона, труд играет полностью «пассивную» роль. Движение расходов и продукции при этом происходит между «бассейном» фермеров, «бассейном» землевладельцев и «бассейном» бесплодного класса. Нет необходимости воспроизводить картину этого движения, на-

\* <Здесь вновь игра слов, отмеченная выше. См. прим. пер. на стр. 286>.

рисованную Кенэ, или входить в ее детали.<sup>8</sup> Все, что должен запомнить читатель, заключается в следующем.

Допустим, что за единичный период  $t - 1$  землевладельцы получили и накопили из многих взносов ренты, которую им выплатили фермеры, так что в начале периода  $t$  они имеют в своих руках наличными весь чистый национальный доход (в понимании Кенэ), в то время как каждый представитель других классов готов продавать и производить. Нам нужно проследить извилистый путь этой ренты, или чистого дохода, в экономике. Допустим, сумма чистого дохода составляет 1000 денежных единиц. Далее предположим, что землевладельцы тратят 500 денежных единиц на сельскохозяйственную продукцию и 500 на промышленную, т. е. на продукцию бесплодного класса, который не производит прибавочную ценность. 500 единиц, которые таким путем возвращаются фермерам (поскольку они получены из их выплат  $t - 1$ ), прежде всего удваиваются в их руках за счет их производственной деятельности, создающей прибавочную ценность; таким образом, их число вырастает до 1000. Половина этой суммы идет на выплату ренты (которая не расходуется землевладельцами раньше периода  $t + 1$ ), одна четверть «потребляется» внутри аграрного сектора, последняя четверть уходит к «бесплодным» — в уплату за промышленные товары, необходимые фермерам. «Бесплодные» не увеличивают ценность, а только воспроизводят ее. Из 500 денежных единиц, полученных ими от землевладельцев, 250 уходят на потребление собственной продукции ими самими и их ра-

<sup>8</sup> Как уже было сказано, *Tableau économique* (слово «картина» (picture) лучше передает смысл, чем обычный перевод «таблица» (table)) была впервые напечатана в Версале в 1758 г. с большой помпой и церемониями; как говорят, Людовик XV сам правил гранки. Оригинал был потерян и лишь более чем через сто лет найден и факсимильно воспроизведен для Британского экономического общества (которое тогда называлось Королевским экономическим обществом) в 1895 г. с весьма ценным введением Г. Хиггса; впоследствии он перепечатывался неоднократно. Но сам Кенэ опубликовал другую упрощенную версию в работе «Анализ» (*Analyse*) (см.: *Quesnay. Oeuvres*), которую Дюпон использовал в своей «Физиократии» (*Physiocratie*). Читатель найдет перевод комментариев Кенэ в работе: *Monroe A. E. Early Economic Thought*. Мирабо в шестой части своей книги «Друг людей» представил собственную версию. Таким образом, имеются по крайней мере две «таблицы» (без учета мало отличающихся от них вариантов), где не только используются разные цифры, но имеются некоторые различия, важные с теоретической точки зрения. Однако мы не будем рассматривать данный вопрос. Лучший способ составить о нем общее представление при минимальной затрате усилий — просмотреть великолепную работу Сигето Цуру в приложении А к книге П. М. Суизи «Теория капиталистического развития» (*Sweezy P. M. Theory of Capitalist Development*. 1942).

ботниками. На другие 250 единиц они покупают пищу и сырье у фермеров, в чьих руках эти 250 единиц вновь удваиваются до 500. То же самое происходит с 250 единицами и любыми другими суммами, которые они позднее получают от фермеров. Какие бы суммы ни получали фермеры, они всегда удваиваются и используются на выплату ренты землевладельцам, которая должна быть истрачена за период  $t + 1$ , на потребление в аграрном секторе и новые приобретения у «бесплодных». Легко увидеть, что при правильном выборе продолжительности единичного периода в конце этого периода 1000 единиц чистого дохода вновь возвращаются в руки землевладельцев, которые в начале периода  $t + 1$  потратят эту сумму, и весь процесс, таким образом, возобновится. Читателю ясно, что все это, кроме представления в виде «картины», сводится всего лишь к более подробному развитию схемы Кантильона.<sup>9</sup> Но в чем польза этой «картины» и в чем суть аналитического достижения, которое она воплощает?

С самого начала следует отметить, что для таблицы Кантильона—Кенэ специфически физиократические черты не имеют значения. Поскольку мы их уже рассмотрели, то нас больше не интересует центральное положение, которое Кантильон и Кенэ предназначали землевладельцам и их расходам; мы могли бы с тем же успехом начать с одного из остальных двух «бассейнов». Не интересует нас больше и принцип, согласно которому каждая сумма, поступающая к фермерам-арендаторам, увеличивается (удваивается) в их руках, а суммы, получаемые производителями промышленных товаров, не увеличиваются, хотя для Кенэ он имел первостепенное значение. Каждый аналитик может приспособить

---

<sup>9</sup> Вопрос о том, как распределить «заслуги» между Кантильоном и Кенэ, одновременно и труден и интересен с точки зрения социологии научного изобретения и научного успеха. Кантильон, несомненно, чувствовал, что наука нуждается в инструменте такого рода, имел представление о том, как сконструировать такой инструмент, и указал реальный путь к достижению цели. Если бы один из этих трех критериев для присвоения авторства на изобретение отсутствовал, то вопрос решался бы значительно проще: Кантильон сделал для создания метода *tableau* то же, что Ньюкомен и Уатт *вместе взяли* — для создания парового двигателя. И все же я, открывенно говоря, не хотел бы ограничивать заслугу Кенэ оттачиванием концепций Кантильона и выстраиванием результатов в привлекающей внимание форме *tableau*. Подобное глубокое понимание и принятие всей душой работы другого человека — редкость, если только им изначально не движет полное сходство взглядов на предмет изучения. Более того, как будет отмечено ниже, важнейшим достижением здесь являлась идея кругооборота. Соблазнительно предположить, что эта идея пришла именно к Кенэ как к врачу — по аналогии с кровообращением в человеческом теле. К тому времени прошло уже сто лет со дня его открытия, сделанного Уильямом Гарвеем (1578–1657), но его значение не утратило своей остроты (*Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis*. 1628).

эти положения к своим теоретическим установкам. А нас в данном случае интересует идея tableau, рассматриваемая как инструмент исследования, метод tableau как таковой. Особое внимание следует обратить на три аспекта.

Во-первых с помощью метода tableau достигается колоссальное упрощение. В настоящее время экономическая жизнь несоциалистического общества состоит из миллионов связей или потоков между отдельными фирмами и домохозяйствами. Мы можем вывести касающиеся их теоремы, но мы никогда не сможем наблюдать их все. Но если мы заменим эти связи связями между классами или потоками агрегатных величин между классами (или другими потоками), то неуправляемое число переменных величин в экономической задаче резко сократится до нескольких переменных, с которыми легко работать и движение которых прослеживается без труда. Оставляя этот аспект для позднейшего обсуждения, мы пользуемся случаем отметить родственную проблему, хотя и отличную от данной. Взгляд на tableau наводит на мысль об «общественном продукте» и «общем объеме производства», который производится в результате одной последовательности этапов и распределяется в результате другой. Мы так привыкли к этой мысли, что редко понимаем, если вообще понимаем, насколько нереалистична данная абстракция. В социалистическом обществе производство и распределение действительно представляют собой разные процессы, но в капиталистическом обществе они являются всего лишь разными аспектами одного и того же процесса: общий объем капиталистических доходов формируется в ходе сделок, что и составляет производство в экономическом смысле в отличие от технологического. Тем не менее реалистическая идея формирования доходов (к тому же не имеющая никаких недостатков, которые могли бы оправдать пренебрежение ею) выступала на передний план только спорадически.<sup>10</sup> У французских экономистов физиократическая концепция распределения превалировала всегда; это же справедливо и в отношении английских экономистов, которые приняли ее, возможно, под влиянием Ж.-Б. Сэя в начале XIX в. Разумеется, концепция общего годового объема производства и его ценности (*valeur de les reproduction annuelle* — ценность ежегодного воспроизводства) находила применение и независимо от этого. Она была принята А. Смитом.

<sup>10</sup> Первым, кто поднял вопрос о том, что исследовать надо формирование, а не распределение доходов, был, по-моему, О. фон Филиппович в последних изданиях своего учебника (*Philippovich E., von. Grundriss der politischen Oekonomie*. 1-е изд. 1893-1907).

Во-вторых, упрощение аналитической схемы, достигнутое с помощью метода *tableau*, открывает большие возможности для применения в экономической теории методов количественного анализа. Кенэ яснее, чем Кантильон, понимал эти возможности и в этом отношении добился значительного прогресса по сравнению с последним. Его беспокоили статистические данные, и он пытался подсчитать стоимостные показатели годового объема производства и другие совокупные данные. Иными словами, он делал настоящую эконометрическую работу. Данный аспект приобрел новую актуальность в наше время благодаря великолепной работе Леонтьева;<sup>11</sup> по своим целям и методам она в корне отличается от трудов Кенэ, но тем не менее она возродила основной принцип метода *tableau*. Маркс, стоящий как бы между Кенэ и Леонтьевым, пытался сделать свою схему статистически операциональной.<sup>12</sup>

Третий, и наиболее важный, пункт. *Tableau* Кантильона — Кенэ явилась первым в истории методом *открытого* изложения концепции экономического равновесия. Кажется, что преувеличить важность этого достижения невозможно, однако восхищенные последователи Кенэ не преуспели в этом. Экономическая наука, подобно любой другой, началась с исследования «локальных» связей между двумя или более экономическими величинами, таких как зависимость между ценой товара и его количеством на рынке; другими словами, она началась с «частичного анализа» (см. часть IV, главу 7, § 6). Разрозненные усилия подобного рода были направлены на цели, которые представляли некоторый практический интерес или вызывали любопытство по другим причинам. Очень медленно и постепенно экономисты продвигались к пониманию того факта, что между экономическими явлениями существует всеохватывающая взаимозависимость, что они все каким-то образом связаны. Мы видели, что лучшие трактаты о торговле XVII в., такие как трактаты Чайлда или Поллексфена или в еще большей степени работы Дэвенанта, явно свидетельствуют о растущем понимании этой взаимосвязи. Но ученые никогда не занимались исследованием того, как экономические явления связаны между собой. Они воспринимали эту связь, как нечто само собой разумеющееся и либо были не способны осмыслить четко сформу-

<sup>11</sup> *Leontief Wassily W. The Structure of the American Economy. 1941 (пересмотр. изд. — 1951).*

<sup>12</sup> О схеме воспроизводства Маркса см.: *Sweezy P.M. Theory of Capitalist Development. 1942. Appendix A.*

лированный вопрос о взаимозависимости, либо не видели в этом необходимости. Они были очень далеки от понимания фундаментального значения этой всеохватывающей взаимозависимости, научный анализ которой может существенно пополнить знания практиков об экономических явлениях. Старые авторы не понимали и того, что основным из всех специфически научных вопросов является вопрос о том, можно ли с помощью этого анализа получить соотношения, по возможности однозначно определяющие все цены и количества благ, составляющих экономическую «систему». Я уже говорил, что первое открытие любой науки — ее открытие самой себя. Но это не означает, что с самого начала выясняется, в чем состоит ее основная проблема. Это приходит намного позднее. В экономической науке это произошло особенно поздно. Схоластическая экономическая наука всего лишь подозревала наличие таких проблем. Экономисты-бизнесмены XVII в. подошли к ним ближе. Инар, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Рикардо и др. каждый по-своему стремились или, скорее, нащупывали путь к выявлению главной проблемы экономической науки. Однако настоящее открытие было сделано лишь Вальрасом, чья система уравнений, определяющая (статическое) равновесие в системе взаимозависимых величин, — это Magna Carta\* экономической теории; технические несовершенства данного памятника конституционного права помогают провести такую аналогию (см. часть IV, главу 7, § 7). История экономического анализа, или, во всяком случае, его чистого «ядра», от Чайлда до Вальраса должна быть написана с точки зрения постепенного осмысления этой концепции.

Итак, у Кантильона и Кенэ существовала концепция всеобщей взаимозависимости всех секторов и всех элементов экономического процесса, где, по словам Дюпона, ничто не обособленно и все связано между собой. Их отличительная заслуга, до некоторой степени разделенная Буагильбером, состояла в том, что, не понимая возможностей метода, позже описанного в общих чертах Инаром, они представили эту концепцию с помощью своего метода *tableau*. Поскольку идея выражения чистой логики экономического процесса посредством системы совместных уравнений оказалась вне поля их видения, они представили его в виде картины. В каком-то смысле этот метод был примитивным, ему недоставало

---

\* <Magna Carta (Magna Charta) — «Великая хартия» вольностей. Английские бароны вынудили короля Иоанна Плантагенета подписать эту хартию в 1215 г. В общем смысле Magna Carta означает любую конституцию или основной закон>.

строгости. Именно поэтому он вышел из употребления, и исторически анализ стал развиваться в другом направлении. Однако в одном отношении он превосходил другой, логически более совершенный, метод: он рассматривал (стационарный) экономический процесс как круговорот, повторяющийся в каждый период. Здесь не только нашел отражение тот факт, что экономический процесс логически самодостаточен и самостоятелен, но и появилась возможность обозначить некоторые его черты, в частности определенные последовательности, которые не выделяются столь же явно в системе совместных уравнений. Кенэ идентифицировал общее равновесие, т. е. равновесие в экономике в целом в отличие от равновесия в каком-либо отдельном небольшом ее секторе, с равновесием социальных групп, как это делают и современные кейнсианцы.<sup>13</sup>

#### 4. Тюрго

Тюрго не был эконометристом, но его великое имя помещено в нашей галерее рядом с именами физиократов, поскольку его часто, хотя в большинстве случаев с оговорками, относили к этой категории. На первый взгляд это кажется вполне обоснованным, поскольку главная работа Тюрго изобилует высказываниями, подчеркивающими его приверженность к специфически физиократическим догмам. Например, он утверждает, что земля является единственным источником богатств, а земледелец (*cultivateur*) производит не только средства для оплаты своего труда, но и доход, идущий на оплату труда класса ремесленников и других наемных работников (*stipendiés*); что деятельность фермера является главным двигателем социальной машины, в то время как промышленник перерабатывает сырье; что фермер поддерживает и кормит все другие классы, и т. д. Но если вчитаться повнимательнее, то можно сделать поразительное открытие. Мы увидим, что подобные высказывания по своей сути чужды рассуждениям, в которые они вклиниваются. Их можно легко изъять из текста, не нанеся ему урона. Если придерживаться неизменно применяемого в этой книге при интерпретации подобных символов веры принципа, а именно рассмотреть их причастность к аналитической процедуре и ее результатам, то нам останется только пренебречь

<sup>13</sup> См. в частности: *Robinson Joan* (Джоан Робинсон). *The Theory of Money and Analysis of Output*//*Review of Economic Studies*. 1933. Oct.

этими отрывками. Какие же выводы следует из этого сделать? Прежде всего, общепринятые правила критического прочтения старых текстов заставляют нас с подозрением отнестись к подобным посторонним вкраплениям. Представляется, что и в данном конкретном случае недоверие может быть обоснованным, если учесть не очень дружескую дискуссию между Дюпоном и Тюрго относительно публикации рукописи последнего, исход которой нам неизвестен. Однако я не буду сосредоточивать внимание на этом моменте. Совершенно независимо от этого обстоятельства, учитывая то, что нам известно о благородном характере Тюрго, нетрудно понять, почему, собираясь опубликовать свою работу, он мог временно отклониться от своего пути, чтобы отдать дань уважения группе, с которой он был солидарен по многим вопросам экономической теории, возможно многое у нее почерпнув, например в области теории капитала, и с которой он соглашался всей душой по всем практическим вопросам экономической политики, не разделяя при этом некоторые идеи их политической философии. Согласно данной гипотезе, ставящей его морально выше всех, кто подчеркивает отличия своей концепции, чтобы дистанцироваться от коллег, которым он многим обязан, Тюрго следовало бы классифицировать не как физиократа с некоторыми оговорками, а как нефизиократа, испытывающего симпатию к физиократии. Пожалуй, именно такое определение было бы верным.

Мы постарались отделить Тюрго от физиократов не только для того, чтобы он занял собственный пьедестал, как он того заслуживает, но также и для того, чтобы поставить этот пьедестал в подобающем месте, поскольку теснее, чем с физиократами, он был связан с другой группой, если слово «группа» применимо к лицам, очень слабо связанным между собой и не создавшим школы в собственном смысле слова. Центральной фигурой группы был сильный и влиятельный человек, не ставший автором какой-либо доктрины и не издавший какой-либо «системы». Речь идет о Гурнэ.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Жак К. М. Венсан де Гурнэ (1712–1759) был коммерсантом, выходящим из буржуазных слоев (фамилия Гурнэ с частицей «де» происходит от названия имения, оставленного ему деловым партнером); позднее он стал государственным служащим, купив должность «интенданта коммерции». Он был незаурядным человеком такого типа, какой редко встречается за пределами Англии. Однако его огромные заслуги перед экономической наукой нелегко охарактеризовать. Они не представлены в виде публикаций (хотя Гурнэ писал доклады и примечания к переводам английских работ по экономике). Его письма и различные высказывания (одно из них,

Этот факт проливает свет на то окружение, в котором работал Тюрго как экономист. Гурнэ исключительно много путешествовал и был компетентным наблюдателем развития экономики в Англии. Многие из того, что нам известно о его взглядах, имеет явно английский привкус. Среди его трудов имеется несколько переводов, в частности перевод книги Чайлда (*Child. New Discourse*). Тюрго был личным другом Гурнэ и интересовался работами английских экономистов, особенно Юма и Джозайи Таккера, работы которых он переводил. Напрашивается вывод, что перед нами пример того, как не только политические, но и научные идеи пересекали Ла-Манш в обоих направлениях. Возможная последовательность Чайлд—Юм—Тюрго становится особенно интересной, если после Тюрго добавить имя А. Смита.<sup>2</sup> Из французских экономистов наиболее значительное влияние на Тюрго оказал Кантильон.

Влестящие достижения Тюрго, его неоспоримое место в истории нашей науки и его очевидное право быть членом триумvirата вместе с Беккариа и А. Смитом являются достаточно вескими основаниями для того, чтобы остановиться несколько подробнее на этом человеке и его карьере.

---

ставшее знаменитым, приписывается ему: *laissez-faire, laissez-passer*\*) не могут в достаточной мере показать значение его деятельности для истории нашей науки. Нам хорошо известно, какую роль он играл в формировании мнения относительно экономической политики, оказывая определяющее влияние на некоторые лучшие умы века; нам также в общих чертах известно, в защиту каких принципов он выступал: он ратовал за ослабление оков государственного контроля, за умеренный протекционизм и т. п. Однако мы можем только *почувствовать* или воссоздать по нескольким указаниям его формирующее влияние на экономический анализ. Он как бы назначал себя наставником своих друзей, которых умел выбирать, и как хороший наставник сам отступал на второй план, направив обучение своих подопечных в заданных направлениях. Два факта доказывают его право на нашу благодарность: его успешная пропаганда работы Кантильона и его вклад в экономическое образование Тюрго. Однако под этими двумя пиками его заслуг должно располагаться широкое «плоскогорье». Этот человек, никогда не учивший в буквальном смысле слова, вероятно, был одним из величайших учителей в экономической науке — учителем в самом высоком значении слова, Учителем с большой буквы. Следовательно, он, очевидно, заслужил то место, которое ему традиционно предоставляет практически каждый учебник по истории экономической науки или экономической мысли, какими бы ни были факты, это подтверждающие. Его имя присутствует во всей литературе по физиократии. Г. Шелль написал книгу, которая все еще служит эталоном: *Schelle G. Vincent de Gournay. 1897*. См. также статью Тюрго «Похвала Венсану де Гурнэ» (*Turgo. Eloge de Vincent de Gournay*) в сборнике Тюрго *Oeuvres*, а также: *Oncken A. (A. Онкена). Die Maxime: Laissez-faire et laissez-passer... 1886*.

---

\* <Буквально: «не вмешивайтесь, дайте дорогу» (фр.)>.

<sup>2</sup> См. ниже, глава 6, § 6.

Анн Робер Жак Тюрго, барон де л'Ольн (1727–1781), называемый современниками господином де Тюрго, известный до 1750 г. как аббат де Брюкур, происходит из старинной, хотя и не очень знатной, довольно состоятельной, хотя и не богатой нормандской семьи; по своему социальному положению он относился к нетитулованному мелкопоместному дворянству (в Англии этот слой назывался *gentry*, а в Германии — *Junker*). Его, как третьего сына в семье, готовили к церковной карьере, и духовное образование (что не часто признается) позволило в полной мере раскрыться его блестящим и рано проявившимся дарованиям и стало одним из факторов, приведших его к успеху.

Став аббатом в Сорбонне, он проявил незаурядные способности, был полон широкомасштабных планов (в научных и других областях), много писал, участвовал в дискуссиях; здесь юный Тюрго ненадолго попал под влияние «Секты энциклопедистов», которые сыграли заметную роль в формировании его личности. Затем он сменил карьеру священнослужителя на государственную службу и остался государственным служащим до конца своей активной жизни. Чиновничество всех времен и народов имеет все основания для гордости не только потому, что Тюрго был украшением французской бюрократии «старого режима», но и потому, что он в свою очередь испытал на себе влияние этой бюрократии, треть в его жизни влияние среды, способствовавшее становлению его личности. Его деятельность в качестве интенданта (генерального управляющего) Лиможского финансового округа с 1761 по 1774 г. получила высочайшую оценку, чему способствовали продемонстрированные им рвение, находчивость и общительность. Благодаря достигнутым успехам он был назначен в 1774 г. министром морского флота, а через несколько месяцев стал генеральным контролером финансов (т. е. министром финансов и торговли и уполномоченным по проведению общественных работ); последнюю должность он занимал в течение двадцати месяцев, и большую часть этого времени его мучила подагра. После опалы Тюрго вышел в отставку и не возвратился на государственную службу до конца жизни.

Основное значение описания карьеры Тюрго для истории экономического анализа заключается не только в том, что мы, экономисты, можем законно гордиться таким блестящим коллегой, но и в том, что оно объясняет причины, по которым его научная работа не получила должного развития. Биографы и историки экономической мысли всегда уделяли чересчур большое внимание деятельности Тюрго в качестве министра финансов и при этом распространили две легенды, имеющие отношение к социологии нашей науки, а потому требующие краткого упоминания. Но прежде всего я хочу заявить, что никоим образом не собира-

юсь «развенчивать» одну из немногих значительных фигур, которыми может похвалиться история экономической науки: само собой разумеется, что никому не пришло бы в голову написать объемный труд о великих министрах финансов, не включив в него Тюрго. Первую из двух распространенных легенд можно было бы озаглавить: «Экономист в действии». Она рассказывает о человеке, который путем научного анализа находит лекарства от болезней страны и, получив власть, бросается их применять. На самом деле все было не так. Тюрго был прежде всего великим государственным деятелем и именно с этой точки зрения смотрел на государство и на общество. Поэтому, получив министерскую должность (слово «власть» было бы в данном случае неуместным), он взялся за улучшение финансового управления и спасение находившихся в отчаянном положении королевских финансов. Он добился замечательных, почти невероятных успехов, и в этом заключались его основные достижения. Он также добился установления королевским декретом свободной внутренней торговли зерном и принял еще одну, важную для нас меру: упразднил *jurandes* — ремесленные гильдии. Эти и другие, менее значительные, меры не имели политического успеха главным образом из-за тактических просчетов, немедленно вызвавших резкое сопротивление. Не обошлось и без банального невезения: недовольство декретом о свободной внутренней торговле зерном возникло в связи с тем, что его введение совпало с неурожаем. Следует отметить, что все сделанное Тюрго или намеченное им к осуществлению не имеет отношения к какой-либо научной или другой доктрине. Речь идет о деятельности чрезвычайно способного государственного чиновника, знавшего идейные течения своего времени и старавшегося служить им на практике. Он не слишком увлекался абстрактными принципами, что, безусловно, только к его чести. В одном случае он ввел протекционистскую пошлину, в другом прибег к созданию государственного предприятия (в химической промышленности). Физиократы, конечно, приветствовали его деятельность и вели пропаганду в его пользу, но они имели мало отношения к его политике и никак не были причастны к его вступлению в должность, поскольку в 1774 г. они уже лишились какого-либо влияния. По тем же причинам его падение не было связано с поражением какой-либо физиократической доктрины.

Вторая легенда вытекает из легенды о Французской революции. Поскольку большинство пишущих о Тюрго сочувствовали и сочувствуют последней, то они как прежде, так и теперь неизбежно восхваляют немногих избранных слуг «старого режима», которые как «герои боролись за торжество света во мраке деспотизма». Тюрго является главным объектом такого рода традиционных восхвалений, инициированных самими революционерами,

которые иногда называли его «истинным гражданином». Некоторые писатели добавили свой штрих к портрету, утверждая, что Тюрго был поставлен на должность министра по воле народа и смещен усилиями придворных интриганов. На самом деле Тюрго был назначен на должность генерального контролера монархом, руководствовавшимся самыми добрыми намерениями и искавшим среди своих чиновников человека, наиболее подходящего для этой работы. Если и было другое влияние, то только со стороны министра де Морепа. Получив должность, Тюрго, несомненно с самыми лучшими намерениями, в значительной мере опирался на королевскую прерогативу. При поддержке монарха министру легко составлять блестящие декреты и силой навязывать их парламентариям, отказавшимся их одобрить. Трудность заключалась в том, чтобы заставить социальные группы и население в целом принять эти декреты. Вначале Людовик XVI оказывал Тюрго полную поддержку, но, имея много хороших качеств, он не был деспотом и был не склонен применять силу. Хотя Тюрго был мишенью интриг двора и других кругов (в основном из-за его политики урезания расходов), со временем доминирующим фактором в создавшейся ситуации стало массовое сопротивление сельского пролетариата и ремесленных гильдий; возникали даже местные мятежи, которые Тюрго подавлял твердой рукой. Так что точнее было бы сказать, что Тюрго был возведен на министерский пост королем, а свергнут народом (хотя эта правда также была бы неполной). Для нас этот факт имеет значение, поскольку он проливает свет на личность одного из величайших ученых-экономистов всех времен. Согласно нашей интерпретации, король выглядит лучше, чем принято считать, но и образ Тюрго ничуть не страдает. Мы видим прекрасного чиновника, который был хорошим администратором и, возможно, советником, но плохим лидером и тактиком. Мы убеждаемся в его честности и твердости (на те же черты указывают и другие толкователи), а также его преданности королю, которую, возможно, не столь ценят другие интерпретаторы. Ответ на чисто академический вопрос, мог ли Тюрго предотвратить революцию, останься он на посту министра, зависит от того смысла, который мы вкладываем в слово «революция». Если мы понимаем под этим свержение монархии и кровавые эксцессы, то ответ должен быть утвердительным, однако он добился бы этого как благодаря реформам, которые он мог бы провести, так и в равной мере благодаря своей готовности вызвать войска. Фригийский колпак не подойдет Тюрго.\*

\* <Красный фригийский колпак стал эмблемой свободы во время Французской революции 1789–1799 гг.>.

Его главное произведение «Размышления об образовании и распределении богатств» (*Réflexions sur la formation et la distribution des richesses*) было написано в 1766 г. для двух обучающихся во Франции китайцев и опубликовано в еженедельнике «Эфемериды» (*Ephémérides*), за 1769–1770 гг.; английский перевод вышел в 1808 г. Как указывалось выше, при публикации работы возникли некоторые сложности, связанные с попыткой редакторского вмешательства Дюпона (предположительно, он действовал в интересах физиократической ортодоксии). Из менее значительных работ, дополняющих данное произведение, наиболее важными являются «Похвальное слово Гурнэ» (*Eloge de Gourna*), письмо о бумажных деньгах, адресованное аббату де Сисэ (1749; это его первая публикация по экономике), заметки по поводу эссе о косвенном налогообложении Сен-Перави (1767) и Граслена (1767) и работа о денежных ссудах (1769). Его вклад в Энциклопедию, включая такие статьи, как «Существование», «Расширяемость» и «Этимология», а также его критика философии Беркли (и многие другие работы) представляют интерес как доказательства широты его творческого диапазона. «Собрание сочинений» (*Oeuvres*) Тюрго было издано Дюпоном де Немуром (1808–1811) и переиздано Шеллем (1913–1923). Работу Леона Сэя «Тюрго» (*Say Léon. Turgot*) перевел на английский язык М. В. Андерсон (1888). Стоит упомянуть также о работах Альфреда Неймарка «Тюрго...» (*Neymarck. Turgot...*, 1885); С. Файльбогена «Смит и Тюрго» (*Feilbogen S. Smith und Turgot*. 1892), У. У. Стивенса «Жизнь и произведения Тюрго» (*Stephens W. W. The Life and Writings of Turgot*. 1895) и особенно книгу Г. Шелля «Тюрго» (*Schelle G. Turgot*. 1909).

Если мы теперь попытаемся сравнить Тюрго-ученого с Беккариа и А. Смитом, то прежде всего мы будем поражены значительным сходством между ними: по образованию и широте мировоззрения все трое были эрудитами; все трое стояли в стороне от деловой и политической арены; все трое были всей душой преданы своему делу. Тюрго был, несомненно, самым блестящим из них, хотя его блеск носил оттенок некоторой поверхностности, правда не в экономической науке, а в далеких от нее интеллектуальных областях. Основное различие между ними с точки зрения их научных достижений заключается в том, что А. Смит расходовал очень мало энергии на ненаучную работу, Беккариа — очень много, а Тюрго начиная с 1761 г. тратил почти всю свою энергию на дела, не относящиеся к науке. В течение тринадцати лет, проведенных в Лиможе, у Тюрго было мало досуга; во время почти двухлетнего пребывания на министерском посту у него практически совсем не было свободного времени; вероятно, он занимался творческой работой в период с 18 до 34 лет. Этим

объясняется не только неодинаковый уровень тех трех его работ, о которых мы говорим, но также и разная степень их законченности.

Тюрго был слишком одарен, чтобы написать что-либо незначительное. Тем не менее уделять внимание большинству работ Тюрго стоит только специалистам по его творчеству. Особняком стоят «Размышления» (*Réflexions*), и мы ограничимся только этой работой, впрочем за одним исключением. Небольшая по объему работа была, очевидно, написана наспех и никогда внимательно не пересматривалась. Она выглядит так, как выглядела бы книга Маршалла «Принципы», если бы уничтожили ее текст, примечания и приложения и сохранили только краткие выводы на полях, да и то не все. По сути своей это не более чем подробное аналитическое оглавление, написанное для основного текста несуществующего трактата. Но и в таком виде его теоретическая схема, даже если не говорить о приоритете, явно выше теоретической схемы «Богатства народов». Чтобы прийти к такому выводу, нет необходимости приписывать Тюрго ничего, что не было им сказано в действительности, или придавать сказанному им новый смысл, который сам он не имел в виду. Он сказал то, что сказал, не более и не менее того. Назвав работу незаконченной или схематичной, я не имел в виду, что для ее завершения требуется выдвинуть определенные догадки или широко ее интерпретировать. Она представляет собой целостную систему экономической теории. Любой компетентный экономист способен восполнить все, что отсутствует в этой работе, ничего не добавляя, кроме критических замечаний, из своего собственного запаса знаний. Разумеется, восхищение «Богатством народов» вызвано не только теоретической схемой книги. Она завоевала признание благодаря заключенной в ней зрелой мудрости, роскошным примерам, эффективной защите определенной экономической политики. Следует также отметить продуманность, с какой создавалось это творение профессионального ученого: книга явилась плодом терпения, скрупулезной работы и самодисциплины. Нет никакой уверенности в том, что Тюрго мог создать что-либо подобное, если бы даже владел всем досугом в мире. Обе работы имели далеко не одинаковый успех, из чего можно сделать вывод: в экономической науке недостаточно одних только интеллектуальных достижений; большое значение имеют законченность, отточенность, возможность приложения, а также иллюстративный материал. Даже в наши дни, в экономической науке пока

невозможно (как, например, в физике) повлиять на ход мировой научной мысли, опубликовав статью, занимающую меньше одной страницы. Работа Тюрго получила столь высокое признание только благодаря его известности в других областях деятельности. Но и при этом она не принесла тех плодов, какие могла бы принести.

Поскольку единственным удовлетворительным способом резюмировать это резюме является его переписывание и поскольку к тому же мы коснемся наиболее важных вопросов в последующих главах, то здесь мы предложим вместо «Руководства для читателя» только несколько общих пояснений. Приблизительно первая треть трактата (первый тридцать один раздел),<sup>3</sup> представляет собой основу, включающую схему классов Кантильона—Кенэ и анализ их связей в производстве и распределении, ярко окрашенный в физиократические цвета. С самого начала настойчиво выдвигаются некоторые фундаментальные предположения, такие как тезис, согласно которому конкуренция всегда приводит к снижению заработной платы до уровня прожиточного минимума. Разделы XXXII—L содержат теорию бартера, цен и денег, которая в рассматриваемых рамках, почти безошибочна и, за исключением отсутствующей формулировки маржинального принципа, находится не на таком уж большом расстоянии от теории Бёма-Баверка. Остальная часть работы посвящена главным образом теории капитала, которая предвосхищает большую часть исследований XIX в., и таким темам, как процент, сбережения и инвестиции, а также капитальная стоимость. В отдельных вопросах трудно утверждать или отрицать оригинальность положений автора, тем более что Тюрго не дает ссылок, но это простиительно при таком схематическом изложении. Однако всестороннее видение всех основных фактов и их взаимосвязей в соединении с блестящей формулировкой настолько очевидно, что благодаря одному этому можно было бы рассматривать всю работу как самобытный вклад в науку, даже если бы ни одно из высказанных положений не принадлежало исключительно Тюрго. В этом трактате, посвященном прежде всего вопросам ценности и распределения, ставшим столь популярными в последние десятилетия XIX в., практически невозможно найти хотя бы одну

<sup>3</sup> [По-видимому, номера разделов «Собрания сочинений» (Oeuvres) в издании Шелля несколько отличаются от первоначального варианта, опубликованного в Ephémérides, где был изъят один (или более) раздел. См. главу 6, § 7, прим. 5].

ошибку. Не будет преувеличением сказать, что аналитическая экономическая наука потратила целое столетие, чтобы подняться до того уровня, которого она могла достичь за двадцать лет после опубликования трактата Тюрго, если бы его содержание было надлежащим образом понято и усвоено внимательными профессионалами. На самом деле даже Ж. Б. Сэй, наиболее важное звено между Тюрго и Вальрасом, не сумел найти полноценного применения трактату Тюрго.

## Глава 5

# НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ, ВОЗРАСТАЮЩАЯ И УБЫВАЮЩАЯ ОТДАЧА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ

1. Принцип народонаселения
  - [a] Популяционистская позиция]
  - [b] Накопление фактических знаний]
  - [c] Возникновение «мальтузианского» принципа]
2. Возрастающая и убывающая отдача и теория ренты
  - [a] Возрастающая отдача]
  - [b] Убывающая отдача: Стюарт и Тюрго]
  - [c] Исторически возрастающая отдача]
  - [d] Земельная рента]
3. Заработная плата
4. Безработица и «положение бедняков»

### 1. Принцип народонаселения

Естественно, что проблемы народонаселения, т. е. вопросы о том, чем определяется размер человеческих обществ и каковы последствия роста или убыли численности жителей какой-либо страны могут в первую очередь привлечь внимание внешнего наблюдателя, рассматривающего эти общества из научной любознательности. Мнение о том, что ключ к разгадке исторических процессов следует искать в вариациях численности населения, носит односторонний характер, но оно в такой же мере приемлемо, как и любая другая историческая теория, основанная на предрассудке, будто должна существовать единственная движущая сила общественного или экономического развития, такая, например, как технология, религия, раса, классовая борьба, накопление капитала и т. д. Поэтому вполне объяснимо, что с момента возникновения экономического анализа проблемам народонаселения уделялось большое внимание и что все ведущие экономисты-теоретики рассматриваемого периода придавали им чрезмерное значение, а также что они заняли почетное место в одной из великих

досмитовских систем экономической науки, которую дала Англия, — в «Основаниях» сэра Джеймса Стюарта.

Но существовала также и практическая причина, в силу которой проблемы численности населения занимали видное место. С тех пор как первобытные племена стали решать свои демографические проблемы путем прерывания беременности или детоубийства, этот вопрос никогда не переставал тревожить человечество в целом и социальных философов в частности. Приблизительно до конца XVI в. эта озабоченность происходила из того, что соотношение между коэффициентами рождаемости и смертности было несовместимо со стационарными или квазистационарными экономическими условиями, т. е. проблема народонаселения заключалась в существующем или грозящем перенаселении. Именно так эта проблема стояла перед Платоном и Аристотелем. Противоположная причина для тревог была совершенно исключительным явлением — примером может служить убыль численности «коренных» римлян в последнем веке существования Римской республики и на протяжении всей эпохи Римской империи. В средние века, в те времена, когда не было крестовых походов, войны Алой и Белой розы, эпидемий и подобных событий, сокращающих численность населения, замки низших слоев военного класса — простых рыцарей — страдали от перенаселенности; ремесленные цехи также могли предложить средства к существованию только ограниченному числу людей и постоянно испытывали затруднения с вечно удлиняющимися «листами ожидания». Но в XVII и XVIII вв. все переменилось. Мы уже рассматривали практические экономические проблемы стран того периода, бедных товарами, но богатых возможностями. С точки зрения этих возможностей проблема народонаселения состояла в недостаточной населенности. Более того, некоторые страны, прежде всего Германия и Испания, действительно испытывали депопуляцию в течение нескольких десятилетий подряд.<sup>1</sup> Как мы видели, эти условия преобладали в то время, когда идеи национального или территориального могущества и экспансии наполняли ум и сердце каждого.

[а) Популяционистская позиция]. В сложившихся условиях правительства начали поощрять рост численности населения всеми доступными им средствами. Эти меры менялись в зависимости от времени и места их проведения, но в некоторых случаях, например во Франции при Кольбере, они были такими же энергичными, как и те, к которым прибегают современные диктаторы.

<sup>1</sup> Немецкие и в особенности испанские ученые-экономисты могли преувеличить степень депопуляции, но сам факт не подлежит сомнению.

Позиции экономистов соответствовали настроениям их эпохи. Все, за редким исключением, с энтузиазмом относились к идее «населенности» (*populosity*) и быстрого роста численности населения. До середины XVIII в. экономисты были почти единодушны в своем «популяционизме»; подобное единодушие вряд ли когда-либо наблюдалось при обсуждении других вопросов. Многочисленное и растущее население было наиболее важным *признаком* благосостояния; оно было главной *причиной* благосостояния; оно было самим благосостоянием, величайшим достоянием, каким только могла обладать любая нация. Высказывания такого рода столь многочисленны, что делают их цитирование излишним. Например, в Англии к таким лидерам популяционистского движения, как Чайлд, Петти, Барбон, Дэвенант, примкнули почти все рядовые экономисты.<sup>2</sup>

Тот факт, что ученые Германии и Испании дальше других продвинулись в этом направлении, полностью объясняется условиями, сложившимися в этих странах. Поскольку население Италии было сравнительно плотным и возможностей для национальной экспансии там было меньше, итальянские экономисты не зашли так далеко в данном, а позднее в противоположном направлении, как их английские и французские собратья. Как всегда, нас интересует один вопрос: каково экономическое объяснение всего этого и, имеет ли это какое-либо отношение к экономическому анализу? Ответ очевиден. Аналитическая составляющая популяционистской позиции сжимается до размеров одного предложения: *при данных условиях* рост численности населения приведет к росту реального дохода на душу населения. И этот тезис был совершенно правильным.

За незначительным исключением, эти условия существенно не изменились в XVIII в. или даже в первое десятилетие XIX в. Следовательно, очень нелегко объяснить, почему противоположная позиция, которую можно было бы назвать антипопуляционистской или мальтузианской (по фамилии человека, сделавше-

---

<sup>2</sup> Большинство этих авторов традиционно относились к группе «меркантилистов», которую обвиняли в том, что она «путала» богатство с деньгами или золотом и серебром; к этому мы вернемся позднее. В связи с этим интересно отметить, что некоторые ученые, более всего виновные в такой путанице, например У. Петит (*W. Petty*), автор работы *Britannia Languens*, «путают» богатство также с численностью населения. Так, этот автор однозначно заявлял, что «люди... это самое главное, фундаментальное и драгоценное благо». Не следует ли нам остановиться и подумать, прежде чем принять на веру какую-нибудь из этих «путаниц»? Однако были и голоса против. Одним из ранних противников популяционизма был Малин (*Malynes*), уже тогда указывавший на «определенные ограничения», которые со временем станут действовать в связи с ростом населения.

го ее популярной в XIX в.), утвердилась среди экономистов начиная с середины XVIII в. Почему экономисты испугались угрозы перенаселения? В качестве первого шага к решению данной проблемы определим место возникновения мальтузианской концепции. Немецкие и испанские экономисты не убоялись пугала. В действительности ни в Германии, ни в Испании никогда не было своего местного мальтузианства. То мальтузианство, которое когда-либо имело место в этих странах, было плодом английского учения, распространившегося в первой половине XIX в. Как указывалось выше, итальянцы имели некоторые реальные причины для опасений, и они в действительности слегка испугались. Однако колыбелью истинно антипопуляционистской доктрины была Франция. Следовательно, второй шаг к решению проблемы состоит в том, чтобы определить, не было ли в экономическом и политическом положении Франции чего-нибудь такого, что могло бы, несмотря на «объективные» возможности, вызвать пессимистические настроения относительно экономического будущего страны и стать причиной изменения взглядов. Причины для пессимизма действительно были. Практически в течение всего XVIII в. Франция сражалась с Англией и проигрывала ей. Многие выдающиеся умы Франции к 1760 г. начали смиряться с этим поражением и перестали рассчитывать на возможности национальной экспансии. К тому же устаревшие институциональные структуры последнего полувека монархии не благоприятствовали мощному экономическому развитию внутри страны. В результате мысли о смелых авантюрах сменились размышлениями о возможностях, предоставляемых развитием сельского хозяйства. На смену мечтам о развитии пришли представления о «зрелой», или квазистационарной, экономике. И наконец, третий шаг заключается в том, чтобы объяснить, почему антипопуляционистские настроения овладели умами англичан, несмотря на то что в Англии преобладали условия, прямо противоположные тем, что наблюдались во Франции. Чтобы понять это, необходимо четко представить себе, что долгосрочная тенденция любой эволюции — это одно, а череда краткосрочных ситуаций, через которые она прокладывает путь, — другое. Таким образом, английские популяционисты XVII–XVIII вв. могли быть совершенно правы, рассматривая быстрый рост численности населения как движущую силу, условие и признак экономического развития; столь же правы были и те из них (а таких было большинство), кого в то же время тревожили краткосрочные неблагоприятные обстоятельства, в особенности безработица, которой сопровождалось это развитие. Это не означает, что их анализ или их рекомендации были

противоречивы. Но промышленная революция последних десятилетий XVIII в. сопровождалась более серьезными, чем раньше, краткосрочными ухудшениями ситуации именно благодаря ускорению темпа экономического развития. Вследствие этого некоторые экономисты — как мы отметим ниже, речь идет о меньшинстве — были так потрясены этим, что упустили из виду общую тенденцию. Вытекающие отсюда антипопуляционистские настроения привели к появлению ряда аналитических тезисов, которые в XIX в. стали известны как мальтузианский принцип, или мальтузианская теория народонаселения. Прежде чем приступить к рассмотрению ее ранней истории, мы должны уделить внимание другой теме.

**[б) Накопление фактических знаний].** В Соединенных Штатах первая перепись населения была предпринята в 1790 г.; в Англии — в 1801 г. В Канаде и некоторых странах континентальной Европы переписи проводились и раньше; однако только в первые десятилетия XIX в. стала регулярно появляться надежная информация о численности населения. Следовательно, ученые XVII и XVIII вв. теоретизировали о народонаселении, не обладая статистическими данными. Все, чем им приходилось руководствоваться, за исключением редких случаев, когда можно было получить результаты местных наблюдений, это недостоверные указания и смутные представления. Ввиду этого английские ученые вполне могли расколоться во мнениях относительно того, росло или убывало население Англии в течение столетия, за период с 1650 по 1750 г. Поэтому предпринятые в стремлении рассеять этот туман исследования и вытекающие из них дискуссии образуют довольно странный тип теории. Обычно анализ имеет дело с известными или считающимися известными фактами: он выстраивает их в определенном порядке, интерпретирует, объясняет, устанавливает зависимости между ними и делает обобщения на основании имеющихся фактов или «данных». Именно такой работой должны были заниматься теоретики народонаселения в XIX в. Однако в XVII и XVIII вв. основной задачей исследователя народонаселения был не анализ имеющихся фактов, а выяснение, насколько это было возможно, их достоверности. В отличие от других теория такого типа отстает по мере прогресса фактических знаний и в итоге заменяется ими. Но все же работа этих исследователей, в первую очередь представителей «политической арифметики», заложила основы более поздней теории народонаселения, поскольку многие соображения, первоначально выдвинутые, чтобы составить представление о фактах, позже служили для их интерпретации. Именно поэтому мы приводим здесь примеры подобных дискуссий.

Типичным примером догадок о фактах в XVII в. является работа сэра Уильяма Петти «Очерк об умножении человеческого рода» (*Petty William. Essay concerning the Multiplication of Mankind. 2nd ed., rev. and enl. 1686*). Можно также упомянуть работу сэра Мэтью Хейла (*Hale Matthew. Primitive Origination of Mankind*), частично переизданную в 1782 г. под заглавием *Essay on Population*. Сведения об авторе см. в книге сэра Джона Бикертон Уильямса: (*Williams J. B. Memoirs of the Life, Character and Writings of Sir Matthew Hale. 1835*). Оба автора выводят факты из ограниченных наблюдений, а главным образом из «законов», полученных из общих соображений.

Из произведений XVIII в., носящих дискуссионный характер, следует в первую очередь отметить эссе Юма «О численности древних народов» (*Hume. Of the Populousness of Antient Nations//Political Discourses. 1752*), написанное по поводу заявления, высказанного Монтескье в «Персидских письмах» (*Montesquieu. Lettres persanes*), что древний мир был более населен, чем современный западный мир. Юм выдвинул доводы в пользу противоположного мнения, которые подверглись критике со стороны Роберта Уоллеса в приложении к его работе (*Wallace Robert. Dissertation on the Numbers of Mankind. 1753*), где он поддержал тезис Монтескье. Уоллес обрел последователя в лице Уильяма Белла, расширившего дискуссию о численности человечества до уровня обсуждения причинно-следственных связей (*Bell William. What Causes Principally Contribute to Render a Country Populous? And what Effect has the Populousness of a Nation on its Trade? 1756*). В этом исследовании Белл представил теорию, согласно которой развитие промышленности и торговли, отвлекая ресурсы от производства продовольствия, имеет тенденцию вызывать убыль населения (он считал это фактом и относился к этому факту неодобрительно). Соответственно, он выступал за поощрение развития сельского хозяйства и за равное распределение земли между фермерскими семьями. Работа Белла вызвала появление другой — «В защиту торговли и ремесел» У. Темпла (*Temple W. A Vindication of Commerce and the Arts. 1758*). (Уильям Темпл был фабрикантом сукон, не следует путать его с сэром Уильямом Темплом — государственным деятелем и ученым XVII в.). Мы не придаем большого значения работам Белла или Темпла. Они упомянуты здесь только потому, что аналогичная но гораздо более известная дискуссия на подобную же тему имела место полвека спустя: в ответ на то, что Томас Спенс вновь высказал мнения сходные с мнениями Белла, появилась работа Джеймса Милля, утвердившая его репутацию как экономиста.

Упомянем и другую, более интересную, дискуссию. В 1779 г. Ричард Прайс, о котором теперь в основном вспоминают в связи с его предложением создать фонд погашения государственного долга, опубликовал «Эссе о населении Англии» (*Price Richard. Essay on the Population of England*), где утверждал, что со времени революции 1688 г. численность населения сократилась на

одну четверть, и объяснял это ростом городов. Естественно, его точка зрения подверглась критике со стороны многих авторов, особенно У. Уэйлса (*Wales W. An Inquiry into the Present State of Population in England and Wales. 1781*) и Джона Хаулетта (*Howlett John. Examination of Dr. Price's Essay... 1781*), а также других, к числу которых относился А. Янг. Наибольший интерес представляет вклад Хаулетта, причем не только потому, что служит прекрасным примером искусства рассуждения о неадекватных фактах, но также и потому, что, подобно Беллу, Хаулетт начал заниматься анализом экономических явлений, связанных с вопросом о численности населения. В частности, он считал огораживание общинных земель следствием роста численности населения и «причиной» усовершенствований в области сельского хозяйства, нужда в которых возникла в связи с этим ростом. В этой теории присутствуют существенные элементы истины.

[с) Возникновение «мальтузианского» принципа]. Теория народонаселения, как ее понимали в XIX в., т. е. теория факторов или «законов», определяющих численность, темпы роста или убыли населения, возникла значительно раньше мальтузианской.<sup>3</sup> За исключением несущественных деталей, «мальтузианский» принцип народонаселения был полностью разработан Ботеро в 1589 г.: население имеет тенденцию расти без каких-либо определенных пределов, в меру естественной человеческой плодovitости (*virtus generativa*). Напротив, средства существования и возможности их увеличить (*virtus nutritiva*) определенно ограничены, а следовательно, кладут этому росту единственный существующий предел. Этот предел устанавливает нужда, заставляющая людей воздерживаться от брака (по Мальтусу: негативное ограничение, предусмотрительное ограничение, «моральное воздержание»), если численность населения периодически не сокращается войнами, эпидемиями и т. д. (по Мальтусу: позитивное ограничение). Идеи этого первопроходца <Ботеро>, являются единственной заслуживающей внимания теорией народонаселения в истории. Однако она появилась задолго до того времени, когда могла получить распространение; она практически затерялась в популяционистской волне XVII в. Примерно через двести лет после Ботеро Мальтус фактически всего

<sup>3</sup> См. в частности: *Gonnard René* (Рене Гоннар). *Histoire des doctrines de la population. 1932*; *Bonar J.* (Дж. Бонар). *Theories of Population from Raleigh to Arthur Young. 1931*; *Stangeland C. E.* (Ч. Э. Стенджеленд). *Pre-Malthusian Doctrines of Population. 1904*; *Spengler J. J.* (Дж. Дж. Шпенглер). *French Predecessors of Malthus... 1942*; *Virgili F.* (Ф. Вирджили). *Il Problema della popolazione. 1924*. Мы отсылаем читателей к данным работам, где они смогут почерпнуть подробные сведения о истории этой теории, поскольку у нас нет возможности изложить ее здесь.

лишь повторил эту идею, за исключением того, что применил математические законы для того, чтобы описать действие *virtus generativa* и *virtus nutritiva*: численность населения должна расти «в геометрической прогрессии», т. е. в виде расходящегося геометрического ряда, а средства пропитания — в «арифметической прогрессии».<sup>4</sup> Однако «закон геометрической прогрессии», которого не было в работе Ботеро, был предложен Петти в его «Эссе об умножении человеческого рода», Зюсмилхом в 1740 г., Р. Уоллесом в 1753 г. и Ортесом в 1774 г. Таким образом, в этом диапазоне идей Мальтус не сказал ничего нового. Из тех авторов XVIII в., кто, не связывая себя с этой математической формой, утверждал, что численность населения будет всегда расти до предела, определяемого обеспеченностью средствами существования, достаточно упомянуть Франклина (1751),<sup>5</sup> Мирабо (который в 1756 г. выразился в свойственной ему живописной манере: люди будут плодиться до достижения предела средств существования, «как крысы в амбаре»), сэра Джеймса Стюарта (1767), Шатлю (1772)<sup>6</sup> и Таунсенда (1786).<sup>7</sup> Стюарт, чей приоритет должен был признать Мальтус, выразил свои идеи особенно четко. Точно так же как и Ботеро, он принял «детородную способность» за постоянную силу, которая сравнивается с пружиной, удерживаемой в сжатом состоянии приложенным к ней грузом и непременно реагирующей на любое ослабление давления на нее. Таунсенд определил ограничивающий фактор как «голод, который не ощущается самим индивидом и не внушает ему страха, но предвидится в будущем и грозит его потомкам». Насколько мне известно, Ортес был единственным, кто допускал, что «разум» может при этом играть большую роль, чем простое предвидение грядущей нужды; это влияние разума он проиллюстрировал на примере безбрачия католического духовенства.

<sup>4</sup> Если обозначить первый член прогрессии через  $a$ , а ее множитель через  $b$ , то получим следующий геометрический ряд:  $a, ab, ab^2, ab^3...$  Ряд расходящийся, т. е. сумма его элементов будет больше любого названного нами числа при величине  $b$ , равной или превышающей единицу. Арифметический ряд выглядит следующим образом:  $a, a + b, a + 2b, a + 3b...$  Арифметический ряд всегда является расходящимся.

<sup>5</sup> См.: *Franklin Benjamin* (Бенджамин Франклин). *Observations concerning the Increase of Mankind*. В еще большей степени, чем другие авторы, Франклин рассматривал проблему народонаселения как частный случай проблемы, общей для всех видов животных. С другой стороны, он считал «жизненное пространство» и «врагов» более важными ограничивающими факторами, чем пища.

<sup>6</sup> Франсуа Жан маркиз де Шатлю (*Marquis François Jean de Chastellux*), профессиональный военный, опубликовал заслуживающий внимания трактат «О счастье общества» (*De la Félicité publique*).

<sup>7</sup> Джозеф Таунсенд (*Joseph Townsend*); см. в особенности его исследование законов о бедных (*Dissertation on the Poor Laws*. 1786).

Итак, Ботеро был первым автором, в чьих работах прозвучала пессимистическая нота, вокруг которой разгорелся спор во времена Мальтуса. Как мы видели, Ботеро связывал рост населения с действительной или потенциальной нищетой. Но большинство авторов, полагавших, что численность населения имеет тенденцию к росту без определенных пределов, не разделяли пессимизма Ботеро, а, наоборот, симпатизировали популяционистским настроениям, преобладавшим в то время в их странах. В качестве примера можно привести Петти, а также Мирабо и Пэйли до их присоединения к взглядам Ботеро—Мальтуса по данному вопросу.<sup>8</sup> Такая позиция логически ошибочна, поскольку сам факт, что население *физически способно* размножаться до тех пор, пока не закончится не только пища, но и место на земле, не является причиной для беспокойства, если к этому не добавить дополнительное предположение, что население *действительно будет стремиться* к этому, вместо того чтобы просто реагировать на изменение экономического положения ростом или снижением рождаемости. Другими словами, должна наблюдаться тенденция к тому, чтобы численность населения «наталкивалась» на границы, заданные обеспеченностью продовольствием. Однако, если даже допустить существование такой тенденции, она не может быть причиной для беспокойства за ближайшее будущее или, что важнее для нашей темы, служить основанием для объяснения современных явлений. Для этого недостаточно полагать, что избыток населения относительно обеспеченности пищей сможет наступить и наступит в неопределенно далеком будущем. Мы должны считать, что давление избыточного населения уже имеет место или грозит наступить в ближайшем будущем. Если дело обстоит иначе, то можно одновременно верить в существование этой долгосрочной тенденции и придерживаться противоположного мнения в отношении любой данной ситуации и ближайших перспектив. Читателю может показаться, что я уделяю излишне много внимания

---

<sup>8</sup> Петти относил густонаселенность Нидерландов к числу главных преимуществ, делавших эту страну таким грозным конкурентом Англии. В опубликованных в 1756 г. частях работы «Друг людей, или Трактат о народонаселении» (*L'Ami des hommes, ou traité de la population*) Мирабо заявлял, что многочисленное население — благо и источник богатства: сельское хозяйство должно поощряться именно потому, что в результате люди будут плодиться, «как крысы». Однако под личным влиянием Кенэ Мирабо поменял направление причинно-следственной связи между богатством и численностью населения на противоположное. Уильям Пэйли (*Paley William. Principles of Moral and Political Philosophy. 1785. Book VI, ch. 11*) вначале придерживался того же мнения, но был обращен в новую веру под влиянием «Эссе» Мальтуса и в работе *Natural Theology* (1802) отрекся от прежних взглядов.

этим очевидным различиям, но пренебрежение ими привело к тому, что многие дискуссии по поводу народонаселения как в XVIII, так и в XIX в. оказались бесполезными.

На примере работы Роберта Уоллеса<sup>9</sup> можно показать, каким образом простая убежденность в том, что в неопределенно далеком будущем возникнет давление избыточного населения, может иметь отношение к экономическому анализу. Уоллес считал эгалитарный коммунизм абсолютно идеальной формой общества. Тем не менее он отвергал его на одном единственном основании: подобное общество не сможет ограничивать физические возможности человека к размножению, вследствие чего коммунистическое общество придет к перенаселению и нищете. На основании этой точки зрения мы не можем сделать вывод о взглядах Уоллеса на современную ему ситуацию. Что бы мы ни думали о достоинствах данного аргумента, он содержит две характерные черты, требующие особенно пристального внимания. Во-первых, если бы предположение о неограниченном росте населения было справедливо, то оно по статусу вплотную приблизилось бы к «естественному закону» в строгом значении данного термина. Большинство английских экономистов в течение последующих ста лет воспринимали его именно как выражение непреодолимой, почти физической закономерности. Те же экономисты имели обыкновение считать столь же необходимыми и универсальными не только те экономические тезисы, которые являются не более чем прикладной логикой, но и другие, такие как их «закон заработной платы». Видимо, уместно предположить, что данная привычка английских экономистов как-то связана с их верой в этот биологический «закон». Если это так, то вопрос о классических «вечных законах экономики» нельзя рассматривать как предмет философии научного метода; он должен рассматриваться просто как вопрос справедливости и адекватности каждого отдельного предположения. Во-вторых, кажется, Уоллесу никогда не приходило в голову искать иные препятствия на пути совершенствования человечества, кроме способности людей к размножению; других сомнений относительно возможностей совершенствования человечества у него не больше, чем у Кондорсе. Это вполне соответствовало поверхностной социологии Просвещения,

<sup>9</sup> *Wallace Robert. Various Prospects of Mankind, Nature and Providence. 1761.* Этот труд подвергся критике со стороны Годвина, а поскольку работа Мальтуса в свою очередь начиналась с критики идей последнего, влияние Уоллеса на течение, ставшее известным под названием «мальтузианство», вероятно, превосходило влияние других авторов, предвосхитивших доктрину Мальтуса. Мальтус по достоинству оценил работу Уоллеса, но дал вполне ясно понять, что в отличие от Уоллеса и подобно Кензу он считал давление избыточного населения реальным и постоянно присутствующим фактом.

но интересно отметить, что Мальтус и фактически все «классики», по-видимому, придерживались того же мнения. Мне известен только один автор, в произведениях которого хотя бы прозвучала евгеническая нота. Это был Таунсенд. В упомянутой выше работе он доказывал, что обеспечение «ленивого и порочного» легло бы бременем на «более благоразумного, заботливого и трудолюбивого» и заставило бы воздержаться его от вступления в брак. Таунсенд писал: «Фермер оставляет на племя только лучших своих животных, однако наши законы предпочитают, скорее, сохранять худших...».

Выдающимся авторитетом, придерживавшимся другого мнения, т. е. считавшим, что давление избыточного населения около 1750 г. уже наблюдалось и существовало всегда, был Кенэ.<sup>10</sup> Разойдясь по данному вопросу с Кантильоном, он не только утверждал, что единственным пределом роста численности населения является наличие средств существования, но и считал, что она всегда стремится превысить этот предел. Единственное обоснование, которое он предложил для этой догмы, заключалось в том, что всегда и везде есть люди, живущие в бедности или нужде (*indigence*). Эта теория, объясняющая бедность перенаселенностью, является сутью «мальтузианства». Однако до появления «Эссе» Мальтуса у этой теории было так мало приверженцев, что и по сей день большинство историков приписывают разработку этой теории ему. Конечно, популяционизм не удержал своих позиций, по крайней мере за пределами Германии и Испании. Но повсюду экономисты отказывались принять и противоположную точку зрения. Казалось, большинство из них согласились с епископом Беркли, которого восхищали радостно суетящиеся массы, или с Юмом, считавшим, что счастье общества и его многочисленность — два «непрерывных спутника». А. Смит подвел итог, сведя принцип народонаселения к избитому трюизму, но сохранив за ним статус «закона природы»: «...все виды животных размножаются, естественно, пропорционально наличию средств для их существования, и ни один вид не может размножаться сверх этого предела» («Богатство народов». Кн. I, гл. 8). Но одновременно он в духе старых популяционистов заявил, что «самым решающим признаком процветания любой страны является рост численности ее жителей» (там же). Беккариа не разделял ни энтузиазма, ни пессимизма экономистов относительно роста населения; он признавал, что рост численности населения не всегда благо, о котором стоит молиться во все времена, но нет также и причин всегда его опасаться. В сущности, он был единственным

<sup>10</sup> Кантильон в сущности был популяционистом, но мимоходом коснулся вопроса о том, «что лучше иметь: множество бедняков или меньшее число более обеспеченных людей?».

авторитетом, ясно выразившим несомненно разумную точку зрения. Дженовези пошел еще дальше, соединив обе крайности. Он отметил, что с точки зрения населения, живущего в определенных условиях, его численность может быть или слишком мала, или слишком велика, в зависимости от того, что обеспечило бы ему больше «счастья»: его прирост или убыль. В результате Дженовези воскресил старую идею об оптимальной численности населения (*popolazione giusta*; Lezioni. Part I, ch. 5), которую впоследствии вновь поддержал Кнут Виксель. Эта концепция неудобна и, возможно, не представляет большой научной ценности. Однако ее заслуга заключается в том, что она показывает: популяционизм и мальтузианство не являются взаимоисключающими крайностями, каковыми они представлялись очень многим.

## 2. Возрастающая и убывающая отдача и теория ренты

[а) Возрастающая отдача]. Мы видели, что популяционистская позиция в той мере, в какой она экономически оправдана, подразумевает веру в то, что рост численности населения (в определенных пределах) приводит к росту дохода на душу населения, или, другими словами, веру в возрастающую отдачу. Такого же мнения в большинстве случаев придерживаются и сторонники протекционистской позиции, сочетавшейся с популяционистской (см. главу 7). Идея возрастающей отдачи в этом смысле, т. е. отдачи, применительно к национальной экономике в целом, не подкрепленная хорошо аргументированными доводами, объясняющими, почему отдача должна быть возрастающей, и без уточнения, имеется ли в виду физическая отдача или отдача в денежном выражении, является несомненно туманной идеей. Ее трудно расценить как нечто большее, чем «намеки» на любой из множества вариантов, в которых впоследствии встречалась эта концепция. Но кроме намеков которые, конечно, встречались очень часто, мы то и дело находим более строгие высказывания, такие как рассуждения Петти о своего рода общественных накладных расходах — на государственное управление, на дороги, школы и т. п. Эти расходы при прочих равных условиях не растут пропорционально росту населения. В результате возрастающая отдача принимает не вполне эквивалентную форму снижающихся издержек на единицу оказанных услуг. Это явление наблюдается в каждом обществе и каждой отдельной фирме. Ранее Антонио Сер-

ра<sup>1</sup> четко и с полным пониманием его важности изложил общий закон роста отдачи в обрабатывающей промышленности в форме закона убывающих удельных издержек почти в том же виде, как он позднее излагался в учебниках XIX в. Следует особо отметить, что действие возрастающей отдачи ограничено обрабатывающим сектором. Серра не утверждал, что для сельскохозяйственного производства была характерна убывающая отдача. Однако он так ясно выразил идею, согласно которой промышленное и сельскохозяйственное производство подчиняются разным «законам», что фактически пришел к этому выводу. Таким образом, он предвосхитил важную часть анализа XIX в., от которой не отказался окончательно даже А. Маршалл. Однако в XVII и XVIII вв. большинство экономистов совсем не высказывались на эту тему, хотя многие подразумевали (или даже высказывались о том), что возрастающая отдача преобладала и в сельском хозяйстве. Сейчас мы рассмотрим наиболее важный пример такой позиции. Пока же отметим, что А. Смит по прошествии более полутора столетий после Серра принял точку зрения, очень близкую к взглядам последнего. В первый раз он ясно, хотя и не слишком строго, сформулировал закон возрастающей отдачи применительно к промышленному производству в связи с разделением труда («Богатство народов». Кн. I, гл. 1), а во второй раз более полно: в отступлении о «Влиянии совершенствования производства на реальную цену промышленной продукции». Это отступление он поместил в часть III своей огромной главы о земельной ренте (кн. I, гл. 11), где он объясняет факт «значительного уменьшения количества рабочей силы, требуемого для выполнения какой-либо отдельной операции», использованием «лучшего оборудования, более высокой квалификацией рабочих и лучшим разделением труда».<sup>2</sup> Однако он нигде не сформулировал закон убывающей отдачи, хотя неоднократно касался этой темы, особенно в гл. 11. В главе 1 он фактически всего лишь отметил

<sup>1</sup> *Serra Antonio*. Breve trattato. 1613. Part 1, ch. 3: «...nell' artefici vi può essere moltiplicazione... e con minor proporzione di spesa» («...в обрабатывающей отрасли выпуск может возрасти при менее чем пропорциональном росте издержек»). Серра не объясняет нам, за счет чего снижаются издержки. Однако вполне возможно допустить, что он думал о тех же фактах, которые позднее перечислил А. Смит.

<sup>2</sup> Отметим, что в данной формулировке смешиваются две совершенно разные вещи. Говоря о «лучшем» оборудовании, Смит, видимо, имеет в виду рост объема знаний и расширение технологического горизонта, что наблюдается в ходе экономического развития. С другой стороны, лучшее разделение труда является одним из следствий простого роста выпуска продукции и может иметь место в рамках неизменяющегося технологического горизонта или при неизменном состоянии промышленного мастерства.

разницу между сельскохозяйственным и промышленным производством с точки зрения возможностей для непрерывного роста разделения труда. Этот пассаж вполне можно интерпретировать как подтверждение действия закона возрастающей отдачи и в сельском хозяйстве, хотя и в меньшей степени. И это несмотря на то, что оба случая убывающей (физической) отдачи, которые должны были признать Уэст и Рикардо, были исчерпывающе описаны до А. Смита сэром Джеймсом Стюартом (1767) и Тюрго (1767).<sup>3</sup>

[b) Убывающая отдача: Стюарт и Тюрго]. Стюарт в своих «Основаниях» (Principles. 1767), а за ним Ортез в работе «Национальная экономика» (Economia Nazionale. 1774) описали то, что поздние рикардианцы назвали экстенсивным пределом использования земельных угодий (Extensive Margin): с ростом численности населения приходится обрабатывать все менее и менее плодородные почвы, и равные количества производительного труда, затраченные на обработку этих становящихся все беднее почв, дают постоянно уменьшающиеся урожаи. Тюрго открыл другой случай убывающей физической отдачи, который те же последователи Рикардо назвали интенсивным пределом использования земельных угодий (Intensive Margin): при неоднократных затратах равных количеств капиталов — avances (в данном случае то же самое можно сказать о равных количествах труда) на обработку данного земельного участка поначалу мы будем получать все большие количества продукта, но лишь до достижения определенной точки, где отношение прироста продукции к приросту капитала достигнет максимума. После прохождения этой точки дальнейшие затраты равных количеств капитала будут порождать постепенно снижающийся прирост продукции, ряд таких убывающих приростов в итоге сойдется к нулю. Эту формулировку, со временем признанную как истинный закон убывающей отдачи, трудно переоценить. Это блестящее достижение, которого достаточно, чтобы поставить Тюрго как теоретика выше А. Смита. Формулировка Тюрго значительно вернее большинства формулировок XIX в., и она оставалась непревзойденной до тех пор, пока Эджуорт<sup>4</sup> не взял дело в свои руки.

Особенной удачей Тюрго является включение перед интервалом убывающей отдачи периода, когда наблюдается рост от-

<sup>3</sup> «О докладной записке г-на де Сен-Перави» (Sur le Memoire de M. de Saint-Péray). Эти заметки были включены в «Собрание сочинений» Тюрго (Oeuvres; ch. 4, sec. 4). Дата, приведенная в тексте, не абсолютно достоверна, более того — это дата написания. Нам неизвестно, насколько широк или узок был круг читателей, которому была в то время доступна данная работа.

<sup>4</sup> См. ниже, часть IV, глава 6, § 5b.

дачи, признание факта, что убывающая отдача не преобладает сразу же после внесения первой «дозы» некоторого переменного фактора, а устанавливается только после достижения определенной точки. Это обстоятельство должно было бы раз и навсегда опровергнуть ошибочное мнение, будто тот, кто утверждает, что при определенных обстоятельствах расширение производства может сопровождаться возрастающей отдачей, отрицает тем самым справедливость «закона» убывающей отдачи. Более того, Тюрго с непревзойденной точностью определил возрастающую отдачу: это возрастающая отдача, сопровождающая применение переменного фактора в дополнение к другому фактору (или набору факторов, количества которых постоянны) *до достижения оптимального сочетания факторов*. Таким образом, можно сказать, что Тюрго сформулировал особый случай закона, который американские экономисты около 1900 г. назвали Законом переменных пропорций.<sup>5</sup>

Наконец, следует отдать Тюрго должное за то, что он сформулировал закон в терминах последовательных приращений продукта, а не в терминах среднего продукта (на единицу переменного фактора). Это значит, что он фактически пользовался предельным анализом, и современная аналитическая техника

---

<sup>5</sup> То же самое может быть выражено несколько иным путем, с помощью другой концепции. Эта концепция, возникшая к концу XIX в. (см. ниже, часть IV, глава 7, § 8), теперь называется производственной функцией. Последняя выражает технологическую зависимость между количеством продукции и количествами факторов, совместно применяемых в разных пропорциях для производства этой продукции. Сократив для удобства число факторов до двух, мы можем откладывать количества продукта и обоих факторов на осях системы прямоугольных координат. Каждая точка в пространстве, соответствующая любому набору положительных конечных значений этих трех переменных, будет выражать то количество продукции, которое может быть (в лучшем случае) произведено соответствующими количествами факторов, а совокупность всех этих точек образует в трехмерном пространстве поверхность производственных возможностей. Теперь пусть одно из количеств факторов будет постоянным т. е. эту поверхность разрежет плоскость, перпендикулярная оси этого фактора, в точке, соответствующей константе. Кривая пересечения между поверхностью и плоскостью как раз и будет отражать закон первоначально возрастающей, а затем убывающей отдачи Тюрго. Хотя Тюрго не открыл ни производственную функцию, ни ее геометрическое изображение, т. е. поверхность производственных возможностей как таковую, мы можем сказать, что он открыл одно ее свойство, а именно форму одного из ее контуров, и, следовательно, получил результат, который (при обычном уровне тщательности и компетенции, преобладающем в нашей науке) должен был привести к открытию современной производственной функции еще до конца XVIII в. Я упоминаю об этом здесь, поскольку данный случай ярко иллюстрирует «пути человеческой мысли», которая редко сразу обнаруживает что-то очевидное и фундаментальное. Чаще она схватывает какой-либо частный аспект идеи и лишь затем возвращается назад, к логически предшествующим концепциям.

могла бы только улучшить форму изложения. В законе Тюрго нет ничего, что стоило бы подвергнуть критике, за исключением неадекватного убеждения в необходимости точно указывать как продукт, так и переменный фактор, для которых данный закон имеет силу. Беспорядочный набор вещей, скрывающихся за словом *avances*, не отвечает этому требованию, а фактически отходит от него.<sup>6</sup> На другой упрек в адрес Тюрго, который заключается в том, что он не подчеркивает факт справедливости своего закона только для данного уровня технологических знаний или данного технологического горизонта, или данной — как сказали бы мы — производственной функции, он, возможно, ответил бы, что это само собой разумеется. Мы убедимся, что это не так. Но прежде стоит затронуть еще один вопрос.

И Стюарт, и Тюрго говорили только о сельском хозяйстве. Пятьдесят лет назад это никого не могло удивить, поскольку тогда убывающая отдача считалась присущей исключительно этой отрасли. Нас же этот факт способен изумить, поскольку мы считаем доказанным, что ни возрастающая, ни убывающая отдача не ограничиваются какой-либо отдельной областью экономической деятельности, а, наоборот, при наличии некоторых общих условий могут преобладать в любой отрасли. Возможно, объяснение следует искать в том, что на неискушенный ум особо сильно действуют ограничения, наложенные на человеческую деятельность неумолимо «заданными» физическими условиями. Требуется немало труда, чтобы определить истинные масштабы аналитического значения этих ограничений и логически отделить их от земли и отрасли, занимающейся ее обработкой. И все же удивительно, как много времени было затрачено на осознание того, что в действительности не существует логической разницы между попыткой расширить производство на ферме и на фабрике и что если невозможно бесконечно увеличивать число ферм или укрупнять их, то этого нельзя сделать и с фабриками. Дополнительное объяснение мы находим в убежденности практически всех ученых-экономистов XVIII в. (и это мнение как пережиток сохранилось у «классиков» XIX в.), что, в то время как фактор земли дан раз и навсегда, другой первоначальный фактор, труд, при благоприятных условиях всегда будет увеличиваться до любого требуемого количества. Если мы примем эту

<sup>6</sup> Если используемый фактор не является определенным физическим объектом, как, например, удобрение неизменного вида и качества или даже труд определенного вида и качества, то возникают опасные для закона сложности.

точку зрения, нам станет ясно, почему некоторые авторы упорно не желали одинаково относиться к труду и к земле и беспристрастно применять законы физической отдачи к обоим. Тогда мы пойдем однобокую аналитическую схему, которую они разработали.

[с) Исторически возрастающая отдача]. Как мы видели выше, утверждение, что в определенной ситуации в сельском хозяйстве страны преобладает возрастающая отдача, т. е. рост производственных затрат сопровождается более быстрым ростом продукции, не означает отрицания справедливости закона убывающей отдачи. Теперь следует, опираясь на этот факт, дать оценку взглядов тех английских экономистов и политиков, кто придерживался тезиса о возрастающей отдаче. Были они правы или нет в отношении самого факта, их позиция логически оправдана, если они имели в виду один из двух следующих моментов (или оба сразу). Они были правы с точки зрения логики (хотя, возможно, неправы с точки зрения фактов), если полагали, что за последние десятилетия XVIII в. сельское хозяйство Англии переживало период возрастающей отдачи;<sup>7</sup> иначе говоря, к земле еще не был применен оптимальный набор других факторов. Они были не менее правы с точки зрения логики (и до некоторой степени с точки зрения фактов), если имели в виду, что в будущем открывались возможности совершенствования способов сельскохозяйственного производства, которые можно было бы реализовать, вложив в сельское хозяйство дополнительные ресурсы («капитал»), как это произошло в промышленности. Заметим, однако, что эта проблема не имеет ничего общего с понятием возрастающей отдачи, которое мы обсуждаем. Мы можем, если угодно, говорить в этом случае о возрастающей отдаче применительно к растущим вложениям ресурсов. Однако такая возрастающая отдача в отличие от других не наблюдается в рамках имеющейся модели. Подобно усовершенствованию оборудования, о котором говорил А. Смит, он подразумевает изменение этой модели. Если мы представим интервалы Тюрго (сначала интервал возрастающей, а затем убывающей отдачи) в виде кривой, которая идет вверх, дос-

---

<sup>7</sup> Эти авторы и политики, как и экономисты XIX в., всегда говорили об отдаче сельского хозяйства в целом. Строго говоря, законы отдачи в том смысле, как их понимал Тюрго, определяются только для отдельно взятой фермы. В этом состоит дополнительная заслуга Тюрго. Переход к отрасли в целом, не говоря уже об экономике страны, не такая простая задача, какой представляется в примитивном анализе.

тигает максимума, а затем падает,<sup>8</sup> то мы увидим, что возрастающая отдача для предыдущего случая выражается отрезком этой кривой, в то время как в данном случае это невозможно. Ее можно представить в виде сдвига всей кривой вверх (форма при этом может меняться или не меняться), в новое положение. Прежняя кривая обрывается и заменяется новой, проходящей на более высоком уровне (хотя не обязательно на протяжении всей кривой), но и эта кривая имеет интервал возрастающей отдачи в рассмотренном выше значении и интервал убывающей отдачи. Возрастающая отдача в новом значении имеет место, когда кривая сдвигается в новое положение. Следует добавить, что если кривая сдвигается вновь и вновь, то разность между этими последовательными уровнями не уменьшается: *закона убывающей отдачи от технического прогресса не существует*. Чтобы не смешивать эти два совершенно разных явления, лучше ограничить область применения термина «возрастающая отдача» только случаем, проанализированным Тюрго. Мы так и поступим. Когда же мы захотим сохранить ассоциацию, хотя и ложную, между обоими случаями, то мы используем для последнего случая термин «исторически возрастающая отдача» (Historical Increasing Returns). Данное выражение было выбрано для того, чтобы показать, что эта исторически возрастающая отдача не может подобно настоящей возрастающей отдаче быть выражена какой-либо кривой или «законом» и менее всего кривой, по которой мы можем перемещаться взад и вперед, поскольку новые технические уровни достигаются в ходе необратимого исторического процесса и не видны нам до момента их реального достижения.

Проиллюстрируем данную ситуацию примером. Д. Андерсон,<sup>9</sup> один из наиболее интересных английских экономистов конца

<sup>8</sup> См. прим. 5. Повторим, что по абсциссе откладываются последовательные равные «вложения» какого-либо ресурса — скажем, труда определенного качества, по ординате — соответствующие количества общего продукта. Но можно также отложить по ординате *приращения* общего продукта, которые последовательно получаются из каждой дополнительной дозы «вложений». Разумеется, эта «производная» кривая (кривая предельного продукта) достигнет своего максимума раньше первой.

<sup>9</sup> Джеймс Андерсон (James Anderson, 1739—1808) был шотландским джентльменом-фермером. (Джентльмен-фермер — человек, которому доход из других источников позволяет заниматься фермерством скорее ради удовольствия, чем ради прибыли. — *Прим. пер.*) Его многочисленные работы так же важны для правильной оценки хода полемики по поводу хлебных законов, как и для истории экономического анализа. Его наиболее значительные произведения: *Observations on the Means of exciting a Spirit of National Industry...* (1777); *An Enquiry into the Nature of the Corn Laws* (1777), а также несколько эссе в шеститомнике *Recreations in Agriculture, Natural History, Arts and Miscellaneous Literature* (опуб. в 1799—1802 гг.). Он в необычайно высокой степени обладал даром, которого нет у столь многих экономистов, — видением.

XVIII в., смело утверждал, что человек способен добиться такой производительности своих полей, «которая позволила бы не отставать от темпа роста населения, каким бы он ни был».<sup>10</sup> Эти слова истолковывались как отрицание закона убывающей отдачи. Мальтус был первым критиком Андерсона, именно так, неправильно интерпретировавшим его высказывание. Однако Андерсон говорил не о «продукте», а о «производительности» земли. Этот факт, а также его упоминания «открытий» в том же фрагменте текста не могут служить достаточным доказательством того, что он имел в виду «исторически возрастающую отдачу». В примере с Андерсоном особенно легко убедиться, что его несомненно завышенные оценки возможностей повышения производительности не противоречат признанию закона убывающей отдачи. Он нигде не упоминал высказываний по этому поводу Тюрго, но очевидно, что он принял точку зрения сэра Джеймса Стюарта. Подтверждением тому служит то, что Андерсон фактически изобрел «рикардианскую» теорию ренты, следующую традиции Стюарта.

[d) Земельная рента]. Мы уже видели, что на ранних стадиях экономического анализа объяснение земельной ренты не привлекало внимание исследователей. Можно сказать, что Кантильон, а за ним физиократы были первыми,<sup>11</sup> кто высказал определенный взгляд по этому поводу, который в понятиях позднейшего времени можно сформулировать так: земля дает ренту, поскольку она является ограниченным фактором производства (или даже единственным «первичным» фактором), а эта рента отчасти является процентом, выплачиваемым на инвестиции землевладельца, а отчасти платой за «естественные и неразрушимые производительные силы почвы». Эта примитивная и не вполне ясно выраженная теория, тем не менее превосходила многие более поздние рассужде-

<sup>10</sup> Recreations. Vol. IV. P. 374; этот отрывок был процитирован Кэптаном в работе A History of the Theories of Production and Distribution (3d. ed. 1917. P. 145) с целью доказать, что закон убывающей отдачи был неизвестен специалистам по сельскому хозяйству того времени. Несомненно, они основательно путались в этом вопросе, и, поскольку работа Тюрго прошла незамеченной, мнения профессионалов и политиков того времени иногда звучат как чистейшая бессмыслица. Но не следует безоговорочно утверждать, что они действительно были бессмысленны или всегда искажались именно по причине незнания этого закона.

<sup>11</sup> Здесь не принимаются во внимание не представляющие большой важности комментарии Петти и некоторых других экономистов по данному вопросу. Те экономисты, которые, подобно Локку, объясняли или «оправдывали» собственность на землю тем, что в нее вкладывался труд, могут рассматриваться как сторонники трудовой теории ренты. Однако было бы неточным приписывать им это, и я предпочитаю не настаивать на такой точке зрения.

ния. Кроме того, что в ней не сказано и не подразумевается ничего определенно ошибочного, она обладает и другим достоинством, поднимающим ее над тривиальностью: всякий, поддерживающий эту теорию, подтверждает тем самым свое понимание факта, что производительность и ограниченность дарового фактора производства достаточны для того, чтобы этот фактор приносил чистый доход и потому нет оснований искать другие причины. Но именно этого не понимали большинство экономистов как тогда, так и на протяжении первой половины XIX в. Соответственно, они пустились в рассуждения, в результате которых до конца XVIII в. были созданы обе теории ренты, господствовавшие в последующую эпоху (приблизительно до последней четверти XIX в.). Одна теория может быть связана с именем Адама Смита, а другая — с именем Джеймса Андерсона.

Теория ценности А. Смита, которую мы обсудим в следующей главе, приводит нас к выводу, что в условиях конкуренции даровая вещь в действительности не может иметь цены. Земля предоставляет свои услуги бесплатно. А. Смит подробно объяснил, что эти услуги не могут отождествляться с услугами капитала, инвестированного в землю. Тем не менее услуги земли продаются за определенную цену. Отсюда «земельная рента... рассматриваемая как цена, заплаченная за пользование землей, естественно, является монопольной ценой» («Богатство...». Кн. I, гл. 11). Если бы это было верно, то рента «вошла бы в состав цены товаров», точно так же как прибыль и заработная плата, что А. Смит явно отрицает на следующей странице. Но, разумеется, это неверно: землевладелец не является единственным продавцом, а следовательно, его доход не может объясняться теорией монополии. Скучность этого анализа ренты восполняется обилием представленных материалов и подробными комментариями, в результате чего глава 11 непомерно разрослась и перегрузила книгу I. Многие из этих деталей заслуживают упоминания, но мы ограничимся тремя. Во-первых, А. Смит уделил много внимания ренте по местоположению. Во-вторых, он разработал теорию, которая вошла в идейный багаж Мальтуса и продолжала обитать в глубинных слоях теории XIX в. Согласно этой теории, «человеческая пища кажется единственным продуктом земли, который всегда и обязательно дает некоторую ренту землевладельцу» (часть II, гл. 11), поскольку в силу принципа народонаселения производство продуктов питания является единственным видом производства, который, так сказать, всегда будет создавать свой собственный спрос: количество ртов растет в ответ на каждое увеличение предложения пищи. Хотя, как я думаю, комментарии относительно достоинств данного предположения излишни, следует указать, что такого рода

вещи отчасти оправдывают враждебность по отношению к теории со стороны экономистов институционального и исторического направлений. По той же причине я упоминаю и третью теорию (представленную в заключении главы 11): полагая, что *любой* рост реального богатства общества имеет тенденцию прямо или косвенно повышать реальную земельную ренту, А. Смит пришел к выводу, что классовый интерес землевладельцев «тесно и неразрывно связан с общим интересом общества»; поэтому в отличие «от тех, кто живет за счет прибыли», землевладельцы, отстаивая свои классовые интересы, «никогда не могут сбить с пути» общество в его поисках мер, способствующих общему благосостоянию. Поистине невероятное рассуждение: на основании материалов и аргументации, содержащихся на страницах «Богатства», можно показать, что предложенная посылка ложна, а сделанный вывод не вытекал бы из этой посылки даже будь она верной!<sup>12</sup>

Как уже было сказано, для объяснения сути земельной ренты нам не требуется привлекать другие понятия, кроме производительности и ограниченности земли. Ни факт, требующий объяснения, ни объясняющие его факты не имеют ничего общего с убывающей отдачей. Однако Андерсон установил связь ренты с убывающей отдачей, которая стала одной из характерных черт рикардианской системы. В *Observations* (1777) он пришел к выводу, что земельная рента — это премия, выплачиваемая за привилегию обработки более плодородной почвы, а в *Enquiry*, выпущенном в том же году, более точно сформулировал условия, на основании которых, как утверждал Кэннан, может быть выведена формула: «Рента, выплачиваемая относительно любого отдельно взятого колоска, равна разнице между расходами на выращивание наиболее дорогостоящего из выращенных колосков и расходами на выращивание именно этого колоска». Андерсон исчерпывающе объяснил, как конкуренция среди фермеров обеспечивает землевладельцу получение именно этой суммы.<sup>13</sup> В более позднем эссе,

<sup>12</sup> Подобного рода рассуждения явственно демонстрируют ограниченность человеческой способности к суждению. Однако мы также вправе подозревать, что подобная аргументация явилась следствием идеологического влияния именно по причине ее очевидной ошибочности. Поэтому интересно отметить, что это идеологическое влияние в работе Смита было направлено против интересов землевладельцев (см. гл. 6), так что данная аргументация ничего не объясняет.

<sup>13</sup> Мне непонятно, почему покойный профессор Кэннан, приводя отрывки из *Enquiry* (р. 371–373), счел необходимым предупредить читателей, что нельзя принимать «предвосхищение Андерсоном отдельных моментов теории Рикардо за предвосхищение теории в целом». Верно, что Рикардо также учитывал случай убывающей отдачи, проанализированный Тюрго. Но его аргументация, как и у Андерсона, практически основана на случае, проанализирован-

включенном в *Recreations* (vol. V), Андерсон изложил другой аспект той же идеи, сказав, что рента была «способом» уравнивания прибылей от земельных участков разного плодородия, и подчеркивая тем самым значение «закона средней нормы прибыли»; следовательно, он был предшественником Рикардо еще и в другом смысле. За исключением претензий на объяснение ренты, все остальное было совершенно правильно. Однако сам факт предвосхищения идеи на целое столетие примечателен сам по себе, даже если бы все сказанное на эту тему было полностью ошибочным.

### 3. Заработная плата<sup>1</sup>

Наиболее очевидным примером использования принципа народонаселения в аналитических целях является теория заработной платы. Можно назвать многих авторов (среди ведущих следует особо отметить Кенэ и Тюрго) и показать на примере их работ, как легко было, некритически приняв данный принцип, прийти к такому же некритическому выводу — к теории заработной платы на уровне прожиточного минимума. Более того, поскольку теория капитала физиократов, т. е. идея авансов (*avances*), в сущности предполагала концепцию «фонда заработной платы», то выясняется, что еще один столп рикардианской экономической теории был воздвигнут предшественниками Смита, главным образом французскими.

Однако тезис, что заработная плата на душу населения стремится к уровню прожиточного минимума (как бы его ни определяли), представляет собой теорию заработной платы не в большей степени, чем количественная теория является теорией денег. Обе

---

ном Стюартом. Более того, подобно Андерсону, Рикардо, по-видимому, считал, что, не будь убывающей отдачи, не было бы и ренты, путая тем самым убывающую отдачу с ограниченностью земли. Следовательно, в той мере, в какой это касается теории, на которую ссылался Кэннан, а не оценки ситуации в сельском хозяйстве Англии или политических рекомендаций, я не могу усмотреть какие бы то ни было различия между Андерсоном и Рикардо или Андерсоном и Уэстом.

<sup>1</sup> Все работы по истории теорий народонаселения дают некоторые сведения по истории доктрин заработной платы, но особенно стоит упомянуть работу Шпенглера. Факты и мнения по этой проблеме читатель найдет у Хекшера и Манту. См. также: *Furniss E. S.* (Э. С. Фёрнисс). *The Position of the Laborer in a System of Nationalism*. 1920 — но данная работа выделяет частный аспект всей картины; она не ставит перед собой целью представить картину в целом. См. также: *Picard R.* (Р. Пикар). *Étude sur quelques théories du salaire au XVIII e siècle//Revue d'histoire des doctrines économiques*. 1910.

гипотезы являются предположениями о значениях, которые приобретают определенные величины в состоянии долгосрочного равновесия, и составляют (если мы принимаем их) часть всеобъемлющей теории заработной платы или денег, но не представляют собой теорию в целом. До А. Смита такой всеобъемлющей теории выработано не было, но многие предшествовавшие Смиту экономисты внесли в нее частичный вклад; наиболее важным был вклад Чайлда (о нем мы говорили в главе 4). Его теория не имела ничего общего с принципом народонаселения. Как нам известно, Чайлд был популяционистом, заявившим, что «богатство или бедность большинства народов цивилизованных стран находятся в пропорциональной зависимости от малочисленности или многочисленности населения». Эта малочисленность или многочисленность населения зависит, согласно Чайлду, от «занятости»; из его высказывания мы можем сделать вывод, что уровень заработной платы определяется, с одной стороны, спросом на рабочую силу, а с другой — ее предложением, вызываемым этим спросом. Это было хорошее начало, тем более что Чайлд ничего не сказал об определенном уровне, на котором силы спроса и предложения должны установить заработную плату. В частности, у него нет и намек на какой-либо закон прожиточного минимума. Вместо этого он заявил, что высокий уровень заработной платы является «непогрешимым свидетельством» богатства страны. Дэвенант продвинулся немного дальше, утверждая, что в бедной стране процент высок, а земля и труд дешевы. Другие экономисты также приходили к этому выводу. Но до вышеупомянутых представителей теории минимума средств существования экономисты не продвинулись дальше. Разумеется, это не означает, что никого не интересовали вопросы заработной платы. Напротив, экономисты с жаром обсуждали их, и практически каждый оставил нам свое мнение относительно правильной политики в этой области. Однако большая часть этих высказываний была доаналитической по своей природе. Эти высказывания выражали чувства и оценки, касавшиеся важных аспектов социальной истории, и к ним по праву можно применить марксистскую теорию идеологического влияния, при условии что она будет использована без неразумного догматизма. Однако для нашей интерпретации материала эти чувства только создают дополнительную трудность: мы стремились обнаружить элементы анализа на основании различных рекомендаций наших авторов (или доводов, которые они выдвигают в пользу своих нормативных утверждений). При этом нам постоянно угрожает опасность ошибиться и принять за аналитическое предположение высказывание, которое может оказаться всего лишь выражением чувств. Так,

Чайлд, считавший высокий уровень заработной платы признаком зажиточности, не предложил никакой теории высокой заработной платы, т. е. тезиса о том, что высокая заработная плата сама по себе является фактором, способствующим процветанию. Но он, безусловно, был сторонником высокой заработной платы, и поэтому *казалось*, что он придерживался теории высокой заработной платы. На самом деле это не так, в чем мы и убеждаемся по его реакции на аргументы в пользу низкой заработной платы. Фактически он не спорил, а просто злился и ругал ненавистную доктрину: «благотворительный проект, переходящий в ростовщический!». У других авторов встречаются намеки на аналитические тезисы. Некоторые, включая Кэри, рассматривали высокую заработную плату как часть механизма оживленной экономической деятельности и подчеркивали важность покупательной способности. Были и такие, кто придерживался мнения, что высокая реальная заработная плата приведет к росту производительности.<sup>2</sup> Но все это не слишком впечатляет, впрочем как и аргументация сторонников низкой заработной платы. Согласно Петти, высокая заработная плата только поощрила бы лень, а при удвоении величины заработной платы число рабочих часов сократилось бы вдвое. Наиболее веским аргументом сторонников низкой заработной платы была конкурентоспособность во внешней торговле. Сэр Джеймс Стюарт считал, что поскольку высокий уровень заработной платы ухудшил бы конкурентные позиции страны в международной торговле, заработная плата «должна» удерживаться на уровне удовлетворения физических нужд.<sup>3</sup> Д. Юм также полагал, что высокий уровень заработной платы наносит ущерб внешней торговле страны,

<sup>2</sup> Об этом писал, например, Даниэль Дефо (Daniel Defoe, 1659–1731) в работе *Plan of the English Commerce* (1728); Б. Франклин также различал высокую заработную плату и высокие удельные затраты на рабочую силу (*Franklin B. Reflections on the Augmentation of Wages*).

<sup>3</sup> Несомненно, многие заявления в пользу низкой заработной платы просто наивно выражают классовые интересы, а не являются результатом научного анализа причин и следствий. Ориентация на низкий уровень заработной платы соответствовала общественной структуре и порождаемому ею общественному мнению того времени. Кроме того, люди свободно высказывали свою поддержку низкой оплате труда, поскольку интересы рабочих еще не стали политическим фактором и интеллектуалы еще не приняли их сторону. Таким образом, существовали (и беспрепятственно высказывались) мнения относительно рабочей силы, иногда в чем-то сходные с высказываниями древних римлян, в частности Катона, о своих рабах. Мнение о том, что не следует даже ставить такую задачу, как повышение благосостояния работников, «трудящихся бедняков» или просто бедняков (в экономической литературе оно существовало приблизительно до Беккариа и Смита), не обязательно означает то, что, нам кажется. Подобные заявления делались и по отношению к классу купцов и вполне предсказуемы в условиях националистической цивилизации. Но можно

хотя и не делал отсюда того же вывода, что и Стюарт, а, напротив, заявлял, что этот недостаток незначителен по сравнению со «счастьем стольких миллионов».

Результаты А. Смита в области экономики труда<sup>4</sup> весьма типичны и являются по сути отличным образцом, по которому можно судить о его работе в целом. Более того, они являются первой систематической трактовкой данной темы и потому приобретают дополнительное значение. Смит, конечно, следовал имеющимся примерам, но, убрав шероховатости и развив некоторые моменты, он получил приемлемый законченный результат, который послужил основой для дальнейшего анализа. Прежде всего он разработал всеобъемлющую теорию заработной платы. Позаимствовав широко распространенный в его время тезис естественного права, согласно которому «продукт труда составляет естественное вознаграждение, или плату, за труд», он приступил к объяснению того, как получилось, что труду пришлось отдавать часть «своего» продукта (имеется в виду весь результат производственного процесса) землевладельцам, а другую часть — «хозяевам». Отметим, что здесь действительно ставится фундаментальная проблема заработной платы, но делается это своеобразно.

Рассуждения А. Смита начинаются с псевдоисторической предпосылки первобытного состояния, где, с одной стороны, нет ни землевладельцев, ни «хозяев», а с другой — труд является единственным ограниченным фактором производства; смешивая эти два совершенно разных факта, он тут же свел проблему заработной платы к проблеме долей двух других факторов производства, которые стали в результате «вычетами из продукта труда». Рента — это вычет из «естественной» оплаты труда, который мотивируется не производительностью земли, а возникновением частной собственности на землю, что прекрасно сочетается с монопольной теорией ренты А. Смита: некоторые люди монополизируют землю так же, как они могли бы

---

привести и такие мнения, согласно которым рабочие «должны» оставаться бедными и такими же невежественными, они «должны» быть дисциплинированными, а для этого непрерывно работать с юных лет и т. п. Естественно, как подобные, так и противоположные им взгляды должны были отразиться в аналитической работе или в способе изложения результатов исследований тех ученых, которые их поддерживали. Если же эта аналитическая работа находится в зачаточном состоянии, то отделить то, что мы ради краткости называем логикой, от классового интереса, обслуживаемого этой логикой, еще труднее, чем в отношении сложных теорий. Этот политический аспект также важно учитывать при рассмотрении тем, затрагиваемых в § 4.

<sup>4</sup> Основные сведения вы найдете в главах 8 и 10 книги I «Богатства народов», но дополнительные факты и комментарии разбросаны по всей работе.

монополизировать воздух там, где это технически возможно сделать. Прибыль — это другой вычет, мотивированный не эффективностью использования капитала, авансированного работнику, а только возможностями его владельцев настаивать на ее получении.<sup>5</sup> Эти возможности значительно возрастают благодаря легкости, с которой владельцы капитала могут объединиться против бедных и беспомощных тружеников, которые «должны либо голодать, либо путем угроз заставить своих хозяев немедленно пойти на удовлетворение их требований». Читатель должен понять как очевидную слабость данного рассуждения с точки зрения анализа, так и его неизбежную привлекательность. А. Смит предвосхитил все теории заработной платы, основанные на эксплуатации и сильной позиции работодателей в торге, появившиеся в XIX в., а также выдвинул предположение, что труд является остаточным претендентом на доход.

Однако, Смит пошел значительно дальше этого. Поскольку рабочий не может жить без авансов хозяина, то, строго говоря, последний имеет возможность свести заработную плату к минимуму, физически необходимому для поддержания существования. Но с ростом национального благосостояния и в условиях конкуренции между хозяевами при найме рабочей силы у рабочих появляется возможность «успешно бороться против естественного объединения хозяев, стремящихся избежать повышения заработной платы»; в результате заработная плата в течение неопределенного периода времени будет выше минимального уровня. Соответственно, А. Смит энергично отрицал, что где-либо на территории Великобритании заработная плата приближалась к уровню физически необходимого минимума или колебалась вместе с ценой на продукты питания.<sup>6</sup> Практически это означает опровержение теории заработной платы, разработанной физиократами, хотя в принципе А. Смит ее принимал. Ему удалось примирить два явно противоречащих друг другу мнения, делая акцент не на абсолютном уровне благосостояния, определяющего спрос на рабочую силу, а «на его непрерывном росте». Не большое богатство как таковое, а растущее богатство, обгоняющее рост численности населения, приводит к

<sup>5</sup> А. Смит принял эту точку зрения только в рамках теории заработной платы. В других местах он учитывает также другие элементы, такие как риск и беспокойство.

<sup>6</sup> По-видимому, это было преобладающим общественным мнением. Галиани в своих «Диалогах» (*Galiani. Dialogues*; см. ниже, глава 6) высказывает его устами «Маркиза» — одного из своих персонажей, роль которого заключается в изложении распространенных в обществе мнений.

росту как номинальной, так и реальной заработной платы. А нерастущее богатство, как бы велико оно ни было, не может служить гарантией от низкой зарплат: число рабочих рук «в этом случае естественно превысит число рабочих мест»; таким образом, Кенэ оказался бы в конечном счете прав. А. Смит также принимал теорию фонда заработной платы, которую он изложил в форме, ставшей в XIX в. предметом как дальнейшей разработки, так и критики. Рассматривая спрос на рабочую силу, он выдвинул утверждение, которое звучит как безобидный трюизм: «...очевидно, что этот спрос может расти только пропорционально росту фонда, предназначенного для выплаты заработной платы». Двусмысленность, скрывающаяся за словом «предназначенный» (*destined*), впоследствии вызвала у многих головную боль. Однако А. Смит с легким сердцем сделал вывод, что поскольку спрос на рабочую силу зависит либо от дохода зажиточных людей, нуждающихся в личных услугах, либо от капитала предпринимателя, нуждающегося в производственных услугах, а «рост доходов и капитала означает рост национального благосостояния», то спрос на рабочую силу возрастает с ростом благосостояния, и никак иначе. Не существует более обильного источника заблуждений, чем тривиальные на вид предпосылки.

Эта теория заработной платы была щедро проиллюстрирована всякого рода фактами, поэтому у читателя может сложиться впечатление полноты и реалистичности раскрытия темы. Текст изобилует критическими — зачастую мудрыми — комментариями по поводу трудового законодательства и законов о бедных, современных А. Смиту и относящихся к более ранним временам. Интерес А. Смита к конкретным явлениям практической жизни побудил его к исследованию многих конкретных вопросов. Один из них можно упомянуть. Абстрактная теория рассуждает о воображаемой ставке заработной платы, которой в реальной жизни соответствует структура изменяющихся в широком диапазоне реальных ставок заработной платы. Дабы убедиться в том, что теория, оперирующая одной ставкой заработной платы, имеет какое-либо отношение к объяснению реальных явлений, мы должны проанализировать природу различий в заработной плате и в прибылях при различных занятиях и в разных местах. Это как раз тот вид анализа, который привлекал Смита, и в котором он достиг наибольших высот. Общее направление было задано Кантилионом, но гораздо более глубокая разработка проблемы, проведенная А. Смитом, составила важную, хотя и не самую увлекательную главу любого учебника XIX в.

#### 4. Безработица и «положение бедняков»

Средневековое общество, в принципе, предоставляло место каждому, кого признавало своим членом: его структура исключала безработицу и нищету. На самом деле угроза вынужденной безработицы не была полностью устранена. Не гарантировалась занятость таких наемных работников, как странствующие подмастерья, работающие на хозяев в рамках ремесленных цехов (часто) и сельскохозяйственные рабочие (всегда). Однако, как правило, и тем и другим не составляло большого труда найти работу. В обычные времена уровень безработицы был незначительным; безработица касалась ограниченного круга лиц, порвавших со своей средой или изгнанных ею и ставших в результате нищими, бродягами и разбойниками. С разбойниками вели жестокую, но безуспешную борьбу, помощь нищим вполне успешно оказывали созданные и поддерживаемые католической церковью благотворительные общества. Важно иметь в виду эту модель, поскольку она сформировала отношение к безработице и безработным, сохранявшееся на протяжении столетий после того, как средневековые условия ушли в прошлое. Запомним в частности, что массовая безработица, не связанная с какими-либо личными недостатками безработных, была неизвестна средневековью, за исключением тех случаев, когда она являлась следствием социальных бедствий, таких как опустошительные войны, междоусобицы и эпидемии.

Положение стало меняться начиная с XV в. Разрушение средневекового мира, сопровождавшееся социальными переворотами, само по себе является достаточным объяснением массовых страданий и нищеты. Аграрная революция не только привела к разрушению среды, которая могла бы приютить беженцев из разоренных областей, но и послужила причиной более быстрого роста безземельного пролетариата по сравнению с фактическим спросом на рабочую силу. Спротивление переменам со стороны организованных гильдий защищало одни группы населения, но ухудшало положение других. Развивающаяся капиталистическая промышленность в долгосрочном аспекте скорее поглощала избыточных работников, чем создавала безработицу. Но существовало много узких мест, задерживавших развитие новых возможностей и приток в новые области рабочей силы. Более того, с ускорением темпа промышленного развития во второй половине XVIII в. технологическая безработица приобрела массовый характер и часто нивелировала положительный долгосрочный эффект. Этим объясняется, почему развитие фабричной системы сопровождалось такой нищетой: в течение многих лет рабочую силу не привлекали

на фабрики высокой оплатой труда или лучшими условиями жизни, а загоняли туда, несмотря на более низкие реальные доходы и худшие условия жизни. Старые протекционистские правила рухнули не столько под влиянием философии *laissez-faire*, сколько под тяжестью фактической или грозящей безработицы. На какое-то время, хотя не везде в одинаковой степени, разрушились все барьеры, препятствующие ухудшению участи рабочих.

Таким образом, нетрудно понять уже отмеченный парадокс: правительства и авторы-популяционисты постоянно беспокоились о том, как «заставить бедных работать» и как бороться с «праздностью».<sup>1</sup>

Однако прежде всего европейские правительства с начала XVII в. столкнулись с административной проблемой. Нарастающее число попрошайек и бродяг повсюду превысило возможности частной благотворительности, и повсюду на смену ей должна была прийти организованная государством помощь. В Англии принимаемые меры были систематизированы в елизаветинском Законе о бедных от 1601 г., который ввел постоянный обязательный налог в пользу бедняков. Он представлял собой подать, взимаемую в каждом церковном приходе на поддержание нищих прихожан. Бремя было значительным и, главное, весьма заметным, а принципы и результаты оставались явно спорными. Поэтому до установления современного законодательства о социальном обеспечении Закон о бедных пытались усовершенствовать путем внесения, обсуждения и принятия бесчисленных поправок. Поскольку поток книг, памфлетов и статей, посвящаемых этим проблемам в течение более чем трехсот лет, важен для истории экономической науки, мы отметим два основных спорных вопроса. Управление фондом, собранным за счет налога в пользу бедняков, было поручено, согласно указу Елизаветы, избираемым для этой цели неоплачиваемым местным представителям; это была весьма неэффективная организация, не претерпевшая радикальных перемен до выхода в 1834 г. Акта о внесении поправок в Закон о бедных. Следовательно, первый спорный вопрос заключается в том, должен ли в этом случае осуществляться центральный или местный контроль. Второй вопрос, более интересный с нашей точки зрения, — это способ выдачи пособия: будут ли бедняки сами получать пособие или содержаться в работном доме? Первоначально происходила раздача вспомоществования. Но

<sup>1</sup> Эти условия были многократно описаны с различной степенью компетентности и точности. Для наших целей вновь будет достаточно сослаться на работы Хекшера и Манту.

виду различных административных злоупотреблений, которые только отчасти были связаны с данным способом, он был подвергнут критике и на первый план надолго выдвинулись работные дома, что было на какое-то время закреплено в Акте 1834 г.<sup>2</sup> Следует повторить, что в XVII и XVIII вв. парламент и правительство предпринимали мало усилий, чтобы дополнить существующие системы помощи безработным мерами защиты работающих (речь идет о продолжительности рабочего дня, условиях труда и т. д.), даже женщин и детей.

В некоторых странах континентальной Европы в пределах рассматриваемого периода мы находим зачатки фабричного законодательства, например в Австрии при Иосифе II (1781–1790). Однако в Англии до появления в 1802 г. (неэффективного) Закона о здоровье и нравственности фабричных учеников<sup>3</sup> ничего подобного практически не было. Тем не менее мы можем отметить имевший несколько иную направленность Акт о добровольных обществах (*Friendly Society Act*) от 1793 г., смягчавший законодательство, направленное против корпоративной деятельности рабочих.

Основные средства борьбы с безработицей заключались в принятии мер, активизировавших развитие обрабатывающей промышленности. Позже, в гл. 7, мы увидим, что забота о возможности трудоустройства населения была одним из основных мотивов «меркантилистской» политики. В некоторых странах континентальной Европы, особенно в Германии, защита крестьянских земельных владений служила важной охранительной мерой против пауперизации промышленных рабочих, а дефицитное финансирование континентальных правительств, хотя и не мотивированное данной целью, в какой-то степени облегчало ситуацию. Англия значительно ближе подошла к сбалансированности бюджета. Однако некоторые английские авторы-экономисты, хотя и не рекомендовали бюджетные дефициты, яснее своих континентальных

<sup>2</sup> Читатель найдет достаточное число относящихся к этому вопросу фактов едва ли не в каждой работе по экономической истории. Однако стоит особо порекомендовать три книги: *Hampson E. M.* (Э. М. Хэмпсон). *The Treatment of Poverty in Cambridgeshire, 1597–1834.* 1934; *Webb S., Webb B.* (С. Уэбб, В. Уэбб). *English Poor Law History. 1927–1929;* *Marshall Dorothy* (Дороти Маршалл). *The English Poor in the Eighteenth Century.* 1926. Историю вопроса в XVIII в. мы рассмотрим здесь. История вопроса в XIX в. превосходно изложена в книге сэра Джорджа Николла: *Nicholls George, Sir.* *History of the English Poor Law.* 1854. В дополнение к этой книге Николз написал историю Законов о бедных в Ирландии и Шотландии (1856).

<sup>3</sup> См., например: *Hutchins B. L., Harrison A.* (В. Л. Хатчинс, А. Харрисон). *History of Factory Legislation.* 1903.

собратьев понимали возможности монетарных средств борьбы с безработицей.<sup>4</sup>

Поздние схоласты<sup>5</sup> подобно своим предшественникам подчеркивали роль благотворительности и защищали нищих от жесткой реакции среды. В частности, они декларировали «право на попрошайничество». В то же время эти ученые сознавали, что рост безработицы превышал возможности частной благотворительности, и обратились к обсуждению возможностей, предоставляемых законодательством и государственным управлением, касаясь — сначала случайно, затем более систематически — причинно-следственных связей. Эта дискуссия была подхвачена светскими авторами, в основном консультантами-администраторами, по всей Европе. В Германии *das Armenwesen* («призрение бедных»), естественно, стало традиционной темой «камералистской» литературы. Немецкие правительства как нечто само собой разумеющееся признавали ответственность государства за занятость и поддержку населения. Тот же принцип неоднократно утверждался в Англии, например магистратом Беркшира в 1795 г. Но для историка экономического анализа материала здесь немного.<sup>6</sup>

Во-первых, множество авторов, рассматривавших в своих трудах законы о бедных, спорили о ясно высказанной или подразумеваемой «теории», согласно которой, за исключением несчастных случаев, в особенности болезни, нищий безработный был сам виноват в своей судьбе. Очевидная неадекватность этой точки зрения в качестве теории объясняемого социального явления и наше возмущение ее бессердечием не должны ослеплять нас до такой степени, чтобы помешать увидеть в ней элемент истины, который в такой же степени недооценивается в наше время, в

---

<sup>4</sup> Вопрос о правомочности утверждения, что у экономистов XVII и XVIII вв. имелась монетарная теория занятости, будет кратко рассмотрен в следующей главе.

<sup>5</sup> Трактаты де Сото и де Медина (XVI в.), о которых уже шла речь в главе 2, могут вновь послужить примером мощного потока литературы, изливавшегося, особенно в Испании и Италии, на протяжении XVII и XVIII вв. Мы ограничимся упоминанием одного из наиболее удачных произведений: *Vasco Giovanni Battista. Mémoire sur les causes de la mendicité et sur les moyens de la supprimer. 1790* (переизд. вместе с другими его работами в сборнике Кустоди). Васко (1733–1796) — священник из Пьемонта, под влиянием Тюрго и А. Смита ставший правоверным «либералом», т. е. сторонником политики *laissez-faire*.

<sup>6</sup> Подробнее см.: *Gregory T. E. (Т. Е. Грегори). The Economics of Employment in England, 1660–1713//Economica. 1921*. Ни для какой другой страны нет равноценного обзора. Следует также сослаться на интересную статью Дж. Ариаса по поводу теории безработицы Ортеса, опубликованную в *Giornale degli Economisti* (1908. Sept.).

какой переоценивался в ту эпоху. Этот элемент истины был положен в основу аргументации защитников системы работных домов и просуществовал в различных вариантах до 1914 г. Принципы, согласно которым помощь бедным должна ограничиваться содержанием в работном доме, а жизнь и работу там следует организовать так, чтобы они стали менее желанными, чем самая нежеланная работа по найму, вполне возможно применялись для испытания на подлинную обделенность; на практике они часто интерпретировались как карательные меры, что можно объяснить только влиянием обсуждаемой теории. Во-вторых, авторы, идущие в своих рассуждениях дальше этой теории, приводили множество факторов, в той или иной степени имевших отношение к объяснению безработицы или плохих условий труда, но не подвергали их сколько-нибудь тщательному анализу. Наиболее важными из упомянутых факторов были внешняя конкуренция, высокие процентные ставки, налоги и правила, затрудняющие предпринимательскую деятельность, огораживание общинных земель и связанные в основном с ним вопросы собственности на землю. Очень трудно судить о глубине понимания рассматриваемых проблем. Приведем один пример: одной из причин безработицы Чайлд считал высокий процент, но эту причину он видел не в том, что высокая процентная ставка может привести к сокращению капиталовложений, а в том, что она способствует преждевременному отходу от предпринимательской деятельности. Хотя такой вывод и не совсем обоснован, он подозрительно похож на грубую аналитическую ошибку. По мере приближения к концу XVIII в. к числу причин безработицы (или низких ставок заработной платы) все чаще относили внедрение машин. Однако никто не попытался разработать теорию механизации производственного процесса. В целом преобладало противоположное мнение, согласно которому введение машинного оборудования в перспективе должно обеспечить рост занятости и повышение заработной платы. Этого мнения придерживался Кэри и, кажется, его разделял А. Смит. В-третьих, в последней четверти XVIII в. установилась тенденция объяснять безработицу с помощью «принципа народонаселения». Аналитическую природу таких аргументов легче всего выявить, прибегнув к аналогии.

В период любой депрессии мы наблюдаем одно и то же явление: производитель не может продать свою продукцию по ценам, позволяющим покрыть затраты; отсюда очень легко прийти к выводу, что корень зла заключается в «перепроизводстве». Это самая примитивная из всех теорий кризиса или депрессии. А самая примитивная теория безработицы — это теория, согласно

которой люди не могут найти работу за зарплату, обеспечивающую прожиточный минимум, поскольку их очень много. Почти всегда в основе подобной аргументации лежало мнение о том, что более щедрое обеспечение «работоспособного бедняка» ухудшит положение рабочего класса в целом или даже что соблюдение Закона о бедных в его прежнем виде будет порождать нищету, поощряя рост населения.<sup>7</sup> Отметим, что эта теория, если она вообще заслуживает такого названия, может быть с равным успехом применена к выдаче пособий, полагающихся безработным, и субсидий, обычно предоставляемых на основе Закона о бедных, лицам, работающим за зарплату ниже прожиточного минимума. Последняя практика жестко критиковалась в связи с вызываемыми ею административными злоупотреблениями, она позволила местным работодателям свести заработную плату части работников к уровню бедности. Возможно, по этой причине не было создано сколько-нибудь приемлемой теории субсидий к заработной плате. Тем ярче проявлялось существенное сходство между безработицей и занятостью при тяжелых условиях труда. И то и другое входило в концепцию «бедности» или «нужды», которую, как мы знаем, Кенэ первым объяснил перенаселенностью.

Обсуждение сопутствующей проблемы детского труда было еще менее результативным с точки зрения аналитической работы. Дети всегда трудились вместе с родителями на ферме, а в системе домашнего производства они работали по дому. Развитие фабрик просто привело к созданию новых возможностей для занятости детей, с самых ранних лет управлявших простыми машинами; возникла новая практика отдавать детей бедняков на хлопковые мануфактуры с целью снижения уровня бедности. Мало кого из авторов потрясли ужасы или взволновали очевидные последствия такого труда для здоровья нации. В подавляющем большинстве они не только воспринимали детский труд как нечто само собой разумеющееся, но также одобряли его как проявление здоровой дисциплины и возможное решение многих проблем рабочих семей. Некоторые авторы XVII в. видели в детском труде благо для масс и, по-видимому, рассматривали детские заработки как чистую прибавку к семейному доходу рабочих, не принимая во внимание влияние на заработ-

<sup>7</sup> Подобные доводы свободно и эффективно использовались против предложенной Уильямом Питтом системы законов, благоприятствовавших большим семьям. Иеремия Бентам написал выдающуюся работу на обсуждаемую тему (*Bentham Jeremy. Observations on the Poor Bill ... [of] Mr. Pitt. 1797*), явившуюся предвестником сложившегося позднее мнения «классических» экономистов XIX в. относительно того, что, исходя из их точки зрения, можно назвать «ошибочностью политики пособий». См.: *Bentham J. Works. Vol. VIII.*

ную плату взрослых, которое неизбежно оказывала детская конкуренция. Этой теории придерживался Яррантон,<sup>8</sup> и она вполне может служить примером идеологического искажения видения исследователя. Ее можно также рассматривать как пример ранней экономической аргументации, содержащей, несмотря на свою незрелость, элемент истины. Если учитывать только денежный доход, то, вероятно, в условиях того времени детский труд приносил выигрыш рабочему классу, хотя, разумеется, этот выигрыш был меньше суммы детских заработков, и способствовал осуществлению идеала дешевизны и достатка, к которому стремился Яррантон. Отношение к детскому труду в XVIII в. менялось медленно и в большей мере под влиянием гуманных чувств, чем экономического анализа. Можно перечислить множество авторов, приветствовавших полную занятость детей с как можно более раннего возраста (с шести или даже четырех лет) или, по крайней мере, принимавших детский труд безоговорочно, как нормальное положение вещей.<sup>9</sup> Говоря о среднем бюджете семьи сельскохозяйственного рабочего, Артур Янг считал само собой разумеющимся, что главный кормилец семьи, работая один, не в состоянии обеспечить прожиточный минимум для всей семьи без заработков жены и детей.

Деятельность по сбору фактического материала была поставлена значительно лучше, и ее результаты в области экономики труда составляют наиболее важное достижение той эпохи. Выдающийся труд написал Иден.<sup>10</sup> По широте охвата материала и по методу исследования эта книга не знает себе равных ни в английской, ни в какой-либо другой литературе того периода. Особый интерес для нас представляет тот факт, что автор, отрицая какое-либо другое намерение, кроме сбора

<sup>8</sup> *Yarranton Andrew. England's Improvement by Sea and Land. 1677.* С этим автором и его книгой мы вновь встретимся в главе 7. Интересно отметить, что, выступая за широкое использование детского труда, Яррантон (1616–1684) указал на Германию как на пример для подражания.

<sup>9</sup> Приведем хотя бы один пример. Даниэль Дефо (*Defoe Daniel. Tour thro' ...Great Britain. 1724–1727. Vol. III*) отмечал, что, путешествуя по стране, в некоторых английских деревнях он не встречал детей, и при этом с удовлетворением делал вывод, что все они, как и следовало, были на работе. То же отношение явственно прослеживается и в его работе *Plan of the English Commerce (1728).*

<sup>10</sup> *Eden Frederick Morton, Sir (1766–1809). The State of the Poor: or an History of the Labouring Classes in England from the Conquest to the Present Period; in which are particularly considered their Domestic Economy...; and the various Plans which, from time to time, have been proposed and adopted for the Relief of the Poor... (1797. 3 Vols);* сокращенный вариант опубликован А. Дж. Л. Роджерсом (A. G. L. Rogers) в 1928 г. Особенно важны данные о ценах и зарплатах и исследование семейных бюджетов в 3-м томе.

фактического материала (тем не менее он предлагает несколько интересных дискуссионных вопросов), отдавал себе полный отчет в важности собранных им фактов не только для законодательной и административной практики, но и для экономического анализа. Иден утверждал, что выполнил роль «каменотеса и водовоза», без которого «нельзя воздвигнуть здание политического знания». Изучая историю экономической науки, особенно важно помнить, что он был самой крупной, но не единственной фигурой в этой области. В том ключе работал и Дэвис,<sup>11</sup> собирая данные о семейных бюджетах сельскохозяйственных рабочих и проводя тщательный анализ данных. Такова же была и работа Ричарда Бёрна (*Burn Richard. History of the Poor Laws. 1764*). Такого рода труды прокладывали путь к развитию трудового законодательства XIX в.

---

<sup>11</sup> *Davies David. The Case of Labourers in Husbandry stated and considered, in three Parts: Part I: A View of their Distressed Condition. Part II: The Principal Causes of their Growing Distress and Number... Part III: Means of Relief Proposed.* Данные по семейным бюджетам приведены в приложении. Работа была частично опубликована в 1795 г. Читателям, интересующимся данным вопросом, можно рекомендовать еще несколько английских книг, представляющих некоторую ценность с точки зрения собранного в них фактического материала или проделанного анализа. Следует иметь в виду, что они были выбраны в результате весьма несистематического просмотра: *Lee L. (Л. Ли). Remonstrance... touching the Insupportable Miseries of the Pools of the Land. 1644* (схема трудоустройства безработных с помощью полугосударственных мастерских); *North Roger (Роджер Норт). A Discourse of the Poor... 1753; Anon. Observations on the Number and Misery of the Poor... 1765; Anon. Observations on the Present State of the Poor of Sheffield... 1774; Anon. [Potter R.]. Observations on the Poor Laws, on the Present State of the Poor, and Houses of Industry. 1775.* Особенно следует отметить интересный аргумент Джона Хаулетта (см. выше, § 1) относительно огораживаний земель: *Enquiry into the Influence which Enclosures have had upon the Population of this Kingdom. 1786; The Insufficiency of Causes to which the Increase of our Poor and of Poor's Rates have been Commonly Ascribed. 1788.*

## Глава 6

# ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ<sup>1</sup>

1. Реальный анализ и монетарный анализ
  - [a] Связь монетарного анализа с агрегированным или макроанализом]
  - [b] Монетарный анализ и точки зрения на расходы и сбережения]
  - [c] Интерлюдия в развитии монетарного анализа (1600–1760 гг.): Бехер, Буагильбер и Кенэ]
  - [d] Дороговизна и изобилие против дешевизны и изобилия]
2. Основы
  - [a] Металлизм и картализм: теоретический и практический]
  - [b] Теоретический металлизм в XVII и XVIII вв.]
  - [c] Сохранение антиметаллистской традиции]
3. Отступление о ценности
  - [a] Парадокс ценности: Галиани]
  - [b] Гипотеза Бернулли]
  - [c] Теорема механизма ценообразования]
  - [d] Кодификация теории ценности и цены в «Богатстве народов»]
4. Количественная теория денег
  - [a] Объяснение Боденом революции цен]
  - [b] Выводы из количественной теоремы]
5. Кредит и банковское дело
  - [a] Кредит и концепция скорости обращения денег: Кантильон]
  - [b] Джон Ло — предтеча идеи регулируемого денежного обращения]
6. Капитал, сбережения, инвестиции

---

<sup>1</sup> [Хотя данная глава была, по всей видимости, написана довольно рано, она осталась незаконченной и неотпечатанной на машинке при жизни Й. А. Шумпетера. Страницы, написанные от руки, не были пронумерованы, и иногда обнаруживалось два или три варианта одной и той же страницы. Глава была скомпонована с помощью Артура В. Марджета.]

## 7. Процент

- [a) Влияние ученых-схоластов]
- [b) Барбон: «Процент — это рента с капитала»]
- [c) Переключение внимания аналитиков с процента на прибыль]
- [d) Великий вклад Тюрго]

## 1. Реальный анализ и монетарный анализ

Мы уже коснулись данной темы в главе 4, рассматривая работу Кенэ. Теперь пора проанализировать эту тему немного глубже, чтобы как можно яснее показать развитие доктрины, приобретшей дополнительный интерес для тех, кто изучает современную экономическую науку, вследствие того, что монетарный анализ вновь завоевал прочное положение в наше время. Давайте прежде всего заново определим эти два подхода.

Реальный анализ<sup>2</sup> исходит из принципа, согласно которому все основные явления экономической жизни можно описать в терминах благ и услуг, принятых относительно них решений и соотношений между ними. Деньги входят в общую картину только в скромной роли технического средства, принятого для облегчения сделок. Этот механизм может, несомненно, выйти из строя, и в этом случае он вызовет специфические явления, связанные с характером его функционирования (*modus operandi*). Но пока он работает нормально, он не влияет на экономический процесс,

<sup>2</sup> Выражение «реальный анализ» не очень удачно. В частности, оно влечет за собой путаницу, поскольку слово «реальный» имеет много других значений. Это выражение подчеркивает реальность процессов в том смысле, что они являются немонетарными. Но мы обычно используем слово «реальное» для денежных количеств, «скорректированных» в соответствии с изменением определенным образом измеренного уровня цен. Например, мы говорим о реальном доходе, имея в виду денежный доход, разделенный на индекс стоимости жизни. Эти «скорректированные» денежные количества все-таки остаются денежными количествами и используются наряду с нескорректированными в монетарном анализе. Следовательно, наше различие не должно отождествляться с различием между анализом в постоянных и «текущих» ценах. Кроме того, как реальный, так и монетарный анализ мы определяем как чистые типы, чтобы четко выразить важную истину. На практике же таких чистых типов не существует.

Следовательно, в действительности контраст выражен менее резко, чем в нашем анализе. Между идеальными типами существует много промежуточных звеньев. Исследователи, работающие в рамках и реального, и монетарного анализа, вынуждены использовать концепции и аргументы, принадлежащие друг другу. Сторонники реального анализа часто использовали монетарную концепцию капитала; сторонники монетарного анализа всегда пользуются в сущности «реальной» концепцией занятости.

который протекает так же, как в бартерной экономике: именно это в основном подразумевает концепция нейтральных денег. Таким образом, деньги были названы «вуалью», прикрывающей вещи, имеющие реальное значение как для домохозяйств и фирм в их повседневной практике, так и для наблюдающего за ними аналитика. При анализе основных черт экономического процесса их не только можно, но и должно отбросить, подобно тому как мы поднимаем вуаль, если хотим увидеть скрывающееся под ней лицо. Соответственно, цены в денежном выражении должны уступить место меновым соотношениям между благами, являющимися действительно важными вещами, стоящими «за» денежными ценами; формирование дохода нужно рассматривать как обмен, скажем, труда на физические средства существования; сбережения и инвестиции следует рассматривать как сбережение некоторых реальных факторов производства и их превращение в реальные капитальные блага, например постройки, машины, сырье; и именно этот физический капитал (хотя он имеет форму денег) «реально» предоставляется взаймы, когда заемщик-промышленник договаривается о ссуде. Сугубо денежные проблемы можно в этом случае рассматривать отдельно, так же, как многие другие вещи, например страхование.

Монетарный анализ, во-первых, исходит из отрицания тезиса, согласно которому, за исключением нарушений денежного обращения, денежный элемент имеет второстепенное значение для объяснения реального экономического процесса. В сущности, достаточно всего лишь проследить ход событий во время и после открытия месторождений золота в Калифорнии, чтобы убедиться, что это открытие повлекло за собой значительно более важные последствия, чем изменившееся достоинство единицы выражения ценностей. Не составляет также труда понять, как понял А. Смит, что развитие эффективной банковской системы имеет большое значение для благосостояния страны. До некоторой степени эти и другие вещи могут быть и были признаны в границах реального анализа. Мы даже имеем возможность, не выходя за пределы реального анализа, выдвигать монетарные теории экономических циклов или процента. Однако читатель должен заметить, что нельзя долго идти этим путем, не осознав при этом факта, что монетарный процесс, вызывающий заметные «нарушения», не прекращает своего воздействия и при самом нормальном ходе экономической жизни. Таким образом, мы постепенно приходим к выводу о допустимости наличия монетарных элементов в реальном анализе и не испытываем уверенности в том, что деньги вообще могут быть «нейтральными» в каком-либо

смысле. Во-вторых, монетарный анализ вводит денежный элемент уже в основание нашей аналитической структуры и отходит от идеи, согласно которой все основные черты экономической жизни могут быть представлены с помощью модели бартерной экономики. Денежные цены, денежные доходы, а также связанные с последними решения относительно сбережений и инвестиций больше не представляются как выражения (то удобные, то вводящие в заблуждение, но всегда поверхностные) количеств товаров и услуг и меновых соотношений между ними; напротив, они обретают собственную жизнь и значение, и приходится признать, что основные черты капиталистического процесса могут зависеть от «вуали» и без нее нельзя получить полного представления о «лице под вуалью». Раз и навсегда отметим, что это признано почти всеми современными экономистами, по крайней мере в принципе, и в этом смысле монетарный анализ утвердился.

[а] **Связь монетарного анализа с агрегированным или макроанализом**. Но это еще не все, что следует понимать под монетарным анализом: в-третьих, он обозначает также агрегированный или, как его иногда называют, макроанализ,<sup>3</sup> т. е. анализ, стремящийся сократить количество переменных величин экономической системы до небольшого числа агрегированных показателей, таких как совокупный доход, совокупное потребление, совокупные инвестиции и т. п. Экономическая таблица Кенэ служит выдающимся примером альянса между монетарным и агрегированным анализом. Этот альянс не является в полной мере логической необходимостью, но близок к ней: как мы упомянули выше, можно ввести деньги в основание общего экономического анализа, не используя агрегированного подхода. Однако денежные агрегаты однородны, в то время как большинство неденежных агрегатов — всего лишь ничего не значащие груды безнадежно разрозненных вещей, поэтому если мы хотим работать с небольшим количеством переменных, то едва ли мы сможем обойтись без денежных переменных. Поскольку этот альянс с агрегированным анализом практически проходит через всю историю монетарного анализа, то отныне мы сведем понятие монетарного анализа к анализу в агрегированных показателях<sup>4</sup> —

<sup>3</sup> Термин введен профессором Рагнаром Фришем.

<sup>4</sup> Некоторых читателей, возможно, заинтересует пример, приведенный из ведущей системы современного монетарного анализа, т. е. из кейнсианской системы. Читатели, совершенно незнакомые с последней, могут пропустить данное примечание. Основные переменные этой системы — это количество денег (общая сумма спроса на кассовые остатки и их предложение), национальный доход, потребление и инвестиции, причем все величины измерены или в день-

в основном, как мы видели, рассматривая экономическую таблицу, речь идет о потоках расходов.

Как уже указывалось, анализ данного типа не отменяет реальный анализ, а только ограничивает его рамки описанием поведения отдельных домохозяйств и фирм. Следует отметить, что совокупные показатели, вытекающие из этого поведения, далее можно рассматривать как таковые, не обращаясь на каждом шагу к индивидуальным действиям или решениям, стоящим за ними. Например, инвестиции как совокупный показатель являются алгебраической суммой очень многих индивидуальных (положительных или отрицательных) инвестиций. Монетарный анализ оставляет объяснение этих инвестиций на долю теории индивидуальных домохозяйств и фирм и занимается только этой алгебраической суммой на основании гипотезы, согласно которой *только она имеет значение для экономического процесса в целом* и все воздействия на экономический процесс в целом, происходящие из многочисленных индивидуальных решений относительно инвестиций, измеряются их алгебраической суммой.<sup>5</sup>

Необходимо подчеркнуть самым решительным образом, что принятие этой гипотезы подрывает позиции монетарного анализа, поскольку можно представить строгие доказательства того, что она в целом противоречит фактам. Для наших целей достаточно обратиться к только что упомянутому примеру. Предположим, что в каком-то году инвестиции всех фирм в сумме равны

гах, или в единицах заработной платы (денежная заработная плата идеальной единицы труда). Этим денежным агрегатам соответствуют агрегированные функции, или «графики» (schedule), основанные на предположениях об агрегатном поведении домохозяйств и фирм: график предельной склонности к потреблению, график предпочтения ликвидности и график предельной эффективности капитала (см. часть V, глава 5). Цены отдельных благ непосредственно не рассматриваются, кроме процентной ставки. Следует отметить, что, хотя процентная ставка не является агрегированной величиной, она хорошо вписывается в систему агрегированных переменных, так как в отличие от любой другой индивидуальной цены ее легко поставить в значимую зависимость по отношению к ним: установление зависимости между ценой на пшеницу и общей суммой инвестиций обычно не имеет смысла, а зависимость между процентной ставкой и суммой чистых инвестиций смысл имеет. Следовательно, мы должны расширить наше представление об агрегированных переменных, чтобы охватить любые неагрегированные переменные, которые можно и нужно ввести в агрегированную систему. Кроме процентной ставки другим наиболее важным примером является ставка заработной платы.

<sup>5</sup> Эта точка зрения с непревзойденной энергией и блеском была сформулирована Джоан Робинсон в работе «The Theory of Money and the Analysis of Output» (Review of Economic Studies, 1933. Oct.). С ее точки зрения, «теория денег», называемая нами монетарным анализом, в действительности идентична теории общественных агрегатов и в конечном счете теории общего объема производства, выраженного в денежных оценках потребления и инвестиций.

нулю. Само собой разумеется, что вытекающий отсюда ожидаемый ход событий будет зависеть не только от этого факта, но и от составляющих индивидуальных решений: если в одном случае все фирмы действительно решат ничего не инвестировать, т. е. оставить свой капитал неизменным, а в другом случае одни из фирм решат сделать позитивные инвестиции, а другие — сократить свои инвестиции на такую же сумму, то результаты в обоих случаях будут различными. Более того, влияние на экономический процесс в целом будет меняться в зависимости от «реальной» природы инвестиций отдельных фирм и в особенности от того, дополняют ли эти инвестиции друг друга или конкурируют между собой. Правда, в той мере, в какой это касается непосредственных влияний расходов фирм как таковых, наша алгебраическая сумма все же о чем-то говорит. Именно поэтому монетарный анализ не является бесполезным, однако он всего лишь часть теории экономического процесса в целом и, будучи применен в отрыве от общей теории, может ввести в серьезное заблуждение.<sup>6</sup>

**[б) Монетарный анализ и точки зрения на расходы и сбережения].** В-четвертых, как мы видели и у Кенэ, монетарный анализ тесно связан, хотя и не вследствие логической необходимости, с характерной системой взглядов, касающихся расходов и сбережений и, следовательно, денежной и налоговой политики. В действительности, если мы рассматриваем экономический процесс (в первую очередь или исключительно) как систему потоков

<sup>6</sup> Частично признавая это, современные сторонники монетарного анализа, и в частности их ведущий представитель лорд Кейнс, часто вводят весьма значительное ограничение: они принимают организацию и методы производства, а также объем капитала как данные (в течение краткосрочного периода), сводя, таким образом, стоящую перед ними задачу к вопросу о том, что (в краткосрочный период) определяет степень использования данного промышленного аппарата; идя по пути дальнейшего упрощения, они отождествляют эту большую или меньшую степень использования промышленного аппарата с большей или меньшей занятостью рабочей силы; таким образом, рост или сокращение инвестиций просто означает увеличение или уменьшение фонда заработной платы. Легко понять, что в данном конкретном случае положительные и отрицательные инвестиции в значительно большей степени компенсируют друг друга, чем в общем случае, а следовательно, их алгебраическая сумма значительно более адекватно выражает это суммарное воздействие на экономический процесс. Однако читатель должен обратить внимание на следующее: а) данное ограничительное допущение абстрагируется от самой сути капиталистической действительности, все явления и проблемы которой (включая краткосрочные) связаны с непрерывным созданием нового, в том числе принципиально нового, оборудования; б) учитывая это, модель, построенная на данном ограничительном предположении, почти не применима к вопросам практической диагностики, прогнозирования и, прежде всего, экономической политики, если ее не подкрепить дополнительными внemodelными соображениями.

расходов, то, естественно, ожидаем от любого препятствия ровному течению этих потоков всякого рода нарушений и, наоборот, приписываем любые наблюдаемые нарушения экономического процесса этим препятствиям, рассматривая их по меньшей мере как ближайшую причину.

Следовательно то, каким образом домохозяйства или фирмы распоряжаются своими деньгами и реагируют на денежные величины, приобретает важность независимо от «товарного» аспекта их действий.

В частности, мы можем придать большее значение полному использованию людьми дохода, получаемого ими от фирм, т. е. его быстрому расходованию на продукцию этих фирм, чем товарам, которые они при этом приобретают, и ценам, по которым они их покупают. Далее мы можем сделать вывод, что сбережения являются препятствием для данного потока расходов, и в предельном случае приписать сбережениям роль главного нарушителя экономического процесса. Таким образом, монетарный анализ не только хорошо подходит в качестве инструмента для экономистов — сторонников расходов и противников сбережений независимо от какой бы то ни было теории, но также имеет тенденцию закрепить в умах его приверженцев положительное отношение к «расходам» и отрицательное к «сбережениям», сфокусировав внимание на процессе зарождения денежного дохода, тогда как все остальное исчезает из виду.

Теперь, подготовив почву, мы должны проследить судьбы реального и монетарного анализа в ходе рассматриваемой эпохи. Давайте сразу же рассмотрим основную трудность, связанную с осуществлением данной задачи. Она заключается в том, что идеи, лежащие в основе монетарного анализа или связанные с ним, относятся, так сказать, к двум уровням: донаучному и научному. С тех пор как жалованье стали выплачивать деньгами, каждая служанка чувствовала, что все было бы хорошо, если бы только ее хозяйка достаточно свободно тратила деньги; а с тех пор как торговля стала осуществляться посредством денег, каждый торговец чувствовал, что смог бы продать все, что хотел, если бы у людей было достаточно денег или если бы ему удалось убедить тех, у кого они есть, расстаться с ними. За некоторыми исключениями, подтверждающими правило (в Европе XIX в. эти исключения почти вытеснили правило), это обстоятельство является и всегда было главной экономической позицией человека с улицы, никогда по-настоящему не верившего в добродетель бережливости, даже если он соглашался с ней на словах. Первой задачей аналитической мысли было рассеять некоторые из этих «моне-

тарных иллюзий». Другие аналитические усилия были направлены на созидание и воссоздание монетарного анализа на научном уровне, который иногда так же удачно атаковал реальный анализ, как последний преуспевал в своих нападках на «распространенные предрассудки». Однако оба уровня не изолированы друг от друга, что создает проблемы для историка. С одной стороны, широко распространенные мнения относительно денег и их расходования оказались непобедимыми. Они всегда выживали и всплывали в потоке литературы, который протекал или вне, или внутри «признанной» экономической теории, и всегда оказывали мощную поддержку попыткам поставить монетарный анализ на научный уровень. Как успех, которым пользовались доводы социалистов, выкованные опытными экономистами, объясняется не их научными достоинствами, а тем, что эти доводы запали в душу людям, не доверяющим рациональным формулировкам, так и успех монетарного анализа нельзя объяснить без учета того факта, что его доводы совпадают с внерациональными чувствами и, следовательно, особенно в трудные для экономики времена, они будут, скорее всего, встречены с глубоким вздохом облегчения.<sup>7</sup>

Наиболее эффективными тезисами научного монетарного анализа являются те, в которых общество способно обнаружить ориентир, указывающий простой выход из трудностей, и которые имеют фамильное сходство с тем, что ворчливые профессора называют общераспространенными заблуждениями. С другой стороны, эти общественные предрассудки, как и всякие прочие, содержат элементы научно доказуемой истины, поэтому ассоциация с ними не является (*prima facie*) безусловным основанием для отказа от монетарного анализа. Однако приверженцы реального анализа считали иначе: они не только пренебрегли этими элементами истины в ущерб своему собственному учению, но также воспользовались случаем, чтобы представить результаты монетарного анализа просто как новые версии того, что, несомненно, являлось общераспространенным заблуждением. Позднее, когда у сторонников монетарного анализа появилась возможность, они ответили в аналогичном духе и с тем большим усердием, что они в какой-то мере действительно «подали на стол» старое заблуждение в новой форме. У нас нет ни малейшего намерения подвергать сомнению чью-либо субъективную честность. Подобная путаница неизбежна до тех пор, пока экономисты будут продолжать проводить анализ, не упуская из виду практические про-

<sup>7</sup> Все сказанное отлично подтверждается на примере США.

граммы, которые они хотят рекомендовать или отвергнуть; именно так поступали и поступают большинство из них. Поскольку любая работа подобного рода включает элементы политической борьбы, где самая примитивная тактическая мудрость запрещает признавать, что во взглядах оппонента может содержаться рациональное зерно, то это неизбежно приводит к такому результату, какой мы имеем в данном случае: сторонники и «реального» и «монетарного» анализа завышали свои притязания. Добавим, что, стремясь обыграть друг друга, они также совершали разного рода ошибки. Однако мы попытаемся, насколько возможно, распутать клубок, рассмотрев развитие доктрин в общих чертах, а затем упомянув несколько имен, представляющих эти доктрины.

История экономического анализа *начинается* с реального анализа, прочно захватившего лидерство. Именно его придерживались Аристотель и все схоласты. Это вполне понятно, так как им противостояли только доаналитические представления общества. Однако следует сделать существенную оговорку: эти авторы предложили монетарное объяснение такого явления, как процент. *Грубо говоря*, такое положение вещей преобладало до начала XVII в. История экономического анализа в рассматриваемый период *заканчивается* победой реального анализа, причем настолько полной, что она практически вытеснила монетарный анализ более чем на столетие, хотя одна или две попытки его внедрения были предприняты в рамках экономической науки, а за ее пределами он продолжал вести «подпольное существование».<sup>8</sup>

Эта победа также попятна. Ее, несомненно, облегчили еще сохранившиеся у всех в памяти живые воспоминания о монетарных нарушениях в средние века и позднее, о знаменитых случаях злоупотребления банковскими методами — еще была всем памятна деятельность Джона Ло (см. § 5), — а также враждебное отношение к «меркантилистским» учениям. Но какими бы

<sup>8</sup> Из сонма победителей выделились Тюрго и А. Смит, которые в последующий период нашли союзника, довершившего победу. Это был Ж. Б. Сэй. Лорд Кейнс, у кого я позаимствовал выражение «подпольное существование» (underworld), так хорошо отражающее статус монетарного анализа в XIX в., датирует победу реального анализа полемикой между Рикардо и Мальтусом (*General Theory*. P. 32). Это неверно, но есть доля правды в его заявлении, что взгляды на политику, связанные с реальным анализом, «завоевали Англию (и остальной мир. — *Й. А. Шумпетер*) так же прочно, как Святая инквизиция завоевала Испанию». Действительно, любая мысль с оттенком монетарного анализа вызывала неодобрение не только как ошибочная, но и как не вполне отвечающая нравственным требованиям; дело в том, что монетарный анализ связывался (нет нужды добавлять, что не всегда безосновательно) с защитой дилетантской и легкомысленной политики, а также (особенно в США) с поддержкой свободной банковской деятельности и внедрения серебра.

мощными ни были эти факторы,<sup>9</sup> не следует сосредоточивать на них внимание до такой степени, чтобы забыть о том, что реальный анализ также был результатом прогресса в области экономического анализа и средством для дальнейшего его развития.

[с) Интерлюдия в развитии монетарного анализа (1600—1760 гг.): Бехер, Буагильбер и Кенэ]. Между 1600 и 1760 гг. в развитии монетарного анализа наблюдалась довольно важная интерлюдия. Предприниматели, чиновники и политики, взявшиеся за перо, воспринимали монетарные аспекты своих неприятностей как нечто само собой разумеющееся. Они скорее усомнились бы в том, что люди промокают под дождем, чем в том, что большее количество денег означает больше прибыли и больше рабочих мест, или в том, что высокие цены — это благо, а высокий процент — помеха в деле. Хотя такого рода литература несомненно была порождена доаналитическим уровнем монетарного анализа и никогда полностью не отрывалась от «экономики служанок», она не стояла на месте и со временем создала практически все, за исключением техники анализа, что снова вышло на передний план в 30-е гг. нашего столетия. Отложив рассмотрение сугубо меркантилистских догматов, а также все другие темы, мы отметим возникновение монетарного анализа в его наиболее значительном смысле, т. е. в смысле теории экономического процесса с точки зрения потоков расходов. Хотя примера Кенэ достаточно, чтобы показать, что с точки зрения строгой логики эта теория не имеет ничего общего с протекционизмом, первым документом, где она была представлена, причем с ясностью, не оставившей возможности для сомнения, был ярко выраженный «меркантилистский» трактат Бехера (*Politischer Discours*, 1668).<sup>10</sup> Трактат содержит рудименты аналитической схемы, в которой главной

<sup>9</sup> Эти факторы являются хорошими примерами идеологического влияния, если мы определим идеологию в более широком и полезном смысле, чем это делают марксисты. В этом смысле понятие идеологии охватывает любую навязчивую идею, ограничивающую диапазон нашего видения и порабощающую нашу мысль. Например, если мы считаем, что любая мысль любого автора, имеющая оттенок «меркантилизма», уже в силу одного этого *не может быть* верна или что *следует любой ценой* избегать всего, что может быть названо словом «инфляционизм», то это вполне можно назвать навязчивой идеей.

<sup>10</sup> *Becher J. J. Politischer Discours von den eigentlichen Ursachen dess Auf- und Abnehmens der Städte, Länder, und Republicken, in specie, wie ein Land folkreich und nahrhaft zu machen und in eine rechte Societatem civilem zu bringen* (т. е. как сделать страну богатой и густонаселенной и превратить ее в настоящее общество). Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682) был в некотором роде авантюристом. Будучи по профессии врачом и химиком, он прибыл в Вену исполненный планов и прожектов и играл там определенную роль, пока ему не пришлось бежать от кредиторов. Однако его энергия и самобытность получили всеобщее признание, включая даже таких людей, как Лейбниц и Шталь.

движущей силой, или, по словам Бехера, «душой», экономической жизни являются расходы на потребление. Само по себе утверждение, что потребление одного человека — это доход другого или что расходы потребителей генерируют доход, так же старо, как и избито. Но оно может быть превращено в принцип анализа — в принцип, который Кейнс спустя сто лет воплотил в своей экономической таблице, подобно тому как можно превратить в принцип анализа старое тривиальное наблюдение, согласно которому тело находится в состоянии покоя, пока на него не воздействует некая внешняя сила. Назовем его принципом Бехера, поскольку он, кажется, был первым, кто понял его теоретические возможности. Он не смог создать никакой системы монетарного анализа и, конечно, оставил много работы лорду Кейнсу.<sup>11</sup> Если вообще можно руководствоваться политическими рекомендациями при выявлении авторской аналитической схемы, то в данном случае наблюдается полная согласованность взглядов обоих авторов (за исключением их взглядов на народонаселение)<sup>12</sup> по многим вопросам, в том числе по вопросу внутренних инвестиций.

Неудивительно, что Бехер нашел последователей в Германии. Немецкие консультанты-администраторы были далеки от понимания аналитического значения его принципа, но монетарный анализ в нашем смысле оперирует концепциями, которые, будучи в действительности весьма абстрактными и нереалистичными, имеют и лежащий на поверхности смысл, прекрас-

<sup>11</sup> Лорд Кейнс (см. *General Theory*. Ch. 23) проявил не только благородство, но даже сверхблагородство, признав вклад «меркантилистов». Хотя это вызывает восхищение с нравственной и эстетической точки зрения и свойственно человеку, больше заботящемуся о деле, которому он себя посвящает, чем о собственных притязаниях на оригинальность, это легко может привести к созданию несколько искаженной картины и сделать менее заметным количество «доаналитической мудрости» и ошибок, вошедших в эти работы. Он не упоминает Бехера. Вместо этого он упоминает В. фон Шрёдера (*W. von Schröder*, 1640—1688; основной труд: *Fürstliche Schatz- und Rentkammer*. 1686), менее значительного и, что важнее, менее самобытного современника Бехера, на которого, по-видимому, повлияли и Бехер, и Томас Ман.

<sup>12</sup> Посмертная слава Бехера была взлелеяна панегириками многих немецких историков. Следуя за Рошером (*Roscher*. *Geschichte der Nationalökonomik in Deutschland*. 1874. P. 270), они продолжали перечислять множество более или менее интересных моментов в учении Бехера, например его концепцию трех конфигураций рынков, которые он весьма не одобрял: *monopolium* (монополия), *prololum* (спекулятивная скупка товаров в ожидании роста цен) и *polyolum* (совершенная конкуренция). В этом нет ничего существенного. Его неодобрение совершенной конкуренции и его почти кейнсианская нелюбовь к *laissez-faire* теперь, несомненно, были бы оценены более благосклонно, чем в XIX в., но, по всей видимости, его аналитическое понимание проблемы было, скорее всего, ниже, а не выше аргументации в пользу свободной конкуренции более позднего времени.

но знакомый каждому. Немецкие последователи Бехера с готовностью усвоили этот поверхностный смысл, поскольку он превосходно вписывался в их концепцию, поэтому даже нет необходимости устанавливать зависимость между ними. Опираясь на принцип Бехера, можно координировать и рационализировать значительную часть их диагнозов и рекомендаций. Многие из них отводили главенствующую роль высокому уровню массового потребления или, выражаясь в присущем им нормативном духе, мерам, стимулирующим массовое потребление. Для некоторых, например для Юсти, это было главной причиной, в силу которой он придавал особое значение росту населения как средству расширения спроса, а не наоборот. Сам Бехер считал возможным взаимодействие обоих факторов. Разумеется, его принцип, как и сегодня, мог быть применен к оценке воздействия высоких цен, сбережений и потребления предметов роскоши.

В Англии, насколько мне известно, не существовало ясно сформулированного принципа, близкого по сути принципу Бехера. Тем чаще он скрыто подразумевался, например в доводах Поттера (1650 г.), согласно которым увеличение количества денег в обращении приведет к пропорциональному росту темпов расходов и производства. Такой же характер носят и аналогичные, хотя более осторожные доводы Ло (1705 г.).<sup>13</sup> Французская литература дает ряд примеров этого направления. Наибольший интерес представляет работа Буагильбера (*Boisguillebert. Dissertation sur la nature des richesses. Ch. 4*), поскольку, подобно Кенэ, он выступал за свободную торговлю и *laissez-faire*. Он не призывал к государственному регулированию для обеспечения равномерности потока ценностей в денежном выражении (расходов), а, напротив, указывал на препятствия, чинимые государством: экспортные пошлины, внутренние барьеры, препятствующие развитию торговли, регулирующее вмешательство в сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность, неправильные операции при сборе наиболее существенного прямого налога, так называемой подати (*taille*), разорявшей сельских жителей и обеднявшей города, — *поскольку все это приводило к сокращению потребительских расходов*. Далее, в то время как мы рассматриваем работников по найму как наиболее зависимую категорию потребителей, Буагильбер в соответствии с социальной моделью своего времени приписывает эту роль землевладельцам. Но данное различие только подчеркивает основное сходство как его теории, так и его взглядов на практические проблемы с теориями и

<sup>13</sup> О Поттере и Ло см. ниже, § 2, 5.

взглядами нашего времени. Расходы потребителей считались активным началом экономической жизни. Под равновесием понималось равновесие взаимного спроса в денежном выражении всех групп населения на продукты или услуги всех остальных групп. Оно осуществилось бы, если и только если каждый продавец быстро становился бы покупателем.<sup>14</sup> Все мешающее быстрому расходованию средств на потребительские товары вызвало бы падение цен, а следовательно, падение доходов, что в свою очередь повлекло бы за собой дальнейшее сокращение расходов потребителей и в результате привело бы к нарастающей дефляции. Отсюда ужас Буагильбера, не превзойденный никем, кроме Сената США, перед этим худшим из зол: дешевым хлебом. С восхитительной наивностью он предостерегал адвокатов, врачей, актеров и т. д. против требований низких цен на сельскохозяйственную продукцию, поскольку, поступая так, они «рыли себе яму», так как в этом случае землевладельцы, являющиеся промежуточными потребителями товаров, получают более низкие доходы и будут вынуждены сократить свои расходы. А что тогда станет с этими адвокатами и т. д.? Следовательно, его понятие процветающего общества предполагает не дешевизну и изобилие, а дороговизну и изобилие. Он не использовал столь милое современным сторонникам быстрого расходования доходов выражение, как «заблуждение дешевизны» («fallacy of cheapness»), но очевидно, что он имел в виду именно это. Поскольку интерес к данному вопросу никогда не угасал, по крайней мере на ничейной земле, лежащей между профессиональной и популярной экономической мыслью, то лучше воспользоваться возможностью и прокомментировать его.

(d) Дороговизна и изобилие против дешевизны и изобилия]. Прежде всего скажем, что оба рассматриваемых мнения, бесспорно, глубоко укоренились в общественном сознании и что политики, законодатели и администраторы, предпринимавшие шаги с целью добиться то одного, то другого, просто реагировали на требования общества. В наши дни это так же верно, как во времена эдиктов о ценах императоров поздней Римской империи, и этим объясняются не только противоречия между различными провоз-

---

<sup>14</sup> Эта идея связана с концепцией совокупного спроса (в денежном выражении) на выпущенную продукцию в целом, а следовательно, можно считать, что она предвосхищает мальтузианскую (и кейнсианскую) концепцию совокупного спроса, которую мы обсудим позднее. Уже отмечалось, что почти через сто лет после Буагильбера в принципе та же мысль была поддержана Дж. Ортесом (см. главу 3, § 4d): сказать, что общий потребительский спрос является ограничивающим началом производства (занятости), — это то же самое, что назвать его активным началом производства.

глашаемыми мотивами и различными действительными мерами, которые мы наблюдаем, но также и многие примеры неискренности, когда общие доводы используются для укрепления положения какой-нибудь отдельной группы. Иными словами, люди, работающие по найму, всегда хотели, чтобы цены на *товары* были низкими, а предприниматели всегда стремились к тому, чтобы они были высокими; как те, так и другие некритически предполагали, что дешевизна или дороговизна не приведет ни к каким побочным последствиям. В этой области, равно как и в прочих, на ранней стадии анализа ученые исходили из общераспространенных представлений, которые затем рационализировали и преобразовывали в доктрины. Однако при этом как в данном, так и в других случаях авторы обычно примыкали к одному из направлений и, следовательно, медленно и часто неохотно замечали элементы истины в иных. Ученые-схоласты связывали процветание с дешевизной, а дороговизну ассоциировали с голодом и массовым обнищанием. Английские предприниматели-экономисты XVII в., что было вполне естественно, склонялись к противоположному мнению, но не всегда: некоторые из них, например Роджер Коук, отстаивали доктрину дешевизны и изобилия; но большинство связывало сочетание дороговизны и изобилия, — добавим к этому еще и низкую процентную ставку, — с бойкой торговлей и высоким уровнем занятости. Мы увидим, что разница между ними, а также разница между большинством из них и учеными-схоластами может быть полностью отнесена на счет различия ситуаций, которые рассматривали отдельные авторы и группы авторов; таким образом, в действительности между двумя точками зрения, на первый взгляд кажущимися диаметрально противоположными, не было никакой логической несовместимости. Однако никто не видел и не допускал этого, поскольку всем хотелось доказать свою правоту. Это остается справедливым и в отношении более совершенного анализа на протяжении XVIII в. Оказалось, что трудно опровергнуть, по крайней мере в некоторых отношениях, аргументацию в пользу высоких цен, поддерживаемую такими первоклассными специалистами, как Буагильбер и Кенэ, но в конце концов она была отвергнута, причем это коснулось приемлемых и даже перспективных ее частей так же, как и действительно ошибочных. А. Смит высказался в пользу дешевизны и изобилия, а за ним последовали практически все имеющие вес экономисты XIX в.

Школа «дешевизны и изобилия» достигла следующего. Во-первых, утвердила некоторые тривиальные истины: любой общий уровень цен и других денежных переменных, к которому приспособился экономический процесс, одинаково хорош, если речь идет об изолированной экономике, — значение имеют только соотношения между некоторыми ценами, например между ценами товаров и факторов производства. Во-вторых, она интерпретировала дешевизну в затратах труда, а не в деньгах. В-третьих, она трак-

товала снижение денежных цен вследствие накопления и технических усовершенствований как естественный способ удешевления вещей в затратах труда. В-четвертых, она пролила свет, с одной стороны, на нарушения экономического процесса, неотделимые от падения цен, а с другой — на возможности стимулирования, заложенные в политике роста цен. Во всем этом не было, по существу, ничего, что можно было бы с полным основанием назвать ошибочным. Победа сторонников дешевизны и изобилия означала прогресс в области экономического анализа. Однако прогресс был односторонним, при котором не были учтены многие перспективные положения сторонников дороговизны и изобилия.

Следует также отметить, что лозунг дороговизны и изобилия не обязательно связан с монетарным анализом, т. е. с анализом в терминах денежных агрегатов. В последнем явно нет ничего, что помешало бы нам ассоциировать условия процветания с дешевизной. Между монетарным анализом в данном смысле и дороговизной существует только историческая связь, и, следовательно, она в каждом случае требует специальной мотивировки. Теория Буагильбера, несомненно, удовлетворяет этому требованию. Его обоснование высоких цен в действительности касалось высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, а их влияние на благосостояние людей рассматривалось с точки зрения обеспечения высоких доходов землевладельцам, на которых в основном и полагался Буагильбер как на потребителей, щедро тратящих свои доходы. Точно так же современные экономисты отождествляют высокие ставки заработной платы с высоким общим доходом рабочего класса, а высокий доход — с обильными потребительскими расходами. Итак, Буагильбер отождествлял высокие цены на сельскохозяйственную продукцию с высокой рентой, высокую ренту — с обильными расходами, а последние — с высокими уровнями занятости и благосостояния. Здесь мы вновь сталкиваемся с логической связью между монетарным анализом и доктриной высоких цен. Однако утверждение Верри, что рост количества денег в обращении вследствие стимулирующего воздействия на производство может привести к падению цен (среди сторонников дешевизны и изобилия досмитовского периода Верри — наиболее крупный авторитет), может быть обработано и представлено в виде элемента монетарного анализа, который можно было бы объединить с доктриной низких цен.

Кенэ придерживался в отношении цен того же мнения (особенно рекомендуем его *Maximes générales*. 1758). Он также считал, что, в то время как изобилие и низкие цены не составляют богатства, а ограниченность продукции и дороговизна означают нищету, изобилие и дороговизна воплощают богатство. Он полагал, что нельзя допускать падения цен, так как «какова продажная цена, таков и доход» (максима XVIII). Не следует думать, что

дешевизна — благо для бедных, так как она приводит только к падению их заработной платы. А *достаток* (aisance) низших классов не должен быть уменьшен (максима XIX), поскольку в этом случае их потребление (т. е. общий спрос в денежном выражении или расходы) сократится, что в свою очередь приведет к сокращению производства и дохода. Но самое характерное в данном типе теории, которую можно легко перевести на современный язык, — это отношение к сбережениям, предвосхищенное Буагильбером и полностью развернутое Кенэ. В такой аналитической схеме быстрое поступательное движение покупательной силы решает все. Считается, что сбережения прерывают это движение. Следовательно, сбережения являются своего рода врагом общества. Это становится одной из максим Кенэ: «*Пусть общая сумма всех доходов вольется в годовой оборот и проследует по этому пути на всем его протяжении*» (максима VII). Не должно образовываться «денежных богатств» (fortunes pecuniaires — накопления наличности?). Землевладельцы и другие представители доходных профессий не должны удерживать у себя «денежные накопления королевства, вместо того чтобы вернуть средства, затраченные на обработку земли... это удерживание денежных накоплений привело бы к уменьшению воспроизводимых доходов и налогов». Несомненно, можно интерпретировать это денежное накопление (le réscule) как неинвестированные сбережения. Сходство с кейнсианскими взглядами поразительно: сбережения сами по себе бесплодны и нарушают экономический процесс; они всегда должны быть «компенсированы», а эта компенсация — особый акт, который может состояться или не состояться. Таким образом, перед тем как почти бесследно исчезнуть, антисберегательная традиция приобрела дополнительную поддержку. Это все, что следовало сказать относительно монетарной теории физиократов.

Почему реальный анализ одержал такую легкую и полную победу? Ответ на этот вопрос будет дан в последних двух разделах данной главы, где мы рассмотрим два главных поля битвы его победоносной кампании: теорию сбережений и теорию процента. Однако общий ответ можно дать уже сейчас: причиной поражения или даже гибели монетарного анализа в последние десятилетия XVIII в. была его слабость. Даже если без особых оговорок мы допустим, что принцип монетарного анализа является вполне здравым и что современное его развитие — это более высокая ступень по сравнению с реальным анализом XIX в., все же будет ясно, что последний не в меньшей степени превосходил монетарный анализ XVIII в. Подобные спирали прогресса, по

моему мнению, нередко: отодвинутые на второй план теории могут вернуться, чтобы в свою очередь заместить те теории, которые их ранее вытеснили, причем как замещение, так и возвращение могут пойти на пользу этой странной области — научному знанию.

## 2. Основы<sup>1</sup>

Теперь обратимся к теории денег в более узком и еще более обычном смысле: говоря коротко, хотя и неточно — к теории денег как технического средства. С этой целью введем для удобства несколько терминов, которые облегчат изложение материала на протяжении всей книги.

[а) **Металлизм и картализм: теоретический и практический**]. Термином «теоретический металлизм» мы обозначим *теорию*, согласно которой логически важно, чтобы деньги состояли из товара или были «обеспечены» некоторым товаром. Таким образом, логическим источником меновой ценности, или покупательной способности, денег является меновая ценность, или покупательная способность, этого товара, рассматриваемая независимо от его монетарной роли. Верно, что в принципе любой товар может служить в качестве денег, но термин «товарная теория денег» имеет также другое значение. Вот почему, поскольку в новое время для этой роли выбирали только золото и серебро, мы предпочли термин «металлизм», хотя он и не очень точен. Верно также и то, что выбранный стандарт может состоять более чем из одного товара; единственное число используется просто для того, чтобы к слову «товар» не пришлось каждый раз добавлять «или товары». Мы обозначим термином «практический металлизм» поддержку того принципа монетарной политики, согласно которому денежная единица «должна» быть крепко связана с определенным количеством какого-либо товара и свободно обменивается на него. Теоретический и практический картализм можно лучше всего определить соответствующими антитезисами. Таким образом, мы будем говорить о теоретическом картализме всякий раз, как встретимся с отрицанием тезиса о логической важности того, чтобы деньги состояли, скажем, из золота или непосредственно конвертировались в золото; мы будем говорить о практическом картализме в тех случаях, где обнаружим под-

<sup>1</sup> [Й. А. Шумпетер хотел предложить в качестве заглавия данного раздела выражение «Ground Theory» (Grundlagenforschung), но он уже использовал термин «Fundamentals» (Основы) в заглавиях соответствующих разделов части III (глава 7, § 2) и части IV (глава 8, § 3).]

держку принципа политики, согласно которой ценность денежной единицы «не должна» быть связана с ценностью какого-либо определенного товара.<sup>2</sup> Эти различия важны для нас, поскольку теоретический и практический металлизм не обязательно должны сочетаться. Какой-либо экономист, например, может быть абсолютно уверен в несостоятельности теоретического металлизма и все же оставаться при этом убежденным практическим металлизмом. Недоверия к властям или политикам, чья свобода действий значительно возросла благодаря системам денежного обращения, не обеспечивающим немедленного и безусловного размена на золото всех платежных средств, не состоящих из золота, вполне достаточно для того, чтобы у теоретического картелиста возникли идеи из области практического металлизма; в этом нет никакого противоречия. Однако, как увидит читатель, этот факт весьма затрудняет интерпретацию идей авторов, имеющих обыкновение путать теоретические соображения с практическими. Но это не единственная причина, мешающая определить, можно ли отнести данного ученого к числу теоретических металлистов, поскольку, не будучи одним из них, он все же может полагать, что «наиболее ходовой товар» является историческим, хотя и не логическим источником феномена денег.<sup>3</sup> К тому же у него может возникнуть желание подчеркнуть роль правительства, обладающего правом выбирать товар, служащий в качестве денег, и данной ему властью как угодно менять принятое решение. При этом данный автор, не будучи в достаточной мере искусственным или аккуратным в подборе терминологии, может легко прибегнуть к языку, который побудит нас отнести его к картелистам. Мы помним, что столкнулись с этой трудностью при рассмотрении взглядов Аристотеля (см. главу 1). Иными словами, основополагающие теории пластичны, а их авторы часто противоречивы и еще чаще неясно выражают свои мысли. Когда мы обнаруживаем, что автор сравнивает деньги с билетом, который предоставляет его обладателю доступ к огромному общественному складу всех товаров, мы склоняемся к тому, чтобы отнести его к карта-

<sup>2</sup> Слова «металлизм» и «картелизм» заимствованы у Кнаппа (*Knapp G. F. State Theory of Money*; см. упоминание об этой работе в части IV, главе 8, § 3). Поскольку, согласно мнению сторонников металлизма, теория денег выводится непосредственно из логически предшествующей ей теории бартера, то металлистские теории являются (приблизительно или точно, я не уверен) тем, что Л. фон Мизес назвал каталлактическими теориями денег (*καταλλακτικαί* — менять). Но слово «металлизм» нагляднее передает суть вопроса; кроме того, оно дает возможность легче перейти к монометаллизму и т. п.

<sup>3</sup> Здесь мы коснемся в высшей степени интересного методологического вопроса. [Здесь Й. А. Шумпетер написал: «Пожалуйста, оставьте оставшуюся часть страницы для примечания».]

листам. Однако это сравнение не обязательно включает в себе глубокий смысл, поэтому правильнее назвать Дж. С. Милля, пользовавшегося им в XIX в., и Беркли, употреблявшего его в XVIII в., металлстами. Едва ли кто-то станет отрицать, что взгляды на природу денег так же трудно описать, как и бегущие облака.<sup>4</sup>

**[b) Теоретический металллизм в XVII и XVIII вв.].** Теоретический металллизм, обычно, хотя и не всегда, ассоциировавшийся с практическим металллизмом,<sup>5</sup> сохранял ведущее положение

<sup>4</sup> [Следующие несколько страниц были вставлены Й. А. Шумпетером в данный раздел из раннего варианта, отпечатанного на машинке в марте 1944 г. (см. Приложение).]

<sup>5</sup> Несостоятельность теоретического металллизма я считаю само собой разумеющейся, т. е. с точки зрения чистой логики неверно, что деньги в основном являются товаром или должны обеспечиваться одним или несколькими товарами, чья меновая ценность в качестве товара является логической основой их ценности как денег. Содержащаяся в этом рассуждении ошибка заключается в смешивании исторического происхождения денег (которое во многих случаях, но не всегда и не повсеместно связано с тем, что некоторые товары, будучи особенно ходовыми, стали служить посредником при обмене) и их природы или логики, полностью независимой от товарного характера материала, из которого они состоят. Этот тип ошибки очень часто встречается во всех областях общественных наук, особенно на ранних стадиях, поскольку требуется обладать значительным аналитическим опытом, чтобы понять, что прежние примитивные формы общественных институтов могли быть сложнее современных и могли скорее скрывать, чем обнаруживать существенные логические моменты. Мы вскоре вернемся к этому.

Однако можно все это понимать и все же быть практическим металлстом, т. е. верить, что в некоторых или во всех случаях эффективная привязка денежной единицы к золоту, например, является лучшим способом построения денежной системы или обеспечения ее функционирования. Однако этот тезис не является делом одной лишь чистой теории и может быть верным или неверным в зависимости от обстоятельств и индивидуальных или групповых точек зрения и интересов. Но несмотря на логическую независимость друг от друга теоретического и практического металллизма, читатель не удивится тому, что их не всегда легко различить. Лишь немногие авторы высказываются вполне определенно. Большинство по сей день имеют обыкновение смешивать оба вида металллизма; но практические металлсты и практические антиметаллсты часто обнаруживают тенденцию подкреплять свои аргументы относительно практической целесообразности связывания денежной единицы с определенным количеством металла положениями из металлстской или антиметаллстской теории. Трудности интерпретации усугубляются двумя дополнительными фактами: с одной стороны, металлстские и антиметаллстские взгляды не так строго несовместимы, как можно было бы ожидать; напротив, они допускают много нюансов; с другой стороны, выражения типа «деньги — это билет», казалось бы ясно указывающие в одном из альтернативных направлений, могут значить очень мало. С подобными трудностями мы встречались очень часто, изучая взгляды Аристотеля. Я далеко не уверен, что был прав, отнеся его к теоретическим металлстам. Галиани, к которому мы сейчас обратимся, интерпретировал его взгляды в противоположном смысле. В том случае, когда работы написаны без учета теоретических основ, часто оказывается, что чем глубже мы погружаемся в изучение идей авторов, тем сложнее преодолеть эти трудности. Все, что будет сказано в данном тексте, следует понимать в свете этих рассуждений. Я предпочел откровенно выразить свои сомнения, а не защищать с уверенностью, которой я не чувствую.

на протяжении XVII и XVIII вв. и праздновал победу в «классической ситуации», создавшейся в последней четверти XVIII в. Его позиции существенно укрепил А. Смит. В течение более чем ста следующих лет теоретический металлизм был принят почти всеми (многими скрыто, особенно Марксом). В действительности большинство экономистов стали видеть в каждом выражении антиметаллистских взглядов не только необоснованность, но и нечто похожее на злонамеренность.

Как нам известно, эта тенденция соответствовала установившейся традиции. Философы естественного права и те консультанты-администраторы, которые находились под их прямым влиянием, просто повторяли и развивали учение Аристотеля и схоластов. Однако большинство авторов работ на монетарные темы, относительно которых нельзя сказать с уверенностью, что они испытали какое-либо влияние с этой стороны, например английские купцы-экономисты, также писали в духе этой традиции. Во всех странах можно найти множество примеров. Что касается Англии, достаточно упомянуть сначала несколько экономистов первой величины, таких как Чайлд, который ясно отождествил деньги с долями золотого и серебряного запаса, осуществляющими денежную функцию, и утверждал, что, несмотря на эту функцию, золото и серебро, отчеканены ли они в виде монет или нет, все же остаются такими же товарами, как «вино, масло, табак, сукно и пр.»; Петти, также рассматривавший деньги с точки зрения материала, из которого они были изготовлены; Локк,<sup>6</sup> рас-

---

<sup>6</sup> Автор «Очерка о человеческом понимании» обладал широким научным кругозором, а о неугасающем интересе Локка к экономическим фактам и проблемам достаточно убедительно свидетельствует его дневник. На основании его материалов можно было бы выстроить всестороннюю систему его экономических идей. Такие попытки делались неоднократно, возможно, наиболее преуспели в этом В. Рошер (*Roscher W. Zur Geschichte der englischen Volkswirtschaftslehre. 1851*) и Дж. Бонар (*Bonar J. Philosophy and Political Economy. 1893*). Тем не менее, хотя мы упомянули и снова упомянем его имя в других контекстах, место Локка в истории экономического анализа основано исключительно на его исследованиях монетарных проблем. Особенно значительны работы *Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest, а также Raising the Value of Money (1692). Further Consideration...* (1695) добавляет мало интересного к предыдущим. Несмотря на то что дата и форма публикации указывают на то, что эти работы послужили откликом на происшедшую в то время полемику, они охватывают развитие экономической мысли за десятилетия и благодаря глубине проникновения автора в суть основных принципов значат несравненно больше, чем трактат на злобу дня, а также больше, чем можно ожидать, исходя из их заглавий. Но все же мы не можем назвать эти работы великим, тем более безошибочным вкладом в монетарный анализ. В них часто встречаются промахи и, какова бы ни была степень их «субъективной оригинальности», содержится мало такого, что уже не было бы сказано так же

суждавший подобным же образом, хотя он был ближе к тому, чтобы допустить, что функция денег специфична; Юм,<sup>7</sup> чье учение по данному вопросу отличается от доктрины Чайлда только большей ясностью и отточенностью; Кантильон (op. cit., часть I, гл. 17), теоретический металлизм которого имел большое влияние во Франции. Далее упомянем нескольких экономистов второго ряда, например двух авторов стандартных английских работ по теории денег XVII и XVIII вв. — Райса Возна<sup>8</sup> и Джозефа Харриса.<sup>9</sup>

хорошо или лучше другими авторами приблизительно в то же время. Влияние упомянутых трудов было значительно также и на европейском континенте.

Наше право классифицировать Локка как металлиста может быть вполне установлено из построения его аргументации. Однако могут возникнуть сомнения на этот счет ввиду утверждения Локка, что деньги существуют в силу общего «согласия». Возникает тот же вопрос, что и в связи с *συνθήκη* у Аристотеля (см. главу 1), и, я думаю, на него можно ответить таким же образом: с одной стороны, даже если деньги развились из обычая использовать один товар в целях опосредованного обмена другими товарами (чтобы облегчить осуществление бартера), мы можем выразить суть этого, сказав, что люди «согласились» на выбор данного товара; с другой стороны, хотя этот денежный товар приобретает «цену» посредством действия рыночного механизма, можно сказать, что эта цена складывается на основе «соглашения», как и любая другая.

<sup>7</sup> Работа Дэвида Юма «О деньгах» (*Hume David. Of Money*) является одним из главных вкладов в теорию и содержится в его *Political Discourses* (1752). Место, занимаемое этой работой в истории экономической науки, хотя и не является незаслуженным, объясняется скорее выразительностью и точностью формулировок результатов предыдущих достижений, чем какими-либо новшествами. Однако это не обязательно исключает «субъективную оригинальность». Основные пункты будут упомянуты в тексте.

<sup>8</sup> *Vaughan Rice. A Discourse of Coin and Coinage*. Около 1635 (опубл. в 1675 г.; перизд.: *McCulloch. Select Collection of Scarce and Valuable Tracts on Money*. 1856). Внимательное прочтение этой достойной доверия работы может послужить противовесом для всех, кто привык рассматривать работы XVII в. по монетарным проблемам как безнадежную бессмыслицу. Она может также проиллюстрировать трудности интерпретации, указанные в сноске 6. Райс Возна четко вписывается в типично металлистскую позицию, но при объяснении природы денег использует фразы, которые, будучи вырваны из контекста, дали бы повод для их интерпретации как антиметаллистских высказываний.

<sup>9</sup> Эссе Джозефа Харриса (1702–1764) (*Harris Joseph. Essay upon Money and Coins. In 2 parts. 1757, 1758*) имеет некоторое право на то, чтобы считаться одной из лучших работ XVIII в. в области монетарного анализа. Для нас важность этой работы заключается, конечно, не в различных рекомендациях, благодаря которым его имя сохранилось в истории (его монометаллизм, его взгляды на внешнюю торговлю, довольно близкие взглядам Юма и Смита, и т. д.), и не в его многочисленных исторических ссылках, а в том, что можно назвать теоретической опорой его теории денег и международных экономических обменов; он рассматривал данную тему в широких рамках общих экономических принципов, которые никогда не упускал из виду. Таким образом, его трактовка выгодно контрастирует с трактовкой тех авторов, старых или новых, кто не смог понять, что любая удовлетворительная теория денег включает теорию экономического процесса в целом.

В остальном мы ограничимся примерами из итальянской литературы по теории денег, которая на протяжении всего рассматриваемого периода стояла на более высоком уровне по сравнению с соответствующей литературой в других странах. Практически все ведущие итальянские экономисты были бескомпромиссными металлистами. Назовем наиболее значительных из них: Скаруффи, Давандзати, Монтанари, Галиани и Карли. Следует добавить также Беккариа и Верри, трактовавших тему денег во всеобъемлющих трактатах по общей экономической теории.

Почти все работы названных авторов были переизданы в сборнике Кустоди (см. главу 3). В данной заметке сделана попытка передать общую идею работы каждого автора, за исключением Беккариа и Верри, о которых уже говорилось ранее (глава 3, § 4d). Кроме того, мы снова встретимся с работами Верри и Карли в другом контексте (глава 7 о меркантилизме). Однако нельзя не упомянуть монографию Верри *Dialogo sulle monete* (1762).

Гаспаро Скаруффи (1515?–1584), банкир из г. Реджо в области Эмилия, опубликовал в 1582 г. монографию по теории денег, озаглавленную *Alitinolfo*, превосходно иллюстрирующую диапазон экономической мысли в XVI–XVII вв. Начиная с функций денег, он переходит затем к проблемам чеканки монет, трактуемым в явно металлистском духе: деньги — это отчеканенный кусок металла, но чеканка имеет только декларативное значение. Его предложение ввести международный биметаллизм (несколько подпорченное иррациональной верой в неизменное соотношение 1:12) с выпуском международной денежной единицы международными властями (без сеньоража) включает в себя большое число элементов передовой теории, но очень немногие из них выражены определенно. Поэтому значительным шагом вперед можно считать работу Бернардо Давандзати (1529–1606), «купца-литератора из Флоренции», как называл его Монтанари. Работы Давандзати *Lezione delle monete* (1588) и *Notizia de'cambi* (1582) являются «высшими достижениями на все времена» (это касается и литературного стиля) металлистской теории происхождения и природы денег.

Спустя почти столетие Джеминиано Монтанари (1633–1687), профессор математики и астрономии в Болонье и Падуе, написал *Breve trattato del valore delle monete in tutti gli stati* (1680); за этой работой последовала *La zecca in consulta di stato* (позднее она получила заглавие *Della moneta*; 1683–1687), представляющая ту же теорию в более развернутой форме, но без каких-либо существенных дополнений.

В своем трактате *Della moneta* (1751; 1-я кн.: *De'metalli* (о металлах); 2-я кн.: *Della natura della moneta* (о природе денег); 3-я кн.: *Del valore della moneta* (о ценности денег); 4-я кн.: *Del corso della moneta* (об обращении денег); 5-я кн.: *Del frutto della moneta* (о плодах, приносимых деньгами); однако последняя книга говорит не только о процентах, но также о государственном долге и бирже)

неаполитанец Фердинандо Галиани (1728–1787), типичный *abbé* <аббат, фр.> XVIII в., блестящий умом, сделал для своего времени то, что Монтанари сделал для XVII, а Давандзати для XVI в. Этот труд был бы принят с уважением, даже будучи изданным в 1851 г. Еще одну работу Галиани мы упомянем в следующей главе. Прежде чем завершить рассказ об одном из самых блестящих умов, когда-либо занимавшихся исследованиями в нашей области, следует подчеркнуть один момент, касающийся его творчества: он был единственным экономистом XVIII в., который всегда настаивал на изменчивости человеческой природы и на относительности всех видов политики, зависящих от времени и места; он был единственным человеком, полностью свободным от охватившей в ту эпоху интеллектуальную жизнь Европы парализующей веры в практические принципы, претендующие на универсальную достоверность. Он был единственным, кто видел, что политика, рациональная для Франции в определенный период, в то же время могла быть совершенно нерациональной для Неаполя; он был единственным, кто имел мужество сказать: «Я не выступаю „за“ что бы то ни было... Я за то, чтобы не говорили вздор» (*Dialogues sur le commerce des blés. 1769. Первый диалог*); он по заслугам презирал все типы политических доктринеров, включая физиократов. Существует большая литература о Галиани, есть несколько перепечаток и выборок из его работ. Они перечислены в работе Джорджо Тальякодзо (*Tagliacozzo. Economisti Napolitani dei sec. XVII e XVIII. P. LXV, LXVI*), где также помещено эссе о Галиани и отрывки из *Della moneta* и *Dialogues*.

Граф Джан Ринальдо Карли (1720–1795), профессор астрономии в Падуе, позднее министр финансов Миланского государства (бывшего тогда частью империи Габсбургов) — в этом качестве он наряду с другими делами реформировал чеканку монет в соответствии с собственным планом, — является крайне разносторонним автором, чьи комментарии о Соединенных Штатах Америки в *Delle lettere Americane* (1-е изд. — 1780; 2-е изд., в 4 т. — 1786) заслуживают внимания даже в таком коротком обзоре, как этот. Его имя должно быть упомянуто в данном тексте в связи с его работой, озаглавленной *Delle monete...* (первый выпуск был опубликован под заглавием *Dell'origine e del commercio della moneta...* в 1751 г., вся работа вышла в 3 томах в 1754–1760 гг.); она включает эссе *Del valore e della proporzione dei metalli monetati con i generi in Italia*, содержащее вклад в экономический анализ, о котором речь пойдет ниже. Другие его работы по экономике будут упомянуты в следующей главе.

Вполне естественно, что большинство достижений в анализе монетарных процессов основывались на металллизме, причем даже там, где, согласно строгой логике, было бы уместней исходить из антиметаллистских позиций. Это не должно нас

удивлять, поскольку, несмотря на все его недостатки, теоретический металллизм, если им рационально пользоваться, позволяет продвинуться так же далеко, как и более правильная теория; это одна из причин, по которой металллизм оказался столь жизнестойким растением.

[с) Сохранение антиметаллистской традиции]. Существовала также антиметаллистская традиция, несомненно слабее металлстской, но такая же древняя, если мы проследим ее историю до Платона. Ее развитию придавали импульс правительства, испытывавшие финансовые затруднения, а также инфляционисты, «рефляционисты» и учредители банков того периода, хотя не все изобретатели банковских систем были инфляционистами или антиметаллистами,<sup>10</sup> а между инфляционизмом и теоретическим антиметаллизмом не обязательно существует зависимость, но ее возрождение в рассматриваемый период не должно полностью приписываться данному фактору. Из авторов континентальной Европы достаточно упомянуть Ортеса и Буагильбера.<sup>11</sup> Приведем имена соответствующих английских авторов: Поттер, Барбон, Беркли, Стюарт, а если мы отнесем к английским экономистам и шотландца, ставшего французом, то и Ло.

Работа Уильяма Поттера *The Key of Wealth*, опубликованная анонимно в 1650 г. и истолкованная в двух последующих публикациях, рекомендует план основания корпорации купцов, которую в свою очередь нужно укрепить другой организацией, «обеспечива-

---

<sup>10</sup> Среди металлистов имелось множество сторонников центральных национальных банков. Одним из них был автор проекта 1576 г.; другим — Джон Кэри (*Cary John*. 1) *An Essay on the Coyn and Credit of England*. 1696; 2) *An Essay towards the Settlement of a National Credit*. 1696). Все авторы, выступавшие за основание Банка Англии, были, насколько мне известно, металлистами.

<sup>11</sup> *Ortes*. *Economia Nazionale* (1774). Его теоретический антиметаллизм, согласно которому деньги определялись как символ богатства и четко исключались из статей, составляющих само богатство, представлял собой поразительную параллель работе сэра Джеймса Стюарта. Буагильбер был антиметаллистом в том смысле, что он не рассматривал золото и серебро — а также, мы можем добавить, и любой другой товар — как материал, по сути своей пригодный для роли денег. На вопрос, почему деньги должны всегда быть сделаны из материала, который может служить и другим целям, он правильно отвечает, что изготовленные таким способом деньги являются залогом или обеспечением (*gage*) получения в будущем того, что действительно желает получатель, и что подобный залог практически необходим повсюду, где доверие к плательщику не безусловно. Отрицание того, что понятие денег для своей логической завершенности требует включения в него товарного элемента, а затем введение последнего (убедительное или неубедительное) по причинам практического удобства является истинным определением теоретического антиметаллизма, сочетающегося (если эти доводы будут сочтены вескими) с практическим металллизмом. Однако термин «залог» употребляется также и металлистами. Мы находим его, например, в объяснении природы денег, данном Р. Возном.

ющей» кредит этим купцам. Эта корпорация должна акцептовать или (что в данном случае то же самое) выставлять векселя, обеспеченные землей, постройками и другими активами; эти векселя должны были иметь хождение подобно законным казначейским билетам. Такой план мобилизации физической собственности не только делает Поттера предтечей составителей проектов земельных банков (см. § 5), но и подразумевает аналитическую работу, представляющую значительный интерес. Хотя Поттер не разрывает окончательно связи своей валюты-векселей с золотом и серебром, антиметаллистский характер как плана, так и анализа не вызывает сомнений, поскольку в случае принятия подобного плана эта связь свелась бы только к историческому происхождению: даже если бы деньги первоначально имели товарную форму, их ценность и поведение больше не определялись бы этим товаром.

Репутация Николаса Барбона, врача, бравшегося за разные деловые предприятия, страдала как при жизни, так и впоследствии от присутствия многих странных элементов не только в его планах, но и в аналитической аргументации. Кроме того, он был одним из прожектеров, выдвигавших план земельного банка. Несмотря на это, его необходимо поставить в один ряд с первой полудюжиной английских экономистов XVII в. Мы вспомним о нем и по другому поводу, но для нас основное значение имеют его работы в области теории денег и процента. Его *Discourse of Trade* (1690) была переиздана Дж. Г. Холландером. Следует также сослаться на его работу *A Discourse concerning Coining the New Money Ligther* (1696).

Вклад епископа Джорджа Беркли (1685–1753 гг.) в экономический анализ не может сравниться по своему уровню с его вкладом в философию. Его экономические исследования в основном содержатся в *Querist* (1-е изд., 1735–1757 гг.). Идея представить длинные рассуждения в виде бесконечной вереницы утомительных вопросов не всякому придется по вкусу, но почти в каждом из этих вопросов заключен убедительный здравый смысл, являющийся сильной стороной его философской доктрины.

С сэром Джеймсом Стюартом мы уже встречались. К его *Principles* необходимо добавить другие публикации, касающиеся теории денег, особенно *Principles of Money applied to the Present State of the Coin of Bengal* (1772).

Я всегда считал, что Джона Ло (1671–1729) нельзя отнести ни к какой категории, он сам по себе. Финансовые авантюристы (может быть, правильнее называть их административными гениями?) часто создают разные философско-экономические системы. Братья Перейра\* из банка *Crédit Mobilier* имели такую философскую сис-

---

\* <Братья Перейра — Эмиль (1800–1875) и Исаак (1806–1880) — были банкирами и членами парламента; они были членами школы Сен-Симона, после роспуска которой в 1852 г. основали банк «Креди Мобилье» (*Crédit Mobilier*) и играли видную роль в развитии сети железных дорог>.

тому сен-симонистского толка. Но случай Ло другого рода. Он разработал экономическую часть своих проектов с блеском и глубиной, ставящими его в первый ряд монетарных теоретиков всех времен, и это все, что имеет для нас значение. Его анализ был отвергнут почти на два столетия в основном в результате банкротства его банка (Banque Royale). По этому поводу уместно отметить, что, во-первых, его предшественник Банк Женераль (Banque Générale), основанный в 1716 г., был вполне традиционным — он выпускал банкноты и принимал вклады, выплачиваемые по требованию, а также учитывал коммерческие краткосрочные векселя. В его деятельности не было никакого антиметаллизма. Банк Руаяль и Компани дез Инд (Compagnie des Indes), которую он поглотил, потерпели крах, поскольку связанные с их деятельностью колониальные авантюры в то время не приносили ничего, кроме убытков. Если бы эти рискованные колониальные предприятия были успешными, то грандиозная попытка Ло контролировать и реформировать экономическую жизнь великой нации с финансовых позиций, — поскольку именно это в конечном счете означал его план, — выглядела бы совсем иначе как для его современников, так и для историков. Но даже в своем подлинном виде это гигантское предприятие не было простым надувательством, и вполне можно сомневаться, пострадала ли от него в итоге Франция.

Однако точка зрения экономистов, полностью совпавшая с мнением публики, заключалась в том, что эта схема была не чем иным, как надувательством; кроме того, они указывали на некоторые технические дефекты этой схемы, которые действительно послужили важными дополнительными причинами ее краха. Таким образом, это событие оказало значительное влияние на становление и развитие классической теории банковского дела.

Монетарная теория Ло изложена в его трактате *Money and Trade considered with a Proposal for supplying the Nation with Money* (1-е изд. — 1705, 2-е изд. — 1720, переизд. в *Tracts* Соумерса в 1809 г.; французская версия помещена вместе с другими материалами, включая интересные мемуары *Memoires justificatifs*, в издании Гийомена *Economistes — financiers du XVIII<sup>e</sup> siècle* под заглавием *Considérations sur le numéraire et le commerce*). Читатель, желающий получить дополнительные сведения об этой яркой личности, может обратиться к работам Уистона-Глинна (*Wiston-Glynn A. W. John Law of Lauriston. 1907*) и П. Арсэна (*Harsin P. Étude critique sur la bibliographie des oeuvres de John Law. 1928*).

Один из его планов касался земельного банка, который в качестве законного платежного средства должен был выпустить ценные бумаги, составляющие определенную долю стоимости земли, и принимать в качестве вкладов деньги, предназначенные для размещения, чтобы они не лежали в бездействии; таким образом, деньги никогда не были бы слишком дешевы или слишком до-

роги. В этом он последовал примеру авторов проекта английского земельного банка, о которых теперь стоит кратко упомянуть.

Землевладельцы, заседавшие в Палате общин, как и другие аграрии, не могли понять, почему они не могут занимать деньги так же легко и дешево, как купцы и финансисты. Их не убеждали доводы относительно разницы между векселем и закладной. Земельный банк, который кроме всего прочего смог бы удовлетворить эти желания, стал в итоге пунктом программы тори незадолго до основания Банка Англии. В надлежащее время (1693 г.) Хью Чемберлен, акушер по профессии, представил план земельного банка, где землевладельцы получали бы ссуды под 4%, а правительство — больше денег, чем оно получало от Банка Англии. Нам нет нужды задерживать свое внимание на плане, сорвавшемся ввиду отсутствия финансовой поддержки. Но некоторые сторонники этого плана попытались дать ему аналитическое обоснование. Одним из них был уже известный нам Барбон. Другим — Джон Эсгилл (*Asgill John. Several Assertions Proved... 1696*; переизд. в серии Холландера); его трактат наглядно подтверждает непрестанно подчеркиваемую мною истину: здравые элементы, которые мы можем видеть в этой схеме, сами по себе не компенсируют неверные аргументы, выдвигавшиеся в ее пользу. Однако Джон Брискоу (*Briscoe John. Discourse on the Late Funds... 1694*; отрывки из этой работы вышли в том же году), заявивший, что Барбон и Эсгилл позаимствовали у него его идеи, и сам обвиненный в плагиате, т. е. в заимствовании у Чемберлена, создал основополагающую аналитическую работу, по отношению к которой все эти обвинения неприемлемы. Многие экономисты назвали бы его металлистом, поскольку он придавал большое значение золотому и серебряному запасу. Однако, поразмыслив, можно понять, что вера Брискоу в полезность запаса принимаемых всеми благ ничего не говорит о его взглядах на природу денег.

Мы не имеем возможности, да и нет необходимости обсуждать литературу «за» или «против» основания Банка Англии. Этот вопрос представлял интерес в других отношениях, но, насколько мне известно, бесполезен с точки зрения нашей задачи.

Барбон был более категоричным, чем другие, в своем отказе от теоретического металлизма на том основании, что «деньги — это ценность, созданная законом», для которой не важна ценность материала, из которого она изготовлена. Джон Ло скорее подразумевает, чем утверждает то же самое, подчеркивая преимущества бумажных денег, заключающиеся в том, что их количество можно рационально регулировать. Насколько мне известно, Беркли является автором сравнения денег с билетом: «Разве правильное представление о деньгах как таковых в точности не совпадает с представлением о билетах, которые можно обменять на товары? (Querist, N 23). Единственная попытка создать тео-

рию денег на антиметаллистской основе принадлежит сэру Джеймсу Стюарту. Но он так мало продвинулся вперед и так часто ошибался, что это многообещающее начало потонуло в металлистском потоке.

Суть заключается в следующем. Практика того времени, особенно практика четырех крупнейших клиринговых и депозитных банков,<sup>12</sup> ознакомила экономистов с понятием счетных денег, определявшихся количеством металла, но существовавших только как средство бухгалтерского учета с целью облегчения широкомасштабной торговли и развития финансов в мире бесчисленных и вечно изменяющихся систем денежного обращения. В этом смысле счетные деньги также вошли в монетарную теорию металлистского типа.

Галиани называл их *moneta ideale* <идеальные деньги> или *moneta imaginaria* <воображаемые, или мнимые, деньги><sup>13</sup> в отличие от *moneta reale* <реальных денег>, состоящих из реальных *pezzi di metallo* <кусочков металла>. Стюарт (*Principles. Book III*) проводит то же различие между «счетными деньгами» и «деньгами-монетами», но у него это различие приобретает другое значение. Сначала он *определяет* (*Principles. 1767. Book I. P. 32*) деньги «как любой товар, который сам по себе не приносит материальной пользы человеку, но высоко оценивается, поскольку, по его мнению, он является универсальной мерой того, что называется ценностью...» — и это ошибочное определение чистой меры ценности (*numéraire*). Таким образом, он стал первооткрывателем такой трактовки данной функции денег.<sup>14</sup> Затем он исходит из понятия счетных денег (*money of account*), как «произвольного масштаба» измерения ценностей, свободного от какой-либо связи с товаром, что отличает его от понятия счетных денег, используемого на практике, а также в металлистской теории. Он безуспешно пытается найти примеры такой единицы в древние времена,<sup>15</sup> и ему не удается объяснить, как

<sup>12</sup> Банки Амстердама, Гамбурга, Генуи и Венеции.

<sup>13</sup> Если между этими двумя выражениями существует разница, то я ее не уловил.

<sup>14</sup> Следует заметить, что использование слова «товар» не делает Стюарта металлюстом, поскольку товар, который по определению не может служить другой цели, кроме исполнения денежной функции, не является товаром в смысле, принятом в металлистской теории.

<sup>15</sup> Он упоминал «макуту», единицу, которая, как предполагается, имела хождение у западноафриканских племен. Возможно, его навел на эту мысль Монтескье в «Духе законов» (*Montesquieu. Esprit des lois. Book XXII. Ch. VIII*). Он тоже был антиметаллюстом и привел «макуту» в качестве примера денежной единицы, которая, по его мнению, была «чисто идеальным знаком» ценности. Однако подлинность данного примера сомнительна.

такая единица может быть сконструирована теоретически и как она смогла бы функционировать на практике. Но у него была эта идея, и он видел металлические деньги в истинном свете, т. е. понимал, что это лишь частный случай.

Каждый автор, писавший об основах теории денег, пересказывал и уточнял, как поступали ранее и схоласты, особые достоинства драгоценных металлов, благодаря которым всеми была признана их пригодность к исполнению роли денег (их делимость, мобильность и т. д.). Несколько менее избитым было перечисление четырех функций денег, которые заняли такое видное место в учебниках XIX в.: Аристотелевы «мера (меновая) ценности» и «средство обмена» были дополнены функцией «средства образования сокровища»; этот элемент особенно подчеркивался авторами-экономистами специфически меркантилистского направления (см. следующую главу); кроме того, была введена функция «средства платежа». Мне не известно ни одного случая, когда все эти четыре функции появились бы все вместе, одни авторы даже делали ударение только на первой функции, другие — только на второй. Постепенно стало ясно, что эти две функции можно разделить и каждая является предметом отдельной теории.

Перед взором экономистов того периода, как и перед схоластами, предстали почти все формы биметаллизма, какие только можно представить, а следовательно, все практические проблемы, присущие данной системе. Тем более удивительно, что их анализ так мало продвинулся. В частности, никто, судя по всему, не уделил внимания важнейшему вопросу о закрепленном законом соотношении обоих металлов; теоретики, конечно, понимали, что металл, ценность которого в сравнении со вторым металлом в данном соотношении завышается, будет вытеснять металл, ценность которого занижается. Этот феномен обсуждался по крайней мере со времен Молины. При желании можно подвести это явление под закон Грешэма, но теоретики не поняли, что до тех пор, пока оба металла находятся в обращении, описанный механизм будет стремиться увеличить рыночную ценность одного и снизить рыночную ценность другого. Таким образом, в определенных пределах рыночная ценность обоих будет стремиться к стабилизации, что является наиболее интересным свойством биметаллизма. Локк, который в принципе был монометаллистом, даже доказывал, что узаконенного соотношения металлов не должно быть вообще, как и узаконенной процентной ставки или узаконенного обменного курса,

правда не отмечая, что в этом случае система становится неопределенной.<sup>16</sup> Не более удовлетворительными были и результаты работы в данной области Беккариа и других.

Прежде чем идти дальше, стоило бы слегка коснуться некоторых тем, среди которых есть и темы, очень важные сами по себе, но мы не можем их полно рассмотреть в истории экономического анализа.

Во-первых, вопросы, связанные с чеканкой монет, естественно, должны были горячо обсуждаться в обстоятельствах, когда состояние денежной системы внушало тревогу. Обширная (в основном итальянская) литература о технике чеканки содержит мало интересного для нас. Но можно упомянуть вопрос о сеньораже — пошлине за право чеканки монет. Старая феодальная привилегия королей и князей чеканить монету и взимать за это плату (сеньораж), часто в дополнение к комиссионному сбору (иногда это называлось *brassage* — комиссией за чеканку монет), была тяжелым бременем, даже когда чеканка проводилась нечасто, а потому возникла настоятельная общественная необходимость осуществления свободной чеканки денег. В результате в Англии пошлина за право чеканки монеты была упразднена в 1666 г., а в других странах в это время наблюдалась тенденция к ее сокращению до стоимости затрат на чеканку. Здесь есть два момента, относящиеся к теории денег. Во-первых, некоторые писатели, среди них сэр Уильям Петти, утверждали, что свободная чеканка монет является необходимым условием исполнения золотом и серебром функции денег, так как при любом налоге на чеканку монет золото и серебро перестанут быть истинной мерой ценности других вещей. Это можно назвать теоретической ошибкой. Во-вторых, акт, вводивший свободную чеканку монет, был мотивирован желанием привлечь золото и серебро (расходы должны были покрываться пошлинами на импорт других товаров), а следовательно, это была чисто «меркантилистская» мера. Экономисты ни в малейшей степени не приветствовали ее, и практически целый хор фритредеров — от Норта до Смита и от Смита до Милля — выступал за комиссионный сбор для покрытия расходов на чеканку, как поступали в большинстве стран континентальной Европы; что касается германских экономистов, мы испытываем соблазн приписать это тому факту, что они консультировали бедные правительства.

<sup>16</sup> Я не знаю ни одного очевидного признания этого факта до Вальраса, но Галиани подразумевал его, поскольку выступал за узаконенное, хотя и переменное, соотношение ценностей золота и серебра из практических соображений. Аналогичная заслуга может быть приписана и Мэсси.

Это естественно приводит к второй теме — обсуждению девальвации или порчи монеты. Здесь повторялись старые, чисто металлургические доводы, что любое снижение достоинства монеты — это мошенничество. Мы встречаем их у множества авторов, включая Локка, Юсти и А. Смита.<sup>17</sup> Но становилось все больше экономистов, придерживающихся других, значительно более интересных взглядов на данную проблему; они стали меньше заниматься вопросами правильности или неправильности снижения ценности монеты и уделять больше внимания его влиянию на экономический процесс. В отдельных случаях мы находим рассуждения такого типа даже в XVI в., когда обсуждалось, насколько выгодно или, наоборот, невыгодно снижение ценности монеты для государственных финансов. Во второй половине XVII в. и в XVIII в. основной темой дискуссий было воздействие снижения ценности монеты на внешнюю торговлю и на экономическое развитие страны. Давайте отметим мимоходом несколько вех на этом пути. Впервые, поскольку состояние английских денег (серебряный монометаллизм при росте фактического обращения золота) сильно ухудшилось за последние десятилетия XVII в., правительство вигов при Вильгельме III, в котором финансами управлял Чарльз Монтегю, провело закон (1698), по которому серебряные монеты должны были быть восстановлены до прежнего веса и чистоты за государственный счет, а расходы на это предлагалось покрыть за счет налога на окна (window tax); эта операция была закончена к 1699 г. Дебаты относительно данной меры получили широкую известность благодаря участию Локка, который отстаивал сторону правительства. Интерес к этим дебатам для нас ограничивается тем, что они проливают свет на степень понимания Локком фе-

<sup>17</sup> Если бы экономисты выражались более ясно, то вопрос, в чем именно заключается это мошенничество, мог бы послужить в качестве теста на отсутствие или присутствие металлургических убеждений. Если, по мнению экономиста, мошенничество состоит в лишении кредитора части причитающегося ему металла, то перед нами металлург. Если же автор считает, что это мошенничество проявится только если вследствие порчи или девальвации монеты увеличится количество денег в обращении, что, таким образом, уменьшит потенциальную долю кредитора в вещах, которые можно купить за деньги, то перед нами карталист. Логическая основа этого различия слишком очевидна, чтобы ее пояснять, но, возможно, следовало бы указать, что существует также и практическая разница: правительства, предпринявшие девальвацию, не нуждаются и часто не прибегают к вливанию в оборот соответствующего количества денег. Они могут хранить их (все или частично) или использовать для платежей иностранным кредиторам. Имеются и другие причины, по которым этот свободный доступ правительства к деньгам не обязательно повлияет на цены. Его даже можно обернуть на пользу кредиторам. Действительно, современный опыт ясно показывает, что девальвация и обесценивание денежной единицы — разные вещи, и теперь их повсеместно различают.

номена денег. К несчастью, перед глазами читателя произведений Локка встает печальная картина. Дело не только в том, что он в основном разрабатывал линию «мошенничества» (это его моральное суждение, и не наше дело давать ему оценку), а в том, что он не смог понять следующего: а) перечеканку при сохранении среднего фактического содержания серебра в серебряных монетах нельзя назвать снижением ценности или порчей монеты, а если и можно, то только с оговоркой, что экономическая ситуация уже приспособилась к этому; таким образом, в действительности Локк выступал в защиту завышения ценности монеты и занижения ценности содержащегося в ней серебра; б) следовательно, в отсутствие быстрого приспособления цен (чего нельзя было ожидать, а если бы оно и произошло, то обострило бы господствующую в то время депрессию), серебро ушло бы за границу, что и случилось в действительности; в) с точки зрения данной проблемы хождение золотых монет имело очень важное значение. Локк даже зашел так далеко, что заявил, будто то, что он называл снижением ценности монеты, бесполезно — и фактически невозможно — на том основании, что унция серебра никогда не могла бы стоить больше, чем унция серебра! Позиция Локка и ее аргументация уступали позиции его главного оппонента Лаундеса. Вот что случается с человеком, «который отдает партии то, что принадлежит человечеству». Странно и грустно отметить, что как сама мера, так и выступление Локка в ее защиту превозносились, иногда в самых восторженных выражениях, в течение более двухсот лет.

Далее, отметим из дискуссий, происходивших во Франции вокруг монетарных проблем во время и по окончании последних войн Людовика XIV, дуэль между Мелом и Дюто [на этом текст обрывается].

### 3. Отступление о ценности

Исследования в данной области также исходили из схоластических предпосылок. Нам известно, что схоласты развили основы реалистического анализа ценности, издержек и цены (включая рудиментарную концепцию равновесия), которые требовалось только доработать по содержанию и усовершенствовать по технике. До некоторой степени именно это и было сделано в рассматриваемый период. Работа была значительно продвинута благодаря актуальности проблемы ценности (покупательной способности) денег. Сама по себе металлистская теория в качестве теории денег не очень

помогает в решении вопроса, но она, несомненно, подводит принимающего ее экономиста к более пристальному изучению проблемы ценности вообще. Следовательно, нас не должно удивлять, что большая часть лучших работ в данной области была проделана учеными, интересующимися в основном денежными феноменами. Именно поэтому данный раздел помещен именно здесь. В ходе краткого обзора выдающихся достижений мы попытаемся выявить вопросы, имеющие наибольшее значение для дальнейшего развития теории.

[а) Парадокс ценности: Галиани]. Итальянские экономисты, начиная с Давандзати (*Lezione delle moneta*. 1588), первыми ясно поняли, как можно разрешить парадокс ценности, согласно которому многие очень «полезные» блага, такие как вода, имеют очень низкую меновую ценность или не имеют ее вообще, в то время как значительно менее «полезные» блага, такие как бриллианты, имеют высокую меновую ценность. Они поняли, что этот парадокс не является препятствием на пути разработки теории меновой ценности, основанной на потребительной ценности. Поразительно, что ни Смит, ни Рикардо этого не понимали. Указанный факт покажется нам еще более поразительным, если мы добавим, что за полтора столетия, прошедшие после Давандзати, набрался длинный список авторов, среди которых несколько англичан, которые очень хорошо понимали, как элемент полезности входит в процесс ценообразования. В частности, Джон Ло в упомянутом выше трактате (*Money and Trade considered... 1705*) кратко, но превосходно изложил суть вопроса, используя именно пример с водой и бриллиантами. Но мы ограничимся работами Галиани — экономиста, который довел этот анализ до высшей точки в XVIII в.<sup>1</sup> В отличие от Ло он был таким бескомпромиссным металлистом, что счел необходимым заняться проблемой ценности

<sup>1</sup> Поступая так, мы, конечно, проявляем несправедливость к его предшественникам, к которым он и сам был невероятно несправедлив. Например, развивая аргументацию Давандзати, он пишет о нем с чувством совершенно неоправданного превосходства. Кроме того, не следует забывать, что теория Галиани была по сути схоластической. Подобно многим другим экономистам, он не допускал, что многим обязан своим предшественникам, причем не только в этом вопросе. В своей социологии, или, если угодно читателю, социальной философии, он в очень многих вопросах опирался на Вико, также не признав этого. См. работу Тальякоццо: *Tagliacozzo. Economisti. Napolitani dei sec. XVII e XVIII*. P. XV (самая прекрасная страница из всех известных мне работ, посвященных творчеству Вико) и последующие страницы; см. также работу Ф. Николини (*Nicolini F. Giambattista Vico e Ferdinando Galiani//Giornale storico della letteratura italiana*. 1918), и, кроме того, примечание к его изданию произведения Галиани (*Galiani. Della Moneta*. 1915). Однако, будучи философом, Николини склонен преувеличивать зависимость Галиани от Вико, которая невелика в том, что касается техники анализа.

золота и серебра, рассматриваемых как товар, а следовательно, и ценности всех других товаров. При этом он проявил себя как опытный мастер анализа, давая своим концептуальным построениям такие четкие и тщательно отработанные определения, которые сделали бы ненужными все споры и недоразумения, возникавшие в XIX в. по поводу определения ценности, если бы все участники этих споров прежде изучили текст его произведения *Della moneta* (1751; оно было рассмотрено в общих чертах в предыдущем разделе данной главы).<sup>2</sup> Галиани решительно определил (кн. I, гл. II) ценность как отношение субъективной эквивалентности между количеством одного товара и количеством другого (объективные эквивалентности на рынке он рассматривает как особый случай субъективных, но он не разработал перехода от субъективной ценности к объективной, понимаемой в данном смысле), поэтому выражение «ценность товара» имеет смысл, только если соотнести ее с каким-либо количеством другого товара. Далее, используя понятия «полезности» и «редкости» (*utilità e rarità*), Галиани отвечает на вопрос, от чего зависит ценность, и приступает к развитию указанных концепций во многих отношениях таким же образом, каким, я подозреваю, их и сегодня объясняют во многих вводных курсах. Полезность — это не польза в понимании наблюдателя. «Полезное» в понимании экономиста — это все, что доставляет удовольствие (*piacere*) или обеспечивает благосостояние (*felicità*). Мода, престижность и элементы альтруизма рассматриваются в свой черед. Редкость — это соотношение между существующим количеством вещи и тем количеством, которое могло бы быть использовано. Редкостью объясняется, почему золотой телец оценивается выше настоящего теленка. Повторяем, что все эти идеи, выраженные в работе Галиани, не были оригинальными.

Знаменитый «парадокс ценности», вновь серьезно обсуждавшийся в XIX в., т. е. такое явление, когда несомненно полезные

<sup>2</sup> Был еще один итальянский автор, писавший на тему денег, — Джованни Чева (*Ceva Giovanni. De re nummaria, quoad fieri potuit [!] geometric tractata... 1711*), инженер из Мантуи, который, насколько мне известно, не добавил ничего к теории денег, но ни одна история экономического анализа не может себе позволить пройти мимо его творчества по причине его глубокого проникновения в природу экономической теории: реальные явления всегда неясны и невероятно сложны; практика всегда *minus exacta* <лишена точности>; следовательно, чтобы понять суть вещей, мы должны построить рациональные модели с помощью предпосылок (*petitiones*), иначе нам всегда придется двигаться в ночной тьме (*versari in obscurissima nocte*), а наилучший способ управляться с этими моделями — математический. Однако понадобились два столетия, чтобы эта методология утвердилась.

вещи продаются по низкой цене, а значительно менее «необходимые» — по высокой, неоднократно решался и раньше. Но никогда прежде, а также в течение последующих ста с лишним лет эта теория не была представлена в таком законченном виде и с таким полным осознанием ее важности. Главное отличие теории Галиани от соответствующих теорий Джевонса и Менгера заключается прежде всего в том, что в ней отсутствует концепция предельной полезности, хотя он очень близко подошел к ней, разработав концепцию относительной редкости; во-вторых, он не сумел распространить методы своего анализа на проблемы издержек и распределения. Возможно, первый недостаток его теории не позволил ему создать удовлетворительную теорию цены, и он резко оборвал исследование, хотя, как позднее показал успех Инара, мог бы пойти дальше. Все же Галиани оставил свой след в разработке данной темы. Показав, как цена выводится из полезности и редкости, он пришел к тому, что эта цена, ограничивая количество товара, который могут приобрести потребители, реагирует в свою очередь на редкость, ощущаемую этими потребителями. Цена регулирует спрос и одновременно регулируется спросом (*consumo*). Он прекрасно знал, как нужно подходить к этому феномену взаимозависимости. На трех страницах, отведенных данной теме, он фактически открывает концепцию долгосрочного равновесия и набрасывает механизм, посредством которого стремящиеся к прибыли субъекты достигают этого состояния. В качестве примера он рассматривает некую страну, которая, будучи до определенного момента мусульманской и непьющей, внезапно приняла христианство, в результате чего в ней возник спрос на вино. На этих страницах есть нечто от Мандевила, что мешает рассматривать их как пример полностью оригинального исследования, но не умаляет самого факта, что при некотором прилежании и терпении, идя этим путем, можно было бы развить значительно более совершенную теорию, чем та, которую позднее представил А. Смит.

Галиани не только наметил развитие значительно более поздних теорий (предельной полезности), но и предвосхитил теорию ценности, преобладавшую в следующем столетии (Рикардо, Маркс).

Он удивительно резко переходит от редкости (*rarietà*) через количество товара к труду (*fatica*) и тотчас же возводит его в ранг единственного фактора производства и единственного обстоятельства, «которое придает ценность вещи». В определенном смысле это ухудшает его теорию ценности, но в других отно-

шениях представляет большой интерес. Термин *fatica* (труд) означает количество труда с поправкой на образ жизни в данном обществе, определяющий, сколько дней в году и сколько часов в день действительно работает человек, а также на природные способности (*talenti*), от степени которых зависит разница в оплате труда людей; сделана также специальная оговорка о монопольной цене уникальных вещей (например, статуи Венеры Медицейской). Равновесная ценность устанавливается пропорционально этому количеству труда (с должным учетом временных колебаний)... Эта теория во всех основных чертах и во многих деталях соответствует теориям Рикардо и Маркса и, если принять точку зрения сторонников Рикардо, является более удовлетворительной, чем теория А. Смита.<sup>3</sup>

**(b) Гипотеза Бернулли.** Давайте не забывать, что до тех пор, пока не утвердилось влияние «Богатства народов» и особенно «Начал» Рикардо, господствовала «субъективная» теория цены, или теория «полезности». На европейском континенте эта теория преобладала даже после 1776 г., и существует непрерывная линия развития от Галиани до Ж. Б. Сэя: Кенэ, Беккариа, Тюрго, Верри, Кондильяк,<sup>4</sup> а также менее яркие светила внесли свой вклад в ее утверждение. Все они связывали цену и механизм ценообразования непосредственно с тем, что они считали основной целью экономической деятельности, т. е. с удовлетворением потребностей. Все они принимали определение богатства (*richesse*), данное Кантильоном, не только как фразу, которую можно высказать и тут же забыть, или, как у Смита, фразу, которую нужно запомнить только для того, чтобы рекомендовать политику, благоприятную для потребителей, — они принимали это определение как исходную точку для анализа цен. Кроме того, все они полагали, что феномен цены основан на расчете наслаждений и страданий, — именно так считал и Джевонс. В этом отношении они предвосхищали Бентама и были более твердыми бентамистами, чем сами его сторонники среди английских экономистов. Таким образом, они не только стали предшественниками «субъективистов» второй половины XIX в., но и скрепили неудачный союз между теорией ценности и утилитаризмом, оказав-

<sup>3</sup> Количество труда, в свою очередь, как указывается, равняется расходам рабочего на поддержание существования (*spesa del nutrimento* — <расходы на питание — ит.>). Данный отрывок не рикардianский по форме, но его можно интерпретировать в духе теории Рикардо. Скорее, однако, он восходит к Кантильону.

<sup>4</sup> *Le commerce et le gouvernement* (1776); см. главы 2 и 3.

шийся столь обременительным столетие спустя.<sup>5</sup> Однако не будем больше задерживаться на этом и перейдем к рассмотрению доктрины, которая, будучи интересной во многих отношениях, еще более определенно предвосхищала теорию предельной полезности.

В работе, написанной в 1730 или 1731 г.,<sup>6</sup> Даниил Бернулли, видный ученый, уже упомянутый нами выше, предложил гипотезу, согласно которой экономическое значение дополнительного доллара для индивида обратно уже имеющемуся у него количеству долларов. Отнеся это, в отличие от Бернулли, к доходу, а не к денежной ценности суммы чистых активов какого-либо лица, мы легко сможем отождествить дополнительный доллар с тем, что, по терминологии более поздней эпохи, будет называться предельным долларом, а его значение для индивида можно отождествить, по той же терминологии, с предельной полезностью, попытка статистического измерения которой была предпринята уже в наше время Фишером и Фришем.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> См. ниже, часть III, глава 3, § 1а.

<sup>6</sup> *Bernoulli Daniel. Specimen theoriae novae de mensura sortis* (опубл. в 1738 г. в *Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae*; на немецкий язык переведена профессором Альфредом Прингсхаймом: *Die Grundlage der modernen Wertlehre: Daniel Bernoulli... 1896*). Перевод снабжен пояснительными примечаниями А. Прингсхайма, а также весьма полезным введением Людвиг Фика. Однако нетвердость наших знаний о развитии экономических доктрин подтверждается тем, что господин Фик не только назвал Бернулли предтечей Госсена, Джевонса, Менгера и Вальраса, но также счел его одним из первых, если не первым, кто признал, что ценность не является внутренним свойством вещей, а представляет собой зависимость между оценивающим лицом и оцениваемыми вещами, хотя это было совершенно ясно еще ученым-схоластам и, во всяком случае, десяткам авторов XVIII в., не знакомых со статьей Бернулли.

<sup>7</sup> Это становится особенно ясно, если мы рассмотрим точную формулировку. Пусть  $x$  обозначает доход индивида, а  $y$  — «удовлетворение», извлеченное из дохода. Тогда, согласно гипотезе Бернулли,

$$dy = K dx/x \text{ или } dy/dx = K/x,$$

где коэффициент пропорциональности  $K$  — постоянная величина для каждого индивида, но разная для разных лиц, причем диапазон изменения коэффициентов  $K$  для отдельных лиц связан с индивидуальной разницей вкусов или силы чувств (кажется, Бернулли приписал один и тот же  $K$  всем индивидам, за исключением не представляющих интереса отклонений от нормы, но это неважно);  $dy/dx$  — бесспорно, предельная, или последняя, степень полезности (*final degree of utility*); следовательно, это понятие было впервые ясно выражено в 1738 г. Как утверждал Бернулли, его основная идея была предвосхищена (в 1728 г.) математиком Крамером, который, однако, предложил другую гипотезу, касающуюся формы функции предельной полезности:

$$dy = K \frac{dx}{\sqrt{x}};$$

однако в ограниченных пределах гипотеза Бернулли вполне разумна, хотя в ней не используется все, что мы знаем или думаем, что знаем, о поведении этой функции (см. часть IV, глава 7).

Не меньший интерес представляют практические применения в деловой практике, найденные Бернулли для своей гипотезы (*Specimen theoriae novae de mensura sortis*. § 15, 16). Фундаментальная идея заключается в том, что даже в тех случаях, когда многолетний опыт предоставляет достаточно материала, позволяющего точно подсчитать вероятности выгод или потерь, как, например, вероятность потерь при морских перевозках, рациональное действие не определяется только величиной этих вероятностей. Необходимо также учитывать степень важности данных убытков и прибылей для отдельного бизнесмена, которая колеблется в зависимости от средств, имеющихся в его распоряжении. Гипотеза Бернулли предоставляет метод осуществления этого. Таким образом, он выводит критерий, с помощью которого можно решить, выгодно ли для данного человека заплатить определенную сумму за страховку своего груза, а также формулирует правило, позволяющее дать оценку преимуществ, которые можно получить, отправив данное количество товаров на нескольких кораблях или вложив данную сумму в несколько ценных бумаг вместо одной; это важные проблемы даже в наши дни не до конца разработанной теории делового риска и инвестиций. Здесь, возможно, уместно привести высказывание из текста Бернулли (*Specimen theoriae novae de mensura sortis*. § 17): «Именно потому, что эти результаты так хорошо согласуются с наблюдаемым деловым поведением, нам не представляется правильным пренебрегать ими, как недоказанными утверждениями, основанными на ненадежных гипотезах». Мне очень жаль, что здесь нет возможности обсудить другие моменты данной работы,<sup>8</sup> представляющие захватывающий

---

Поскольку даже те, кто верит в измеримость полезности или степени удовлетворенности, не смогут с уверенностью сказать что-либо о поведении этой функции в чрезвычайных ситуациях, например при доходах, ниже которых индивид уже не сможет выжить, лучше исключить подобный «прожиточный минимум» из рассмотрения. Если мы обозначим его буквой  $a$ , то общая удовлетворенность, полученная из суммы дохода  $b$ , может быть выражена определенным интегралом

$$y = \int_a^b K \frac{dx}{x} = K(\log b - \log a) = K \log \frac{b}{a}.$$

<sup>8</sup> Однако позволительно кратко намекнуть на два из них. Во-первых, работа оставалась практически неизвестной экономистам, пока наконец не была замечена теми из них, кто самостоятельно пришел к тем же или аналогичным идеям. Фик упоминает Германна (1832), Ланге (*Lange F. A. Die Arbeiterfrage...* 1865) и особенно Джевоенса. Мне некого добавить к этим именам. Это пренебрежение удивительно еще и потому, что формула Бернулли получила поддержку Лапласа в его «Аналитической теории вероятностей» (*Laplace. Théorie analytique des probabilités*. 1812), которая, разумеется, была широко

интерес для тех, кто изучает пути развития человеческой мысли и механизм научного прогресса.

[с) Теория механизма ценообразования]. Что касается теории механизма ценообразования, то до середины XVIII в. о ее развитии можно сказать очень мало. Вклад даже наиболее ярких светил, таких как Барбон, Петти, Локк, не слишком значителен, а огромное большинство консультантов-администраторов и памфлетистов XVIII в. довольствовались тем типом теории, который они находили или могли найти у Пуфендорфа. Они занимались практическими проблемами регулирования, а аналитическую сторону в основном принимали как должное и медленно осознали необходимость строгой концептуализации и доказательств. Можно проиллюстрировать сложившееся положение несколькими примерами. Авторам той эпохи был хорошо знаком феномен монополии, к которой они испытывали инстинктивную ненависть, и феномен конкуренции, которую они считали нормальным состоянием, не заботясь о том, чтобы дать ей определение. Но уже в 1516 г. сэру Томасу Мору (*Utopia*; см. выше, глава 3), пришла в

известна. Второй факт заключается в том, что попытка Бернулли решить Санкт-Петербургский парадокс не относится к числу многих ценных вкладов в науку, содержащихся в его статье, хотя она и была ее главной целью. Задача заключалась в следующем. Нужно подбросить вверх какую-нибудь монету  $n$  раз.  $X$  обещает  $Y$  заплатить ему 1 доллар, если монета с первого раза упадет орлом вверх; 2 доллара, если монета упадет орлом только со второго подбрасывания; 4 доллара, если монета упадет орлом вверх только после третьего подбрасывания и т. д. Следовательно, ряд возможных выигрышей  $Y$  есть  $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$ . Мы выводим его математическое ожидание выигрыша, умножив каждый из возможных выигрышей на его вероятность, т. е., если монета без изъянов, на  $1/2, 1/4, 1/8$  и т. д. Мы видим, что в результате умножения каждый член ряда сводится к  $1/2$ , т. е. в итоге мы получаем для  $Y$  полное математическое ожидание, равное  $n/2$ . Если  $n$  может стать больше любого наперед заданного числа, мы получаем математическое ожидание, превышающее любую сумму, которую можно назвать. Тем не менее очевидно, что никто не заплатит  $X$  за право сыграть в эту игру какую-либо значительную сумму (читатель может поставить себя на место  $Y$ ). Почему? Бернулли думал, что для ответа на данный вопрос достаточно скорректировать возможные выигрыши, применив к ним свою гипотезу, которая предполагает конечное «моральное» ожидание вместо «бесконечного» математического. Но эта процедура, не лишняя смысла сама по себе, не решает задачу. Не помогли этому и примечания профессора Прингсхайма к сделанному им переводу, хотя их ни в коем случае нельзя считать неуместными. Мы не имеем возможности продолжить данную тему, но читатель ошибется, если решит, что она не представляет интереса для экономиста. Напротив, теория азартных игр очень важна для решения многих задач экономической логики. В доказательство можно привести недавно вышедшую книгу профессоров Моргенштерна и фон Неймана «Теория игр и экономическое поведение» (*Morgenstern Neumann, von. Theory of Games and Economic Behaviour. 1944*). И первым исследователем, сделавшим шаг в этом направлении, был Бернулли. В экономической теории между первым и вторым шагом может пройти 206 лет — примерно такой же период времени, как и в случае со статистической кривой спроса.

голову мысль, что для преобладания конкуренции недостаточно того, чтобы товар продавался более чем одним продавцом. Цены могут не упасть до уровня конкурентной цены даже при наличии нескольких продавцов, *quod... si monopolium appellari non potest... certe oligopolium est* <что... не может быть названо монополией, несомненно является олигополией — лат.><sup>9</sup> Итак, Мор ввел понятие олигополии. Мы могли бы ожидать, что это приведет к более пристальному анализу понятий «монополия» и «конкуренция», особенно в Англии, где бесконечные обсуждения различных монополий и всевозможных ограничений торговли (как тех, о которых конкуренты договорились в своих интересах, так и тех, которые накладывают монополисты на других торговцев), предшествовавшие выходу Статута о монополиях от 1623–1624 гг. и происходившие после, давали все необходимые мотивы и материалы, какие только можно пожелать. Политики, юристы и некоторые бизнесмены, как и сегодня, страстно боролись с «монополиями», особенно с монопольной властью компаний, имевших государственные привилегии, а «монополисты», как и сегодня, защищались как могли. В интеллектуальном отношении обе стороны представляли собой, как и сегодня, жалкое зрелище. Несмотря на то что в ходе этой дискуссии были достигнуты практические результаты, а историки экономической мысли и экономической политики находят в ней много интересного для себя,<sup>10</sup> историк экономического анализа после просмотра этой литературы уходит практически с пустыми руками. Но чтобы не упустить ни крупицы информации, давайте прежде всего отметим тенденцию к распространению понятия монополии за пределы случая единственного продавца,<sup>11</sup> а также начатки аргументации, дока-

<sup>9</sup> Я благодарен г-ну Э. Марцу за то, что он привлек мое внимание к этому отрывку. Любопытный факт. Сэр Томас не только использовал и, насколько мне известно, изобрел термин «олигополия», который играет такую огромную роль в современной теории, но он использовал его в абсолютно таком же значении и сразу же указал на то свойство, которое современная теория подчеркнула только через 410 лет. И это несмотря на то, что идея Мора, несомненно, была важной и многообещающей, а «Утопия» повсюду находила большое число читателей. Правда, данного отрывка не оказалось в переводе латинского оригинала на английский язык.

<sup>10</sup> Отсылаем читателя к «Меркантилизму» профессора Хекшера (*Heckscher. Mercantilism I. P. 269*), где дана блестящая интерпретация этой борьбы за «свободную торговлю» в понимании экономистов XVII в. Если читатель последует данному совету, то его несомненно удручит отсутствие прогресса в политических и общественных дискуссиях на данную тему, как, впрочем, и на другие.

<sup>11</sup> См.: *Heckscher. Mercantilism. P. 273–274* — особенно аргументацию сэра Эдвина Сэндиса, пламенного борца с «трестами», которую он изложил в 1604 г. во время дебатов в Палате общин. Сэндис выступил за то, чтобы «название монополии... надлежащим образом распространилось на все случаи непропорционально малого числа продавцов... „Если десять человек осуществ-

зывающей, что монополия в борьбе за максимизацию прибыли, говоря современным языком, изменяет условия, относительно которых была сделана попытка максимизации, а поэтому монополия не обязательно устанавливает цену выше той, что преобладала бы при конкуренции, действующей в других условиях.<sup>12</sup>

Можно снова упомянуть нелогичную попытку Бехера разбить рыночные структуры на *monopolium*, *propolium* и *polipolium*, т. е. монополию, спекулятивную покупку товаров и нерегулируемую конкуренцию, приводящую, по его мнению, к дезорганизации рынков, при которой каждый их участник пролетаризируется.

Но на смену этим взглядам пришли более значительные достижения XVIII в. Мы ограничимся наивысшими достижениями таких экономистов, как Беккариа, Тюрго и Инар, а затем рассмотрим, как в книге А. Смита «Богатство народов» была кодифицирована вся теория ценности и цены той эпохи.

В работе Беккариа *Elementi* (опубл. посмертно в 1804; часть IV, глава 1: *Del commercio*) анализ понятий ценности и цены занимает приблизительно то же место, что и в «Основах» Милля (*Mill J. S. Principles*). Беккариа, как уже упоминалось, объясняет феномен ценности с помощью таких понятий, как полезность и редкость, а затем переходит к исследованию *modus operandi* гипотетического рынка, где вино обменивается на хлеб (ср. пример с яблоками и орехами в работе Маршалла).<sup>13</sup> Он с

ляют торговлю всеми лошадьми в Англии, значит, они являются монополистами». Как анализ это, разумеется, не вызывает восторга, но ясно, что в неудачной попытке сэра Эдвина выразить свою идею было нечто существенное».

<sup>12</sup> Другие аргументы в защиту монополии сводились либо к отрицанию ее валичия (по большей части эти аргументы были справедливыми, если следовать строгому определению монополии, но именно в силу этого неубедительными), либо к утверждению, что в некоторых случаях (особенно при торговле с нецивилизованными странами, где протекционизм играл важную роль) монополитическая организация являлась практической необходимостью, либо к другим доводам, которые, какой бы практический вес они ни имели, не представляют интереса с точки зрения техники анализа. Одним из лучших, если не лучшим примером изложения «защитных» аргументов, с которыми мне довелось ознакомиться, является работа Джона Уилера (*Wheeler John. A Treatise of Commerce. Wherein are showed the Commodities arising by a well ordered and ruled trade... 1601*). Это, несомненно, было «апологией» Компании купцов-авантюристов, в которой Уилер занимал должность поверенного. Но с нашей точки зрения это не может послужить причиной отказа от рассмотрения данной работы.

<sup>13</sup> Надеюсь, нам нет нужды принимать слишком всерьез его предположение, что меновая ценность одного товара по отношению к другому (меновое соотношение) будет «обратно пропорциональна его количеству». Возможно, существует связь между этим положением и гиперболическим законом спроса, выведенным его другом Верри, который, однако, не вызывает аналогичных возражений, но, напротив, может быть отмечен как первая попытка придать точную форму кривой спроса: если  $p$  — цена в денежном выражении,  $q$  — количество, а  $c$  — константа, то, согласно закону Верри,  $pq = c$ .

очевидностью признал, что в случае изолированного обмена (между двумя лицами) меновое соотношение является неопределенным, а определенность приходит с конкуренцией, когда на рынке «торгуются»: в результате колебаний цен установится цена, при которой *величина спроса равна величине предложения*. Его тщательная разработка примера с обменом трех товаров друг на друга, где он настаивает на существовании (и необходимости) косвенного обмена, заслуживает особого одобрения. Этот почти то же самое, что смог бы сказать средний экономист столетие спустя.

Работа Беккариа выбрана для рассмотрения по причине ее относительной полноты, но ее идеи были удивительным образом предвосхищены Тюрго в его *Réflexions* (XXXIII–XXXV; написаны — 1766; опубл. — 1769–1770). Выведя торговлю из «обоюдных потребностей» (*besoins réciproques*), Тюрго также касается случая изолированного обмена, а затем вводит «определяющую силу», т. е. конкуренцию. Его описание рыночного механизма очень сходно с описанием Бёма-Баверка (см. ниже, часть IV, глава 5, § 4). Сложившаяся в результате рыночная цена (*prix courant*) подвергается колебаниям под влиянием сил, действующих со стороны спроса или предложения. Высшим достижением эпохи в этом виде анализа стала работа Инара.<sup>14</sup> В его непримечательном в других отношениях трактате имеется элементарная система уравнений, которая, за исключением разницы в технике, описывает взаимозависимость цен в духе, напоминающем Вальраса.

[d] Кодификация теории ценности и цены в «Богатстве народов». «Важнейшей задачей Смита являлось объединение и развитие теорий ценности его английских и французских современников и предшественников».<sup>15</sup> Читатель должен понять, что мнение такого труженика, как Маршалл, стоит философствования сотни менее трудолюбивых людей, и самое лучшее, что мы

<sup>14</sup> «Трактат о богатствах» Ашиля Николая Инара (*Isnard Achille Nicolas. Traité des richesses*) вышел в свет в 1781 г. и, таким образом, не вошел в материал, «кодифицированный» А. Смитом. Однако возникает вопрос о влиянии последнего на Инара. Трактат Инара мог быть создан в результате внимательного просмотра им «Богатства народов». Инар не упоминает в своей работе А. Смита, если только я не просмотрел ссылку. Заглавие книги включено в список математических работ, составленный Джевонсом; из него я и узнал о ее существовании. Я не нашел ни единого следа ее влияния на последующее развитие экономического анализа.

<sup>15</sup> *Marshall A. Principles*. 4th ed. P. 58 (рус. пер.: *Маршалл А. Принципы экономической науки*. М.: «Прогресс-Универс», 1993. Т. III. С. 191. В русском переводе вместо термина «ценность» употребляется «стоимость». — *Прим. ред.*).

можем сделать, — это использовать данное высказывание мастера экономической теории в качестве эпиграфа. Читатель также увидит, что даже Маршалл, чье преклонение перед Смитом было безграничным, сам не пошел дальше того, что подразумевает наш термин «кодификация». Будучи далек от мысли приписать Смицу какие-либо оригинальные идеи, он тем не менее дал его работе более высокую оценку, чем мы. Одной из причин такой оценки могло быть восприятие им А. Смита как родственной души, поскольку, как было и еще будет сказано, в работе и исторических позициях обоих было много общего. Вторая причина могла состоять в том, что он говорил о соотечественнике, поскольку Маршалл был истым англичанином. И третья причина могла заключаться в том, что речь шла о собрате-либерале, поскольку Маршалл также был убежденным фритредером. Но какой бы ни была причина такой оценки, читатель должен понять следующее: насколько нам позволяют судить очень короткие комментарии Маршалла, мы с ним рассматриваем одни и те же факты, за исключением следующего: в определенном смысле о Смите, разумеется, можно сказать, что он «развил» существующие доктрины ценности и цены, но если Маршалл безоговорочно одобрял то, как он их «развил», у меня на этот счет другое мнение. Совершенно верно и утверждение, что Смит проделал «тщательное научное исследование того, каким образом ценность становится мерилom человеческого поведения», т. е., как я понимаю, Маршалл хотел сказать, что Смит сделал меновую ценность (цену или, во всяком случае, относительную цену) центром примитивной системы равновесия. Но он не был, как считал Маршалл, первым, кто это сделал; более того, кодифицируя материал, он опустил или выхолостил многие из наиболее многообещающих гипотез, содержащихся в трудах его непосредственных предшественников. Разумеется, он мог не знать о работе Тюрго (*Réflexions*) и не мог ознакомиться с работой Беккариа (*Elementi*), но Пуфендорф, а затем Кантильон, Харрис, Локк, Барбон, Петти (последние пять имен были упомянуты Маршаллом) и Кенэ были, по-видимому, основными авторами, чьими работами он руководствовался; таким образом, его «субъективные» результаты оказались выше «объективных» достижений. Однако он «развил» материал менее успешно, чем Тюрго и Беккариа. На нем лежит вина за многие недостатки экономической теории на протяжении последующего столетия, а также за многочисленные дискуссии, которых можно было избежать, если бы он иначе подошел к систематизации.

Читатель должен освежить в памяти сведения, полученные из «Путеводителя по „Богатству народов“», помещенного выше.<sup>16</sup> В первой книге изложение А. Смита как бы восходит к феномену цены, а затем «нисходит» к составляющим благ; этими составляющими являются категории издержек и доходов — заработная плата, прибыль и рента. Повторяю, что это примитивный способ описания всеобщей взаимозависимости величин, составляющих экономический космос, но он эффективен. Одни критики, не понявшие, что теория цены — не более чем другое название теории экономической логики (включающей среди прочего все принципы аллокации ресурсов и образования доходов), порицали Смита за то, что он принял узкую точку зрения бизнесмена. Другие критики, не понявшие природы системы взаимозависимых величин, обвиняли его в том, что он в своих рассуждениях ходит по кругу. Его тень легко одерживает победу в борьбе с любыми критиками. Эта часть работы составляет его главную заслугу в данной области. Есть и другие заслуги. Такой же примитивной, но такой же четкой и наглядной, как его концепция всеобщей взаимозависимости, является и его концепция равновесной, или «естественной», цены. Равновесная цена — это просто цена, при которой возможно обеспечить в течение долгосрочного периода предложение каждого товара в количестве, равном «эффективному спросу» *при данной цене*. Это, кроме того, такая цена, которая за долгосрочный период покрывает все издержки. Последние же равны общей сумме заработной платы, прибылей и рент, которые должны быть выплачены или вменены в их «обычных или средних размерах». Таким образом, мы вновь сталкиваемся с принадлежащим Маршаллу разделением экономических явлений на краткосрочные и долгосрочные. Рыночная цена А. Смита — в сущности краткосрочное явление, а «естественная» цена — долгосрочное, что соответствует нормальной цене долгосрочного периода в теории Маршалла. «Это все есть у А. Смита», — излюбленная присказка Маршалла. Но мы можем также сказать: «Это все есть у схоластов». В книге Смита нет теории монополии. Предположение, что «монопольная цена в любых обстоятельствах является самой высокой, какую только можно получить» (книга I, глава 7), могло бы прийти в голову не очень умному дилетанту. В буквальном смысле слова это неправда. Механизм конкуренции также не стал объектом более тщательного анализа. В итоге А. Смит не смог привести удовлетворительного доказательства в за-

<sup>16</sup> [Написав эти строки, Й. А. Шумпетер, по-видимому, изъясил из рукописи несколько страниц, посвященных А. Смигу, включая «Путеводитель». Этот материал был восстановлен редактором и помещен в главе 3, § 4е.]

щиту своего тезиса, что конкурентная цена является «самой низкой, какую обычно могут позволить себе продавцы»; современному читателю остается только гадать, какой же аргумент он привел в доказательство этого тезиса. Еще меньше усилий он приложил к тому, чтобы доказать, что в условиях конкуренции наблюдается тенденция к минимизации издержек, хотя, очевидно, он верил в это.

Но что представляла собой созданная Смитом теория ценности в узком смысле слова, т. е. его взгляды на проблему причинно-следственного объяснения феномена ценности? Поскольку данная проблема очень занимала экономистов в течение последующего столетия, они с жаром обсуждали соответствующие взгляды Смита, и именно поэтому мы не можем ее обойти. Сам по себе ответ достаточно прост.

Прежде всего, если читатель обратится к последнему параграфу главы 4 книги I «Богатства народов», он найдет там две вещи. С одной стороны, А. Смит заявляет, что собирается исследовать правила, которые «люди естественным образом соблюдают при обмене» товаров «или на деньги, или на другой товар». Это значит, что его не интересовали в первую очередь вопросы ценности в только что определенном нами смысле. Он хотел создать теорию цен, чтобы посредством этой теории утвердить некоторые положения, вовсе не требующие глубокого исследования предпосылок феномена ценности. Очевидно, этого хотел и Маршалл. С другой стороны, установив различие между потребительной и меновой ценностью, он упраздняет первую, указывая на то, что выше было названо «парадоксом ценности», который, по его мнению, препятствовал развитию теории в этом направлении. Таким образом, Смит запер для следующих двух-трех поколений дверь, так удачно открытую его французскими и итальянскими предшественниками. Никакие разговоры о его «признании роли спроса» не могут изменить этого факта. Во-вторых, в главе 6 книги I «Богатства народов» А. Смит недвусмысленно утверждает следующее: «Заработная плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками [курсив мой. — *Й. А. Шумпетер*] всего дохода, равно как и всякой меновой ценности» <Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. С. 53. В переводе употреблено слово «стоимость» вместо «ценность»>. Если слова что-либо значат, то это звучит убедительно. Его теория ценности сводилась к тому, что впоследствии стало называться теорией издержек производства. Таково мнение многих исследователей, но, в-третьих, вопрос осложняется тем, что в

книге имеется множество мест, указывающих на трудовую теорию ценности или, скорее, несколько таких теорий.<sup>17</sup>

В главе 5 книги I «Богатства народов» мы читаем следующий тезис: «Действительная цена всякого предмета, т. е. то, что каждый предмет действительно стоит тому, кто хочет приобрести его, — есть труд и усилия, нужные для приобретения этого предмета» <там же. С. 38>. Данное высказывание относится к числу лицемерных банальностей, могущих означать все или ничего. На первый взгляд оно говорит о намерении положить в основу явления ценности тяготы и антиполезность труда или принять теорию ценности, основанную на антиполезности труда. Однако это предположение можно отбросить, поскольку А. Смит далее никак не использует данный тезис. Более того, в начале главы 6 книги I «Богатства народов» А. Смит приводит знаменитый пример с бобром: «Обычно приходится затратить вдвое больше труда для того, чтобы убить бобра, чем на то, чтобы убить оленя» <там же. С. 50>, потому, естественно, за одного бобра можно выручить ту же сумму, что и за двух оленей. Таким образом, здесь ценность «регулируется» количеством труда, а не тяготами и заботами, что, разумеется, не одно и то же. Несомненно, этот отрывок выражает суть теорий Рикардо и Маркса, где ценность выводится из количества затраченного труда. Но А. Смит ограничивает применение этой теории «обществом первобытным и мало-развитым, предшествовавшим накоплению капитала и обращению земли в частную собственность» <там же>. Это, при благосклонной интерпретации, означает, что конкурентные цены на товары в состоянии равновесия будут пропорциональны труду, затраченному на их производство, если весь труд будет одинакового «естественного» качества, и при этом не будут использованы другие редкие средства производства. Это положение верно, но оно не составляет само по себе теорию ценности, исходящую из количества затраченного труда, или любую другую трудовую теорию ценности, поскольку для данного конкретного случая все теории ценности пришли бы к одинаковому результату. Наконец, как мы уже имели случай отметить, А. Смит (книга I, глава 5) рассматривает количество труда, которое товар может купить на рынке, как наиболее полезный заменитель его цены в денежном выражении, т. е. он выбирает труд в качестве *numéraire* (счетной единицы.) В принципе, такое решение не вызывает возражения,

<sup>17</sup> До сих пор еще недостаточно признано, что термин «трудовая теория ценности» имеет несколько разных значений. Однако данная тема была исчерпывающе разработана Дэвенпортом (*Davenport H. J. Value and Distribution. 1908*).

но само по себе оно связано с трудовой теорией ценности не в большей мере, чем выбор в качестве счетной единицы рогатого скота связал бы нас со «скотной» теорией ценности. Но Смит пытается мотивировать свое решение большим количеством аргументов, указывающих на заключенный в нем более глубокий смысл. Например, «один лишь труд... ценность которого никогда не меняется, является единственным и действительным мерилom» ценностей всех товаров, или «он является их реальной ценой», или «единственным всеобщим, равно как и единственным точным мерилom ценности» <там же. С. 40, 42>. Все эти аргументы ложны, и сам А. Смит, кажется, неотчетливо представлял себе, что именно подразумевается под выбором чего-либо в качестве счетной единицы. Поэтому можно простить многих экономистов более позднего периода, к числу которых относится и Рикардо,<sup>18</sup> за то, что они неправильно поняли высказывания Смита и обвинили его в том, что он спутал количество труда, которое входит в товар, с количеством труда, которое он может купить. Однако такое обвинение несостоятельно, и это важно подчеркнуть, поскольку оно означало бы абсурдность аргументации Смита: принять любой предмет, на который обменивается товар, за *объяснение* его ценности было бы одной из худших ошибок в истории экономической теории. Следует добавить, что выбор часового или дневного труда как единицы выражения цены не подразумевает принятия трудовой теории ценности. Точно так же не связаны с ней и подчеркивание роли рабочего класса в производстве, его притязания и допущенные в отношении его несправедливости. Как уже упоминалось, таких мест в «Богатстве народов» немало; возможно, многое было написано под влиянием Локка. «Продукт труда составляет естественное вознаграждение за труд или его заработную плату» (книга I, глава 8 <там же. С. 63>). Урожай выращивает работник, а землевладелец, присвоивший землю, требует долю от этого урожая. Прибыль составляет второй вычет из «продукта труда». По сей день трудно заставить философски настроенные умы понять, что все это совершенно не относится к теории ценности, рассматриваемой не с точки зрения символа веры или в качестве аргумента социальной этики, а как инструмент анализа экономической действительности.

---

<sup>18</sup> Однако Рикардо не всегда понимал А. Смита ошибочно. Он также доказывал, что меновая ценность труда не свободна от колебаний, так же как меновая ценность других товаров. Но это замечание уместно только для того случая, когда труд принимается за счетную единицу, которая должна функционировать в течение некоторого времени.

#### 4. Количественная теория денег

Читателя едва ли удивят сведения о жарких дискуссиях по поводу *последствий* бурных революций цен в XV, XVI и XVII вв. Но тот факт, что возникли вопросы относительно причин этих революций, может привести его в недоумение, поскольку понижение ценности денежных единиц, вызванное девальвацией, проводимой правительствами, а также мошеннической порчей монет частными лицами, и поток американского золота и в особенности серебра были у всех перед глазами, и ни один даже самый искушенный современный теоретик не мог бы найти ошибки в очевидном диагнозе, видя, что новые денежные единицы, созданные в результате снижения ценности монет или притока американского серебра, очень быстро тратились, причем главным образом на войны, в то время как сами войны мешали развитию производства. Тем не менее, хотя, вероятно, можно найти раннюю аргументацию, подтверждающую этот диагноз,<sup>1</sup> нам представляется, что в действительности до 1568 г. не было ясной, полной и теоретически удовлетворительной публикации по данному вопросу. В 1568 г. Бодэн опубликовал свой «Ответ» на работу *Paradoxes sur le fait des Monnoyes* (1566), написанную М. де Мальгрюа. Существует перевод «Ответа» Бодэна (*Bodin. Responce*) в *Early Economic Thought* А. Е. Монро. В силу указанных обстоятельств

---

<sup>1</sup> Я говорю «вероятно», поскольку мне самому неизвестны примеры более или менее ясной аргументации. Случаи, упомянутые профессором Селигменом (*Seligman. Bullionists//Encyclopaedia of the Social Sciences*), неубедительны. Некоторые историки, относящие истоки этого типа «количественной теории» к средним векам или даже к древнеримскому юристу Павлу, неправильно поняли смысл латинского слова *quantitas*, которое нельзя переводить как «количество» (см. главу 1). Лучший пример, который я могу привести, — это работа Томаса де Меркадо (*Mercado Tomás, de. Summa de tratos y contratos; 1-е изд. вышло в 1569 г., в данной работе использовано издание 1571 г.*). Эта работа вышла на год позже работы Бодэна, о которой речь пойдет в основном тексте. К концу XVI в. признание влияния американского серебра на цены было широко распространенным, если не всеобщим, что вполне логично. Луис Валле де ла Серда (*Fundación, 1593; Desempeño, 1600*) назвал рост цен «*efecto muy natural de la rapida multiplicacion de los signos y moneda*» «*весьма естественным эффектом быстрого увеличения количества денежных знаков*». Слова «весьма естественный» в данном отрывке не имеют ничего общего с естественным правом, а просто подчеркивают несомненность или очевидность факта. Противоположное впечатление, высказанное профессором Гамильтоном и состоящее в том, что влияние притока серебра на цены упорно игнорировалось или отрицалось, возможно, объясняется тем, что многие более поздние авторы имели причины подчеркивать другие факторы роста цен, особенно в условиях Испании, а также тем, что большинство авторов были в то время, как и теперь, совершенно невосприимчивы по отношению к простейшим экономическим истинам.

Бодэн стал общепризнанным «первооткрывателем» количественной теории денег. Поскольку этой теме было уделено незаслуженно много внимания, мы ограничимся лишь кратким ее рассмотрением.

[а) Объяснение Бодэном революции цен]. Жан Шеррюи де Мальтруа доказывал, что всеобщий рост цен был результатом порчи монет и что цены, выраженные в полновесных монетах, не поднялись. Бодэн на это ответил работой в *Response* и затем повторил ту же мысль в *Les six livres de la République* (1576), указав, что в данной аргументации не учтено влияние американского серебра. Согласно Бодэну, революция цен объяснялась следующими причинами: 1) ростом количества золота и серебра в обращении; 2) преобладанием монополий; 3) грабежами, приведшими к сокращению потоков товаров; 4) расходами королей и князей на свои прихоти; 5) ухудшением качества монет. Последний фактор был единственным, который рассматривал его оппонент. Кроме того, Бодэн добавил, что первая причина была наиболее важной. Читатель заметит, что данный анализ требует лишь небольшой корректировки и более пространной интерпретации, чтобы стать правильным диагнозом исторической ситуации, сложившейся в 1568 г. Даже с точки зрения общего теоретического содержания он превосходит значительно более поздние работы. Действительно, против анализа Бодэна нельзя выдвинуть типичных возражений, которые могли бы быть выдвинуты против количественной теории XIX в. Но можно ли сказать, что анализ Бодэна представляет собой или подразумевает количественную теорию?

Вопрос может удивить, но его непременно стоит задать. Примем на какой-то момент бескомпромиссный металлизм и рассмотрим с этой точки зрения случай совершенного золотого монOMETаллизма — золотой стандарт, при котором золото может свободно поступать в монетарную систему и уходить из нее. Поскольку золото — это такой же товар, как и любой другой, то с ростом его производства, при прочих равных условиях, ценность золотой денежной единицы, выраженная в товарах, упадет точно так же, как упадет при прочих равных условиях цена на яйца в случае увеличения их производства. В данном случае любой возможный рост цен, выраженный в золоте, объясняется увеличением предложения золота. Отметим, что степень этого снижения ценности золота будет просто зависеть от формы графика спроса на золото как на товар, выраженного в каком-либо другом эквиваленте, а «количество», о котором здесь идет речь, — это величина прироста предложения золота. Следовательно, нет никакого основания предполагать, что, какими бы равными ни были прочие условия,

падение ценности денежной единицы будет пропорционально росту количества золота. Мы увидим, что данная аргументация не содержит никакой специальной гипотезы, она плавно вытекает из металлистской основы и была бы принята схоластами как нечто само собой разумеющееся. Мы признаем, что в данном смысле и по данной причине «количество» имеет отношение к ценности денег, но с количественной теорией денег этот случай связан только словом «количество», используемым в обоих рассуждениях; он имеет с ней не больше общего, чем требуется для аргументации Бодэна или, сразу же добавим, для аргументации А. Смита.

[b) Выводы из количественной теоремы]. Чтобы пояснить нашу мысль, рассмотрим тот же случай с точки зрения количественной теории денег. Для упрощения изложения допустим, что существует абсолютно неизменный набор товаров, которые должны быть проданы за те деньги, какие есть у покупателей, сколько бы их ни было, а покупатели чувствуют себя вынужденными быстро истратить все имеющиеся у них деньги на этот набор товаров. Далее мы будем говорить не о количественной *теории*, а о количественной *теореме*, поскольку речь пойдет не о теории денег в целом, а лишь о предположении, касающемся их меновой ценности. Оставив все остальное строго как есть, допустим рост производства золота. Как и при аргументации в духе металлистской теории, мы делаем вывод, что это приводит к снижению ценности золота, т. е. к повышению всех цен, выраженных в золоте. Причина этого явления та же, что и в предыдущем случае, в той мере, в какой это касается той доли возросшего количества золота, которая уходит на нужды производства. Но та доля возросшего количества золота, которая уходит в денежное обращение, теперь работает иначе и приводит к снижению меновой ценности золота, содержащегося в монетах, т. е. к росту цен на товары по другой причине: при условии нашего крайне искусственного допущения снижение меновой ценности золота строго пропорционально увеличению количества золотых денег, а непосредственная причина этого — не снижение товарной ценности золота (оно имеет отношение к делу, но косвенно — в силу того, что им определяется, до какой степени возрастает количество монетарного золота), а рост количества монет как таковых. Именно рост этого количества при постоянной покупательной способности общего количества денег является непосредственной причиной происходящего снижения меновой ценности денежной единицы. Такое же снижение может произойти, если, не увеличивая этого запаса, разбить его на

денежные единицы с меньшим содержанием золота, поскольку в обоих случаях на одну монету станет приходиться меньше каждого *товара*. Воздействие использования дополнительного количества золота в качестве *товара* может быть уподоблено влиянию использования дополнительного числа рабочих той же квалификации на данном заводе при данном оборудовании. Воздействие использования дополнительного количества золота в качестве *монет* может быть уподоблено влиянию замены рабочей силы, работающей на данном заводе и при данном оборудовании бóльшим числом рабочих пропорционально более низкой квалификации. Таким образом, количественная теорема дает нам следующее: во-первых, она признает факт, что монетарная функция влияет на ценность товара, выбранного в качестве денег, и является логически самостоятельным, хотя и не независимым, источником меновой ценности золота (это мы, конечно, можем признать, ничем не связывая себя в дальнейшем); во-вторых, она признает, что механизм, определяющий ценность золота в обращении, отличается от механизма, определяющего ценность золота, используемого в промышленности, или ценность любого другого товара; в-третьих, она предлагает конкретную, очень примитивную и очень простую схему этого механизма. Кажущаяся сложность этого простого на самом деле вопроса объясняется тем фактом, что в случае идеального золотого монометаллизма оба механизма должны, разумеется, привести к одинаковой ценности золота в монетарной и промышленной сфере, а также тем, что воздействия возросшего производства золота на товарную и на монетарную ценность золота так переплетаются между собой, что трудно ясно рассмотреть каждое в отдельности. Но одной из сильных сторон количественной теории денег является возможность ее использования для случая бумажных денег, не прибегая к каким-либо дополнительным построениям. В данном случае — когда материал не обладает товарной ценностью, способной стать причиной двусмысленности при определении того, какое количество и какой *modus operandi* <рабочий механизм> мы имеем в виду, — все становится совершенно ясно. Это логическое сродство количественной теоремы с теоретическим картализмом следует запомнить: теорема в основном сводится к трактовке денег не как товара, а как ваучера на покупку товаров, хотя не все, кто рассматривает деньги с этой точки зрения, обязательно принимают специальную схему, предлагаемую данной теоремой. Указанное свойство весьма важно запомнить, поскольку последующее развитие теории стремилось затушевать его.

В работе Бодэна нет и следа подобных рассуждений, но они присутствуют у Давандзати (1588, см. § 2); он сопоставил массу товаров с денежной массой — запас (stock) с запасом, — и ему следует отдать должное как автору более удачной формулировки количественной теоремы в ее самой примитивной форме, даже если бы мы интерпретировали аргументацию Бодэна в том же смысле. Дальнейшее продвижение в этом направлении было медленным. Конечно, простое признание воздействия на цены импорта американского золота и серебра или любого увеличения запаса золота и серебра в какой-либо стране вскоре стало общим местом. Читая нескладные труды менее образованных «меркантилистов», не всегда легко понять, что они имели в виду, но некоторые из них, особенно Малин и Ман (см. главу 7), попытались, мне кажется, выразить подлинную идею количественной теории, хотя и в рудиментарной форме, в то время как другие, возможно большинство, довольствовались «простым металлизмом».<sup>2</sup> Так или иначе, много лет спустя Давандзати обрел последователя в лице Монтанари (1680), во второй половине XVII в. продвижения в этом направлении стали частыми в Англии.

Среди них особого внимания заслуживает вклад Брискоу (1694),<sup>3</sup> так как он, насколько мне известно, был первым, кто написал уравнение обмена в следующей неудовлетворитель-

<sup>2</sup> Малин категорически заявляет: «Большое количество денег в обращении обычно создает дороговизну» (Tudor Economic Documents. III. P. 387). Это высказывание допускает приведенную выше интерпретацию. Ман рассуждает аналогичным образом. В качестве иллюстрации признания влияния, оказываемого увеличением «сокровища», что не подразумевает подлинной идеи количественной теории, можно привести речь сэра Роберта Коттона «Об изменении состава монеты» (1626): «Золото и серебро... являются товарами, оцениваемыми друг друга в соответствии с их изобилием или редкостью; а через них оцениваются и другие товары» (см. перепеч. текст: McCulloch. Scarce and Valuable Tracts on Money). Следует заметить, что концепция, которую мы назвали теорией «простого металлизма», т. е. теоретическим металлизмом без специфической количественной теоремы, дает достаточное основание для защиты «меркантилистов» от обвинений в том, что обычно они не осознавали влияния импорта обожаемого ими золота и серебра на цены, а всякий раз, как они это делали, они в действительности опровергали собственные доводы в пользу активного сальдо. Для понимания этого эффекта не требуется обращения к специфической или подлинной количественной теореме. Какими бы недостатками ни обладало предположение, что превышение стоимости экспорта над стоимостью импорта желательно, поскольку это принесет «сокровище» в страну, оно не опровергается доводом, согласно которому этот приток золота и серебра повысит цены и тем самым остановит экспорт. Во-первых, прежде чем прекратится экспорт, можно собрать много ценностей, а во-вторых, ввезенное «сокровище» окажет такое влияние, только если будет пущено в обращение, что не всегда имелось в виду. О других возможных линиях защиты этого тезиса речь пойдет ниже.

<sup>3</sup> Работы Монтанари и Брискоу обсуждались в § 2.

ной форме: количество денег равно ценам, умноженным на реальный доход.<sup>4</sup> В течение XVIII в. общим местом для многих ведущих экономистов стала подлинная количественная теория, иногда в довольно грубой форме. Ее воспринимали как нечто само собой разумеющееся Дженовези, Галиани, Беккариа и Юсти, а Юм заново подтвердил ее с настойчивостью, в которой вряд ли была необходимость (1752). Это тем более важно, что А. Смит полностью примкнул к простому металлizmu.

Но уравнение обмена, составленное Брискоу, к тому времени, когда он его опубликовал,<sup>5</sup> уже устарело, поскольку еще раньше был сделан более важный шаг. Наиболее примитивный способ рассмотрения зависимости между количеством денег и ценами (для примитивного ума он и самый естественный) — это сравнение какого-либо количества или фонда денег с количеством или фондом товаров, которые, как предполагается, будут обменены друг на друга. При более глубоком рассмотрении вопроса возникает мысль, что количество товаров является довольно сомнительной экономической переменной; действительно, общее количество монет можно

<sup>4</sup> Поскольку мы впервые имеем дело с данным аналитическим инструментом, в помощь начинающему следует сразу сделать несколько пояснений. Другие пояснения будут добавлены позднее (часть IV, главе 8). Уравнение обмена (также называемое уравнением Фишера — по имени наиболее значительного из современных экономистов, который пользовался им как отправной точкой теории денег) теперь обычно записывается так:  $MV = PT$ , где  $M$  — количество денег,  $V$  — скорость обращения,  $P$  — уровень цен, а  $T$  — физический объем сделок. Уравнение Брискоу становится тождественным данному уравнению при  $V = 1$ . Во-первых, отметим, что каждому из обозначений  $M$ ,  $V$ ,  $P$ ,  $T$  можно придать любое из многочисленных значений, которые, конечно, должны быть согласованы друг с другом; например,  $M$  может означать только полную монету, или только законные платежные средства (legal tender), включая государственные бумаги, или только законные платежные средства плюс банкноты, минус резервы, предназначенные для погашения банкнот, или легальные платежные средства плюс банкноты, плюс вклады до востребования, минус резервы всех банков. Аналогично  $T$  может означать все сделки, или только сделки, имеющие отношение к производству и распределению, или только сделки, состоящие из выплат дохода и потребительских расходов, — последнее является определением, принятым Брискоу. Во-вторых, в отношении  $V$  следует принимать во внимание некоторые различия, представляющие особую важность. С одной стороны, мы можем принять  $V = PT/M$  по определению. В этом случае уравнение обмена должно быть справедливо всегда и при всех обстоятельствах. Это, как говорится, чистая тавтология, или тождество, и его в действительности следовало бы записать как  $MV \equiv PT$ . Но нам не следует это делать. Мы можем также определить  $V$  независимо от трех других величин, например тем, сколько раз в среднем может быть выплачен доллар получателю дохода при данной организации общества.

<sup>5</sup> Разумеется, еще более устаревшим было аналогичное уравнение, опубликованное в 1771 г. Г. Ллойдом в его *Essay on the Theory of Money*. Мне знакомо только резюме этого эссе на итальянском языке, приложенное к работе Верри (*Verri. Meditazioni*) в издании Кустоди *Scrittori Classici*.

рассматривать как определенную величину, которая, если не принимать в расчет изъятие из обращения и экспорт, является постоянной; однако товары, повседневно обмениваемые на эти монеты, не остаются всякий раз одними и теми же; отдельные единицы хлеба, вина, одежды и т. д. навсегда исчезают с рынка и с течением времени заменяются другими единицами, с тем чтобы их обменяли в следующий базарный день на те же монеты. Следовательно, сравнение производится между запасом (stock) и потоком (flow). Чтобы осуществить сопоставимость, нужно выбрать единичный период и умножить запас на коэффициент, показывающий, как часто за данный период запас оплачивает поток, т. е. как часто в определенный период деньги делают то, что товар может сделать только единой. Задача значительно упрощается, но ценность ее решения существенно снижается, если мы допустим, что тратятся все монеты до единой, причем только один раз в течение каждого базарного дня, и в каждый базарный день предлагаются равные количества всех товаров и не производится никаких других сделок; в этом случае «скорость» или «быстрота обращения» денег будет равна числу базарных дней за единичный период. Если такое число будет равно 12 в год, то данное количество денег будет поддерживать тот же уровень цен, какой поддерживал бы в двенадцать раз больший денежный запас при наличии в году одного базарного дня. В таком смысле «скорость» обращения свойственна только деньгам, аналогии в мире товаров не существует.<sup>6</sup>

Осознание этого факта и включение его в механизм анализа было научным достижением в основном трех ученых: Петти, Локка и Кантильона. Его важность дает нам основание для того, чтобы рассмотреть, как было сделано данное «открытие».

---

<sup>6</sup> Я уделил больше места, чем мог себе позволить, объяснению данной темы в ее самом элементарном виде, поскольку читателю важно понять, как эта тема представлялась в начале анализа: каждый следующий шаг затуманивает вопрос, создает двусмысленности, затрудняет понимание, но этот первый шаг совершенно ясен и прост. Я пользуюсь возможностью, чтобы добавить еще два момента, касающиеся уравнения обмена. Вернемся к нашему примеру: определенное количество монет обслуживает сделки, заключенные за 12 базарных дней. Прежде всего эти 12 базарных дней представляют собой обычной общества, институциональное устройство, которое не в силах изменить отдельные лица. Согласно нашему предположению, ни одна монета не может иметь большую скорость обращения. Но что если держатели некоторых монет в любой заданный базарный день откажутся истратить все имеющиеся у них монеты? Тогда мы сможем сказать, что монеты, не истратенные в один или несколько из базарных дней, имеют меньшую или даже нулевую скорость обращения. Но мы можем также сказать... [примечание не закончено].

Ни Петти, ни Локк не шли логическим путем, т. е. не выводили феномен «скорости» обращения из природы денег, — этот путь в самых общих чертах мы изложили выше. Они столкнулись с этим феноменом, пытаясь ответить на практический вопрос, который считали важным: в каком количестве денег нуждается отдельная страна? Кажется, Юм был первым, кто ясно и открыто показал (см.: *Hume. Of Money//Political Discourse. 1752*), что на уровне чистой логики этот вопрос не имеет смысла. С одной стороны, для изолированной страны подойдет любое количество денег, как бы мало оно ни было; с другой стороны, при наличии повсюду идеального золотого стандарта количество денег в каждой стране всегда будет стремиться к уровню, соответствующему ее относительному положению в международной торговле. Но в XVI в. люди думали иначе, и данному вопросу можно придать практический смысл, добавив к нему: «при преобладающем уровне цен». После внесения такой поправки задача заключается в том, чтобы определить потребности внутреннего обращения денег в условиях данного времени и места. Целью была или поддержка «меркантилистской» политики усиленного импорта золота и серебра до достижения этого уровня, или борьба с ней после его превышения.

Задача носила в основном статистический характер. Петти подошел к ее решению с точки зрения выплаты доходов, т. е. ... [фраза не закончена; следующие два абзаца взяты из более ранней краткой трактовки теорий денег в приложении и, следовательно, не имеют строгой связи с предшествующим материалом].

Следует отметить еще один пункт. С точки зрения теоретика, появление важной, ясно изложенной и пригодной для работы концепции — это всегда «большое событие», хотя она и подразумевалась в предшествующей аргументации. Признаки такой концепции, как скорость обращения денег, можно обнаружить уже у Давандзати, но она воплотилась в реальность только в последние десятилетия XVII в. Это было чисто английским достижением. Мы уже знаем о подвиге сэра Уильяма Петти в данной области. Другим автором был Локк (*Lock J. Some Considerations. 1692*). Он подходит к скорости обращения, рассматривая вопросы, связанные с кассовой наличностью, которую практически необходимо держать различным классам людей. Влияние изменения скорости обращения денег на цены прямо не обозначено, хотя можно сказать, что оно сказывается косвенно, посредством воздей-

ствия процентной ставки на неиспользуемые денежные остатки.<sup>7</sup> Кантильон, который, насколько мне известно, первым заговорил о скорости обращения, был также первым, кто утверждал, что рост скорости обращения денег эквивалентен увеличению их количества. Он также сделал вывод, что меры, рассчитанные на понижение скорости обращения, будут противодействовать инфляции. Ни Юм, ни Смит не добавили к этому ничего существенного.

Мы увидим, что концепция с самого начала развивалась в тех же двух направлениях, что и в дальнейшем. Петти и Локк использовали подход с точки зрения кассовых остатков, Кантильон подходил со стороны оборота денег. Локк и Кантильон четко рассмотрели не только скорость обращения в строгом смысле, но также и скорость расходования денег. Поскольку родственная концепция склонности к потреблению завоевала популярность в связи с анализом мультипликатора, полезно, наверное, добавить пару примеров, подтверждающих, что данная концепция также была прекрасно известна экономистам той эпохи. Как мы уже знаем, Буагильбер в работе *Dissertation sur la richesse* указывал, что монета, попадающая в руки мелкого торговца, тратится значительно быстрее, чем монета в руках богача, более склонного запереть ее в сундук. Богач — накопитель сокровищ, судя по всему, не является открытием или изобретением последних десяти лет. Галиани во втором «Диалоге о торговле зерном» (*Dialogue sur le commerce des blés*) вывел различие между склонностью к потреблению фермера, который экономит и копит деньги, и ремесленника, который быстро их тратит.

## 5. Кредит и банковское дело

Мы знаем, что поздним схоластам были известны практически все основные черты капитализма. В частности, они были знакомы с фондовыми биржами и денежными рынками, с кредитованием и банковскими операциями, с переводными векселями и другими кредитными инструментами.<sup>1</sup> Банкнота является

---

<sup>7</sup> По данному вопросу, а также по теме в целом см.: *Holtrop M. W.* (М. В. Холтроп). *Theories of the Velocity of Circulation of Money in Earlier Economic Literature//Economic History: Supplement to the Economic Journal.* 1929. Jan.; *Marget (Margret). Theory of Prices.* Vol. 1.

<sup>1</sup> См. главу 2. Вновь хочу привлечь внимание читателя к упомянутой книге профессора Ашера (*Usher. The Early History of Deposit Banking in Mediterranean Europe.* 1943). См. также работу Ван Диллена: *Van Dillen. History of the Principal Public Banks.* 1934 (в книге дан обширный перечень литературы).

единственным кредитным инструментом, добавившимся в течение XVI в.; почти на два века она оттеснила на задний план старейшую форму так называемых банковских денег — переводной депозит. Даже Юм в 1752 г. говорил об «этой новоизобретенной бумаге». Однако банкнота, по крайней мере одна из ее ранних форм, не должна была поразить его как новинка; долговая расписка, представляющая собой расписку ювелира за депонированное у него золото, была не чем иным, как средством увеличения надежности и удобства обращения с деньгами; она идеально соответствовала прежним идеям. Новшество заключалось в практике, главным проводником которой стала банкнота, вследствие чего она и приобрела большое значение. Дэниел Уэбстер в 1839 г. сделал выпуск банкнот определяющим признаком любого банка. Эта практика и сопутствующие ей явления быстро привели к развитию интересного направления анализа.

Суть заключается в следующем. Наблюдая зарождение капиталистических институтов, схоласты и их светские последователи не испытали никаких трудностей при их интерпретации с позиций своей металлистской теории денег. Владение концептуальным аппаратом Римского права облегчало схоластам аналитическую задачу. Наблюдая договоры купли-продажи, предусматривающие оплату с рассрочкой, они аналитически разделили их на собственно продажу и предоставление денежного займа. Право собственности на нерегулярные денежные депозиты (*depositum irregulare*) передавалось получателю депозита; отцы-схоласты могли даже сделать вывод, что получатель не был связан юридическими или моральными обязательствами хранить такого рода вклад у себя в сейфе, поскольку он должен был всего лишь *tantumdem in genere*, т. е. столько же и в том же роде, сколько получил. Более того, если в результате деловых связей *A* становился должником *B* и одновременно *B* являлся должником *A*, то они могли (в этих пределах) «взаимозачесть» долги и несли ответственность только за разность сумм долгов; должно быть, этот принцип распространился затем на многосторонний и международный взаимный зачет (клиринг) платежей без использования наличности. В результате для схоластов ни ссуда в обычном смысле слова, ни предоставление или получение кредита в ходе торговой или любой другой сделки не были связаны с монетарной системой и ее работой; эти феномены, несомненно, предполагали использование денег, но только в том смысле, в каком предполагает их покупка за деньги, или денежный подарок, или уплата налогов деньгами.

Но это, разумеется, не так. «Кредитные» операции любой формы и типа оказывают воздействие на работу денежной системы; еще более важно то, что они влияют на работу капиталистического механизма в такой степени, что становятся существенной его частью; без постижения их сути совершенно невозможно понять остальное. Такова была суть открытия экономистов XVII в., а экономисты XVIII в. пытались выработать соответствующую концепцию. Именно тогда капитализм был открыт с точки зрения экономического анализа или, иными словами, сам себя осознал путем анализа. Посмотрим, как происходило это открытие и как далеко оно зашло. Мы ясно различаем два пути развития.

**[а) Кредит и концепция скорости обращения денег: Кантильон].** По первому пути могли бы пойти сами ученые-схоласты. Строго металлистская концепция денег предполагала, если не проводила, попытку провести резкую разделительную линию между деньгами и законными платежными инструментами, воплощающими денежные требования и денежные операции, и *вести последние в общую картину с помощью вспомогательных построений*, прибегая к упомянутым выше правовым концепциям. До некоторой степени такой ход развития всегда возможен,<sup>2</sup> а в нашем случае даже больше, чем в других. Требуемая в данном случае вспомогательная конструкция заключается в расширении концепции скорости обращения денег. Банкир, выпускающий банкноты, число которых превышает имеющуюся у него наличность, не рассматривается как лицо, создающее или увеличивающее число платежных средств, не говоря о «деньгах». Он всего лишь ускоряет обращение этой наличности, которая осуществляет значительно больше платежей, чем можно было бы осуществить с помощью наличности, переходящей из рук в руки. То же самое происходит,

---

<sup>2</sup> Приведем два примера несравненно большей важности. Так называемая система Птолея в астрономии не была просто «ошибочной». Она удовлетворительно объясняла огромную массу наблюдений. По мере накопления наблюдений, которые на первый взгляд не согласовались с этой системой, астрономы изобретали дополнительные гипотезы, которые подгоняли под нее упрямые факты. Так и классическая физика удовлетворительно объясняла все известные факты, пока ей не нанес жестокий удар отрицательный результат эксперимента Михельсона (1881). Но это не побудило физиков тотчас же отвергнуть классическую систему. Вместо этого эффект Михельсона был встроен в нее с помощью специальной гипотезы ад-хок Г. А. Лоренца (H. A. Lorentz, 1895); и данная гипотеза удовлетворяла физиков до появления теории Эйнштейна примерно через четверть века после эксперимента Михельсона. *Si licet parva componere magnis...*\*

---

\* *Si licet parva componere magnis* (лат.) — «Если можно сравнить малое с великим». Источник: Вергилий, «Георгики», IV, 176. — *Прим. пер.*

разумеется, когда банкир непосредственно дает займы часть личности, вложенной в его банк. Четкое понимание того, что банкнота и чековый депозит — в сущности одно и то же, составляет одну из сильных сторон данной теории. Таким образом, деньги остаются очень узко определенными. Кредит, в частности банковский кредит, — это просто метод более эффективного их использования. Я не имею возможности задержаться на этой теме, чтобы показать, как это происходит, но читателю не составит труда понять, что большинство явлений, попадающих под рубрику «кредит», *могут* быть описаны таким образом.

Эмитируемые правительством бумажные деньги допустимо в этом случае или включить вместе с полновесной монетой в общее количество денег, или истолковать их как государственный долг, т. е. как обещание заплатить когда-нибудь звонкой монетой. Последний взгляд преобладал, и на протяжении всего XIX в. правительства иногда выпускали банкноты со следующей надписью: «Эта банкнота — часть текущей задолженности правительства». Эта надпись предполагает аналогию с казначейскими векселями, особенно когда банкноты приносили проценты, что было нередко.

Выдающимся авторитетом, развившим данную теорию, был Кантильон. Он разработал ее основательно, с блеском и здравомыслием. Его банкиры — в первую очередь посредники, дающие займы деньги, полученные от других людей. Они ссужают вклады, которые получают, и тем самым ускоряют оборачиваемость и понижают процентную ставку. Логические трудности, связанные с этим на первый взгляд простым утверждением, несколько уменьшаются, так как Кантильон делает упор на случай, когда банкиры дают займы только те деньги, в которых вкладчики в данное время не нуждаются, — это, как мы сказали бы, случай срочных вкладов; таким образом, данная сумма денег оказывает только одну услугу за один раз. Кроме того, нельзя забывать, что Кантильон жил в обществе, где, за исключением оптовой торговли, оплата наличными была преобладающим правилом, поэтому люди непрерывно приносили в банк и уносили оттуда мешки монет. Внесение депозита путем реального вложения монет было таким же обычным делом, как им в наше время считается приобретение депозита путем предоставления займа или перевода от другого заемщика. В любом случае его учение стоит у истоков того, что оставалось официальной теорией банковского дела практически до Первой мировой войны. Галиани и Тюрго независимо друг от друга придерживались той же доктрины, равно как и бесчисленное количество менее ярких светил, таких как Юсти и «экономисты-предприниматели», например Марпергер.

Однако без преувеличения можно сказать, что это не единственный путь интерпретации фактов банковской практики. Даже тот банкир, который предоставляет ссуду реальными деньгами, вложенными в его банк, делает больше, чем просто собирает их из бесчисленных «луж», где они застаиваются, для передачи их людям, которые этими деньгами воспользуются. Он вновь и вновь ссужает те же самые суммы, *прежде чем расплатится первый заемщик*, т. е. не только находит вверенным ему деньгам последовательные применения, но и заставляет одну сумму употребляться одновременно в нескольких применениях. В случаях предоставления займа в виде банкнот или путем кредитования чекового счета заемщика, когда денежная наличность банкира служит лишь резервом, указанный факт предстает перед нами еще яснее. То же самое происходит, когда банкир ссужает монеты, полученные в качестве вклада от лица, предложившего использовать этот вклад точно так же, как он использовал бы эти монеты, оставив их при себе.<sup>3</sup> Несомненно, должен быть другой способ выражения такой практики, кроме наименования банкнот воплощением скорости обращения денег, — такой высокой скорости, что одна вещь одновременно находится в нескольких местах. Важнее терминологического неудобства представляется факт, что скорость обращения в техническом смысле слова вовсе не возросла: предоставленные банкиром займы не меняют количества «станций», через которые нужно пройти единице покупательной способности, не сокращают время, требующееся на их прохождение, и не влияют сами по себе на

<sup>3</sup> Профессор Рист (*Rist. History of Monetary and Credit Theory from John Law to the Present Day. 1940. Ch. 1*), ведущий современный интерпретатор взглядов Кантильона, справедливо настаивает на том, что не существует никакой «тайны кредита», а разговоры о ней часто свидетельствуют об отсутствии ясности мышления. Но есть вопрос интерпретации, и есть пункт, требующий разъяснения. Допустим, какому-либо гардеробщику ресторана придет в голову отдавать напрокат сданные ему пальто, пока их владельцы едят. В этом случае может создаться трудная ситуация для гардеробщика, но здесь нет *логического* затруднения. Но допустим, что он фокусник и проявляет ловкость, дающую возможность двойным людям (владельцу и взявшему напрокат) носить одновременно одно и то же пальто. Разумеется, подобную ситуацию потребует объяснить. Именно это и происходит в банковском деле, если в действительности, как говорит профессор Рист, банкноты и банковские вклады представляют собой не что иное, как «материальное воплощение скорости обращения денег». Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы добавить, что в той мере, в какой это касается выводов относительно политики, я вполне согласен с ним. Лично я не испытываю ничего, кроме восхищения и благодарности за блестящие заслуги профессора Риста в оздоровлении финансов разных стран. Я отнюдь не сторонник схем земельных банков и их современных аналогов. Я просто интересуюсь теоретическими вопросами и некоторыми моментами истории.

привычки людей держать при себе некоторые суммы того, что в их понимании является наличными деньгами. Следовательно, может быть, более естественно сказать, что банкиры увеличивают не скорость обращения, а количество денег или тех платежных средств, которые в известных пределах служат в качестве денег, если мы хотим сохранить этот термин за монетой или за монетой и государственными бумажными банкнотами. Это хорошо согласуется с практикой: заемщики чувствуют, что они получают дополнительные ликвидные средства, равноценные деньгам. О банках уже не говорят, что они «предоставляют займы свои вклады» или «деньги других людей»; о них говорят, что они «создают» депозиты или банкноты: представляется, что они скорее производят деньги, чем увеличивают скорость их обращения или действуют, — что совершенно нереально, — от имени своих вкладчиков. В любом случае ясно и бесспорно, что операции, совершаемые с деньгами, невозможно осуществить ни с каким другим товаром, поскольку ни количество, ни скорость обращения любого другого товара не могут быть увеличены таким путем. На вопрос, почему это так, можно дать только один ответ: деньги — это единственная вещь, право на которую служит той же цели, что и сама вещь, разумеется, в некоторых пределах. Вы не можете ездить на праве на лошадь, но вы можете заплатить правом на деньги. Отсюда возникает веская причина называть деньгами то, что является правом на законные деньги, при условии, что оно служит платежным средством. Как правило, обычный вексель не служит таковым; значит, он не является деньгами и относится к стороне спроса денежного рынка. Однако иногда некоторые категории векселей служат платежным средством. Тогда, согласно данной точке зрения, они являются деньгами и образуют часть предложения на денежном рынке. Банкноты и чековые вклады прекрасно выполняют функцию денег, следовательно — это деньги. Таким образом, кредитные инструменты или некоторые из них включаются в денежную систему, и по некоторым признакам деньги, в свою очередь, — всего лишь кредитный инструмент, право на получение единственного конечного платежного средства — потребительского блага. Можно сказать, что в настоящее время данная теория, которая, конечно, может принять много форм и нуждается во многих доработках, преобладает.

**[b) Джон Ло — предтеча идеи регулируемого денежного обращения].** Производство денег! Кредит как создатель денег! Очевидно, что это открывает не только теоретические перспективы. Авторы проектов банков в XVII в., особенно авторы проектов Английского земельного банка и Ло, который был одним

из них, придерживались концепций, содержащих более или менее четко выраженные элементы теории, схематически изложенной выше. Но они полностью поняли деловые возможности, предоставляемые открытием того факта, что деньги, а следовательно, денежный капитал можно произвести или создать. Их репутация как в то время, так и позднее значительно страдала от провала их схем (в частности, схемы Ло) точно так же, как в XIX в. происходил подрыв доверия к по сути аналогичным идеям, поскольку их связывали с рискованными банковскими проектами и с провалом схем, реализация которых потерпела крах, при том что они не были ни мошенническими, ни бессмысленными; к их числу относится *Crédit Mobilier* — банк братьев Перейра. Но поскольку от экономического принципа до банковского проекта — дистанция большого размера, эти банкротства не могут служить доказательством перед судом теории. Интерпретация теоретической позиции Джона Ло по вопросам денег и кредита (и его теории ценности — см. выше § 2) затруднена некоторыми обстоятельствами, не считая того, что отдельные его аргументы могли быть не более чем тактическими ходами. Судя по данному Ло описанию сути феномена денег (деньги прежде всего товар), можно заключить, что его следует отнести к теоретическим металлистам. Такой диагноз подкрепляется его враждебным отношением к снижению ценности монет или девальвации; он назвал ее несправедливым налогом, базируясь при этом на сомнительном доводе, что они больше ударяют по бедным, чем по богатым, а также исходя из собственной практики, так как он продолжал, сколько мог, погашать свои банкноты. Историки отбросили этот тезис, поскольку представляется, что он резко расходится с его взглядами по всем остальным вопросам. Однако исходя из металлистского принципа вполне можно прийти к выводам, которые, судя по всему, его нарушают, — достаточно привести в качестве примера Америку нашего времени. Аргументация Ло допускает следующую реконструкцию: сначала он отмечает (явное приобретение для анализа), что использование какого-либо товара в качестве средства обращения влияет на его ценность; отсюда следует, что с одинаковым успехом можно вывести как меновую ценность денежного товара, используемого в качестве денег, из его меновой ценности как товара, так и наоборот, хотя, конечно, пока денежный товар может свободно переходить от монетарного к промышленному использованию, обе ценности должны быть равны друг другу.

Следовательно, Ло вполне логично объяснил меновую ценность серебра, используемого в качестве денег, с позиций ко-

личественной теории (изобилие денег в сравнении с изобилием товаров); но поскольку серебро, которое служит в качестве денег, не имеет другого применения, кроме покупки благ, то его вполне можно заменить более дешевым материалом, в конечном счете его можно заменить материалом, совсем не имеющим товарной ценности, таким как отпечатанная бумага, поскольку «деньги не являются ценностью, на которую обмениваются блага, это ценность, посредством которой они обмениваются» [курсив Й. А. Шумпетера]. Это положение разрубает канат, который до сих пор [связывал деньги с товаром, имеющим] «внутреннюю» ценность. Далее он делает вывод, что преимущество бумажных денег не только в дешевизне материала и в отсутствии заботы о том, как получить и сохранить [адекватную денежную массу], оно заключается в том, что количество денег полностью поддается управлению.

[Предыдущий абзац не был закончен, дополнения в конце сделал Артур В. Марджет.]

Следовательно, похоже, что работа Ло дала жизнь идее регулируемого денежного обращения, которая впоследствии была забыта огромным большинством экономистов, пока вновь настойчиво не напомнила о себе после 1919 г. Очевидная важность этого события побуждает нас его рассмотреть. Во-первых, соответствующие отрывки из трактата Ло (*Money and Trade Considered... 1705*) приобретают дополнительное значение благодаря его практике или, скорее, благодаря одному ее аспекту. Мы не будем заниматься его конкретными схемами, начиная с *Banque Générale* (1716 г.), который выглядел таким безобидным и почти ортодоксальным, до все более и более фантастических планов *Compagnie des Indes* (1719 г.) и, наконец, проектов 1720 г., ставших для него последней соломинкой, за которую сильный пловец хватался, погибая. Но за всем этим стоял один великий план, действительно далеко продвинувшийся по пути к успеху: план контролирования, реформирования и выведения на новый уровень всей национальной экономики Франции.<sup>4</sup> Вот что делает «систему» Ло настоящей прародительницей идеи регулируемого денежного обращения не только в очевидном значении этого слова, но и в более глубоком и широком смысле, в котором регулирование денежного обращения и кредита предстает как средство регулирования экономического процесса. Вот в чем смысл и заслуга скромных отрывков из трактата.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Причиной провала была не данная идея... [сноска не закончена].

<sup>5</sup> Отсюда не следует, что у Ло не было предшественников. Во-первых, идея регулируемого обращения прослеживается в аргументации большинства

## 6. Капитал, сбережения, инвестиции

Слово «капитал» являлось частью правовой и деловой терминологии задолго до того, как экономисты нашли ему применение. У римских юристов и их последователей оно обозначало «основную часть» (principal) займа в отличие от процента и других дополнительных требований кредитора. В очевидной связи с этим слово «капитал» стало обозначать суммы денег или их эквиваленты, приносимые партнерами в товарищество или компанию, общую сумму активов фирмы и т. п. Таким образом, понятие «капитал» было по сути денежным и означало или реальные деньги, или права на деньги, или некоторые блага, оцениваемые в деньгах. Хотя это понятие не было вполне определено, оно было совершенно недвусмысленным, и в каждом отдельном случае его значение не вызывало никаких сомнений. Скольких путанных, бесполезных и явно глупых споров удалось бы избежать, если бы экономисты придерживались этих денежных и счетных значений данного термина, вместо того чтобы пытаться «углубить» их! Так или иначе, до XVIII в. они вообще едва ли пользовались понятием «капитал». Отбросив вопросы типа: «Создал или нет св. Антонин Флорентийский теорию капитала?» — мы просто отметим, что в XVII в. такие понятия, как богатство, сокровища, запас, часто использовались там, где мы употребили бы слово «капитал», а на протяжении всего XVIII в. и даже в первые десятилетия XIX в. в зарождавшейся теории капитала наиболее предпочтительным было слово «запас» (stock).

«Запас» в значении или материальных ценностей длительного хранения, или производительных материальных ценностей (пример употребления слова «запас» во втором значении встречается у Чайлда: запас инструментов и материалов) был, конечно, объектом внимания и рекомендаций. Однако, когда я говорил, что экономисты поздно нашли применение термину «капитал», я имел в виду его использование в четко сформулированном анализе, включающем «теорию» природы и функций капитала. До Кантильона и физиократов наблюдались только зачатки подобного применения. Читатель будет удивлен, узнав, что, несмотря на то что Кенэ придавал особое значение роли природных факторов, закладку фундамента теории капитала приписывают ему. Однако

---

авторов банковских проектов до Ло. Однако нам представляется, что этот случай один из тех, где «приоритет» следует обусловить полнотой и глубиной понимания. Во-вторых, в каком-то смысле любое денежное обращение всегда регулируется. Вмешательства в эту сферу наблюдались во все времена. Но я имею в виду не это... [на этом сноска обрывается].

мы должны идти дальше и ограничиться простым признанием, что в случае с Кенэ мы сталкиваемся с одной из распространенных как в науке, так и в политике ситуаций, когда человек достигает если не противоположного, то совершенно иного результата по сравнению с тем, к которому он стремился. Физиократы даже заложили основы одной из более поздних теорий производительности капитала. Весь процесс, описанный в «Экономической таблице», начинается с некоторых предварительных «авансов» и продолжается в виде ежегодных авансов. Эти авансы — блага, на которые нужно жить или с помощью которых нужно производить, хотя их количество может быть представлено в денежном выражении, и они являются именно тем, что означает слово «капитал» в одном из многих его значений. Эта идея так важна для определения общего характера любой теоретической схемы, которая ее принимает, что мы можем объединить все подобные схемы в одну группу и назвать ее «экономической теорией авансов».<sup>1</sup>

Суть этой идеи была почти тотчас же схвачена Тюрго, в самых общих чертах представившим соответствующую теорию капитала. Он подчеркивал, можно сказать, «вдалбливал» мысль, что богатство, не относящееся к природным факторам (предварительно накопленное движимое имущество), является необходимым предварительным условием всякого производства (*Réflexions*. LIII). Это фактически означает фундамент для будущих попыток рассматривать капитал, взятый в данном значении, как фактор производства. А. Смит по-своему сделал то же самое. Но одной из причин, позволяющих допустить, что А. Смит не знал работы Тюрго *Réflexions*, опубликованной в еженедельнике «Эфемериды» (*Ephémérides*, 1769–1770), является то, что его изложение, хотя и бесконечно более подробное, уступает работе Тюрго. По-моему, глава 1 книги II «Богатства народов» содержит то, что сделал сам А. Смит исходя из предложений Кенэ. В этой главе присутствует идея «авансов» капитала и есть намек на производительность (необходимость) капитала, однако вместо теории процента, как у Тюрго (см. ниже, § 7), из идеи Смита вытекает только «таксономия» капитала. Концепция первоначальных авансов по Кенэ вполне возможно, привела к концепции «основного капита-

<sup>1</sup> Читатель, конечно, понимает, что для отнесения теоретической схемы к такой группе еще недостаточно признать общеизвестные факты, согласно которым для того, чтобы производить, нужно иметь орудия труда и материалы, и что процесс производства занимает какое-то время, точно так же, как для принятия Ньютонской физики недостаточно признать, что яблоко, сорвавшееся с ветки, упадет на землю.

ла», а «ежегодные авансы» Кенэ — к концепции «оборотного капитала». Затем А. Смит переходит к перечислению различных категорий благ, из которых формируется и тот и другой вид капитала, и к обсуждению того, что следует, а что не следует включить в каждую категорию. Поскольку он выдвигал разные, противоречащие друг другу точки зрения, его таксономия часто оценивалась как не вполне удовлетворительная. Нам нет необходимости вдаваться в обсуждение этого вопроса. Для нас имеет значение только концепция физического или «реального» капитала (который, однако, включал деньги, «приобретенные и полезные навыки всех жителей», а также, хотя это не вытекает со всей очевидностью из перечня Смита, средства существования «производительных» работников), предложенная на рассмотрение теоретикам XIX в., принятая ими с минимальной критикой и получившая в дальнейшем развитие у большинства из них.

То же можно сказать и о теории сбережений и инвестиций Тюрго—Смита. Смит весьма настойчиво утверждает (книга II, глава 3), что «бережливость, а не трудолюбие является непосредственной причиной возрастания капитала», что «она приводит в движение добавочное количество труда», что она делает это «немедленно» (безотлагательно), так как «то, что сберегается в течение года, потребляется столь же регулярно, как и то, что ежегодно расходуется» <Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 249>, т. е. бережливый тратит так же быстро, как и расточительный, только он тратит средства на иные цели, потребление же осуществляется другими людьми, т. е. «производительными» работниками, и «всякий бережливый человек оказывается общественным благодетелем» <там же. С. 251>. Тюрго изложил все это раньше, только менее тяжеловесно.<sup>2</sup> Однако об этом не упоминали ни Кенэ, ни Кантильон, ни Буагильбер. Тюрго явно порвал с антисберегательной традицией, установившейся в его окружении. Я не знаю ни одного более раннего французского экономиста (возможно, за исключением Рефюжа), которому можно было бы приписать роль «предшественника». Из английских экономистов на это может в какой-то мере претендовать только

<sup>2</sup> При сравнении «Богатства» и «Размышлений» могут возникнуть некоторые сомнения относительно независимости взглядов Смита, поскольку Тюрго также говорит, по крайней мере когда речь идет о предпринимателях, что сбережения преобразуются в капитал *sur-le-champ* <немедленно> (курсив Тюрго). А слово *immediately* является точным переводом слова *sur-le-champ*. И это нельзя считать несущественным. Напротив, как мы скоро увидим, это является важной чертой обеих теорий и наиболее серьезным их недостатком. Вполне возможно, что подобная ошибка в обоих текстах возникла независимо, но это маловероятно.

Юм. Несомненно, в XVII в. и ранее множество писателей выступали против роскоши (и порока праздности), особенно против ввоза предметов роскоши; они ратовали за установление законов, регулирующих расходы на предметы роскоши, и рекомендовали экономии, по крайней мере для буржуа и рабочих.<sup>3</sup> Такие идеи

<sup>3</sup> До некоторой степени можно прояснить запутанную и сбивающую с толку массу противоречивых мнений о роскоши, во-первых, отбросив как не относящиеся к нашей теме, какими бы интересными они ни были с других точек зрения: а) мнения, основанные главным образом на нравственных мотивах; в этом случае пишущий может выступить «против роскоши», даже если его экономические выводы заставляют приписать ей «благоприятные» воздействия; б) мнения, явно связанные с негодованием буржуа против «роскошного образа жизни» «аристократического» слоя общества. Во-вторых, следует выделить разные значения, придававшиеся данному слову. В Англии XVIII в. слово «роскошь» (*luxury*) все чаще и чаще стало употребляться во множественном числе (*luxuries*) для обозначения предметов роскоши, т. е. товаров, не являющихся необходимыми; к числу необходимых относились «не только предметы, которые безусловно необходимы для поддержания жизни, но и такие, обходиться без которых, в силу обычаев страны, считается неприличным для почтенных людей даже низшего класса» («Богатство народов», книга V, глава 2 <Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 620>). Таким образом, роскошью называлось потребление, превышающее уровень, который позднее был назван «социальным прожиточным минимумом». Оценка мнений относительно влияния роскоши в данном смысле осложняется двумя типами рассуждений, стоящих в стороне от основной проблемы: а) поскольку эти предметы роскоши импортировались, они становились объектом поношений из соображений соблюдения активного торгового баланса (см. следующую главу); б) поскольку потребление этих предметов предлагает относительно высокую заработную плату, роскошь рассматривалась многими авторами, особенно английскими, как помеха в борьбе за внешние рынки; этот довод параллелен доводу, изложенному в пункте (а), и вливается в более общую аргументацию относительно заработной платы, которой мы уже касались. Кроме этих двух типов соображений роскошь, понимаемая в данном смысле, рассматривалась главным образом с точки зрения высокого уровня потребления, которая обсуждалась в тексте (см. выше, § 1); этой точки зрения придерживались даже более поздние авторы, подчеркивавшие роль сбережений, такие как Юм, который приводил также довод, что производство предметов роскоши служит доказательством наличия «резерва рабочей силы», откуда правительство может черпать в случае необходимости. «Порочная» роскошь была рекомендована в качестве значительной движущей силы экономики МанDEVИЛЕМ, а также, хотя и с оговорками, Юмом. Типичным представителем этого направления был БЮТЕЛЬ-ДЮМОН (*Théorie du luxe*. 1771). Очень мало истины в широко распространенном мнении, согласно которому современники А. Смита или экономисты XVII в. нуждались в его напоминании о том, что «потребление является единственной целью всякого производства» (книга IV, глава 8 <там же. С. 478>).

Читатель должен заметить, что у Смита это заявление всего лишь банальность, полностью лишённая какого-либо дополнительного смысла, направленного против сбережений. Однако упомянутое значение слова «роскошь» не было единственным.

Существовало другое значение, в котором роскошь ассоциировалась с непроизводительным потреблением. Начиная с середины XVII в. и в дальнейшем было много дискуссий по этому поводу, что, как нам известно, занимало

завоевали популярность у испанских и английских экономистов. Последние, в частности, утверждали, что неадекватная склонность к сбережениям была одной из причин, осложнивших англичанам задачу потеснить голландцев (к которым они питали завистливое восхищение, считая их очень бережливыми) и лишить их лидерства в международной торговле. Но эти взгляды были связаны с концепцией сбережений и инвестиций, которые в большинстве случаев ограничивались накоплением запасов товаров длительного хранения, в особенности золота и серебра, и соблюдением активного торгового баланса; эта меркантилистская точка зрения будет рассмотрена в следующей главе. Никто не понимал или, во всяком случае, не стремился понять *modus operandi* (механизм) накопления и капиталообразования как таковой. Автором первого серьезного анализа этих вопросов следу-

---

в большой степени и А. Смита. Два элемента, которые сочетает в себе данное значение, очень трудно отделить друг от друга, и за недостатком места мы не можем вдаваться в подробности этой не очень интересной темы. Слово «роскошь» употреблялось также в значении, противоположном бережливости, в этом смысле слово «роскошь» (Юм назвал бы его «чрезмерной» роскошью) употреблялось Томасом Мором, сетовавшим по ее поводу. Последнее значение более или менее четко проходит через всю литературу, посвященную данной теме; о роскоши в таком значении слова вновь заговорил Мальтез. Было еще одно значение, которое, возможно, имеет больше права, чем любое другое, считаться первоначальным: роскошь как стиль жизни, не соответствующий занимаемому положению. Стремление защитить нормы жизни привилегированного класса (приправленное возмущением бедных магнатов против богатых финансистов) явилось важным фактором политики, порождавшей законы, регулирующие расходы на предметы роскоши (хотя были и другие причины, такие как желание принудить людей сберечь средства на военные нужды). Поскольку данная точка зрения едва ли будет играть сколько-нибудь важную роль в нашей литературе, то безытересно отметить, что некоторое указание на это можно найти в «Богатстве народов». И наконец, слово «роскошь» имеет значение разорительных расходов (расходов, превышающих доходы). Желание уберечь людей, в частности наиболее известные аристократические и буржуазные семьи, от разорения было еще одним важным фактором, побуждающим проводить законы, регулирующие расходы. В обществах, центром которых является королевский двор, а образцом стиля жизни служит «великолепие высшего света», мода имеет значительно большее значение для всех классов, кроме беднейших, чем в буржуазном обществе. Поэтому законы, регулирующие расходы, если они эффективны, служат, пожалуй, наиболее удобным оправданием для придворного или крупного государственного чиновника, не желающего жить не по средствам, а также оберегают преуспевающего купца от следования соблазнительному примеру. Этим также объясняется, почему консультанты-администраторы, рассуждающие в духе принципов Вебера, сочили себя обязанными выразить неодобрение роскоши, понимаемой в данном смысле. Из обширной литературы на эту тему достаточно упомянуть работу Хуана Семпере-и-Гуариноса (1754–1830) (*Sempere y Guarinos Juan. Historia del luxo y de leyes suntuarias de España. 1788*). [И. А. Шумпетер колебался, где поместить сноску о роскоши. На последней странице рукописи § 1 появился вопрос: «сюда \* роскошь?».]

ет считать Тюрго, а А. Смита — первым, кто по меньшей мере внедрил это в сознание экономистов.

Следует отметить два момента, с тем чтобы обратиться к ним позже. Во-первых, теория Тюрго оказалась невероятно устойчивой. Сомнительно, продвинулся ли Альфред Маршалл дальше нее и совершенно очевидно, что это не удалось сделать Дж. С. Миллю. Бём-Баверк, безусловно, добавил к ней новое ответвление, но в основном он подписался под тезисами Тюрго. Во-вторых, эта теория не просто была проглочена подавляющим большинством экономистов, она была проглочена вместе с крючком, леской и грузилом. Как будто не существовало ни Лю, ни других, экономисты один за другим продолжали повторять, что только (добровольные) сбережения формируют капитал. Экономисты просмотрели слово «немедленно», не испытав никаких подозрений. Однако в действительности (какую бы благожелательную интерпретацию мы этому ни дали) данная теория стала означать, что каждое решение о сбережении совпадает с соответствующим решением об инвестировании; таким образом, сбережения преобразуются в (реальный) капитал практически беспрепятственно, как нечто само собой разумеющееся, или, иначе говоря, сбережения практически равнозначны предложению (реального) капитала. Читателю не нужно напрягать воображение, чтобы понять, насколько иной была бы история экономической теории, если бы с самого начала было указано на возможность, а в условиях депрессии большую вероятность, возникновения препятствий, способных парализовать механизм, описанный Тюрго, и превратить сбережения в фактор, нарушающий экономический процесс, в фактор, ставший разрушителем, а не созидателем промышленного аппарата. Подобное допущение не только затупило бы копыя современных полемистов, атакующих данную теорию, но также сделало бы более эффективным анализ ситуаций, для которых она совершенно справедлива. Отказ принять некоторые оговорки тем менее простителен, что их можно было заимствовать из работ более ранних, а также современных Тюрго экономистов, особенно из «Максим» (Maximes) Кенэ.

Если сбережениям предоставлена такая роль в драме, то «князь» (т. е. государственные расходы, а следовательно, государственные долги) не может избежать роли главного злодея. Тема государственных долгов, представляющая интерес с точки зрения экономической социологии, а также с точки зрения способов управления финансами, для нас несущественна, поскольку в данной области суждения и пропаганда в значительной степени преобладали над элементами анализа. Следовательно, будет достаточно

сказать, что многие авторы прикладывали большие усилия, стремясь обнаружить желаемый эффект, который можно было бы приписать государственным займам. Некоторые из них зашли так далеко, что представили их как фактор общенационального процветания.<sup>4</sup> Однако противоположная тенденция преобладала. Мы предоставляем сторонникам идеологической интерпретации искать корни данной позиции в росте влияния буржуазии, действительно имевший множество оснований для неодобрения финансирования дворянства. Эту тенденцию решительно поддерживали Юм и Смит. Из их теории сбережений следует, что государственный (или любой другой) заем на непроизводительные цели препятствует росту благосостояния. Труднее понять, почему оба придерживались мнения, согласно которому государственные долги в их время были тяжелым бременем, способным привести к банкротству и разорению. Однако они всего лишь выразили общее мнение по данному вопросу. Английское общество действительно было так обеспокоено этой проблемой, что в 1786 г. правительство Питта в большем, чем прежде, масштабе возобновило политику выплаты ежегодной суммы в фонд погашения задолженности.<sup>5</sup>

## 7. Процент

Наиболее интересным достижением в области теории процента в рассматриваемый период является разработка и почти всеобщее принятие двух тезисов: 1) процент по деловым займам есть не что иное, как нормальная деловая прибыль, переводимая кредиторам; 2) сама нормальная деловая прибыль является отдачей от физических средств производства, включая средства существования работников. Для нас настолько важно в полном объеме усвоить значение этого достижения, определившего весь дальнейший путь формирования теории процента, что мы должны по

---

<sup>4</sup> Об этом писал, например, Исаак де Пинто (*Pinto Isaac, de. Traité de la circulation et du crédit. 1771*). Такой точки зрения придерживались многие, особенно во Франции.

<sup>5</sup> Принятый план обычно приписывается Ричарду Прайсу (1723–1791): *Price Richard*. 1) *An Appeal to the Public on the Subject of the National Debt. 1772*; 2) *The State of the Public Debts and Finance in 1783*. Следует отделить саму идею от смелого выступления Прайса в пользу принятия его плана. Он утверждал, что «любое государство может без труда погасить все свои долги, сделав заем для данной цели», и за это был подвергнут граду незаслуженных насмешек. Сэр Натаниель Гулд (*Gould Nathaniel. An Essay on the Public Debts... 1726*) еще раньше публиковал аналогичные взгляды. Обе публикации вызвали оживленную полемику, в которую у нас нет ни возможности, ни необходимости вдаваться.

возможности пренебречь побочными проблемами и пересечениями с другими темами, с тем чтобы оно яснее предстало перед нами. В частности, мы пренебрежем обсуждением проблемы процентов по потребительским займам, поскольку... [фраза не окончена].

[а) Влияние ученых-схоластов]. Мы снова начинаем с работы ученых-схоластов и их последователей-протестантов. Прежде чем приступить к прочтению данного раздела, читателю лучше обратиться непосредственно к ним. Их влияние проявилось двумя путями. С одной стороны, они задали одну из главных тем для обсуждения: дискуссия по поводу законности взимания и выплаты процентов продолжалась и впоследствии. Во второй половине XVIII в. ее накал ослаб, но споры не утасли, и даже Тюрго в своем трактате *Memoire sur les prêt d'argent* «К вопросу о предоставлении займов» вступил в борьбу с аристотелианской позицией. Нам нет нужды вновь вдаваться в рассмотрение данной проблемы, но близко соприкасающийся с ней вопрос требует нашего внимания. В большинстве стран нравственная проблема была частично вытеснена чисто экономической, которая уже касалась не старого спора о принципах, а целесообразности снижения процентной ставки законодательным путем. Английские купцы, смотревшие с завистью, смешанной с восхищением, на условия торговли в Нидерландах, приняли теорию, которая естественно приходит в голову необученному практику, а именно, что одной из причин, а возможно, главной причиной торгового процветания Нидерландов в XVII в. было преобладание в этой стране низкой процентной ставки. Они настаивали на ее регулировании с помощью закона, чтобы предоставить Англии такое же преимущество. Достаточно упомянуть Чайлда как наиболее известного среди многих защитников этой теории и обратиться к сноске, помещенной ниже, в которой упоминается, по-моему, наиболее интересный момент дискуссии, породившей противоположную теорию, утверждающую, что низкая процентная ставка является следствием, а не причиной благосостояния; эта теория одержала победу и не оспаривалась вплоть до наших дней.<sup>1</sup> Отсюда, конечно, не

<sup>1</sup> О взглядах Чайлда на эту тему мы узнали из работы сэра Томаса Калпепера (*Culpeper Thomas. Tract against the High Rate of Usury. 1621; доп. изд. — 1641*). Этот трактат вместе с другим, не публиковавшимся ранее, был переиздан и снабжен предисловием его сыном, также сэром Томасом (1668). Последний опубликовал в том же 1668 г. классическую трактовку этого аспекта дискуссии: *A Discourse shewing the many Advantages which will accrue to this Kingdom by the Abatement of Usury together with the Absolute Necessity of Reducing Interest of Money to the lowest Rate it bears in other Countreys*. Противоположный взгляд выражен в выпущенном в том же году памфлете, озагла-

следует, что законодательное регулирование процентной ставки вовсе бессмысленно. В действительности ни Локк, ни А. Смит не заходили так далеко. Но в конце концов эта точка зрения возоблудала.<sup>2</sup>

С другой стороны, схоластическая доктрина содержала также теоретические (объяснительные) идеи относительно процента, из которых исходил анализ XVII и XVIII вв. Оставив без внимания более мелкие вопросы, сосредоточимся на следующих двух — денежной концепции процента и в сжатой форме выраженном утверждении Молины: «Деньги — это инструмент торговли купцов». Схоласты не ограничивали понятие процента предоставлением денежных займов, но последнее интересовало их больше других аспектов; они не пришли к консенсусу относительно того, что ожидаемые прибыли являются источником спроса на займы для производственных нужд, но наиболее знаменитые из них с полной ясностью выразили эту идею в общих чертах.

На протяжении всего XVII в. и большей части XVIII в. подавляющее большинство экономистов, как и многие из нас в настоящее время, рассматривали процент как монетарный феномен. В особенности это касается Калпепера, Мэнли, Чайлда, Петти, Локка и Поллексфена, не говоря об экономистах континентальной Европы. Что касается Петти, то непосредственное влияние на него схоластики не исключено, поскольку частично он получил образование в иезуитской школе. В поисках — совершенно в духе отцов-схоластов — дополнительной, независимой от простого акта передачи денег причины премии, получаемой кредитором, он возрождает прежнее ее объяснение «неудобством» (*damnum*), которое испытывает кредитор, обязавшийся не требовать свои деньги в течение установленного срока. В любом случае, несмотря на то что Петти соотносил это неудобство с рентой с такого количества земли, которое можно купить на ту же сумму, он всегда имел в виду деньги и имеющимся их количеством определял процентную ставку; при этом не было сделано никакого указания на прочие равные

---

ленном *Interest of Money Mistaken Or a Treatise proving that the Abatement of Interest is the Effect and not the Cause of the Riches of a Nation*, и в работе Томаса Мэнли (*Manley Thomas. Usury at Six per Cent Examined... (1669)*). На эту работу Калпепер-младший ответил работой *The Necessity of Abating Usury Reasserted... (1670)*. Петти, Норт, Локк и Поллексфен — вот главные имена, в той или иной степени причастные к победе над позицией Калпепера—Чайлда.

<sup>2</sup> Первым авторитетным экономистом, придерживавшимся этой точки зрения, был Петти. Следующим — Тюрго, пошедший еще дальше. Окончательно утвердил данную позицию как господствующую Бентам, но ее поддерживал и Юсти, по крайней мере в принципе.

условия, которые потребовались бы для подтверждения данного тезиса. Локк рассматривает этот вопрос несколько глубже. Неудобоваримая манера изложения Локка крайне затрудняет правильную оценку, но если я верно понял его мысль, то ему можно приписать открытое изложение и развитие второй из двух вышеупомянутых идей. Процент у него — это также цена предоставленных займы *денег*. Но «предложение» на рынке денег должно рассматриваться в связи с уровнем задолженности и состоянием торговли: высокие прибыли повышают, а низкие понижают процентную ставку. Хотя мы не можем задержаться на данном утверждении, чтобы доказать его правильность и тем более обсудить контраргументы, я думаю, рассуждения Локка можно с некоторой натяжкой рассматривать как эмбриональную форму того, что теперь называется шведской теорией ссудных фондов <loanable funds>: процент объясняется и определяется спросом на займы, исходящим из ожидаемой прибыли и соразмеряющимся с предложением «ссудных фондов».

[b) Барбон: «Процент — это рента с запаса капитала»]. Однако дальнейшее развитие пошло по другому пути. Между теорией Локка и современными монетарными теориями процента нельзя перекинуть мост. Возникло новое направление, ставшее впоследствии столь успешным, что даже теперь трудно удивиться его появлению в должной мере. Насколько мне известно, лишь слабые намеки указывали на зарождение нового направления до 1690 г., когда Барбон сделал важное заявление: «Обычно процент относят к деньгам... но это ошибка, поскольку процент выплачивается за запас капитала» <stock>, это «рента с запаса капитала, то же самое, что земельная рента; первая является рентой с произведенного или искусственно созданного запаса капитала; последняя — с непроизведенного или природного запаса капитала» (*Barbon. Discourse of Trade*).<sup>3</sup> Если читатель хочет понять историю развития теории процента в XIX в. и в первые четыре десятилетия XX в., ему совершенно необходимо уяснить себе смысл этого заявления.

На первый взгляд утверждение Барбона может показаться тривиальным: разумеется, заемщику деньги нужны не для того, чтобы смотреть на них; в действительности, если не считать задач рефинансирования других обязательств, ему нужны товары и услуги, которые он покупает за деньги. Но с тем же успехом

<sup>3</sup> Локк также сравнивал процент с рентой, но в совершенно другом смысле, который ничего не добавляет к объяснению процента как денежного феномена. Согласно Локку, кредитор, ссужающий деньги, получает процент, как землевладелец получает ренту.

можно сказать, что нам не нужен сам по себе нож для нарезания пищи, однако из этого не вытекает, что цена, которую мы платим за нож, «в действительности» заплачена за продукты питания. Для некоторых целей мы действительно можем, например с помощью теории вменения (обсуждаемой ниже, в части IV), принять такую точку зрения. Но было бы весьма удивительно, как, впрочем, и весьма существенно, имей мы возможность принять ее для решения всех задач. Даже если допустить, что займы на производственные нужды обычно используются на покупку или взятие в аренду реального капитала, т. е. товаров производственного назначения и услуг, отсюда не следует, что процент, выплаченный по займу, «в действительности» составляет элемент цены реального капитала, так как процент может иметь особое отношение к «деньгам», рассматриваемым отдельно от купленных на них товаров, или может быть ценой за что-либо другое, например за некоторую жертву, связанную со сбережением, которую нельзя отождествлять с «реальным» капиталом. Утверждать, что допустимо отбросить в сторону денежный элемент, не утратив в процессе ничего существенного, означало пойти на крайне смелый шаг, который не собирались делать ни схоласты, ни Петти, ни Локк, хотя приведенная выше тривиальность не могла быть им неизвестной; это был решительный шаг в направлении «реального» анализа XIX в., согласно которому деньги были лишь «вуалью», а задачей анализа было ее поднять. Именно в этом состоит суть аналитических трудностей, созданных «реальным анализом».

Наряду с этой хорошей ли, плохой ли услугой, которую оказал Барбон, дав толчок в направлении реального анализа, существует другой, не менее важный, аспект его концепции. Если процент — это отдача на произведенный капитал (произведенные средства производства), точно так же, как рента — отдача на «непроизведенный капитал» (природные факторы производства), то он является благами того или иного рода, которыми «реально» владеет кредитор. На деле же такими благами обладает производитель или торговец, и он получает их, или производя сам, или покупая у других производителей, а не у капиталиста или займодавца. Пренебречь этим и рассуждать так, как будто последний ссужает товары, — это еще один существенный шаг анализа, смелость которого нам нелегко осознать только по причине давнего знакомства с ним. Но затем отдача от этих товаров материализуется в руках бизнесмена, который ими пользуется, и составляет его прибыль или основную ее часть, если принять во внимание «трудности и риск».

Таким образом, легко перейти к позиции, которая может быть охарактеризована эквивалентными предположениями, что деловая фирма зарабатывает процент или кредитор получает прибыль, а не особый доход, основным источником которого является прибыль (что показалось бы более естественным непредубежденному уму).

[с) Переключение внимания аналитиков с процента на прибыль]. В результате утверждения рассмотренной позиции внимание аналитиков переключилось с процента на прибыль и концентрировалось на ней в течение всего XIX в. и далее. За исключением теорий воздержания и психологических теорий дисконта, основным предметом изучения был феномен, представлявший собой чистый излишек от бизнеса, создаваемый в основном за счет использования набора некоторых физических благ. Едва ли требуется специально объяснять, что этот излишек, очищенный от второстепенных расходов, таких как компенсация за неприятности и риски, нужно было передать другому лицу, если это лицо, а не управляющий предприятием, было реальным (хотя и неформальным) владельцем этого набора. Сказанное относится также к теориям Бёма-Баверка и Викселя, который, однако, сделал первый шаг, указывающий на преодоление этой теории. Даже теперь, сравнивая такую теорию, как теория Кейнса, с другими теориями процента, нам нужно помнить: речь идет о разных целях аналитического исследования.

Не будет преувеличением сказать, что это стало доминирующей чертой общей картины в теории и даже в общедоступной экономической социологии: бизнесмен стал «капиталистом». Его доход в сущности был безличным доходом от владения благами.

[Оба предшествующих абзаца были написаны на одной странице с пометками (стенографическими значками и обыкновенным письмом), содержащими указания, как следует продолжить аргументацию. Параграф, посвященный теме процента, носит наиболее отрывочный характер по сравнению с другими частями этой неоконченной главы. Перед нами только набросок, который, безусловно, был бы развернут и закончен, будь автор жив.]

А. Смит в основном принимал эту теорию процента и капиталистического процесса, а исследователи XIX в., в свою очередь, восприняли ее от него. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению формы, которую они придали этой теории, мы должны бросить беглый взгляд на ее развитие в период с 1690 по 1776 г.

Как бы то ни было, трактат Барбона по данному вопросу не имел успеха и, кажется, был очень скоро забыт. Таким образом, основная идея Барбона оставалась в неизвестности до 1750 г., когда она была, по нашим сведениям, независимо вновь открыта Мэсси,<sup>4</sup> анализ которого не только продвинулся дальше, чем в работе Барбона, но также набрал силу благодаря критике взглядов Петти и Локка. Два года спустя в работе, озаглавленной *Political Discourses*, Юм опубликовал два эссе (*Of Interest; Of Money*), однако более поздние историки не отдали им должного. Действительно, при поверхностном знакомстве мы видим немногим более чем синтез и ясное изложение ранее выдвинутых идей. Это впечатление особенно сильно у авторов, интересующихся главным образом определенными практическими результатами, которые Юм вывел из своих аналитических основ; например: процент — это не просто функция определенного количества денег; он не может быть установлен законодательным путем; он находится в определенной взаимозависимости с прибылями и является «барометром государства», поскольку низкая процентная ставка служит «почти безошибочным признаком процветания» (что, разумеется, неверно для любого значения слова «процветание»). Ни одно из этих утверждений не было новым. Но аналитические положения, которыми Юм, хотя и схематично, подкрепил свои выводы, могут быть названы синтетическими только в том смысле, в каком синтез способен выйти за пределы простой координации и стать творческим. Синтез Юма означает принятие того объяснения спроса на займы, которое дал Локк (на этот раз определенно говорилось о *займах*, а не о «деньгах»), т. е. объяснение его нуждами расточительных землевладельцев и ожиданиями прибылей со стороны бизнесменов, а также замену предложения денег, о котором говорил Локк, предложением сбережений. Это позволяет установить близкое соотношение между прибылью и процентом, не отождествляя их, и допускает денежный аспект феномена процента (в частности, признанные и Рикардо краткосрочные влияния изменений количества денег на уровень процентной ставки) без превращения его в доминирующий. Иными словами, перед нами схема, которую нужно только развить, чтобы получить более совершенную и полную теорию феномена процента, чем аналогичные теории Рикардо и Милля. Но именно наиболее ценные положения были утрачены.

<sup>4</sup> *Massie Joseph. Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest. 1750.*

[d] Великий вклад Тюрго]. Вклад Тюрго<sup>5</sup> не только величайшее достижение в области теории процента, которую нам дал XVIII век, он также предвосхитил многие лучшие идеи последних десятилетий XIX в. Подобно Юму, Тюрго доказывал, что количество денег не определяет процентную ставку, очень удачно подчеркивая при этом концептуальную независимость друг от друга обоих значений выражения «ценность денег» (их ценность на денежном рынке и на рынке товаров); он даже утверждал, что увеличение количества денег, вызывающее рост цен на товары, может привести к повышению процентной ставки. Вслед за Юмом он заменил предложение денег предложением сбережений. Юм поставил раньше Тюрго и ряд других вопросов. Но теория Тюрго значительно глубже и совершенно отличается от других концепций как по содержанию, так и по положенным в ее основу материалам. Как и следовало ожидать, в работе со всей очевидностью обнаруживается влияние канонических идей, однако иног-

<sup>5</sup> Как и в случае с Юмом, критический анализ не оценил по достоинству главное достижение труда Тюрго. Это в особенности касается самого знаменитого из его критиков — Бёма-Баверка (*Böhm-Bawerk. Capital and Interest. Book I. P. 61–69*; пер. на англ. яз. — 1932), который связал имя Тюрго с «теорией принесения плодов» <fructification theory>; такая интерпретация несправедлива даже по отношению к букве, не говоря о духе трактовок процента, данной Тюрго. Значительно более удовлетворительным является анализ Касселя (*Cassel. Nature and Necessity of Interest. 1903*). «Теория принесения плодов» действительно весьма часто использовалась в XVIII в., и даже раньше, в противовес утверждению Аристотеля о бесплодности денег: поскольку деньги могут быть использованы на покупку земли, которая дает чистую отдачу, то и деньги, следовательно, дают чистую отдачу, — большинство авторов сказали бы: «Следовательно, это „справедливо“, что деньги дают чистую отдачу, — на какие бы цели их ни ссужали». Так же рассуждал Хатчесон, и, вероятно, в этом можно обвинить Петти. Очевидно, что это рассуждение, принятое в качестве объяснения процента, попадает или по крайней мере может попасть в логический круг, поскольку сама ценность земли зависит от процентной ставки. Что касается Тюрго, то, хотя он и выдвигал предложение, согласно которому в равновесном состоянии определенная сумма денег будет эквивалентна по ценности куску земли, производящему такую же чистую отдачу (*Réflexions. LIX*), он был далек от того, чтобы рассматривать этот факт как исходный пункт для объяснения процента; напротив, он сделал измущенную попытку определить меновое отношение между землей и движимым имуществом (*Réflexions, LIII ff*) и вывести из него ценность земли в денежном выражении.

[Обращаем внимание читателя на то, что нумерация страниц в работе Тюрго «Размышления» (*Turgot. Réflexions*), вошедшей в сборник произведений Тюрго (*Oeuvres*), изданный Г. Шеллем (1913–1923), отличается от первоначальной нумерации в еженедельнике «Эфемериды» (*Ephémérides. 1769–1770*). Например: с. XXI, XXII и XXIII соответствуют с. XXI в издании Шелля, с. LXXIII, имеющаяся в издании Шелля, была полностью изъята из «Эфемерид». По всей видимости, Й. А. Шумпетер использовал первоначальную нумерацию, соответствующую изданию в еженедельнике «Эфемериды»; ту же нумерацию использовал и Дюпон де Немур в томе V его издания произведений Тюрго (*Dupont de Nemours. Oeuvres de Mr. Turgot. 1808–1811*).]

да схоластические идеи служат лишь для того, чтобы привести к прямо противоположным практическим выводам, а одна из основных черт схемы Тюрго, т. е. отождествление капитала с «авансами», восходит к Кенэ или Кантильону. Промышленники <hommes industrieux> делят свою прибыль с капиталистами, предоставляющими средства (Réflexions, LXXI). Доля, выделенная капиталисту, определяется, как и все другие цены (LXXV), путем игры предложения и спроса между заемщиками и займодавцами (LXXVI); таким образом, анализ с самого начала твердо встраивался в общую теорию цен. На первый поверхностный взгляд процент — это цена, выплаченная за использование денег (LXXII, LXXIV). Но почему использование денег определяет цену или, иначе говоря, почему механизм предложения и спроса, как правило, приводит к тому, что деньги, имеющиеся в настоящее время, ценятся дороже по сравнению с будущими деньгами? Тюрго осознал неудовлетворительность ответа, что деньги, данные займы, — это сбереженные деньги. Он отвечает, что *средства* <fonds>, предлагаемые капиталистом, представляют собой *движимое имущество* <richesse mobilière> или авансы, которые являются необходимым предварительным условием производства (LIII): капитал дает процент, поскольку он перекидывает мост через временный разрыв между затратами усилий на производство и готовой продукцией (LIX, LX). В наше время эта идея стала такой же избитой, как цитата из «Гамлета». Более того, многие из нас перестали верить в ее объяснительную ценность. Именно по указанным причинам читателю, возможно, трудно должным образом восхититься блеском приемов, с помощью которых Тюрго, развивая концепцию капитала Кантильона или Кенэ, связал феномен процента с самым элементарным фактом, касающимся производства. Предположения, что процентная ставка — это термометр, измеряющий (относительное) изобилие или нехватку (реального) капитала (LXXXVIII), иными словами, что процентная ставка отрицательно коррелирует с нормой сбережений и что процентная ставка определяет пределы возможности наращивать производство (LXXXIX), также приобретают дополнительный смысл в свете данной теории. Первое положение оставалось неоспоренным практически до наших дней, второе не опровергнуто и по сей день.

Как указывалось выше, А. Смит свел разные доктрины к определенному стереотипу, но при этом он опустил как раз наиболее многообещающие предложения, выдвинутые Юмом и (если он был знаком с Réflexions) Тюрго; в еще большей степени это относится к тезисам, которые он мог найти у Локка. Таким образом, его последователи начали с формулировки, в которой

было значительно больше от Барбона, чем от любого из этих авторов. В «Богатстве народов» денежный аспект проблемы процента определенно сведен к форме или технике. «Заимодавец в действительности предлагает... не деньги, а... товары, которые можно купить на них» (книга II, глава 4 <Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. С. 259>), и в трудах «господ Локка, Ло и Монтескье» нет *ничего* о том, что увеличение количества золота и серебра приводит к снижению процентной ставки <там же>. Тенденцию снижения процента он объяснял точно таким же образом, как и тенденцию снижения прибыли (книга I, глава 9; эта глава в действительности посвящена тем же темам, что и глава 4 книги II). А. Смит, по-видимому, принимал указанные тенденции как бесспорные факты с оговоркой относительно возможностей «приобретения новой территории или развития новых видов торговли и промышленности». Это вполне логично, поскольку, как теперь уже стало ясно, в схеме Смита обе тенденции представляют собой одно и то же. А. Смит делает между ними следующее различие: прибыль также включает компенсацию за «неприятности <trouble> и риски», в то время как заимодавец получает свои проценты без этой компенсации. Но этому различию отводится второстепенное значение. В основном прибыль — это «прибыль с запаса капитала <stock>», а проценты, идущие капиталисту-нанимателю, получены за одолженный «капитал» (в форме товаров).

Является ли этот капитал его собственным, или он его занял у другого лица, обеспечение им работников — основная функция бизнесмена. Прежде всего и главным образом он — «капиталист», и *в качестве* капиталиста является типичным нанимателем труда, основная функция которого состоит в том, чтобы обеспечить этим капиталом рабочих, хотя капиталист-наниматель не обязательно должен сам производить найм; в этом случае...

[Данный абзац был написан на желтом листке, оставшемся не вырванным из блокнота, и был явно не закончен. Страница, исписанная примечаниями в виде немецких стенографических знаков и обычного письма по-английски, воспроизведена в Приложении.]

## Глава 7

# «МЕРКАНТИЛИСТСКАЯ» ЛИТЕРАТУРА<sup>1</sup>

[1. Интерпретация «меркантилистской» литературы]

[2. Экспортная монополия]

[3. Валютный контроль]

[4. Торговый баланс]

(a) Практический аргумент: политика  
с позиции силы]

(b) Аналитический вклад]

(c) Концепция торгового баланса  
как инструмент анализа]

(d) Серра, Малин, Мисселден, Ман]

(e) Три ошибочных тезиса]

[5. Прогресс в области анализа начиная с последней  
четверти XVII в.: от Джозайи Чайлда  
до Адама Смита]

(a) Концепция автоматического механизма]

(b) Основы общей теории международной  
торговли]

(c) Общая тенденция к более свободной торговле]

(d) Преимущество территориального  
разделения труда]

Вопросы международных экономических отношений имели такое огромное значение для всех экономистов рассматриваемой эпохи, что мы уже неоднократно были вынуждены обращаться к их идеям, касающимся данных проблем. Тем не менее необходимо вернуться к этой теме и рассмотреть некоторые положения, с тем чтобы ввести в наше рассмотрение новую группу произведений и извлечь из них все, что может представлять интерес для экономического анализа. Я разделю эти положения на группы по темам

---

<sup>1</sup> [Данная глава была закончена и отпечатана на машинке давно (в июне 1943 г.), но, несмотря на это, у нее не было окончательного варианта заглавия и отсутствовали заголовки разделов. В беседах о том, как продвигалась работа над «Историей» в 1946 или 1947 г., Й. А. Шумпетер сказал мне, что данная глава может быть опубликована в том виде, как она есть, но над другими главами части II нужно еще много работать.]

и рассмотрю их в соответствующих разделах: «Экспортная монополия», «Валютный контроль» и «Торговый баланс». Доктрины, относящиеся ко второму и третьему разделам, в особенности к третьему, обычно рассматриваются как стержень воображаемой «меркантилистской системы». Для многих экономистов эти доктрины означают учение в целом. Данная традиция была установлена Адамом Смитом, знаменитое наступление которого на то, что он называл (следуя, возможно, за физиократами) «коммерческой, или меркантилистской, системой» (см.: «Богатство народов», книга IV), сосредоточилось на аргументации, касающейся торгового баланса, хотя он не оставил без внимания и другие аспекты.

## [1. Интерпретация «меркантилистской» литературы]

Читателю, по-видимому, известно, что специфически «меркантилистские» доктрины стали объектом полемики среди историков экономической мысли. Прежде чем подойти к рассмотрению нашей задачи, следует хотя бы коротко остановиться на этой полемике. Ее анализ не только прояснит обсуждаемые проблемы, но также послужит интересной иллюстрацией принципов интерпретации, изложенных в общих чертах в части I.

Большинство экономистов XIX в. не только отвергали, но и презирали мнения «меркантилистов» относительно данных тем (насколько вообще можно сказать, что они придерживались общих мнений).<sup>2</sup> Они не видели в этих мнениях ничего, кроме заблуждений, и, разбирая работы своих предшественников, создали такую практику, когда достаточно было обнаружить оттенок «меркантилизма», чтобы счесть работу устаревшей. В этом можно удостовериться (получив одновременно немалое удовольствие), обратившись к соответствующим статьям в словаре Палгрейва (*Palgrave's Dictionary of Political Economy*).<sup>3</sup>

Далее, возникла оппозиция фритредерству, представленная в основном немецкими авторами, хотя и не только ими; она ударилась практически в другую крайность. Этой оппозиции также удалось установить традицию, хотя и менее общую, вызвавшую позднее реакцию, которая, объединив силы с уцелевшими элементами «либеральной» традиции, в свою очередь обещает

<sup>2</sup> Это фактически первая проблема, связанная с данной полемикой.

<sup>3</sup> Давайте отметим мимоходом, что то же самое и по тем же самым причинам происходит сейчас по отношению к экономистам либеральной эпохи.

стать чрезмерной. В качестве примера можно привести монографию профессора Якоба Вайнера.<sup>4</sup>

Первое, что следует отметить в отношении этой длительной полемики, это то обстоятельство, что как антимеркантилисты, так и промеркантилисты интересовались в основном меркантилистской практикой, а следовательно, мнения обеих сторон определялись и по-прежнему определяются главным образом политическими предпочтениями. Английские критики без симпатии относились к тому, что было сделано в меркантилистскую эпоху. Германские экономисты, сочувствующие меркантилизму, не одобряли некоторых видов меркантилистской практики, но до некоторой степени соглашались с политикой национальной автаркии, некоторыми мерами по управлению государством и прежде всего по созданию национального государства. Все это совершенно не имеет отношения к нашей цели, и нам остается сказать только следующее: как противники, так и сторонники меркантилизма стали жертвами столь дорогой людям той рационалистической эпохи веры, что их мнения о политике являются научными выводами из научных предпосылок. Особенно это касается английских утилитаристов, таких как Джон Стюарт Милль, относившихся к своим рекомендациям, касающимся политики, примерно так же, как любой инженер — к своим рекомендациям по конструированию какого-либо устройства. Они считали, что жили «в просвещенном веке», следовательно, практические и теоретические «ошибки», с их точки зрения, одинаково легко определялись, да и по сути не отличались друг от друга. Данная точка зрения, частично объясняющая их высокомерную позицию, разумеется, совершенно несостоятельна, и нам нет нужды снова это доказывать.

Во-вторых, сторонники меркантилизма утверждали, а противники отрицали не только возможность понимания меркантилистской политики, как любого другого явления, включая преступление и безумие, но и тот факт, что, учитывая обстоятельства и возможности тех времен, она являлась адекватным средством достижения целей, которые, опять-таки для тех времен, можно

---

<sup>4</sup> *Viner Jacob. English Theories of Foreign Trade Before Adam Smith.* Работа была пересмотрена и опубликована вторично как главы 1 и 2 его «Исследований» (*Studies in the Theory of International Trade. 1937*). Я многим обязан этому великоленному произведению. Однако, просматривая его, я иногда задавался вопросом: готов ли профессор Вайнер вынести те же беспелляционные суждения о некоторых мерах и аргументах нашего времени, аналогичных мерам и аргументам меркантилистской эпохи? Следует упомянуть также книгу Джеймса У. Энджелла (*Angell James W. The Theory of International Prices. 1926. Ch. 2, 8*). См. также обзор этой книги, сделанный Вайнером, в *The Journal of Political Economy. 1926. Oct.*

было считать рационально обоснованными. В этом, как достаточно наглядно было показано выше, сторонники меркантилизма были правы, хотя не в такой мере, как считали сами.<sup>5</sup> Во всяком случае, это должны признать все, кто не хочет осудить аналогичные современные меры торговой политики, которые в действительности пользуются поддержкой многих экономистов, знающих и превозносящих Смита, Рикардо и Маршалла. Далее мы будем называть этот довод «практическим аргументом».<sup>6</sup>

<sup>5</sup> В дебрях «меркантилистских» мер легко найти множество таких, которые не служили целям, поставленным их инициаторами, или помимо желаемых давали и другие результаты. Возможность предвидеть такие результаты могла бы побудить воздержаться от данных мер. Адам Смит с присущим ему здравым смыслом находил особое удовольствие в подборе подобных примеров (книга IV, глава 8), которые легко преумножить. Можно отсеять «ошибки» и перевести дискуссию на уровень принципов, хотя не стоит забывать, что любая система управления способна дать обильный урожай таких «ошибок». Именно так защищался бы Адам Смит, если бы кто-нибудь обвинил его в несправедливом рассмотрении «ошибок» при обсуждении «принципов».

<sup>6</sup> В данном вопросе мы немедленно заметим боковое ответвление, если задумаемся над тем, что как цели, осуществлению которых должна служить политика, так и средства, считающиеся рациональными, иначе говоря — вопросы разумности или неразумности какой-либо политики, зависят от систем ценностей. Эти системы, в свою очередь, связаны не только с положением государства, но и с типом людей, действующих в данной ситуации, и, таким образом, кроме всего прочего с классовой структурой и групповыми интересами. Именно это подразумевается в нашем утверждении, что меркантилистская политика до некоторой степени может быть оправдана (обратите внимание, что речь ни в коей мере не идет об «оправдании» в каком-либо абсолютном смысле). В действительности можно точно выявить групповые интересы или влияния, определявшие многие политические меры в эпоху меркантилизма, и с точки зрения этих групп данные меры были вполне рациональными. Как следует из главы 8, книги IV «Богатства», Адам Смит это видел. Я снова хочу подчеркнуть, что это не имеет ничего общего с истиной или ценностью любого данного предположения или линии рассуждений. Самый упорный классовый интерес может способствовать настоящему ценному анализу, равно как самый бескорыстный мотив зачастую не приводит ни к чему, кроме ошибок и банальностей. Надеюсь, я совершенно ясно выразил эту мысль в части I. Я также хочу повторить, что рассматриваемые в данном случае классовые влияния сами по себе не дают нам права приписывать сознательный или даже подсознательный интерес какому-либо *отдельному автору*. Кроме только что упомянутого факта, а именно что мотив не имеет ничего общего с объективной сущностью какого-либо положения, мы не можем с уверенностью рассуждать о мотивах индивида. Единственным доступным нам сознанием является наше собственное. Говоря о мотивах отдельных лиц, мы можем не обнаружить ничего, кроме собственных склонностей. Уилер служил секретарем «компании купцов-авантюристов», Ман и Чайлд были связаны с Ост-Индской компанией, Миллз был придирчивым бюрократом. Возможно, никто из них не может претендовать на принадлежность к консультантам-администраторам. Но, подчеркивая это, мы не извлечем ничего, кроме банальностей.

В-третьих, однако это ничего не говорит об анализе, результаты которого были использованы для защиты меркантилистской политики. Человек может делать то, что с его точки зрения и в его обстоятельствах кажется верным, и при этом поступать так из соображений, являющихся полной бессмыслицей.<sup>7</sup> Сторонники меркантилизма, в особенности немецкие, мало ценившие и еще меньше знавшие экономическую теорию, были, следовательно, неправы, думая, что доказали справедливость меркантилистской доктрины, в то время как в действительности им удалось оправдать, в смысле, определенном выше, некоторые частные меры меркантилистской практики. Более того, недостаточно показать, что какое-либо положение, которое мы находим в меркантилистском памфлете, имеет смысл для нас, т. е. мы можем доказать его правильность. Многие современные утверждения имеют поразительное поверхностное сходство (будем надеяться, что только поверхностное) с совершенно примитивными утверждениями, которые можно легко опровергнуть. Некритически придавать современное значение старым текстам, равно как и уделять чрезмерное внимание каждой ошибке в формулировках, значит изменить долгу историка. На такого рода соображения мы будем в дальнейшем ссылаться как на «теоретический аргумент». Вооружившись этим различием, мы приступим теперь к нашей задаче.

## [2. Экспортная монополия]

Для начала скажем, что практический аргумент поддерживает позицию тех авторов, которые считали, что монополия и квазимонополистическое сотрудничество независимо от их влияния на развитие промышленности и торговли внутри страны выполняли необходимую функцию в международной торговле. Именно это я подразумеваю под экспортной монополией. Во все времена люди по-особому относились к монополистической практике, направленной против иностранцев. Так, американский Конгресс, враждебно настроенный ко всем возможным проявлениям монополии, легко пришел к убеждению о необходимости ослабить антимоно-

<sup>7</sup> Обратное тоже верно, особенно применительно к экономической науке: можно правильно рассуждать на основе модели, не предусматривающей исключений, и все же прийти к ошибочному выводу относительно реальной ситуации, которая не вписывается в данную модель. Нам встретятся подобные примеры. В довершение всего стоит отметить, что теории, интересные с научной точки зрения, зачастую связаны с совершенно неинтересной практикой, а интересная практика — с неинтересными теориями.

полистическое законодательство в пользу экспортеров (Закон Уэбба—Померене). Тезис, лежащий в основе закона, так же прост, как и правилен (если рассматривать только непосредственные его результаты): выигрыши, полученные от монополии во внешней торговле, являются чистым доходом для данной нации, поскольку статьи, которые следовало вычесть из дохода при сделках на внутреннем рынке, в данном случае равняются нулю. Более того, до середины XVIII в. — а во многих частях света значительно дольше — торговля была возможна только в рамках соответствующих протекционистских правил, на которые могли опереться торговцы. Это не обязательно предполагало монополистические действия, но требовало организации и сотрудничества, которые легко могли бы распространиться на цены и общую экономическую политику, не только для того, чтобы дать преимущество отечественным экспортерам, но и для того, чтобы регулировать его и защитить стандартную практику от нарушений со стороны соотечественников. Наглядным тому примером служит «компания купцов-авантюристов».<sup>1</sup> Теперь это кажется очевидным, но критики «меркантилистских теорий» удивительно часто упускали из виду, что век меркантилизма был веком пиратского империализма, а торговля развивалась во многом благодаря колонизации и неограниченной эксплуатации созданных колоний,<sup>2</sup> зависела от «частных» войн, за которые правительство, в особенности английские, часто отказывались нести ответственность, и от постоянного балансирования на грани войны. Классическим примером

<sup>1</sup> Едва ли возможно понять обстоятельства, обусловившие развитие экономической мысли того периода, и в частности оценить вопросы, которые были и еще будут рассмотрены в нашем тексте, без достаточно широких знаний соответствующих разделов экономической истории. Ввиду этого позвольте вновь порекомендовать для изучения труд профессора Эли Ф. Хекшера «Меркантилизм» (*Hecksher Eli F. Mercantilism*; впервые опублик. в Швеции в 1931 г.; в Германии — в 1932 г.; пер. на англ. яз. Менделя Шапира, работа вышла в 2-х томах в 1935 г.).

<sup>2</sup> Отсутствие сдерживающего начала, в равной мере продемонстрированное испанцами, французами и англичанами, является очень важным моментом. Рассуждения экономистов о колониях ведутся в совершенно разных направлениях и могут, не впадая в противоречия, дать совершенно различные результаты в соответствии с практическими вопросами, которые рассматривали разные авторы. В качестве примера можно привести деятельность Уоррена Гастингса, воспринимаемую как «бессовестный грабеж», с одной стороны, и деятельность Уильяма Бентинка, воспринимаемую как «благожелательное управление», — с другой.\* Соответственно, по-разному рассматриваются экономические преимущества. Можно провести резкую разделительную линию, изучая эволюцию отношения к работорговле.

\* Уоррен Гастингс (1732—1818) и лорд Уильям Бентинк (1774—1839) — британские генерал-губернаторы Индии. — *Прим. ред.*

является Ост-Индия; единственным современным случаем — Родезия. Даже в отсутствие какого-либо прогресса в понимании логики экономических явлений (в действительности этот прогресс весьма мало отразился на изменениях в практической политике) эта ситуация позволяет достаточно рационально объяснить многое из того, что впоследствии, в других условиях, было обречено на исчезновение.

Двумя основными источниками большого потока литературы на тему экспортной монополии (включая колонизацию) послужили следующие факты: во-первых, политика крупных внешнеторговых компаний затрагивала интересы различных слоев общества внутри страны; во-вторых, их успех вызывал зависть и ненависть к «набобам» со стороны как землевладельцев, так и простолюдинов. Эти атаки вызывали ответные выступления, из которых стоит упомянуть лучший из известных мне примеров: защита Джоном Уилером купцов-авантюристов от бюрократов, выступающих за регулирование, но не разбирающихся в бизнесе (все, как у нас). Мы упоминали об этой работе раньше, в главах 3 и 6; она озаглавлена «Трактат о коммерции, в котором показаны блага, проистекающие из упорядоченной и управляемой торговли, как та, что ведется Компанией купцов-авантюристов; написан главным образом для тех, кто сомневается в необходимости упомянутого общества в английском государстве» (*A Treatise of Commerce, Wherein are shewed the Commodities arising by a well ordered and ruled Trade, such as that of the Societie of Merchants Adventurers is proved to be: Written principally for the better Information of those who doubt of the Necessarinesse of the said Societie in the State of the Realme of England. 1601*). Работа была написана ввиду угрозы принятия закона, направленного против этих купцов. По моему мнению, работа г-на Уилера очень хороша, и в своей аргументации он успешно разрешает некоторые из тех вопросов, что неизменно поднимались при обсуждении проблем монополии. Его экономическая теория ни на йоту не ниже того уровня, который мы наблюдаем сегодня в аналогичной популярной, политической или судебной аргументации. Однако он не делает никакого вклада в наш набор научных инструментов. В целом экономический анализ Уилера не является ошибочным, хотя его в книге не так уж много. Вследствие своего выдающегося положения Ост-Индская компания привлекала к себе львиную долю общественного внимания и неприязни. Этим объясняется характер большей части литературы на тему экспортного монополизма. Насколько я могу понять, в ней нет ничего интересного для нас, за исключением аргументов или контраргументов, касающихся экспорта компанией денежного металла, и конкурен-

ции (хотя и ограничиваемой законодательством и административными мерами), которую данная компания составляла для английских производителей шерстяных изделий, ввозя товары из Индии. Однако эти аргументы и контраргументы входят в общую дискуссию, касающуюся торгового баланса (см. § 4). Предлагаем также читателю обратиться к сноске, помещенной ниже.<sup>3</sup>

### [3. Валютный контроль]

Далее посмотрим, как практический аргумент сочетается с валютным контролем. Война, как мы знаем по опыту, неизбежно приводит к установлению контроля правительства над экономи-

<sup>3</sup> Монополистическая практика была связана, хотя, разумеется, не ограничивалась, официально утвержденными центрами внешней торговли <Staple>, (*ius emporii*), которых мы коснемся в связи с двумя другими темами, выделенными нами для обсуждения. Однако сейчас весьма подходящий случай, чтобы познакомиться с ними. Для наших целей мы должны четко выделить три типа таких рынков. Во-первых, *торговцы*, объединенные в корпорации, иногда размещали в некоторых городах свои торговые центры или склады с целью лучшей организации торговли. В качестве примера можно снова привести «купцов-авантюристов». Джон Уилер пропагандировал преимущества «городов-рынков». Во-вторых, сами города, которые были в состоянии стать торговыми центрами или убедить местные органы власти оказать им в этом помощь, старались получить права утвержденного торгового центра <staple rights>, т. е. заставить торговцев проходить через их торговые центры, выставлять свои товары на продажу и навязывать им другие ограничения, которые были или считались выгодными для этих *городов*. Иностранцы торговцы не создавали эти центры, а были их жертвами, причем иногда это осуществлялось такими способами, которые кажутся нам верхом бессмысленного притеснения. Именно такой тип рынка обычно ассоциируется с термином «Staple». Такого типа центры распространились в XIII в. и позднее по всей Италии (наиболее крупными центрами торговли были Генуя и Венеция), а затем и в остальной части Европы, включая Россию. Это движение достигло также и Англии, о чем говорит Указ Эдуарда III об утвержденных центрах внешней торговли. Обратное утверждение профессора Хекшера мне не вполне понятно. В-третьих, откуда пошла практика насильно направлять международную торговлю по заданным каналам ради действительной или мнимой выгоды данной страны в целом и нанесения ущерба иностранцам. Именно такой тип торговли обсуждался главным образом в английской литературе. Англия, следуя за Испанией и превосходя ее, развила этот тип торговли до беспрецедентных размеров. Ее политика создания торговых центров второго типа практически прекратилась с потерей Кале в 1558 г., в то время как в других местах, например в Венеции, такой рынок существовал до завоевания ее Наполеоном. Но английская политика создания утвержденных центров внешней торговли третьего типа тогда только начиналась, и понадобилось целое столетие, прежде чем ее законодательные основы были довершены Законом о мореплавании 1660 г. и Законом об утвержденных центрах внешней торговли <Staple Act> 1663 г. Часто встречающееся ошибочное утверждение, что в Англии эта система прекратила свое существование в 1558 г., служит серьезным препятствием для понимания значительной

ческой жизнью и не менее неизбежно создает бюрократический аппарат для управления ею, который не только цепляется за власть, но и стремится расширить ее. Очевидно, что импорт, экспорт и обмен валют относятся к числу наиболее важных областей экономики, подлежащих контролю. К тому же контроль всегда актуален в условиях постоянного балансирования на грани войны. Кроме того, необходимо принять во внимание общее настроение, связанное с войной и постоянной военной угрозой, когда общественное мнение считает, что нанесение ущерба иностранному государству почти так же желательно, как и получение выгоды для своего, иными словами, когда политика в области международных экономических отношений превращается в политику экономической войны и становится одним из орудий в вечной политике с позиции силы. Если признать, что все это относится к той эпохе, то обоснованность тогдашней политики в области валютного обмена станет очевидной, особенно если учесть тенденцию к расширению, присущую любой бюрократической практике. Эмбарго на вывоз золота и серебра — как в виде монет, так и в другой форме — мы можем рассматривать как необходимое дополнение к валютному контролю, хотя в более простых случаях оно являлось основной или даже единственно возможной мерой.<sup>1</sup>

Однако полезно дать разумное объяснение политики валютного контроля в более общей форме — без ссылки на особые условия военной экономики. С этой целью я рассмотрю только полный валютный контроль, т. е. случай, когда государственная власть, имея эффективную монополию на валютные сделки, может реквизировать и распределять иностранную валюту по своему

---

части меркантилистской литературы. Разумеется, система постепенно перешла в обыкновенный протекционизм в современном смысле слова, но это не дает нам права не замечать ее особенных черт, являвшихся столь важной частью политико-экономической обстановки той эпохи.

<sup>1</sup> Валютный контроль, а также дискуссия вокруг него достигли наивысшего уровня в Англии. При этом сам валютный контроль достиг своего пика значительно раньше относящейся к нему дискуссии, а именно в царствование Елизаветы I. Тогда же под влиянием устойчиво благоприятных обстоятельств началось и его ослабление. В ту эпоху он заключался в контроле над сделками в иностранной валюте, осуществляемом специальным государственным чиновником — Королевским валютным контролером (Royall Exchanger); в дополнение к контролю применялось эмбарго на вывоз драгоценных металлов (окончательно упраздненное в 1663 г. после ряда колебаний для всего, кроме английских монет); этой же цели служил и Статут о занятости 1390 г., который, как и аналогичные меры во многих странах, стремился заставить импортеров использовать выручку от своих продаж на покупку английских товаров. После Первой мировой войны примеры аналогичных мер можно было найти во многих европейских странах, например в Австрии. Королевский контролер времен Елизаветы I нашел, таким образом, множество последователей в современной Европе; различия между ними заключаются только в методах, а не в принципе.

усмотрению. В этом случае власть может: а) сгладить временные нехватки иностранной валюты, которые, если за ними не следить, могут вызвать непропорционально большие последствия, особенно посредством кумулятивных процессов; б) облегчить аккуратное погашение долгов в таких ситуациях, где автоматическая корректировка невозможна вследствие сбоев в функционировании международного рынка; в) предотвратить или подавить понижительную игру на валютном рынке, которому не хватает гибкости; г) предотвратить нежелательные (депрессивные) эффекты автоматического корректирования курсов, которые могут возникнуть даже в том случае, когда подобное автоматическое корректирование возможно; д) предотвратить импорт или экспорт некоторых товаров и поощрить импорт или экспорт других, существенно влияя тем самым на национальное производство; е) улучшить условия внешней торговли страны в определенных пределах, которые могут быть расширены с помощью дополнительных ограничений, а именно путем введения монополии на сделки с иностранными торговцами.

Остается добавить два пункта. Во-первых, для того чтобы валютный контроль был действительно острым оружием, требуется не только внимательно следить за конечным результатом всех сделок с заграницей или сделок данной страны с каждой другой страной в отдельности (современный принцип двусторонней торговли). Требуется также уделять внимание сделкам каждого отдельного торговца по каждому отдельному товару. Последнее особенно необходимо для того, чтобы полностью использовать все выгоды, которые дает этот дискриминационный метод. Во-вторых, чтобы стать вполне эффективным инструментом всеобъемлющего планирования, валютный контроль (плюс эмбарго на вывоз денежных металлов) должен быть подкреплен другими видами контроля, которые воздействуют непосредственно на индивидуальные сделки. Много подобных видов контроля использовалось в разное время, но рассматриваемая эпоха имела свою специфику — институт официально учрежденных центров внешней торговли (the Staple).<sup>2</sup> Очевидно, что намного легче осуществлять валютный контроль, когда торговля уже контролируется, будучи направлена по заданным каналам, а города — центры внешней торговли с их аппаратом монетных дворов, контролеров, содержателей постоянных дворов (практически являвшихся тюремщиками иностранных купцов) — предоставляют непревзойденные административные возможности для контролирования валютного рынка.

<sup>2</sup> См.: § 2, сноска 3.

Следует помнить, что оба типа политики (валютного контроля и утвержденных центров внешней торговли), в основном дополняющие друг друга, могли также до некоторой степени быть взаимозаменяемыми.<sup>3</sup>

Теперь, что бы мы ни думали о более отдаленных последствиях подобной политики, особенно если бы она осуществлялась всеми странами, и что бы мы ни думали о методах ее проведения (законодательство, конечно, во все времена было и остается в высшей степени иррациональным нагромождением противоречивых мер), такая политика не была в принципе бессмысленной, и ни одного автора, защищавшего ее в условиях того времени, нельзя обвинить в том, что он защищал заведомые глупости. Этот тезис, разумеется, касается практического аргумента, а следовательно, относится к практикам, среди которых выделяется не имеющий себе равных сэр Томас Грешэм (1519–1579).<sup>4</sup> Сам Джон

---

<sup>3</sup> Таким образом, нет ничего удивительного, и тем более противоречивого, в том, что некоторые авторы выступали как за систему центров торговли, так и за валютный контроль, а другие высказывались в пользу валютного контроля вместо системы центров торговли. В связи с этим следует отметить, что приблизительно до 1600 г. программа «свободной торговли» означала развитие системы центров торговли и ограничение деятельности, а то и разрушение торговых компаний. После 1600 г. программа свободной торговли предполагала принудительное «открытие» этих компаний, чтобы обеспечить каждому торговцу возможность войти в них. В обоих случаях свободная торговля означала своего рода «войну с трестами».

<sup>4</sup> Томас Грешэм относился к тому типу людей, который, несмотря на то что подобные люди встречались повсюду, можно назвать английским типом, так как в Англии он по сей день встречается чаще и выражен ярче, чем где-либо: это бизнесмен и государственный служащий в одном лице; преуспевая в своем собственном деле, он служит государству на профессиональном уровне, значительно превышающем уровень компетентности обычного государственного служащего. Как бизнесмен он был торговцем шелком и сукном, банкиром, предпринимателем (владельцем бумажной фабрики), занимался благотворительностью. В качестве государственного служащего он был первым «фактором» (налоговым агентом) английской короны в Нидерландах, укрепляя ее влияние, управляя курсом английской валюты, договариваясь о предоставлении займов, закупая военное снаряжение, всеми правдами и неправдами завладевая золотыми и серебряными слитками с целью их отправки в Англию и т. д. Затем дома, в Англии, он становится валютным диктатором (Королевским валютным контролером) и финансовым экспертом при Елизавете, заставляя торговцев кроме всего прочего ссужать деньги короне методами, граничащими с шантажом, но продельвая это так, чтобы способствовать укреплению, а не уничтожению общественно-го доверия. Читатель, заинтересовавшийся этой личностью, должен обратиться к книге Дж. У. Бёргона (*Burgon J. W. The Life and Times of Sir Thomas Gresham. 1839*) и к работе Реймонда де Пувера (*Roover Raymond, de. Gresham on Foreign Exchange. 1949*).

Мы можем воспользоваться случаем, чтобы отметить два аналитических достижения Грешэма, которые делают ему честь. Во-первых, он достаточно правильно описал правила изменения валютных курсов применительно к золотым

Стюарт Милль не смог бы предложить реальной альтернативы, а если бы он восстал из мертвых, чтобы отрицать это, то мы ответили бы, что он был недостаточно знаком с условиями того времени и своим отрицанием обнаружил бы ошибочность собственных доводов. Тем не менее эти практические взгляды обычно считаются связанными с неадекватными или явно бессмысленными теориями. Но возникает вопрос, существовала ли здесь вообще какая-либо теоретическая аргументация?

В действительности практически все авторы, обсуждавшие возможность защиты национальной валюты и обеспечения притока золотых и серебряных денег или слитков без учета торгового или платежного баланса, не заслуживают того, чтобы им приписывали *какие бы то ни было* правильные или неправильные теории.<sup>5</sup> Именно ради восстановления справедливости по отношению к ним мы должны понять, до какой степени они были виновны в каком бы то ни было анализе. Это снимает с них ставшие уже традиционными обвинения, основанные лишь на том, что мы принимаем слишком всерьез их высказывания и связываем их с некими теориями. На самом деле эти авторы не занимались каким бы то ни было анализом — они концептуализировали лишь наиболее очевидные зависимости между экономическими явлениями. Живя в эпоху, когда нации стремились к укреплению своей военной мощи, эти авторы испытывали подсознательную неприязнь к

---

и серебряным точкам. В этом вопросе он опередил Давандзати, который в 1582 г. написал значительно лучшую работу. Придание научной формы какой-либо области деловой практики, как бы хорошо она ни была известна в деловых кругах, — это заслуга, которую всегда следует отметить. Во-вторых, существует «закон Грешэма», т. е. тезис, что если монеты, отчеканенные из металлов разной ценности, обладают по закону одинаковой платежеспособностью, то для оплаты будут использоваться «самые дешевые» монеты, а монеты из более дорогого металла имеют тенденцию исчезать из обращения; можно употребить здесь известное, но не совсем правильное высказывание, что плохие деньги вытесняют хорошие. Эта фраза встречается в королевском официальном заявлении, «осуждающем» порчу серебряных монет в 1560 г., когда, как известно, Грешэм был главным советником правительства по такого рода вопросам. Существует также его меморандум (1559), где обсуждается данный вопрос. Так называемый «закон Грешэма» можно найти и в более ранних работах. Учитывая тривиальность данной проблемы, вопрос о приоритете не представляет интереса.

<sup>5</sup> Можно было бы назвать их «примитивистами» (*Jones Richard* (Ричард Джонс). *Primitive Political Economy of England*//*Edinburgh Review*. 1847), если иметь в виду, что примитивность заключалась скорее в анализе, чем в практике. Обычно их называют «буллионистами», но я хочу избежать этого термина, поскольку он предполагает, как и другие предложенные термины (см. работу Э. Р. А. Селигмена: *Seligman E. R. A. Bullionists*//*Encyclopaedia of the social sciences*), что существовала доктрина, которая объединяла их в отдельную группу. В действительности они не составляли группу. Общие с ними взгляды можно найти на несколько более высоком уровне у авторов, в число которых их никто бы не включил.

импорту ненужных предметов роскоши, что отнюдь не означает обдуманного отрицания избитой истины, высказанной Адамом Смитом: потребление — это «единственная цель и задача всякого производства». Они смотрели на прыжки валютных курсов и приписывали их махинациям спекулянтов точно так же, как делали это политики и общественное мнение во Франции и Германии после 1919 г. Они чувствовали, что для нации, как и для отдельных лиц, полезно иметь деньги, и заявили об этом, не утруждая себя лишними размышлениями. Они были завзятыми националистами, и иностранец вызывал у них неприязнь и недоверие. Большинство из них наивно критиковали бизнесменов и купцов, как это всегда делало и делает общественное мнение. Читатель, без сомнения, понял, что я имею в виду, и извинит меня за отказ от продолжения этой темы. Излишне также приводить примеры.<sup>6</sup>

Однако были исключения.<sup>7</sup> Особого внимания заслуживает только одно из них — это Малин,<sup>8</sup> с которым мы уже встреча-

---

<sup>6</sup> Читатель, желающий ознакомиться с подобными примерами, может обратиться к статьям Р. Джонса и профессора Селигмена, указанным в предыдущей сноске, а также к вводу очерку профессора Тони к его изданию Томаса Уилсона (*Wilson Thomas. Discours upon Usury. 1925*). И все же стоит, пожалуй, упомянуть по крайней мере еще одно имя: Томас Миллз, таможенный чиновник, ратовавший, как и всякий хороший государственный служащий, за регулирующую торговлю в официально утвержденных центрах (*the Staple*), которые он называл «первой ступенькой к небесам», и за ввоз слитков золота и серебра, который он сравнивал с солнцем, кормчим и «млечным соком» экономической жизни. Его наименее незрелая работа: *The Mysterie of Iniquitie* (1611).

<sup>7</sup> К таким исключениям относятся: Марк Антонио Де Сантис (*Discorso agli effecti che fail cambio in regno. 1605*), чье имя не было забыто благодаря нападкам на его теорию Антонио Серра (см.: *Fornari T. Studi sopra Antonio Serra e Marc'Antonio De Santis. 1880*); сэр Томас Калпепер, который в упомянутом ранее трактате против ростовщичества (*Culpeper Thomas. Tract against Usurie. 1621*) проводит аналогию между валютными сделками и ростовщичеством (впрочем, это делали и до него, в том числе схоласты); анонимный автор *Cambium Regis: or the Office of His Majesties Exchange Royall* (1628); Мигель Каха де Леруела (*Restauración de la antigua abundancia de España. 1631*) и целый ряд других испанских писателей. Никто из них не проник глубже поверхностного слоя и не поднялся выше простой механики регулирования валютных курсов.

<sup>8</sup> Жерар де Малин (1586–1641; см: *Malynes Gerard, de. 1) A Treatise of the Canker of England's Common wealth. 1601; 2) Saint George for England, Allegorically described. 1601; 3) England's View, in the Unmasking of two Paradoxes: With a replication unto the answer of Maister John Bodine... 1603*) внес вклад в полемику между Боденом и Мальтруа; не выступая по сути против аргументации Бодена, Малин вновь подтверждает важность его довода относительно «нарушения баланса». В основном данные три публикации и, возможно, его большой сборник законодательных материалов (*Consuetudo, Vel, Lex Mercatoria; 1-е изд. — 1622*) имеют значение в данный момент, но я могу также добавить еще две работы, где он скрестил шпаги с Мисселленом: *The Maintenance of Free Trade... (1622)* и *The Center of the Circle of Commerce (1623)*.

лись. За его рекомендациями, касающимися в основном установления более высоких ввозных пошлин, запрета экспорта слитков золота и серебра, развития системы утвержденных центров внешней торговли и восстановления должности королевского валютного контролера с целью официального установления обменных курсов, скрывается более серьезная теория, чем полагали многие критики, презрительно относившиеся к его взглядам. То, что это презрение было незаслуженным, доказывает тот факт, что в течение всего XVII в., как мы увидим, никто не превзошел Малина в ясности и полноте понимания международного механизма валютного обмена, действующего посредством колебания уровня цен и притока или оттока золота и серебра, — того «автоматического механизма», который мы обсудим в разделе «Торговый баланс».

Во второй части своего трактата *Canker of England's Commonwealth* Малин прекрасно объясняет, что в случае, когда валюта страны падает ниже металлического паритета, монеты уходят из страны, цены в данной стране падают, а повышаются за рубежом, «где наши деньги, обращающиеся вместе с деньгами других стран, создают денежное изобилие, вследствие чего растут цены на иностранные товары». Это существенный теоретический вклад. Лишь в XVIII в. мы сможем найти аргументацию, подводящую к такому заключению. Почему же Малин не сделал упомянутый вывод сам? Думаю, это произошло потому, что он был больше поражен недостатками этого механизма, чем самим механизмом. В частности, он жаловался, что на небольших и зарегулированных рынках его времени валютные операции приводили к тому, что Англия продавала свои товары дешевле, а заграничные товары покупала дороже, чем было необходимо, т. е. условия торговли были для нее слишком неблагоприятными, «в чем главным образом заключалось нарушение баланса». Он видел возможность улучшить эти условия в осуществлении валютного контроля (наш пункт *f* выше); еще одним доказательством правильности его рассуждения является тот факт, что при рассмотрении возражений против его плана (*Canker of England's Commonwealth, part III*) он сначала говорит о том, какое влияние на продажи может оказать улучшение условий торговли, и тотчас же отвечает, что все зависит от того, «насколько необходимы наши товары и каков повсюду на них спрос». Это означает, что, по его мнению, спрос на английские товары за рубежом был неэластичным. Он мог ошибаться в оценке существующего положения. Он наверняка переоценивал как вред, наносимый интересам страны валютными спекуляциями, так и пользу от валютного контроля. Завышенная оценка указанных мер ясно выступает в полемике с Мисселденом. Но это не главное. Мы не занимаемся рассмотрением вопроса, «должна

ли была» Англия принять его совет. Нас интересует ход его рассуждений, а он, хотя и не свободен от слабых мест, должен быть отнесен к числу вкладов в экономический анализ. Если мы причислим Малина к «буллионистам», нам придется сделать вывод, что в области теоретической аргументации буллионисты были не так уж неправы. Неверно также полагать, что теоретическая позиция Мисселдена была выше позиции Малина.

#### [4. Торговый баланс]

Обращаясь наконец к третьей теме, т. е. к тезису, согласно которому благоприятный торговый баланс<sup>1</sup> (превышение экспорта над импортом) — это состояние, к которому желательно или даже

---

<sup>1</sup> Термин «торговый баланс» возник в первые десятилетия XVII в. Френсис Бэкон использовал его в 1615 г. — см. его труды, изданные Спеддингом (*Letters and Life*. 1872. Т. VII. P. 22–23; эту ссылку я нашел в статье профессора Селигмена). См. также: *Price U. H. The Origin of the Phrase «Balance of Trade»*//*Quarterly Journal of Economics*. 1905. Nov. Vol. XX. P. 157. Кажется, в Италии этот термин использовался и раньше — см. К. Супино: *Supino C. La scienza economica in Italia della seconda meta del secolo XVI alla prima del XVII*//*Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino*. 1888. До этого в ходу были различные его синонимы. Самый ранний пример, где данное понятие играет какую-либо роль в аргументации, встречается, насколько мне известно, в важном трактате, на который мы будем ссылаться и дальше: *Polices to Reduce this Realme of England unto a prosperous Wealth and Estate*. 1549//*Tudor Economic Documents*/Ed. by K. G. Tawney and E. Power/ 1924. Vol. III. P. 311 ff. В данной работе использовался термин «overplus» (избыток). Профессор Вайнер (*Studies in the Theory of International Trade*. P. 9), упоминал также несколько других синонимов. Но я не думаю, что термин Малина *overbalancing* «перевес» означает то же самое. Как такое может быть, если Малин, столкнувшись с этим термином в ходе полемики с Мисселденом, счел его инновацией, и к тому же бесполезной?

Следует упомянуть об одной трудности. Во многих случаях термин «торговый баланс» означает баланс в торговле товарами. Однако уже очень давно, как будет показано ниже, был составлен полный список всех статей платежного баланса, и можно с уверенностью сказать, что большая часть рассуждений авторов той эпохи относилась именно к платежному балансу. Но путь к изобретению отдельного термина был на удивление долгим. Сэр Джеймс Стюарт использовал термин *balance of payments* «платежный баланс» в 1767 г., хотя Поллексен, как указано в работе Вайнера (op. cit. P. 14) употреблял в 1697 г. термин *balance of accompts* «баланс счетов». Пока же термин не был выработан, экономисты часто говорили о торговом балансе, имея в виду платежный баланс. Изучая их аргументацию, мы всегда должны учитывать это обстоятельство. Существует особая причина такого смещения понятий: в условиях того времени торговый баланс был самой важной и наиболее легко управляемой статьей платежного баланса. Следовательно, автор, на самом деле беспокоившийся о платежном балансе страны, вполне мог сосредоточиться на торговом балансе.

необходимо стремиться, мы сначала отметим, что в той мере, в какой речь идет о практическом аргументе, многое из сказанного ранее справедливо и для данного случая. Это справедливо применительно как к торговой политике протекционизма в целом, так и к специфической политике торгового баланса. Надеюсь, в этой книге уже достаточно подчеркивалось, что экономика военного времени и политика с позиции силы могли бы сами по себе служить достаточным основанием для того, чтобы не считать иррациональным стремление обеспечить возможно больший приток в страну универсальных платежных средств. Следовательно, остается только рассмотреть вопрос о теоретической аргументации в пользу такой политики. Разобьем его на две части: а) в какой степени «меркантилисты» понимали связь своих рекомендаций и аргументов с условиями своего времени, способную логически оправдать их аргументацию, хотя, разумеется (никогда не забывайте об этом), данное обстоятельство не «оправдывает» их в каком-либо другом смысле; б) что нового внесли они в экономический анализ или какие доказуемые ошибки они совершили в ходе своих рассуждений?

[а) Практический аргумент: политика с позиции силы]. Относительно первой части вопроса не может быть никаких сомнений. «Меркантилистские» авторы — к итальянским это относится в меньшей степени — остро чувствовали влияние «силовой» политики на экономическую деятельность, да это и не могло быть иначе. В частности, в Англии лондонский Сити, откуда происходило большинство ведущих авторов, был опорой агрессивной внешней политики, которая, как явствует из ранее сказанного, идеально отвечала интересам бизнеса, даже когда не была вдохновляема непосредственно ими. Разумеется, это не всегда явно утверждалось. Империалистические мотивы редко высказываются прямо. Они скрываются за заботами авторов о богатстве короля, за их разговорами об ослаблении мощи Английского государства,<sup>2</sup> за их опасениями, касающимися безопасности Англии, за их по-

<sup>2</sup> Жалобы на ослабление и упадок раздавались так часто, что их можно рассматривать как весьма интересное явление политической психологии. Чтобы понять смысл этих жалоб, требуется малая толика того, что мы можем назвать социальным психоанализом. Наряду с ними сыпались жалобы о полностью вымышленном экономическом упадке (разумеется, в сознании торгового сословия власть и процветание были неразрывно связаны). Последние были характерны для большой группы писателей, к числу которых относятся Фортри, Коук, «Филанглус»,\* Беллерс и Поллексфен.

\* <Т. е. «англофил»>.

зицией, которую Юм позднее критиковал в эссе «О торговой ревности» (*Of the Jealousy of Trade. 1752*), за их настойчивыми разъяснениями жизненной важности военно-морского флота, а также торгового флота и судостроения. Особый интерес представляют те случаи, где аргумент мощи (или безопасности) государства не только абсолютно ясно изложен, но и противопоставлен аргументу прибыли. Как бы ни выглядел данный аргумент с других точек зрения, он означает прогресс в понимании экономических процессов. Достаточно привести два хорошо известных примера. В работе, посвященной вопросам торговли, Чайлд (*Child. Discourse about Trade. 1690*) защищает политику законов о мореплавании (*Navigation Acts*) с позиций укрепления военной мощи, допуская при этом, что с чисто экономической точки зрения против них можно было бы выдвинуть веские доводы. Дэвенант в работе *Discourses on the Publick Revenues and on the Trade of England (1698)* идет еще дальше.<sup>3</sup>

[b) Аналитический вклад]. Ответить на второй вопрос, т. е. на вопрос о теоретическом вкладе в экономический анализ и о

<sup>3</sup> По всей видимости, суть антагонизма между военной мощью государства и прибылью понималась не всегда. Некоторые критики, особенно те, кто не видит в работах английских «меркантилистов» ничего, кроме апологетики классовых или даже личных интересов, доказывали, что рассуждения о военной мощи имели единственную цель — закамуфлировать заинтересованность в прибылях, следовательно, авторы-купцы должны были верить в пользу активного торгового баланса независимо от аспекта военной мощи. Я думаю, это плохая социология: мы только снижаем достоверность наших исследований, закрывая глаза на тот факт, что империалистические мотивы — это жестокая реальность, которую нельзя вывести из собственного экономического интереса индивидов. Но даже если не принимать это во внимание и оставаться в пределах аргументации, основанной на экономических интересах, мы должны помнить, что военная мощь и прибыль могут конфликтовать в том, что касается непосредственных результатов, и все же в итоге военная мощь способна привести к получению еще более высоких прибылей, особенно в эпоху разбойничьего империализма. Следовательно, не существует противоречия между тезисом на первом уровне рассуждений, что требование активного торгового баланса вызвано стремлением укрепить военную мощь, и тезисом на втором уровне рассуждений, гласящим, что в долгосрочном плане военная мощь ведет к увеличению прибыли. Я не вижу основания для насмешек над формулировкой Чайлда: «Международная торговля создает богатства, богатства создают силу, а сила защищает нашу торговлю и религию» (вспомним, что по ту сторону Ла-Манша царствовал тогда Людовик XIV). Но, если угодно критикам, аргументация может быть чисто экономической и все же оставаться логичной, при том что роль торгового баланса сведена к роли промежуточного звена. [Большое эссе Й. А. Шумпетера (*Schumpeter J. A. Zur Soziologie der Imperialismen//Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1919*), относящееся к данной теме, теперь имеется на английском языке: *Imperialism and Social Classes. 1951* (издание снабжено предисловием Пола М. Суизи (*Sweezy*)).]

допущенных ошибках, не так просто. Некоторый аналитический вклад существует. Он предстанет перед нами в истинном свете, если мы рассмотрим его, так сказать, *ex ante*, а не так, как неизменно делают критики, т. е. с точки зрения более позднего анализа. (В действительности самый значительный вклад авторов «меркантилистов», заключается в том, что они проложили к нему дорогу; он фактически вырос из их работ.) Но стоит погрузиться в эту литературу, как вас непременно поразят две вещи.

Во-первых, несмотря на то что изредка здесь можно обнаружить настоящий экономический анализ, а чаще — попытки такого анализа, подавляющая часть данной литературы в основном носит доаналитический характер. Более того, эта литература представляет собой неисключенный труд непрофессионалов или просто необразованных людей, которым часто недоставало элементарного умения излагать материал; значительная ее часть была популярной в худшем значении этого слова. Понимание этого факта, с болью осознаваемого некоторыми из авторов, прежде всего должно побудить нас быть снисходительными, особенно в отношении их ссылок на «авторитетные мнения»: нельзя осуждать какого-либо автора, не удостоверившись вначале, что он неправильно ими пользуется. Кроме того, следует помнить, что, рассуждая с наших сияющих высот, мы постоянно рискуем неправильно понять, что же в действительности хотели сказать эти простые люди. Несомненно, среди «меркантилистов» имеется значительное число авторов, к которым вышесказанное не относится. Но это порождает другую трудность. Если мы хотим быть справедливыми к той эпохе, мы должны четко отделить ценные зерна от плевел. Как будет выглядеть современная экономическая наука два-три столетия спустя, если критикам придет в голову судить о ней исходя из всего написанного на экономические темы за последние десятилетия? Но что считать зернами, кроме довольно небольшой группы работ, относительно которых мы можем прийти к общему согласию? В этом случае каждый из нас должен полагаться на собственную оценку аналитического качества (единственный тип ценностного суждения, который является не только допустимым, но и неизбежным в истории экономической науки). Однако в данном вопросе различные экономисты часто могут договориться только об имеющихся между ними разногласиях.

Во-вторых, у нас уже было достаточно возможностей заметить, что взгляды экономистов того периода (если вообще позволительно говорить об экономистах по отношению к периоду, ко-

гда эта профессия находилась только на стадии возникновения) были не более однородными, чем взгляды экономистов любого другого периода: мнения отдельных авторов и групп, как и во все другие эпохи, отличались как по основным вопросам, так и в деталях и, соответственно, их сторонники выступали против взглядов и методов друг друга. Широко распространенное противоположное мнение вылилось в еще одну несправедливость. Критик-историк, сконструировав воображаемого «стандартного» представителя данной эпохи, упускает из виду факт, что многие взгляды, вызывающие наибольшее количество возражений с точки зрения более позднего анализа (или политики), были отклонены или скорректированы уже в рассматриваемый период. Столкнувшись с этим фактом, историк выходит из положения следующим образом: тех, кто придерживался взглядов, являющихся, по его мнению, более правильными, он или судит более благосклонно, или исключает из воображаемого «стандарта» с характеристикой «еретика» или «опередившего свое время». Данный метод является по меньшей мере сомнительным.

Мы уже отметили и попытались понять протекционистское направление среди экономистов того времени; мы рассмотрели также мнения, которых придерживались многие авторы относительно протекционизма. Естественно, мы ожидаем, что авторы, которых мы рассматриваем под рубрикой «торговый баланс», пополнят список аргументов в пользу протекционизма. И наши ожидания не будут обмануты.

Мы находим аргументы, базирующиеся на поддержке зарождающейся отрасли, которые в условиях того периода, как легко предположить, лежали в основе рекомендаций по защите отечественных отраслей, не стимулируемых другими способами (за исключением, возможно, английской шерстяной промышленности). Мы находим аргументы, исходящие из необходимости укрепления военной мощи страны, поддержки ключевых отраслей экономики, обеспечения занятости, а также из общей самодостаточности национальной экономики. Мы находим аргументы, которые в наши дни заняли такое видное место в связи с использованием концепции мультипликатора: до тех пор пока протекционизм позволяет добиваться превышения экспорта над импортом, он будет стимулировать процесс экономической деятельности путем роста расходов внутри страны. Инвестиции за рубежом не играют никакой или почти никакой роли в их анализе, за исключением краткосрочных аспектов; некоторые авторы указывали, что временный экспорт монет может стать необходимым связующим звеном в

ряде сделок и в итоге приведет к превышению экспорта над импортом. Мы ограничимся эпизодами, взятыми из деловой жизни Англии, хотя в континентальной Европе их также было предостаточно. Приведенные ниже примеры добавляют также новые имена к нашему скромному списку авторов этого направления.

Как и следовало ожидать, аргументы, опирающиеся на поддержку зарождающейся промышленности, появились во времена Елизаветы, когда Англия переживала свой первый промышленный бум, а соответствующая литература была распространена до его конца, т. е. до преддверия промышленной революции, когда сэр Джеймс Стюарт уделил этой аргументации особое внимание. Нас интересуют, главным образом, случаи, когда протекционизм рекомендуется только на ограниченный период или когда «младенчество» отраслей, которые рекомендуется защищать, подчеркивается особо, так что не остается места для сомнений относительно характера аргументации. Так, Артур Доббс в части II своего эссе, касающегося торговли и развития экономики в Ирландии (*Dobbs Arthur. An Essay on the Trade and Improvement of Ireland. 1729–1731*), ясно заявил, что «премии должны даваться только в целях поощрения или совершенствования отраслей производства на начальной стадии их развития <infancy>», а дальнейшая помощь им была бы излишней, «если после достигнутого улучшения они не в силах самостоятельно проложить себе дальнейший путь». Э. Яррантон (*Yarranton A. England's Improvement by Sea and Land, to Outdo the Dutch without Fighting, to Pay Debts without Moneys, to Set at Work all the Poor of England... 1677; part 2 — 1681*) рекомендовал оказывать покровительство льняной мануфактуре, но только на семилетний период. У Эндрю Яррантона нашелся биограф, который был настолько вдохновлен его творчеством, что назвал его «истинным основателем политической экономики в Англии» (см. работу П. Э. Дава: *Dove P. E. Elements of Political Science. 1854. Appendix*). Несмотря на абсурдность данного утверждения, оно, возможно, явилось здоровой реакцией на забвение, которому подверглось его имя. Яррантон был разносторонним человеком, владеющим многими профессиями, но в некоторых областях его деятельности, например в области совершенствования сельскохозяйственной техники, был всего лишь прожектером-популяризатором. Однако в экономической науке он достиг большего. Хотя на его счет нельзя отнести каких-либо достижений в области экономического анализа, многие из его положений и комментариев, касающихся экономических условий в Германии и Голландии, подразумевают наличие теоретической схемы; об этом же говорит и тот факт, что даже в самых смелых полетах мысли он никогда не доходил до глупостей. Яррантон не придавал слишком большого значения торговому балансу. Он полагал, что процветание со-

седних стран выгодно для Англии. Он считал, что усовершенствование кредитных учреждений привело бы к снижению процентной ставки с 6 до 4% (заметьте, что устанавливаемые им количественные границы защищают его утверждение от опровержения, практически неизбежного в противном случае). Занятость рабочих и дешевые продукты питания (что несомненно привело бы к дешевизне промышленной продукции [он говорит о тканях]) провозглашаются задачами, к осуществлению которых следует стремиться. В сущности, мы можем цитировать Яррантона как авторитетного автора применительно ко всем упомянутым в тексте аргументам, как мы уже цитировали и будем цитировать его при обсуждении других тем.

Аргументация, основанная на укреплении военной мощи страны, нами уже рассматривалась. Аргумент поддержки ключевых отраслей использовался в дискуссиях о производстве продуктов питания, а также производства и экспорта шерсти. Аргументация с позиций общей самодостаточности (автаркии) была разработана скорее в Германии, чем в Англии (относительно Франции см. работу Ежи Новака: *Nowak J. L'Idée de l'autarchie économique. 1925*). Пример аргументации с точки зрения обеспечения занятости мы только что видели в работе Яррантона. Она выдвигалась с самого начала рассматриваемого периода (см. работу Клемента Армстронга: *Armstrong Clement. A Treatise Concerning the Staple and Commodities of this Realme. 1519–1535//Tudor Economic Documents. III. P. 90 ff., esp. p. 112*; см. также: *Hales John* (Джон Хейлз). *Discourse of the Common Weal. 1549?*) Протекционистское законодательство, в основе которого лежит аргумент предотвращения безработицы, разумеется, еще старше, по крайней мере на сто лет, и в редкой из наиболее значительных книг не встретишься с доводами в его пользу. Малин, Мисселден, Чайлд (который рассматривал его как источник выгод, получаемых метрополией от колоний), Барбон, Локк, Петти — все занимались этим вопросом. Отметим, кроме того, работу Джона Кэри (*Cary John. Essay on the State of England... 1695*), которая, судя по тому, что она была переиздана много раз и получила одобрение Локка, вероятно, имела значительный успех; упомянем Джона Поллексфена, чьи рассуждения относительно запрета экспорта шерсти и импорта промышленных товаров основаны на аргументе занятости; вспомним и работу Джона Беллерса (*Bellers John. Essays About the Poor, Manufactures, Trade... 1699*), а также «Англолюбя» (У. Петита): «*Philanglus*» (*W. Petyt*). *Britania Languens or A Discourse of Trade. 1680*. Некоторые из этих «меркантилистских» писателей продвинулись в своей аргументации на удивление далеко, как мы бы сегодня сказали, в кейнсианском направлении. Нет ничего удивительного в заявлении сэра Уильяма Петти, что лучше производить бесполезные вещи, чем не производить ничего. Оно только подчеркивает его озабоченность сохра-

нением эффективности труда. Но высказывания некоторых других авторов звучали так, как будто они считали, что преимущество, извлекаемое национальной экономикой из внешней торговли, состояло исключительно в обеспечении занятости. А это, в свою очередь, логически ведет к позиции, выглядящей абсурдной, если судить о ней с точки зрения предпосылок «либералов» XIX в.; именно абсурдной и назвал ее профессор Вайнер (*Studies in the Theory of International Trade*. P. 55; читатель найдет примеры на двух предыдущих страницах). Согласно этой позиции, торговля тем выгодней для данной страны, чем выше общие затраты труда на экспортируемую продукцию по сравнению с общими затратами труда на соответствующие импортируемые товары. К одному аспекту данного вопроса мы еще вернемся.

Аргумент занятости выдвигался не только как таковой, но также и косвенно, через стимул, придаваемый деловой активности притоком наличности. Мы не говорим здесь об авторах, рассматривающих возможность придать этот стимул путем выпуска бумажных денег; нас интересуют только те авторы, которые рассуждали о смазке колес хозяйственного механизма с помощью ввоза монет и слитков. Если читатель вспомнит, как популярна была и остается эта идея у человека с улицы, он легко сделает вывод, что она пользовалась поддержкой повсюду, тем более что она чаще молчаливо принимается, чем высказывается открыто. Единственным препятствием для установления абсолютного господства этой идеи было то, что она предусматривала накопление сокровищ, хранение ввезенных слитков на случай войны. Малин и Мисселден, будучи противниками, могут все же оба быть отнесены к числу сторонников «аргумента смазки колес хозяйственного механизма». Оба считали возможным стимулировать экономику с помощью роста цен, причем трактовка Малина, служившая в течение трех столетий объектом практически всеобщего поношения, получила одобрение лорда Кейнса (*Keynes J. General Theory of Employment, Interest, and Money*. P. 345 <рус. пер.: Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.; Прогресс, 1978. С. 419>) за понимание «ложности идеала дешевизны» и опасности «чрезмерной конкуренции», а также за то, что Малин увязывал увеличение продаж с ростом, а не снижением цен. Однако, как мы видели, другие авторы не подчеркивали стимулирующую роль роста цен: они либо относились к нему с опасением, либо полагали, что ввоз слитков будет стимулировать торговлю без повышения цен. Позднее в соответствующей сноске мы покажем, что придерживаться такого мнения совсем не глупо.

В работах Чайлда, Мана и других мы находим доводы, доказывающие неизбежность краткосрочных заграничных инвестиций, — даже если они при этом выражали чьи-то интересы, какое это имеет значение? Но я не могу привести примеров аргументации в пользу постоян-

ных инвестиций за рубежом до сэра Джеймса Стюарта; не нашел их и профессор Вайнер (op. cit. P. 16).

В данных аргументах не наблюдается серьезных погрешностей. Учитывая среду, для которой они предназначались, все они были более или менее логически оправданы, а в некоторых отношениях более оправданы, чем аналогичные аргументы в наши дни. Кроме того, мы не должны слишком сурово судить некоторые их слабости. Например, большинство из этих авторов, по-видимому, не отдавали себе отчета в том, до какой степени корректность их аргументации, по крайней мере чисто экономической, зависела от условия неполной занятости или *недостаточного развития* производственных ресурсов.<sup>4</sup> Однако противоположный упрек можно адресовать как их критикам, так и их последователям в XIX в., отчасти даже самому Маршаллу.<sup>5</sup> Наконец мы увидим,

<sup>4</sup> См., однако, политические эссе Артура Янга о положении британской империи (*Young Arthur. Political Essays concerning the Present State of the British Empire. 1772*), который говорит о «безработных бедняках и нераскупаемых товарах» (p. 533). Я обязан этой ссылкой профессору Вайнеру (op. cit. P. 54).

<sup>5</sup> Маршалл, а также Пигу ослабили «абсолютизм» традиционной доктрины свободной торговли, особенно в ходе полемики по поводу предлагаемой Джозефом Чемберленом реформы тарифов. Но они явно не смогли удовлетворительно разъяснить другим и, возможно, сами недостаточно отчетливо поняли, что обычные тезисы о свободной торговле справедливы либо в условиях, которые часто не выполняются, либо на высоком уровне абстракции.

Пользуясь случаем, мы можем коснуться и другого вопроса. Выказывалось мнение, что идеи «меркантилистов» имеют силу для краткосрочного периода, и «часть меркантилистской доктрины не казалась бы столь абсурдной, если бы ее оценивали только в краткосрочном аспекте» (см.: *Viner. Op. cit. P. 111*). Но нет «доказательств, что меркантилисты предназначали свой анализ и предложения только для краткосрочного периода, и имеется достаточно свидетельств, что они, как правило, не осознавали различия между желаемой практикой в условиях данной временной ситуации... и... постоянной политикой» (*Ibid.*). Это едва ли справедливо. Различие, о котором идет речь, является результатом длительной аналитической работы; было бы легко привести примеры нарушения этого принципа из более поздних и даже современных работ. Меркантилисты писали с расчетом на ситуацию, с которой они сталкивались, во многом подобно лорду Кейнсу. Это, разумеется, не было «временной ситуацией» в узком смысле, это была ситуация эпохи, представлявшей собой череду чрезвычайных положений, а в таких условиях анализ долгосрочных равновесий мог бы заинтересовать только чистейшего из чистых теоретиков. Не говорили они и о «постоянной» политике. Они были слишком практически настроены, чтобы верить в подобные вещи, или, скорее, эта идея вовсе не приходила им в голову. Следовательно, за исключением некоторых отрывков (например, из работы Томаса Мана, которые мы приведем позднее (*Mun Thomas. England's Treasure*)), подтверждающих, что некоторые из этих авторов смутно ощущали, что их аргументация, как бы мы сказали, не предназначалась для долгосрочных процессов, не говоря уже о состоянии долгосрочного *равновесия*, нам достаточно просто судить об их аргументации как таковой, независимо от их собственного мнения относительно используемой ими методологии.

что многие необходимые оговорки и многие из тех контрдоводов, которые являются скорее дополнениями, чем возражениями, были сделаны не горсткой обособленных «еретиков», а самими авторами-меркантилистами.

Однако в их произведениях не содержится особых аналитических достоинств. Их аргументы, верные или ошибочные, в большинстве случаев были продиктованы требованиями здравого смысла. Простые люди во все времена воспринимали эти доводы как нечто само собой разумеющееся, а в ту эпоху в них верили и сами экономисты. Они пытались рационализировать современную им практику в обоих смыслах этого слова, т. е. выразить свои представления о целях и нуждах своего времени и своей страны, а также установить некоторый логический порядок в иррациональном нагромождении применяемых политических мер, однако они не проникали в те глубины, где заявляет о себе необходимость выработки аналитических методов. Они излагали свои аргументы и спешили перейти к специальным рекомендациям, например, какие отрасли необходимо поощрять как наиболее многообещающие. Так, для Англии разные авторы предлагали рыболовство, черную металлургию, льняную промышленность, усовершенствование водных путей или разработку земель, принадлежащих короне. Предложив развивать какую-либо отрасль промышленности, они советовали правительству, как следует приступить к данной задаче: многие их работы полны различных проектов, наглядным примером служат труды Яррантаона. Как правило, они поступали так же, как наши планирующие органы: бросали работу именно там, где начинался анализ. Именно это я имел в виду, когда говорил, что основная масса указанной литературы была донаучной, а с нашей точки зрения, это значительно важнее того, нравятся нам или нет «меркантилистская» политика и ее националистический дух. Донаучный характер рассуждений большинства пишущих яснее всего проявляется в попытках анализа; нельзя найти лучшего примера, чем их обращение с аналитическим инструментом, который недружественная историография избрала в качестве объекта для критики, — с концепцией торгового баланса.

[с) Концепция торгового баланса как инструмент анализа]. Прежде всего нужно сказать, что данная концепция является аналитическим инструментом. В отличие от цены или количества товаров торговый баланс не какая-либо конкретная вещь. Он не возникает отчетливо перед взором неопытного наблюдателя. Чтобы наглядно представить его и понять его взаимосвязи с другими экономическими явлениями, требуется проделать определенную

аналитическую работу, пусть даже и незначительную. История теоретической физики демонстрирует, что успехи в этой области достигаются с великим трудом и требуют больших затрат времени, чем можно было бы ожидать: в течение веков люди не могли овладеть идеями, которые, казалось, были в пределах досягаемости; время от времени кто-нибудь пытался выдвинуть эти идеи, но выражал их в какой-либо бесплодной форме, не достигая полного раскрытия их сути. Если мы поразмыслим над этим, то не станем пренебрежительно относиться к концепции торгового баланса как теоретическому достижению.

Данная концепция имела и практическое значение. *Платежный баланс*, понимаемый согласно определению, данному в нижеприведенной сноске,<sup>6</sup> является важной характеристикой при

---

<sup>6</sup> Я исхожу из того, что читатель знаком с термином «платежный баланс» и четко отличает его от остатка непогашенной задолженности. Но есть один пункт, который было бы излишне прокомментировать. Платежный баланс может быть построен в соответствии с принципами обычного бухгалтерского учета. В этом случае для каждой статьи баланса имеется другая статья, которая ее уравнивает согласно технике бухгалтерского учета. Подобный баланс всегда должен быть «сбалансирован» не только неизбежно, но и чисто тавтологически. Но если просто сопоставить сумму кредитовых статей с суммой дебетовых, то они должны быть в конечном счете как-то уравнины — путем пролонгирования или невыплаты разницы. В этом смысле сбалансирование все еще необходимо, хотя оно уже не тавтологическое. Существует, однако, третий смысл термина «платежный баланс», при котором кредит и дебет не нуждаются в сбалансировании ни в одном из обоих указанных значений; они балансируются силами, которые в случае невозможности достижения баланса предыдущими способами автоматически вводятся в действие. Таким образом, мы все еще сможем сказать, что дебет и кредит будут «неизбежно сбалансированы», но уже в третьем значении. Домохозяйства и фирмы стран А и В, относительно которых мы ради упрощения допускаем, что в них действует совершенно свободный золотой стандарт и не существует других сделок, кроме продаж и покупок товаров, могут посылать друг другу заказы на товары, способные в любой момент времени составить разные суммы. Но, по мере того как эти заказы выполняются и оплачиваются, подобная разница должна — при отсутствии кредитных соглашений — быть уплачена звонкой монетой, и этот приток денежного металла так воздействует (при отсутствии каких-либо препятствий, гибких цен и т. д.) на цены и доходы (не принимая в расчет все остальное), а изменения цен и доходов так повлияют на заказы и, следовательно, на товарные потоки, что «автоматически» установится равенство дебетовых и кредитовых статей и распределение золота, поддерживающее цены, сложившиеся в ходе этого процесса. Эта примитивная схема представляет собой то, что мы называем «автоматическим механизмом», который, как мы видели, был описан, по крайней мере частично, Малином и который будет путеводной звездой в наших странствиях по части «меркантилистской» литературы. Если мы достаточно верим в прочность этого механизма (хотя подобная вера была бы чудом у людей, ставших свидетелями мировой депрессии), то мы можем не бояться его поломки и утверждать, что он всегда сможет обес-

диагнозе экономического положения страны и важным фактором в процессе экономической деятельности. В XVII и XVIII вв. *торговый баланс* по товарам и услугам вполне мог быть оперативной частью *платежного баланса* и, таким образом, имел все значение, какое можно приписать последнему. Проблема заключается в том, что сам по себе торговый баланс не может быть инструментом общего экономического анализа: если нам не известно ничего, кроме объемов экспорта и импорта (всегда включающих данные об услугах), то мы не можем сделать из них никаких выводов. Так, «пассивный» баланс может быть признаком как роста благосостояния, так и процесса обеднения; «активный баланс» может означать процветание и занятость, но точно так же он может означать и обратное. Только в связи с другими данными торговый баланс приобретает свое симптоматическое и каузальное значение. Это значение, возможно, следует определить так: даже будучи взятым само по себе, сальдо баланса текущих дебетных и кредитных статей, которое иногда *может быть* приблизительно выражено через текущее сальдо торгового баланса, является важным фактором в монетарных процессах любой страны, а следовательно, влияет на решения денежных властей. Но, говоря в более широком смысле, рассуждения и действия, касающиеся только или почти только одного торгового баланса, могут быть правильными разве что случайно. Эти соображения существенно помогут нам в оценке как вклада «меркантилистских» авторов в науку, так и их ошибок. Однако не будем забывать, что в данный момент нас интересует не пункт экономической платформы, а использование аналитического инструмента.

[d) *Серра, Малин, Мисселден, Ман*]. Данный аналитический инструмент имеет длинную предысторию, в которую нам нет необходимости вдаваться.<sup>7</sup> Первым, кто ясно изложил, а также

---

печатать данное равенство. Это можно выразить (хотя данное выражение порождает заблуждения) следующим образом: платежные балансы «неизбежно» балансируются, если мы включим уравнивающие потоки золота. Отметим пока, что в нашем тексте термин «платежный баланс» должен пониматься как исключаящий данную (или какую-либо другую) уравнивающую статью, поэтому в данном случае *необходимость* в уравнивании дебета с кредитом отсутствует.

<sup>7</sup> Пример его использования в середине XVI в. был приведен в сноске 1 данного параграфа. Могут быть упомянуты и другие примеры, относящиеся даже к более ранним временам. Так, в 1381 г. чиновник по имени Ричард Эйлсбери выразил мнение, что из Англии не будут уходить деньги, если стоимость «ввезенных товаров» не превысит «стоимости собственных товаров, вывозимых из королевства». Он также поддерживал политику, запрещающую экспорт монет (и ввоз испорченных иностранных монет), и, понимая важность

полностью и в основном правильно использовал эту концепцию, был Антонио Серра.<sup>8</sup> Он уделил должное внимание невидимым статьям платежного баланса, опередив тем самым всех авторов своего века, полностью осознал природу политики валютного контроля или, как принято говорить, «опроверг буллионистскую доктрину обменных курсов», он изложил (до него это сделал Лаффемас) аргументы в пользу запрещения экспорта золота и серебра, которые в Англии стали общепринятыми к концу столетия, по крайней мере среди авторов первого ранга,<sup>9</sup> и применил элементы количественной теории в дискуссии о возможности остановить вывоз золота и серебра путем девальвации. Каждое из указанных достижений в отдельности представляет собой ценный вклад в науку, но этим их значение далеко не исчерпывается. Мы не должны также излишне восхищаться тем фактом, что Серра, не будучи первым, кто увидел зависимость между притоком и оттоком золота и серебра и торговым (или платежным) балансом, впервые уделил особое внимание этому вопросу. Хотя Серра продвинул анализ на шаг вперед, сама по себе эта связь является не более чем очевидным наблюдением, на основании которого можно как сделать ложные или неадекватные выводы, так и прийти к верным заключениям. По-настоящему важным является не то, что вывоз золота и серебра из Неаполитанского Королевства он объяснил состоянием его торгового баланса, а то, что он не остановился на этом, а пошел дальше и связал как вывоз денежных

---

невидимых статей платежного баланса, предложил осуществлять выплаты Риму натурой, а не деньгами. В какой-то мере сходное предложение было принято относительно выплаты германских репараций после 1919 г. Все это вполне согласуется (вопреки мнению г-на Бира, высказанному в его работе *Early British Economics*) со взглядами, существовавшими в XVI в. Источник: *Opinions of Officers of the Mint on the State of English Money*//Bland, Brown, Tawney. *English Economic History, Select Documents*. P. 220 ff. Это весьма полезный сборник, достоинства которого трудно переоценить.

<sup>8</sup> *Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro e argento dove non sono miniere, con applicazione al regno di Napoli* <«Краткий трактат о причинах, которые могут привести к изобилию золота и серебра в королевствах, где они не добываются, с приложением к Неаполитанскому королевству» — *ит.*> — (1613). Как станет ясно из моих комментариев, заглавие работы отчасти вводит в заблуждение, а качество изложения основной идеи автора до некоторой степени пострадало от того, что он сосредоточился на полемике со взглядами де Сангиса, касающимися валютного контроля (см. выше, § 3, сноска 7). В этой полемике, если судить с точки зрения современных взглядов, он также зашел слишком далеко. (Сведения, касающиеся Антонио Серры, см. в § 5 главы 3.)

<sup>9</sup> К сведению некоторых историков экономической мысли: Серра был не директором Ост-Индской компании, а беднягой, писавшим свой трактат в неаполитанской тюрьме.

металлов, так и торговый баланс с экономическими условиями страны. По сути дела, весь трактат посвящен рассмотрению факторов, от которых зависит изобилие *благ* (природных ресурсов, качества работников, развития промышленности и торговли, эффективности правительства). При этом подразумевается, что если экономический процесс в целом налажен должным образом, то торговый баланс автоматически нормализуется без каких-либо специальных мер. В этой схеме монетарные явления рассмотрены скорее как следствия, чем как причины, и скорее как симптомы определенных процессов, чем как нечто важное само по себе.<sup>10</sup> Автор (обсуждая случай Венеции — глава 10 части I) касается, хотя и не высказывает этого явно, положения о том, что процветающая страна, т. е. страна, экономический процесс которой не ведет к дезинтеграции, может иметь любое требуемое количество золотых и серебряных денег.<sup>11</sup> Отсюда не так уж далеко до выводов Юма.

Вклад Серры никогда не был должным образом признан по двум причинам. Во-первых, Серра не дал четкой формулировки, и у него не было непосредственных последователей, которые смогли бы развить его анализ. Во-вторых, взгляд критиков, благожелательный или враждебный, был до такой степени затуманен лозунгами о «меркантилизме», что они не удосужились задуматься о том, какую роль играл протекционизм в теоретической схеме Серры и в каком смысле он отстаивал важность торгового баланса, хотя с точки зрения экономического анализа эти проблемы значительно интереснее, чем вопрос о том, насколько Серра был далек от идей свободной торговли.

В Англии между Малином и Мисселденом возникла полемика, аналогичная той, что имела место между де Сантисом и Серрой. Мы уже бегло коснулись ее, рассматривая взгляды Малина. Эдуард Мисселден (1608–1654, имеются разночте-

<sup>10</sup> Первые фразы главы 1 части I «Краткого трактата» Серры не опровергают данного положения, поскольку они полностью объясняются конкретными обстоятельствами и желанием автора, чтобы его труд прочел правитель, которого в то время как раз беспокоили состояние валютных курсов и утечка денег. Не думаю, что кто-либо рассматривающий книгу как единое целое будет со мной спорить.

<sup>11</sup> Одна из слабых сторон «меркантилистской» литературы заключается в том, что она никогда, даже своими вершинами, одной из которых является творчество Петти, не поднялась выше идеи требуемого количества денег, согласно которой любой их излишек или дефицит считался недостатком. Серра не достиг и такого понимания проблемы; он просто говорит об «изобилии» денег.

ния)<sup>12</sup> в меньшей степени заслуживает быть упомянутым наравне с Серрой. Он не преминул выдвинуть тезис, что вывоз или ввоз слитков золота и серебра должен объясняться «изобилием или нехваткой товаров», а следовательно, его нельзя обвинить в том, что он полностью упустил данный вопрос.<sup>13</sup> Вопреки мнению многих поколений критиков, совсем не так легко осудить его рассуждения как ошибочные, если, с одной стороны, мы сделаем скидку на неадекватность изложения, а с другой — учтем, что его взгляды могут получить поддержку со стороны новейших теорий. Во всяком случае, он, несомненно, намного ближе, чем Серра, подошел к тем бесспорным ошибкам, которые столь явственно заметны в книге Мана,<sup>14</sup> возможно, просто потому, что аргументация Мана более развернута.

Книга Мана обычно рассматривается как классический пример английского «меркантилизма». Подобную известность нельзя

---

<sup>12</sup> Вначале полемика носила характер семейной ссоры между сторонниками различных вариантов денежной политики, поскольку в своей первой публикации — *Free Trade: or the Means to Make Trade Flourish* (1622) — Мисселден изложил взгляды, не вполне отличающиеся от взглядов де Сантиса. Значение выражения «свободная торговля» <free trade>, как уже указывалось, имело мало общего со значением, приобретенным данным термином в XVIII в. Мисселден подразумевал под ним всего лишь упразднение некоторых монополистических ограничений, особенно тех, что накладывали крупные компании, включая Компанию купцов-авантюристов, к которой в то время принадлежал он сам. Мисселден развернул атаку против Малина в работе *The Circle of Commerce; or the Balance of Trade*, опубликованной в 1623 г. Здесь он не только использовал термин «торговый балаас», но поставил данное понятие в центр своей аргументации. Сведения о Мисселдене можно почерпнуть, в частности, из работы Э. А. Дж. Джонсона (*Johnson E. A. J. Predecessors of Adam Smith*. 1937).

<sup>13</sup> Однако читатель должен вспомнить, что было сказано выше по поводу Малина. Следует несколько умерить похвалы в адрес Мисселдена, равно как и в адрес Серры, учитывая, что они полностью проглядели элементы истины в аргументации своих оппонентов.

<sup>14</sup> Сэр Томас Ман (Mun) (1571–1641) был крупным дельцом, что никогда не забывают подчеркнуть современные критики; кроме того, он являлся членом комитета Ост-Индской компании; благодаря своим способностям и силе характера он добился значительного авторитета далеко за пределами делового сообщества. Если бы в данной книге нас интересовали доктрины и экономическая политика сами по себе, то нам следовало бы поставить его очень высоко. Отметим его работу *Discourse of Trade from England unto the East Indies...* (1621); это важный вклад в полемику относительно Ост-Индской компании; работа перепечатана обществом Facsimile Text Society (1930). Вспомним также книгу, упомянутую в тексте: *England's Treasure by Forraign Trade: Or, The Ballance of our Forraign Trade is the Rule of our Treasure*. Это плохо систематизированный сборник работ, написанных предположительно около 1630 г. и опубликованных в 1664 г., уже после смерти автора, его сыном Джоном Маном. Сборник несколько раз перепечатывался, например в издании Эшли (*Ashley. Economic Classics*. 1895).

назвать удачным обстоятельством, однако она не является и полностью неза заслуженной. Фактически нам уже пришлось упомянуть ее несколько раз. В широких рамках книги автор с вполне здравых позиций, но без особой глубины или оригинальности рассматривает самые разные вопросы — от рыбного промысла до эмбарго на вывоз золота; связующей нитью повествования является то, что, используя удачное высказывание профессора Джонсона, мы можем назвать заботой о «создании производительной силы».<sup>15</sup> Однако этот аспект охватывается предыдущими комментариями, в частности относительно протекционистских аргументов. Только стремясь избежать недоразумения, я хочу еще раз подчеркнуть, что экономическая теория, стоящая за аргументами Мана по практическим вопросам, была хотя и примитивной, но все же достаточно здоровой, — рискну еще раз повторить, что это заявление не имеет ничего общего с одобрением или неодобрением империалистических целей или других «фундаментальных принципов».<sup>16</sup> В его аргументах очень мало достойных упоминания аналитических ошибок. Даже особое значение, придаваемое активному сальдо внешней торговли, как мы знаем, может быть оправдано. Наконец, ошибочные положения не только могут быть изъяты, они в большинстве случаев, особенно в работе Мана, связаны с другими положениями, которые ограничивают их применение, а иногда даже противоречат им. Приведу наиболее важные примеры из работы Мана: его признание необходимости экспортировать время от времени золото и серебро<sup>17</sup> и его признание (оно, кажется, ускользнуло от внимания некоторых критиков) того факта, что в конце концов политика, нацеленная на постоянное активное сальдо, обречена на поражение,

<sup>15</sup> Johnson E. A. J. Some Origins of the Modern Economic World. 1936. P. 98.

<sup>16</sup> Возможно, следует объяснить, почему, вопреки своим намерениям, изложенным в части I, я постоянно обращаюсь к экономической политике и соответствующим рекомендациям. По мере нашего продвижения вперед я буду обращаться к ним все реже и реже. Однако при обсуждении работ «меркантилистов» рекомендации и «практические» аргументы представляют единственную возможность «прощупать» находящийся в зачаточном состоянии фонд теоретических знаний.

<sup>17</sup> Конечно, критики считают, что это положение легко отменить, указав, что автор защищал только экспорт серебра Ост-Индской компанией. Однако важнее то, что его аргументация относительно вывоза драгоценных металлов, которая действительно основывалась на реэкспорте серебра, ввезенного из Индии, и других факторах, которые могли бы изменить направление потока драгоценных металлов на обратное и, может быть, привести к более важным последствиям, есть не более чем оговорка, не затрагивающая самого принципа. Нам также известно, что прогресс анализа, содержащийся в этом положении, был ранее осуществлен Лаффемасом и Серрой.

так как в конечном счете она приведет к росту цен на внутреннем рынке.<sup>18</sup>

Упомянутые ошибки сосредоточены в одном тезисе, который может быть сформулирован на трех разных уровнях: 1) активное сальдо или дефицит торгового баланса *измеряет* выгоды или потери страны в результате осуществляемой ею внешней торговли; 2) активное сальдо или дефицит торгового баланса — это то, в чем *закключаются* выгоды или потери, связанные с внешней торговлей; 3) активное сальдо или дефицит торгового баланса является *единственным* источником выгод или потерь для нации в целом. Были сделаны все три заявления, каждое из которых является ошибочным. Идея, согласно которой одно количество измеряет другое количество, не поддающееся непосредственному измерению, вряд ли легко придет в голову необразованному человеку. Следовательно, мы едва ли столкнемся с открытой формулировкой тезиса 1, и я включил его в текст только потому, что он представляет смягченную и оправданную в некоторых случаях интерпретацию утверждения 2. В качестве иллюстрации можно привести работы Фортри и Коука.<sup>19</sup> Второе утверждение, конечно,

<sup>18</sup> Таким образом, Ман использовал количественную теорию в той мере, в какой это требовалось для осуществления его задачи. Учитывая это, а также сказанное нами ранее в связи с работой Малина, нет необходимости что-то добавлять по поводу обвинения английских «меркантилистов» в том, что, несмотря на вклад Бодена, они как группа еще не открыли упомянутую теорию (это обвинение справедливо для испанских *politicos* первой половины XVII в.). Интересно также отметить, что в отличие от некоторых экономистов XIX в., считавших себя намного выше их, «меркантилисты» понимали важность периода времени, в течение которого рост ликвидных средств без роста цен окажет стимулирующее влияние на деловую активность. Ясное изложение данного вопроса можно найти в трактате, не заслуживающем похвал в других отношениях: *Hodges J. Present State of England. 1697.*

<sup>19</sup> Сэмюэл Фортри, совершенно незначительный автор, привлек к себе много внимания своим памфлетом (*Fortrey Samuel. England's Interest and Improvement... 1663*), где он опубликовал цифры (совершенно вымышленные), касающиеся торговли Англии с Францией; согласно этим сведениям, Англия экспортировала во Францию товары на сумму 1.000.000 фунтов стерлингов, а объем импорта из Франции составил 2.600.000 фунтов. Фортри считал, что «убыток» для Англии составил 1.600.000 фунтов. Подобное утверждение можно рассматривать как прекрасный пример тезиса 1, при условии, что подобному автору можно приписать какую-либо ясную идею. Но даже более значительный автор, о котором мы упомянем вновь, Роджер Коук (наибольший интерес для нас представляют его работы *A Discourse of Trade... 1670* и *England's Improvements... 1675*), будучи напуган цифрами Фортри, позволил себе по неосторожности сделать такое же заявление, а именно, что «если потребление ввезенных вещей превышает по стоимости экспорт вещей, то потеря будет равна этому превышению». Разумеется, нельзя предполагать, что подобная ошибка имела место всякий раз, когда авторы употребляли слова «потеря» <loss> и «выгода» <gain>. Во-первых, эти слова могут иметь прямое значение,

не скрывается за каждым тезисом о реальных или воображаемых преимуществах активного сальдо торгового баланса, и его нелегко найти в работах более или менее значительных авторов. Однако к ним, по-видимому, относятся Мисселден и Ман и, возможно, даже Петти, если мы решим принять всерьез весьма неудачный отрывок. Что касается мелкой сошки, то изречения, гласящие, будто всякий экспорт означает выгоду, а всякий импорт — потерю, были в то время таким же общим явлением, как и среди американских сенаторов-протекционистов в XIX в. и даже позднее. Третье утверждение является наихудшим. Поскольку ни один здравомыслящий человек не сможет с легким сердцем приписать подобную нелепость автору, обнаружившему какие-либо признаки способности рассуждать здраво, и поскольку неадекватная формулировка может легко сделать ее неотличимой от безобидного утверждения, что для Англии XVII в. расширение международной торговли означало путь к величию (чисто риторическое преувеличение, более распространенное во времена эвфуизма,\* маринизма\*\* и гонгоризма,\*\*\* чем сегодня), то возникает соблазн отрицать существование такого тезиса. Причина, по которой мы не можем это сделать, заключается не столько в том факте, что некоторые примеры довольно трудно поддаются благожелательной интерпретации, сколько в том, что предпринятые попытки анализа, если бы они оказались успешными, привели бы к формулировке третьего тезиса наряду с двумя первыми.

Обычно эти попытки исходили из аналогии. Наибольшее влияние оказала версия Мана, хотя она и не была первой (а затем ее повторил и Кэри). Если индивид добавит часть своего годового дохода к деньгам, находящимся в его сундуке, — при условии,

---

например когда мы говорим, что Банк Англии «пострадал от потери золота». Это особенно относится к тем случаям, когда «прибыль» и «потери» связаны с «сокровищем», а под этим словом обычно, хотя и не всегда, подразумевались только золото и серебро. Во-вторых, не следует забывать, что, хотя наш тезис некорректен в общем смысле, имеются особые случаи и значения, где он корректен или где содержащаяся ошибка не слишком велика. В связи с этим особенно важно помнить, что писатели-«меркантилисты» в большей степени, чем их последователи, имели в виду конкретные ситуации.

\* <Эвфуизм — напыщенный стиль, принятый в Англии при дворе Елизаветы I под влиянием романа Дж. Лири «Эвфус» (*Lyly J. Euphues*. 1580)>.

\*\* <Маринизм — витиеватый стиль, получивший свое название по имени родившегося в Неаполе итальянского поэта Джамбаттисты Марино или Марини (*Giambattista Marini*; 1569–1625 г.), прозванного «il Cavalier Marino»>.

\*\*\* <Гонгоризм — подражание вычурному стилю испанского поэта Луиса де Гонгора-и-Аргота (*Luis de Góngora y Argota*; 1561–1627), родившегося в Кордове>.

отметим, что другие не поступят так же, — то он с каждым годом будет становиться все богаче; если страна достигает активного сальдо торгового баланса и получает в результате приток золота и серебра, она поступает точно так же. Следовательно, страна станет богаче ровно на величину достигнутого превышения экспорта над импортом. Давайте выберем другую аналогию и тем самым удалим из данного рассуждения некоторые моменты, вызывающие наибольшее возражение. Допустим, мы рассматриваем страну в целом как коммерческую фирму. Можно сказать, что отдельная фирма с каждым годом становится богаче или беднее на сумму прибылей или убытков. Далее, допустим, что платежный баланс для страны является тем же, чем является обычный баланс для отдельной фирмы, так что его сальдо соответствует счету прибылей и убытков для фирмы. Если платежный баланс не содержит ничего, кроме статей торгового баланса, то страна каждый год будет становиться богаче или беднее на сумму активного или пассивного сальдо торгового баланса. Из этой аналогии можно сделать два вывода: во-первых, данный аргумент отнюдь не является бессмысленным; во-вторых, если принять его всерьез, то отсюда вытекали бы все три наших утверждения, а не только первые два.<sup>20</sup>

Наличие подобной путаницы можно подозревать, даже если она и не выражена явно, всюду, где подчеркивается важность активного сальдо платежного баланса при отсутствии особого мотива, например денежного стимулирования экономического процесса. Существует, однако, и другая линия рассуждений, способная привести к двум первым тезисам и даже завлечь автора в ловушку третьего. Некоторые первоклассные авторы, такие как Коук и Петти,<sup>21</sup> придерживались этих аргументов, но яснее всего они были развиты Локком.<sup>22</sup> Если мы определим выгоду для страны как рост ее относительной доли в реальном богатстве мира

---

<sup>20</sup> Следует привлечь внимание к факту, упущенному по крайней мере одним критиком, что фраза: «Нация не обогащается за счет закупок с целью потребления внутри страны» — не обязательно содержит в себе тезис 3, поскольку она может означать всего лишь следующее: если *A* покупает у своего соотечественника *B* товары для собственного потребления, то в центральной бухгалтерии страны счет *A* будет дебетован, а счет *B* кредитован на равные суммы; однако если *B* продаст товары иностранцу *C*, то счет *B* будет кредитован без всякой компенсирующей дебетовой записи; эта банальность способна предрасполагать к ошибке, но сама по себе ее не содержит.

<sup>21</sup> Однако я не думаю, что Петти (*Verbum Sapienti*. Ch. X) имел в виду что-то заслуживающее энергичного возражения.

<sup>22</sup> См. работу Локка *Some Considerations...* (1692), которая обсуждалась выше (см. глава 6, § 2). Он также прибегает к только что рассмотренной аналогии.

и если мы предположим, что все страны пользуются полным серебряным стандартом при приблизительно постоянном запасе серебра в мире, то относительная доля данной страны в мировом богатстве будет стремиться стать пропорциональной ее относительной доле в существующем запасе серебра. «Богатство заключается не в том, чтобы иметь больше золота и серебра, а в том, чтобы иметь большую долю его, чем остальной мир» — вот почему определенное количество серебра, приобретенное путем достижения активного сальдо торгового баланса, увеличивает богатство нации больше, чем добыча того же самого количества серебра из рудника. Абстрагируясь от последней возможности, мы можем даже сказать, что благоприятный торговый баланс является для любого государства единственным средством увеличения его доли в мировом богатстве, единственным возможным источником дополнительного «относительного богатства»; это положение не хуже многих, преподаваемых сегодня. Поразительным примером причудливости развития человеческой мысли является тот факт, что из всех исследователей именно Локк выдвинул этот аргумент. Значительно менее удивительно, что его сторонником был и Кольбер.<sup>23</sup>

[е) Три ошибочных тезиса]. Прежде чем пойти дальше, необходимо кратко коснуться трех менее важных пунктов. Во-первых, приемлемость только что представленного аргумента доказывала бы правоту идеи, что выгода одной страны оборачивается потерей для другой. В действительности эта идея просто вытекала бы из данного аргумента. Однако, как бы мы ни нуждались в подобной рационализации идеи, которая была очень популярна в то время и никогда не исчезала из поля зрения, мы вовсе не обязаны делать вывод, что она была обоснована именно подобным образом. Учитывая примитивность всей экономической мысли в тот период, мы, вероятно, сможем более убедительно объяснить происхождение упомянутой идеи, связав ее с соответствующей идеей об индивидуальном обмене, согласно которой выгода одного человека — это потеря для другого. Начиная с Аристотеля и далее философы развивали эту мысль, давая все более точное определение той выгоды, которая заслуживала запрета, а именно избытка над справедливой ценой. Но какое бы определение ни давали этой выгоде, люди всегда ощущали, как они ощущают это и сейчас, что торговец получает выгоду и обогащается за счет надувательства и эксплуатации других людей. В работах консультантов-администраторов всех типов можно найти множество примеров,

<sup>23</sup> См. работу Э. Ф. Хекшера: *Heckscher E. F. Mercantilism. Vol. II. P. 27.*

свидетельствующих о том, что они более или менее разделяли этот взгляд, но постепенно отходили от него. Немногие подписались под этой точкой зрения так явно, как Монкретьен, утверждавший ее как аксиому (*Heckscher. Mercantilism. Vol. II. P. 26*); в то же время мало кто преодолел ее полностью, как Барбон, — основная масса литературы лежит между двумя этими крайностями. Это медленное разложение одного из старейших элементов популярной экономической мысли является одним из наиболее важных моментов, относящихся к истории анализа XVII в., которые следует запомнить.

Теперь, если мы, с одной стороны, будем придерживаться принципа, согласно которому выгода одного человека — это потеря для другого, а с другой стороны, в соответствии с обычаем того периода будем проводить аналогию между торговлей стран и отдельных индивидов, то придем непосредственно к другому обоснованию ошибочного представления, будто выгода одной страны должна обернуться потерей для другой.

Во-вторых, отсюда непосредственно вытекает возможное объяснение другого ошибочного тезиса, который, вероятно, стоит за многими версиями аргументации, относящейся к торговому балансу. Если мы отождествим выгоду, одновременно являющуюся чьей-нибудь потерей, с прибылью фирмы, то все подобные прибыли взаимно погасятся в объединенном балансе всех фирм и домохозяйств страны, за исключением прибылей, полученных в международной торговле. Эти прибыли не будут погашены, поскольку потери иностранцев не берутся в расчет. Сделав следующее дикое допущение, что эти прибыли складываются в активное сальдо торгового баланса, мы сможем довершить пирамиду бессмыслицы утверждением, что последнее представляет собой общую сумму чистых, т. е. некомпенсированных, частных прибылей всей страны.

Однако я не готов приписать такую нелепую аргументацию кому-нибудь из «меркантилистов» достаточно высокого уровня, взгляды которых достойны обсуждения, хотя некоторые из них приблизились — явно или неявно — к опасной черте. Я исхожу из того, что консультанты-администраторы — что бы они ни думали при этом — не писали главным образом о прибылях отдельных лиц. Даже в тех случаях, когда они пользовались такими терминами, как «прибыли» от международной торговли, они имели в виду общенациональную выгоду, которая не отождествлялась с интересом извлечения прибыли. «Меркантилисты» не считали также, что индивидуальные действия, направленные на получение прибыли, обязательно или обычно соответствуют

общественным или общенациональным интересам. Этот тезис в духе *laissez-faire* был вначале совершенно чужд их мышлению. Они исходили из того, что предпринимательское поведение направлено на получение прибыли (например, их рекомендации были в основном обусловлены стремлением повлиять на ожидаемые прибыли), но при этом не только допускали возможность столкновения частных интересов с интересами общества, но и считали подобные столкновения нормальными, а согласованность интересов — исключительным явлением. Именно поэтому большинство из них считали необходимость государственного регулирования чем-то само собой разумеющимся, а обсуждали только его задачи и методы. Правда, они медленно прокладывали путь к выработке другой точки зрения, и, как мы сейчас увидим, в этом заключается одно из их достижений. Но в основном они были плавовиками, стремящимися избежать того, что они считали антинациональными последствиями нерегулируемого предпринимательства независимо от степени его прибыльности для отдельных лиц. Например, когда они рекомендовали прекратить ввоз изюма через Венецию, их не заботило, что в результате исчезнет возможность получения прибылей. В данных обстоятельствах едва ли необходимо настойчиво возлагать на них ответственность за эту конкретную аналитическую ошибку.

В-третьих, до сих пор ничего не было сказано о знаменитом «смешении понятий богатства и денег». Ни одна из упомянутых выше ошибок анализа не означает и не подразумевает подобного смешения. Более того, насколько мне известно, у «меркантилистов» нельзя найти утверждений, какими бы ошибочными они ни были, которые невозможно было бы объяснить без помощи допущения, что богатство тождественно деньгам, слиткам или «сокровищам», или, иначе говоря, что «меркантилисты» путали деньги с тем, что на них можно купить. Поэтому у нас нет оснований напрасно занимать место в книге обсуждением данного совершенно неинтересного вопроса. Однако читатели могут почувствовать себя вправе получить некоторые пояснения по поводу темы, ставшей стандартной в историографии экономической науки, с тех пор как Адам Смит подал дурной пример своей неумной критикой «коммерческой, или меркантилистской, системы».<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> См.: «Богатство народов». Книга IV, гл. 1. На самом деле критика Адама Смита подлежит еще более суровому осуждению. Безусловно понимая, что данное конкретное обвинение нельзя доказать, он, строго говоря, не выдвигал его, но постепенно внедрял таким образом, что у читателей поневоле сложилось определенное впечатление, ставшее потом весьма распространенным. За исключением авторов, в особенности немецких, которых можно было бы назвать постмерканти-

В 1549 г. анонимный автор,<sup>25</sup> намереваясь «объявить средства и политические меры, направленные на приведение королевства в состояние зажиточности и процветания», счел необходимым определить, в чем именно заключается это процветающее состояние. По его мнению, оно заключается «главным образом в том, чтобы быть сильным, отражать нападения врагов [то, что это положение выдвигается первым, интересно для нас еще и с другой точки зрения. — Й. А. Шумпетер], не быть раздираемым гражданскими войнами; люди должны быть зажиточными [курсив автора]» и не должны страдать от голода и недоедания; последние слова явно служили пояснением понятия «зажиточный». Он считает также, что необходимо добиваться активного сальдо торгового баланса с целью ввоза слитков серебра и золота. Обо всех авторах XVII в., таких как Серра, Мисселден, Ман («богатство заключается во владении вещами, необходимыми в мирной жизни»), Чайлд («множество орудий или материалов»), Кэри, Коук, Яррантон и, разумеется, Барбон, Дэвенант и Петти, не говоря уже о сторонниках выпуска бумажных денег и создания банковских схем, можно сказать, что, какими бы ни были их недостатки и как бы они ни преувеличивали важность увеличения «сокровищ», богатство они определяли, явно или неявно, во многом так же, как и мы сами. *Locus classicus* <классический пример — лат.> мы находим в трактате, подписанном Папильоном: «Верно, что обычно мера запаса или богатства исчисляется в деньгах, но это делается скорее в воображении, чем в действительности: об одном человеке говорят, что он стоит десять тысяч фунтов, хотя, возможно, у него в наличии нет и ста фунтов, но его имущество, если он фермер, состоит из земли, зерна или скота и сельскохозяйственного инвентаря...».<sup>26</sup> И все же такие фразы, как «богат-

---

листами или неомеркантилистами, мы можем датировать начало реакции на критику А. Смита статьей У. Каннингема (*Cunningham W. Adam Smith und die Mercantilisten//Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*. 1884).

<sup>25</sup> Мы встречались с этим автором раньше: *Polices to Reduce...//Tudor Economic Documents*. Vol. III. P. 313.

<sup>26</sup> См.: *Papillon Thomas. The East-India Trade a Most Profitable Trade to This Kingdom*. 1677; цитирую на основании работы Хекшера (*Mercantilism*. Vol. II. P. 191). Я книгу не читал. Профессор Вайнер (*Viner*. Op. cit. P. 17–18) предлагает список цитат в подтверждение своего тезиса о том, что в действительности имело место смешение понятий «между количеством денег, с одной стороны, и степенью богатства, процветания, прибыли, выгоды, бедности, убытков — с другой». Ради справедливости как по отношению к цитируемым авторам, так и к самому профессору Вайнеру следует указать, что он метит в более крупную цель. Тем не менее знаменательно, как читатель может легко удостовериться, что ни одна цитата не предполагает смешения (или отождествления) богатства с деньгами или слитками золота и серебра, хотя некоторые из этих цитат наводят на мысль о других ошибках, таких как сформулированные выше три тезиса.

ство — это деньги», встречаются часто.<sup>27</sup> Иногда их можно легко игнорировать, рассматривая просто как обороты речи <façons de parler>. Ведь говорит же Миллз, что «хотя деньги — это лучи, а обмен — свет, но слитки золота и серебра — это солнце» (цитату привел Селигмен в статье Bullionists). Должны ли мы сделать вывод, что, по его мнению, слиток и солнце — одно и то же? В других случаях, может быть, необходимо вспомнить, что, хотя мы имеем дело с примерами или попытками анализа, это примитивный анализ, методы которого лишь немногим отличаются, а на более низких уровнях незаметно сливаются с рассуждениями дилетантов, в которых все еще сохраняется культ кладов золота и серебра, хотя британский военно-морской флот уже прогнал стерегущего клад дракона с привычного места. Но это все.

### [5. Прогресс в области анализа начиная с последней четверти XVII в.: от Джозайа Чайлда до Адама Смита]

Но вернемся на магистраль развития экономического анализа, которая, как мы уже знаем, круто пошла вверх во второй половине и особенно в последней четверти XVII в. Помня о том, что было сказано выше о других аспектах аналитической работы тех десятилетий, мы добавим то, что остается сказать о специфически «меркантилистском» ее аспекте. Работа, которую предстоит рассмотреть в данном параграфе, значительно важнее, чем та, что

---

<sup>27</sup> Читатель, желающий получить примеры таких высказываний, может найти маленькую их подборку у Хекшера (Mercantilism. Vol. II. P. 186 ff), где есть даже цитата из Бодэна. Особый интерес представляет его обсуждение упомянутой выше работы Britannia Languens (1680), поскольку творчество этого автора представляет собой особый случай, где подобные обороты речи встречаются не случайно, и мы не можем их опустить, не изменив сути аргументации. Он вновь и вновь настаивает на том, что богатство — это не *товары*, а только сокровище, а бедность не что иное, как отсутствие сокровища. Но даже с учетом этого можно утверждать, что: а) его аргументы или некоторые из них имеют смысл независимо от этого утверждения; б) книга слабая, она не на уровне трудов Мана или Чайлда; в) хотя я полагаюсь на авторитет профессора Хекшера, мой собственный опыт в изучении литературы не позволяет рассматривать это высказывание как «вполне типичное» (правда, профессор Хекшер делает оговорку, добавляя: «для большей части меркантилистской литературы», а следовательно, оно может означать то, что и я не стал бы отрицать); г) следует принять во внимание тенденцию преобладающих систем мышления порождать аномалии; данный тезис полностью подтверждается экономической литературой за последние десять лет.

была проделана за предшествующие десятилетия, и состоит по большей части в критическом обзоре последней, составляющем основное аналитическое достижение меркантилистов. Мне кажется, что честь первопроходца должна быть отдана Чайлду.<sup>1</sup> Из других имен достаточно упомянуть Барбона, Кэри, Коука, Дэвенанта, Петти, Поллексфена,<sup>2</sup> Яррантона и еще одно имя, которое, возможно, шокирует некоторых читателей, не ожидающих найти его в данном списке, — это знаменитый фритредер Норт!<sup>3</sup> Необходимо отметить следующие основные вопросы.

Во-первых, Чайлд — а затем и другие приблизительно в то же время, но в основном после него (в особенности Поллексфен) — сделал из своей теории денег вывод, что поскольку деньги являются товаром, как «вино, масло, табак, ткани и т. д.», то их так же можно экспортировать с пользой для государства, как и любой другой товар.<sup>4</sup> Если развить это положение надлежащим образом, то оно лишит основания любую точку зрения, придающую перво-степенное значение торговому балансу как таковому. Однако

---

<sup>1</sup> Сэр Джозайя Чайлд (1630–1699) не был автором систематических трактатов. Его вклад в экономическую науку касается огромного числа тем, поэтому его совокупное значение легко упустить из виду, что и произошло на самом деле. Кроме того, он был видным и очень богатым дельцом, что предопределило его судьбу как экономиста. Больше, чем другие, он прослыл «апологетом», чьи взгляды могут представлять интерес как «свидетельство о деловой жизни и общественном мнении того времени», но не могут претендовать на место в истории экономической науки. Подобная оценка в наиболее типичной форме выражена в *Encyclopaedia of the Social Sciences*. Автор статьи «Чайлд» Генри Хиггс мог бы лучше разобратся в творчестве этого экономиста.

<sup>2</sup> Джон Поллексфен (*Pollexfen John*. 1) *A Discourse of Trade, Coyn, and Paper Credit, and of Ways and Means to Gain and Retain Riches*. 1697; 2) *England and East India Inconsistent in their Manufactures*. 1697). Названия публикаций других перечисленных авторов, имеющих отношение к данному вопросу, были приведены раньше.

<sup>3</sup> Сэр Дадли Норт (1641–1691; *North Dudley*. *Discourses upon Trade*. 1691; изд. под ред. Дж. Х. Холландера в 1907 г.). Интересно отметить, насколько четко он различал результаты анализа и «обычные распространенные воззрения, которые можно смело назвать чепухой и вздором» (предисловие); однако он был не профессором, а купцом и позднее государственным служащим.

<sup>4</sup> Нельзя путать этот тезис с кажущимся аналогичным аргументом Мана, приведенным ранее. Утверждение Чайлда не только идет дальше, но и означает нечто совершенно другое. Оно не было, как у Мана, мотивировано исключительно возможностью обеспечить рост импорта в результате подобного экспорта. С другой стороны, мы должны предостеречь от возможной неправильной интерпретации: кто-то может увидеть в данном отрывке предвосхищение принципа перелива золота, разработанного Рикардо, согласно которому золото будет утекать из страны, если станет относительно наиболее дешевым товаром. Но Чайлд не усматривает в экспорте золота или серебра коммерческой выгоды, он только утверждает, что в результате экспорта золота и серебра не пострадает общенациональный интерес. (Монетарная теория Чайлда рассматривается в главе 6, § 2b и 7a.)

Чайлд не предпринял любовой атаки, оставив это, насколько мне известно, на долю Барбона. Но он сделал подобную атаку неизбежной. Подобным же образом из его утверждения логически вытекают два вывода, которые сам он не сформулировал. Один из них, заключающийся в том, что поскольку вывоз золота и серебра не должен вызывать беспокойства, то, следовательно, их ввоз (рост количества денег в обращении) не должен радовать, был сделан Барбоном. Другой вывод, гласящий, что импорт слитков золота и серебра добавляет к богатству нации не больше, а то и меньше, чем ввоз сырья (заметим, кстати, что это не является несомненным во всех смыслах), был сделан, хотя несколько *post festum* <задним числом>, Кэри в 1696 г. Процесс анализа, который иллюстрируется данными примерами, привел также к устранению ранее обсуждаемых ошибок. Можно сказать, что с ними было покончено к концу XVII в. Правда, их скорее отбросили, чем открыто от них отказались; этим объясняется тот факт, что отдельные фразы, заставляющие предполагать существование ошибок, по-прежнему встречались даже у таких авторов, как Кэри, Дэвенант, Петти, Яррантон, и у более поздних, таких как Харрис, которые, в сущности, были совершенно свободны от подобных заблуждений.<sup>5</sup> Верно также и то, что на уровне обыденного

<sup>5</sup> Любопытно, что «меркантилисты» настолько ясно поняли опасность преувеличения важности денежных запасов, что сами стали пользоваться лозунгом об ошибочности отождествления богатства с деньгами. Так, в памфлете, приписываемом Дэвенанту, Поллексфен подвергся нападкам именно на этом основании, хотя он в своей работе *Discourse...* ясно определяет богатство в терминах благ, а в *England and East India* осуждает импортную политику компании просто потому, что импортируются «легкомысленные» товары, которые, по его мнению, не могут быть реэкспортированы, что опровергает аргументы Дэвенанта (и других) в пользу этой торговли. Однако данное соображение, независимо от того, насколько оно хорошо с точки зрения экономического анализа, не имеет ничего общего с отождествлением денег и богатства. Тот же Поллексфен был осужден профессором Вайнером (цитируемое произведение, стр. 18) за высказывание, согласно которому «золото и серебро являются единственным или наиболее ценным сокровищем нации». Но почему это утверждение нельзя истолковать в том смысле, что золото и серебро служат «запасом ценности» и лучше всего подходят для этой роли? Подобные заявления можно прочесть в разделе о деньгах большинства учебников XIX в. Такая интерпретация вполне адекватна смыслу текста: разумеется, поскольку речь идет о «запасе ценностей», только слиток золота или серебра сможет восполнить потерю аналогичного слитка.

С Поллексфена, на которого обычно ссылаются, иллюстрируя изложенные выше взгляды, следует снять несправедливые, по моему мнению, обвинения. Можно сослаться на другой пункт, где он имел несчастье обидеть критиков-фритредеров. Он «все еще» полагал, что имеет смысл добиваться сбавлирования торговли с каждой отдельной страной, т. е. придерживался точки зрения, от которой, к радости этих критиков, наконец, отошли Чайлд, Барбон и даже Ман. Но если использовать методы планирования и регулирования

сознания все эти идеи жили до тех пор, пока их не сменили «либеральные» лозунги, на этом уровне ничем не превосходившие в интеллектуальном плане своих предшественников.<sup>6</sup>

[а) Концепция автоматического механизма]. Во-вторых мы видели, что концепция автоматического механизма, т. е. механизма, который, если предоставить ему возможность работать в отсутствие слишком сильных нарушений экономического процесса, сможет гарантировать в течение длительного периода равновесное соотношение между денежными массами, уровнями цен, доходами, процентными ставками и т. д. разных стран,<sup>7</sup> так или иначе присутствовала в поле зрения каждого «меркантилиста», которого стоит упомянуть: Серра представлял себе действие этого механизма довольно подробно, Мисселден и Ман лишь слегка его касались, а Малин почти полностью разработал концепцию. Задним числом можно подумать, что рассматриваемые выше достиже-

---

(разумно ли это — другой вопрос), мнение Поллексфена, как указывалось ранее при обсуждении взглядов Малина, вполне разумно, как и его рекомендация установить верхний предел экспорта денег в Индию. Следовательно, нет причин удивляться живучести этой или родственных ей идей: анонимное произведение *Short Notes and Observations in Point of Trade* (1662) совершенно справедливо, с точки зрения «плановика», осуждало ввоз предметов роскоши и товаров не первой необходимости; был прав и Ральф Мэддисон (*Englands Looking In and Out*. 1640), утверждая, что контроль следует распространять на «каждый вид торговли» <every particular trade>.

<sup>6</sup> В качестве иллюстрации как данного тезиса, так и обоснования нашего метода оценки и определения исторического места меркантилистских, а также других авторов позвольте мне привести более поздний пример того, что большинство людей сочло бы типично меркантилистскими ошибками. В работе 1749 г. Л. А. Муратори (*Muratori L. A. Della pubblica felicità*. Ch. XVI) выдвигает следующий основной принцип, который должен определять экономическую политику: из государства должно уходить как можно меньше денег, а ввозиться должно как можно больше денег.

Вскоре (в 1751 г.) Галиани подверг критике этот вывод. См. также работу А. Грациани (*Graziani A. Le Idee economiche degli scrittori emiliani e romagnoli*. 1893). Я не пытаюсь смячить очевидную неправоту этого тезиса «понимающей» интерпретацией. Я согласился бы с каждым резким эпитетом профессора Вайнера, если бы они относились только к случаям, подобным этому. Но я считаю, что для правильного понимания истории экономической науки важно подчеркнуть низкий уровень таких положений (конечно, относительно стандартов того времени). Дополнительная иллюстративная ценность данного случая заключается в том, что Муратори был весьма известен в других областях. В частности, он занимал видное место как историк экономики. Но он не умел обращаться с аналитическим аппаратом, эволюция которого является темой данной книги, а потому, касаясь тем, в которых нельзя разобраться, не владея этим аппаратом, писал банальности или бессмыслицу. Такого рода бессмыслица не характерна для работ тех его современников, кто умело пользовался существовавшим в то время аналитическим аппаратом. Если бы мы привели здесь взгляды Муратори по упомянутым темам, это только затуманило бы общую картину.

<sup>7</sup> См. об этом сноску, относящуюся к платежному балансу (§ 4, сноска 6).

ния в области экономической науки могли бы составить вполне законченную теорию автоматического механизма, стоило лишь скоординировать и усилить уже высказанные тезисы. Но, как показывает история любой науки (особенно наглядным примером служит история термодинамики), удивительно трудно достичь подобной окончательной формулировки, а первые попытки на пути к ней всегда неудачны. Ни один из упомянутых авторов не сумел сформулировать теорию автоматического механизма. Одну из попыток предпринял Норт. Он понимал, что существует такой механизм, в результате действия которого каждая страна привлечет к себе «определенную сумму» денег, достаточную для развития экономического процесса (при условии корректировки и установления соответствующего уровня цен, однако Норт не добавил эту оговорку). Но он потерпел полную неудачу при попытке описать этот механизм. Локку повезло больше. Пытаясь описать, что произойдет, если половина денег, имеющихся в какой-либо стране, будет внезапно изъята, он даже использовал прием, примененный позднее Юмом; он понял, что при этом сократится импорт и возрастет экспорт. Однако он не сделал вывод, который нам представляется очевидным (или казался таковым еще двадцать лет тому назад). Но чтобы воспринимать вещи в правильной исторической перспективе, следует отдавать себе отчет в том, что, хотя до середины XVIII в. эта крепость не сдавалась окончательно, в итоге она пала не в результате новой атаки с другой стороны или иного метода наступления. Победители просто расширили брешь, проделанную ранее «меркантилистами». Это легко показать, сделав краткий обзор последующих достижений в экономической науке, что одновременно поможет нам не только подойти к «Богатству народов», но и продвинуться дальше, к началу дискуссии, вызванной прекращением размена бумажных денег на золото в 1797 г.

Следующий значительный шаг вперед был сделан Жервезом.<sup>8</sup> Он добавил никогда ранее однозначно не выдвигавшийся

<sup>8</sup> Я не упомянул работу Саймона Клементы (*Clement Simon. A Discourse of the General Notions of Money, Trade and Exchanges... 1695*), чей вклад получил высокую оценку Энджелла (*Angell J. W. The Theory of International Prices. P. 21 ff.*). Невелика заслуга описывать механизм золотых пунктов <specie-point>, отлично понятый за сто с лишним лет до этого. Однако заслуга Клементы заключалась в правильном описании последовательности событий, вызываемых девальвацией до тех пор, пока цены на внутреннем рынке не приспособятся к ней: слитки уйдут за границу, экспорт возрастет, импорт уменьшится. Клемент не был первым, кто это заметил, но он, насколько мне известно, первым дал сжатое изложение части конкретного механизма с полным пониманием его важности. Возможно, признания заслуживает и книга в целом, а если мы учтем ее наряду с работами других авторов, чье творчество мы рас-

тезис, согласно которому рост «кредита» (скажем, банкнот) приведет к росту дохода и потребления, а следовательно, к снижению экспорта и увеличению импорта и таким образом вызовет (в точности как это произошло бы в результате увеличения количества денежных металлов) отток этих металлов, что в итоге вынудит сократить кредит. Это важный вклад в науку, особая заслуга которого заключается в подходе к проблеме «с точки зрения дохода». Разумеется, данный тезис подразумевает полное понимание основного механизма, о котором мы ведем речь, так как он просто развивает конкретное следствие, вытекающее из него. Но фактическое изложение Жервезом автоматического механизма, хотя и превосходит любую работу, опубликованную ранее, все же далеко от того, чтобы считаться удовлетворительным. Чтобы оно стало таковым, было бы достаточно вставить в работу Жервеза несколько отрывков из Малина. Последующие стрелки продвигались все ближе и ближе к яблочку мишени. Наиболее выдающимися из тех, кто попал в цель, были Кантильон и Юм.<sup>9</sup> Тот факт, что эссе

смотрели, то станет еще яснее, что все элементы того, что стало «классической» теорией, были разработаны до 1700 г.

Маленькая книжка Исаака Жервеза (*The System or Theory of the Trade of the World. Treating of the Different Kinds of Value. Of the Ballances of Trade. Of Exchange. Of Manufactures. Of Companies. And Shewing the Pernicious Consequences of Credit, and that it Destroys the Purpose of National Trade.* 1720), достоинства которой лишь слегка снижены некоторыми лягусками (например, Жервез считает, что драгоценные металлы должны распределяться по странам в соответствии с их населением, но отвечает на очевидное возражение весьма удовлетворительным образом), была, мне кажется, открыта покойным профессором Фоксуэллом, назвавшим ее «одной из наиболее ранних формальных систем политической экономии, выдвигающей наиболее убедительные практические аргументы в пользу свободной торговли». Благодаря профессору Вайнеру эти 34 страницы занимают ныне подобающее им место в истории нашей науки (см.: *Viner Op. cit.* P. 79 ff).

Я пользуюсь случаем, чтобы привлечь внимание к разделу книги профессора Вайнера о «Саморегулирующем механизме распределения металлических денег» (P. 74), который, являясь лучшей частью отличной работы, не только содержит намного более богатый материал, чем мое изложение, но также является одним из наиболее увлекательных эссе, когда-либо написанных на захватывающе интересную тему о *борьбе теории за свое утверждение*. Очень жаль, что в данном разделе, как и в других частях работы, автору не удалось разграничить прогресс в области анализа и продвижение в сторону фритредерства, или, говоря иначе, обозначить разницу между тем, что автор понимал в экономических процессах, и тем, что он думал о них. С аналогичным смешением мы вскоре встретимся вновь, говоря об общей теории международной торговли.

<sup>9</sup> Р. Кантильон написал свою работу около 1730 г.; она ходила по рукам, но в печатном виде появилась только в 1755 г. (*Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en général*). Работа Д. Юма (*Hume D. Of the Balance of Trade// Political Discourse*) была написана в 1752 г., а затем включена в сборник *Essays, Moral, Political and Literary* (изд. 1875. Vol. I. P. 330 ff). Достоинства труда Юма проявляются еще ярче при сравнении с его работами других авторов,

Юма вызвало возражения, говорит в его пользу, как и то, что он, насколько мне известно, добавил несколько совершенно новых пунктов, и то, что в отличие от некоторых экономистов XIX в. он не верил в безусловное функционирование автоматического механизма, хотя ему не удалось четко обозначить различные трения и нарушения, способные повлиять на работу этого механизма.

Достижение Юма в основном заключалось в том, что ему удалось отряхнуть пыль ошибок с «меркантилистского» наследия и собрать воедино отдельные куски этого наследия, получив четкую и отшлифованную теорию.<sup>10</sup> И это все. В течение остальной части столетия не было добавлено ничего более важного. Адам Смит в «Богатстве народов» не пошел дальше Юма, а, скорее, отстал от него. В действительности не столь уж далеким от истины было бы утверждение, что теория Юма, включая его чрезмерное подчеркивание роли движения цен как главного средства адаптации экономического механизма, в основном оставалась неоспоренной до двадцатых годов нашего столетия.

[Й. А. Шумпетер оставил примечание: «Пожалуйста, оставьте чистой остальную часть страницы» — и добавил карандашом в качестве памятки три фамилии: Мелон, Дюто, Галиани.]

[b) Основы общей теории международной торговли]. Остаётся отметить третий момент, касающийся работы нашей группы авторов. Они не только проложили дорогу к теории автоматического механизма перелива золота и серебра, но также вымостили путь к теории автоматического механизма движения товаров. Иными словами, они вышли из того донаучного состояния, когда

---

о которых также можно сказать, что они попали в яблочко. Можно упомянуть две из них: предшествующую труду Юма работу Якоба Вандерлинта (*Vanderlint Jacob. Money Answers all Things. 1734. P. 15* нового издания Дж. Г. Холландера) и работу Джозефа Харриса (*Harris Joseph. Essay upon Money and Coins. 1*), написанную после работы Юма, по крайней мере если исходить из даты ее публикации — 1757 г. То обстоятельство, что эти два сильных автора, не относящиеся, однако, к ведущим экономистам, также смогли «выполнить трюк», только подкрепляет наш тезис.

<sup>10</sup> Никто из тех, кто хотя бы знаком с историей науки вообще, не заподозрит меня в желании преуменьшить важность такого рода достижений. Более того, какая-либо работа могла быть совершенно оригинальной «субъективно», как, например, работа Менгера (см. ниже, часть IV, глава 5, § 1), несмотря на множество предшественников в этой области. Все важные открытия пришлось совершать вновь и вновь. Наконец, возможно расхождение во мнениях относительно действительной степени продвижения вперед авторов XVII в. В любом случае утверждение профессора Энджелла, что Юм «одним ударом разрушил теорию торгового баланса» (*Angell J. W. The Theory of International Prices. P. 26*), бесосновательно. Оно лишь повторяет старое заблуждение XIX в.

протекционистские аргументы не столько имели ошибочную теоретическую базу, сколько вообще ее не имели, и начали закладывать основы общей теории международной торговли, которая обрела форму в последние десятилетия XVIII в. и первые десятилетия XIX в. Логически, хотя и не исторически, мы можем различить два этапа в их движении вперед.

Первый этап состоял в уточнении и разработке первоначальных аргументов. Упомянутые нами авторы осознали тот факт, что немедленные и видимые преимущества, на обеспечение которых направлены протекционистские меры, никогда не являлись чистыми преимуществами или, иначе говоря, на каждый аргумент, описывающий преимущества, имеется контраргумент, касающийся скрытых или невидимых эффектов, многие из которых выступают в виде издержек. Подобные контраргументы подразумеваются в доводах Кэри относительно импорта сырья и промышленных товаров, в доводах Коука относительно ввоза как сырья, так и промышленных товаров, в рассуждениях Коука и Яррантона о дешевизне и изобилии, в утверждении Яррантона о преимуществах, которые приносит государству процветание соседей, а также в часто встречающемся, но не окончательно сформулированном, на мой взгляд, Барбоном тезисе, согласно которому регулирование и ограничения всегда разрушают какой-либо элемент потенциального богатства. Критики имеют или имели обыкновенные говорить, что, вводя подобные аргументы, наши авторы противоречили своим «меркантилистским» взглядам, или частично отрекались от них, или проявляли «эклектизм». Но, с нашей точки зрения (о других умолчим), эти аргументы и подразумеваемые ими оговорки являются просто неизбежным следствием все более успешных попыток увидеть более чем один аспект рассматриваемого случая.

Аналогичные победы были одержаны континентальными авторами того же направления. В частности, нас не должно удивлять, что голландцы были в авангарде общего прогресса. В качестве наиболее выдающихся примеров можно привести Грасвинкеля и Питера де ля Кура.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Вторая часть работы Дирка Грасвинкеля (*Graswinckel Dirk. Placaetboek op het stuk van de Leeftocht* <«Свод мер регулирования, касающихся продовольственных товаров»>. 1651) содержит критический анализ политики, представленной законодательными материалами, собранными в первой части. Взгляды Грасвинкеля на степень вреда, причиненного запретом на вывоз зерна, — практикой, которая в XVIII в. стала всеобщей, — не были новы в 1651 г.; мы встречались с подобными взглядами в работе *Discourse of the Common Weal*, но и тогда они уже не поражали своей новизной. Но Грасвинкель проявил большую проницательность в понимании связанных с этим ценовых механизмов,

Таким образом, постепенно, хотя и совершенно бессистемно, проявились дополнительные и менее очевидные аспекты. Однако среди открывшихся исследователям разрозненных частей экономической реальности одна обладала достаточной силой, чтобы скоординировать все остальные и послужить основной всеобъемлющей теории международной торговли или даже торговли в целом. По-видимому, Чайлд был первым, кто пришел к ясной идее (1668–1670), отражающей простой факт, что товары ищут наиболее выгодные рынки. Говоря словами Дэвенанта, сформулировавшего эту идею в девяностых годах XVII в., имеются определенные «каналы», которые торговля, движимая ожиданиями прибылей, находит сама; другими словами, мотив получения прибыли создает регулирующий принцип для «нерегулируемой» деловой активности — как международной, так и внутренней, и дает результаты, которые, нравятся нам они или нет, являются определенными, а не хаотичными. Утверждения, подразумевающие данный принцип или даже открыто ссылающиеся на него в конкретных случаях, имели место в XVI в. и ранее. Этот принцип, конечно, был хорошо известен схоластам. С другой стороны, он не был полностью разработан до Леона Вальраса, но меркантилистские писатели помогли ему занять ключевую позицию в теории международной торговли.

Ни Чайлд, ни Дэвенант не продвинулись в этом направлении достаточно далеко. Барбон хорошо понял механизм, что позволило ему набросать в общих чертах теорию равновесия в международной торговле товарами, по крайней мере в виде тезиса, утверждающего, — правда, без необходимых оговорок, — что ограничения импорта приведут к сокращению экспорта на соответствующую сумму. Ни у одного автора XVII в. я не могу найти ничего сверх того, что уже было сказано. В частности, очень слабо разработан аргумент о территориальном разделении труда. Конечно, в своей наиболее примитивной форме этот аргумент был известен всем. В XVI в. Армстронг и Хейлс основывали междуна-

---

особенно опережающих изменений цен. Работа Питера де ля Кура (*De la Court Pieter. Interest van Holland...* 1662; 2-е изд. вышло под заглавием: *Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland*, 1669; в английском переводе работа вышла в 1743 г. под заглавием *Political Maxims...* Она ошибочно приписывалась Яну де Витту; мне известен только английский перевод) содержит главным образом аргументацию в защиту промышленной свободы при умеренной таможенной пошлине. Эта аргументация сравнима и в некоторых отношениях превосходит аргументацию Коука 1670 и 1675 гг. Ее достоинство состоит в основном в отсутствии логических ошибок. Оба автора должны были бы занять высокие места в истории экономической мысли или политики. Однако, рассматривая их вклад в развитие анализа, едва ли можно что-то добавить к сказанному.

родную торговлю на том факте, что разные народы, живущие в разных условиях, производят различные товары, излишек которых может быть обменен к выгоде всех участвующих сторон. Даже Норт рассматривал международную торговлю совершенно в таком же духе — как «обмен излишками». Аналогично рассуждал и Гроций (1625). Признание значительно более интересного факта, что международный обмен может изменить экономические организмы торгующих стран, несомненно, подразумевалось во многих конкретных предложениях, особенно относительно экономических связей между Англией и Ирландией, а также в более общих рассуждениях Дэвенанта (например, в его *Essay on the East-India Trade*, 1696), но никто, казалось, не понимал полностью его значения как исходной точки анализа и не сделал даже намек на принцип сравнительных издержек. В частности, Норт только подытожил — не полностью, но достаточно эффективно — вклад «меркантилистских» произведений до 1691 г.

Но никто из этих авторов, кроме Норты, не был радикальным фритредером. А для интерпретаторов истории экономического анализа, не интересовавшихся ничем, кроме свободной торговли, для которых не существовало иного критерия оценки, кроме близости того или иного автора к концепции свободной торговли, этот факт был, разумеется, наиважнейшим. Для них, с одной стороны, существует тьма «меркантилистских» заблуждений, а с другой — вечный свет «либерализма»; свет восстал против тьмы и так полно рассеял ее, что осталось лишь благочестивое удивление либералов по поводу того, как можно быть настолько глубоко погруженным во мрак невежества. Но взгляд на историю того времени с точки зрения упомянутой антитезы полностью ошибочен. Для правильного понимания эволюции нашей науки усвоить это столь важно, что, даже рискуя повториться, мы должны остановиться на момент, дабы прояснить суть путаницы, лежащей в основе этого взгляда.

Даже если бы мы изучали историю политических доктрин, было бы необходимо указать, что силы фритредеров не просто собрались под стенами меркантилистской цитадели и штурмовали ее — это справедливо только по отношению к аграрному крылу партии тори, которое в то время активно противодействовало крупному бизнесу и протекционизму, — более значительные силы сформировались внутри самой цитадели. Это должно было понравиться марксистам, поскольку решительная поддержка английской свободной торговли исходила в итоге от того же буржуазного класса, который прежде поддерживал протекционизм. Но прогресс анализа — а нас в данной книге интересует только он — вовсе не

был связан со свободной торговлей и зарождающимся либерализмом. Для его осуществления не нужно было обращать кого бы то ни было в приверженцев свободной торговли и либерализма, а свободная торговля и либерализм могли бы одержать политическую победу без какой-либо помощи со стороны экономического анализа. Чтобы убедиться в справедливости данного утверждения, достаточно поразмыслить, например, над тем, что ни один из перечисленных выше протекционистских аргументов не опровергается более поздним анализом, который в руках либералов послужил проведению политики свободной торговли. В результате этого анализа было лишь установлено существование «автоматического механизма». Нельзя сказать, что знание этого механизма не имеет отношения к практике. Достигнув высокого уровня, оно может удержать людей от неправильного применения протекционистских мер или политики свободной торговли. Но в остальном этот механизм не самоцель, а средство, используемое для выполнения принятых решений. Он может служить для принятия и рационализации протекционистских решений точно так же, как фритредерских, но одного этого механизма мало, чтобы провести в жизнь какое-либо из этих решений.

Вышесказанное легко применить к конкретному случаю Норта. Его преданность партии тори, пожалуй, больше повлияла на его мнение относительно свободной торговли, чем его анализ. Что касается последнего, то Норт мог бы прийти к «меркантилистским» выводам без всяких ошибок или неувязок; чтобы убедиться в этом, нужно только предположить, что Норт принял бы один из перечисленных протекционистских аргументов или просто увидел, что отдельное государство может выиграть, приняв хорошо организованную систему протекционистских пошлин. Следовательно, мы можем отбросить его фритредерские убеждения как не относящиеся к оценке его *аналитического аппарата*. Но при рассмотрении последнего мы без труда установим, во-первых, его сходство с аналитическим аппаратом Барбона,<sup>12</sup> а во-вторых, тот факт, что в остальном он складывается из совершенно старых элементов: богатство состоит из того, что удовлетворяет потребности; деньги — это товар, которого может быть или слишком много или слишком мало; не имеет смысла запрещать его экспорт или при-

<sup>12</sup> Единственным вопросом, в котором Норт определенно опережает Барбона, является его тезис, уже упомянутый по другому поводу (см. выше, глава 6, § 7): низкий процент — это не причина, а следствие возросшего благосостояния. Возможно, следовало бы также упомянуть его рудиментарную теорию товарного перенасыщения, но она действительно так примитивна, что нет смысла настаивать на ее рассмотрении.

нимать какие-либо меры, обеспечивающие адекватное предложение; законы, ограничивающие приобретение предметов роскоши, ослабляют стимулы развития торговли и т. д. Разумеется, правильное сказать, что его анализ вырос из «меркантилизма», а не в результате столкновения с ним.

[с) **Общая тенденция к нарастанию фритредерства**]. Давайте вновь проследим развитие экономической теории до публикации «Богатства народов». При этом надо резко отделить развитие *политики* свободной торговли и *доктрин* свободной торговли от развития *анализа*, связанного как с тем, так и с другим.

Надлежащим образом учтя все препятствия, стоявшие на пути, можно, я думаю, различить в этот период тенденцию к развитию более свободной торговли. В Англии эта тенденция уже заявила о себе ростом оппозиции Закону о мореплавании и другим «меркантилистским» мерам, например в Комитете по торговле 1668 г. Более значительным было наступление на меркантилистскую систему, которое тори предприняли при Гарли и Сент-Джоне в 1713 г.: восьмой и девятый пункты Утрехтского мирного договора были предложены тори в той формулировке, которая позволяла значительно приблизиться к установлению свободной торговли с Францией. Наступление окончилось поражением. Тори не смогли провести эти пункты, а следующие правительства вигов (сначала Уолпола, а затем обоих Пелэмов) строго придерживались протекционистского курса. Правительства от Бьюта до Норта имели много других забот, но Шелберн и особенно Питт младший продолжили путь к уменьшению количества таможенных пошлин и к их снижению; последним достижением, венчающим дело, было заключение торгового соглашения с Францией в 1786 г. Дальнейшему развитию препятствовал почти тридцатилетний период революций и наполеоновских войн, после которого эта политика была возобновлена в двадцатых годах XIX в. (при правительстве Хаскиссона). Отсюда мы можем сделать вывод, что Франция в основном шла в ногу с Англией, но во Франции существовали две дополнительные проблемы: даже внутри страны перед революцией свобода торговли не была полностью осуществлена, хотя сменяющие друг друга администрации пытались ее установить, а положение в сельском хозяйстве выдвинуло на первый план специальный вопрос о свободной торговле зерном, особенно о свободном вывозе зерна.<sup>13</sup> В германских и

<sup>13</sup> В Англии в 1689 г. были введены экспортные премии, которые, естественно, играли роль в дискуссиях того времени. В других отношениях до 1815 г. аграрная политика Англии не противоречила описанной выше общей тенденции.

итальянских государствах на первый взгляд мы не замечаем ничего, кроме дальнейшего развития «меркантилистской» системы. Но ее рационализация во многих случаях привела к сокращению барьеров в межрегиональной торговле, особенно сырьем и полуфабрикатами. В Нидерландах, как и следовало ожидать, тенденция к развитию свободы торговли была выражена значительно ярче еще в XVII в.

Доктрина продвигалась вперед быстрее, чем политика. Убеждение в необходимости свободной торговли начало распространяться как часть общего кодекса *laissez-faire*. Что касается буржуазии, ее импульс к введению свободной торговли был слишком приглушен бюрократическим сверхадминистрированием, ставшим таким сильным, что иногда ему не могла противостоять даже прямая личная заинтересованность. У авторов научных трактатов, по крайней мере у некоторых из них, аналогичный импульс принял философский оттенок. Свобода торговли все больше стала рассматриваться как часть автономии индивида, которая должна была включать «естественное право» торговать по собственному разумению. Этот аргумент, уже использованный Гуго Гроцием и различными группами сторонников «естественного права», включая физиократов и даже английских утилитаристов, разумеется, совершенно лишен научного значения.<sup>14</sup> Однако он имеет отношение к нашей теме, во-первых, потому, что практически всегда ассоциировался с имеющими научное значение позитивными утверждениями относительно экономических эффектов, которые должны рассматриваться независимо от него; во-вторых, потому, что здесь мы имеем дело (с научной точки зрения) с незаконным влиянием, притупившим способность к критическим суждениям и внесшим искажение в экономическую аргументацию лучших авторов.

Как мы увидим далее, недостатки экономических рассуждений, которые трудно объяснить другим образом, могут быть легко отнесены на счет этого влияния, сочетавшегося с доктриной «невидимой руки», распространявшегося даже на таких авторов, как Кенэ и Смит. Это влияние еще сильнее сказывалось на распространенных мнениях, поддерживающих *laissez-faire*, которые захватили кофейни и салоны и стали предшественниками фритредерского догматизма либералов XIX в., имеющего с наукой не больше общего, чем любая из популярных догм меркантилизма.

Однако аналитический прогресс шел медленно. Дискуссии по поводу политических проблем, привлекавших внимание обще-

---

<sup>14</sup> Надеюсь, выше я совершенно ясно выразил мысль о том, что моя защита концепции естественного права как инструмента анализа не распространяется на его использование в качестве источника императивов типа «прав человека».

ства, оказались в этом отношении на удивление бесплодными. Например, полемика, вызванная политикой Франции в отношении торговли зерном,<sup>15</sup> хотя в ней и участвовали самые яркие звезды экономического анализа, включая Франсуа Кенэ, не дала

<sup>15</sup> Можно привести в пример и другую дискуссию. Когда стали известны пункты Утрехтского мирного договора, касающиеся свободной торговли, протекционисты взялись за оружие. Среди других публикаций было обнаружено периодическое издание-однодневка *The British Merchant* (вновь опубликованное в 1743 г.), авторы которого интересно описали состояние протекционистских взглядов. К их числу относился и Джошуа Ги <Gee>, достойный особого упоминания. Он написал также и другие протекционистские трактаты, например *The Trade and Navigation of Great Britain considered* (1729), а его протекционизм в основном опирался на аргумент занятости. В целом работы Ги и других авторов этого периодического издания не дискредитируют их создателей; будучи написаны для широкой публики, на злобу дня, они вполне могут послужить опровержением общего мнения, будто «меркантилизм» XVIII в. был всего лишь грудой нелепостей. Но, насколько я могу судить, в этих работах не было ничего интересного для нас. Тори противопоставили им *Mercator, or Commerce Retrieved*, который выходил три раза в неделю с мая 1713 по июль 1714 г. и издавался одним человеком. Этим человеком был Даниель Дефо, автор «Робинзона Крузо», блестящий и плодовитый писатель. Но даже наиболее амбициозные его труды в нашей области остались в сфере экономического журнализма. В частности, его борьба за упомянутые пункты Утрехтского мирного договора не внесла ничего нового в экономический анализ, хотя она занимает видное место в истории формирования мнения о свободной или более свободной торговле. Читатель, взявший на себя труд просмотреть некоторые из его работ (например, *General History of Trade*, 1713), вполне может подумать, что я был несправедлив к нему, особенно если припомнит мои комментарии к работам Яррантона. Но заслуги в подобных делах в большой степени определяются датой публикации.

Я пользуюсь возможностью упомянуть одного более позднего автора, Малахии Постлтуэйта, но только для того, чтобы проиллюстрировать весьма интересное явление: вхождение в историю имен авторов, создавших произведения ниже стандартного уровня. По моему мнению, единственной причиной знакомства с этим именем каждого студента, готовящегося к сдаче экзамена по истории экономической мысли, является репутация, которую он получил в свое время благодаря созданию Универсального словаря по торговле и коммерции (*Universal Dictionary of Trade and Commerce*, 1751–1755), который в значительной степени представлял собой компиляцию из источников, не указанных автором. Другие его произведения, посвященные главным образом торговле в Южной Африке, узки и скучны, хотя и не лишены некоторого грубого здравого смысла. В работе *Great Britain's true System...* (1757), доказывающей, что ее автор был достаточно умен, чтобы понять важность книги Кантильона, имеется место, где процент интерпретируется как плата накопителям сокровищ теми, кто в них нуждается, т. е. как необходимая плата с целью преодоления нежелания людей расставаться с наличностью. Это похоже на неуклюжую версию теории лорда Кейнса о субъективной процентной ставке. Если считать Постлтуэйта типичным представителем, как это недавно сделал Фей... [примечание не закончено].

никаких результатов, которые стоило бы отметить.<sup>16</sup> И все же здесь наблюдалось некоторое продвижение вперед, которое, однако, привело не только к новой истине, но и к новому заблуждению.

<sup>16</sup> Однако эта дискуссия имеет некоторое косвенное значение для нас благодаря тому, что она способствовала усилению интереса к экономическому анализу, хотя и не внесла в него непосредственного вклада. Поэтому мы упомянем о ней еще раз. А пока позвольте отметить, что всех авторов, о которых здесь шла речь, опередил в этом вопросе Грасвинкель (1651; если не работа *Discourse of the Common Weal*, 1549), а еще раньше это сделал Буагильбер. После Буагильбера наблюдался застой. Кажется, дискуссии возобновил Клод Дюпен (*Oeconomique*. 1745; часть этой работы, озаглавленная *Mémoire sur les bleds*, была опубликована отдельно в 1748 г.), который еще раз представил аргументацию в пользу свободы внутренней торговли зерном. За ним последовал К. Ж. Эрбер со своим *Essai sur la police générale des grains* (1753). Тот факт, что он все еще считал необходимым оставить экспортную пошлину (типа английской скользящей шкалы), в данном случае не имеет значения; важнее, что он полностью развил, правда без какого-либо теоретического доказательства, аргумент об адекватности автоматически создающегося *нормального* предложения. За ним последовал Кенэ, выразив данную идею в эссе, о котором мы поговорим позднее, а также другие авторы, особенно после декларации 1763 г. и эдикта 1764 г., установивших свободный экспорт. Стоит отметить смелую критику сложившихся догм со стороны Галиани (*Dialogues sur le commerce des blés*, 1770). Эти «Диалоги» выросли на материале соответствующей дискуссии среди итальянских экономистов, которая началась позднее, длилась дольше и к тому же была интереснее французской дискуссии (хотя участники последней могут претендовать на приоритет в том, что касается обсуждаемых фундаментальных идей), поскольку конкретная ситуация в итальянских государствах, особенно в Неаполитанском Королевстве, вызвала к жизни как фактически исследования, представляющие значительный интерес, так и аргументы по конкретным вопросам, которых не было в литературе более благополучных наций. Поскольку невозможно входить в детали результатов этой дискуссии, ни один из которых, насколько мне известно, не представлял большой важности для развития экономического аппарата, достаточно упомянуть некоторые наиболее существенные из тех работ, которые, как я указал в тексте, вскоре начали обнаруживать влияние «Богатства народов». Например, Доменико Канталупо опубликовал в 1783 г. трактат о свободной торговле зерном (переизд. в сборнике Кустоди: *Custodi. Scrittori classici Italiani*), где проанализировал политику торговли зерном с 1400 г. и пользовался скромным аналитическим аппаратом эффективно и разумно. Другой неаполитанский аристократ, Доменико Карачоло, последовал его примеру в 1785 г., осмысливая свои наблюдения во время голода в Сицилии (переизд. в том же сборнике). Биффи Толомеи в работе *Confronto della ricchezza dei paesi che godono libertà nel commercio frumentario* (1795), основываясь на фактах, попытался доказать важность свободной торговли зерном для процветания страны; попытка небезынтересна с методологической точки зрения. К этой книге приложен меморандум, озаглавленный *Riflessioni sopra le sussistenze*, автор которого Саверио Скрофани — совершенный фритредер физиократического типа; его другие работы не относятся к теме данной книги. Что касается принципа свободного вывоза зерна, то приоритет в этом вопросе принадлежит Верри (*Verri*. 1) *Memorie storiche sull'economia pubblica dello stato di Milano*; работа написана в 1768 г., опубликована посмертно — 1797; 2) *Riflessioni sulle leggi vincolanti, principalmente nel commercio de'grani*; написана в 1769 г., напечатана — 1796). Как пример хо-

[d) Преимущества территориального разделения труда]. Мне представляется, что одно из главных достижений заключалось в технически более совершенной формулировке преимуществ, предоставляемых территориальным разделением труда, которая стала шагом вперед на пути предвосхищения наиболее важного элемента теории международной ценности XIX в. Это заслуга двух английских авторов, которыми мы ограничимся, несмотря на то что можно привести и другие имена. В 1701 г. анонимный автор опубликовал трактат, озаглавленный *Considerations on the East-India Trade*,<sup>17</sup> в котором он рассматривал международную торговлю как способ приобретения товаров при помощи меньшего количества труда, чем потребовалось бы для их производства внутри страны. Кажется, он не осознавал связь этого тезиса с принципом сравнительных издержек, но даже с учетом этого мы можем назвать его предшественником Рикардо, хотя и не оказавшим большого влияния.

Итак, производство вместо товара *A* для внутреннего потребления другого товара *B*, экспорт которого позволит получить товар *A* на более выгодных условиях, очевидно зависит от аллокации производственных ресурсов. В этом аспекте проблема рассматривалась Жервезом, который, подобно Маршаллу,<sup>18</sup> сделал вывод, что пошлины, препятствующие наиболее выгодной аллокации ресурсов, должны привести к чистому убытку нации в целом, какими бы огромными ни были непосредственно видимые выгоды, полученные промышленностью в результате принятия протекционистских мер. Уже упоминалось, что трактат Жервеза занимает всего 34 страницы, и если допустить, что он мог бы развить свои идеи в десятикратном объеме, то его тезис должен рассматриваться как значительный вклад в аппарат экономической теории. Данный тезис можно считать одним из первых намеков на теорию общего равновесия.

---

рошей работы (а это была хорошая работа, а не слабая эклектика), объединяющей противоречивые, но закономерные соображения, подходящие для итальянской ситуации, я упомяну Фердинандо Паолетти, который, хотя и входил в группу итальянских физиократов, включил в свою теоретическую схему аграрный протекционизм (*Paoletti Ferdinando. Pensieri sopra l'agricoltura. 1769*; мне известна только часть работы, опубликованная в сборнике Кустоди) и экспортные премии на товары не первой необходимости (*Veri mezzi di render felici le societa. 1772*). — создав своего рода рудиментарную программу адаптации сельского хозяйства, представляющую некоторый интерес для теоретика. Было бы ошибкой думать, что от такого автора, как Паолетти, нас отделяют фундаментальные принципы мышления и действия. В действительности нас отделяет от него только наша статистическая и теоретическая техника.

<sup>17</sup> [В изд. Дж. Р. МакКуллоха *A Select Collection of Early English Tracts on Commerce, 1856.*]

<sup>18</sup> *Official Papers, опубликованные для Королевского экономического общества. 1926. P. 391.*

Вряд ли можно добавить что-нибудь еще. Несмотря на многие мудрые мысли, высказанные Юмом в эссе о торговле, о торговом соперничестве и о торговом балансе,<sup>19</sup> он вряд ли продвинулся в том, что касается этой части нашей темы. Не сумел это сделать и Адам Смит, который, по-видимому, полагал, что в условиях свободной торговли все товары будут производиться там, где их абсолютные издержки, выраженные в затратах труда, являются самыми низкими, хотя его несомненная заслуга состоит в том, что он координировал, сглаживал, подчеркивал и иллюстрировал аргументы других авторов. В действительности до конца века не было написано ничего значительного, несмотря на растущий поток популярной литературы, большая часть которой была посвящена свободной торговле или ее видам и в значительной степени повлияла на идеи, выраженные в «Богатстве народов».<sup>20</sup> Но даже

<sup>19</sup> Ср. главу, посвященную Юму в работе Э. А. Джонсона (*Johnson E. A. J. Predecessors of Adam Smith. 1937*).

<sup>20</sup> Мнения о международной торговле некоторых значительных писателей, таких как физиократы или некоторые авторы всеохватывающих систем, могут представлять интерес, даже если они и не вносят «вклада» в анализ. Мы упомянем или уже упоминали эти мнения в той мере, в какой это было необходимо, в связи с рассмотрением соответствующих работ. Было бы удобно двояким образом дополнить наше изложение материала. Во-первых, стоит указать, что в течение двадцати пяти (или около того) лет, которые предшествовали публикации «Богатства народов», большинство компетентных экономистов достигли того, что можно считать согласием по существенным моментам; наиболее значительной группой, составлявшей меньшинство, были физиократы и авторы, находившиеся под непосредственным их влиянием. Представителями этого *communis opinio* «общего мнения» в его лучшем варианте были Джозайя Таккер и сэр Джеймс Стюарт в Англии, Юсти и Зоннефельс в Германии, Беккариа, Дженовези, Верри и Пальмери в Италии и Форбоннэ во Франции. Вкратце можно сказать, что, поскольку они приняли общественное регулирование как нормальную, фактически неизбежную черту экономического процесса, протекционизм вытекал отсюда просто как частный случай. Однако место, которое занимал торговый баланс в работах меркантилистов, сократилось до небольших размеров — частично вследствие ценной критической работы, произведенной некоторыми авторами. Приведем в пример книги Верри (*Verri. Meditazioni. 1771*) и Карли (*Carli. Breve radionamente sopra i bilanci economici delle nazioni. 1770*); авторы быстро покончили с идеей, согласно которой национальное благосостояние может быть изменено с помощью вывоза товаров. Более того, в их руках протекционизм превратился в значительно более тонкий инструмент, чем прежде; одним из следствий этого стало придание большего значения установлению умеренных пошлин, которое современный взгляд едва ли отличает от полной их отмены. Например, Форбоннэ предложил пошлину *ad valorem* в размере 15%, а Юсти — 10%. Существовала широко распространенная и основанная на очень давней практике тенденция придерживаться дифференцирования пошлин на импорт в размерах, обратно пропорциональных отдаленности ввозимых товаров от конечного потребления (Таккер, Верри); этот принцип сохранился надолго и встречался часто даже в XIX в. Наконец (как показывает само по себе некритическое принятие этого

это достижение в области территориальной специализации нельзя считать чистым успехом. Как анонимный автор, так и Жервез слишком поспешно пришли к выводам, согласующимся с их мнениями относительно свободной торговли,<sup>21</sup> и при этом их дости-

правила многими авторами), хотя они часто совершали ошибки, которые возникают в результате использования неадекватной методики и чрезмерной веры в безошибочность очевидного здравого смысла, они все же редко были неправы в том, что касалось основного *аналитического* принципа.

И снова мы легко поймем, почему критики, принявшие кредо свободной торговли, не могли увидеть в этом ничего, кроме непоследовательности или, в лучшем случае, неинтересной эклектики, характерной для периода перехода от старых заблуждений к новой истине. Но с любой другой точки зрения нет никакой непоследовательности (в значении логической несовместности) в этом почти общем мнении, которое не только отражало прогресс в области анализа, но к тому же, как мы подчеркнем в более общих чертах в тексте, могло бы стать более удобным отправным моментом для дальнейшего исследования, чем узкий догматизм доктрины свободной торговли, заменившей идею регулирования.

Во-вторых, с целью проиллюстрировать предыдущую фразу, рассмотрим один пример из очень большого класса утверждений. Мэсси, как и ряд его предшественников (*Massie. Ways and Means... 1757*), доказывает, что португальский должен облагаться меньшим налогом, чем французские вина, основываясь при этом на следующем рассуждении. Если какая-либо страна *A* торгует со странами *B* и *C*, а закупки продукции страны *A*, производимые страной *B*, более эластичны по доходу, который страна *B* извлекает из своих продаж стране *A*, чем закупки продукции страны *A*, производимые страной *C* по отношению к доходам *C* от продаж своей продукции стране *A*, то стране *A* будет выгоднее иметь дело с продукцией *B*, чем с продукцией *C*. Неважно, в какой степени это верно. Предложенное допущение — будь оно верным или неверным — в любом случае интересно, и его обсуждение более углубит наше понимание международной торговли и обогатит наш аналитический аппарат в целом, чем любое количество фритредерских банальностей, каких бы похвал они ни заслуживали и как бы ни способствовали проведению мудрой, гуманной, мирной и т. п. политики. Несколько примеров в доказательство этого можно привести только из работ Мэсси; он достиг успеха именно в этом особенно ценном виде анализа, а также в других областях, не имеющих отношения к международной торговле (см., например, его работу *Observations on the New Cyder-Tax, so far as the same may affect our Woollen Manufactures, Newfoundland Fisheries... 1764*).

<sup>21</sup> Полагаясь на авторитет профессора Вайнера (цитируемое произведение, с. 92), можно заявить, что кроме двух упомянутых авторов и Норта до 1776 г. было еще только два английских фритредера: Уильям Патерсон, основатель Банка Англии (его произведение изданы вместе с биографией Саксом Баннистером, 2-е изд. вышло в 1859 г.) и Джордж Уотли (единственная известная мне его работа: *Whatley J. Reflections on Coin in General (1762)* перепечатана в пересмотренном виде в качестве приложения ко 2-му изданию его труда *Principles of trade (1774)*), а также еще один автор, который близко подошел к тому, чтобы стать фритредером, — Дж. Джослин (*Jocelyn J. An Essay on Money and Bullion, опубл. — 1718; датировано — 1717*). Все они имеют право быть отмеченными в истории доктрины свободной торговли. Однако защита Патерсоном свободной торговли находилась на популярном уровне, а Уотли и Джослин, хотя их работы и не лишены достоинств, не добавили, насколько мне известно, ничего, что не было бы сказано до них.

жения сочетались с типичными для фритредерской литературы XIX в. ошибками аргументации. Жервез не понял, что его теорема о размещении ресурсов не может быть направлена против какого-либо из протекционистских аргументов в помощь зарождающейся отрасли или борьбе с безработицей, описывающих условия, к которым данная теорема неприменима. Не приняв это во внимание, Жервез отошел от многих ценных истин, открытых меркантилистами, и, подобно Норту, занял позицию, которая, будучи допустимой в чистой теории, неизбежно приводила к заблуждению в случае некритического следования ей. Что касается анонимного автора, то здесь дела обстоят еще хуже. Он опирается в основном на аргумент, согласно которому международная торговля состоит из добровольных сделок, а следовательно, они непременно должны быть выгодными для обеих договаривающихся сторон; эти сделки не принесут ничего, кроме выгоды для нации в целом. Норт рассуждал аналогичным образом. Адам Смит, указав на очевидный *more suo* <по его мнению> факт, а именно что каждый индивид обращается к тому занятию, к которому он чувствует себя наиболее способным, далее заявляет: «То, что является осторожностью в поведении каждой частной семьи, едва ли может быть безрассудством в поведении великого королевства». С точки зрения техники анализа это так же плохо, как и все, что можно отнести в пассив «меркантилистов». Однако позднее мы обсудим ошибку, заключенную в этом высказывании.

Мы видели, что, по крайней мере в том, что касается экономического анализа, между «меркантилистами» и «либералами» не обязательно должен существовать большой разрыв. Отнесясь без предубеждения к их политическим идеалам или интересам, экономисты «либеральных» убеждений могли бы стать последователями экономистов-«меркантилистов» при выполнении аналитической задачи; это во многом аналогично ситуации, когда одна смена рабочих продолжает работу, начатую другой сменой. Именно это до некоторой степени и произошло. Однако в тех областях, где этого не случилось, не только продолжали существовать старые ошибки, но и имели место ненужные потери, сравнимые с потерями, возможными в том случае, если бы рабочие следующей смены уничтожали продукцию предыдущей всякий раз, когда их не устраивало поведение предшественников. Если бы Смит и его последователи не отбросили в сторону «меркантилистские» тезисы, а обработали и развили их, то уже в 1848 г. можно было бы разработать более верную и более полную теорию международных экономических связей, т. е. такую теорию, которую не смогла бы скомпрометировать одна группа авторов и пренебрежительно отвергнуть другая.

Книга выдающегося австрийского экономиста Йозефа Шумпетера "История экономического анализа" - произведение, ставшее классикой экономической литературы. Ее уникальность - в широте охвата (от Платона и Аристотеля до Кейнса), сочетающейся с глубиной и оригинальностью анализа и личным отношением буквально ко всем авторам и первоисточникам, упомянутым в огромном по объему тексте. Книга посвящена в первую очередь развитию техники экономического анализа, но попутно автор описывает исторический контекст этого развития, эволюцию других общественных наук и общественной мысли в целом, становление экономистов как научного сообщества. По сравнению с другими известными книгами по истории экономической мысли (книги Блэуга, Негиши) труд Шумпетера в гораздо большей степени раскрывает развитие экономической теории в странах континентальной Европы.

"История экономического анализа" Шумпетера - книга, необходимая каждому экономисту-исследователю и преподавателю любой экономической дисциплины. Содержащийся в ней материал может быть использован для внеаудиторной работы студентов экономических вузов по курсам истории экономической мысли, микро- и макроэкономики, теории финансов и многим другим.



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ЭКОНОМИКА

ISBN 5-900428-60-5



9 785900 428604